

Василий АКСЕНОВ

КЕСАРЕВО СВЕЧЕНИЕ







Василий АКСЕНОВ

КЕСАРЕВО СВЕЧЕНИЕ

Роман



Издательство «Изографус»

ЭКСМО-ПРЕСС

Москва, 2001

УДК 882
ББК 84(2Рос-Рус)
А 42

Художник Александр Анно

В оформлении книги использованы фрагменты работ
художника *Павла Филонова*

Фото Василия Аксенова предоставлено
редакцией журнала «Америка» (сентябрь 2000, № 2).

Аксенов В.
А 42 Кесарево свечение. — М.: Изографус, ЭКСМО-Пресс, 2001. — 640 с.

ISBN 5-87113-116-6 (Изографус)
ISBN 5-04-008737-3 (ЭКСМО-Пресс)

В новом, впервые публикуемом романе Василия Аксенова «Кесарево свечение» действие — то вполне реалистическое, то донельзя фантастическое — стремительно переносится из нынешней России в Америку, на вымышленные автором Кукушкины острова, в Европу, снова в Россию и Америку. Главные герои — «новый русский» Слава Горелик, его возлюбленная Наташа и пожилой писатель Стас Ваксино, в котором легко угадывается автор.

УДК 882
ББК 84(2Рос-Рус)

ISBN 5-87113-116-6
ISBN 5-04-008737-3

© Аксенов В., 2001
© Анно А. Оформление, 2001
© Издательство «Изографус», 2001

вздохом своим? Сидишь же ты тут, Наварро! Как жила ты в это время? Вспомнишь ли, любил ли? «В жаркие летние дни» — это же время, когда ты...

Памяти Ивана посвящается

...и ты, Наварро! Как жила ты в это время? Вспомнишь ли, любил ли? «В жаркие летние дни» — это же время, когда ты...

Ты же не забывай, Наварро! Ты же не забывай, Наварро! Ты же не забывай, Наварро! Ты же не забывай, Наварро! Ты же не забывай, Наварро!

Ты же не забывай, Наварро! Ты же не забывай, Наварро! Ты же не забывай, Наварро! Ты же не забывай, Наварро! Ты же не забывай, Наварро!

Ты же не забывай, Наварро! Ты же не забывай, Наварро! Ты же не забывай, Наварро! Ты же не забывай, Наварро! Ты же не забывай, Наварро!

Ты же не забывай, Наварро! Ты же не забывай, Наварро! Ты же не забывай, Наварро! Ты же не забывай, Наварро! Ты же не забывай, Наварро!

Ты же не забывай, Наварро! Ты же не забывай, Наварро! Ты же не забывай, Наварро! Ты же не забывай, Наварро! Ты же не забывай, Наварро!

Ты же не забывай, Наварро! Ты же не забывай, Наварро! Ты же не забывай, Наварро! Ты же не забывай, Наварро! Ты же не забывай, Наварро!

Ты же не забывай, Наварро! Ты же не забывай, Наварро! Ты же не забывай, Наварро! Ты же не забывай, Наварро! Ты же не забывай, Наварро!

Ты же не забывай, Наварро! Ты же не забывай, Наварро! Ты же не забывай, Наварро! Ты же не забывай, Наварро! Ты же не забывай, Наварро!

Ты же не забывай, Наварро! Ты же не забывай, Наварро! Ты же не забывай, Наварро! Ты же не забывай, Наварро! Ты же не забывай, Наварро!

Handwritten: 1770
Hermann Heine

Handwritten: 1770

Handwritten: 1770

Handwritten: 1770

Handwritten: 1770

Handwritten: 1770

Handwritten: 1770

Handwritten: 1770

Handwritten: 1770

Handwritten: 1770

Handwritten: 1770

Handwritten: 1770

Handwritten: 1770

Handwritten: 1770

Handwritten: 1770

Handwritten: 1770

Handwritten: 1770

Handwritten: 1770

Handwritten: 1770

Handwritten: 1770

Handwritten: 1770

Handwritten: 1770

Handwritten: 1770

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Вездеход

Ну, с чего начнем? С диалога, что ли? Почему бы нет? Немалые ведь вещи начинались с диалогов. Вспомним что-нибудь нетленное? «В ворота гостиницы губернского города Эн-Эн въехала довольно красивая рессорная небольшая бричка...» И далее, в первом же абзаце, следует ни к чему не обязывающий диалог двух русских мужиков. В этом же абзаце мужики пропадают, чтобы никогда уже на страницах поэмы не появиться. Что из этого следует? Диалог возник просто для разгона, и результат получился замечательный: эва как бричка-то раскатилась, вихревой обернулась метафорой, «птицей-тройкой»!

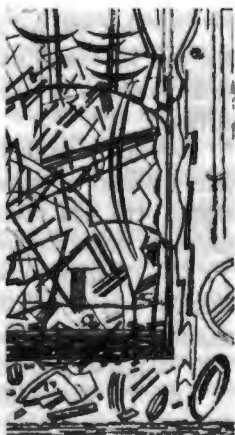
Ничто не помешает нам собезьянничать, ни единый моралист! Итак, новенький, но уже сильно заляпанный вездеход «Нива» безнадежно буксовал в непролазной грязи на Энской лесной дороге. Теперь — диалог двух русских мужиков.

— Славка, куда ты зарулил? Тут уж и дух-то нерусский, и Русью тут не пахнет!

— По карте рулю. Ты карту читать умеешь? Видишь, пунктиром указано — пятнадцать км до дороги областного значения.

— Мы тут завязнем. Ты куда-то к половцам зарулил, к печенегам, в лучшем случае к веспам каким-нибудь, которые на барсучьем языке объясняются. Мы тут завязнем на хер и даже помощи не сможем попросить, je crois!¹ На фиг ты с бетонки свернул?

¹ Я думаю (фр.).



— Вот уж не думал, что ты такой паникер, Герка! Знал бы, что ты такой паникер, лучше бы один поехал. Погоди, не надо толкать, не вылезай. Я ее сейчас раскатаю, сама, гадюка, потянет.

— Ни фига она не потянет. Ее засасывает. Болотные губы уже чавкают ее резиной! Мы с тобой в необитаемый край заехали. Что там такое кычет-то, клычет, вопиет? Что за мразь какая-то подхохатывает?

— Да просто волки стонут, Герка, не психуй. На волчью свадьбу мы с тобой ненароком заехали, только и всего. Ну, видишь — вытянула! Едем!

— Едем, но куда? В какой-то антимир въезжаем, Славка!

— Ты же знаешь, это спецзона. Мы тут восемьдесят км срезаем.

— Ты тут восемьдесят км срежешь, лишишься товарища. Давай лучше повернем обратно.

— Ну, вот сейчас мы уже тонем. Но медленно. Одно колесо еще держится. Есть время осмыслить ж.п.

— Je n'sait pas ce que ça veut dire¹ — жопа, что ли?

— Жизненный путь. Давай, Герасим, вытаскивай царевбийственный кинжал, будем ветки резать. Давай, включай в. к ж.!

— Волю к жизни, что ли?

Теперь по законам темпоритма мы должны диалог этот прервать и представить читателю двух этих, неизвестно откуда взявшихся, героев. Что мы и делаем.

Два молодых москвича, лет, скажем, 26–27, Мстислав и Герасим, фамилии пока что неизвестны, рано утром покинули столицу и отправились на «Ниве», принадлежавшей их молодой капиталистической компании, куда-то на север, в какой-то город, то ли Кошкин, то ли Мышкин, а скорее всего, Гусятин, если следовать по пятам классической литературы 60-х. Что их туда понесло, пока неясно, но скоро выяснится, если все-таки выкарабкаются, ну а если не выкарабкаются, тогда и романа не получится.

На какой-то бензоколонке, где бензином уже полгода как не пахло, а пахло однозначно только говном, им повезло: остановился по большой нужде солдат с цистерной. Время было еще паршивое, но уже не совсем паршивое: народ начинал от-

¹ Я не знаю, что это значит (фр.).

вязываться в сторону рыночных отношений. Солдат налил им полный бак и канистру, а также продал секретную карту стратегических коммуникаций. «Вот по этому пунктиру, ребята, вы срежете восемьдесят км, а вот здесь, у памятника павшим, снова повернете на бетонку. Если тут ракетный батальон не потащится, до Гуся доберетесь еще засветло. Итак, три пачки «Мальборо» с вас, мужики прикольные». Им как раз и надо было добраться засветло к приходу в Гусятин теплохода «Михаил Шолохов», так что они посчитали этого солдата улыбкой судьбы. Увы, то, что тому на его «КрАЗе» казалось обычной пунктирной дорогой, для их «Нивы» обернулось ловушкой.

Измазанные болотной жижей, исхлестанные колючим кустарником, они теперь с каждой минутой понимали, что машину придется бросать и на ногах добираться за помощью. Над ними еще стояло светлое небо, но внизу, где копошились они, в буреломе уже собирался мрак. Чертова страна, чертовое болото, квашеная дрисня, так поносили они стратегическое пространство родины. Так тут и сдохнешь, на корм пойдешь лесной нечисти, и никто твои кости не найдет, пока не приплывут варяги следующего тысячелетия.

«Надо на дерево, что ли, лезть, может, увидим какую-нибудь вышку. Сейчас бы и лагерьной вышке обрадовался», — подумал Мстислав. Полезли, еще больше ободрались, ссадины жгли ладони. С деревьев открывалось одно лишь «зеленое море тайги».

Стояла сплошная тишина, если не обращать внимания на панический гомон насекомых. Вдруг из-за веток ели, смешанной с осинной, какое-то око взяло Мстислава под свой прицел. «Только не это», — похолодев, подумал он. Что «это», подумаем мы и не сможем пока что ответить. «Давайте-ка, пожалуйста, без этого, — пробормотал он кому-то. — Все что угодно, но только не это, и не сейчас, и не здесь. Прошу и вас, и вас, только бы оно не увеличилось вдвое, а там и больше, только бы не поплыть пылинкой вокруг двойного зрачка».

Фу, какая лажа ошеломляет в экстремальных обстоятельствах. Ему стало стыдно. Око-то принадлежало еноту. Зверек проснулся и смущенно выглядывал из-за ствола осины. Глаз его не выражал ничего, кроме смущения засони. Неподалеку на другом дереве торчал запутавшийся в ветвях Герасим. Свисала нога в миссониевском носке и тимберлендовском ботинке.

— Видишь что-нибудь?! — крикнул Мстислав.

— Je ne vois rien¹, — откликнулся аристократ.

Тут рядом возник и бешено разогнался какой-то сатанинский свист. На помощь свисту пришел раскалывающий небо грохот. Над веркушками леса совсем неподалеку с кажущейся неторопливостью стала подыматься ракета. Зависнув на секунду как бы в раздумчивости, она приняла злодейское решение, после чего в клубах огня и пара устремилась в поднебесье. Исчезла. Приятели слетели вниз.

— Ты понял? Они близко. Пошли.

— Как бы они нас не прихлопнули.

— За что?

— За шпионаж.

— Пусть прихлопнут — все лучше, чем заживо всасываться.

Чтобы дальше не хлюпать по трясине, скажем сразу, что через четверть часа Герасим и Мстислав вышли на опушку, где расчет ракетчиков, только что совершивших злодеяние запуска, теперь оттягивался в перекуре. Не спрашивая, куда ракета полетела, в Брюссель или во Врангеля — полярное царство, наши путешественники предложили воинам бутл джина. Чудовищный тягач тут же развернулся и попер на выручку, ломая все, что попадалось на пути древесного. Не прошло и получаса, как злополучная «Нива» была поставлена на еще какую-то бетонку, даже не отмеченную в секретной карте. Еще через полчаса с косогора открылся перед Мстиславом и Герасимом вид на слияние больших чухонских рек и на древний город Гусятин, потом Краснознаменск, потом опять Гусятин, из центра которого торчала рука Ильича.

Гусь-Под-Зонтиком

Заложено было это поселение лет семьсот назад, то есть сравнительно недавно, хотя имелись сведения, что еще раньше, на пару-тройку веков, стояли тут башни князя Ботифана, которые тот оборонял от князя Псука. В те времена три основных потока омывали здешние брега — Шульяна, Жмель и Вольжа. Сейчас все три влились по-социалистически в основную артерию, что течет под именем Каспо-Балтийская Стрёма. Многое

¹ Ничего не вижу (фр.).

тут связывает русского человека с прошлым, даже с теми временами, когда и Руси-то как названия не существовало. Вот, например, пейзаж: уцелел, родимый! Все эти отдаленные взгорья, пологие скаты, шерстистые шубы лесов — весь этот окоем, что сохранился в своей прозрачности, несмотря на близость страшного Комбината, — какой русский не почувствует тут хоть на минутку тихого нежного умиления? Или, например, странные местные чайки по прозвищу «жихи», что норочат подлететь втихомолку к проходящему человеку и жутко жихнуть над самым ухом; иностранец может от этого и сознание потерять, русский же человек лишь улыбнется и потрет себе ухо.

В принципе все пространство земли от чухны до чучмека звалось когда-то Путатей. Волоки, которыми тут промышляло население, дали еще одно — впрочем, спорное — название страны — Волочила. Древние деревни по всей округе носили странные императивные имена: Тащите, Ешьте, Ночуйте; в общем, в этом роде. Все советские ухищрения с названиями нынче отпали, да они и раньше не особенно процветали в этой местности. Мало кто из здешних трактористов говорил, скажем, «Похилялн, робя, в «Заветы Ильича», или в «Свет Октября», или в «Девятнадцатый партсъезд». В подпитии всегда всплывало нсконное: «Айда, пацаны, в Тащите, к дояркам!» Или: «Эй, жми в Ешьте, там у Евдокии оттянемся!» А то еще: «Говорят, в Ночуйте политуру завезли»; ну и все такое.

Город Гусятин, или, в просторечии, Гусь (не Хрустальный, а натуральный), тут всегда высился над другими поселениями, как Париж высится над разными Нантами и Шартрами. Крупные купцы тут жировали весь прошлый век. Например, один такой Окоемов Илья отгрохал себе трехэтажный дом с колоннами. Брат его Фома до трех этажей не дотянул, но колонны себе поставил выше крыши. Предание гласит, что в 1888 году Илья Окоемов принимал у себя государя. Увидев Его Величество, Илья пал ниц и не мог подняться даже с помощью челяди. Подождав с полчаса, государь в раздражении покинул особняк и перешел через площадь к Фоме. Там играл оркестр и молодые купчихи приседали в книксенах. «Вот чего мы ждем от отечественного бизнеса», — якобы сказал А.А., хотя и не знал этого слова. У этого немца была русская пятка, в этом нет сомнения. Он заночевал у Фомы и уехал очень до-

вольный, а братья потом целый день гонялись друг за другом с лопатами.

В память об этом историческом визите город решил воздвигнуть монумент; увы, как всем в этом городе известно, «благими намерениями вымощена дорога в ад». С царским монументом затянули, а потом пришлось сооружать монумент пролетарский, то есть Ленину В.И. Любопытно, что и в этом деле не обошлось без братьев Окоемовых. На сооружение гусятинского Ильича пошли с кладбища их мраморные памятники. Их измельчили в пульпу, а из нее уж и слепили фигуру Вождя.

Сейчас иногда звонят из областной администрации: когда стащите с пьедестала творца однопартийной системы, господина гусятинца? Израильский тигр вам господин, а мы пока что и навсегда товарищи, так отвечают здешние борцы «красного пояса», своего культурного наследия не отдадим!

Мы пока еще не знаем, по какому побуждению пустились мы сейчас в эти исторические экскурсии, — может быть, что-то важное за ними стоит, а может быть, и просто так взяты, для дальнейшего «разгона», во всяком случае, наших молодых героев они вряд ли заинтересовали. Их внимание было привлечено даже не к городу, а к текущей мимо него большой воде. Среди тусклого, но гипнотически манящего ее свечения медленно двигалось белое пятно теплохода. Похоже было на то, что он подойдет к городу не раньше чем через полчаса. Можно было не торопясь спускаться к Гусятину.

На окраине остановились у колодца, накачали в ведро какой-то илистой жидкости и попытались хоть слегка отмыть лица и башмаки от лесной стратегической дряни. Усилия друзей помогут нам так или иначе распознать в них молодых интеллигентов, в недавнем прошлом выпускников филологического факультета университета «Двенадцать коллегий», а упоминание филологии не даст нам теперь удержаться от применения излюбленного приема классической литературы, то есть от лирического отступления.

Знаете, люблю я эти захолустные городки по берегам Каспо-Балтийской Стрёмы! Даже писать о них приятно, не говоря уже о том, как приятно по ним прогуливаться или проезжать их дремотные улицы на малой скорости. Вот проплывают мимо покосившиеся домишки с резными налични-

ками. Проживать в них, наверное, противно, но проплывать мимо — одно удовольствие! Вот переходит дорогу утица с выводком. Сколько достоинства в этих наших русских животных! А вот и девчушки-хохотушки проскачут, прыснут при виде двух столичных парней, проезжающих мимо на грязном вездеходе, да тут же и засмущаются, застынут в унынии, всеми позами своими напоминающая нашу грустную мелодию «Помню, я еще молодухой была, наша армия в поход далекий шла». Сколько лирики, сколько чистоты! А вот и парк культуры появится — квадратный скверик с гипсовым хороводом под «голубем мира», с фанерным макетом крейсера «Аврора», признаться, довольно закаканным, с аттракционом «Полет в неведомое», описанным еще в 1967 году одним из мастеров мировой литературы. Сколько воспоминаний!

Мстислав притормозил, и оба друга замерли, не в силах отвести взглядов от фигуры аттракциона, похожей на смесь подъемного крана и птеродактиля.

— Не на этой ли птице катался в свое время Володя Телескопов, — пробормотал Мстислав.

— Не удивлюсь, если именно на этой, — хохотнул Герасим.

Ржавые стальные ноги поднимались из зарослей крапивы, лебеды и лопухов. Под кустом бузины мирно спал охладом, смотритель парка. Рядом с ним стоял открытый баул, заполненный складными зонтиками с кнопкой. Несколько слов об этих зонтиках. Среди засекреченной промышленности Стрёмь Гусятинский зонтиковый завод был лишь частично засекречен. Еще за несколько лет до перестройки предприятие стало выпускать складные зонтики с кнопкой по лицензии ФРГ. Вот этот сектор его деятельности как раз и был засекречен — крошечные, в ладонь длиной, предметики, которые от нажатия кнопки разворачивались над головой в надежный и эстетичный щит от экологически нечистых дождей. Купить эту продукцию можно было только по пропускам в партийных распределителях или за валюту, в широкую же продажу продукт не поступал, чтобы народ не разбаловался. Дело в том, что в ФРГ некоторые круги полагали, что их зонтики могут существенно повлиять на идеологический климат СССР, ну и вот соответствующие органы приняли соответствующие меры по предотвращению. В нынешнее вре-

мя завод был, конечно, приватизирован, и зонтики хлынули на рынок. Их оказалось так много, что вскоре из-за постоянного недостатка нала они превратились в своего рода валюту Каспо-Балтийской Стрѣмы. Ими нередко расплачивались на базарах. Кура, например, стоила три с половиной зонтика, связка лука — полтора. Таким образом, наш народ оказался не глупее фээргэшного. Вот и все, что мы хотели сказать по поводу зонтиков.

Путешественники вынули охламона из-под бузины. Крутили его и так и сяк — он не отбрасывал тени, словно Вергилий. Вдруг проснулся, и сразу тень выросла аж через дорогу до самого магазина. Дохнуло густым алкогольным опытом.

— Ты местный? — спросил его Мстислав.

— Нгкмдк, — утвердительно ответил охламон.

— Comment vous appelez — vous, monsieur?¹ — поинтересовался Герасим.

— Телескопов мое фамилие, — нгкмдкнул охламон. — Точнее — через черточку, Телескопов-Незаконный.

Следующий вопрос был задан уже на «вы»:

— К литературному герою имеете отношение?

— Прямое, — ответил человек. — Папашей мне приходится. Я тут на месте действия инструктором числился, а сейчас вот приватизировал это м.д. и стал владельцем. Покататься не желаете? Зонтиков купите?

Путешественники вернулись к непринужденной манере:

— Ладно, лох, берем твои зонтики, только если ты с нами на пристань поедешь.

Дважды просить себя сын исторического персонажа не заставил и немедленно забрался в «Ниву». Там он тут же обнаружил непечатую бутылку «Столицы». «Угощаете, милостивые государи?» И, не дожидаясь ответа, отвинтил.

— Что-то в нем есть от папашы, — сказал Герасим, пока тот булькал. — Но вот интересно, что в нем от мамыши?

Мстислав внимательно наблюдал Т.-Незаконного в зеркальце заднего вида.

— Скажи, друг, ты такого Налима знаешь?

Телескопов-Н., уже захорошев, пребывал в размягченном счастливом состоянии. Он, видно, с трудом верил своей удаче. Вот так лежишь весь день под вонючим кустом по месту при-

¹ Как вас зовут, месье? (фр.)

ватизации, без надежд, без оптимизма, и вдруг тебя два симпатичных бандита вытаскивают наружу, сажают на мягкое, вливают крепкое, обещают денег; значит, можно и под кустом дожидаться справедливости. В ответ икнул:

— Нгкмдк, да кто ж его не знает, он же ж из нашеньских, из Окоемовых! Гусенеанец!

— Герка, слышишь, как он говорит, — гусенеанец!

— Это по-римски, — пояснил Владимир. Да-да, конечно, он был Владимир, Владимир Владимирович.

— Опознаешь Налима? — спросил Мстислав.

Получив в ответ еще одну утвердительную полуотрыжку, они приблизились к пристани. К этому времени уже начал расцветать над просторами Стрёмы медлительный северный закат. «Михаил Шолохов» приближался к перекошенному и частично в мелководье затонувшему дебаркадеру. Теплоход этот своими гладкими боками мало напоминал знаменитого плагиатора советской литературы. Закат изящно, если не декадентно, отсвечивал в стеклах верхней палубы.

— Да вон как раз Налим и стоит наверху вместе с дамочкой, — показал В.В.

Указанный не то чтобы стоял, но как бы свисал, удерживаясь от падения в прибрежные воды путем обхвата стойки навеса. Гладкостью своих боков этот сильно нетрезвый пассажир как раз соответствовал теплоходу. Двубортный «Версаче» плотно обкладывал крупного, но с маленьким ротиком и щуплыми усиками — мужланища. Кто-то его метко в свое время прозвал Налимом — сущий налим, господа, идет в наши сети. В.В. прокомментировал:

— Наверное, квасил Налим всю дорогу от Москвы в своем суперлюксе с дамочкой.

Мстислав и Герасим стояли потрясенные, однако не встреча с долгожданным Налимом потрясла их, а его спутница. Ведь это была не кто иная, как Маринка Дикобразова, их сокурсница по филфаку и третий, после них, член правления капиталистической компании «Канал». Собравшись брать Налима, они утаили это опасное дело от слабого пола и вот теперь не могли прийти в себя от изумления, увидев «княжну Дикобразову», как ее звали на факультете, рядом с бандитом. Да и не просто рядом стоят, а вроде как уже и породнились. Просим также обратить внимание на шиншилловую накидку. Уж наверняка Налим ее купил княжне в Ниж-

них Горячах на международном аукционе. Хороша Маринка в этой нарядке, ничего не скажешь! Так и хочется шепнуть Герасиму на ухо в гусарской манере: «Каков бабец, *bien faty et la beauté du diable!*»¹ Однако остережемся — посмотрите, как он побледнел с выпяченным подбородком, как он бормочет сквозь зубы: «Экая гадина, никогда не прощу, *plus jamais!*»² Мстислав между тем, положив другу локоть на плечо, тихонько насвистывает песню Городничьего «Предательство» и с тоской думает: неужели заложила нас Маринка Налиму, неужели и с ней придется разбираться, неужели вот это и есть капитализм?

Теплоход приближался, вместе с ним приближался и ненавистный Налим. Теперь уже можем рассмотреть в подробностях бухого, расслабленного, тяжелого, гладкого Налима. На правом борту с тысячного пиджака оборвана пуговица, левый борт вздут пузырем, поскольку пристегнут к жилетке. Палец Налима норовит пролезть Маринке меж ягодич, однако ничего не получается — палец нерасторопен. Маринка, хохоча всем своим перламутром, стряхивает палец со своей крутизны, словно белого таракана. Уже слышен ее голос: «Что за шутки, месье? Совсем крыша поехала?» А у ноги негодяя стоит чемодан с кодированным замком — там, наверное, и лежат награбленные деньги.

Здрав штаны, бежать за комсомолом

Пока оба наши гуманитария гнали в Гусятин, они вполне отчетливо представляли себе технику намеченной операции. Едва только Налим ступит на варяжскую землю, а лучше всего еще на борту теплохода, к нему с двух сторон подойдут двое легконогих и мускулистых — примерно такне, как из фильма «Once upon a time in America»³.

«С приездом, господин Налим! Необходимо побеседовать». Красные книжечки угрозыска вспыхнут в заплывших о. з. авторитета. Щелкнут наручники. Им нравилось наблюдать самих себя как бы со стороны в роли псевдоагентов, а на са-

¹ Прекрасно сложена и дьявольски красива! (фр.)

² Никогда больше (фр.).

³ Однажды в Америке (англ.).

мом деле благородных гангстеров. Воровская эстетика раннего антисоциализма захватила и этих бывших филологов. Посмотрим и мы на них теперь как бы со стороны, прежде чем рассказать, как на самом деле все это обернулось.

Мстислав — а впрочем, давайте звать его просто Славкой — был похож на молодого Пастернака, то есть, по известному определению, напоминал одновременно и араба и арабского коня. Одним словом, было что-то в нем необъяснимо каталонское. При всем при этом он никоим образом не напоминал пастернаковского лирического героя. Трудно было его представить плачущим в зале концертной. С Брамсом он как-то не увязывался. В его движениях скорее угадывалась какая-то постоянно перемежающаяся синкопа. Вообще, при пастернаковской романтической неотразимости он обладал отчетливой прозаической отразимостью, то есть был готов ко всему. Такой Пастернак, пожалуй, не отказался бы от Нобелевской премии из любви к родине. К этому начальному и, как полагаются нынче в прозе, довольно расплывчатому портрету добавим, что у Славки были совсем не пастернаковские, да и вообще не арабские, не каталонские, а сугубо нахальные светлые глаза, на правой же стороне виден был шрам, как будто за пару лет до этой встречи там прогулялась не очень хорошо отточенная бритва.

Тут он поворачивается к автору. «Это у меня от тюрьмы осталось. Только не надо преувеличивать, Стас Аполлинариевич, просто фурункулы вырезали».

Что касается «аристократа» Герасима, то он как раз аристократической внешностью не отличался, а если следовать за литературными героями, был вылитый Давид Бурлюк. Трудно сказать, решился ли бы он на манер футуриста разрисовать себе щеки птичками и кошками и прицепить к пиджаку пучок моркови, однако башка у него в соответствии с московским тусовочным «прикидом» была чуть-чуть подкрашена лиловым, а в левом ухе поблескивала серьга. Говорят, что иногда он появлялся в клубе «Белый таракан» с цилиндром на голове и с моноклем в глазнице, то есть, по всей видимости, он знал, на кого похож. Надо сказать, что, в отличие от исторического Бурлюка, этот псевдобурлюк никогда не стремился в лидеры, а, напротив, всегда искал, к кому бы прицепиться, чтобы не отстать от общего похода. В данном случае он с удовольствием шел на буксире у бывшего однокурсника.

В адрес автора он ограничивается лишь легкой улыбочкой и подмигивом: «C'est la vie!»¹

Чтобы завершить этот короткий экскурс в портретную галерею, добавим костюмы. Друзья были одеты одинаково в короткие кожаные «бомбовозки» и черные джинсы, то есть со стороны мало кто признал бы в них интеллектуалов, а уж скорей крутых парней из новой московской братвы.

Теперь коротко о сути дела. Кажется, уже давно, а на самом деле всего полтора года назад, в конце исторического 1991-го, два друга зачали «Канал» — коммерческую структуру с ограниченной ответственностью. С чем едят эту о.о., они плохо себе представляли, просто здорово звучало в переводе на основной язык — Canal Company, limited, а потому сулило неясный, но манящий капиталистический расцвет. «Ты посмотри, топ cher, какне тупые комсомольские башки сейчас ворочают бизнесом — что же, мы их хуже, что ли?» — так вопрошал Герасим Мстислава. Последний, долго не задумываясь, скомандовал «Вперед!». Так вчерашние идеалисты-демократы, члены группы «Живое кольцо», круто вошли в клочущий хаос первичного российского передела. Ходили слухи, что они каким-то образом вышли на тайный партийный источник денег «Боровое», однако подтверждений этому нет, и не исключено, что бизнес начался с обычной спекуляции. А что, собственно говоря, в первичном смысле представляет собой нормальный бизнес, если не вечную страшилую совдепа — спекуляцию? Купил дешевле, продал дороже — разве не на этом принципе стоит весь коммерческий расцвет? Так или иначе, «Канал» довольно быстро открыл в Москве несколько палаток по продаже оргтехники и тюбиков кетчупа, огромную партию которых им удалось купить на полузатонувшем в окрестностях Туапсе сухогрузе с подмоченной репутацией.

Однажды под утро в клубе «Белый таракан» друзья натолкнулись на подругу юности Маринку Дикобразову. Среди лирических разговоров выяснилось, что у девушки есть прямой выход на рынок видеокассет. Таким образом дуэт директоров расширился до триумvirата. Все трое кипели, бурлили, едва ли не отрывались от земли в те месяцы «золотой лихорадки». Прибыль тогда накатывала в «раблезнанских», как они

¹ Такова жизнь! (фр.)

выражались, размерах. Казалось, что можно было уже подходить к реализации своего основного проекта.

Проект вообще-то носил филологический или, лучше сказать, завиральный характер и связан он был с Крымским полуостровом. Отправился в Симферополь, и там в новом коммерческом клубе в таинственном полумраке идея была изложена собранию полукриминального комсомола и перестроившегося в рыночном духе партаппарата. Нужно перекопать перешеек и лиманы Сиваша большим судоходным каналом. Немедленно возникнет огромная прибыль, связанная с перегоном торговых судов напрямую из Одессы в порты Азовского моря. Но это не главное. Главное заключается в неожиданном геополитическом смысле. Полуостров превращается в остров. На этом острове может возникнуть независимое средиземноморское государство вроде Кипра. Защищенное водой от материка, это государство станет свободной офшорной зоной, процветающим гнездом нового бизнеса и демократии. А также гнездом великолепной демонстративной экологии, господ. Ведь здесь, в Крыму, господ, ваш коммунизм не успел еще все бесповоротно загадить. Прикроем никчемную промышленность и будем наслаждаться богатством и чистым воздухом.

Позднее Славка, Герка и Маринка, вспоминая об этом утопическом проекте, придут к выводу, что он поднялся из глубин их надорванного антисоветского подсознания. Идея отрыва куска от целого и превращения этого куска в нечто новое, цветущее и самостоятельное была сродни каким-то искусственным родам — своего рода кесареву сечению. Сейчас, впрочем, преждевременно развивать эту почти метафизическую тему. Будут ли они об этом вспоминать? Придут ли к какому-нибудь филологическому выводу? Не повлияет ли на них пристрастие к деньгам? Не превратятся ли они в акул какого-нибудь «уолл-стрита»?

Пока что загудели комсомольские башки, и без того уже помутневшие от бешеных баксов. Не прошло и получаса, как бизнес-клуб превратился в подобие репинского шедевра «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», только в данном случае сочинялось не менее дюжины писем в разные адреса. Тут же у стойки бара Мстиславу было предложено кресло президента Республики Крым, а Герасиму соответственно портфель премьер-министра. Затем начались клятвы в духе темной малины — на верность, на дружбу, на тайну. Зажженной сига-

ретою проверялась мужская стойкость. Пахло паленой шерстью. Нет-нет, такие мужики не прогнутся! Вот-с-тобой-я пойду-в-разведку-а-вот-с-ним-я-не-пойду-в-разведку! Кое-кто уже предлагал расписаться кровью. Руки чесались испробовать недавно приобретенное огнестрельное оружие. Тут же шла страннейшая деятельность по инвестициям в этот мега-проект.

Мстислав и Герасим чувствовали, что влезли во что-то столь же бессмысленное, сколь и безобразное, однако и у них в тот год башки были не на месте — им тоже казалось, что среди всеобщей «отвязанности» нет ничего невозможного. Они инвестировали все, что нажили: три лимона баксов. Гордая идея почти сразу же протухла. В Симферополе шли бесконечные разборки вокруг приватизации санаториев. Бизнес-клуб не отвечал ни на звонки, ни на факсы. «Кажется, пропали наши три лимончика, Славик, Герочка», — вздохнула однажды княжна Дикобразова. «Не жалей», — погрозил ей пальцем Герасим и напомнил старую шутку с грузинским акцентом: «Что прогулял, о том не жалей, а то на пользу не пойдет!»

Вдруг все дело заново запылало ярким утопическим огнем. В Москву из Симфи прибыла делегация клуба «Баграм» — пятеро отлично тренированных «афганцев». У этих во главе угла, конечно, стояло счастье полуострова, а не мелкая личная выгода. «Вас, ребята, в бизнес-клубе хотели кинуть, — поведали они, — но мы кое с кем разобрались, и теперь все тип-топ. Пока что знайте: «Баграм» зачинателей крымской идеи в обиду не даст!»

Полетели все вместе обратно на будущую жемчужину Средиземноморья. В клубе «Баграм» их ждал банкет. Специальный самолет привез к столу несметное количество крабьих лап с Камчатки. Столы были заставлены французским шампанским «Веуве Кликуот» по 300 баксов бутылка. Оказалось, что уставный капитал «Канала» внезапно увеличился в шесть раз, да и вклад наших интеллектуалов непонятно каким образом вырос вдвое. Пили за Маринкины аристократические неотразимости, она понимающе улыбалась. Снова были клятвы в верности, в мужской дружбе и тайне. Пулеметчик-вертолетчик Никодим Дулин открыл на ноге вену и предложил всем желающим расписаться на историческом документе. Словом, лед тронулся и уже решено было, кому сколько надо занести и с кем выйти на стрелку.

И вдруг через месяц произошло разрушительное землетрясение. В Симфи для разработки системы охраны прибыл отряд из дружественной структуры ТНТ, что расшифровывалось как «Товарищество Надежных Телохранителей». Среди бела дня они окружили «Баграм», произвели там мощный взрыв тринитротолуола, а оставшихся в живых порешили автоматами, после чего забрали весь общак и в тот же день чартерным рейсом отбыли отдыхать на Канары. Единственный уцелевший «афганец», тот самый пулеметчик-вертолетчик Дима Дулин, запомнил, что во главе ТНТ стоял гладкий мужик, которого называли Налимом. Он поклялся достать эту рыбу, где бы она ни выплыла.

На этом мы завершим наш короткий экскурс в историю второй попытки капитализма в России. Пора подвести читателя к трепетному моменту встречи. «Шолохов» уже надвинулся, сильно надавил на гусятинский дебаркадер. В поле зрения наших «оперативников» остались только две пары туфель — мужские, сущие крокодилы, и женские, крокодиловые птички, да концы брюк гагстера, словно пожеванные каким-нибудь ветераном фауны.

— Ну, пора. А где его охрана, как ты думаешь?

— Черт его знает, — кажется, он без охраны, времени нет, идем! Вова, сторожи машину. Угонишь — найдем. Идем наверх, живо! Отодвигаем вахтенного матроса и пассажирского помощника. Спокойно, господа, мы из «Интерпола». У вас на борту опасный преступник. Просьба не мешать операции. — Любой читатель, даже и не особенно подготовленный по части криминальной литературы, заметит, что операция была не ахти как продумана. Например, ребята совершенно не представляли, как быть с Маринкой. Вдруг она выкинет что-нибудь безумное — ведь не стрелять же, право, в красивую девку, с которой так много связано хорошего. Не продумали они также и того простейшего факта, что Налима и на берегу могут ожидать его люди.

И правда — ждали. На берегу между дебаркадером и открытым кафе «Стрёма» стояли два представителя ТНТ из местных. Конечно, группировка могла обеспечить Налиму и более мощное прикрытие для возвращения на родину, однако и она допустила в этом эпизоде немало ляпов: вся страна ведь еще была недостаточно подготовлена к системе свободного

предпринимательства. Быть может, думали: ну, кто решится в родном Гусе поднять руку на Налима, бывшего секретаря райкома комсомола да к тому же потомка разбойного рода Окоевых? Впрочем, и эти два неслабых представителя могли разрушить плохо продуманные планы «каналлий» (так, оказывается, называли Славку и Герку в деловом мире Российской Федерации), если бы не стечение хаотических обстоятельств.

Теперь два «интерполовца» стремительно, руки в карманах кожанок, вышагивают по «Михаилу Шолохову». В конце прогулочной палубы они видят искомую парочку. Княжна что-то сердито выговаривает своему избраннику, а тот корячится с чемоданом. Быстрее, быстрее — стремительность обеспечит успех!

Чемодан был настоящим «хардамоном», а может быть, даже и «кончеронти» — иными словами, как всякая фирменная вещь, он был нелегко сам по себе, да и содержимое, похоже, было весомым. После четырехдневной пьянки и молодого мужика подломит такой багаж, а Налим, между прочим, уже разменял пятый десяток. Комсомольская закалка, однако, и тут его не подвела. Корячась с чемоданом, он вынашивал идиотскую, но опять же неслабую идею. «Силы не хватит, гибкостью возьму, — думал он. — Всегда все ж таки отличался известной гибкостью, скользким характером тела, потому и назван был Налимом. Нет, не опозорюсь перед любимой, вытяну, выдюжу и это нелегкое испытание за счет своей гибкости, общеизвестной в организации тягучести. А вот тем, кто не приходит на помощь, Коту и Самовару, что дрыхнут сейчас со своими телками, придется ответить перед товарищами. Запсочим хулососов в низовую хрюху!»

Протасив тяжесть метра два, он остановился передохнуть, поднял глаза и увидел, что новые ребята появились. Двое легких на ходу стремительно приближались. Несколько секунд оставалось до сближения. «Это не наши, — вдруг пронзило его до пят. — Это, кажется, из «Баграма» идут недобитые товарищи. Мочить идут!»

Убивая раньше людей, Налим никогда не думал, что делают пули с человеческими телами. Кем-кем, но доктором себя никогда не считал. Всевозможными конвульсиями, агониями и прочей патологией никогда не интересовался. Знал, куда палить — сначала в центр тела, а потом в башку, вслед за чем переступал через рухнувших, которые только что стояли по-

перек. Только сейчас он подумал о медицинской стороне замочки. Одна пуля пробьет грудную клетку, ей ничего не стоит. Раздерет там весь мотор комсомольского сердца. Упаду, смертельно затоскую, как Маринка бы прочла из стихов Николая Шамилёва. Вторая не-дура пробуравит кости недюжинной головы. Все окоемы тут же погаснут, ой, матушки, да ведь только же ж начали жить! Да кто же ожидал такого приема на дремотной родине?! Да что же получается, товарищи, давайте уж разберемся, ведь не в джунглях же ж живем!

В общем при взгляде на приближающихся не наших братьев Налим позорно разъехался по палубе — штиблеты версачьи заскользили, не подчиняясь телу, да и тело оказалось не на высоте, не наладило связи со штиблетами, растекаться стало и разваливаться, как подгнившая скульптура основоположника.

Надо сказать, что несколько секунд, оставшихся до завершения операции, стали и для самих мстителей нелегким испытанием. «Смотри, гадский Налим сует руку в карман, там у него пушка, значит, надо немедленно нажимать курки». Увы, операция и в психологическом смысле была из рук вон плохо подготовлена. Мочить или не мочить — эта философская дилемма была ими не до конца продумана. Конечно, револьверы были заряжены на полную катушку, однако вопрос убийства Налима оставался для этих револьверов чистой абстракцией. Ярость, вспыхнувшая в них после уничтожения «Баграма», давно улетучилась. Гнали в Гусятин с отчетливой целью — взять Налима, вериуть свои лимоны, накидать ему пиздюлей; ну, в случае необходимости, конечно, стрелять, и даже на поражение. Однако ни Мстиславу, ни Герасиму еще не приходилось стрелять в живое тело, и вот сейчас при виде отвратительной мишени — этого нажратого сладким составом бандитской жизни Налима они почувствовали, что не смогут его убить. Как-то получится слишком безобразно. Вдруг из него брызнет фонтанчик крови? Вдруг он изольется содержимым кишечника и мочевого пузыря? А ведь вслед за отвращением может возникнуть и жалость. Этот Налим из подлого бандита превратится в вызывающее жалость агонизирующее существо — что тогда?

Словом, на прогулочной палубе теплохода «Шолохов» сближались три растерянных существа. Одна только Маринка, княжна Дикобразова, оказалась на высоте. Она блестяще вы-

полнила свое собственное задание. Провезла по всему маршруту приговоренного «Каналом» злодея, упоила его до вегетативного состояния, вырубил двух его «быков» и наконец достала из сумочки свой маленький пистолет «беретта».

— Каков сюрприз! — шикарно сказала она своим двум сопредседателям. — Вот уж не думала, что вы сами появитесь, мальчишки, — соврала она (прекрасно знала, кто появится). — Я была уверена, что вы Дулина пришлете. Впрочем, так лучше, Дулин бы тут полгорода разворотил. Ну что ж, принимайте Налимчика под расписку.

— Сдала меня, сука, — прошелестел губами увядающий Налим. Он навалился на перила и стал выворачиваться наизнанку. Все вокруг размазывалось, и ему казалось, что он сейчас станет таким скользким, что утечет за борт без проблем. Только вот этого не хватало, блевотины.

Наши боевики тащили жертву за пояс. Мстислав поскользнулся, Герасим разъехался. Брякнулась на палубу пара наручников. Налим вылупился: перед ним возник Огромный-Коричневый.

Появление Огромного-Коричневого можно было бы приписать галлюцинации Налима, если бы его одновременно не увидели все участники этой нелепой сцены. Он спокойно вышел из-за закругления кормовой кают-компания, остановился и, кажется, немного причесал свою огненно-голубую шевелюру. Коричневым в его облике был вообще-то только широченный костюм; что касается огромности, то она возникла из-за пространства, которое он занял в контексте данной сцены. Детали лица от наших героев ускользнули, если они вообще присутствовали. Он как бы собирался пройти дальше, но тут как бы остановился, как бы привлеченный неуклюжей драмой предполагавшегося теракта. «Зачем вам это надо? — как бы спросил он Мстислава и Герасима. — Хотите, чтобы в башках у вас засела навсегда морская звезда отвращения и жалости?» Одновременно он и Налиму как бы адресовал следующее: «Перестань испражняться, бандит, не пачкай драмы!» И в тот же самый миг Маринке Дикобразовой было им как бы сказано: «Спрячьте вашу «беретту», мадам, и, подобно цветущей агаве, втяните в себя все содержание этой сцены».

В полной тишине все четверо смотрели на то место, где только что возвышался Огромный-Коричневый. Там, разумеется, уже никого не было.

— Ну хорошо, — произнесла Марина и дала своей крокодильской птичкой пинка в зад своему недавнему владельцу. — Приведите себя в порядок, Федор! А вы, мальчики, забудьте про свои стволы, если не умеете ими пользоваться! Берем улов под жабры и поехали туда, куда я вам скажу. Всем все ясно?

И впрямь началось что-то рыболовное. Марина и Мстислав потащили потомка гусятинской первой фамилии к родной земле. Позади Герасим волочил сверхтяжелый чемодан.

— Что ты туда навалил, Налим? — удивлялся он.

— Скоро увидишь, — косым ртом отвечал вождь ТНТ со странной в таких обстоятельствах угрожающей интонацией.

Чем же был занят во время атаки на Налима владелец парка культуры и отдыха Телескопов-Незаконный? Неужели просто сидел сложа руки и сторожил вездеход? А может быть, просто вытащил все ценное и смотался прочь из повествования? Нет, не похоже это на отпрыска прогремевшего в конце 60-х персонажа. Был он занят своей очередной бочкотаристой чепухой, но, как часто это бывало и с его папашей, чепуха эта принесла неожиданно благие результаты. Практически именно благодаря бестолковому гусятинскому охламону операция наших тоже не очень-то толковых столичных авантюристов завершилась успешно, по крайней мере на данный момент. Применяя тактику «замедления», известную нам по изучению трудов ОПОЯЗА, мы можем потратить лист бумаги для того, чтобы раздвинуть только что завершившуюся сцену.

Едва только его новые друзья и покровители поднялись на дебаркадер, Лёлик Т.-Н. заметил в кармане висящего в «Ниве» анорака изрядное количество русских тыщ. Стоит ли говорить о том, что он немедленно приватизировал эту пачку и закосилапил к «храму удачи», как он нередко называл капиталистическое кафе «Стрёма», что возвышалось над пристанью со своими зонтиками «Мальборо». Вот какая странная для России оказалась психология у этого человека: с одной стороны, он понимал, что нельзя упускать свой шанс, что в качестве шестерки при этих динамичных ребятах он сможет вырваться из захолустья, однако, с другой стороны, желание отлакировать «кристалл» шампанским было непреодолимо.

При виде Лёлика буфетчик «Стрёмы» хотел выйти из-за стойки и дать ему пинка, поскольку тот всегда старался рас-

платиться зонтиками, а зонтики в этом заведении повышенной комфортности принципиально не брали, однако тот, к полному изумлению буфетчика, извлек настоящие бумажные деньги и заказал две бутылки пузырящегося вина «Надежда». Момент огромного, взхлеб, глотка счастливо приближался, но так и не наступил. Не успел Олег (оказывается, не Владимир!) Владимирович открутить проволоку, как заметил в углу террасы свою матушку Серафиму Игнатьевну, которая, полностью неглижируя свой почтенный возраст, восседала там величественно с новым отчимом Т.-Н. Гачиком Шальяиом, который был всего на шесть лет старше своего пасынка. С ними за большим столом, составленным из трех маленьких, гуляла вся гусятинская коммерческая элита. Все они уставились на Лёлика, а отчим, не раздумывая, тут же швырнул в пасынка уже откупоренную бутылку «Надежды», поскольку во время последней встречи пообещал разбить ему голову бутылкой. Бутылка пошла, волоча за собой пенящуюся струю. Глядя снизу на ее полет, Т.-Н. понял, что траектория обязательно завершится на его голове, и успел этим предметом задрожать в ужасе. Это была спасительная для него дрожь. «Надежда» лишь чиркнула по щеке мишени и, обдав ее, то есть щеку мишени, сгустком пены, разнеслась вдребезги от соприкосновения с цементным полом террасы. Каждый из осколков этой бутылки мог породить так называемую «экзистенциальную ситуацию», однако довелось это сделать только одному. Этот избранный осколок попал под колено человеку, не имеющему никакого отношения к описанной вспышке страстей.

По странному стечению обстоятельств, на террасу как раз поднялся атлетический юноша Юра Броммель, по кличке — ну, догадайтесь — правильно — Бром. Этот чемпион Гусятинской префектуры по кикбоксингу давно уже дожидался теплых дней, чтобы перейти на шорты. Вид его обнаженных нижних конечностей производил сильное — чтобы не сказать неслабое — впечатление на пассажиров туристских круизов и дам элиты. И вот он появился в своем лучшем виде, красивый, как Ахилл с лицом Купидона. Будь на нем привычные «ливайсы», Бром отделался бы в худшем случае царапиной. В экзистенциальных обстоятельствах осколок без оговорок рассек ему подколенную артерию, как она там называется по-латыни. Мгновенье — и он уже плясал на одной ноге, меж тем вторая шла вразнос, поливая посетителей кафе не худшим в округе

составом крови. Приплясывая и пытаясь зажать рану, он думал тревожную думу: «Не по делу выступаю, ой, не по делу!»

Вот эта-то сцена и отвлекла двух местных активистов ТНТ — Борю Клопова и Равиля Шамашедшина, посланных организацией на встречу лидера. Круша все вокруг себя, они стали выдвигаться на помощь школьному товарищу, а гусятинская элита встретила бойцов кто с кастетом, кто с шашлычным шампуром. Еще мгновение, и вся «Стрёма» уже билась друг с другом и фамилий не спрашивала. Милиция в расчете на щедрые контрибуции сгруппировалась вокруг поля боя.

Лёлик Телескопов-Незаконный больше никого уже не интересовал, включая его величественную, как и подобает героиням классики, мамашу. В таком случае он пошел прочь, раз никто не интересуется. С двумя бутылками «Надежды» он проследовал к пристани, где и воссоединился с группой захвата.

Рассейся, мой бедный народ!

Красавица в шиншилловой накидке поразила воображение Т.-Незаконного. Сочный бандитский рот ее распоряжался целой группой мужчин.

— Где ваша тачка? Дерьма пожиже не могли найти? Суйте Налима башкой вниз!

— *Pardone, mon cher, je ne voulais pas vous vexer!*¹

— Чемодан не забудьте, дурни! Так, я за руль, Славка рядом со мной! Пушки на изготовку, пацаны! Без команды не стрелять! А это еще что за лох к нам клеится?

Тут она уставилась на Телескопова-Н., а тот задрожал всей своей головою, которая не раз своей дрожью выручала его в трудных ситуациях. Вдруг он понял, кто стоит перед ним в такой испепеляющей неотразимости. Да ведь это же не кто иная, как маленькая племянница тети Гортензии Горгорышевой!

— Мариночка, крошечка, да ведь я же тебя в детский садик за ручку водил!

Грубая лесть, как всегда, сработала. Маринка махнула лоху:

¹ Извините, моя курчавая, я не хотел вас обидеть! (фр.)

— Садись!

Не хочется лишний раз смущать читателя, однако не можем не сообщить, что князья-то Дикобразовы тоже, оказывается, принадлежали к этим стрёмным местам еще с XII века, а то и раньше. В полноводных угодьях стояли их поместья, что поначалу топорщились частоколом, а потом с каждым столетием облагораживались в стиле «*Sans-soucis*»¹.

Здесь-то и начал их трепать сельский пролетариат, пробудившийся от спячки повиновения, здесь-то он и ошипывал своих князей, как павлинов в засранных усадьбах. Здесь-то и приспособился недорезанный род, ушел, отбросив титулы, в сердцевину очистительного процесса, в ЧК. Так и выжил, так и дотянул до нового очистительного процесса, то есть до приватизации.

Теперь последняя княжна Дикобразова, бывшая аспирантка кафедры франко-германской филологии, а ныне член правления ООО «Канал», с ревом гнала вездеход по ухабам своей родины в пока еще неизвестном автору направлении.

Гусятинские дворы давно уже кончились, гибельная пустыня лежала теперь впереди под химическими составными бесконечного северного заката. Птицы давно уже отлетели от этих мест, а может быть, и попадали на лету. Чернеющий в глубине перспективы комбинат бесповоротно пожрал все сносное. Одни сучья торчали, отражаясь в глубоких лужах дороги, да изредка какой-нибудь мутант покачивался на слабых ногах.

Довольно, не жди, не надейся.

Рассейся, мой бедный народ! —

вспоминали филологи. Примерно то же самое, но в других выражениях вспоминал Олег. То же самое, но совсем уже в других выражениях вспоминалось Налиму башкой вниз. Каждый километр дороги казался всему экипажу последним, но все-таки куда-то летели, падая в лужи, пробуксовывая, визжа и скрежеща. И вот наконец направление по сюжету определилось. Химическая пустыня заканчивалась, в стороне от кошмарных чертогов комбината появились белые стены и башни Свято-Семирамидского монастыря. Во время оно кремлевские

¹ Без забот (фр.).

тираны ссылали сюда неверных жен и слишком пылких любовниц. Маялась тут и Мария Нагая, главного русского изверга любовь и злоба. Не отставали от царей и сатрапы. Десятилетиями держали тут женщин по кельям на цепи якобы для того, чтобы замаливали свои грехи. Множество страшных былин возникло тут среди идиллического пейзажа — истории удушений, отравлений, псиной травли. Нет, все-таки не даром воздвигнут был по соседству Череповидовский комбинат: злобный дух лхолоетий всегда витал над большевистскими мероприятиями.

В народе сейчас об этом средневековом «лагере смерти» говорить не любят. Единственный сюжет остался жить благодаря живописи XVIII века. Речь идет о гибели в огне княжны Дикобразовой. Якобы некий петербургский временщик, чтобы избежать гнева императрицы, подпалил келью опальной красавицы. Всем известна большая художественная картина на эту тему: полуобнаженная княжна распростерта на полу, негде укрыться от дьяволов огня, неудержимо рвущихся в камеру через раскаленную решетку окна и полыхающую дверь, и все-таки глаза девушки полны не страха, а дерзости, неукротимого вызова самодурам прошлого; в общем, сильнейший обличительный документ в адрес прогнившего строя.

Маринку Дикобразову дразнили на факультете «княжной Дикобразовой», имея в виду общеизвестную картину. Шутка считалась вполне дурацким клише в той же степени, что и неизбежное упоминание Муму при имени Герасима. Маринка грубовато, в стиле «Двенадцати коллегий», похихатывала: ну и остряки тут у нас подобрались! Никому и в голову не приходило, что однокурсница пронзросла как раз из тех самых Дикобразовых, что сожженной девушке она приходилась ни больше ни меньше как внучатой племянницей в седьмом колене.

Скрылся за горизонтом комбинат, и засвистел по всему пространству соловьи. Обремененные певчим племенем, свисали над почти непроезжей дорогой кусты сирени. На первой скорости шатко-валко продвигались авантюристы к стенам Свято-Семирамидского. Уже слышно было, как скрипят на последней петле повисшие ворота духовной крепости. Из угловой башни росло дерево. И здесь, оказалось, скособоченный, гипсовый стоит ублюдочек Ильич Владимир. Несколько рас-

колотых или продавленных вывесок лепилось под ранней лунной по стене главного монастырского дома. Кое-где все-таки читалось: «школа механизации», «областной коллектор» и обрывки «...черм...», «...адзо...», «...ел ацн...».

Никто не выглянул в окно на шум машины. Нигде вообще не определялось никаких признаков жизни, за исключением какого-то темного провала, откуда шло голубоватое свечение и доносился взволнованный разговор по-испански. Несмотря на разруху, в монастыре, как и повсюду, смотрели мексиканский сериал «Богатые тоже плачут». Это удерживало страну от уличных бунтов.

Маринка проехала мимо главного дома, повернула за угол, пересекла площадь перед частично обвалившимся храмом и углубилась в подобие улочки, спускающейся меж заброшенных строений к реке; очевидно, знала, куда едет. Остановились в тупике перед зияющим проломом с остатками дверной рамы и вывеской «Общежи... ед... ала». Здесь Маринка приказала разгружаться. Ребята вытащили Налима. Голова пленника болталась из стороны в сторону, пока не упала на грудь, окончательно испачкав рубашку.

— Дайте хоть выпить, сволочи, — пробормотал он. Его повлекли наверх по опасной лестнице.

Фары «Нивы» были единственным источником света в закоулке. На лестнице даже говню уже не пахло, не видно было ни кошек, ни крыс — все вымерло за годы перестройки. Оказалось, что строение сливается с крепостной стеной и выходит к реке высоким отвесом. Комната, куда вошли авантюристы — напоминаем: Мстислав, Герасим, Олег Телескопов-Незаконный, ведомые дерзновенной Маринкой Дикобразовой, — была довольно обширным каменным мешком с проломом во внешней стене, откуда открывался вид на острова и протоки Стрёмы. В пролом этот и улетели с шумом то ли птицы, то ли черти. Чей-то преувеличенный глаз глянул внутрь, подмигнул и оставил в покое.

— Вот здесь и разберемся с Налимом, — сказала Маринка. — Здесь нас ни один тээнтэшник не найдет. — Она щелкнула выключателем, неожиданно загорелся свет. В центре комнаты положили чемодан; код замка был Марине, конечно, известен: «Полтава». Откинули крышку. Как и ожидалось, на первом плане фигурировал «калашников», рядом расположились два товарища поскромнее — «макаров» и «блумкин», к

ним гарнир — пяток гранат. Под этим «хардвза» шел слой мягкого: шелка и кашемиры, личные вещи Налима с фирменными этикетками, ну а ниже, занимая половину всей емкости, лежали пакеты с баксами — общак ТНТ.

У Мстислава разболелась голова, он не чувствовал себя ни мстителем, ни славянином.

— Ну говори, негодяй, зачем уничтожили баграмовцев? — устало спросил он.

Налим ответил маловразумительным клокотанием, но все-таки можно было что-то уразуметь: «сами напросились» или что-то в этом роде.

Маринка подошла к пролому, потянулась в лунном свете:

— Ах, Герка, Герка, ведь это же здесь, вот именно в этой келье мою прапрапрапрапрапрапатетю жгли, а теперь мы здесь с тобой, бандиты нашей родины!

Читатели, друзья, располагайте этот пролом, и лунный свет, и связанную тушу врага как вам угодно, мы же только добавим к вашей мизансцене крепко обозначенные икры на стройных ногах княжны, а также рельеф плечей, освободившихся от шиншилловой накидки.

Герасим развел руками: комментарии излишни, дикобраз момент неотразимо! Мстислав с Олегом тут же покинули помещение. Погасло тусклое электричество. Женщина, ее величество, или, так скажем, ее светлость, потянула старого друга за пояс штанов.

Олег знал, куда ехать. Элита окрестных поселков собиралась по вечерам в баре «Стреляй» возле развалин МТС. Когда они вошли, во мраке среди хрустальных шаров пела финская певица Юлью Ласканен. Уже в который раз эта женщина нелегкой судьбы отставала тут от тургрупп, увлеченная вымирающим племенем местных блондинов. Каждое утро, отбрыкиваясь от очередного кучерявого, мадемуазель Ласканен клялась сегодня же уехать, однако каждый вечер снова появлялась в «Стреляй» и пела *I'm beginning to see the light*¹.

Ей казалось, что ей за это платят, на самом же деле вокруг нее опохмелялось не менее дюжины тунеядцев.

Элита, нахлобучив на носы тяжелые надбровные дуги, нехорошо смотрела на приезжих. Кто-то уже опознал непуте-

¹ Я начинаю видеть свет (англ.).

вого Лёлика и готовился бить. Мстислав — правая рука в кармане — разговаривал на оксфордском наречии с финкой, чей английский состоял из блюзов. Т.-Н. между тем, не считая денег, набирал из буфета литровые «абсолюты», ящик пива «Синебрюхов», увесистые сервелаты, коими можно было и обороняться, не прибегая к убийству.

— Save me regardless of whether you like me or not¹, — неожиданно пропела сорокалетняя половая партизанка. Лёлик катанул по полу банку с калифорнийскими артишоками.

— Ложись, бомба!

Так им троим удалось в тот вечер спастись.

В келье, когда они вернулись, было тихо и пустынно, только связанное тело насвистывало, весьма близко к первоисточнику, песню Пахмутовой «Надежда, мой компас земной». Герасима и Марины в келье не было, однако их голоса были слышны поблизости, за проломом, в лунном с черемухой пространстве, в коем не последнюю роль играла струящаяся и будто не оскверненная комбинатом Вольжа.

— Avant tout dites-moi, mon cher, comment vous allez?² — нежным шепотом, разносящимся по округе, вопрошала княжна.

— Voilà l'avantage d'être bandit. Vous pouvez lever les yeux sur les bonnes dames de la noblesse³, — глуховато, но как-то гармонично, словно контрабас, отвечал ей ее друг.

— C'est bien beau ce que vous venez de dire⁴, — смеялась Дикобразова.

Мстислав выглянул из пролома. Двое сидели, свесив ноги, на выступе стены. Они были похожи на влюбленных школьников. Он позавидовал другу, наш молодой герой. При всей фальши этой ситуации Герка все-таки счастлив в эти минуты. Гуляющая аристократка подарила ему классный обман. За это можно отдать ей все лимоны из бандитского чемодана. Он любит ее сейчас, наверное, не меньше, чем я свою пропавшую.

— Кто она?! — вскричали одновременно автор и читатель. Славка надменно повернул башку в нашу сторону. «Mind your own busi-ness»¹, — проговорил он, словно мы были иностранцы.

¹ Спаси меня, независимо от того, нравлюсь я тебе или нет (англ.).

² Прежде всего скажи мне, мой друг, как ты? (фр.)

³ Вот преимущество бандитизма — любоваться светской женщиной (фр.).

⁴ Это самое лучшее, что вы могли сказать (фр.).

«Это век каких-то невероятных женщин, — продолжил он свои размышления. — Они сводят нас с ума. Вся перестройка, весь антисоветский подъем возникли под влиянием этих женщин. Вот почему мы не сбежали от танков — потому что эти женщины, эти странные существа были рядом. Они ободрили мужиков, доведенных уже, казалось, до полной импотенции. *«Allez-y, mon cher»*², — казалось говорили они, и все в ответ вздымалось непримиримо и окончательно».

Он взял бутылку «Синебрюхова» и устроился в проломе, прислонившись спиной к монастырским вековым кирпичам. Луна смотрела теперь ему прямо в лицо, внимательно изучала. «Я перед тобой, — сказал он ей. — Да, мы связали человека и забрали у него награбленные деньги. Но не убьем, не беспокойся». В дальнем от него углу кельи в темноте копошились незаконный сын литгероя поколения наших родителей со сногшибательной финкой того же поколения. Самозабвенно там клочкотали «абсолюткой». И хохотали. Блаженство всегда приходит неожиданно. И иссыхает так же.

Мстислав за свои 27 лет, похоже, немало повидал. Уже промелькнула фраза насчет тюрьмы, но за что он сидел, когда и как долго, мы пока не знаем. Что говорить — нам пока неизвестна даже его фамилия. Таковы странности начальной фазы. Вдруг проскакивает упоминание пропавшей любви. Кто она, когда она, куда она? Может быть, ее похитили и продали за рубеж?

Пока что мы не можем этого типа расспросить подробно, мы почему-то чувствуем себя скованно с ним, нам не с руки «развивать» его именно здесь, в разрушенном монастыре, после совершенного акта захвата в келье, где двести лет назад сторела романтическая княжна и где только что ее семижды отдаленная племянница рукояткой «блуждающей» смирила обработанного ею хахала Налима, чтобы перейти уже в сферы французских чувств. Нам хочется лишь сказать, что пока еще этот Мстислав вовсе не такой, каким хочет казаться, не крутой, хотя и не всмятку, и что этой ночью он втянут в диалог со спутником нашей планеты.

«Ты, Луна, быть может, кажешься себе вечной, — обращается он к ночному светилу. — Ничто не ново под луной, так

¹ Займитесь своим делом (*англ.*).

² Ну, давай, мой милый (*фр.*).

говорят здешние мудрецы, и из этого вроде бы вытекает, что ты была и будешь всегда. Последняя человеческая смерть, однако, может завершить и тебя, Луна. Со смертью последнего глаза пропадешь и ты, Луна. Что будет с тобой за пределами нашего зрения, безмолвная? Существует ли какой-нибудь твой знак в беззнаковом царстве? На какой URL ты отвечаешь? Не чванься, Луна, мы так с тобой малы даже и перед лицом объективных галактик! Что же говорить о тех обстоятельствах, в которых и галактики теряют свое молоко? Вдруг оказывается, что и они, необозримые, так же малы, как и велики — так же, как и мы с тобой, о Луна». Так обращается он к ней, и Луна как идеальный участник диалога отвечает молчанием.

Он вынимает из кармана мобильный телефончик, отобранный у Налима, и звонит в штаб ТНТ.

— Привет из «Баграма», комса! Завтра можете забрать своего вождя в Гусе под памятником Ленину. — После этого спрыгивает на пол и кричит: — Подъем! Завязывайте с вашим трахнутым сексом, ребята! Собирайте баксы! Первая глава окончена, действие продолжается!

Наутро две сестры-побирушки, тетя Гортензия и тетя Калерия, с удивлением увидели в центре города своего отдаленного племянника Федюшу Окомова. Он был привязан к ноге Ильича и, кажется, чувствовал себя вполне сносно, учитывая тот факт, что памятник имел почти прямое отношение к его родословной.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Кстати о человечестве

Я снял с принтера первую часть и, не перечитывая, сразу вошел во вторую, чтобы «фикснуть себе брекфест», говоря поэмигрантски. Пока заваривал чай и подогревал краюху хлеба, смотрел в окно на поведение птиц и маленьких животных. Сущая свистопляска. С тех пор как подвесили кормушки, у дома стало порхать множество здешней крылатой братии: все эти финчи, роббины, ориолы и кардиналы; иной раз залетает мэгпай, а то вдруг из зеленых глубин близкого леса, словно воздушный разведчик, пожалует хупу. В данный момент на перилах дека сидит неизвестный принц: густо-оранжевый плюмаж, серебристое жабо, черный торчком хвост, ни дать ни взять елизаветинский вельможа. Вудпеккер, что ли?

Все они, кажется, уже обожрались моим зерном. Во всяком случае, не поднимают, как раньше, шухера, когда налетают белки. Просто сидят вокруг и смотрят, как те раскачиваются, чаще всего головенками вниз, на подвешенных птичьих кормушках, просто ждут, когда грызуны накушаются; полное спокойствие — всем, мол, хватит. Беличье раскачивание кормушек между тем способствует обильному высыпанию зерна, а внизу это благодатное явление природы приветствуют чипманки и разные прочие стремительные чаффинчи.

Так создается общество вэлфэра, идеальная утопия, невиданный коммунизм. Однако, что однако? Дурная профессия не позволяет и тут не спрогнозировать ка-



кую-нибудь сложную конфликтную ситуацию. В последнее время я стал замечать, что эти создания начали утрачивать свою подвижность, а ведь бесконечная стремительная подвижность как бы заложена в самом смысле их существования. То и дело можно увидеть, как отяжелевшая задней частью белка сидит без движения на столбике забора. Даже бурундучок, слывущий самым молниеносным животным в мире, а теперь опупевший от полной сытости, застывает на крышке вентилятора и подолгу там пребывает, создавая впечатление то ли перочинного ножика, то ли древнего философа. Беспрерывный поиск пищи составлял суть его существования, а теперь, набив себе брыля, он, видно, задумался о чем-то более фундаментальном.

Вот тут-то и слопает его плотоядная лисица. Тут-то и завяжется конфликт, способный нарушить всю экологию нашего края. Ведь мой дом не одинок в смысле птичьих кормушек. Весь поселок — а рядом десятки других таких же поселков — дает безобидным жителям леса возможность не заботиться о пропитании, а стало быть, открывает и новые перспективы хищникам. Представим себе, что лиса обожралась задумавшимися бурундуками, вот она и сама отяготилась лишними мыслями. Оленю теперь ничего не стоит забить ее своими копытами. Ворон, погуляв по лисе, перестает выполнять свои обязанности санитара леса. У ястреба стало слишком много доступной живинки. Задумавшись о постороннем, он может прекратить свой вечный парящий розыск, упадет и разобьется. Излишние количества трупного яда приведут в конце концов к какому-то патологическому сдвигу — скажем, к возникновению мутантного вида муравьев и к бессмысленному покорению ими всего леса. Вот муравьи-то и начнут осаду человеческих жилищ.

Попивая чай и откусывая понемногу от ломтя подсушенного хлеба, я навязывал себе эти глубокомысленные соображения в духе нашего Центра по анализу и решению конфликтных ситуаций. Мне нужно было отвлечься от первой главы и перестать думать о странной компании персонажей, которая там подбирается. Надо подольше покопошиться во второй, в этом пустом доме «старого иностранного профессора», как меня тут называют.

Снизу поднялся мой единственный сожитель, крупный кот Онегин, как всегда величественный; рыжий хвост трубой. Прыгнул на кухонный стол, презрительно понюхал чайник,

после чего стал смотреть на копошение птиц и зверьков. Глаза его то расширялись, то суживались. Вот кто тут мог бы вмешаться в экоцепь, если бы не пристрастился к филе-миньонам. Впрочем, он мог бы завести роман с лисой, и тогда она бы спаслась от копыт оленя. В принципе этот кот, которому я полностью доверяю, мог бы появиться еще в первой главе. Он мог бы, скажем, оказаться хозяином заброшенного монастыря. Тогда бы там все повернулось другим боком, запахло бы паленой булгаковщиной. В специальном журнале написали б: «Стас Ваксина постоянно устраивает сомнительные переключки. Живя в чрезвычайно дальнем зарубежье, он назойливо тревожит контекст нашей литературы».

Нет-нет, Онегин и сам не пойдет в первую главу. Он отвык от могущественных запахов родины. Рожденный на Арбате, он в трехмесячном возрасте перелетел океан в кармане моего пальто, дважды туда написав. Из этой мокрой теплой норы он уже вылез американцем. Отпечатанный на принтере текст он считает окончательным и очень не любит, когда я начинаю чиркать там пером. Выпускает когти, дергает края бумаги. Фыркает, как фыркал когда-то мой первый сын Дельфин, глядя на папины творческие муки. «Что ты все пишешь, пишешь?» — спрашивал четырехлетний мальчик. «Деньги нужны, Дельфин, вот и пишу», — оправдывался я. «Так зачем же тогда зачеркиваешь?» — удивлялся малец.

Надо отвлечься от первой части. Просто забыть, что она существует. Делать вид, что роман не начат. Нет никакой уверенности, что именно с этими людьми надо начинать книгу — с этой говенной, ошалевшей от денег молодежью. В чем их достоинства? В том лишь, что они родились на тридцать лет позже нас? Джаггернаута все-таки развалили отцы, а эти лишь растаскивают остатки. Однако припомни первичные импульсы. Что тебя снова втянуло в многолетнюю авантюру, если не желание найти каких-то гипотетических героев девяностых годов? Вздор, вздор все эти временные деления, десятилетия и даже столетия — чистейшая условность. В литературе давно уже воцарилось клише выделять поколения и приписывать им всякие новые качества, между тем как род человеческий просто идет волна за волной.

Продумывая эту нигилистическую мысль, я застыл с недопитым чаем, а потом пришел к полной ее противоположности: нет, все-таки существует какая-то странная цельность и

манящая ностальгия в этих наших временных отрывках и в завораживающих попытках очертить все эти так называемые поколения.

Ну хорошо, вспомни профессиональные навыки. Неделю не надо подходить к первой части. Не думай о вступлении в эпос-хватать-его-за-нос, позволь себе неправильное ударение. Лучший способ завалить роман — это развить в себе страсть к марианию. Этот жанр все-таки хорош своим несовершенством.

Ну хорошо, завтрак завершается, краюха баварского хлеба почти изглодана. Помню, приехав в Америку 18 лет назад, все наше семейство стало увлекаться этими пресловутыми hearty breakfast'ами: огромный стакан свежавыжатого сока, стопка поджаренного бекона, тосты, яйца в разных видах, свиные сосисочки, ячменные блинчики с патокой, здоровенные кружки кофе со сливками. Годы прошли, семейство разбежалось, все меньше хочется жрать. Завтраки сведены к черствой булке и чашке чая — правда, крепкого такого, британского, бодрящего. Странное дело — от кофе воротит, чай возвращает в актив.

Кстати о человечестве. Чем оно занято поутрянке? Пора включать коммуникации. На 101,0 все еще идет «неделя бигбэндов»: трубы, кларнеты и саксы трубят ритмы юности — «У меня есть девчонка в Каламазу». На 119,1 оперная ария «Ах, никогда я так не жаждал жнзни» сменяется рекламой кладбища «Лучезарная память», которое только что обогатилось новыми, в готическом стиле воротами. 909,5 в духе нынешней ветреной и холодной весны с ее слабо зеленеющей прозрачностью отдаленных рощ передает клавишинный плеск Боккерини. Оставив этот концерт фоном, включаю CNN. Там, среди боснийских или косовских гор, неторопливо передвигается вооруженная молодежь, «поколение девяностых»: темные очки, флак-жилеты, татуированные конечности. Интересно, что никто не надевает касок. Надо, чтобы по телевизору были видны причесочки или повязки-банданы. Среди множества очевидных причин современных конфликтов есть одна подспудная: нарциссизм. Боевики влюблены в свой молодой пол с изрыгающими огонь стволами. У многих конфликтов есть сексуальный подтекст. Недаром в Чечне и в Сребренице отмечались нередкие случаи кастрации пленных.

В принципе тех ребят, что появились в первой части, трудно представить в отрядах повстанцев, в каких-то свободо-

любивых и мстительных бандах. Все-таки нужно как-то отделить тех от этих, ведь они вроде бы не такие. Ну хотя бы эти, вдруг выпрыгнувшие ниоткуда прямо в первую главу Мстислав, Герасим, Марина, — у них все-таки глаза не пустые, в них читается грусть, как у всех человекоподобных — посмотрите на горилл. Главное, нужно разобраться в их прошлом, хотя бы упомянуть их семьи, отцов там всяких и матерей. Конечно, я и сам вроде как бы отец этим гомункулюсам, но все-таки они нуждаются в биографии. А еще главнее, надо о них забыть хотя бы на несколько дней. У меня ведь, между прочим, еще семестр не кончился. Курсовые работы нарастают на столе, как тещины блины. У меня была такая третья теща, русофобка Мэрилу. «Это ридикюльно, — кипятилась она, — почему русские приписывают блины себе?! Блин — это древнейшая пища всех народов!» Она затевала блины и пекла их до полного отпада, чтобы посрамить Россию. «Ридикюлоус, ридикюлоус», — шипела она, как сковородка, а гора все росла и росла.

Одинокий Стас Ваксинно

Я включаю автоответчик и сразу же слышу голос Эйба Шумейкера, своего коллеги по Центру изучения и решения конфликтных ситуаций. «Давай встретимся на ланч перед Вибиге, идет? Мне нужно с тобой говорить. Позвони мне обратно. О'кей?» Эйб предпочитает говорить со мной по-русски. У него почти нет акцента. Десять лет назад его, конечно, принимали за эстонца, но он всегда стремился там сойти за своего еврея. Очень часто так и получалось, пока он вдруг не употреблял какой-нибудь совершенно несусветный прямой перевод. Однажды весь московский бар в изумлении повернулся к нему, когда он заказал «одно стекло вина».

Гош, получается довольно забитый день! Утренний класс, обсуждение двенадцати курсовых работ плюс слайды супрематизма. Проверка e-mail, телефоны, заказ книг на осень. Потом ланч с Шумейкером. Догадываюсь о теме срочной конфиденциальной беседы. О чем бы мы ни говорили, будь это Босния, Кавказ, Восточный Тимор или раннее христианство, — все сводится в конечном счете к одному: как жить ему, одинокому ипохондрику? Засим последует традиционная четверго-

вая дискуссия у нашей директрисы Вибиге Олссон. И здесь все мировые конфликты приводят к самому животрепещущему — к выборам нового провоста. Завершается день в аэропорту, встреча сестер Остроуховых. Значит, до этого надо будет заехать на шопинг в «Свежие Поля»: прокормить трех прожорливых дам не так-то просто.

Разгорается понемногу весна — она, кажется, опять принесет конец моему одиночеству. Не исключено, что вслед за прилетом сестер начнется новое нашествие соотечественников. Десять лет назад, после смерти моей любимой Кимберли, я остался один в этом большущем доме, что задними окнами смотрит в дремучий лес, а фасадом обращен в сторону стеклянных террас «коридора высокой технологии». Ненадолго здесь появилась вздорная Марджи со своей мамочкой, русофобкой Мэрилу, но потом они отправились погостить в Орегон и не вернулись. Я снова остался один, если не считать редких и всегда неожиданных промельков Прозрачного. Я впал тогда в элегическое настроение и утешал себя строчками Анненского про «одинокость прекрасные плоды». Плодов действительно собралось немало — чем еще заняться старику под шум титанических деревьев, если не плодоношением, — однако некому было оценить их прекрасность.

Между тем в Советском Союзе начали приоткрываться шлюзы, и вскоре хлынуло. Друзья звонили день-деньской и извещали о прибытии. Нет, они не напрашивались в гости, они другого и не представляли. Для каждого советского тогда поездка в Америку казалась всемирно-историческим событием. «Вообрази! Я! Еду! В Америку! Ведь меня же никогда никуда! Не пускали (или не посылали, ухмыльнется тут какой-нибудь Фома-невера)! И представь, у кого я остановлюсь, — у Стасика! (Фома-невера делает вид, что не понимает, о ком идет речь, — у Власика?) У Стаса Ваксина, кричит счастливец, того самого, ведь мы с ним когда-то немало ведь водки-то! (Да много ли, думает Фома-невера, но потом сдается слишком неподделен энтузиазм.)

В апогее этого открытия Америки дом был заполнен под крышу. Народ располагался не только в спальнях, но и в гостиной, и в столовой, где у американцев в общем-то не принято располагаться. В какой-то момент даже в гараже пришлось поставить две койки. Подвал вообще стал шумным общежитием. Каждый раз, возвращаясь из университета, я гадал, сколько

персон соберется к ужину, и каждый раз ошибался. Иногда было меньше: кто-то неожиданно отлучался, но чаще больше, потому что гости приглашали своих гостей: ведь Стас не откажет, он будет только в восторге, ведь он здесь истосковался без московского-то духа — ну без этой нашей своеобразички.

Как-то раз я подъехал около двух ночи, когда все огни были погашены. Перешагнув порог, я увидел, что в anteroom, ну, как это по-нашему — в прихожей, что ли, — кто-то сопит на двух сдвинутых креслах. С удивлением я опознал чету Славостелькиных, они мирно спали валетом.

Из подвала доносился плач ребенка — это, кажется, внучка Марата Абдулова. Наверху, в одной из ванных комнат, что-то ритмично поскрипывало; не обращайтесь вниманья, маэстро. В гостиной, открыв большую пасть, напевал какой-то вокализ во сне скульптор, который привез в дар Вашингтону бронзовую скульптуру «Пушкин в возрасте Державина». Все диваны здесь были заняты: Марк, Руслан, Ася Дмитриевна, Изя Незабудкин, двое десятилетних детей, Збышек Ржевич (проездом из Варшавы в Мельбурн)... Все четыре спальни, разумеется, были заняты. Меня давно уже оттеснили в кабинет, то есть туда, где я, собственно говоря, и проводил все время, когда был в одиночестве. Двигаясь осторожно, чтобы ненароком на кого-нибудь не наступить, я поднимался по лестнице. В кабинете ждал меня сюрприз. На моем ложе таял во сне «поющий и рисующий поэт» Леон Межумышлин. Вчера у соседей Мак-Маевских он всех достал своим псевдопостмодернистским кваканьем с русопятскими завываниями. В завершение «акции» он преподнес хозяевам, людям исключительного благородства, портреты каких-то волосисто-слизистых ублюдков и объяснил, что это их метафизические сути. Затем собрал со всех по двадцатке и испарился. И вот, оказывается, приземлился на моем единственном ложе...

Я стоял посреди кабинета. Луч псевдовечной луны освещал дергающийся кадык псевдопоэта. Почему-то я чувствовал себя глубоко оскорбленным. Это, конечно, сестры О засунули сюда Межумышлина, эти сучки. Совсем зарпортовались в своем амикошонстве. Засунуть в мою единственную койку такого приживалу и бездаря — это уж слишком. Никто в окружении не понимает, что пользуется дурацким гостеприимством большого писателя, крупного деятеля просвещения, незаурядного конфликтолога и просто пожилого человека. Для

всех я какой-то полуанекдотический «Стас», которого можно выжить из его собственного дома.

Забрав из кладовки что-то чудом оставшееся из одеял и подушек, я вышел на дек, раскрыл там зонт, чтобы защититься от потоков псевдоромантики, и растянулся на досках. Пусть идиотки увидят, как ночует в своем доме б.п., к.д.п., н.к. и просто п.ч.!

Утром в суете и страшном гвалте — слышали, что Ельцин сказал, что Горбачев сказал, что Хасбулатов придумал? — никто и не заметил моего манифеста. Позднее я узнал, что Межумышлин жаловался в Москве, что Ваксина выгнал его на дек и он там спал на голых досках.

Читатель, конечно, скажет: а на фига вы, маэстро, так распахнули свой дом, что вас грело в вашем хаотическом гостеприимстве — тщеславие, желание показать себя американским благодетелем; может быть, вы ждали благодарности от вновь обретенных соотечественников? Смешно, советский человек не любит произносить слово «спасибо» — для него это сущая мука. Этимологически это слово для него пустое место. Как-то следовало повести себя более рационально, Стас Ваксина, в вашем-то возрасте.

Вы правы, читатель. А может быть, и ошибаетесь. Я не знаю. Качу все на сестер, этих трех парок Чехова. Именно они, раз появившись, завели манеру приглашать в дом всякого, кто позвонит, «из наших».

«Ваксина, — говорили они, — а как же иначе? Люди хотят тебя видеть, хотят приобщиться. Ведь каждый дрожит: а вдруг большевики опомнятся и закроют границу?» Такая логика была мне абсолютно понятна, должен признаться. Уж не говорю о том, что внимание действительно льстило. Как-то ободряло — ведь еще недавно большинство этих друзей побоялось бы и приблизиться к «врагу народа».

Как сейчас вижу наши шумные завтраки. Народ спускается на кухню, расползается по комнатам и лестницам, иные с тарелками и кружками кофе выходят в сад, усаживаются вокруг Пушкина (скульптуру город не принял, она и по сей день стоит у меня в саду), все галдят о России, никто ничего не спрашивает об Америке, а я спускаюсь к ним как благодетельный сюзерен и стараюсь не обращать на себя внимания.

С отъездом сестер поток гостей сократился. Вообще, за последние годы российский путешественник изменился. Сей-

час приезжают с долларами, останавливаются в гостиницах, часто находят тут работу и запросто сливаются с эмиграцией. В последнее время, проходя по пустым комнатам, я нередко не без теплоты вспоминаю прежние дни. Вот был табор! И, как положено в таборе, гитара, конечно, процветала. Всегда находился какой-нибудь бард, если не сам Булат. О великие наши барды!

Впрочем, одиночество нас не гнетет — ни меня, ни Онегина. Слишком много дел, чтобы заняться одиночеством. Думаю, что не открою секрета, сказав, что у сочинителя, особенно принадлежащего к направлению Ваксина, всегда найдется, с кем пообщаться, будь это персонаж или читатель. Онегии тоже занят. Когда я пишу, он лежит на столе, тихоиько поет песнь очага. Уезжая, я выпускаю его в сад, откуда он часто переходит в лес. Нет никаких причин за него волноваться — в округе никто не осмелится заострить коготь на такого кота. Сам он тоже ни на кого не нападает, потому что перманентно сыт. Попугать, конечно, может. Часами бродит по поселку и по кромке леса, что-то ищет, чего-то ждет. Кошки все вокруг кастрированы, а он, наверное, жаждет романтики. Не исключая, что когда-нибудь он все-таки уделает лису. Вернувшегося папу Онегин тщательно обнюхивает и все узнает, что было за день: сигарета, стакан каберне, чикен-сэлад с крутонами.

Ну хватит, экспозиция нашего второго (если не первого) плана затянулась, хотя почти ни слова еще не было сказано об огромных деревьях леса и заселенных пространств, о среднеатлантическом величии ветвей и листьях. К ним мы еще вернемся, господа, а пока что я сажусь в свой старый jug и отправляюсь в университет Пинкертон — Боже, благослови его студентов и преподавательский состав!

Пинкертон

Наш основоположник был вовсе не сыщиком, а наоборот — что значит наоборот? — ну, основоположником, просветителем XVIII века. Все здесь проникнуто этим Пинкертоном. Сначала едешь по парквею Пинкертона, потом проезжаешь городок Пинкертон с его хорошо известной Галереей Пинкертона, вслед за чем въезжаешь уже на кампус нашего университета, где роятся студенты в розовых майках с надписью «Go

Pink!»¹ и где стоит статуя самого мистера Пинкертон. Так было в Ленинграде с Лениным — с той лишь разницей, что большевик ничего не пожертвовал городу, а лишь скрывался там от полиции, чтобы впоследствии узурпировать власть и его название. Наш кумир не похож на оголтелого с броневика у вокзала. Он стоит без пьедестала посреди выложенной плиткой площади, в чулках, в туфлях с пряжками, в паричке. В руке он держит книжку, а не смятый кепарь, а наклон его тела демонстрирует склонность скорее к менуэту, чем к бешенству. Тяжеловатое в нижней части лицо снабжено сверху благожелательным, общепросветительным выражением глаз. Непредвзятый созерцатель, конечно, заметит сходство с Виктором Степановичем Черномырдиным. Что касается второй его руки, то она лежит на столике рядом с томами Локка, Хьюма и Руссо, до которых мы с Виктором Степановичем вряд ли когда-нибудь доберемся. Великолепная работа по металлу?

Эйб Шумейкер перехватил меня возле мистера Пинкертон, и мы отправились на ланч в преподавательский клуб. Когда с ним рядом идешь, видишь, что это детина едва ли не баскетбольного роста. А вот издали он иногда производит впечатление обыкновенного университетского доходяги: впалая грудь, сутулые плечи, неизменный твидовый пиджачишко, мешковатые и коротковатые штаны, всегда обременен книжной кладью. Ко всему этому отличается еще странной походкой с периодическими как бы приседаниями. Как у всех ипохондриков, постоянные метаморфозы происходят у него с цветом лица и выражением глаз: то вдруг разругается, засверкает, словно тридцатилетний мальчишка, то весь потухнет, посереет, будто на пенсию пора.

В общем-то ему уже слегка за пятьдесят, но он только год назад получил звание «полного профессора». В ЦИРКСе (так мы с ним по-русски сокращаем название нашего департамента) Шумейкера ценят как трудоголика, полнглота и очень серьезного политолога, однако он не принадлежит к числу лиц, о которых говорят на кампусе. Мы с ним считаем себя друзьями, хотя это совсем не та дружба, что культивируется в Москве и в которую непременно атрибутом входят многочасовые сидения на кухне с водкой и обсуждением жизненных драм. Здесь у нас все основано на сдержанности, тут пока еще,

¹ Розовые, вперед! (англ.)

во всяком случае в университетах, царит цивилизация understatement'a — не знаю, как перевести — недоговоренности, что ли. Будучи друзьями, мы с Эйбом почти не встречаемся вне кампуса, только иногда, очень редко, ездим в Д.С. на игры NBA. У меня нет ни малейшего представления о его семейной ситуации, но по его заношенным рубашкам можно судить, что она не из блестящих. В свою очередь, он ничего не знает о моем одиночестве, перемежаемом описанными выше столпотворениями.

В этот день мне показалось, что Эйб не в своей тарелке. Впрочем, если его и можно было когда-нибудь представить в своей тарелке, то только в роли перекатывающегося огурца. У него, должно быть, не очень стабильная сосудистая система — давление меняется от малейшего беспокойства. Я предложил взять вина, и нам принесли калифорнийского мерло. Мы выпили по стакану, и это его сразу успокоило. Он снял очки и положил их в нагрудный карман. Это было явным признаком улучшения, большого подъема комфорта.

— Блестящая идея, Влос, — сказал он. — Это вино как-то чудесно на меня подействовало. Вы давно практикуете эту марку?

Я не поддержал эту тему. Такой человек может легко заторчать на какой-нибудь марке вина и стать в конце концов алкоголиком.

— Вы смотрели последний матч «Колдунов»? — спросил я.

— Они продули в доп-тайм! — воскликнул он. — Крис почему-то стал мазать один за другим. Ну согласитесь, это несправедливо!

Как многие сооружения в Пинкертоне, столовая профессорского клуба была тронута и классицизмом, и готикой, и постмодерном. От времен Просветителя остались колонны и мрачноватые своды несколько монастырского вида. Достройки 80-х годов этого века преобразили внешнюю стену. Огромные эркеры как бы впустили в зал окружающий парк или наоборот — вытащили зал в парк на созерцание птицам. В общем, совсем неплохо получилось.

Народу собралось за столиками совсем не мало, и все прибавлялось. Ланч — ключевое время в университетской жизни, как и во всей Америке. Мимо нас проходили профессора, молодые и старые. Большинство лиц было мне незнакомо. Чем

дольше я здесь работаю, тем больше незнакомых лиц встречается за ланчем. Я обратил внимание Эйба на это странное обстоятельство. Правда ли, что это признак хорошей циркуляции, показатель здоровья того или иного вуза? Он пожал плечами:

— Черт его знает. Я во все эти дискуссии по университетским структурам не лезу. Да меня никто и не приглашает.

Он снова наполнил наши бокалы, опорожнив таким образом бутылку. Я промолчал. И он промолчал. Мы выпили и взяли за салаты. Он все молчал, и у меня возникло странное ощущение, что он дает мне возможность изучить его лицо. Как бы напрашивается в персонажи. Еще и еще раз я провожу взглядом по его лицу. В любом университете Восточного побережья встретишь такие лица еврейских астеников. Иногда в них проявляется что-то тевтонское. У Эйзенштейна в его псевдопатриотической вампуке роли псов-рыцарей исполняли евреи. Ашкенази отличаются богатством типов. В Америке они стали American Jewish¹, мой друг — характерный представитель этой нехудшей породы. Мне почему-то захотелось преобразить его фамилию на свой лад. Скажем, Шум-Махер, производитель шума? Нет ли тут излишней претенциозности? Шумейкеры все же — это клан тишайших сапожников без всяких тире и дополнительных значений. Б-р, мне стало не по себе: неужели он влезает в повествование?

— Well, — сказал он и посмотрел.

— Well, — сказал я и посмотрел.

— Вы видели сегодня новости? — спросил он.

— Мельком. Кажется, ничего не изменилось после вчерашнего дела?

— Многое, — почти воскликнул он и приложил ладонь к горлу, как бы стараясь умерить тон. — Они начали наступление на Меджулутье по всему фронту — то есть и с севера, и с юга. Устраивают котел. Пажич теперь блокируется с Карташичем, а вчера ведь еще резали друг друга. Вот вам и непреодолимая линия Хантингтона! Западные и восточные, оказывается, прекрасно могут бандитствовать вместе. Религиозные различия не играют никакой роли, а идеология вообще выброшена на свалку: им уже все равно, кто коммунист, кто капиталист. Действуют только самые примитивные племенные мотивации.

¹ Американскими евреями (англ.).

— Ты безусловно прав, — сказал я. По-английски нередко трудно определить, в каких мы с ним отношениях — на «ты» или на «вы». Надо будет уточнить это по-русски.

— Теперь все считают, что я прав. — Он осекся, но после паузы добавил, глядя в сторону: — Но никто не упоминает моего имени.

— Что ты имеешь в виду? — спросил я осторожно, чувствуя, что мы приближаемся к основной теме, к тому, что его по-настоящему грызет.

— Даже ты, Влос, не помнишь, что я предсказал все эти дела еще три года назад. Да ты читал ли книжку, которую я тебе подарил, — «Ускользающие парадигмы»?

Конечно, я читал эту книгу, если можно так сказать о перелистывании в постели в качестве снотворного. Кажется, я даже что-то говорил автору — что-то лицемерное, делал вид, что взволнован. Хвалил заголовок, это точно. «Ускользающие парадигмы» звучат вполне в унисон с самим предметом, распадающимся государством, возобновлением «балканизации». «Эйб, да ведь это не только о Балканах, — помнится, сказал я ему. — Это о самой человеческой сути. Это глобально, френд, глубоко и глобально». В этом духе.

Теперь, вяло копаясь в «цезарском салате» — кстати, почему он называется «цезарским» — Цезарь его, что ли, любил, или яйца доставали кесаревым сечением? — он заговорил с нарастающим жаром о своей концепции современных конфликтов:

— Еще сорок лет назад Брунис, наш поистине первый постмодернист — это об одном геморрое из нашего же центра, — писал о так называемом *Weltanschauung*, то есть о том, что и как мы чувствуем, глядя на окружающий мир, — иными словами, парадигме религиозных, культурных, поколенческих, социальных и этнических составляющих; с тех пор парадигма «холодной войны» колоссально изменилась, да? Мы должны упорно выделять то, что в популярной журналистике называется «жизненными интересами», — верно? Он был в Косове в 1989 году, когда Милошевич аннулировал автономию. Еще тогда он предсказал неизбежность этнического выплеска, который создаст колоссальную угрозу в центре Европы. На конференции в Брюсселе один аналитик из Государственного департамента возразил Эйбу: сейчас не 1914 год, мир изменился за семьдесят пять лет. Эйбу хоте-

лось ему сказать, что семьдесят пять лет — недостаточный срок, чтобы миру так уж кардинально измениться, однако он промолчал, прекрасно зная, что американские «практики» и «академики» плохо понимают друг друга, поскольку и сами принадлежат к разным и несоизмеримым парадигмам. Впрочем, уже тогда правительственный Институт Мира выпустил монографию о «выплеске этнической угрозы», где приводилась точка зрения Шумейкера — конечно, без ссылок на источник. Ну а теперь, в разгаре всех этих дел, все только и пишут о «выплеске» и об «ускользающих парадигмах», которые нас всех оставляют на мели. Повсеместно употребляется моя терминология, например «механизмы усиленного выживания», которые могут быть разрушены, если ты помнишь — но ты, конечно, не помнишь, — как преждевременным отказом от старой парадигмы, так и нежеланием определить новую. Везде используется моя идея «негативного мира», то есть отсутствия прямой вражды, и «позитивного мира», то есть удаления корней конфликта, принимающего насильственные формы, ну и так далее. Короче говоря, в бесчисленных статьях и докладах идет развитие моих идей, но нигде не упоминается мое имя и титул книги.

Он замолчал и сомкнул свои бледные губы. Этот момент был, очевидно, важен как для моего коллеги Шумейкера, так и для, черт побери, героя моей книги Шум-Махера. Он, видимо, считал, что открыл мне позорную сторону своего внутреннего мира: муку тщеславия, корчи непризнанности. Разомкнув свои бледные губы, он неожиданно коснулся и моей не такой уж глубокой, но все-таки глубинки.

— Как мне тебя называть, Влас или Стас? — спросил он.

В этом университете еще никто никогда не называл меня Стасом. Для всех я Влас Ваксаков, русский профессор с каким-то отдаленным диссидентским прошлым. Имя довольно удобное для американской фонетики. Его произносят «Влэс» или «Влос», никаких проблем. С фамилией сложнее. Здежнему народу почему-то нелегко произносить звуко сочетание «акс», гораздо легче повернуть его на «аск», что мелькает повсеместно. Что касается ударений в русских фамилиях, американец всегда поставит их неверно: если вы Ваксаков, он скажет Ва́ксаков, но если вы, скажем, Климов, то будете Климо́в. Словом, я тут фигурирую как Влос Васкакоу, будто некая гротескная личность с Карибских островов. Студенты предпочи-

тают называть меня «доктор Влос» и не обижаются, когда я иной раз отшучиваюсь: «Больной, покажите язык!»

Никто не интересуется второй, вернее, первой стороной моей деятельности. Мало кто читает романы Стаса Ваксина, а если кто и читает, то не связывает этого автора с «доктором Влосом». В России, между прочим, дело обстоит наоборот: там меня знают как Стаса Ваксина; прежний молодой писатель-деревенщик Влас давно забыт.

Вопрос Эйба меня удивил. Стало быть, он знал меня в обеих ипостасях, всегда присматривался ко мне не только как к сослуживцу, но и как к модернистскому сочинителю? Снова почудилось, что он волей-неволей втягивается в игру. Я не ответил, но лишь пожал плечами: дескать, хоть горшком назови, но в печку не ставь. Он между тем продолжал:

— Ты понимаешь, я не тщеславен, не жажду ни славы, ни золотых дождей, однако меня поражает, почему даже в нашей скромной общине конфликтологов для меня не находится места. Одному достаточно родить какую-нибудь банальность, как его начинают повсеместно цитировать, а другого и «Ускользающие парадигмы» не поднимают на поверхность.

Тут почему-то я протянул через стол руку и толкнул его кулаком в плечо.

— Тебе надо изменить фамилию, Эйб. Ты не Шумейкер. Стань Шум-Махером. Тире и две большие буквы, а также и окончание на «хер» сделают тебя заметным.

Он слабо улыбнулся:

— Узнаю Стаса Ваксина. Только я ведь не из вашей породы, я просто Башмачкин.

Завершив лаич и как-то даже слегка загудев после двух бутылок каберне, мы решили пропустить совещание в ЦИР-КСе. Пусть на этот раз Вибиге Олссон без нас обойдется. Все равно львиную долю времени там займут разговоры не о Балканах, а о том, усилится ли офис провоста в связи с реструктуризацией NCC, или, наоборот, нужно поднять в Комитете комитетов идею университетского гражданства. Спокойно без нас обойдутся. Каждый поговорить горазд — вот пусть и выложится каждый. Эйб даже хохотнул не без некоторого шика, свойственного заметным гражданам кампуса. Пусть там Вибиге поговорит, как в своем Копенгагене. Вот именно, как в Копенгагене, там ведь дамы говорят часами. Сутки напролет. Там, в Копенгагене.

Девушка из «Четырех сезонов»

Вместо совещания мы отправились в бар международного отеля «Четыре сезона». Я был уверен, что Шум (так я его уже стал про себя называть) хочет мне что-то еще сказать, то есть «излить душу». Славное выражение, ей-ей, душа представляется русским пьяницам в виде какой-то застоявшейся жидкости.

В этом отеле, что подымает четыре свои башки над купами грандиозной роши, ты сразу попадаешь в обстановку трансокеанского путешествия, сдержанного комфорта, первосортных запахов. В баре полутемно, но не так темно, как в большинстве местных забегаловок. Нам принесли наш скоч и две сигары. В углу большой экран демонстрировал почти беззвучно первый матч финала между «Слонами» и «Колдунами».

— Дело в том, что я еще, кажется, и влюблен, Стас, — проговорил Эйб.

Ну вот, что и требовалось доказать. За стеклянной стеной, отделяющей бар от фойе, появилась женщина.

— Ну, вот она, — сказал он каким-то странно ровным для влюбленного тоном. — Легка на помине.

Конечно, это она, кто же еще. Не успеешь упомянуть, как она тут же и появляется.

Я внимательно стал созерцать предмет его любви. Странное чувство причастности овладело мной. Мне казалось, что, не будь меня с ним, женщина не появилась бы здесь с такой легкостью.

Она и впрямь была легка, эта молодая красавица в широких шелковых брюках и кофте от модного кутюрье. Ее можно было бы принять за девицу из эскорт-сервиса, если бы не своеобразная легкость походки вкупе с самоиронией всех движений. С такими качествами, согласитесь, трудно сопровождать кого-нибудь, кроме себя самой. Из бара и из кресел фойе на нее уже было обращено немало взглядов — не так уж часто такие героини появляются в окрестностях Пинкертона, — но она, кажется, не замечала ничего, кроме своей собственной динамики, над которой подтрунивала. Ткнула в пепельницу сигарету, быстрый прищур в зеркало, подхватила на руки собачонку, светлые волосы забраны наверх в пышный пучок — умопомрачительна!

— Кто она?

Он пожал плечами:

— Не знаю.

— Ради таких женщин, Шум...

Он усмехнулся:

— Это я знаю.

И снова посмотрел мне прямо в глаза, как бы спрашивая: ну, что еще ты мне можешь предложить?

Девушка между тем иронично-танцующей походкой пересекла фойе и вышла из отеля на солнце. С собачкой на руках, то есть демонстрируя почти неизбежную в таких случаях чеховиану.

В прошлом семестре на курсе «Любовный конфликт в русской литературе» мы читали в классе общеизвестный шедевр, и я спросил студентов, что в нем было катастрофически утрачено. Студентка из Саудовской Аравии догадалась первой: собачка! И впрямь — в течение всей первой половины рассказа собачка постоянно кружила под ногами Гурова. По всей вероятности, она присутствовала и при сцене грехопадения в отеле «Ореанда»; куда же еще ей было деваться? Там же она и пропала, то есть просто выпала из рассказа. То ли забыл о ней от волнения мастер прозы, то ли подсознательно не допустил к интиму. А между тем именно собачка могла стать ключом к решению конфликтной ситуации.

В нашем случае хвост собачки породы «кинг чарльз» свисал с локтя хозяйки. Под слишком сильным солнцем их изображения перешли из суперреализма в постимпрессионизм. Валет подал машину, что-то очень дорогое, уж не «фоллс-ройс» ли. Девушка села за руль и укатила.

— Ну, что дальше? — с настойчивой безнадеей спросил Эйб.

Я промолчал. Ну, пожал плечами. Больше не хотелось жать на педали. Пусть сам выкручивается.

Эйб возражал:

— Послушай, Влос, ведь я же знаю твой секрет. Ты не только профессор здесь, но еще и знаменитый автор Стас Ваксина там... — При слове «там» он слегка усмехнулся, как усмеваются все здешние специалисты по России, хотя они жить не могут без этого «там». — Твои романы и здесь переведены, но почему-то никто в нашей школе не знает тебя как романиста.

— Я этого не скрываю, просто никто не спрашивает, — сказал я и уточнил: — В тысяча девятьсот восьмидесятом, когда я сюда приехал, многие знали, но потом тут сменилось целое поколение, пришла новая администрация, и все забыли. Знают, что какой-то тут работает «видный диссидент» из брежневских времен, но с романами Ваксина не связывают. Сейчас никто не может представить, какое значение в СССР придавали романам. Меня это вполне устраивает.

Сказав это, я перестал распространяться на личные темы. В конце концов, сегодня он должен на эти темы распространяться. Словно приняв условие, он тут же взялся:

— Этот конфликт, ну, мой личностный конфликт со средой, находится скорее в сфере *belle lettre*¹, чем в специальной литературе. Ты согласиен? Знаешь, мне нужно прочесть твои романы, чтобы что-то извлечь для себя, как-то осветить для себя свою собственную ситуацию: непризнанность, безнадежную любовь, постоянное раздражение, боязнь алкоголизма, — в общем, весь этот *mid-life crisis*².

Я не выдержал, рассмеялся:

— Эйб, ничего полезного там ты для себя не найдешь. Ведь это же все игра, не больше.

Я чувствовал сейчас хорошо знакомую неловкость, которая возникает, когда ты волей-неволей начинаешь вытягивать знакомого человека из реальной жизни в литературу. Вот он сидит, симпатяга, хотя немного и зануда, длиннотный, прозрачноглазый американский еврей; почему же мне кажется, что он — в его-то возрасте! — уже законтачил с компанией молодых авантюристов из первой главы; какое отношение он имеет к этой шатии?

Мы посидели еще с полчаса в «Четырех сезонах», болтая о разных разностях: о Вибиге Олссон с ее пристрастием к университетским интригам, о наступлении отрядов Мразковича — смогут ли они выйти к Ядру, — но больше всего о баскетболе, о том, какое значение сейчас приобретает защита и как она парадоксально разрушает нашу любимую игру, превращая корт в безобразную толкучку.

Мы оба когда-то играли в баскет. В студенческие годы, разумеется; он в 60-е, а я, хе-хе, в 50-е. Должен признаться, я и

¹ Беллетристики (*фр.*).

² Кризис середины жизни (*англ.*).

сейчас, на седьмом десятке, продолжаю баскетболить. Но уже без всякой толкучки, конечно. Вообще без партнеров. Мои партнеры — это мяч и корзина. Для меня это просто часть упражнений. Любимая часть, должен сказать. Одиночный баскетбол лучше тенниса, милостивые государи пожилые читатели. Броски, прыжки, имитация быстрой атаки, заученные финты с поворотами — все это неплохо разгоняет кровь по стареющему т.с.¹. Самое же главное в одиноких играх под кольцом скорее относится к психологии, чем к физиологии: ведь каждое попадание — это маленький триумф, не так ли? В этом есть что-то сродни ловле бабочек, только без нужды совершать маленькие распятия красивых насекомых. Что касается промахов, то они раззадоривают жажду триумфов, а это тоже полезно. Эйб нервно хихикал.

За такими разговорами время подошло к четырем пополудни. Нужно было немедленно ехать в аэропорт встречать сестер Остроуховых. Мы стали прощаться.

— Можно я вас буду иногда называть Шумом, Шум?

— Сколько вам угодно, Стас-Влас!

Договорились, что он как-нибудь заедет ко мне познакомиться с моими гостями. Может быть, это будет тебе полезно. Сестры любят поговорить, вот именно, о любви и о неудачах. Let's have a high-five, all right², пока и не унывай. Жизнь слишком коротка, чтобы... ну и так далее, уже на ходу, почти неразборчиво.

Мне нужно было еще взять у соседа джип. В моей машине не поместится и половины барахла, с которым обычно приезжают сестры. Покажется странным, но они являются в Штаты для светской жизни.

Сестры О

В аэропорту Даллас, в зале международных прилетов, толпа пестрела множеством знакомых лиц, то есть русских. Не в том смысле, что лично знакомых, а в том, что этнически не чуждых. В каком бы иностранном обличье российский человек ни предстал, в нем всегда опознаешь «одного из наших». Не знаю

¹ Транспортное средство.

² Ну, давай по-баскетбольному, хлопнем ладонью в ладонь (англ.).

уж, в чем тут дело, не разобрался за столько лет заморской жизни. С пожилыми людьми еще легче — все-таки советчина отпечаталась, — однако и молодежь в ее бейсболках с отвернутыми назад козырьками тоже немедленно угадывается — наши!

«Аэрофлот» давно уже приземлился, пассажиры-руссаки еще не появились. Толпой тянутся немцы с «Люфтгайзы»; тоже, между прочим, легко узнаваемы. Труднее всего опознать китайцев — их нередко можно принять за корейцев. Или за тайваньцев. Но не за японцев. У этих многолетних участников западной толпы есть какой-то специфический шик.

Пошли наши. Возгласы встречающих: «Лидия Стефановна! Ирочка! Вовка! Мухиных не видел? Мухины летели. Мухи налетели?» И вот в числе первых выплывают расписные: Мирка, Галка и Вавка — сестры О.

Несколько слов о том, откуда они явились на эти страницы. Старшая, Мирка, была когда-то женой моего сына Дельфина. Они жили вместе не больше трех лет, но за это время невестка сдружилась со свекром, то есть со мной. Помнится, Дельфин очень много говорил во время их разрыва, все что-то пытался объяснить ей, мне лично, своей матери по телефону, часто срывался на крик, а Мирка как раз говорила очень мало, зато ужасно много курила и иногда, глядя на меня, пожимала плечами. Он уехал тогда в Калифорнию, в Силиконовую долину, где проживала причина разрыва — Сингурни. Мирка собралась возвращаться в Москву (это было уже в перестройку, и в Москву стало можно возвращаться из эмиграции), но потом вдруг спросила: а что, если я у тебя проживу, Стас?

Она обосновалась в комнатах над гаражом, там была вполне приличная по советским масштабам квартира, а вскоре к ней присоединились сначала Галка, а потом и младшая, Вавка, — наши столичные девушки из театрально-литературно-научно-политической среды. У всех трех сестер был уже неплохой опыт разрушения семейной жизни, и сейчас они пестовали идею подцепить американского мужа. Интересно, что по одиночке они бывали грустны, но вместе всегда в лучшем случае хихикали, в худшем громогласно хохотали. Считалось неперменным правилом постоянно шутить. Это правило, надо сказать, они почти в нетронутом виде унаследовали от девушек нашего поколения, то есть от своих мам с их хохманн. В

меньшей степени, но все-таки в значительной, было унаследовано и шикарное пристрастие к площадной брани. Отвыкнув за годы эмиграции от московской богемы, я иной раз по-американски произносил «о-о», услышав в разговоре трех изящных особ, ну, скажем, в летучей, за приготовлением ужина, дискуссии о Борхесе или Солженицыне, выражения типа «а не пошла бы ты на хуй, сестрица?».

Они обожали друг дружку. Иногда мне казалось, что они просто не могут жить раздельно, что все их семейные разрывы вызваны лишь желанием возобновить триумвират. Ни одна из них особенно-то не страдала, избавляясь от мужей или возлюбленных. Пастернаковская фраза «и манит страсть к разрывам» повторялась постоянно и вызывала взрывы довольно оголтелого веселья. Меня это поначалу даже шокировало: все-таки одним из объектов этой «страсти» был мой сын Дельфин, великолепный парень и серьезный генетик.

Вознамерившись, как они выражались, «выудить америкашу», сестры поначалу взялись за это дело всерьез. Оказалось, что в Вашингтоне у них полно знакомых среди журналистов и дипломатов. То и дело они отправлялись на разные parties и, возвращаясь, шумно обсуждали, кто был «найс», а кто был «шмайс». Иногда возвращались не в полном составе, случалось, что и все три где-то застревали, но это было редко. Временами то Мирка, то Вавка, но чаще почему-то неряха Галка отправлялись в какие-то путешествия — то на Багамы, то на Гавайи. По возвращении той или другой из таких явно романтических полетов все три запирались в своих комнатах над гаражом, «в людской», как они это называли, и подолгу обсуждали ситуацию. Об интенсивности этих бесед я мог судить по густому табачному дыму, валившему из какого-нибудь окна.

Пристрастие к никотину было существенной причиной их неудач на американском рынке невест. Как один человек, весь этот народ встал против пагубного зелья, а тут появляются три грации из Москвы и копят потолки и небо, а ведь это вредит здоровью, что наш генеральный хирург убедительно доказал. Так или иначе, тема «выуживания америкаши» стала сама по себе увядать, и сестры Остроуховы начали более естественным образом приживаться к окружающей среде. Вместо мужей выудили себе право на работу, и оказались к тому же гораздо по части ремесел. Мирка уселась на табуретку в биоло-

гической лаборатории. Толстополая Галка взялась за промышленный дизайн. Вавочка тем временем пошла во весь фриланс, если можно так выразиться, говоря о журнализме и кинокритике. Нельзя же всю дорогу ехать на старом Стасе, девки: таков был здоровый почин.

А я, между прочим, не возражал против такой телеги. После смерти Кимберли, с которой мы вместе и покупали этот большущий дом, и после довольно противной, но, к счастью, недолгой попытки заменить Кимберли дочкой русофобки Мэрилу я решил остаток дней провести в одиночестве. Сначала все это шло в довольно элегическом ключе, но потом я понял, что не тяну. Жить одному на краю леса в поселке, полном детей, собак, приездов и отъездов, гаражных распродаж, больших ужинов, на которые тебя иной раз приглашают как местную диковину, — б-р-р! Я уже начал подумывать о продаже дома и о переезде в Д.С., в какой-нибудь многоквартирный кондоминиум. Онегину, кажется, не нравилась эта идея, но я его уговаривал: подумай, мы будем жить в пентхаусе, перед тобой море крыш; в городе, мой друг, осталось еще немало некастрированных кошек. И тут как раз стали приезжать, одна за другой, сестры О, и образовалась моя новая странная семья. Девки воспринимали меня в качестве какого-то своего собственного патриарха. Они называли себя «дворовыми», и их излюбленной шуткой была несуществующая конюшня Стаса Ваксина. Батюшка-барин, Вавка совсем отбилась от рук. Послал бы ты ее на конюшню, чтоб ей там задали плетей, и т.д. в стиле нашей классики. Меня, признаться, просто восхищали наши отношения. Эти сестры, по сути дела, вытащили меня из глубокой депрессии. Кроме всего прочего, они еще были одержимы культом моего сочинительства. Любая исчерканная мной бумажка тут же убиралась в соответствующие папки, в компьютере воцарился полный порядок, организована была полка бэк-апов¹. Телефонная и почтовая корреспонденция с моим бездельником-литагентом Оливье Шарабаном была восстановлена. Пораженный тем, что у меня появились три активных ассистента, он, в свою очередь, стал шевелить мозгами и восстанавливать засохшие деловые отношения с издателями. Даже и чеки из разных стран стали приходить почаше.

¹ От англ. back up — вариант.

Так прошло около трех лет, а потом девушки (им было от слегка под — до порядком за тридцать) заболели чеховской болезнью: в Москву, в Москву! Им стало казаться, что вся мировая энергия собралась там, а здесь лишь сытый застой. Не могли себе простить, что «просалатничали» августовские события 1991 года. Я стал испытывать какую-то странную ревность. Что ж, предпочитаете Стасу Ваксину свою московскую революцию — ну и сваливайте! В конце концов далеко не каждый стареющий профессор держит в доме трех слегка бесноватых бальзаковских фемин.

Они стали уезжать. Сначала, к сожалению, уехала Вавка. Потом, к сожалению, уехала Галка. И наконец, увы, уехала самая пристрастная, та, что волочила так называемые «родственные узы», — Мирка. Кстати, она нередко показывала нам всем на кухне, как она волочит эти родственные узы. Это было так смешно, так мило.

И вот теперь они возвращаются, катят из глубин таможенных пространств коляски с таким количеством барахла, что не хватит, пожалуй, и соседского джипа. Сдержанность. Только не раздудониваться. Сдержанная приветливость. Все-таки не родственники ведь. Просто приятельницы, ну, как бы литературные поклонницы. Вовсе не основные персонажи, *supporting characters*¹.

Елки-палки, да они не помолодели! Ей-ей, не очень-то свежи. Мирка после полета выглядит на все свои «порядком за». Галка демонстрирует отчетливую пивноватость лица. Даже и на Вавочкиной мордашке видны «следы пережитого». Кстати, об этой мордашке. Увы, не Нефертити, как она сама нередко вздыхает по своему адресу. Мы вынуждены согласиться. Совсем не Нефертити, не фертите. Скорее мопсик. У этой Вавки чудесная гибкая фигурка, бурные такие, мажорные волосы, но мордаха, увы, мопсячья, ноздрята торчат. В целом — давайте уж не выпендриваться, старый Стас, — милейшее трно. Чего стоит одна только Галкина шляпа. Уж не из реквизита ли Театра-на-Помойке она добыта? А чего стоит эта шикарная манера непринужденно через платье оттягивать и щелкать резинкой от трусов? Публика готова аплодировать, и она зааплодировала бы, не будь руки заняты багажом.

¹ Второстепенные персонажи (англ.).

— Стас! — восклицают они и бросаются, забыв свои та-чанки.

Сдержанность, где ты?! Я рядом, я рядом, кричит она. Кто она? Да сдержанность же! Сдержанность рядом! И все хохочут. И я хохочу, старый Стас. Так мы продвигаемся к паркингу — в густом облаке хохота. Это у нас нервное. Чтобы прикрыть чувства. Так требует сдержанность: прикрывайте чувства! Ну вот, Стас, твой гарем вернулся. Надолго ли, девчата? Новый фонтан хохота. Навсегда! Неизменное: «Я к вам пришел навеки поселиться». А замуж разве никто не вышел? Повыходили, повыходили, с вещами на выход! Нынче вышло из моды выходить замуж, вот такой каламбур. Тут Вавка как бы злится. Вам лишь бы хохмить, Мирка, Галка, а я вот старому Стасу верность блюду. «Несерьезные» тут еще больше заходятся. Она блюдет — это когда на блюде. Тут еще одно созвучие напрашивается. Ну, в общем, принимай, мы вернулись, батюшка Стас Ваксина! А как же революционная родина? Знаешь, сейчас на родине основной лозунг «Кто не любит Аллу Пугачеву, тот не любит Родину!». Вот мы и вернулись.

Холодильник забит шампанским и крабьими лапами из Сизэттла, где, как известно, крабьи лапы растут на крабьих деревьях. А сестры-то Остроуховы оказались икрянными: под страхом расстрела органами ФСБ провезли три полкило «зерна». Обжирайся, классик Стас, национальным афродизиаком. Надеемся, хоть одна из нас после этого уцелеет. И тут мы начинаем все вальсировать от переизбытка юмора. Старый Стас с роскошной Миркой, потом с пухлявой Галкой, потом с электрифицированным мопсиком Вавочкой. Потом все вместе вальсируем на юморе. Без юмора сейчас не повальсируешь. На чем сейчас вальсируют, не на ую ведь! Наконец дамы начинают отпадать. Это jetlag, джетлеготина паршивая совсем нас, девушек, обджетлежила, ноги не держат. Оставив разоренный багаж, они удаляются в свои надгаражные спальни. Там загорается свет, потом почти сразу гаснет, и все затихает.

Кончается длинный день. Я поднимаюсь к себе в кабинет, пытаюсь читать, пишу пару фраз в блокнот, смотрю «Заголовки новостей», разговариваю с Онегиным. Кот, кажется, доволен прибытием хорошо знакомого обслуживающего персонала, но все равно куда-то собирается на ночь глядя. Ты знаешь, Онегин, что шумейкеровского спаниеля зовут Байрон? Вы

могли бы с ним подружиться, черт бы вас побрал. Кстати о Шумейкере: ты понимаешь его драму? Он не изведал вкуса триумфа, вот в чем дело. Ему пятьдесят, а он еще не пробовал этого шампанского. Может быть, оно покажется ему кислятиной, но пока что он психует: жизнь уходит без триумфа. Человек с вполне нормальным чувством юмора хнычет, что «община конфликтологов» не упоминает его имени. Оттого-то он и влюбился в какую-то красавицу, недоступную богачку. Речь идет об элементарной сублимации — вот что нужно стареющим мальчикам типа этого Шум-Махера. Ему нужно немного шума. Понимаешь?

— Открой дверь на балкон, — хриплым мявом сказал кот.

Я открыл. Венера в ту ночь была на западных склонах неба. Марс стоял на юге, почти в зените. Добавьте к этому полнолуние и кота с поднятым хвостом на перилах балкона, и больше не надо будет распространяться о картине ночи.

«Вернусь, как обычно», — лицемерно прогнусавил Онегин.

«Поосторожней, там, кажется, тявкают лисы», — напутствовал я его.

Он фыркнул: «Они-то мне и нужны!» И исчез.

Я погасил все огни и под лунным светом, падавшим из застекленного куска крыши, прошел в спальню. Где-то в глубине дома приглушенно играла круглосуточная станция классической музыки. Концерт Алессандро Марчелло, крончипрончидранжмальфанти-туранда-фати-драм-да-ли-блен-сон, ритм, похожий на шаги босых ног. Ну да, вот они и приближаются, проявляясь из струнных пассажей. Концерт завершается, и она входит в спальню. Как всегда, старается не попасть в лунный свет, однако, когда снимает белый махровый халат, плечи и грудь ее начинают слегка серебриться. Я разом весь встаю к ней навстречу. По своей привычке она отворачивает лицо и предлагает для поцелуев шею и уши. Держу ее уши в губах, то левое, то правое. Она поворачивается ко мне спиной. Это тоже часть нашей игры. Мордочка мопсика исчезает. Проявляется безупречная спина, талия и круглые, энергетически сильно заряженные ягодицы. Тряхнув копной своих волос, она усаживается ко мне на колени. Расширяется снизу, протягивает туда руку, втягивает в свои владения мой энергетик, приподнимается и опускается, пока не достигает полнейшего совокупления; или искупления? Я обнимаю ее сзади. Под ладо-

нями, как две горячие пули, гуляют ее соски. Она запускает пальцы в свои волосы и открывает шею для поцелуев. Мы оба не произносим ни слова и даже стараемся не исторгнуть нечленораздельности.

Во время этих нечастых встреч я любил в ней не мопсика Вавку, а некий образ идеальной любовницы. И она, казалось, видела во мне что-то свое, а не думала, что совершает соитие со старнком, «на книгах которого воспитывалась», как гласит общепринятая российская банальность. Иногда при дневном свете, в обществе сестер, я задавался вопросом, знает ли она о наших свиданиях. Многоопытная улыбка подчас проскальзывала по физиономии дурнушки. Во время ночных встреч мы как бы шли на взаимные уступки: я не видел ее лица, а она оставляла у себя за спиной мои морщины и бородавки, пигментацию на плечах и груди.

После завершения она почти немедленно исчезает из спальни и почти немедленно исчезает из моей головы. Я чувствую какое-то странное воспарение, хотя в этих встречах столько отбурлило человеческого порока. Перед тем как уснуть, я начинаю думать о чем угодно, но только не о Вавке Остроуховой. О своих сочинениях, например, в частности, в эту ночь о рассказе «Блюз 116-го маршрута», о назревающем в ЦИРКСе конфликте — пусть простят мне этот каламбур, — об играх баскетбольного play-off, об ужимках постсоветской политики в Москве, о Дельфине и его калифорнийских детках, моих внучатах, о своей поздней дочке Кэтти и ее маме, такой независимой и гордой Кнм, о том, как она умирала, о черной рвоте, что исторгали ее уста, о том, как мне было прискорбно и совестно провожать молодую жену в неизвестные сферы нежизни.

Иногда в полусонном уже состоянии проплывали какие-то смутные, неизвестно откуда взявшиеся картины — то пышный собачий хвост, свисающий с чьего-то локтя, то какой-то петух голландский, то попугай псковский. Я открывал глаза, и предметы спальни немедленно возвращались на свои места из ниоткуда. Кто тут распоряжается, пока я сплю?

Нужно приоткрыть дверь коту. При всей его надменности вряд ли ему приятно сидеть в одиночестве на балконе. Оставляю только сетку и не наброшу крючка. Онегин догадается толкнуть сетку башкой, а змея не догадается. Она лишь проскользнет вдоль сетки и удалится. Здешние большие ужи без-

обидны, но могут напугать сестер. Начнутся крики: «Уж! Уж! Ужас!» Дурацкий уж в ужасе повиснет среди книг, вот тогда и будет с ним хлопот. Надев халат, я вышел на балкон. Луна ушла за кроны больших деревьев. Венера и Марс прилежно дежурили на сводах горизонта. На балконе не было ни Онегина, ни ужей. Там сидел Прозрачный, похожий в этот момент на жабу величиной, пожалуй, с борца сумо. Сидя в кресле, он частью своего тела обхватывал столик. Была ли это жаба? Если и была, то не из тех, что в летнюю пору, словно коровы, трубят в нашем заросшем пруду. От этой жабы не пахло слизи, и пятен болотных не было видно на ней. Она была сверхъестественна, и потому все разговоры о безобразии или небезобразии были неуместны. Все огромное ее тело было прозрачно, все, что было внутри, предлагалось для обозрения, однако почти ничего из этого нельзя было назвать. Пожалуй, лишь два предмета внутри Прозрачного можно было хоть как-то назвать — ну, скажем, «глаза», и эти «глаза», то ли в паре, то ли в слиянии, смотрели на меня, не глядя, но переливаясь, перекатываясь, искрясь в своих непостижимых глубинах, что-то как бы говоря, но что — нельзя и понять. Легче всего было бы сказать, что там была жалость-печаль, но это не то, совсем не то. «Садись на меня», — вдруг отчетливо пригласил он. Я подошел и сел, и он тут же исчез, как будто никогда меня не облегал, вообще ко мне не имел никакого отношения.





ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Блюз 116-го маршрута

рассказ

Всякий раз по приезде в Москву из Америки я нахожу десяток минут для созерцания панорамы центра, что открывается из эркерного окна моего кабинета. Начнем с зенита. В московских небесах вообще-то трудно не заметить некоторой свинцовости, постоянной тенденции к застою, однако время от времени — и в последние годы все чаще — облака приходят в движение, в них возникают неожиданные прорывы и провалы, привносящие в атмосферу лазурные, и золотые, и бутылочно-зеленые нерасшифрованные послания; невзирая ни на что, ежедневная небесная драма продолжает разворачиваться.

Кремлевские башни и башенки занимают прочную позицию под движущимися небесами в левом углу моей панорамы. Луковки соборов и колоколен ослепляюще блестят или мутно светятся в зависимости от небесной иллюминации. В центре картины мы видим типичную сумятицу крыш, шпилей, куполов вкупе с уродливыми ящиками цементной архитектуры. Триколор только что народившейся демократии, словно заморский гость, парит над зданием бывшего ЦК КПСС.

В правом углу панорамы, над деревьями Яузского бульвара, еще один куст церковей поднимается к небесам: Петропавловская церковь, церковь Трех Святителей и другие неизвестные мне по имени. Атенстическое государство использовало их под склады или в лучшем случае под

какие-то музеи — теперь они возвращаются в православное ведомство.

Давайте снизимся от куполов к наземному транспорту. Вдоль бульвара побрякивает старинная трамвайная линия, что определенно числит среди своих пассажиров 1910-х годов футуристов Бурлюка и Маяковского, а среди пассажиров 1930-х — бездомных акмеистов Осипа и Надежду Мандельштам. Теперь, в начале 1990-х, на этой линии можно увидеть вагоны, покрашенные желтком и королевской синькой и несущие призывы сигарет «Кэмел». Время от времени там, словно призрак, появляется старомодный трамвай с большими буквами на борту: «Черная магия, Воланд и Компания». Все вместе, литература и западный «агрессивный маркетинг», привносят в пейзаж сюрреалистическую интонацию. После семидесяти пяти лет красного тифа город еще не обрел равновесия, все еще покачивается в полусомнамбулическом состоянии.

Теперь вернемся к моему дому, этому гиганту сталинской эры. Широоченный перекресток с одиннадцатью светофорами распростерт у его подножия. Регуляторы стараются изо всех сил, но не могут справиться со все нарастающими стадами автомобилей дикого капитализма. Потоки транспорта то и дело создают заторы по всем направлениям. Красные, желтые и зеленые сигналы бессмысленно мигают над этой дьявольщиной; легковушки, фургоны и грузовики источают окись углерода и шоферскую похабелъ. Городское раздражение достигает десятого этажа. Я закрываю окно и поворачиваюсь спиной к панораме. Теперь моя диспозиция готова, можно начинать повествование.

Разговариваю по телефону с другом юности Игорем Гореликом. Голос у него совсем не изменился за эти годы. Тот же притворно ленивый тон любимца общества. Пролетает дуновение тех сладостных дней. «Игорь-Игорь», — думаю я.

«Слушай, Стас, — ты, Игорь, говоришь, — мы тебя ждем сегодня вечером. Любка сделала кулебяку для тебя персонально. Да-да, та самая кулебяка, гордость ее кухни! Да-да, Незабываемая Любка, незабываемая кулебяка!»

Мы оба смеемся. «Игорь-Игорь, — думаю я. — Ты знаешь, что я не могу отказаться от твоего приглашения. Как и в те незапамятные времена в Ленинграде, когда юный Влас (ныне Стас) никогда не отказывался от приглашений к тебе, в

аристократический дом на набережной Крузенштерна, где мы кайфовали под джаз с самых что ни на есть последних долгоиграющих (!) американских пластинок. Послушай, Игорь, а как ты узнал, что я... хм... в России?»

«Хохма! — усмехаешься ты. — Я тебя видел вчера по телевизору. А телефон твой мне дал Антилопьев — тот саксофон, помнишь?»

«Игорек-Игорек, — думаю я. — Ты так говоришь, словно мы не чужие друг другу старперы, а те одноклассники, ближайшие друзья, стилиги пятидесятых. Кого ты хочешь обмануть — меня или себя? Ты так со мной говоришь, как будто сорока лет не прошло. Как будто мы еще не потратили наши жизни. Как будто мы еще не дрались с тобой из-за Незабываемой Любки тридцать лет назад. Как будто ты еще не порвал с нашей компанией двадцать лет назад. Как будто Кешка Антилопьев все еще саксофонист, а не министр в новом правительстве реформаторов.

Неужели ты забыл, Игорь, как в начале семидесятых ты стал ответработником ЦК, «спичрайтером» и консультантом? Ты, человек строгих антисоветских убеждений, которыми ты так всегда гордился, — забыл? Я знаю, что ты не был там в аппарате самым «чего-изволите» товарищем, ты знал себе цену — так или иначе, ты был одним из немногих тогда высоколобых интеллектуалов, что читали Шопегауэра и Ницше, Соловьева и Федорова, Фрейда и Эйнштейна, Розанова и Сартра, Деррида и Леви-Страуса; список далеко не исчерпан, о нет! — но разве это не ты и твои новые товарищи, циничные интеллектуалы партии, сочиняли для Брежнева и Андропова перлы вроде «Движимый высоким духом международной солидарности, советский народ единодушно поддерживает правительство Бабрака Кармалю в его благородной борьбе против происков американского империализма», — не ты?

Неужели ты забыл, Игорь, как однажды в конце семидесятых во время нашей случайной — или не случайной? — встречи ты дал мне понять, что нам не стоит поддерживать дружеские связи, особенно ввиду того, что я все больше дрейфую в сторону врагов режима? «Судьба слепа, но каждый встречает ее поодиночке», — разве это не ты отчеканил тогда эту мудрость перед тем, как мы расстались?

«Между прочим, — ты говоришь сейчас, — у нас тебя ждет обалденный сюрприз».

«Не сомневаюсь», — говорю я.

«Что ты имеешь в виду?» — удивляешься ты.

Я лишь вздыхаю в ответ.

«Машина нужна? — В этом месте ты немного спотыкаешься, видимо вспомнив цэковские машины. — Я могу послать за тобой машину».

«Не нужно, я приеду на троллейбусе».

«На троллейбусе? — Ты хохочешь. — Любка, воображаешь, Стас собирается к нам на троллейбусе!»

«А почему же нет, — бормочу я. — У меня тут сто шестнадцатый прямо под окном, а ведь он идет, если память не изменяет, прямо к метро «Князь Кропоткин».

Ты определенно тронут, вплоть до того, что и меня трогают какие-то трогательные нотки в твоем голосе.

«Предлагаешь встретиться на том же месте, где тридцать лет назад? Возле «Моссправки»?

«Точно!»

«Стас Ваксина!»

«Игорь Горелик!»

Договорились. Ожидается ужин с приятными воспоминаниями.

Выхожу из дома. Под высокой аркой постоянный поток окиси углерода маскируется под ветер из чьего-то непорочного детства. Траффик застрял по всему перекрестку. Единственным движущимся объектом в этом параличе оказывается только что упомянутый 116-й троллейбус с его шупальцами на крыше.

На остановке оттуда никто не вываливается. Никакой душегубки внутри — пожалуй, даже пустовато. Несколько пассажиров с ухмылочками, с приплюсочками покидают т.с. Никто не собирается штурмовать двери. Впечатление такое, что т.с. прибыло не из московской сутолоки, а из буколического рассказа. Никто вообще не садится, кроме автора.

Не успел я войти, как двери закрылись с громким шипением. «Не успел» следует понимать буквально, поскольку часть моей левой ноги оказалась зажатой между двух полос резины. После минуты неуклюжей борьбы, уже на ходу, я воссоединяюсь со своей конечностью. Все в порядке, ничего серьезного — полоса грязи на светлых брюках не считается.

Я занимаю сиденье и оглядываюсь в поисках кондуктора. Она, или он, не определяется. Десять лет назад, когда я уехал из этого города в Штаты, каждый троллейбус имел своего персонального кондуктора. Отменили их, что ли, с того времени? Каким же образом теперь тут собирают плату за проезд? Спросить некого: я тут, оказывается, один во всем просторном салоне.

116-й между тем медленно выбирается из бардака нашего перекрестка и начинает свободное движение вдоль набережной Москвы-реки. Ветер и солнечное сияние превратили мутные воды в сверкающую поверхность танцующих волнишек. На другой стороне водного пути чудовищные темно-серые стены электростанции высятся, как призрак коммунизма. Паук серпа-и-молота все еще висит на крыше, однако рядом с ним сидят «Роллекс», «Самсунг» и прочая капханалия.

Внезапно меня пронзило ощущение, что кто-то за мной наблюдает. Я еще раз оглянулся: никого не видно. Я посмотрел вперед и только тогда заметил увеличенное лицо в большом зеркале заднего вида. Не сразу я понял, что это было лицо водителя. И только через несколько секунд осознал: именно он наблюдает за мной, да к тому же и с чрезвычайной враждебностью.

Вряд ли кто-нибудь в Москве скажет, что водители троллейбусов симпатизируют своим пассажирам, однако выражение этого тяжелого лица отличалось от обычной усталой недоброжелательности. Передо мной в зеркале заднего вида было то, что называется «львиной маской», как бы раздутой от ненависти.

Он ловит мой взгляд, и на лице его появляется угрожающая гримаса. «В чем дело?» — спрашиваю я молча. В этот момент троллейбус останавливается на красный свет. Освободившимися руками водитель показывает мне, как он сжал бы ими мою глотку. Для пушей убедительности делает своими лапами винтообразное движение.

Может, он просто недоволен тем, что я не заплатил за проезд? Ну конечно, что же еще? Я иду к его кабинке и через окошечко в стеклянной перегородке протягиваю пятитысячную ассигнацию. Стараясь разрядить обстановку, говорю ему с улыбкой: «Да вы не думайте, что я зайцем тут у вас хочу проехаться. Я просто не знал, как заплатить. Должно быть, вы сами принимаете плату, не так ли?»

«Сядь на место, говнюк», — говорит он с глубочайшим презрением. Я делаю вид, что не расслышал обидного слова.

«Вы знаете, я долго жил за границей и, должен признаться, отвык от нашей славной транспортной системы».

Он швыряет свою колымагу вперед и рычит: «Скажи спасибо, что у меня руки заняты!»

Я ему говорю: «Да что вы рычите, как зверь? Уж извините мне мое невежество, или, если угодно, рассеянность. Чего рычать-то?»

В ответ он не рычит, а ревет: «Сядь на место, жопа!» Его правая рука на мгновение резко снижается к левому бедру, как будто он хочет вытащить из ножен казачью шашку или, скажем, кубинское мачете.

Что за вздор, какое еще мачете у обычного московского водителя троллейбуса?

Внезапно какая-то неясная издевательская скороговорка доносится до меня, я различаю в ней только одно слово: мачете, мачете... В зловещей изоляции этой электротелеги с ее пневматическими дверьми, находящимися во власти агрессивного хмыря, чувство ловушки медленно пронизывает меня с ног до головы. «Перестань, — говорю я себе, — кончай накачиваться этим дурацким страхом, освободись от него. Ничего серьезного не происходит. Просто чокнутый за рулем, вот и все. Может быть, он даже и не чокнутый, а просто мучается с похмелья. Никакого мачете быть не может в этом рассказе, в худшем случае ржавая монтровка. Ну а если он будет тебе грозить этой монтровкой, сопротивляйся! Конечно, ты стар, но все-таки еще недостаточно стар, чтобы капитулировать. Ты сам выбрал этот троллейбус с идиотом за рулем — больше винить некого. Это просто идиотское стечение обстоятельств с 1% нехорошего исхода. Или с 15%. Быть может, 50%, но не больше. Ни в коем случае не больше 50%. Во всяком случае, у тебя еще хватит мускулов, чтобы сопротивляться.

Если, конечно, у него нет огнестрельного оружия. Или острого кубинского мачете, подаренного ему братьями Кастро. О'кей, следующая остановка приближается. Сейчас сюда влезет группа симпатичных москвичей, вся обстановка разрядится, и ты перестанешь чувствовать себя одиноким заложником».

Через стеклянную перегородку я вижу личную карточку водителя, прилепленную к ветровому стеклу; она гласит: «Вас

обслуживает водитель тов. Кашамов А.Х.». Карточка снабжена и фотографией. Ей-ей, он не всегда выглядел так хреново, как сегодня. У него были волнистые светлые волосы, прозрачные глаза, и только губы демонстрировали слегка угрожающий хулиганский изгиб.

Не успел я нагнуться к окошечку, чтобы сказать ему что-то юмористическое, примирительное по поводу его фото, как он ткнул прямо в это окошечко монтировкой. Сделай он это на долю секунды позже, и мое зеркало души было бы всмятку. Я вскричал: «Сукин сын! Ты что, псих, что ли?!» Восклицание было сугубо риторическим: если он не псих, то кто же? Какой водитель троллейбуса относится так к своим пассажирам?

Он расхохотался: «Ну, говна кусок, теперь ты знаешь, что может случиться с таким, как ты, гребаным шпионом! Еще возмущается! Занимается своим гребаным шпионажем среди бела дня и еще возмущается! Жаль, что я тебе черепушку не пробил, бляха шпионская!»

Нужно немедленно выйти отсюда! Нужно позвонить в полицию! Или как ее там — в милицию! Агрессивный маньяк за рулем! Слава Богу, приближается следующая остановка. Возле кино «Зарядье» дюжина пассажиров готовилась к посадке на невинно выглядевший 116-й. Дорогие мои законопослушные соотечественники, почитатели Здравого Смысла, теперь вы увидите, какой «одиночки» ублюдок, если нам позволят использовать лексикон «Механического апельсина», повезет вас по вашему маршруту. Ведь это же угроза не только отдельно взятому пассажиру, но и дюжине таковых! Дамы и господа, просто дайте волю небольшому обобщению и вы увидите, что такие водители предвещают позорный конец всему космическому кораблю «Земля»!

Затем произошло немыслимое: товарищ Кашамов не остановился у «Зарядья». Он даже и не подумал открыть двери. Мелькнула дюжина открытых ртов, и в следующий миг мы были уже под мостом. В темноте я увидел только металлический зуб в хохочущей пасти, отраженной в зеркале заднего вида.

Абсурдность ситуации сокрушила мою нервную систему. Я обливался потом. Меньше всего я был готов сражаться с безумцем. Я просто дрожал, а сердце бухало, как последнее копыто у загнанной лошади. Я видел, что некоторые пассажиры стараются догнать проскочивший мимо троллейбус, размахивая своими зонтами и тросточками, однако товарищ Кашамов лишь

хохотал в свое удовольствие. Он даже забыл на некоторое время о заложнике: проскок «Зарядья», очевидно, был для него главным триумфом дня.

Следующая остановка, Плавательный бассейн имени Владимира Ленина, появляется в поле зрения. Большая группа пассажиров ждет там 116-й. Кашамов определенно не имеет никаких намерений подобрать их, скорость возрастает.

Я кричу: «Слушай, Кашамов, похоже на то, что ты сегодня попадешь в смирительную рубашку!»

Без раздумья он выплевывает всю имеющуюся слюну в окошечко своей перегородки. К счастью, не весь заряд этой слизистой секреции попадает в цель — только незначительное количество крохотных капель, иначе заложник сам бы стал кандидатом для смирительной рубашки. Пока что я просто на грани безумия.

«Слушай, подонок, — говорю я свистящим шепотом, — если ты не остановишься и не выпустишь меня отсюда, я тебе продырявлю затылок!»

Он смотрит на меня через плечо.

«Ну, покажи!»

«Что показать?»

«Твой ствол».

«Останови троллейбус!» — кричу я почти истерически.

Он хохочет: «Брешешь, папаша! Нет у тебя ствола! Плюю в твою морду, папаша!»

Все мои члены дрожат. Был бы у меня ствол, я бы прицелился в эту омерзительную башку с большой плешью и с ушами, на которых серая волосня торчит вверх, как у волка. Не уверен, что выстрелил бы, но уж безусловно взял бы на мушку.

Тем временем мы приближаемся к кольцу маршрута 116. Толпа пассажиров, очевидно, счастлива узреть материализацию долгожданного тролля. В этот ранний вечерний час площадь Князя Кропоткина полна человеческой активности. Станция метро откачивает волны населения. Я вижу приметы новых времен — многочисленные коммерческие киоски. Западных товаров в них столько, сколько не набралось бы во всей Москве наших времен. Все же вехи прошлого еще видны то тут, то там. Например, «Моссправка» и круглая театральная гумба, и между ними я замечаю моих друзей — тебя, Игорь, и твою жену Любку Андриканис, эту Незабываемую. Так или

иначе, невзирая ни на что, злобещий 116-й привез меня к берегам ностальгии.

Увы, слишком преждевременно я стал предвкушать Любкину кулебяку. За десять метров до остановки тролл делает резкий левый поворот, ударом в зад отшвыривает фургончик и снова резко поворачивает, словно убегая от толпы набегающих пассажиров. Восхитительный маневр, надо признать, однако 116-й все-таки не спортивный «Феррари», а дряхлый советский троллейбус, целиком зависящий от подвешенного электрокабеля. Щупальцы его потеряли контакт. Двигаясь по инерции, колымага врезалась в фонарный столб и сокрушила это сооружение. И остановилась! Наконец-то! Все двери разом распахнулись. Товарищ Кашамов был выброшен со своего удобного сиденьца на землю. Он вцепился в асфальт и остался лежать там без движения, распростерт.

Я дешево отделался: всего лишь фонарь под глазом и трещина в ребре, что было обнаружено рентгенологом на следующий день. Во всяком случае, я выгрузился и присоединился к толпе зевак. Народ сформировал классическое кольцо вокруг кашамовского тела. Приподнятые голоса звучали, как хор в драме. Фальцет корифея старался организовать несколько хаотическую дискуссию.

КОРИФЕЙ: Это он, водитель троллейбуса Кашамов, не так ли?

ХОР: Это он! Или двойник? Или тезка? Нет, это он, лично!

КОРИФЕЙ: Читали ли вы его недавнее интервью в «Вечерке»?

ХОР: Он идеолог Суши! Он главный враг Моря! Да нет, он просто мудака! Он просто бухарик и бомж! Красно-коричневый? Просто наркотик! Он идиот!

КОРИФЕЙ: Так почему же ему разрешают работать на общественном транспорте?

ХОР: А что они могут сделать? В этом городе страшная нехватка водителей троллейбуса. Ведь мы все-таки приближаемся к концу тысячелетия!

Ни хор, ни корифей не обращали внимания на бывшего заложника их героя. Никому я был не нужен, кроме Гореликов. Они подбегают: «Стас, ты в порядке?»

«Ай'м файн»¹, — отвечаю я в соответствии с благоприобретенной за океаном привычкой. Всегда отвечай «файн», и будешь «файн».

Незабываемая Любка счастливо смеется. Во рту у нее все еще полно жемчужин.

«Как тебе нравится этот неисправимый Стас Ваксино? Из тысяч московских водителей троллейбуса он нашел одного сумасшедшего! Город полнится слухами о невменяемом водителе троллейбуса, однако никто на него не наталкивался, кроме тебя, Стас Ваксино!»

«Ну, пошли, — говоришь ты, Игорь. — Боюсь, как бы там наша водка не нагрелась: холодильник хандрит».

«Надо все-таки узнать, в каком состоянии этот хмырь. Этот хор вокруг шумит, как стая грачей, и никто не озаботится, нужна ли помощь этому хмырю — переливание крови там или что-то еще».

Любка продолжает веселиться: «Посмотрите на этого Стаса Ваксино! Подонок хотел из него сделать котлету своим мачете, а он беспокоится о его состоянии — каков либерал!»

«О каком еще, к чертям, мачете ты говоришь, Любка?»

«А что же он сжимает в правой руке? Может быть, ты хочешь сказать, что это просто преувеличенная селедка?»

Я смотрю туда, куда она показывает. Штука в руке Кашамова не похожа на преувеличенную селедку.

«Ну, пошли отсюда, дядя Стас», — говорит кто-то еще за моей спиной.

Я оборачиваюсь и вижу высокого молодого человека, сильного, элегантного, «дэбонэр», что называется. Не без труда узнаю сына Гореликов Славку — того самого, кто все эти годы жил в моей памяти как вездесущий тощий подросток с ленинградской набережной Крузенштерна.

«Славка!»

«Стас!»

Мы обнимаемся.

Ты, Игорь, суживаешь глаза: «Я же обещал тебе сюрприз, вот и получай!»

Они все еще живут в одном из цэковских домов возле Гоголевского бульвара, шикарное пристанище даже по американским стандартам. Раньше подъезд круглые сутки охранялся

¹ От англ. I'm fine — У меня все прекрасно.

милицией. Теперь охраны нет, а потому основательно несет мочой. Внутри их большой квартиры приметы упадка едва заметны, но все-таки заметны. Многие вещи, принадлежавшие ушедшей советской эпохе, в частности всякие западные штучки, к которым хозяева имели доступ через свои «закрытые распределители», сейчас выглядят жалко. Одна штука, впрочем, несет на себе приметы неопровержимо высокого класса: антикварный бильярдный стол в глубине анфилады.

Ты, Игорь, хихикаешь: «Ну, Стас, как себя чувствуешь в доме банкрота? Ну да, наша корпорация объявила дефолт, так что мы все потеряли кредит. Хочешь, я расскажу тебе, как это случилось?» И ты рассказываешь мне простую, хотя немного и апокалиптическую, во всяком случае с точки зрения коммуниста, историю.

Утром 21 августа 1991 года ты, Игорь, сидел в своем кабинете в святая святых на Старой площади. Снаружи до тебя доносился рокот большой толпы. «Финита ля комедия, — думал ты не без злорадства. — Вы, товарищи, не последовали советам ваших наемных интеллектуалов по модернизации общества, и теперь ваше мрачное величие обоссалось и обосралось».

Тут без всякого предупреждения двери кабинета распахнулись, и трое парней Славкиного возраста, джинсы и кроссовки, вошли в самой небрежной манере. «Сваливай отсюда, партийная крыса!» — сказали они попросту. Ни драматизма, ни злобы не слышалось в этом историческом вердикте. Для них это все само собой разумелось. Да и «крысой» они не хотели обидеть. Для них все, кто сидел в этом здании, были крысами, без всяких исключений и тонкостей. «И они правы, — думал ты, Игорь, во время этих быстрых минут, — мы все крысы, и совсем не важно, кто что сделал для того, чтобы расширить «границы терпимости». Они просто хотят, чтобы все мы слиняли со всеми нашими крысиными перестройками. Наша цивилизация завершилась, мой друг».

«Ваша цивилизация?» — спросил я.

Он уточнил: «Моя и твоя. Цивилизация партии и антипартии была кончена».

«Хм», — сказал тут Славка.

«Прекрати эти свои «хм»! Уволь меня от твоих хмычек! Я сыт ими по горло!» — ты, Игорь, взорвался почти в истерику.

Любка Незабываемая вышла из столовой: «Ужин готов, джентльмены!»

Мы сидим вокруг стола. Любкино кулинарное искусство, как всегда, на высоте. Блаженство ее нежной, с хрустящей корочкой кулебяки омывается водкой, настоящей на крымских травах. Непревзойденная Любка! Сколько ей лет? Когда Игорь представил ее нашей банде в Коктебеле, ей было 19. Через год она родила Славку. Ей, стало быть, еще нет пятидесяти, может быть, сорок семь — вроде этого. Иногда она выглядит абсолютно молодой, абсолютно! Юной и счастливой! Незабываемой и Неувядаемой!

Что касается Славки, то он больше не шалит со своими хм-хм. Напротив, благосклонно общается со старым поколением. Рассказывает городские шутки про «новых русских». Мне нравятся эти хохмы про автомат-калькулятор в багажнике «бенца».

«Вот тебе, Стас, чистый романтизм, — говоришь ты, Игорь. — Цикл постпостбайронизма завершен!»

Иногда ты бросаешь боковые взгляды в глубь своих анфилад. Гигантский бульдог бильярдного стола отражается в твоих зрачках.

«Я вижу, ты почти все понимаешь, Стас. Да-да, я тоже завершил цикл своих трансформаций. Пока ты был вдалеке от родины, я стал гроссмейстером бильярда. Коммунисты, вперед!»

Ты рассказываешь о своей последней трансформации. Вся ваша компания высоколобых партийцев пренебрегала ленинской теорией. В ЦК вы просто халтурили. Львиную долю своего времени вы проводили в партийных санаториях, стоя со своими киями вокруг зеленых суконных поверхностей. День-деньской все вы играли на бильярде, и ты, Игорь, был неопровержимым чемпионом этого как бы несуществующего клуба. Апокалиптические события 91-го не только разрушили твой величественный мир, они также способствовали высвобождению твоего второго «я» выдающегося бильярдиста; вот вам и диалектика!

«В той комнате, — ты киваешь в глубину своего апартамента, — собирается самый эксклюзивный клуб городских игроков. Вот так-то, Стас. Бог даст день, Бог даст пищу».

Интересно, что в течение всего ужина никто из семьи не задал мне ни единого вопроса о моей жизни в отдаленной стране. В постсоветское время странное равнодушие к Америке стало распространяться среди москвичей. Публика почему-то по-

лагала, что она знает о Штатах все. Тот факт, что человек живет в Америке, как бы говорил сам за себя. Фактически единственный личный вопрос был задан Любкой, когда она возилась с моим подбитым глазом: «Больно, Стас?» Заботливые ее руки — время нанесло им урон больше, чем другим частям тела, — превратили мой фонарь в размазанное синие-оранжевое украшение сродни цветовым пятнам Кандинского. И все же это было незабываемо — ее пальцы вокруг моего глаза.

Русская выпивка без философии считается пустой тратой времени. И наша не была исключением. Мы истощили уже все запасы доброго юмора, легкого сарказма и легкомысленных воспоминаний. Несмотря на ароматную водку и благодаря огромному количеству еды, мы становились все трезвее и сумрачней; что называется, обкушались. Теперь мы поглядывали друг на друга как бы в предвкушении того, что называется «серьезным разговором». Ребро болело, и философия становилась неизбежной.

«Что же, Игорь? Что же ты все-таки думаешь обо всем этом анекдоте?»

«Каком анекдоте?»

«Об империи, которая собиралась существовать вечно, но не дотянула и до семидесяти пяти лет, перед тем как развалиться на куски?»

«Эта штука не дотягивает до анекдота — это история, а об истории и говорить нечего».

«Иными словами, нет никакого смысла в подсчете невинных жертв и невинных злодеев — так, что ли?»

«Есть только слепая удача и не менее слепая беда — вот что такое история. Как у вас в Америке говорят, *right time and right place, wrong time and wrong place*¹. А фактически хаотические завихрения на пути к окончательной инвентаризации».

«И стало быть, стоя вокруг бильярдного стола, ваш клуб будет ждать ангела с Благой Вестью: Жизнь Есть Форма Существования Белковых Тел; так, что ли?»

«Верная догадка, мой милый Стас Ваксина, властитель дум нашего поколения».

Провожая меня, Любка Незабываемая жарко прошептала прямо мне в ухо, которое тоже слегка ныло из солидарности с

¹ В нужное время в нужном месте, в неподходящее время в неподходящем месте (англ.).

ребром и глазом: «Не знаю насчет дум нашего поколения, но некоторые старые девушки до сих пор тебя помнят, мой Стас Ваксино».

Славка подвез меня до дома в своем «ягуаре», чей задок слегка провисал, как у стареющей, хотя все еще в активном бизнесе, бляди.

— Не беспокойся, Стас, через неделю я обменяю его на почти новый «Порше», — сказал он мне по-мальчишески.

— Я не беспокоюсь, — не очень-то хорошо ответил я.

Когда-то я любил его, как своего собственного сына. Когда-то он приезжал ко мне из Ленинграда и немедленно интересовался последней доставкой нелегальной литературы из-за бугра. «Питер нуждается в литературе! — восклицал он с глазами, полными пылающих убеждений. — Нам нужна настоящая литература по любому предмету: искусство, философия, религиозная мысль, права человека!» Он полагал себя революционером, подпольным связным. Встретив его сегодня, я был смущен и пристыжен оттого, что я так мало думал о нем там, в Америке. Сказать по правде, у него не было специального сегмента в моей памяти. «Ублюдок, — подумал я о себе, — ты больше думаешь о персонажах своих книг, чем о реальной близкой душе».

В машине он мне говорит: «Ты знаешь, что моя мать была в тебя влюблена всю жизнь? Она и сейчас в тебя влюблена».

Я смотрю на его профиль молодого самоуверенного парня с мальчишеским крючком по новой моде. Он бросает на меня взгляд и усмехается. Классный малый! Я спрашиваю его, что с ним произошло за время моего отсутствия. Откуда этот шрам на подбородке?

«Это тюрьма», — отвечает он.

Поразительно! Оказывается, он умудрился отсидеть три года в тюрьме как один из самых последних советских «узников совести». Глава гореликовского клана донес на него в КГБ. Нет, конечно, не мой старый кореш Игорь, а настоящий глава клана — Славкин дед Николай (бывший Натан) Горелик, коммунист с дореволюционным стажем, классик соцреализма по живописи, трижды сталинский лауреат, ну и так далее.

Когда Славкины родители переехали в Москву, юнец решил остаться с дедом на набережной Крузенштерна. Они любили друг друга. Дед не принимал Славку всерьез с его «зави-

ральными идеями», а Славка не принимал «ископаемое» всерьез с его соцреализмом. Так было до одной ночи в 1988-м, когда после какого-то спора дед вдруг понял, что вырастил «настоящего белогвардейца». Впав в невменяемое состояние, он стал названивать на Литейный и в результате спровадил внучонка в чекистское узилище. Только августовская революция 91-го освободила этого Мстислава, но он и не помышлял мстить.

«Поверишь ли, Стас, — он говорит, — каждое утро я просыпаюсь с острым ощущением счастья. Я так счастлив, что это все кончилось! Что именно? Вся эта история, которая не дотягивает до анекдота, как говорит мой смешной папа. Вся эта чудовищная империя и наша неуклюжая борьба за права, весь этот придурковатый дедушкин диамат и папочкин цинический романтизм. Я просто счастлив оттого, что весь этот постбайроновский, постсартровский, постбахтинский постмодернизм, включая, прости, и твои сочинения, это российское блядское «лишнелюдие», — закончилось!»

«А что ты собираешься делать, Славка?» — спрашиваю я.

«Деньги!» — он говорит.

«Да, между прочим, — он говорит, — ты не можешь дать мне сотню грэндов на пару недель?»

«Сто тысяч?»

«Ну да, сто тысяч баксов».

«Боюсь, ты меня за кого-то другого принимаешь, Славка. Я ведь просто колледжский учитель в Штатах».

«Ну, сколько ты мне можешь максимум дать на пару недель?»

Я делаю мгновенный расчет в уме и решительно перечеркиваю столь желанные кипрские вакации.

«Не больше чем три».

«И это пойдет, — говорит он с улыбкой. — Хотя бы на три дня отмажут. Верну тебе три через неделю, щедрый дядюшка Стас. А через год выплачу тебе тысячу процентов интереса».

«Ты сумасшедший, мой мальчик», — вздыхаю я.

Мы приближаемся к моему дому. Со своей главной башней, башенками и монументальными скульптурами чудовищный чертог закрывает восточную часть московского небосклона.

«На что тебе этот денежный бизнес, Славка?» — Я выговариваю этот вопрос с трудом, но и со жгучим интересом.

Небрежно, но и не без меланхолии он выговаривает ответ: «Не кажется ли тебе, что я тоже имею право на свою личную утопию?»

Вопрос на вопрос, в ответе зеро.

«Похоже, что вы все тут слегка поехали», — вздыхаю я.

Он смеется: «Я тебе далеко не все еще сказал, Стас Ваксино». И тоже вздыхает.

С чрезвычайной осторожностью я задаю последний вопрос: «Скажи, ты путешествовал когда-нибудь вдоль Каспийской Стрелы?»

Он смеется: «А что тебе?»

«Да так, просто хочу отдохнуть на каком-нибудь теплоходе. Ну, скажем, на «Михаиле Шолохове».

Тем временем товарищ Кашамов Апломб Хардибабедович, только что выписанный из Склифосовского, ковылял по ночному Садовому кольцу и думал свою постоянную тяжелую думу. «Почему я являюсь водителем троллейбуса? Чего здесь больше, Судьбы или Произвола? Как мы пели в нашем пионерском детстве? «Мы родились, чтоб сказку сделать былью». Давайте начнем от печки. Я, Кашамов Апломб Хардибабедович, сорока трех лет, родился в семье Хардибабеда, потомственного московского дворника, по происхождению хуразита с отдаленных Кукушкиных островов, почему же я-то не стал потомственным дворником? Кто мне ответит на этот вопрос? Ты, Мать-Природа? Это ты, наша великая материалистическая Природа, решила мою судьбу в качестве водителя троллейбуса? Кто ты, великая богиня материализма, в твоём каменном с тяжелыми складками одеянии, — сестра ты или мать Богини Судьбы? А может, ты дочь ея, мадам? Кто отвечает за предназначения водителей троллейбуса, за их путевки? Впрочем, пошла бы она подальше, эта армия послушных инструкциям гуманоидов! Меня интересует только один, мой частный водитель троллейбуса, Апломб де Кашам, сын Хардибабеда. Он что, результат твоей химической активности, Мать-Природа, прародительница Богини Судьбы?

Кто там еще сидит в твоём еврейском Синедрионе, кто занимается путевками водителей троллейбусов? Почему ты не родила меня тысячу лет назад, чтобы сделать водителем наций? Тамерланом, что ли? Почему ты не родила меня триллион лет назад в виде грязевого ядра кометы? Почему ты вооб-

ще-то не сделала этого данного Хардибабедовича водителем спецназовского броневика для своего вечного Синедриона — не важно, еврейского или антиеврейского? Почему ты лишила меня закрытых рационов, пакетов нала? Почему ты швырнула меня на похабные трассы Москвы? Почему ты привязала меня к этому гребаному 116-му, с его неизбежными, как будто навеки предназначенными остановками? Почему ты избрала своей представительницей отвратную Софку Блинкину из троллейбусного депо Пролетарского района, эту слезливую лебедиху подозрительного происхождения, которая каждое утро выписывает мне путевку и смотрит на меня с такой отвратной симпатией, как будто она мне навеки предназначена, эта пизда, конгломерат гинекологии, как будто она какой-нибудь еврейский ангелочек из музея?

Нет у меня никакой ненависти к евреям в моем сердце. У меня просто хороший нюх на них. Я просто по нюху чую жиды в любой национальности. Они просто стараются набиться в мой 116-й, как их вонючие селедки, словно не знают, что я предпочитаю ездить в одиночестве. Они предпочитают не знать, что для меня троллейбус — это просто мое собственное расширенное тело. Даже если оно вдруг от них освобождается, обязательно какой-нибудь хмырь в последний момент запрыгивает внутрь вместе со своими суетливыми идейками декадентского воображения. Так что чего вы меня спрашиваете, доктора, что спровоцировало мое «неадекватное поведение»? Если уж Мать-Природа вслепую сотворила меня водителем троллейбуса, пусть она и отвечает за последствия. Мза не кульпа!¹»

Продумав свою основную мысль до ее привычного завершения, Кашамов сел на асфальт возле дома Министерства путей сообщения и там сидел без всяких мыслей и без движения всю ночь, пока Москва не взревела на Кольце тысячами своих движков.

Три года прошло с того дня в начале девяностых. Я снова приехал в Москву из Америки. За это время город приобрел глянец процветающей столицы. Серп и молот на крыше электростанции уступили место короне «Карлсберга» вроде бы окончательно. Монументальные скульптуры рабочих и крестьян, впрочем, уцелели, что и понятно: памятники социализма, «старые песни о главном».

¹ От лат. mea culpa — мой грех.

Недавно я узнал от Славки, который за это время стал довольно частым гостем у меня в окрестностях университета Пинкертон, что его родители в Москве больше не живут. У них произошли, как сейчас стали говорить, достаточно кардинальные изменения. Оказалось, что Любка Незабываемая втайне от мужа приняла участие в лотерее американского посольства и выиграла «джекпот»: документы на право проживания в США, ну эти пресловутые «зеленые карты», для себя и для членов семьи. Подхватив своего Игорька со всем его цэковским прошлым, предприимчивая фемина тут же переехала в Нью-Джерси, где они и поселились под крылышком широко известной среди эмигрантов Восьмой программы. Читателю придется дочитать до конца этот рассказ, чтобы узнать, что с ними произошло в стране больших возможностей.

Что касается их сына, то он сдержал свое слово. Не успел назначенный им срок истечь, как он привез мне тяжелый пакет с процентами — 3 000 000 долларов как одна копейка. «Гони расписку, Стас, и наслаждайся лимонами», — сказал он запросто. Таким образом я присоединился к американскому среднему классу мини-миллионеров. Я действительно наслаждался этими «лимонами». Достаточно сказать, что теперь мое сердце перестало ёкать в те моменты, когда я открывал конверты со счетами и письма своего литературного агента. Сказать по правде, я потерял рвение к литературным делам и не без удовольствия окончательно выпал из литературного процесса.

Случайно я наткнулся на большой заброшенный мотель на одном из флоридских островов под названием Большие Сосны. Я вложил один из моих трех «лимонов» в восстановление этого заведения. И дело с тех пор пошло неплохо. Нынче я приехал в Москву уже как капиталист для изучения деловых возможностей.

Иду по набережной Москвы-реки. Среди ее обычного густого движения вижу желтую крышу троллейбуса. Это что-то мне напоминает, но не могу припомнить, что именно. Тролл останавливается, я вижу номер 116, однако не могу пока что связать концы рассказа. Да и вообще, какое дело американскому преуспевающему бизнесмену до каких-то литературных потуг. Все-таки по еще неясному побуждению влезаю в 116-й и наконец, увидев «львиную маску» в зеркале заднего

вида, немедленно вспоминаю свою дикую поездку три года назад, как будто это было вчера. Даже имя того ублюдочного персонажа начинает высвечиваться из забвения. Шаман? Мамаш? Кашам? Кашамов! Неужели это опять он? Неужели я снова оказался клиентом того психопатического водителя? Тут я вижу снова его угрожающие гримасы, и все сомнения испаряются.

К счастью, я сейчас не один в 116-м. Не менее дюжины досужих пассажиров с удовольствием взирают на дух захватывающий вид Кремля с его летящими трехцветниками. В этой дюжине я вижу и американское семейство. Мама держит все вожжи в своих руках.

«Майк, Кевин, Чэйстити, следующая остановка наша!»

А вот еще один знакомый тип: престарелый советский еврей, по всей вероятности посещающий край своей юности после долгой эмиграции.

«Товарищ, — обращается он к водителю, — следующая — Зарядье, это есть правильно?» Он явно горд своим знакомством с Москвою.

Кашамов отвечает через микрофон: «Если знаешь, чего же ты спрашиваешь, старая жопа?» Публика переглядывается.

Он не останавливается в Зарядье. Он останавливается только в темноте под Большим Москворецким мостом. Там он открывает все двери и командует: «А ну, все выметайтесь, поросята!»

Американское семейство пожимает плечами: «Как-то он странно относится к своим пассажирам, не правда ли?»

Старый эмигрант восклицает с неудержимой страстью: «Это возможно только в хамской стране! Это импоссибл в другой стране! Каков народ, таков и шофер троллейбуса!»

Другие пассажиры, включая и меня, начинают выгружаться без лишних слов. Нервы дороже. Уже снаружи я вижу, как Кашамов и старый эмигрант обмениваются любезностями и жестами. В конце концов первый одолевает второго и вышибает того из троллейбуса. В буквальном смысле, к сожалению. Ногой.

Избавившись от «балласта» (так он про себя называл пассажиров), Кашамов, ловко перетягивая старую веревку, привязанную к контактным щупальцам его т.с., сменил одну электрическую линию на другую. Затем он проделал правый поворот и проследовал вверх в сторону Василия Блаженного. Еще

один правый поворот, и он начал пересечение реки по Большому Москворецкому мосту.

Двери его тролля все еще были открыты, и пассажиры другой линии стали запрыгивать к нему на ходу. На горбу моста 116-й свернул налево, пересек все полосы, проломил перила и исчез из вида. Звуковой эффект ужасного всплеска был сравним, пожалуй, только с историческим выстрелом Царь-пушки, от которого сотни язычников, как гласит легенда, потеряли сознание.

ВТОРОЙ ХОР СВИДЕТЕЛЕЙ И ЗЕВАК

КОРИФЕЙ: Правда ли, что Кашамов направляется в Валгаллу?

ХОР: Это правда, это правда! Он пришел к нам из Валгаллы и теперь возвращается к подножию трона Одина!

КОРИФЕЙ: Правда ли, что он был грубоват со своими пассажирами?

ХОР: Он был не особенно вежлив с ними. Но он знал что-то, чего не знаем мы.

Граждане, граждане, что с вами, народ?! Такие Кашамы опасны для нас! Жаль, что народ его вовремя не казнил! Жаль, что он сам вовремя не казнил все знают кого! Вы не забыли про острый мачете его, подаренный Кастро?

Он алкоголик, венерик и псих!

Он патриот, его имя, как стих!

Он не из такого, как мы все, теста,

Он отдал жизнь свою в знак протеста!

КОРИФЕЙ: Да разве ж он не был простым вожакom городского рыдвана — ответьте мне, братья, и вы, благородные сестры!

ХОР: Он был мстителем этих многострадальных пещер обитанья, держателем наших жестоких и мудрых традиций!

КОРИФЕЙ: Значит, он движется нынче к Валгалле, не так ли?

ХОР: Стая валькирий несет его к сонму героев!

Прогалопировала еще тройка годиков. Сеть «заброшенных отелей» разрасталась в Америке. Никто, конечно, не подозре-

вал, что мое богатство изначально возникло в результате действий скандально известного Славки Горелика по отмыванию денег. В узком кругу литераторов и утонченных читателей, в котором я был известен, полагали, что я скопил капитал, откладывая потиражные. Впрочем, репутация в литературных кругах меня больше не интересовала.

О Славке между тем чего только не рассказывали. Говорили, что он с ума сошел от любви к какой-то питерской гулящей девчонке. Что рассыпает миллионы, чтобы отыскать ее по мировым притонам. То ли он убил кого-то на этой почве, то ли его самого несколько раз застрелили. То ли он продал российский ультракрейсер Китаю, то ли этот крейсер сбежал из Китая и ищет его, чтобы выяснить отношения. Появляясь у меня в Вирджинии, он начинал за столом рассуждать о необходимости очищения воздушной среды от последствий безудержного злостного пердежа, вкладывая в это как метафизические, так и сугубо реальные смыслы. Сестры, живущие в моем доме, хихикали: «Ох уж эти новоруссы!»

Что касается его родителей, то ты, Игорь, отказался от своего сына за то, что тот «стал воплощать в себе все худшее, что может быть в капитализме». Не исключено, впрочем, что это он отказался от тебя в связи с твоей фундаментальной идеей. Так или иначе, старшие Горелики устроились неплохо в старом Новом мире. Ты, Игорь, стал почтенным бильярдным маркером в эксклюзивном клубе за плотными шторами на Кони-Айленд авеню. Жена твоя Любка открыла агентство по продаже недвижимости под вывеской *The Unforgettable Reality*¹.

Господь да не оставит вас, ребята! Повернувшись спиной к истории СССР, вы все-таки умудрились сделать вполне приличную американскую «историю успеха».

Однажды вечером в конце июня я снова прибыл в Москву. Целью приезда было открытие моего первого русского мотеля под названием «Заброшенное пристанище». Я оставил дома багаж и пошел прогуляться среди знакомых пейзажей, что все еще были дороги мне как бывшему русскому писателю и патриоту.

Рискуя показаться банальным, все-таки должен признать: я люблю Красную площадь, этот центр величия в сумбур-

¹ Незабываемая Реальность (англ.).

ной столице. Здесь рядом с Лобным местом и Мавзолеем Ленина после какого-нибудь кислотного дождя иногда проступают следы сталинских железобетонных сапог. Конечно, есть что-то зловещее в этих объектах национального достояния, но скажите, сердце какого русского не испытывало привязанности к этим булыжникам, а мистер Стас Ваксина, хоть и не вполне заверченный образец русскости, не является исключением.

Стараясь припомнить, что произошло в этом окол Кремлевском пространстве три года назад, я подошел к Большому Москворецкому мосту. На его горбу я увидел толпу, не менее сотни мужчин и женщин, стоящую в церемониальном бдении; иные со свечками в руках. Я подошел и обратился к ним дипломатически: «Могу ли я узнать, дамы и господа, что заставило вас собраться в месте, столь малоподобающем для общественных акций?»

Удивленные лица повернулись ко мне.

«Как так? Неужели вы забыли? Мы отмечаем тридцатую годовщину трагического подвига Апломба Хардибабедовича Кашамова!»

Я тут же припомнил гигантский всплеск от троллейбуса, ведомого бунтующей рукою.

«Я видел это моими собственными глазами, — сказал я не без гордости. — Однако простите меня, почтенные граждане, ведь это случилось не тридцать, а три года назад — не так ли?»

Участники бдения нахмурились.

«Послушайте, иностранец, не смейте бросать тень сомнения на наши ритуалы. Пора сомнений миновала. Понимаете?»

Я замечаю, что некоторые в толпе покашливают, как бы прочищая свои глотки, другие же выпускают слегка приглушенные рулады. Ба, да ведь это не что иное, как хор! Третье появление хора в этой истории, для точности. Я бормочу, не адресуясь ни к кому из них лично: «Насколько я помню, там были люди, что вскакивали в тролл на ходу. Интересно, кто-нибудь уцелел?»

И хор взмывает.

ХОР (*волнуясь, как море*): Да что же считать нам отдельные жертвы? Ведь речь же идет об Апломбе Великом, что отдал живот за народ и остался бессмертным!

КОРИФЕЙ: Вниманье, вниманье, вниманье, товарищи, граждане, дамы! Сегодня он явится миру, сегодня иль никогда!

Хор вперился в металлическую рябь реки. Через несколько минут дымный свет появился под поверхностью. Он медленно приближался, таща за собой шлейф ила, несомненно содержащий множество секретов этой столицы. Застывший хор благоговейно взирает, как пятно превращалось в 116-й с водителем Кашамовым за рулем. Честно говоря, я не узнал бы парня, если бы встретил его на улице. Он, казалось, был сделан из цельного куска мыла. Двигаясь по реке, он не обращал никакого внимания на толпу поклонников на мосту в той же манере, в какой Великий Ленин не обращает внимания на неистощимый поток посетителей Мавзолея.

КОРИФЕЙ: Братство мое и сестричество! Верные дети Апломба Кашама! Славу сейчас пропоем в честь великого духа Реки!

ХОР:

Сквозь грозы сияло нам солнце свободы!
Плывет 116-й гордый ковчег!
Сквозь чистые воды, сквозь мутные воды
Веди нас, величественный человек!

Троллейбус исчезает под мостом и вновь выплывает из-под моста на другой стороне. Он уходит все дальше, постепенно превращаясь в пятно света, в желтую песчинку, в ничто.

*декабрь 98-го — июнь 99-го
Авторский перевод с английского*

Под оранжевой лампой

Чтение завершилось. Я собирал страницы и постукивал рассказом по столу, выравнивая края. Общество сидело под плоским абажуром и неплохо отражалось в темном окне. Все там казались значительно моложе: Мирка, Галка, Галкин друг — отставной адмирал Лихи, Вавка, соседи Мак-Маевские, ну и автор. Должен был быть еще и Славка Горелик, но он, по

своему обыкновению, не явился. Густо-оранжевый блин в темном стекле придавал лицам оттенок хорошего загара, а сумерки ретушировали припухлости и морщины. Станным образом отражение устраняло и аляповатость только что завершившегося акта. В окне выявлялась какая-то иная суть нашего собрания, рассеивающая его анекдотичность, словно это было не собрание, а живопись собрания, картина под названием «Чтение рукописи за семейным столом», а не само чтение, к которому меня, собственно говоря, принудили сестры О.

В далекие 60-е годы традиция домашних чтений еще держалась в литературе. Время от времени кто-нибудь устраивал подобные суаре с последующей выпивкой. Среди еле прикрытой истерии тех времен возникали такие умиротворяющие сцены. Расхристанная богема казалась сама себе кружком серьезных молодых писателей, людей словесности. Автор читает, скажем, пьесу. Входит в раж, прочитанные листы отбрасывает в сторону движением, что сделало бы честь и театру Комиссаржевской. Все сохраняют серьезность, хоть и чувствуют себя немного обосранными. Что же это такое, да почему же мы не можем по-настоящему-то, как символисты? Какой бес подмывает сказать что-нибудь издевательское?

Чтение заканчивается. «Ленок!» — скажем, командует автор, и его жена, скажем, Елена, вчерашняя «классная чувиха», а ныне, после прочтения опуса, «подруга дней его суровых», вкатывает столик с напитками. «Пьем за тебя, солнечный ты наш пуп!» — говорит из нас самый алкоголистый. Начинается хвалебная вакханалия. Любая негативка в таких обстоятельствах кажется неуместной, пока вдруг не происходит пьяный поворот, опрокидывающий всю лодку. «Жопа, у тебя тут есть жестяной таз?» — спрашивает кто-нибудь у автора. «Да зачем тебе жестяной таз?» — удивляется лауреат хвалы. «Чтоб в него твою пьесу сбросить!» И начинается хамский хохот.

Не хочется вспоминать дальнейшее позорище и стыдливый перезвон на следующее утро. Все чувствуют себя перемазанными, и все-таки через некоторое время тот же кружок с небольшими вариациями вновь собирается на домашнее чтение, и все собравшиеся понимают, что «в этом что-то есть», как-никак продолжение традиции. Так ведь и Булгаков читал Михаил Афанасьевич главы из «М & М» крошечному

кружку ближайших, и ведь никто не настучал — это в тридцатые-то годы! — и рукопись уцелела вживе! Правда, там так не пили.

С распространением свободы и всеобщего сарказма домашние чтения стали отмирать, и я, признаться, об этом не жалел. С возрастом мне все меньше стала нравиться бутафорская сторона дела, да и вообще литературственность жизни как-то потускнела по обе стороны океана. Вдруг сестры О стали меня активно убеждать в необходимости чтений. Стас, как ты не понимаешь, сидя в эмиграции, ты просто обязан, ну, глаголом-то, ну, жечь-то избытки холестерина у окружающих. Ведь здесь-то ты читаешь не братьям-писателям, значит, и притворяться не надо. В общем я стал, как зануда Тригорин, объявлять домочадцам: «Закончил рассказ», и сестры тут же начинали планировать чтение. У этих вечно подшучивающих и мило подхихикивающих дам сохранился — и даже, боюсь сказать, увеличился — пиетет в отношении литтекста. Во время чтения все их хохмочки вылетали наружу и резвились до поры с нашими птахами.

В последнее время они стали приглашать под оранжевую лампу чету Мак-Маевских, поляков, у которых за плечами была советская одиссея эвакуации, ссылок, а стало быть, и любви к русскому слову, а также Галкиного бой-френда, отставного адмирала Джефа Лихи из военно-морской разведки США, который мог в любой момент, когда бы его ни разбудили, прочесть наизусть какой-нибудь рассказ Зощенко в оригинале. Славка Горелик, что уже три месяца жил у нас на чердаке, не приглашался, но подразумевался среди присутствующих. Иногда он и впрямь подсаживался, закладывал ногу на ногу, качал итальянской туфлей и переводил взгляд с одного лица на другое, как будто пытался определить причины недуга. Чтения явно не слушал. То и дело в кармане у него начинала звонить «сотка». Тогда он извинялся и поднимался к себе. Чаше всего к столу не возвращался.

Интересно, что он и прибыл к нам во время одного из таких чтений. Приехал без звонка на скромном наемном автомобильчике. Увидев восседавших вокруг стола любителей литературы, еле заметно поморщился, но тут же продемонстрировал великолепные манеры: сел с краю, выпил стакан вина, съел тарелку салата и заснул, положив голову на руки.

Сестры были явно раздражены его появлением. Вавка уверяла, что уже видела его раньше в «Белом таракане» на Петровских линиях. Он там оттягивался в далеко не безупречной компании. Что у тебя общего с этим молодчиком, Стас? Немало общего, я сказал, может быть, больше, чем я думаю, но не стал вдаваться в подробности.

Оказалось, что он чуть ли не сутки летел в Вирджинию на перекладных и заснул на чтении из-за джетлега, а вовсе не из хамства. Слушай, Стас, мне нужно у тебя отсидеться несколько месяцев, может быть, полгода. Не можешь ли ты меня устроить на какую-нибудь должность в университете? На какую угодно, хоть дворником. Могу быть тренером по карате, у меня «черный пояс». Был бы в восторге послужить в университетской полиции. Освобожденный советский человек не видит преград. Он думает, что его только и ждут в университетской полиции. Воображаю этого Славку, с его развинченной походкой, среди наших кряжистых центурионов. Нахальство, однако, города берет. Должность, хоть и не в полиции, он получил. Я устроил его в свой класс в качестве teaching assistant, даже назначил ему жалованье из своего дискретного фонда — 8 долларов 50 центов за час работы.

Он рьяно взялся за дело. Проверял списки студентов и собирал их мид-терм работы, показывал слайды на проекторе, разыскивал тексты в библиотеке и через нарождающийся тогда Интернет — словом, был полезен. Студенты поначалу были в замешательстве. «Помощник преподавателя» обычно принадлежит к малоимущим классам. Чаще всего это какая-нибудь не очень видная девушка в неизменных застиранных джинсиках и убогом свитерке. Данный «помощник преподавателя» напоминал персонаж из рекламных листов New York Times Magazine. Только близорукий не распознал бы в его псевдообычных костюмах коллекционных «Брухахарди» и «Алахверди». Иной раз из-под манжеты молодого человека мелькали часы «Корбюзье», стоимость которых, пожалуй, даже и не уложилась бы в студенческой голове. Самая главная загадка, однако, заключалась в природных данных «помощника преподавателя»: разворот его плечей находился в полной гармонии с длиной ног и окружностью талии, кожа отличалась оранжевым оттенком, шрам на подбородке привносил в его облик какой-то неясный интригующий сигнал; что касается длинноватой физиономии, нужно заглянуть в первую главу,

чтобы понять, почему она приводила в трепет арабских и испанских девушек.

Впрочем, студенты скоро привыкли к новому человеку. В перерывах он покурил вместе с ними, щеголял своим странноватым английским и даже иногда показывал приемы любимого единоборства. Имя Слава не представляло для студентов никакой трудности, а вскоре они придумали ему и кличку: Ростропович. В общем, они решили, что этот парень cool¹.

Что касается сестер О, они не очень-то восторгались новым постояльцем. Вавка, та даже слегка кривилась в его присутствии. Мопсячья мордочка, казалось, даже готова была тявкнуть. Галка при нем обычно демонстрировала усталость. А вот Мирка, напротив, вступала с ним в оживленную беседу, в которой расставляла множество вопросительных знаков. Ей, очевидно, хотелось, чтобы парень когда-нибудь о чем-нибудь проговорился.

Впрочем, и они скоро смягчились. Из шикарного ресторана Chez Kussake каждый вечер нам стали привозить обеды с вином. Оказалось, что нам не нужно беспокоиться о счетах: все было оплачено вперед. Ну, признавайтесь, Мстислав Игоревич, это ваши проделки, подступили сестры к гостю. Помилосердствуйте, сестрицы, отнекивался тот, разве может бедный помощник преподавателя себе позволить такие траты?

Он быстро принял их манеру разговора, и вскоре начальное недружелюбие совсем рассеялось. Воцарилось даже некоторое подобие флирта. Как часто это бывает, с появлением в коллективе молодого парня женщины начинают быстрее ходить, громче разговаривать, поблескивать зрачками, матово отсвечивать белками глаз. Я заметил, что сестры стали иногда прикасаться к Славке, и, если одна на мгновение брала его за ухо, другая норовила пропустить свои пальцы сквозь его шевелюру. Славка хохотал и читал из Северянина:

В группе девушек нервных
В остром обществе дамском
Я трагедию жизни
Претворю в грёзо-фарс!

¹ Крутой; то, что надо (англ.).

Не знаю, пошли ли их отношения дальше флирта, но исключить какого-нибудь сексуального баловства не могу. Впрочем, эта тема совсем сейчас не вписывается в текст, ее упоминание — лишь дань реализму.

Так или иначе, в доме возникла забавная молодая атмосфера. Где-то в глубинах то и дело слышался смех, а то и взрывы хохота, проходила какая-то специфическая, будто бы танцевальная, волна воздуха. Одно лишь постоянно раздражало сестер — Славкино неприятие домашних чтений. Пардон-пардон, обычно он говорил, это не по моей части, и старался смыться до начала. Если же сестрам удавалось его затащить под оранжевую лампу, он сидел с наигранно дурацким видом и никогда не дотягивал до конца. В кармане штанов у него начинал звонить телефон, который он называл «друг гениталий», и он немедленно удалялся с аппаратом у уха, словно отоларингологический пациент.

Кстати, об этом телефоне. Похоже, что это была не простая штучка из тех, что можно купить в любой лавке за полсотни баксов. Навороченная, как они сейчас говорят, с сателлитной связью. Славка, кажется, мог по ней говорить с любой точкой на земном шаре. Во всяком случае, иногда, проходя мимо, я улавливал, что он шепелявит что-то по-португальски или хрипит на иврите, мяукает по-японски, похохатывает на сербскохорватском. Еще в детстве этот тип отличался несколько даже странными талантами в лингвистике, сейчас они ему явно пригодились. Что касается литературы, когда-то в юности он пылал к ней неудержимой страстью, но сейчас она ему на фиг не нужна, во всяком случае, ей нет места в его повестке дня.

Неужели авантюрная жилка затянула его попросту в криминал? Чем он занимается? Что означает его смехотворная работа в классе по утопическим конфликтам? Почему он отсиживается тут у нас, в тихой заводи университетского кампуса? Как и я, он лев по зодиаку; может быть, лев обжег подушки своих лап во время охоты в саванне и прыгнул в кусты?

Почтенный читатель не даст соврать: даже на револьверный выстрел я никогда не подходил к авантюрному жанру. С годами вообще все больше хочется отойти от выдуманных сюжетов. Вот, говорят, в Нью-Гемпшире есть русское село, где живут потомки нашей аристократии. Почему бы не поехать в Нью-Гемпшир и не собрать там материал для пьесы в

духе «Горя от ума»? Или вот, скажем, еще проект: почти документальная повесть о молодом Пикассо. 1900 год. Юнец, прилежно освоивший рисунок и масло, переезжает из Барселоны в Париж. Там он видит нечто потрясшее его воображение: толпа сластолюбцев под фонариками танцует аргентинское танго, не снимая черных цилиндров, пшкюты пропихивают шевиотовую коленку в голубые и красные шелка. Головокружительные бляди Монмартра и Больших Бульваров, Лулу, Нана, Стрекозет, ошеломляют каталонца, то есть водружают ему шелом авангарда на крутую башку. Взрыв его гения. Увертюра XX века.

Обложиться альбомами и писать прозу о каждой картине той поры. Вместо этого я вознамерился завершить «миллениум» романом об авантюристе Горелике. О русском, которого, метафорически говоря, кесаревым сечением извлекли из засыхающего чрева родины. Что он намерен сотворить сейчас, когда все утопии порушены?

Этот герой, хоть и прячется сейчас у меня, все время от автора удирает. Куда? В его поколении силен пафос антишестидесятиничества, священная для нас корова литературы этим ребятам обрыдла. Все эти книжечки, писателишки, борьба за свободу самовыражения — смешной вздор. Нечего подсовывать нам вместо нашей собственной жизни чей-то чужой набор слов! Вы говорите: а как насчет старого Стаса Ваксина с его общепризнанным свингом? Пусть он на этом своем свинге сам и поскачет. В ответ на это старый сочинитель распахивает двери: скатертью дорога, нечего лезть в герои, в свободном романе участвуют только добровольцы.

И все-таки о чем этот Горелик бубнит через космос на всех тарабарщинах мира? Где он пропадает в незнакомом городе, полном шпионов? Что он задумал?

Вдруг до меня дошло: хорошо, что Славки не было на чтении этого блюза. Ведь я даже не удосужился придумать другие имена его семье и ему самому. Я совсем запутался между реальностью и литреальностью, хронотопом мира и хронотопом сочинения. Взять хотя бы первую часть рукописи: откуда влилась в нее Каспо-Балтийская Стрёма? Почему и там появился некий молодой тип хоть и без фамилии еще, но под именем Мстислав? Как зародилось это литературное детище? Ну вот и слово появилось подходящее — детище!

«Жалко, что ты так монотонно читаешь, Стас», — проговорила Вавка.

«Монотонно?! — возмущенно вскричало добрейшее панство Мак-Маевских. — Нет, Вавка, ты не права! Стас читает великолепно!»

«Все довольно осязаемо», — сказала Галка и щелкнула резинкой от трусов.

«А какая, между прочим, связь между Апломбом Хардибабедовичем и Гореликами?» — поинтересовалась Мирка.

«Черт его знает, — сказал я. — Дело в том, что как раз по дороге к ним я попал в тролл с бесноватым водителем».

«There are a plenty of symbols, — прищурился адмирал Лихи. — Symbols of the Soviet Empire's decay and break-up. Am I right, Stas?»¹

Я согласился с ним, а Вавке буркнул: «Я вам не чтец-декламатор».

«Там есть очень странные намеки. — Проницательная Мирка посмотрела на меня из-под челки. — Хорошо, что Славки сегодня не было».

«О Боже!» — выдохнула Вавка.

Все заговорили сразу, и в это мгновение нас всех накрыл Прозрачный, на этот раз в роли медузы-парашюта. Своими внутренностями, то есть множеством переливающихся непознаваемых форм, он смотрел на нас, и мы изнутри смотрели на него и на себя у него внутри. Это продолжалось не более мгновения, или менее мгновения, или вовсе не продолжалось. Все вздрогнули, и Прозрачный тут же, переваливаясь, ушел, как уходит в песке черепаха, но мгновенно. На паркете от него осталось только пятнышко прозрачности, но и оно тут же исчезло.

Обсуждение закончилось. Весьма довольные, сестры сервировали блины с красной икрой. Адмирал взял на себя выхлоп пробок. Онегин, который всегда присутствовал на этих сборищах, из-под стола перепрыгнул на его поверхность и теперь угощался длинными полосками блина с икринками; их нарезала для него Галка. Славка так и не появился на протяжении этого веселого ужина.

¹ Тут масса символов... Символы гниения и распада Советской империи. Я прав, Стас? (англ.)

Fax for M.F.

Когда гости уехали, я сел к телевизору и включил «Заголовки новостей». Переговоры в Баньске Уречише снова провалились. Высокомерность балканских мужланов и подавленность их баб, равно как и вся эта древнеславянская парадигма, никогда не позволят прийти к соглашению. Они там все обожрались парной бараниной — вот откуда вздымается жестокая карма. Эйб Шум прав: конфликт может быть решен только при помощи массивированной международной оккупации всего региона.

К телевизору под села Мирка. В руках у нее был рулончик факсограммы.

«Слушай, Стас, я только что сняла странный текст. На нем нет обратного адреса, и, честно говоря, я не понимаю, о чем идет речь».

Я посмотрел. Факсограмма представляла собой своего рода шоп-лист, только цены не были проставлены. Предлагались следующие товары:

Aircraft MIG-29, 10 units
***** MIG-29 UB 2 units
R-27 RI
APU-470
APU-73 ID
Test Support Equipment
Missile and Avionika
OFZ-30-GSh Cartridges (30 mm)
X-31 A Launcher
11751 Fuel Tanks
WK 6 255 Pilot Harness
NVU (On-Ground-Vision-Device)
IL-117 Radar
SU-25
SU-25 UB
Tunguska (3x4)
9M 331M Missile
Barrels 30 mm
Ammunition 30mm
2V1101 Repair and Maintenance Vehicle
9K38 IGLA Missile

В правом нижнем углу листка было нацарабано от руки по-английски: Get it, M.F.?¹ — а рядом по-русски другим почерком: «Соси!» Впрочем, последняя буква этого лаконизма могла быть задумана как «к», и тогда словечко просто оказывалось четырехзначным эквивалентом русского трехзначного на «х». Впоследствии мне было стыдно вспоминать, как я перепугался в первый момент. В этом факсе было что-то сродни появлению крокодила. Вообразите, как в вашем доме появляется тварь, у которой ничего нет на уме, кроме убийства.

Момент страха проскочил мимо, я свернул факс и сунул его в карман. Мирка смотрела на меня поверх очков умными глазами в окружении веснушек. Как жаль, что они разбежались с Дельфином.

«Ну, что скажешь?» — спросил я.

Она пожала плечами, обтянутыми черной майкой.

«По-моему, это список оружия. Список советского оружия, как мне кажется. Все остальное для меня темный лес».

Уже не темный лес, подумал я. Не всякая женщина-генетик сразу поймет, что у нее в руках был список советского оружия. Тогда уж и я пожал плечами.

«Это какая-то ошибка. С факсами такое случается, особенно в зоне Большого Вашингтона. Однажды, в конце восьмидесятых, я получил список гостей, приглашенных на прием по случаю отставки советника национальной безопасности. В другой раз пришел проспект конференции Американской ассоциации парадонтоза. Для интереса я пошел и туда, и сюда».

«Ну, перестань, Стас», — рассмеялась она.

«Я был и там, и там, — с жаром подтвердил я. — Прекрасно провел время».

«В данном случае попридержи свое любопытство», — сухо сказано сказала она. Похоже, что она что-то еще видела в этом «темном лесу».

Она встала.

¹ Перечень боевых самолетов, ракет, снарядов, топливных баков и прочего военного снаряжения... Усек? (англ.)

Как жаль, что она была замужем за моим сыном. Не будь этого, я мог бы жениться на ней. Она уже достаточно постарела, чтобы стать женой старого вдовца.

«Ты погуляешь с Онегиным?» — спросила она и, получив в ответ утвердительный кивок, отошла.

Где это видано, чтобы с котом гуляли, как с собакой? А вот наш Онегин недавно ввел в обиход ритуал ежевечерних совместных прогулок. Он, как обычно, шастал по кустам поселка, но вечерами требовал, чтобы его сопровождал кто-нибудь из семьи. Иногда даже вовлекал сестер О в свои небезопасные игры. Бросался, скажем, наперерез датскому догу Тирпицу с целью разодрать тому нос. Датчанин, робкий малый величиной с хорошего жеребенка, в ужасе перепутывал свои ноги и валился на газон. Его хозяева Мэйсун и Кейван бросались к нему на выручку. Сестры гнали кота. Онегин взлетал на березу и задумчиво смотрел оттуда, как будто не имеет к переполоху никакого отношения. Девушки стогрели от стыда.

В этот раз мы пошли прогуливать байронита вдвоем с Вавкой. Воздух был прохладен и свеж. Жителям парной Вашингтонщины это всегда кажется чудом. Над темной стеной леса стоял молодой месяц. Какая-то странная гармония возникла от его соседства с высовывающейся из-за вершин леса светящейся вывеской Holiday Inn. От нашего пруда к лесу пролетела серебристая тень цапли. Сучковатые ножки были оттянуты назад, как в романах пишут, с претензией на изящество.

Эта романическая, если не драматургическая, птица повалилась на наш культивированный пруд, окаймленный дощатой дорожкой с фонарями. Ее здесь кое-что очень сильно интересует, хотя она делает вид, что прилетает просто так. Дело в том, что пруд в эту пору кишит жизнью. Тон в ней, конечно, задают жабы. Они трубят, как коровы, из-под мостков и из камышей. Иногда возникает какой-то низкий и сильный звук, как будто кто-то оттянул и отпустил струну преувеличенного контрабаса. Фон этим солистам создает какофония мелкого лягушанства. Вот этот состав как раз и является сутью цаплиного интереса. Она стоит среди камышей на мелководье и делает вид, что она просто так. Лягушки вокруг почему-то смущенно замолкают. Цапля, тоже сама застенчивость, скром-

ненько, чуть-чуть поворачивает круглым глазиком, как будто всей своей позой увещевает холонокровных: «Ну что же вы, друзья? Почему прекратили дивное пенье?» Взаимное смущение завершается еле уловимым броском героини болот, захватом и проглотом одной из неосторожных певиц. После этого цапля перелетает на другую сторону пруда и там стоит как будто просто так.

Мы идем по мосткам, а Онегин тем временем совершает пробежки по ближнему холму, ни на минуту не выпуская нас из поля зрения. Вавка облачена в шортики и коротенькую курточку. Как всегда, она старается уйти чуть вперед и разговаривает из-за плеча.

«Вон твоя цапля пролетела, — говорит она. — Птица твоей ностальгии, дядюшка Стас. Может, она из Литвы за тобой пожаловала? Хищница проклятая, нажралась лягушек и летит восвояси».

Я чуть прихрамываю сзади. Побаливает левое колено и правое ахиллово сухожилие. Я связываю это с ежедневным бегом, но не исключаю, что летучий артритик прогуливается по старой структуре.

«Это природа, Вавк, — говорю я. — Лягушки жрут комаров, и те становятся частью лягушек. Цапля проглатывает лягв, и те становятся частью цапли. Цапля — и она ведь не вечна — в один не ахти какой прекрасный день перестает летать и начинает соединяться с землей, но заодно становится частью червяков и муравьев. Ну и так далее. Слепой круг природы. Шопенгауэр, Вавк, не унывай».

Вдруг что-то вспыхивает среди гнувшегося на ветру можжевельника; две точки страсти, глаза кота. Он заметил приближающегося Финнегана. Вавка останавливается в темной зоне между двумя фонарями.

«Стас, ответь мне на один вопрос. Ты действительно спишь со мной?»

Опешив, я смотрю, как приближается Финнеган. Вперевалочку, но быстро. Коготки стучат по доскам. Большие глаза еще больше вылапываются при виде нас. Хвост шипцу начинает работать, как флаг дружбы. За ним движется его папа, строительный контрактор (прораб) Маллиган. С ним мы однажды выпили пива в Ruby Tuesday и сохранили память об этом навеки. Слышится сильное шипение, как будто выходит воздух из шины. За сим следует взрывной мав кота, неистовый

и гнусный. Онегин выпрыгивает из кустов на мостки, демонстрирует поднятую палицу хвоста и вздыбившуюся шерсть на выгнутой спине. Еще мгновение, и он вцепится в вечно удивленную мордочку Финнегана. Папа Маллиган тормозит, как бронзовый конь генерала Шеридана на Масс-авеню в Д.С. Испуг и впрямь вносит что-то бронзовое в складки его одежды и в моржовые усы. Забыв про летучий артритик, я хватаю за шиворот своего кота. Подвешиваю его в воздухе над несостоявшимся местом преступления.

— Sorry, Buck! I'm awfully sorry!

— It's all right, Vlas. It was just a game on the part of your beast.

— But of course, he was just kidding. Awfully tactless pranks. I'm really ashamed¹.

Наказанный преступник висит в воздухе. Покачиваются его лапы. Глаза мирно жмурятся. Соседи не знают, что это его любимая поза. Будучи взят папой за шкирку и подвешен в воздухе, он ловит в этом какой-то кайф уюта, даже иногда начинает петь песнь очага. Только бы сейчас не начал, тогда Маллиган поймет фальшь наказания.

— Have you ever considered fixing him? — спрашивает сосед.

— No, Buck. Frankly, I don't want to change his personality. It would have been a partial fixing of myself².

Маллиган оглушительно хохочет. Вмешивается с ехидцей Валентина Остроухова:

— I hope your next suggestion, Sir, wouldn't include Onegin to be declawed?

Маллиган приходит в ужас.

— God forbid, miss! How may we violate the cat's pride and glory?!³

¹ — Прости, Бак! Я жутко виноват.

— Все в порядке, Влас. Он просто играет, этот твой зверь.

— Но, конечно, он просто шутил. Ужасно бестактные проказы. Мне и впрямь стыдно (англ.).

² — Ты никогда не думал кастрировать его?

— Нет, Бак. Откровенно говоря, мне не хочется изменять его личность. Это было бы частичной кастрацией самого себя (англ.).

³ — Надеюсь, ваше следующее предложение, сэр, не коснется удаления когтей Онегина?

— Упаси Бог, мисс! Как можно надругаться над славой и гордостью кота?! (англ.)

Онегин начинает свою песнь блаженства. Неприлично громко урчит. Глаза жмурятся. Я опускаю его на мостик, и он разваливается на боку прямо под носом у возбужденного таким соседством Финнегана. Что и требовалось доказать. Кот трогает песика мягкой лапой. Хвост Финнегана готов оторваться: как он рад этой новой дружбе!

— See you soon in Ruby Tuesday, Vlas¹, — смеется прораб, и мы расходимся.

Вавка спрашивает из-за плеча: «Ну?»

Я отвечаю: «Да».

Плечики чуть-чуть передергиваются.

«А ты?» — спрашиваю я. Она на мгновение останавливается. Потом идет.

«Да», — отвечает она.

Теперь на мгновение останавливаюсь я. Потом иду.

«Как?» — спрашиваю я.

Она прокручивается на 360 градусов; мгновенно отвечает: «Спиной к тебе».

«Всегда?»

«Да».

«Почему?»

«Ты знаешь».

Какой диалог, думаю я. Жаль, что нельзя его использовать. Некуда вставить.

Мы оба смеемся и больше к этой теме не возвращаемся. Мопсик берет старикана под руку и немного на нем виснет, подружески. Поворачиваем к дому. Онегин большими скачками несется впереди; кажется, очень доволен прогулкой. Я спрашиваю Вавку, знает ли она о таинственной факсограмме. Она знает, Мирка ей показывала. Уверена, что адресат — Славка. Жаль, что такой парень связался с гадами, с контрабандистами оружия. Она недавно читала статью в «МК», там рассказывалось, что русская мафия продала Меделинскому картелю настоящую подлодку. Не хотела тебе говорить, но в этой статье мелькнул некий М.Г. Один из узелков колумбийского дела завязывается на него. Цитирую: «Московская стильная тусовка будет удивлена, когда раскроются эти инициалы». Ты думаешь, это «слив»? В каждом «сливе» есть дерьмо правды. Я знаю, что тебе тяжело это слышать. После сегодняшнего рассказа я поняла,

¹ Скоро увидимся в Ruby Tuesday, Влас (англ.).

что Славка для тебя не просто сын друга юности. Мне кажется, что ты все-таки должен иногда — ну, не всегда, но иногда — отделять свою жизнь от своих сочинений; ах, Стас!

Во втором часу ночи я все еще сидел у окна и ждал своего «помощника». Несмотря на поздний час, федеральная дорога 69 все еще шумела за лесом, как море. Значит, ветер идет с запада. Восточный ветер относит этот шум к аэропорту Даллас. Высоченные фонари, которые наша Галка однажды спьяну приняла за эскадрилью НЛО, ровно освещали рукав шоссе, разветвляющийся на три ручейка перед нашим поселком. Все особняки в округе спали, только в одном освещены были окна кухни. Там беззвучно орала друг на дружку чета скрипачей Беккенбауэров. Безмолвный, серебристый под месяцем гусь стоял на коньке их крыши.

Мне было жалко Славку. Жалко донельзя. Я не должен был отдавать его похабным уголовным хмырям бывшего социализма, равно как и похабным хмырям будущего капитализма, уголовникам рода человеческого. Однако что я могу сделать? Он грезит какой-то своей утопией. Какая еще возникнет утопия после всех развалившихся с такой вонью утопий XX века? В данном случае, этой ночью, что я должен сделать? Передать ему факс со списком оружия? С какой, однако, стати? Он ни разу не пользовался факсом в этом доме. Кто мог узнать номер нашего аппарата? Не слишком ли много я накрутил с помощью Вавки вокруг дурацкого клочка бумаги? Может быть, это просто глупейшее недоразумение вроде приглашения на конгресс по парадонтозу?

Около двух часов ночи Славкин «фольксваген» прокатил через поселок и встал на гостевом паркинге. Парень вылез наружу и с удовольствием потянулся. Потряс башкой, как будто стряхивая хмель. Так и я когда-то, тридцать с чем-то лет назад, возвращался по ночам. Чувствовал себя любимцем Европы. Минуту или две он смотрел на соперничающую чету Беккенбауэров, потом рассмеялся и пошел к дому. Я смотрел со второго этажа, как он приближается: пиджак через плечо, галстук оттянут до третьей пуговицы, рука в кармане штанов. Что-то насвистывает. Вдруг остановился, будто забыл развитие мотива. Вспомнил, по-мальчишески щелкнул пальцами. В его подвижной морде много от Любки Андриканис и от Игоря, но немало чего-то воображаемого и от меня.

Прыжками поднимается по лестнице, не замечает меня — я лежу в кресле у большого окна гостиной, — проходит в кухню, берет из холодильника бутылку пива и поднимается, все так же, прыжками, к себе на чердак.

Прошло не меньше пяти минут, прежде чем я решился отправиться к нему. Малопрятная миссия легла мне на плечи: предстоял серьезный разговор автора с его героем, или кем там он мне приходится. Дверь в его комнату была открыта. Я увидел, что он стоит спиной ко мне у темного окна, голый по пояс и с его вечным сателлитом в правой руке. Фигура последнего десятилетия: человек с треугольником в верхней части тела, где катетами голова и плечо, а гипотенузой предплечье с «мобилем». Я слышал, как он говорит: «Сачков прогнетсся. Не сомневаюсь. Если вы наедете на него вместе с Нонной Михайловной и Софкой Курчайтайте, он прогнетсся, n'est pas?»¹

Ах вот так? Ну что ж, это неплохая разводка. Герка, послушай, мне кажется, Измайловские решили опустить своего Петлюру. Есть симптомы, я говорил с Бухгалтером. Передай ему, но не говори, что от меня. Ладно, к чертям всю эту лажу! Как княжна? Comme toujours?² Вот подлючка...

Тут он увидел мое отражение в окне и закруглил разговор с Геркой, то есть, вероятно, с Герасимом из первой главы; как его фамилия, ну, ну, Мумуев, конечно; в общем, с Герасимом Мумуевым.

Я смотрел на Славкин торс. Нынешние ребята считают необходимым накачивать мускулы. Если бы мы в 60-е накачивали мускулы, у нас были бы такие же. Вместо этого мы накачивались водкой, чтоб она пропала.

«Ты напрасно так стоишь у незашторенного окна», — сказал я ему.

«А что такое?» — удивился он.

«Ну, представь себе, что кто-нибудь с гранатометом на тебя из темноты смотрит».

Он засмеялся: «Стас, уж не впадаешь ли ты в коммерческий жанр?»

Я подошел и протянул ему свиток факсограммы. Он рывком развернул его, посмотрел и отбросил, как жабу. Повернулся к окну и опустил шторы. Над левой лопаткой у него бы-

¹ Не правда ли? (фр.)

² Как всегда? (фр.)

ло созвездие маленьких родинок, похожее на то, что у меня над правой лопаткой.

«Мне нужно линять, — проговорил он. — Немедленно. Ты даже не представляешь, как ты угадал с гранатометчиком».

«Я представляю», — сказал я.

Он стал быстро двигаться по комнате и забрасывать в чемодан свои пожитки. Я сел в кресло. Он протянул мне бутылку виски. Я отхлебнул.

«Стас, я позвоню тебе через пару дней, — сказал он виновато. — Жаль, что приходится так мотать. Передай привет девочкам».

Я молчал. Он остановился в своем поступательном бегстве и заглянул мне в глаза.

«Стас, мы с тобой друзья, но мы далеко не все знаем друг о друге».

Возобновив свое бегство, он вошел в ванную и там в умывальнике сжег какие-то бумаги, включая, кажется, и зловещую факсограмму. Вышел из ванной. На лице его была ухмылка, открытая и злодейская.

«Ума не приложу, как они меня тут у тебя засекли, — вытащил из кучи вещей пистолет — это был «глок», — передернул его вполне профессиональным движением и заткнул за пояс. — Знаешь, это все разыгралось в Перу. Именно этот шоп-лист оказался камнем преткновения в разборке с одной компанией. Стас, ты, наверное, не удивишься, если я скажу, что немного заигрался в своем бизнесе».

«Нет, не удивлюсь», — сказал я.

«Пожалуйста, не думай, что я стал «крокодилом». — Он был уже готов: чемодан зашелкнут, пиджак на плечах, галстук подтянут. Ни дать ни взять преуспевающий брокер с Уолл-стрит. — Нынешний наезд по факсу как раз и произошел из-за моего отказа присоединиться к компании «крокодилов». Этот факс — последнее предупреждение. Если я не позвоню одному гаду и не скажу *go ahead*¹, они меня замочат и больше никогда не вспомнят. По идее, мне надо было бы поскорее добраться до Москвы, прибиться к своим, но...»

Он замолчал, и что-то очень печальное я увидел в его глазах. Меня поразило это выражение прежде всего потому, что оно как-то приблизилось к моей, пока еще смутной, кон-

¹ Здесь: поехали, действуй (англ.).

цепции формирования этого характера. В последнее время я видел в Славкиных глазах совсем другое — некое ухмыльчивое отчуждение, то ли классовое (от имени его нового коммерческого класса), то ли поколенческое, от имени молодежи 90-х. В дополнение к этому углы его рта опустились, как у обманутого арлекина с картин Пикассо. Я подумал, что эта внезапная меланхолия роднит его с одним питерским юнцом 1956 года, который в ноябрьскую ночь плюхал по лужам Васильевского острова в поисках своей любимой, еще не веря, что она, не замочив туфель, уехала на университетский бал в «Победе» какого-то рыжего кавказца.

«Стас, ты мне ближе, чем отец, — проговорил он. — И даже чем мать. Я должен тебе открыть свой главный секрет. Я терзаюсь от любви. Не могу избавиться от тяги к одной девчонке, с которой меня разлучила тюрьма. Ее увезла в Штаты какая-то банда, и с тех пор никто не может точно сказать, где она находится. Когда я думаю о том, что с ней могло произойти, а воображение гнусно подкладывает картинки, мне хочется засесть где-нибудь на крыше и открыть огонь по всем движущимся целям.

В последнее время стали доходить слухи, что девка не пропала, даже наоборот — стала богачкой и обретается где-то на Восточном побережье, вообрази, вроде бы даже неподалеку от Пинкертон. Знаешь, у меня уже было тридцать лимонов чистым налом и на разных счетах не знаю сколько, может быть, не меньше. Стас, я плюнул на свою утопию. Я только одного хочу — найти Наташку. Хочу построить большой дом где-нибудь на островах и там с ней жить, и чтобы все мои жили с нами, ты в первую очередь.

Теперь все снова сгорело, «крокодилы» вышли на меня, и значит, нужно сначала прятаться, потом искать союзников и принимать вызов. Теперь я сваливаю, иначе у тебя будет много хлопот с мертвым телом».

Я смотрел из окна, как он идет к своему VW. Трудно было представить более мирную картину. Дома отражались в озере. Луна тоже. Прозрачный расселся в ее отражении, как бутон, сохраняя полную, с понтом, беспристрастность. Позднее Славка рассказывал мне, что, пока он шел в ту ночь к своему «фольксвагену», он обращался с вопросом к своему демиургу: «Ответь мне, Великий Хнум, дойду ли я до машины?» Хнум, он же Птах, который иной раз воплощался для Славки в

самых неожиданных образах, в данном случае в виде связки ключей, якобы отвечал: «Дурацкий вопрос, Мстислав. Если дойдешь, дойдешь. А не дойдешь, не дойдешь. Иди!» Мирно затарахтев, «жук» отъехал с гостевой стоянки.

Я еще долго сидел перед опустевшим окном. В предутренних сумерках мне показалось, что по дому ходят два тяжелых хама в лыжных масках. Будто бы они при всей своей тяжести скользят бесшумно, приподнимают одеяла, разглядывают спящих сестер. Они ищут Славку и пытаются определить, не спрятался ли он в женских расселинах. Потом начинают фонариками шарить у меня в кишках и даже как бы месят мои кишки своими хамскими лапами. Цель все та же: Славка. Кто-то сбоку вкладывает мне в ладонь дружественный металл — граната! Неуклюжие тени, по-спецназовски цокая языками, растворяются среди стенок красного дерева, ибо все происходит в ящике моей конторки. Типичный «сон преследования». Я просыпаюсь. Как обычно, кто-то тут же покидает комнату.

Первые звуки телевизора. Местные новости. Сводка ночных боев. На юго-востоке Д.С. перестрелка в квартале социальных проектов, трое подстрелены, двое насмерть, третий в реанимации. На улице Маунт-Плезант сгорел жилой дом, в дыму задохнулась семья сальвадорских эмигрантов; подозревают поджог. В графстве Фэрфакс, на обочине шоссе № 29, дорожный патруль обнаружил останки взорванного «Фольксвагена», на обгоревшей раме клочки металла с оранжевой краской... В тот же миг, не дав пролиться старческим слезам, зазвонил телефон. Голос Славки произнес только одну фразу: «Стас, я в безопасности!» Отбой.

Какая-то молодая пружинка, как видно, еще уцелела в теле старпера: катапультирую из телекресла на лужайку между домом и лесом. Здесь иной раз на заре можно увидеть прогуливающуюся дикую индейку. Меня с моими чудачествами она, похоже, уже знает и не улетает даже тогда, когда я натягиваю на «Пушкина в возрасте Державина» резиновый тренажер и начинаю будоражить свои сгибатели и разгибатели, размякшие во время гнусного сна.

В университете один биолог калмыцкого происхождения, доктор Джеф Айлим, как он себя называет, недавно на дискуссии в ЦИРКСе говорил, что мускульно-связочный аппарат человека насчитывает в два раза больше сгибателей, чем разги-

бателей. Это должно учитываться в разработке парадигмы конфликтов, сказал он. Захват, притягивание к себе для этого существа процесс более естественный, чем отдача, отчуждение. Встав спиной к ПввД и заведя согнутые в локте руки за спину, я распрямляю их вперед, то есть пытаюсь усилить разгибатели. Жаль, что в прежние годы эта идея не приходила на ум. Говорят, что единственным смыслом человеческого существования является самоусовершенствование. Я голосую за это всеми сгибателями и разгибателями. Хочется думать, что в этой неизбежной трагедии, в этой в общем-то довольно отвратительной смене поколений заложена цель превращения хищника в более пристойное существо.

Иногда кажется, что происходит что-то обнадеживающее. Общепринятое мнение такой тенденции не замечает. Принято считать, что истекающий век оказался самым жестоким, а из этого следует, что и человек стал большим зверем. Мы убиваем больше себе подобных, чем в прежние века, а стало быть, и жестокость человека нарастает. Тут, однако, вступает в действие таниственный парадокс. Посмотрите на древние века, когда убивали меньше, чем в XX веке. Почитайте хроники Иосифа Флавия, особенно сцены осады Иерусалима когортами Титуса. Что они творили друг с другом, те римляне и иудеи: вспарывали животы в поисках золотых монет и так оставляли, надрезали и стягивали кожу, чтоб уstrasшить врагов, перерубали шейные мышцы, сосуды, связки и позвонки, распинали на перекаладинах, тоже вроде бы для устрашения, — но все это скорее для развлечения войск. Холодное острое оружие — а другого тогда не знали за исключением малоэффективных катапулт — предусматривало прямое врубание своим лезвием в тело врага. Люди не могли не звереть от этих дел.

Огнестрельное оружие увеличило число жертв, но парадоксально снизило градус зверства. Человек передал часть своей ярости пуле, ядру, потом авиабомбе и ракете. Похоже на то, что с ростом военной технологии жестокость человека уменьшается. Летчик, нажимающий кнопки запуска, не вопит от сладострастного бешенства, он играет в электронную игру, он не жесток. Значит ли это, что наш век преуспел на пути к «духовному человеку»? Освенцим и ГУЛАГ, Китай и Камбоджа — вот, скажут нам, вклад вашего века в процесс самоусовершенствования. И все-таки, несмотря на это, а может

быть, и благодаря этому в нашем веке зародились донныне неслыханные либеральные системы. Сострадание, прежде бывшее уделом одиночек, своего рода монастырем души, стало массовым интернациональным предприятием. Человечество стремится предотвратить геноциды и вымирания целых народов. Большущая спасательная армада летит в одночасье на Африканский Рог, где мужичье, нажравшись дурманной зелени «хат», не может оторваться от зверских игр и оставляет своих деток без зернышка пищи.

Парадоксов не счесть. Взять хотя бы плотоядие. Известно, что предметы романтической страсти трубадуров, дамы Кастилии и Прованса, во время пиров откусывали от цельного бедра и их ангельские губы лоснились в жире убоины. Появление кувертов, развитие изысканной кулинарии, хоть и отдают лицемерием, все-таки отдалают от хищничества. Изысканные продукты гастрономии мало напоминают тех, кто мычал, блеял, кукарекал, порхал в ветвях, чирикал и трубил, сосал и совокуплялся, испытывая неизбежную радость жизни перед закланием. Народ все больше склоняется к потреблению существ из царства водяного молчания. Распространяется вкус к неживотным, не-сущим источникам нужных ингредиентов, если так можно сказать о производных вегетативного процесса. Можем ли мы предположить, что в будущем люди смогут разомкнуть порочный круг пожирания плоти? Придет ли наша раса к финалу очищенной от кармы убийств?

Предаваясь таким размышлениям, я бодро завершил цикл растяжки разгибателей — а также, должен признать, и сгибателей — и отправился в забег по периметру леса. Пока бежал, бубнил рифмы: «Индейка-Ван-Дейка», «пилигрим-филигрань», «эскорта-куры». В результате сложился стих *Wild Turkey*¹, и вместе с ним в прекрасном настроении я вернулся к дому.

Сестры сидели с кофе на ступеньках своей террасы. Мирка, уже подмазанная, но с босыми ногами, читала *Washington Post*. Галка, как всегда халдой, прикладывалась к бутылке ледяного пива и отпадала от нее со стоном блаженства. Вавка сидела смирной пай-девочкой: одна великолепная ножка вплотную к другой великолепной ножке, тапочки, белые но-

¹ Дикая Индюшка (англ.).

сочки, на глазах большие темные очки, под ними торчат нозд-
рята. Вся троица, конечно, безбожно курила: синий дым над
Миркой, розоватый — над Вавкой, над Галкой — желтый с
прозеленью. При виде такой картины адмирал Лихи привычно
бы застонал: I can't stand it! I reject this kind of self-destruction
loud and clear¹, как будто сам в недалекие еще времена не со-
ревновался с трубой линкора New Jersey.

«Глянь-ка, Стас, кто-то тут у нас ночью наследил на
террасе», — произнесла Мирка.

Я подошел и увидел многочисленные следы двух пар ног.
Какие-то двое тут ходили взад и вперед. Такие следы остав-
ляют спецназовские говнодавы, когда выходят из сырого леса.
Мне не раз приходилось их видеть во время командировки в
Боснию.



¹ Я не могу терпеть это. Я решительно выступаю против подобного са-
моразрушения (англ.).



ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Атеистический астеник

Байрон, семилетний спаниель профессора Шумейкера, после переезда в новый кондоминиум почему-то решил, что он хозяин территории. К собакам своего размера и меньше он относился снисходительно, на крупных же псов бросался не задумываясь и повергал их в бегство. Крутой малый, такое сразу же в округе сложилось мнение об этом длинноухом. «Не позорь отца, Байрон!» — увещевал его профессор, хотя прекрасно понимал, что пес испытывает что-то похожее на его собственное состояние, желание начать «новую жизнь» и никому не давать спуска.

Эти переезды после долгого сидения на одном месте! Нечто сродни частичному самосожжению, не так ли? Во всяком случае, собственноручно уничтожаешь кусок своего прошлого. Пятнадцать лет Шумейкер провел со своей третьей женой в небольшом — но с колоннами! — доме в окрестностях университета. За это время жена сама выросла в профессора, с этим своим профессорским чином и отчалила в Питсбург. Что касается самого Эйба, то он, как мама говаривала, «родился профессором», то есть вообще ни во что не вырос. Наоборот, все время как-то снижался, м-да-с, по всем вопросам как-то вниз. Возьмем, например, напитки. Раньше в роли настоящего мужчины-советоло-га он пил водку straight¹.

¹ Неразбавленную (англ.).

Теперь по требованию врачей к водке вообще не прикасается, а скоч разводит, убивая весь его смысл и оставляя только противный привкус.

Раньше его постоянно приглашали на конференции как дома, так и за океаном. Шли осмысленные и бодрящие годы «холодной войны». Теперь если и приглашают, то всегда как-то немного унизительно. Никогда не предлагают возглавить «панель» (секцию), а уж о «киспикерстве» (ключевом докладе) и говорить не приходится.

Вот в этом плане все и идет. «Мерседес» приходится менять на «хонду». От дома с колоннами, пусть небольшими, но все-таки бросающими определенный вызов, скатываешься до заурядного многоквартирного ублюдка. Никого, впрочем, в этой деградации винить не приходится, кроме самого стареющего долговязого ипохондрика со странной привычкой слегка приседать при ходьбе. Могли бы, проф, дерзостно снять маленькую, но стильную студию в Джорджтауне или в Уотергейте и приезжать оттуда в двухместном стильном кабриолете, так нет — очередной приступ уныния, и вы перебираетесь на «Хонде», тоскливой, как японская песня, в один из этих бесчисленных вирджинских «хейзельвудов»¹.

Вот вам и «новая жизнь» — пеняйте на самого себя, сэр.

Не хотелось бы касаться самых болезненных тем, но в целях решения данной конфликтной ситуации нужно. Правильно, мой друг: речь, разумеется, пойдет не о дантистах, а о женщинах. Прежде он вывозил их из вражеского тыла, то есть из Советского Союза. Каждый брак был авантюрой своего рода. Особенно первый, с дочкой советского стратегического генерала. Эта история наделала много шума. Вот тогда-то и надо было бы Стасу-Влосу переделать его имя из Башмачкина на Шум-Махера, ведь «шум» — это как раз и есть «noise» по-нашему. В то время ему предложили контракт на книгу о его скандальной, с участием Генштаба и Политбюро, любовной истории, однако он озадачил издателей, сказав, что они с Агриппиной совсем не то имели в виду. В те времена он носил белые пиджаки и был горазд пошутить в утонченной манере.

Черт бы побрал этих русских баб! После жарких любовных историй почему-то очень быстро начинало увядать ли-

¹ От англ. *hasel wood* — ореховый лес, заросли орешника.

бидо, все как-то засыхало и сморщивалось. Впрочем, может быть, и не бабы были в этом повинны, и даже не он сам, «профессор кислых щей», как его называла вторая жена Авдотья, а вся парадигма «холодной войны»? Так или иначе, вместо того чтобы стать главой большого семейства, он после трех браков оказался одиноким холостяком с единственным близким существом, спаниелем Байроном. И так вот все тянется, ничего катастрофического, просто постепенный спуск в трясику старения, заброшенности, когда единственным твоим ответом на *midlife crisis* оказывается невозмутимое выражение лица.

Эйб вытащил из портфеля кучу университетских бумаг, и из нее, конечно, первым делом выпало письмо провоста по поводу этих дурацких «оценочных листов». Даже такая чепуха оборачивается унижительным вздором. В кресле провоста сейчас сидит Дино Коллекто, симпатичный парень, с которым когда-то они начинали. Вот, кстати, пример движения в противоположном направлении. Дино всю жизнь неторопливо и последовательно поднимался и наконец уселся в кресло провоста. В письме Дино сообщал, что в «оценочных листах» одного из шумейкеровских классов появились какие-то неприятные сигналы. В частности, указывается, что профессор Шумейкер допускает неуместные шутки в адрес студенческих сексуальных меньшинств. Якобы он однажды сказал, что слово «фагот» по-русски означает *bassoon*¹, «а совсем не то, что вы думаете».

Не хватало только прослыть обскурантом на кампусе! «Я бы тебе посоветовал, старина, — писал провост Коллекто в конфиденциальном письме, — несколько снизить степень фратернизации во время учебного процесса. Прошу тебя также не придавать этой истории значения большего, чем она заслуживает. Ведь «оценочные листы» — это далеко не самый важный документ в оценке работы уважаемого профессора, каким несомненно являешься ты». Вот именно, подумал Шумейкер, обычно их выбрасывают, не читая, а тут почему-то они оказываются прямо на столе у провоста.

Байрон злился, что хозяин не спускает его с поводка, как он это обычно делал во время их долгих прогулок по старому

¹ От англ. *faggot* — педик (сленг); *bassoon* — фагот (англ.).

месту жительства, в парке Честерфилд. Байрон, бессовестный, хотя бы ты-то оценил мою дружбу, если больше некому. Поразительно, даже в университете не осталось друзей, если не считать сочинителя Стаса Ваксина, который думает, что никто не знает о его пристрастии к выдумыванию человеческих историй. Нет, эгоизм — это знамение века: слишком много стало людей, они меньше замечают друг друга. Формальные улыбки, псевдонеформальные похлопывания по плечу — кто им не знает цену?

Вдруг однажды по соседству в кустах промелькнула какая-то по-настоящему дружеская рожа. Что это за круглое такое, темно-оранжевое? — оказалось, баскетбольный мяч. Осмотревшись, профессор понял, что стоит на полузаброшенной игровой площадке. Вытащил мяч из бамбука, несколько минут стучал им перед собой, все еще думая о своих невзгодах, потом от центрального круга бросил по кольцу. Тучи летели над холмом. Секунда затянулась. Голову крутануло. Сосуды шалят. Одна из туч казалась воплощением паники. Тут он сообразил, что попал прямо в цель. Легкий кистевой бросок, свинии-шшш, мяч влетел в кольцо. Маленький триумф, как полагает Стас Ваксин.

Несмотря на этот «маленький триумф», депрессия с каждой неделей его все больше одолевала. Знаменитые вирджинские закаты стали ему казаться бездарной мазней, человеческие лица — изъязнами природы. Может быть, пойти к психиатру, сесть на прозак? Но ведь пишут вот в New Republic, что это приводит к изменению своей пусть говенной, но личности. Ну, поднатужься, Эйб, ведь мир все-таки ведь... что? каков?.. прекрасен в своей реальности. В реальности разводов, раздела имущества, бабского занудства, постоянного пренебрежения академической среды, «оценочных листов» с доносами, свинцовой усталости мышц, с которой вылезаете утром из-под одеяла? Однако ведь есть в нем что-то еще, кроме этого, — например, баскетбольный мячик в бамбуковых кустах, бутылка «каберне» или «мерло», с которой ты смотришь по телевизору постоянную тяжбу каких-нибудь «Слонов» и «Колдунов», с их фэйерверками «маленьких триумфов». Кроме всего прочего, ведь в нем еще есть и Микроскопический, он может появиться в любой момент как сверкающая точка посреди чего угодно, даже, скажем, посреди дурацкой полки с товарами. Он так мал, что иногда кажется непостижимо огромным. Иногда уменьша-

ется (или увеличивается?) до размеров, скажем, ярчайшего насекомого, мерцает в глубине лет. Как любопытно! Как забавно! Потом исчезает совсем, но как бы своим отсутствием присутствует. Иногда встанешь утром, все дрожит внутри. Молишься чему-то, чему может молиться астенический атеист, хнычешь — спаси, спаси! — и вдруг, как будто услышали, по радио начинается раскатываться Четвертый концерт Баха для клавишных, и на хорошем месте, на книжной полке, скажем среди томов Толстого, вспыхивает крупный Микроскопический. Ты убеждаешь себя: человеческие лица все-таки хороши! В них присутствует что-то иногда прелестное. Возьми утреннюю газету — и не исключено, что увидишь пару хороших лиц. Даже на первой странице такие иногда попадаются. Вот чудная девчушка, такой радостный огонек. Вот застенчивый малый с бесхитростной мордой, на которой как будто написано: читайте на моей роже все, что на ней написано, и не судите строго. Начинаешь читать и узнаешь, что «радостный огонек» был похищен и изнасилован, а в похищении обвиняется «застенчивый малый», известный полиции педофил. Смыкается ночь и не разомкнется, если только в ней не появится Микроскопический, на этот раз величиной с луну. Тогда засыпаешь.

Телефон звонил редко, но все-таки иногда позванивал, чтобы сообщить обескураживающие новости. Вирус, гуляющий в университетской компьютерной системе, пожрал его статью «Конец политики». Впрочем, он не особенно огорчился. Это был его вялый ответ на «Конец истории» Френсиса Фукоямы. Он не решился поставить все точки над *i* и сказать, что, пока вся эта сволочь, то есть все мы, производит себе подобных, история не кончается. Она просто переворачивается. Если раньше она стояла перед нами, как Фудзияма (просим прощения за фонетическую близость. — *С.В.*), то теперь блестящая на солнце вершина приобретает тенденцию вывернуться наизнанку, то есть прийти к русскому смыслу окончания «яма». Этого он не сказал в статье, съеденной вирусом, только лишь пережевывал геополитические банальности. Нет смысла злиться по пустякам.

Другое дело, когда находишь на балконе новой квартиры засохшую шкуру змеи. Дворник кондоминиума говорит, что иногда эти гады *black snakes*¹ заползают на балконы, чтобы

¹ Черные змеи (*англ.*).

сбросить там старую шкуру. Говорят, что они совсем не опасны и даже человеколюбивы, тянутся к камельку, к молочку, но все-таки почему надо заползать именно к Эйбу Шумейкеру для этой малоприятной процедуры?

«Малые триумфы»

Ночью профессор обнаружил исчезновение Байрона. Снова свалил, паршивец! Рыщет сейчас по Хейзельвуду, ищет, как русские говорят, приключений на свою мохнатую задницу. Здешние запахи его дурманят. Жилая среда здесь гуще, чем в Честерфилде, больше всяких ссак, капель секретиции. Пес, конечно, дурит, проходит через свой *midlife crisis*. Когда он удра- рал прошлый раз, Шумейкер обнаружил его возле мусорных контейнеров в обществе трех енотов. Кружили вместе, а иногда садились в кружок и смотрели друг на друга; разве это не противоестественно?

Эйб вышел из дома. Все было ярко освещено луной.

Микроскопический отсутствовал. На паркинге для усугубления безжизненности матово отсвечивали крыши «тойот» и «хонд». Впрочем, по поверхности бассейна скользили длинноногие пауки. В углу воды висела банка из-под «Бада»; Чехов! Он пересек поселок, поднялся по холму к зарослям бамбука. Вытащил тамошнего жильца, баскетбольный мяч, и начал бросать по кольцу с разных дистанций. Хорош приду- рок — играю в баскет под луной! Смешно, но ни разу еще не промазал. Попадаю с любого расстояния, в прыжке и с ходу, с поворотом, из-за головы крюком, двумя руками и одной, и правой, и левой.

Почти тридцать лет он не играл в баскетбол. Вспоминается команда в годы колледжа, «Росомахи». Там такой говнюк Гэд Хэвикрэб, поперек себя шире, был капитаном. Наглый на- вахо выбросил его из команды, когда он, Туфля, как его тогда называли, промазал два штрафных за три секунды до конца матча с «Петухами».

С попаданиями тогда у Туфли плохо получалось. А вот сейчас получается неплохо, когда это никому не нужно. Хотелось бы, чтобы наглый Хэвикрэб увидел этот лунный сюрреалистический баскет. Такие попадания тебе даже и не снились,

Хэвикрэб, особенно сейчас, когда ты совсем разбух от денег в своей адвокатской гильдии.

Какая-то изогнутая ветка смотрела на Шумейкера из травы. Ветки, кажется, не умеют смотреть, но ему везет, попалась зрячая. Посмотрев, она отворачивается и уползает по подстриженному склону. Эва, да это большущий уж! Наверное, тот самый, что сбросил шкуру на шумейкеровском балконе. Наконец в поле зрения появляется Байрон. В дальнем углу игровой площадки в лунном свете он спокойно трахается с какой-то спаниелихой, милейшей сучкой из семьи Короля Чарльза. What a rake¹, нашел все-таки себе этнически близкую особь!

— Саша, what the hell are you doing², паршивка?! — слышался взволнованный (и кажется, волнуемый) женский голос.

Опять какая-то русская баба, в панике подумал Шумейкер. Сколько у меня было русских жен, попытался он вспомнить. Четыре? Нет, пять, если считать Акулину. Три законных и две не успевших обзакониться. Последняя как выиграла грин-кард в лотерее для нелегалов, так и смылась, акула. Американские мужья таким пиздам больше не нужны: иммиграционная служба устраивает лотереи. Появилась хозяйка нашей зазнобы. У нее, кажется, хорошая фигура. Только и не хватает связаться с новой стервой.

Собаки, сделав свое дело, никак не могли разъединиться. Профессор и женщина нацепили на своих питомцев поводки и застыли в нелепых позах. Остается только ждать, когда из собачьих органов отольет кровь.

«Меня зовут Абраша», — сказал Эйб против своей воли.

«А меня — Какаша», — ответствовала женщина с глубочайшей грустью.

Однажды во время своего одинокого баскетбола или, вернее, сеанса непрерывных попаданий в кольцо профессор услышал аплодисменты. Возле площадки собралась дюжина школьников. «Gee this man is a real brick-layer!»³ — шумели

¹ Ну и ходок (англ.).

² Что ты вытворяешь (англ.).

³ Ты посмотри, этот мужик — кладет «кирпичи», каменщик (англ.).

они. Подошел местный дворник дядя Стю: «Слушайте, у нас тут в Приозерье «Американ экспресс» проводит конкурс по дальним броскам для пожилого населения. Не хотите ли, мистер Шу, принять участие? Главный приз — миллион долларов».

Во время отборочных соревнований для лиц старше пятидесяти моего героя посетила ужасающая мысль, вернее, ошеломляющее прозрение. Кажется, по закону жанра, по всему раскладу этой «моей» главы я просто не могу не попасть в баскетбольное кольцо. Сама идея броска мимо цели кажется мне непостижимой, как, скажем, прыжок с парашютом на пик Фудзиямы. Быть может, это не дар на меня снизошел, не полоса пошла «малых триумфов», а, наоборот, вкралась какая-то страннейшая болезнь? Конечно, такого быть не может, такие болезни никогда еще не наблюдались, однако сама мысль об этом — сушая мука. Вот таково злочастие ипохондрика: даже и баскетбол, что вернулся в его жизнь как ободряющий друг, вдруг ослабился с гадским подмигом.

В финале конкурса остались двенадцать человек, в том числе Эйб и Стю. По правилам щедрого «Ам-экса» это означало, что вся дюжина уже заработала по дюжине грэндов. Никто из них, конечно, не рассчитывал на миллион, но каждого подсасывало предательское «а вдруг?». Стю как-то сказал новому другу: «Знаешь, Туфля, о тебе тут поползли слухи. Подозревают, что ты когда-то играл в НБА, был каким-то факинг специалистом по дальним броскам, а ведь это против правил конкурса. Ты бы, знаешь, ну, промазал бы пару раз на прикидках, а?» Стю внимательно посмотрел на Эйба — так нередко дворники к чудаковатам жильцам присматриваются.

«Ну ладно, я промажу пару раз», — усмехнулся Эйб.

Такого рода уступки подсказывал ему опыт изучения и решения конфликтных ситуаций. Нужно иногда показывать свою слабость. Это не вредно было бы понять некоторым деятелям на Ближнем Востоке. Пара бросков мимо, и тебя начинают меньше ненавидеть. Признаться, он был бы просто счастлив промазать. Испарилась бы навязчивая мысль о болезни, выяснилось бы, что у него просто очень высокий процент попаданий, а не какой-нибудь метафизический сдвиг по фазе.

«Знаешь, Стю, — сказал он новому другу, — вот все говорят «миллион-миллион», а ведь я не имею к миллиону никакого отношения».

«Каждый имеет отношение к миллиону долларов, — возразил Стю. — Каждый! — и добавил: — Без исключений. — Он помолчал, покачивая башкой; этот Стюарт, который так и родился здесь, в этом Хейзельвуде, семьдесят лет назад в качестве лесника, чтобы потом подняться до позиции дворника в кондоминиуме. — Ты не думай, Шу, что он так и будет лежать бесцельной массой».

«Кто?» — вздрогнул Эйб.

«Ну, миллион. В банке за него дадут хорошие проценты. Заживешь безбедно».

Как ни старался наш профессор, промазать не удалось. Иной раз он просто вяло махал кистями рук из-за головы, даже не задумываясь о том, куда полетит круглый предмет, однако, соскользнув с ладоней, мяч почему-то в центре траектории набирал какую-то дополнительную силу и падал в корзину, как всегда, не коснувшись дужки кольца.

Впрочем, агентура «Ам-экса» уже выяснила, что он никогда не играл в НБА, и тогда там решили, что он метко бросает просто потому, что ему хочется миллион.

Ну, разумеется, Эйб Шумейкер стал безоговорочным победителем многотысячного конкурса. Теперь ему давалось право на последний, один-единственный бросок в перерыве матча легендарных «Слонов» и сказочных «Колдунов». Попадание принесет ему 1 000 000, промах — всего лишь 50 000.

За все это время он всего лишь несколько раз видел русскую девушку Какашу. Она оказалась его соседкой по кондоминиуму, то есть отнюдь не принадлежала к классу недоступных богачек. Конечно, ездила она на «Роллс-ройсе», но он у нее постоянно ломался, дымил, терял колеса. Почти при каждой встрече на паркинге она вздыхала: больше не в силах содержать это чудовище. Эйб боялся что-нибудь сказать в ответ на эти жалобы. Шикарную колыхагу, конечно, подарил девке какой-нибудь любовник, который потом разорился, застрелился или сбежал в Бразилию. Конечно, у нее и сейчас есть любовники. Такие хорошенькие женщины не обходятся без любов-

ников. Женщина, каждое движение которой говорит о любви, согласитесь, не может остаться в стороне от любовных утех, как, скажем, хороший осел не избежит поклажи. Естественно, что среди потенциальных и действительных любовников происходит естественный отбор; в данном случае отбирается тот, кто сможет взять на себя ремонт «роллса». При всех небольших литературных отклонениях такой отбор, разумеется, идет на первобытном уровне. Со времен пещер в этой сфере мало что изменилось.

Утром, если он встречал ее за выносом пластикового мешка с мусором, она удивляла его некоторой припухлостью своего пронзительно милого лица. Вечером, ближе к ночи, ночью, под утро, если он видел со своего третьего этажа, как она идет от паркинга к дому, он задавал себе вопрос, как такая ласка с ее пританцовывающей и слегка как бы самоиронической походкой может проводить время без него, без Абраши, а с кем-нибудь другим, пошляком, говном, шантажистом. Иногда ему казалось, что в момент обмена формальными «хай», «хелло» Какаша смотрит на него с недоумением, как бы говоря: «Почему не ухаживаете, месье, почему не подкадриваетесь?» Гош, думал он, вот парадокс: в России все разваливается, а девушки становятся все краше. Этот момент не может не стать важной составляющей российской парадигмы. И проходил мимо, словно чудаковатый профессор-теоретик, как будто у него не было солидного практического опыта в России.

Читатель, быть может, уже догадался, что девушке Какаше предстоит сыграть важную роль в нашем повествовании, однако мы слегка повременим с представлением красавицы. Не в наших правилах зацеплять любой мелькающий на периферии персонаж и втаскивать его в роман со всеми его/ее воспоминаниями. Должно что-то произойти, мелькание должно замедлиться, а то и полностью на миг остановиться. Пока что приближаемся к моменту решающего броска.

Гигантский зал напоминал угледобывающий карьер с отполированным дном и со скатами многотысячной человеческой массы. Станным образом от этих скоплений народа в Америке не разит потом; это особенность нашей заокеанской цивилизации. Толпы у нас не пахивают, в отличие, скажем,

от Франции, не говоря уже о России, — биохимическая загадка.

Ну, тут-то уж я обязательно стрельну «мимо денег», подумал Эйб с какой-то шаловливой снисходительностью. Раз уж тут такие большие деньги маячат, я обязательно промажу. Я ведь никогда не попадал в большие деньги. Нелепо думать, что я вот прямо сейчас прямо в них попаду. Однако еще более нелепо думать, что я когда-нибудь пошлю мяч мимо кольца. Что за дикий тупик? Ручеек пота потек между лопатками, но вони к общему климату не прибавил. Кажется, это от меня просто не зависит, я просто не могу, силы небесные, не могу не попасть!

«Слоны» и «Колдуны» — это две сильнейшие команды НБА и злейшие враги. Для нагнетания обстановки можно добавить еще несколько прилагательных с суффиксом «ейш», но пойдем дальше. Уже третий сезон они разыгрывают между собой финальную серию play-off. Обычно большие млекопитающие обыгрывают шаманов-обманщиков на последних секундах решающего матча. В этот раз «Слоны» к перерыву отставали на семь очков, однако никто в коллизе не сомневался, что во второй половине они одолеют. Впрочем, исход матча в тот вечер не интересовал ни автора, ни читателей этой эпопеи конца века. Мы все сидели у телевизоров и ждали другого события.

Не успели игроки уйти в раздевалку, как громоподобный голос с потолка объявил финалиста конкурса «Американ экспресс» для лиц старше пятидесяти. Затем последовал еще более чудовищный звук, аккорд так называемой музыки. Любой человек, незнакомый с американскими обычаями, принял бы это за последнюю катастрофу человечества, однако ничего особенного не произошло, просто вышел профессор университета Пинкертон Эбрахам Шумейкер (между нами, уже заслуживший имя Шум-Махер), чрезвычайно заурядная фигура среди гигантских игроков и эскадрона ритмически дергающихся девиц. Устроители шоу попросили его одеться в своей обычной университетской манере, и вот он явился в твидовом пиджаке, в рубашке с пуговками, в вязаном галстучке, а также в мятых вельветовых штанах, придававших его фигуре что-то чарли-чаплинское.

Он снял пиджак и аккуратно сложил его подкладкой вверх. Не торопясь положил предмет одежды в центральный

круг. Трибуны ревели. Смех, конечно, преобладал в этой какофонии. Многие зрители думали, что это никакой не профессор, а профессиональный комик, который сейчас начнет откалывать номера наподобие неизбежных околобаскетбольных «маскотов»¹. Большинство — а его составляли добродушные увальни из пригородов — желал забавному профу удачи. Таково странное свойство американцев: если их сосед каким-нибудь образом «сделает» миллион, они считают, что это увеличивает и их собственные шансы. Присутствовало на трибунах и некоторое число циников, у которых не было ни малейшего сомнения в жульническом характере этого рекламного трюка. О миллионе не беспокойтесь, ребята, говорили они. Никогда в жизни эта библиотечная крыса не попадет в кольцо из трехочковой зоны. Его просто на наших нервах поиграть выпустили. Просто чтобы всех возбудить, чтобы все ржал — ну, как они это любят.

Были такие циники и среди телевизионной аудитории. Что касается нашего кружка лиц с благородными литературными побуждениями, в нем все верили в Эйба и в то же время грустили: все ведь уже привыкли к бедолаге с его вегетативной дистонией. Как бы он теперь вообще не выкатился из нашего сюжета.

Эйб, невзирая на невозмутимое выражение лица, трепетал всеми фибрами своей души — если кто-нибудь знает, что это такое. Прощайте, «маленькие триумфы», приближается капут таинственному дару. Сейчас я промажу. Все войдет в норму. Все померкнет. Вернусь домой и узнаю, что Какаша переехала в княжество Монако.

Он взял мяч и привычно похлопал его в своих ладонях. Немедленно вернулось ощущение полной и неизбывной соединенности с кольцом: не попасть в него не-воз-мож-но! В то же время и выиграть миллион не-воз-мож-но! Две невозможности наедут одна на другую, что приведет к развалу внутренних органов. Порвется двенадцатиперстная кишка. Почки отплывут в дальние и бессмысленные странствия. Гортань со свистом рухнет в тартарары. Проф Шумейкер развалится на глазах почтеннейшей публики.

Внезапно вихрь дикой отваги охватил его, и в глубине отваги запульсировал краснорожий Микроскопический. Он

¹ Талисманов.

отошел на несколько шагов назад и занял позицию в самом центре игровой площадки. Затем запросто произвел превосходный jump-shot, то есть бросил мяч в прыжке, двумя руками из-за головы. Пролетев по безупречной траектории, мяч вошел в кольцо и просвистел через корзину.

Этой ночью, ближе к утру, истерическая русская красотка Какаша постучалась к нему. Ее рот и нос были в довольно распухшем состоянии, то ли от рыданий, то ли от понюшки. Или от того и от другого, что скорее всего. Вопрос только в том, что она вдыхала: кокаин или подогретый клей. Каждый понимает, чем завершился этот визит, однако мы должны предоставить некоторые детали, ибо без них нельзя будет обеспечить развитие характеров.

«Абрашка, это правда, что ты хапнул лимон? — спросила девушка, всхлипывая. — Тогда ты можешь меня трахнуть. Давай, давай, не бзди! Я дама с собачкой, а ты фраер с собачкой. Ну что ты тянешь? Давай-ка я сама тебя потяну!»

В начале каждого из своих больших русских романов Эйб всегда испытывал некоторую неловкость в процессе раздевания предмета любви. Процесс этот не всегда соответствовал его чикагской (район Скоки) школе хороших манер. Дрожащими похотливыми руками забираться другой личности под белье, holy cow!¹

В данном большом романе эта неловкость начисто отсутствовала, как отсутствовало и присутствие какой-либо одежды на ночном визитере. Профузно рыдая, дева распростерлась перед ним и пригласила всемерно атаковать свою так называемую «корзину нежности».

О Боже, что это была за ночь, мама, папа, брат Джесси! Никогда ни с какой женщиной Эйб не испытывал ничего подобного тому, чем награждала его все время хлюпающая, а иногда разрываемая рыданиями Какаша, которую на самом деле, разумеется, звали Наташей. Ему казалось, что он находится в центре какой-то неумолимой и бесконечной сладостной тяги, и тело женщины в этот необозримый момент казалось ему единственным телом Вселенной.

«Абрашка, ты меня затрахал совсем», — бормотала она, и он удивлялся, откуда приходят эти незамысловатые речения.

¹ Священная корова! (англ.) — популярное восклицание.

Здесь мы постараемся не повторить ошибки обожаемого всем миром классика. Ни Байрон, ни Саша не пропали в апофеозе словесности. Еще в самом начале сцены крошка королевских кровей с пушистым хвостиком деликатно процокала коготками под ногами голой хозяйки в глубину профессорской квартиры. Байрон, вполне в традициях балканского офицерства, встретил ее любезно, пронюхал все, что надо, под хвостиком и успокоился: в отличие от людей, у собак бывают периоды спокойствия. Теперь эти две милейшие твари сидели перед кроватью и внимательно наблюдали за упражнениями своих хозяев.

Настало время использовать кинематографический прием. Камера отъезжает, а потом поднимается к потолку. Или, скажем, заглядывает через окно на крыше, словно луна. С этой точки мы видим умильную картину: пару собак перед кроватью, на которой затихает любовный пир, столь внезапно вспыхнувший под влиянием миллионного хапка. Наташа-Какаша засыпает в классической манере утомленной девицы, щекой разместившись на нестриженной лужайке эйбовской груди. Как безмятежно спит это мятежное создание! И только изредка передергивается всем телом в каком-то необъяснимом (пока!) пароксизме. «Триумфатор» тогда в ужасе просыпается и снова начинает ее утешать.

Звезда «Нарвских ворот»

Читатель, должно быть, уже догадался, что мы таким не очень-то пристойным образом представили ему главную героиню нашего собственного «большого романа». Теперь, для того чтобы не терять «темпа-ритма», как когда-то учили моих приятелей на курсах драматургов при ЦК ВЛКСМ, нам придется на время оставить профессора Шумейкера с его мифическим баскетболом и поведать о том, какне ветры занесли Какашу в его койку, откуда она взялась и почему, собственно говоря, почти с первых страниц мы предчувствовали ее появление.

Дева эта питерская. К семнадцати годам она стала ярчайшей звездой станции метро «Нарвские ворота». Иные кавалеры из центра, говорят, специально приезжали в этот район

боевого пролетариата в надежде увидеть юную неотразимость. Выходя из метро, они смотрели на Триумфальную арку, как будто именно там, среди коней, колесниц и гоплитов, могла фигурировать красавица дева. Между тем Наташа Светлякова с табунком своих сверстниц паслась на поверхности Нарвской заставы, чаще всего на проспекте Газа, еще точнее, возле комсомольской дискотеки «Наш компас земной». Она слыла в этой среде довольно невинной мадемуазелью, несмотря на участие в нескольких семинарах по групповому сексу, или, как тогда это называлось среди молодежи НТР, сэйшнз.

Девчонки в школу ходили в клипсах, а во время экстазных трясучек эти клипсы закреплялись в носу. Иные брили башки наголо, а для школы носили в сумочках парички. Наташа, следует отдать ей должное, берегла свою бурную гриву, этот поистине апофеоз мужского счастья. Иной раз, впрочем, проливала и она на свой, по-школьному говоря, «кумпол» какой-то флюоресцирующий состав, и тот разливался среди волос, как Амазонка среди Бразилии. Как ни прискорбно нам это признать, девчонки нюхали клей, да и вообще рыскали по старой имперской столице в поисках кайфа, будь это хиппортейн, кодеин, иногда называемый в этих кругах «шифровкой», а лучше всего косячок анаши. Эти поиски их однажды завели далеко от Нарвской заставы, а именно в гребной клуб «Спартак» на Елагином острове, в двух шагах от того места, где опускается солнце в море.

Наташа к тому времени, в лучших традициях школьного остроумия, уже звалась Какашей, что ей весьма импонировало как альтернативное признание качеств. Меньше всего она думала о принце, может быть, потому, что Золушкой себя не считала. А он между тем ее уже ждал, вернее, был уже интегрирован в сюжет. Звали его Славка Горелик, он там работал сторожем в этом гребучем клубе, то есть мог обеспечить девушкам ночной проход на мостки. Парень был уже не первой молодости, ему стукнуло двадцать четыре, однако Какаша влюбилась в него сразу же после первого глотка «Солнцедара».

Только впоследствии она узнала, что, когда в городе говорили «тот самый Славка Горелик», имелось в виду не обязательно то, что она думала. Он, как оказалось, к этому времени был уже известным антисоветчиком, видным диссиден-

том и просветителем. В тот предзакатный час она видела только его мускулистые плечи, загорелую, как у Пушкина или там уж не знаю, как у кого, физиономию и нахальные, это уж точно, гумилевские глаза. Оставшись с ней наедине, он взялся было за гитару, чтобы произвести дальнейшее впечатление, однако она его остановила: «Знаете, Слава, давайте повременим с гитарой. Вы же видите, я просто изнемогаю в вашем присутствии».

Они стали трахаться и приступали друг к другу множество раз. Тридцать три раза, как было подсчитано впоследствии.

«Как же мне жить теперь без тебя, Какаша?» — бормотал он.

«А зачем же тебе без меня, Слава? — бормотала она. — Это совершенно не обязательно, без меня». У нее был тогда довольно прагматический подход к изгибам сюжета, в то время как он, будучи неосимволистом, постоянно внутренне трепетал, боялся, как бы все не рассыпалось.

Совсем заторчав друг от друга и от туркменских дымок, они в перерывах меж слияниями брались за гитару и импровизировали на тему блоковских стихов «Ветер принес издалека».

На следующий день, когда он готовился на дедушкином ЗИСе совершить путешествие к Нарвским воротам, его по доносу этого самого дедушки, советского лауреата искусств, арестовали люди с холодным умом и горячими потрохами. Это было одно из последних преступлений ленинградской чеки. Гласность с каждым днем забрасывала грязью правды любимый народом романтический образ. Оставалось только, как Румпельштильцхену, взять себя самое за ногу и разодрать на части. Увы, они все-таки успели разлучить наших влюбленных.

Жаль, что Славку забрали, думала позже Наташа-Какаша. Кого мне еще любить, если я только его люблю. А с другой стороны, тоже все как-то путем получилось. Ведь если бы его чека не зацапала, пришлось бы сразу выходить за него замуж, получилось бы как-то пресно. Ведь так, со Славкой в чекистском узилище, я становлюсь какой-то особенной девушкой, и сюжет расширяется до безграничности.

Мне нравится твоя логика, девушка, сказала ей инструктор Нарвского райкома комсомола Ольга Кольцатая. Да-

вай думать, как вместе плыть по бурным потокам перестройки.

Ольга была крупноватой особой, найти для нее джинсы было всегда сущей проблемой. А все-таки с молодежью у нее были хорошие передовые отношения. В «Нашем компасе земном» многие наблюдали, как в ней поднимался какой-то странный маскулинус в те минуты, когда она по-дружески обнимала какое-нибудь нежное создание. Вот это и называется «внутренней откровенностью», девочки, объясняла Наташина одноклассница Мила Штраух.

Однажды, уже ближе к осени 1989 года, инструктор сказала хипповым девчатам:

«Есть шанс хорошо оттянуться, а заодно и Родину приподнять в глазах мировой общественности. К нам пришел пароход под названием «Ренессанс», зафрахтованный американской брачной компанией «Галантные ухажеры». На борту сто пятьдесят борзых козлов, лучшие женихи США; представляете, козочки? Из горкома звонили, сказали, что мы как припортовый район должны быть зачинщиком в наведении мостов. Собирайтесь, девчата!»

«Ренессанс» оказался не пароходом, а огромной океанской яхтой, построенной по последнему слову техники специально для холостяков. По каким-то тогда еще еле уловимым признакам эксперты компании Galant Suitors уловили, что Советский Союз может стать выдающимся рынком невест — почти таким, каким была для Штатов Куба, пока ее не захватили ревнивые коммуняки. Появление на борту первой делегации девушек из комсомольского клуба «Наш компас земной» подтверждало прогнозы. Все гости были изящны и застенчивы, как и полагается юным особам из страны Тургенева и Толстого. Нет-нет, и Пушкин не забыт: милые взгляды исподлобья конечно же напоминали игру чувств а-ля Татьяна. При звуках вальса головки закидывались в мечтательном головокружении. Зубки переливались перламутрами, и здесь мы ни слова не скажем о некоторых недостатках стоматологической помощи в системе советского здравоохранения.

Давайте еще раз вернемся к проблеме «принца». Конечно, Какаша была мало похожа на Синдереллу, однако как всякий женский подросток гипотетически она не исключала появле-

ния в своей жизни какого-нибудь безупречного аристократа. Таким, по воле судеб, оказался сторож гребного клуба. Никто, по мнению девушки, больше Славки Горелика не подходил для этой роли. Стало быть, станцию «Принц» мы уже проехали, полагала она, тем более что советское государство упрята-ло его в темницу. Думала ли она, что на борту «Ренессанса» ждет ее другое воплощение этой вековой девичьей мечты и даже как бы в двойном выражении? Нечего хитрить и интриговать читателя: среди «Галантных ухажеров» прибыли в бывшую столицу империи два жителя штата Нью-Гемпшир — граф Джин Воронцофф и князь Ник Олада, то есть «русский принц» в двойном выражении.

При знакомстве с Наташей эти сорокалетние юноши не преминули пофикстулить своими титулами, хотя и утаили тот факт, что в Штатах ими нельзя пользоваться по законам демократии. Оба немного говорили по-русски; чем больше рюмочек пролетало в баре на верхней палубе, тем свободнее расшнуровывались их языки в разговоре с девушкой из пролетарской державы, родины их предков, от которой эти предки разбежались, как от бешеной суки. «Гёрл, мы оба перед вами, граф и князь, если вы пжалста. Мы, однак, не надевать воздуха в этой озабоченности, гот ит? Южули уи сэй, стоп это разговороу эбаут благородство! Мы больные и усталые ов эти факин благородство. Мы чилдрены Вудсто-ка, если вы пжалста! Ответ ушел до ветру, как ви знайт! По другая рука, гёрл, мы пришел суда ни больше ни меньше, тут наши пэласы были эвейлабл, мы не можем ду бэз наших благородство иллужнз, гот ит? Мы пошел, Ник энд Джин, ту Юниверсити Норуич брать ёр — лунатически язуюк. Те-перь, гёрл, смотри ризалты». И они вдвоем читали небезыз-вестные стихи: «Я поумней чудноу мэгновини, перидо мноое йявилас ти...»

Наташа хохотала, голова кружилась, с причала злобно смотрели на бал протокольные будки пограничников, мелодия *Strangers in the night*, как нельзя более подходящая к случаю, повторялась снова и снова. Воронцофф танцевал с ней, внеш-ность у Джина была немного неправильная для графа. Нети-пичный князь Олада тоже танцевал с ней, только сзади. Таким образом аристократы норовили превратить комсомолку в иа-чинку сэндвича. Ольга Кольчатая меж тем вместе со Штраух и

Никитиной обтанцовывали чикагского старца по имени Дон Ильич Гватемала.

Ник Олада дышал Наташе в ухо. Я бешеный с тобой. Дыхание у него было неправильное для князя. Дотанцевались до каюты поговорить по душам. Гёрл, мы дисайдед делать трип, смотрит для наш мечта, гот ит?

«Ты правильно сделал, чертов граф!» — вскричала не полностью трезвая девушка и потащила джиновскую башку себе под юбку.

Ник тем временем, неправильно дыша, целовал ее шею.

На следующий день, когда собрались на причале, обнаружилось, что «Ренессанс» вместе с двумя аристократами испарился, словно «Летучий голландец», и весь Наташин «первый бал» вслед за ним пропал, как эти гады говорят, «в тонком воздухе».

«У тебя, Какашка, нет тормозов! — корила нашу героиню с высоты своего опыта Ольга Кольцатая. Вся в сигаретном дыму, она расхаживала по кабинету в райкоме комсомола. — Ну что ты, рехнулась, сразу с двумя? И зачем ты принуждала провинциалов к оралу? Кто на тебе женится после этого?»

«К сожалению, я очень испорченная, — отвечала Какашка и рыдала, рыдала. В слезах ее, в буре чувств, в апофеозе излияний товарищ Кольцатая с удивлением услышала имя ставшего уже легендой передовой молодежи города Ленина Славки Горелика. — Только Славка — мой вечный принц! — рыдала девушка. — За графа — пожалуйста! За князя — пожалуйста! А Славка — вечный, Ольга, моя родная, понимаешь? За него на все готова! Даже на штурм КГБ пойду, честное комсомольское! А вот теперь все они пропали — и Славки нет — в тюрьме загорает, и Жека-граф свалил, и Колян, князь Олада, испарился! Что же я такая, изначально фатальная получаюсь, скажи, пожалуйста, Ольга Шамильевна?!»

И Ольга утешала нежное создание как могла.

«Подожди, крошка моя, скоро рухнет прогнивший режим и выйдет твой Славка из застенка триумфатором молодежи. И аристократы твои, увидишь, приползут на коленях. Ведь ты же у нас, Какашечка, суший магнетик, от тебя ведь оторваться невозможно!»

Она была права. Все, кто до Наташи дорывался, хранили память о ней в течение всей жизни, часто довольно бессмысленной. Так и оба американских алкоголика не могли ее забыть после памятной ночи в питерском порту. Проснувшись посреди Балтийского моря на борту несущегося к Копенгагену «Ренессанса», они рыдали, рыдали. Дул норд-ост сорок девять миль в час прямо в правую ягодицу корабля, отчего даже это чудо морской техники временами диковато сотрясалось.

«Ты лучше о ней забудь, Ник», — говорил Воронцов Оладе, пока оба заново надирались в баре среди дребезжащей посуды.

«Она моя невеста!»

«Нет, моя, ей со мной лучше будет!» — грубовато резал правду-матку князь.

И оба рыдали, рыдали: не осталось у них от волшебного создания ни клочка, ни адреса, ни телефона.

А у девушки в кармане вдруг обнаружилась улика — визитная карточка Джина — менеджер, инструктор, даже с адресом: 14 Спрус-Лэйн, Миддлбрук... Дальше, правда, следовал сигаретный прижог — сама виновата, тыкала свою вонючку куда попало, — но все-таки, извольте, госпожа удача, и номер дома есть, и улица еловая, и город, пусть небольшой, но конечно же всему миру известный аристократический курорт, где каждый буфет дышит изяществом.

Забегая вперед, уведомим читателя, что найти адресата по такому адресу было совершенно невозможно, поскольку имя штата и почтовый индекс как раз и были прожжены, а Миддлбруков и улиц Спрус в Штатах не меньше, чем в СССР колхозов имени Ильича с Советской улицей. Впрочем, одно письмо, от которого почему-то сильно пахло клеем БФ, каким-то чудом доехало до Джина. На конверте там значилось: Шоед.ненные Статы Маерики. Графу Жеке, гаду Воронцовфскому. Текст послания был лаконичен: «Саше Виятельство, фы вудак! Каша Вакаша». Каким образом почтари великой страны расшифровали адрес, остается тайной этого романа.

Джин вместе с Ником — по одиночке они не могли — стали метаться: как найти их грёзу без обратного адреса? Окончательно чокнувшись, они оба прогнали своих супруж-

ниц и, получив по закладным за свои дома приличные деньги, полетели обратно на историческую родину, чтобы вернуть столь безрассудно утраченное счастье. Увы, разминулись: счастье уже само находилось в далеком странствии.

Помогла ей в этом, конечно, Кольцатая, заявившая однажды со всем большевистским абсолютом: «Как честная девушка Страны Советов эпохи НТР, ты должна этих грёбанных князей найти и заставить на себе жениться! Это стоит всего три тыщи. Тебе дадут паспорт с визой и переправят в Америку. Там ты, надеюсь, не растеряешься».

Какаша ахнула: «Да где же я возьму три тысячи баксов? Мои папочка с мамочкой никогда таких номиналов и не слышали. Да к тому же папочка все время ходит и твердит: «Вот уж не думал, что моя дочь станет в нашем районе притчей во языцех», а мамочка совсем замучила цитатами по нравственности».

Ольга Шамильевна ободрила ее своей неслабой рукой.

«Об этом твои друзья тоже подумали, дорогой ты мой человек. Помнишь старикана Ильича Дона Гватемалу? Он снова здесь и готов тебе отстегнуть три тыщи за эскорт, а может быть, и больше, если постарайся. Вот тебе телефончик и отправляйся в «Асторию». Таковы рыночные отношения, подруга, но я тебе помогаю как твой комсорг, то есть почти бескорыстно».

Короче говоря, вскоре гражданка СССР Светлякова Наталья Ардальоновна, т.и.к. Какаша, в составе небольшой девичьей делегации (семь блондинок) вылетела в Мексику. Там в аэропорту их ждали четверо шерстистых соотечественников, если так можно назвать вайнахов из Лос-Анджелеса. На четырех машинах покатали к американской границе. Вы, девки, не прячьтесь перед кордоном, а наоборот — побольше высовывайтесь, поучали путешественниц опытные проводники. Пусть ваши гривы побольше на ветру развеваются, так мы легче проедем. Так и получилось. Американские карацупы приняли их за своих блондинок и даже не поинтересовались их фальшивыми визами. Валите, цыплята, наблюдавались в Мексике, теперь добро пожаловать!

Стоит ли дальше описывать этот период приключений нашей Какаши? Не лучше ли с горечью промолчать и лишний раз

подумать о том, сколько похоти и зла накопилось в недрах человечества? Вариантов тут не так уж много, и все они хорошо известны читателям уголовной хроники, то есть почти всем. Добавим к этому лишь то, что среди гостей, посещавших особняк, где заперли ленинградскую делегацию, были некие Вазо, Чизо, Арути и Нукрешик, которые могут еще промелькнуть на пространствах нашего романа. Массивные перстни этих господ, ах, не раз отпечатывались на нежной коже Какаши. Случались моменты, когда волосатые мяса четырех ассирийцев не оставляли для девушки в окружающем пространстве ни одной щелки. Чтобы побыстрее завершить тягостный рассказ о двухнедельном растлении чудесной сумасбродки, скажем лишь, что она умудрилась заранее припасенной чугунной сковородкой отправить гостей в астральное путешествие, а сама прыгнула со второго этажа в Калифорнию и была такова.

Далее началась едва ли не годовая Какашина одиссея из бандитского каньона в деловое Чикаго. Почему именно туда, это скоро выяснится; пока лишь скажем, что за эти месяцы она побывала в гёрл-френдихах у немалого числа американских персон. А что прикажете делать юной особе, если у нее губы матово отсвечивают, как почти зрелые вишни, груди подобны двум слегка поссорившимся голубкам, а ноги напоминают двух сиамских сестренек? Что прикажете ей делать, если большой сегмент общества смотрит на нее при встрече только с одной-единственной мыслью? Такова реальность, господа, и для пушего усугубления оной мы перечислим здесь кое-кого из Наташиных покровителей той поры. Среди них были: владелец стрип-бара в Марина-дель-Рей, скульпторша в Санта-Фе, арizonский биржевой брокер, который оказался неполных восемнадцатн лет, то есть на месяц младше нашей героини, ютский мормон, владевший ранчо с пятью женами, тeхacкий теннисный чемпион, посеянный в пятую от конца грядку, оклахомский строительный контрактор, который для отвода глаз заставлял ее сидеть на крыше с пневмомолотком, иллинойский синьор Пицца, обожавший и ревновавший ее с такой страстью, что иной раз норовил завернуть ее в простыню своей пасты; ну и так далее. И вот наконец оно — многообещающее Чикаго!

Там, в Чикаго, в особняке, похожем на испанский павильон Диснейленда, жил Дон Ильич Гватемала, или наобо-

рот, словом, тот самый старпер из «Астории», которого она год назад так успешно эскортировала. Этот беглый команданте «пылающего континента» пришел в бурный восторг при виде той, кого он называл «моей ленинской нимфой», той, что одним своим движением, даже одним взглядом вызвала чудо: подъем революции, молодости, всей этой снержа-маэстры тех лет, когда они приводили к власти сержанта Батисту. В те дни, моя ленинская нимфа, мы были уверены, что вскоре возьмем всю перевернутую шляпу, то есть Центральную Америку, а потом и вся хемисфера запыхает, как пыхает мое тело при виде тебя, моя ленинская нимфа! Эти слова с шипением проходили меж его сахарных зубов, каждый стоимостью в «форд-эскорт», а вместе — в коллекционный «даймлер». Пристукивая инкрустированными каблучками, старый бандит подпрыгивал и с хрустом изображал фанданго. Хорошо продуманная фармакология снимала артритную боль. Он предложил своей ленинской нимфе сочетаться законным браком. А почему бы нет, подумала Какаша и тут же вспомнила известную всем советским школьницам картинку «Неравный брак».

В нашем архиве сохранился снимок свадебной церемонии. В центре на специально построенной тумбе стоят жених и невеста, слева и справа на снижающихся ступенях расположились веером ее и его псевдорodственники, привезенные за большие деньги из разных районов мира. Головы дряхлых сподвижников Ильича Гватемалы повернуты в сторону Какашиного крыла, где сияют молодостью и красотой сестры-сподвижницы из клуба «Наш компас земной» — Пенкина, Никитина, Бородина, Шихбасарова, Штраух, возглавляемые, разумеется, атаманствующей Ольгой Кольчатой. Многодневные торжества проходили в гасиенде на берегу озера Мичиган и завершились большим пожаром. Вслед за пожарными в район гасиенды прибыли и сыскные, наконец-то, после тридцатилетнего поиска, напавшие на след легендарного наркобарона. Взять старика живьем все-таки не удалось. Он отстреливался до последнего патрона, да и последний влил в федерального агента, правда, одновременно с далеко не последним патроном последнего.

Овдовевшая девушка немедленно после похорон поступила в Северо-Западный университет, что, конечно, влило дол-

гожданную свежую струю в сферу славистских штудий. На учение кое-как хватало, но не густо. К удивлению питерской грации, денег на счета покойного оказалось немного, да и то, что осталось, было конфисковано и поделено между шестью державами Латинской Америки, пострадавшими от Ильича в разные периоды XX века. Впрочем, она не унывала. Она чувствовала, что деньги в ее жизни еще будут. У девчонки было свойство притягивать большие бабки, то есть то, что брокеры в этой стране называют *Midas Touch*.

Разбирая однажды чердак поставленной на продажу гасиенды, она обнаружила несгораемый сундук, заполненный аккуратно сброшюрованными манускриптами. Оказалось, что имя Ильич Гватемала было не только бандитской кликухой, но и псевдонимом писателя «циклопического реализма», известного в кругах знатоков, к которым принадлежит и автор данного сочинения, тоже любитель псевдонимов Влас Ваксаков, он же Стас Ваксино, говоря на языке электронных коммуникаций. Происходило нечто странное. Не изучив пока что гишпанского языка, Какаша понимала каждую строчку в четырнадцати найденных ею полновесных циклопических романах, как будто старый хуй не был до конца убит, как будто он пел ей каждую строчку на общепонятном метафизическом языке. Кроме словесного, там был еще какой-то пугающий своей ясностью, чарующий музыкальный контекст, и в нем она как бы слышала и свою судьбу, и судьбу своего вечно любимого Славки. Так вот куда этот старый пес ушел, плакала она и шуршала, шуршала бразильской бумагой — день за днем, ночь за ночью, месяц за месяцем.

В конце концов она решилась и разослала рукописи по 14 главным издательствам. Произошла всемирная литературная сенсация, породившая новую эпоху в циклопической романистике. Все 14 книг стали мировыми бестселлерами, и Какаше только и осталось, что собирать жутковатые по размерам роялти¹.

Увы, и этот чудовишный успех — чудовище гиперболы почему-то всегда присутствовало в жизни нашего аленького цветочка — обернулся чудовишным скандалом, полной утечкой собравшихся миллионов. На сцене один за другим стали

¹ От англ. *royalties* — отчисления, гонорар.

стали появляться новоявленные дитяти застреленного фэдэгентом классика, каждый страшной предыдущего, и все требовали своей доли авторских прав. Вот так ведь нередко бывает: читатели восхищаются миллионными романами и не представляют, какая братоубийственная война идет в кулуарах литературы.

Чтобы сократить эту длинную историю, скажем лишь, что наша девушка, уже подошедшая к раннему бальзаковскому возрасту (по секрету — к 22), еле унесла из этой свары своих сиамских близняшек (ну, ноги, если кто-нибудь подзабыл метафору) и в раздрызганных чувствах умчалась из Чикаго на юг, на целинные земли, то есть в Вирджинию, на последнем, чудом не растасканном на куски «роллс-ройсе». Гнала всю ночь, рыдала, рыдала. Сашенька, родная, слизывала с правой щеки горячие слезы. На следующий день с левой распухшей щекой на последние гватемальские шиши вдова купила квартиру в кондоминиуме Хейзелвуд-Коурт, который напомнил ей летний профилакторий в Лисьем Носу, где ее матушка работала детским психологом. Таким образом наша Какаша, едва не выпав из сюжета, снова стала в нем подвизаться, чтобы встретить нашего конфликтолога Абрашу Шум-Махера, заболевшего комплексом баскетбольного кольца.

В этом пункте повествования нам хочется обратить внимание читателя на то, что, несмотря на слияние судеб, эти два протагониста представляют каждый по отдельности свой собственный рассказ. Любой из этих рассказов можно легко вычленить и напечатать, скажем, в журнале *New Yorker*, где он самым естественным образом вольется в состав кондовой фыкшн¹ этого еженедельника. Вообще, читателю нашего большого романа предоставляется полное право выделять, менять местами или просто вырывать любые куски этого произведения. Была бы на то наша воля, мы бы издали «Кесарево свечение» на несброшюрованных листах, но воля не наша. Далее — двойной пробел.

Что же произошло с Эйбом на следующее утро после взятия двух вершин (или низин?): миллиона и Какаша? Первым де-

¹ От англ. fiction — художественная литература.

лом позвонил Дино Коллекто. Он сказал, что Вибиге Олссон уходит в продолжительный отпуск для написания книги о нигерийской структуре власти, и предложил ему занять кресло главы ЦИРКСа. А как же Бэнник, Стробб, Сулканеццин? — спросил Эйб. Глаз Какаши ясиой планетой смотрел на него в этот момент из-под ее собственного локтя. В зрачке, кажется, торжествовал Микроскопический. Президент и Совет Визитеров считают, что ты самый достойный, уверенно заявил старый друг. Ну, а Влас Ваксаков, наконец? Коллекто засмеялся. Ну ты же его знаешь: он скорее Стас, чем Влас.

«Ты, наверное, уже слышал про мой вчерашний бросок, Дино? Или по телевизору видел?» — спросил Эйб, одной рукой натягивая трусы на обе ягодицы.

«Какой еще бросок? О чем ты?» — с искренним недоумением переспросил провост.

На этом их разговор закончился. Эйб обещал подумать и перезвонить через час. Подумать ему не удалось. Одновременно зазвонили и в телефон, и в дверь. «Клуб «Колдуны» вас приветствует, феноменальный профессор Шум! Все жаждут встречи!» Так, опередив «Слонов» на десять минут, «Колдуны» наложили лапу на вчерашнюю сенсацию.

Вертолетом они доставили Эйба на свою базу «Флетчерс Хэтчерс». Сильное впечатление там производила концентрация дезодоранта. «Никакой вони!» — таков был лозунг хозяина клуба Стива Бэлзы. В свои семьдесят пять он был озабочен девственными ноздрями молодой супруги. Все были в сборе: стартовая пятерка, скамейка и питомник. Здороваясь с довольно высоким, по человеческим стандартам, профессором, мужики или сгибались, или приседали на пружинистых ногах. Эйб улыбался. «Вы называете меня «Шум», джентльмены, а между прочим «шум» — это по-русски *poise*». — «В нату-ре?» — восхищенно поразился весь клуб.

Тренер Боб Бутсо предложил немедленно приступить к делу. Начнем с двенадцати бросков из трехочковой зоны. Подъехала тачка с дюжиной мячей. Изящно потряхивая кистями рук, Эйб забросил их в кольцо, ни разу, естественно, не промазав. Он не мог промазать. Ну хорошо, подумал Бутсо, это мы уже видели. Проверим его в толпе. Мистер Нойз, или как вас там, сейчас мальчики вам будут отбрасывать наше круглое, а вы посылайте это туда, куда сами знаете. Эйбу не

понравилась улыбка этого славянина. Улыбается так, как будто что-то знает из этой области, из психиатрии. Или так, как будто он вхож в романы.

Пасы «колдунов» едва не поломали ему пальцы. Несколько раз он терял мяч, однако всякий раз, будучи взят, предмет отправлялся над всеми лопатами рук прямо в дырку. Возьмите его плотнее! Четверо делают заслоны Шуму, пятеро его атакуют, противники давят друг друга плечами, локтями, задами и коленками. Сейчас кто-нибудь прихлопнет меня, как мышонка. Баскетбол превращается в рэслинг, это мне не по душе, джентльмены. Он повернулся спиной к кольцу и тут же получил пушечный пас от Бутсо. Бросай, Шум! Даже не разворачиваясь к кольцу, он швырнул мяч за голову. Ну, теперь вам все ясно?

Мистер Бэлза встал. За ним поднялись еще несколько господ в персонально пошитых костюмах. Поехали на ланч в High Orbit. Тренера с собой не взяли, что, похоже, потрясло искушенного в этом бизнесе бульбоглотателя.

За столом в отдельном кабинете остались только трое — очевидно, прожженные выжиги. Четвертый, безупречный, как все, но мокрый от волнения, вдруг открыл дверь и драматически обратился к трем первоначальным: «Брюс, Эд, славный Ардамашти, неужели вы способны вот так с ходу выбросить вашего старого товарища?» Трое переглянулись и благосклонно кивнули. Эмоционально мокрый плюхнулся рядом с Эйбом и тут же обслюнявил ему ухо: «Я твой агент, Эйб! Проси восемнадцать!»

Профессору предложили объяснить, как он сам все это понимает. Шумейкер, как полный мудака, стал этим людям выкладывать свое подкожное: и о «кризисе середины жизни», и о «парадигме личного конфликта», и о «малых триумфах», и даже о «поднебесной Фудзияме». Хотя бы о «Фудзияме земной» умолчал, вернее, просто не успел дойти до перевернутого апогея.

Вы у нас будете на скамейке, проф, сказали ему трое первоначальных. А на площадке будете появляться только тогда, когда надо переломить счет. В игре бывает так, что у всех не идут броски. Вот тут-то вы нам и понадобится.

«Мы просим двадцать», — сказал мокрый.

«Двадцать пять», — поправил его Эйб и подумал, что это будет неплохим приварком к университетским семидеся-

ти пяти. Читатель, конечно, уже догадался, а профессор все еще не мог взять в толк, что речь идет не о тыщонках, а о миллиончиках.

«А мы предлагаем вам тридцать», — сурово оповестила тройка первоначальных, и контракт был тут же подписан.

Теперь мы подошли к тому моменту, когда оба наши отдельных рассказа сливаются в одно целое. Многие детали совместной жизни Абраши и Какаши мы тут опускаем по композиционным причинам, однако не можем не сказать, что вскоре эта жизнь пошла под флагами непрерывных Какашиных беременностей. Выводками, образно говоря, вылуплялись в шумейкеровском гнезде птенцы. Жители Хейзельвуд-Коурт, который давно уже целиком принадлежал этой паре, перестали удивляться, видя, как через дорогу в парк движется отяжелевшая девушка, а за ней шустро ковыляет подрастающее поколение. Следует сказать, что после каждой кладки несущка немедленно теряла в весе и немислимо хорошела. В этом состоянии своей привычной неотразимости она отправлялась в Нью-Йорк, Москву, Париж, Улан-Батор тратить шумейкеровские миллионы и возвращалась полумифическим существом в нарядах от лучших кутюрье этих столиц. Проходило, однако, не более месяца, и она снова грузнела в кормовых частях, живот оттягивался книзу под новым кладом зреющих яиц.

Однажды она сидела на пригорке в парке Абраша над озером, где плавала чета лебедей, Этель и Эланор. Они кивали ей своими маленькими головками, вмещавшими столько мыслей об изяществе. За озером был холм, из-за стриженной башки которого поднимались два постмодернистских билдинга. В небе оседал на аэропорт Даллас сингапурский джамбо. Какаша похлопала в ладоши, и птенцы немедленно собрались и уселись вокруг ее юбок. Им пора уже учиться летать и плавать, подумала она. Над близкой рощей прошала вереница многоликих и приседающих на ходу олеожаров. «Пора, пора!» — донеслось до нее. «Всем подъем!» — скомандовала она, и птенцы тут же устремились в воздух, а потом стали опускаться, будоража озеро. Из-за рощи выехал и остановился автобус компании «Питер Пэн». Никто не вышел из серебристого рыдвана, кроме одного ловкого молодого

го человека вполне питерского вида. Боги Невы и Онеги, призраки Стрёмы и Вольжи — да ведь это же Славка Горелик собственной персоной! Да как же он мог здесь появиться посреди такого всего не нашего? Ах да, запомывала малость, ведь тюрьмы-то рухнули в родных краях. Да ведь он же меня ищет, он за мной!

Между тем за рошей все больше собиралось олеожаров. К ним присоединялись и облакоподобные холозагоры. Громоздясь друг на друга, они выпекали нечто вроде пирога-послания, которое категорически говорило Какаше, что эпоха птенцов кончилась. Вот почему и Славка появился, Горелик! Принц нашего поколения отвязанных девушек, ты снова со мной! Почему же он не приближается, господа холозагоры, мадемуазели олеожары? Я ему кричу через озеро, а он не слышит, да я, кажется, и сама себя не слышу. Он там закуривает свою сигарету, спичкой, вижу, помахивает, чую запах табака. Славка, иди же сюда, неужели не можешь перепрыгнуть это факин озеро? Этель, Элаиор, помогите молодому человеку, поднимитесь в воздух, предоставьте ему свои лапы! Лебеди извиняются умоляющими глазами: мы не в силах, дорогая владычица парка Абраша, мы для этого не приспособлены, мы для создания фона изящества. Горелик, курнув, гасит сигарету, поворачивается спиной, на которой у него висит рюкзак со знаком доллара. Холозагоры и олеожары перегруппировываются и создают для парня манящую даль. Славка, не уходи! Он не слышит, уходит. Холозагоры и олеожары увещевают Какашу: дитя, в озеро не бросайся, еще не все!

Асфальтовая дорога начинает выкатываться из клубящихся туч, а на ней открытый «форд-мустанг» собственного Наташиного года рождения. Ну и прикол, да в нем же наша аристократия, Жека граф Воронцов и Колян князь Олада в дурацких блейзерах с медными частями. «Нэтали!» — кричит старичье и бегут к ней на вершину закаканного птенцами холма. Приблизившись, не верят своим глазам, рыдают в своих собственных объятьях. Девушка хохочет, стремительно теряя насадкин вес, возвращаясь в свой образ тоненькой егозы от Нарвских ворот. Они протягивают к ней свои четыре руки. Она заворачивается в их объятия. Отправимся теперь в край кристальных водопадов, призывают они. Да хоть

в жопу, соглашается она и перепрыгивает через борт «мустанга» прямо на заднее, историческое для «поколения Вудстока», сиденье.

Как раз в это самое мгновение Эйб Шум встал на линию штрафного броска. Оставалось несколько секунд в решающем матче «Слонов» и «Колдунов». Счет был в пользу первых, 109:108. Болели ребро, локоть и подбородок. Еще бы, едва он вышел на площадку, чтобы спасти игру, центральной «Слонов» 7-футовый 250-фунтовый Чак Трансморанси обрушился на гнусного профа, которого ненавидела вся НБА за исключением «Колдунов» — те его любили. Таким образом отчаявшийся гигант добился только одного: не дал Шуму совершить еще один патологический трехочковый бросок из невообразимой позиции. Два штрафных броска оставались за «Колдунами», исход матча был решен. Исторгая чудовищный рев, стадион поднялся на ноги, хотя те, кому подальше ехать, уже пробирались к выходу.

Судья бросил Эбрахаму мяч. Любимая и ненавистная округлость почему-то вывалилась из рук. Он тут же снова ее схватил и несколько раз постукал об пол, как будто готовился к решающему броску. Поднял мяч над головой. Мелькнули ухмылки «Колдунов» и перекошенные от ярости губы «Слонов». Лишь трое присутствующих на площадке игроков неафриканского происхождения сохраняли бесстрастность. На этих лицах вы никогда не прочтете драматургии борьбы. Страсть и горечь впечатываются в темную кожу. Чак Трансморанси смотрит на Шума, как Отелло на Дездемону. Но я не Дездемона, сучий Чак, думает Шум. За мгновение до броска внезапное страннейшее чувство пронизывает его: о нет, я, кажется, Дездемона, это так же верно, как то, что я Отелло, я Дездотелло, мяч полетит мимо, и я все сейчас потеряю в этот момент.

Вместо того чтобы описывать далее позор Шумейкера, автор признается доверенному читателю, что в этом месте он скомкал и отшвырнул незавершенную страницу.

Все вдруг рухнуло. Весь замысел хитроумного Стаса обернулся вздором. Счастья, увы, не создашь на бумаге, как ни подгоняй края. В строптивости героев выявляется общий ущерб. «Малые триумфы» лишь делают вид, что выливаются в реаль-

ное торжество. Малохольная Коломбина вдруг покидает Пьеро, и он остается один с равнодушио мерцающим в небе Микроскопическим. Он вдруг понимает, что это была вовсе не его история, что это была ее история, а его здесь просто подставили, чтобы поддержать сюжет. Стас, оставь ему хотя бы пса! Да, Байрон не уйдет, он будет сидеть рядом с тахтой, на которой лежит распростерт его незадачливый папочка, и подвывать в тоске по исчезнувшей среди этих страниц нежной сучке королевских кровей, чей пушистый хвостик он так любил прижимать своим пузом к ее спине. Автору остается только скомкать еще одну страницу, выйти в сумерках в парк, ходить там в одиночестве, звать Прозрачного, прислониться к его огромному стволу, послушать его шумящие ветви, вернуться на свой чердак, вытащить из корзины скомканный лист, расправить его и переписать набело.



ЧАСТЬ ПЯТАЯ

Горе, гора, гореть

драма в двух актах

Действующие лица:

ГОРЕЛИК СЛАВА, авантюрист,
30 лет

НАТАША (Какаша) СВЕТЛЯКОВА,
секс-рабыня, 23 года

ПОЛ ФЭЙМОС, он же барон Павел
Фамус, мэр и президент банка «Дип
Чазм», 70 лет

СОФИ, его дочь, 18 лет, член олим-
пийской команды по лыжам; на выданье

АЛЕКС МАММ, он же Алексей фон
Молчалин, управделами баика «Дип
Чазм», лыжник-неудачник, 25 лет

ГРАФ ДЖИН ВОРОНЦОВФ, «Же-
ка», электрик и владелец магазина «Уор-
ренти офф Фёрст Класс энд Электрик
Рипэр»¹, 40 лет

КНЯЗЬ НИК ОЛАДА, «Колян», во-
допроводчик и владелец магазинчика
«Эврифинг ю нид энд Пламинг»², 40 лет

ГАБИ НАРД, он же Князь Нардин-
Нашокин Гавриил, обеспеченный пен-
сионер, моралист, 65 лет

МАДАМ ЛИДИ, его жена, обеспе-
ченная пенсионерка, сплетница, 42 года

МИМИ КАЙСЫНКАЙСАЦКАЯ-
СОМ-МЕРСЕТ, светская дама и всеобщая
«гранд-маман», за сто

РЕПОРТЕРЫ, ПАРОЧКА ШУСТ-
РЫХ ШАКАЛОВ ПЕРА



¹ От англ. Warranty of First class and Electric Repair — Первоклассные гарантии и ремонт электрики.

² От англ. Everything you need and plumbing — Все, что вам нужно, и водопроводные работы.

ГОЛОС ПОЛКАНА ФАНТОМ НБМ

Жители поселка Бёрчтри Вэлли (Березань), лыжники и туристы

АКТ ПЕРВЫЙ

Перед началом действия все персонажи появляются перед занавесом, для того чтобы сделать своего рода стихотворные заявки на участие.

Гладким ходом, по-светски, выкатывается престарелый бонвиван Пол Фэймос.

ФЭЙМОС.

Я с детства полюбил овал,
Владыкой стал горы, долины,
Богач, банкир, но фёрст оф олл¹,
Создатель рифмы удлиненной!

Родная рифма, русских жар,
Ты помогла во время оно,
Когда нас голод рьяно жрал
И запивал слезой соленой.

Отцы — московские тузы,
А мамы — светские эстетки,
Поклонницы *charmante musique*²,
Здесь все работали, как тетки.

Теперь я стар, души гроза
Гремит все крепче. Русским ясно:
Мы основали Березань,
Нью-Гемпшира цветущий ясень!

(Отходит в сторону.)

Бурно, словно на трассе скоростного спуска, к занавесу вылетает Софи Фэймос.

¹ От англ. *first of all* — прежде всего.

² Прелестной музыки (*фр.*).

СОФИ.

Мне минуло осьмнадцать лет!
Не знает сердце боли,
Когда несусь, как самолет,
Нью-Гемпширским привольем!
Я чемпион олимпиад!
Секунды, не спешите!
И, как поэт Эдит Пиаф,
«Любовь мне в ухо дышит»!

(Отходит в сторону.)

Появляется корректный молодой человек, не лишенный, правда, некоторой косолапости, что появляется у лыжников на плоской поверхности, Алекс Мамм.

МАММ.

Уймитесь, волнения страсти.
Я щелкаю секундомером.
Поднимем шипучего «Асти
Спуманте»! Нас ждут гондольеры.

Как тренер, а также мужчина,
Я в сердце сижу чемпионки.
Пусть я молчалив, как машина,
Любовь — не резервная шина,
А вечности ласковой чётки.

(Отходит в сторону.)

Энергично, чтобы не сказать фривольно, на кресле-каталке с привязанным к спинке воздушным шариком, выезжает Мими Кай-сынкайсацкая-Соммерсет.

МИМИ.

Мне с чем-то сто, и с чем — немало.
Век декадентства миновал.
Вглядишься в неровный слой эмали,
Не там ли бродит минотавр?

Что ты, что ты, что ты, что ты?
Я солдат девятой роты,

Тридцать первого полка!
Ламца-дрица-ца-ца!

Мечты о дальних светозарах
Нас уносили на века,
Когда шалили в дортуарах,
Не ведая большевика.
Что ты, что ты, что ты, что ты?
Вот корьет в одних ботфортах
Кавалергардского полка,
Ламца-дрица-ца-ца!

Какие были джентльмены!
Плясали Пат и Паташон!
И проплясали все пельмени,
Лишь гадский вьется запашок.

Что ты, что ты, что ты, что ты?
Я из пятой разведроты
Конницы пролетарьята,
Пасть пахучая разъята.
Здесь не терпят гордеца,
Ламца-дрица-ца-ца!

(Откатывает в сторону.)

Сдержанно, тонно проходит местный электрик граф Воронцофф.

ВОРОНЦОВ.

Нам внятно все — и острый галльский смысл,
И сумрачный германский гений,
Но русский ток пока еще не смысл
Плевел злокозненных поползновений.

В родной глуши я весь аристократ,
Распространитель качеств и количеств.
Как был среди философов Сократ,
Таков и я по части электричеств.

Включая вечером в квартире свет,
Вы вызываете одно из таинств.
Сей тайны не постиг ни Ист, ни Вест,
Как непостижно то, что вносит аист.

(Отходит в сторону.)

На манер московского пьянчуги-работяги по сцене косолапит
местный водопроводчик князь Олада.

ОЛАДА.

Моя маман, равно и мой папá,
Университетов не кончали.
Вода моя текла, бурля, сопя,
Трубу нащупала упрямая стопа,
Наш княжий дух мне пел виолончелью.

На родине ужасных праотцов
Я увидел своих коллег воочью.
Зачистили мы дюжину концов;
Таков наш брат, Москвы водопроводчик!

От них я научился красоте
И краткости гулаговского сленга.
Сквозь ржавчину вода текла, рассвет
Нас пробуждал, словно детей в пеленках.
Теперь вставай, смири же боль в коленках!
И будет там вода, и твердь, и Божий Свет!

(Отходит в сторону.)

Как пара доберманов, на сцену выскакивает пара репортеров.

РЕПОРТЕРЫ.

Воспитанники школ престижа,
Больших амбиций молодежь,
Горбатим тут средь горной стужи
И русский слушаем скулёж.

Такие выпренные рожи!
Тут впрямь становишься Толстым,

Но репортеры скачут с грыжей
И задницу бодрят хлыстом.

(Отходят в сторону.)

Походкой светского человека, маскирующей порядочную склонность к сплетне, с тросточкой появляется Габи Нард.

НАРД.

Один стоит под гнетом коромысла,
Другой горазд в перестановке смысла,
Но смешивать два этих ремесла
Есть тьма охотников — я не из их числа.

Свет, как всегда, сквозь сплетни волочится,
А я, как истовый нравоучитель,
В любом злословье, к коему влечете,
Ищу мораль и вот живу в почете.

Как ветеран компании известной,
Я укрепляю стены вам известкой,
И вот наш дом по зимам и по веснам
Нетлен стоит и одобряет сосны.

(Отходит в сторону.)

В танце, напоминающем то вальс, то танго, на сцене появляется мадам Лиди.

ЛИДИ.

О эти женщины Бальзака,
Мы так тревожно хороши!
Мы не чураемся бальзамов,
В букетах носик наш шуршит.

Мой муж на четверть века старше,
Пенсионер и моралист.
Я вижу, он с гондолы шара
Опровергает плюрализм.

Пенсионеркой стала в сорок,
Но уши слышат каждый лист,

Процеживают слухов ворох,
В которых смысл событий слит.

(Отходит в сторону.)

Неотразимой мэрилинн-монровской походкой появляется наша
главная героння Наталья Ардальоновна Светлякова, т.н.к. Какаша.
Читает с грустью.

КАКАША.

Была я там, где каждый хам хамит,
Где на пол падают вонючие галоши,
Там океан, витийствуя, шумит
И с тяжким грохотом подходит к изголовью.

Волна и ветер так творят разбой,
Что паруса все вспучились на флоте,
Хрипит подсунутый к губам гобой,
А мне все помнится игра на флейте.

Прощай, мой принц, грусти иль не грусти,
Какаша я, а вовсе не Елена,
Ты побросай лишь камешки в горсти
И посмотри во глубь воды зеленой.

Быть может, там увидишь свалки битв,
И медный схлест близ мифа, возле Трои.
Что делать мне, раз в доме нету бритв?
Бежать и спрятаться в нью-гемпширском Тироле?

(Отходит в сторону.)

И наконец, походкой отпетого московского «брательло», что
пребывает в резком контрасте с неглупой физиономией, появляется
наш главный герой Слава Горелик.

ГОРЕЛИК.

Мой дедушка отменных правил
Марксизму ум свой посвящал,
А внук в ответ смотался в Ревель,
Вернулся с ненавистью к ЩА.

Зверек трехглавый, хвостик гадкий,
Ползет, как тать, скулит шакал.
От ЩА ль удрали без оглядки
Стравинский, Бунин и Шагал?

Красотки все рванули в бегство,
Одна из них — моя жена.
К чужому подалась брегу,
Щавотиной обожжена.

Я стал большим капиталистом
И все ж, как зек, люблю лапшу.
Услышу ль я твое монисто?
Умру ль иль в звоне попляшу?

Ей двадцать три, а мне уж тридцать,
Но впереди большой роман.
Три пьесы в нем, пиры, и тризны,
И разной прозы бахрома.

(Отходит в сторону.)

Вслед за тем все герои возвращаются к центру, берутся за руки и раскланиваются перед началом действия.

Действо происходит в девяностые годы завершающегося века на горнолыжном курорте в одном из северо-западных штатов США. Аккуратные тропинки в сугробах, вокруг цветущие снега. Разгар сезона, январь. По склонам иногда проскальзывают игрушечные фигурки слаломистов. Вверх по проволокам ползут кабинки. Эти картинки служат постоянным фоном действия, однако в начале спектакля мы ничего этого не видим, потому что царит раннее зимнее утро, вроде не предвещающее лыжной погоды.

Сцена представляет собой крошечную главную улочку поселка Бёрчтри-Вэллн, по-русски Березани. Посредине замерзший фонтан. Сбоку, разумеется, несколько берез в живописной асимметрии. Слева двери и окна банка «Дип Чазм», особняка Пола Фэймоса и лыжного магазина «Уорренти офф Фёрст Класс энд Электрик Рип-ар». Справа — двери и окна кафе «Анкл Саша», гостиницы «Фэймос Инн» и магазинчика под названием «Эврифинг ю нид энд Пламнинг».

Раннее, раннее утро. Солнце только лишь заявило о своем приближении — над горой, которая замыкает нашу панораму, появилось мутноватое свечение.

Возле фонтана — две окоченевшие фигуры фотографов. Два аппарата на триподах нацелены на особняк Пола Фэймоса. Ситуация классическая для XX века: дичь выслежена, охотники ждут, оружие на изготовку.

Несколько минут проходит в молчании, только слышно, как фотографии булькают спасительным виски.

Окно спальни на верхнем этаже бесшумно открывается. В проеме появляется фигура Алекса Мамма. Он осторожно оглядывает улицу, но явно не замечает фотографов, принимая их, очевидно, за неживые предметы. Переносит ногу через подоконник.

За его спиной из глубины комнаты появляется обиженная Софи Фэймос, прижимается сзади к Мамму.

СОФИ. Уходишь, солнце мое ночное?

МАММ. Чао. *(Переносит во внешнюю среду свою вторую ногу.)*

СОФИ. Ты совсем забывает, как это бывает русски.

МАММ. Ну, адью.

СОФИ. Вот так-то лучше, солнце мое ночное.

Фотографы включают свой свет и начинают шелкать камерами. Мамм летит вниз. Выскакивает из сугроба.

МАММ *(свистящим шепотом)*. Мамоёбы-папараццы! Отдавайте пленки! *(Пытается поймать хотя бы одного фотографа, но не тут-то было: те профессионально улепетывают.)*

В разгар этой довольно нелепой погони на сцене появляется Слава Горелик. Он явно только что приехал. Но откуда? Определенно не из снежных краев. Во всей его фигуре сквозит какой-то бразильский шнк: белые шатны, сандалеты, защитного цвета федора¹, свитерок, предназначенный для тропических бризов, но отнюдь не для горных вьюг.

Погоня между тем кружит вокруг фонтана. Слава подставляет ногу набегающему Мамму. Тот со всего размаха влетает в сугроб. Фотографы смываются. Мамм вылезает из сугроба.

¹ Вид мягкой шляпы.

МАММ. Ты чё, мэн?

ГОРЕЛИК. Нормалёк. Если двое драпают от одного, значит, надо помогать. Значит, они беззащитны, как бурундуки, ну, по-вашему, «чипманкс».

МАММ. По-нашему тоже бурундуки.

ГОРЕЛИК. Главное, чтобы ты понял логику: человек не должен губить бурундуков.

МАММ. А чё они?

ГОРЕЛИК. Бурундук ведь тоже возник как участник мировой феерии. Ты это понял?

МАММ. Ну.

Завершив диалог в свойственном горцам стиле, Алекс Мамм покидает место действия.

Горелик подходит к дверям гостиницы, смотрит на часы.

ГОРЕЛИК. Гостиница закрыта, но «мест нет» на месте. Неужели это действительно та самая русская пьеса в Америке? Так что мы тут еще имеем в антураже? Кафе «Дядя Саша». Подожду возле кафе. Любопытно, какого дядю Сашу тут имеют в виду — Пушкина или Грибоедова? Так или иначе, в таком городке кафе должно открываться раньше других заведений. *(Подходит к столику на открытой веранде, стряхивает снег со стула, вытаскивает из котомки бутылку шампанского и засовывает ее в снег на столе, чтобы охлаждалась. Сидит непринужденно, словно на пляже Копакабаны; холод его не берет.)*

(Продолжает.) Хотя это и похоже на происки Стаса Ваксино, все-таки я, кажется, попал туда, куда стремился. Тот самый банк, о котором говорили ребята в Нью-Йорке. Между прочим, а не купить ли мне его со всеми потрохами? Олл райт, посмотрим по обстоятельствам. Да, чуть не забыл, — ведь вчера в Рио тот авторитетный нарисовал мне план этого горнолыжного местечка *(рыщет в карманах, вытаскивает ресторанную салфетку)*. План один к одному, все совпадает, сразу видно, что бабки не пропали — тут поработал профессионал. А вот и имена здешних русских корифеев. Президента банка зовут как-то по-грибоедовски — ну вот, спасибо, это не кто иной, как мистер Пол Фэймос; сразу повеяло классикой, Малым театром, дворянской сатирой. А вот еще два источника нужной мне информации — электрик Джин и водопроводчик

Ннк, также известные как Жека и Колян. Тут, видно, и в самом деле все слегка на русский лад. Братва в Каракасе, а раньше и братва в Санкте говорили, что здешнее графство иногда называют Уайтраша, иными словами Уай Траш А? — такая тут, видите ли, сложилась Белоруссия с потомками наших благородных семей в главных ролях.

«Ты будь там, Славка, поосторожней, — так говорили в Санкте. — В этом местечке можешь не только на гололиану, но и на достоевщину нарваться. А самое главное, не вляпайся в грибоедство». Позвольте, но как в русской пьесе избежать классических влияний? С осторожностью тут далеко не уедешь.

Кому же здесь будет предназначена роль Чацкого? Может быть, автоматически мне как приезжему? В таком случае придется разочаровать как труппу, так и зрителей: я не Чацкий, я Слава Горелик. В моей фамилии живут три парки — Горе, Гора, Гореть. Вот именно: как у Ахматовой, а не как в «Горе от ума». Я не чажу — я горю, уважаемая публика, друзья русского театра.

Однако так или иначе, в моем положении было бы лучше для начала прикрыться какой-нибудь иностранной кликухой. Назваться, скажем, Бенни — от Лифшица, и Менделлем — от Осипа, почему бы нет? Беини Менделл, звучит вполне лояльно, никому и в голову не придет, что имеет дело с пресловутым «новым русским» Славой Гореликом. (*Внимает из сугроба шампанское, хлопает пробкой.*) Бенни Менделл, Слава Горелик пьет за тебя! Хорошо пошло! Теперь ты пей за меня, Бенни! Отлично! До конца пьесы ты будешь тут витать вместе со мной, а потом, если захочешь, действуй самостоятельно. Но лучше не надо, лучше держись меня. Кликуху все-таки не раздуешь до полновесной персоны. (*Оглядывает обстановку.*) Ну что ж, пока все идет неплохо. Место назначения достигнуто, впереди неизвестность. Шампанское клопочет хорошо, а не сочинить ли мне стихотворение? Где мой набор рнфм, что в самолете надьсы набросал? (*Вытаскивает самолетное меню.*) Ага, вот оно. Крузенштерна — крупные зерна или узы терна; взирали — Израиль, это пойдет... (*Углубляется.*)

Пока главный герой таким образом разглагольствует, на сцене появляются еще два персонажа. Поднимает шторы своего лыжного

магазина «Уорренти офф» граф Воронцофф, Джин-Евгений. Из магазинчика «Эврифинг энд Пламинг» высовывает сизый нос Николай князь Олада. Друзья бросаются друг к другу, словно давно не виделись.

ОЛАДА. Джин, это ты, фак твою! Хау зи фак ю дуинг?

ВОРОНЦОФФ. Хай, Ник, целый век тебя не видел!

ОЛАДА. Если от двух утра до семи утра проходит вечность...

ВОРОНЦОФФ. Иногда проходит несколько вечностей, мэн.

ОЛАДА. Я бы на твоём месте не курил эту местную дрянь. Трава должна расти там, где ей предписано матушкой-природой, то есть на юге. Мужики приносят ворохи этого добра со своих секретных делянок в горах, однако неизвестно ведь, чем они ее удобряют. Сэкономил ерунду, а потерять можешь свой главный ассет.

ВОРОНЦОФФ. Мне это не грозит. Мой главный ассет за себя постоит, это известно всем кадрам в долине!

ОЛАДА. У тебя только одно на уме, факинграф.

ВОРОНЦОФФ. А у тебя что на уме, ваше сиятельство?

ОЛАДА. Общая природа, общая наша семья, здоровье наше с тобой, ее здоровье, здравый смысл — вот что у меня на уме, вот почему я курю только натуральную марихуану. Еще со времен Вудстока я дал себе зарок курить только натуральную марихуану.

ОБА. Вудсток! *(Оба на мгновение благоговейно затуманиваются, потом возвращаются к реальности.)*

ВОРОНЦОФФ. Ну ладно, Олада! Ты как упрешься рогом в одну тему, не слезешь до скончания дней. Почему ты не спросишь, где я путешествовал этой ночью? Через какие фантазмы я проходил вместе с нею, с Какашкой! Нет, поистине, секс — это окно в метафизику!

ОЛАДА *(помрачнев)*. Нечего трепаться, граф, и нечего вместе с нею проходить через фантазмы. Нас все-таки трое, и все мы русские люди. Конечно, она была секс-рабыней, но сейчас она все-таки супруга двух, подчеркиваю, двух порядочных людей, из которых один никогда не слезет с натуральной марихуаны.

ВОРОНЦОФФ. Все тот же спор славян. Ладно, давай-ка, князь, головки поправим. Тащи «Джека Дэниэла»!

ОЛАДА. Эх ты, Вронцофф-Уорренти-Офф, пиво по утрам тебя уже не устраивает, катишься вниз по наклонной плоскости. *(Вытаскивает из кармана бутылку виски.)* Пора тебе записываться к «Анонимным Алкоголикам».

ВОРОНЦОФФ *(хитровато улыбается)*. Пожалуй, ты прав, Олада, — прячь бутылку до ланча, начнем с пива. Как в Питере-то наши друзья говорили: «Пивка для рывка».

ОЛАДА *(злится, но бутылку не прячет)*. Ты думаешь, Джин, что ты больше русский, чем я? Олады, между прочим, от Рюриков гребут, а Воронцовы малость портяночкой пахивают, особенно с этим говенным двойным «ф». Чем ваша семья прославилась, тыфу тебя и изыди? Травили наше национальное солнце поэзии?

ВОРОНЦОФФ. Того арапа? А не травил ли он сам нашу Елизавету Ксавьеревну? Сколько раз мне тебе говорить, что он был вне контекста. Полностью вне контекста.

ОЛАДА. Джин, я когда-нибудь бутылку обломаю о твою башку за эти «контексты», тыфу тебя и изыди. Учись все-таки по-русски думать и изъясняться, Божий электрик. *(Вынимает из другого кармана бутылку водки «Жириновский».)* Вот она, родная, и с портретом аристократа на этикетке. Вот с чего нам надо начинать по традиции!

ВОРОНЦОФФ. А вот теперь ты дело говоришь, Ник, Божий водопроводчик! Сдирай пробку!

ОЛАДА. Вот и опять ты сел в лужу, граф. Да какой же русский утром распивает «Жириновского» на двоих? Русский человек, простой, искренний, незлой, всегда ищет компанию на троих! Об этом еще Джон Стейнбек писал!

ВОРОНЦОФФ. На этот раз ты прав, друг. Вон там наш третий загорает возле «Дяди Саши». По всем приметам, не откажется.

ОЛАДА. Давай из-за уголка его позовем по традиции.

Между тем Славка Горелик, разомлев на двадцатиградусном морозе, что-то пишет на меню, иногда впадая в задумчивость сродни той, что появляется у хорошего финансиста при подсчете «ассетов» и «лайбелитис». Он не замечает, что два косолапых парня направляются к нему.

ГОРЕЛИК. Ну вот, готово, стих с синкопой! На этот раз всего лишь двенадцать с половиной минут. Главное — набор

рифм. Смысл появляется сам по себе. Всем путешественникам советую: бросьте кроссворды, сочиняйте стихи. (*Читает из меню.*)

С набережной Крузенштерна
Трясется в трамвае на остров Елагин.
Ёжится, будто бы в узах тёрна.
После бредет, словно узник ГУЛАГа.

Марш-барабан и рядами стальные каски.
Сколько столетий на них взирали!
Дни распродажи богатств Аляски,
Годы отъезда в родной Израиль.

Склоны, поросшие можжевельником.
Связки колбас с холестерином.
Ваше величество, можно вольно? —
Мнится Улиссу голос сирены.

Гордые линии: Темза, Рига.
Стены из кладки энциклопедий.
Щурится знаний хват-мастерюга,
А сам косолапит с ленцой медведя.

Фалды подбросив, он сел к пианино.
Вот вам аккорды, толпа, нахалы!
Где ты, красотушка бабка Арина?
Дай я прочту тебе стих сначала!

ОЛАДА (*Горелику, по-русски*). Эй, хлопская дубрава, гордая пролетарня, джентльмешонок полей (*хихикает*) для гольфа! Будем выпивальство а труа?

ГОРЕЛИК. За эту «гордую пролетарию», Ерема, ты ведь можешь и в лоб получить. Вы кто такие?

ВОРОНЦОВФ. Мы, видите ли, потомки русской аристократии, восемьдесят лет назад поселившейся в Бёрчтри-Вэлли. Я граф Евгинарий Воронцовф, ну, в общем, Жека, по-английски Джин Уорр, удачливый торговец.

ГОРЕЛИК. «Уорр» всегда удачливый торговец.

ОЛАДА. А я князь Олада, честный торговец. Поздешнему, Ник Ола, а по обычаю старорусскому и по новому,

петербургскому, зови меня Колян. Я также помогает коллективку по части трубок.

ГОРЕЛИК *(в сторону)*. Кажется, сразу на нужный народ вышел. *(Жеке и Колян.)* А я спец из Санкта по части геральдики и семейных хроник. Меня зовут *(замялся, пытливо глядяется в черты собутельников)* Бенни Менделл, к вашим услугам.

ВОРОНЦОФФ *(в сторону)*. Бенни Менделл, а так ведь сразу и не скажешь!

ОЛАДА *(вынимает «Жириновского» и три пластмассовых стаканчика)*. Ну чаво, мужичье, «он сказал: поехали», что ли?

ГОРЕЛИК. Дай-ка я сам разолью. У меня глаз — ватерпас!

Все трое употребляют свои дозы. Джин Уорр, изящно отставив в сторону мизинец. Ник Олада крикает и трясет башкой в национальном стиле. Горелик-Менделл — по-богемному, как бы между прочим.

ГОРЕЛИК. Закуска есть?

ОЛАДА. Закуска сей ранний час не имеет себя, тьфу тебя и изыди, эвейлабл¹.

ГОРЕЛИК. Ну, тогда прндется мануфактуркой. *(Вытирает губы рукавом, нюхает ткань.)*

ОЛАДА И ВОРОНЦОФФ *(изумленно и радостно)*. Да неужто ты... вы... прям оттеда?

ГОРЕЛИК. Я же сказал, что я из Санкта, специалист по вашим блядским родословным. У меня командировка в эту местность.

ВОРОНЦОФФ. Где это — Санкта, позвольте вас спросить?

ГОРЕЛИК. Это там, где ваши предки понастроили дворцов и навербовали жандармов; там, где они в детских штанишках с оборками совершали променады под надзором мадам Клико и месье Татинже; там, где ветер, летя по главному проспекту, приносит с собой всю Северную Европу и кусок Италии... Ну, понятно?

¹ От англ. available — имеющийся в наличии.

ВОРОНЦОВ И ОЛАДА. Неужели из Ленинграда, приезжий, соу джентл, соу мэн?!

ГОРЕЛИК. Из Его Величества Рабочего Класа Колыбели Революции Имени Кирова Города-героя, Святого Погголландски Города Петра (*взгляд его на мгновение благоговейно затуманивается*)! Честь имею, ваши сиятельства, перед вами — представитель третьего поколения советской аристократии-бюрократии.

Воронцов стоит неподвижно, стараясь не уронить достоинства перед таким знатным приезжим. Между тем князь Олада в восторге совершает довольно медвежий танец, выдергивая из сугробов то сучок «Зюганов», то коньяк «Шохин», то вермут «Явлинский».

ОЛАДА. Ну, прохоженствующий, не знаю, как тебя всамделе-звать, давай разливай! У тебя глаз-то действительно ватерпас!

ГОРЕЛИК (*завершив молодецкую выпивку*). Ну, братва, я захорошел!

ВОРОНЦОВ И ОЛАДА (*восторженно*). И вы захорошел, и мы захорошел! Какая вокабулярная экспрессиона, как бы сказала прабабушка Мими!

ГОРЕЛИК. Скажи, братва, тут в ваших краях такая девушка-блондинка не появлялась?

ВОРОНЦОВ И ОЛАДА (*хохочут*). Много их тут появлялось. Основательно! Вот именно так, как вы описали, блондинки, блондинки, но есть и брюнетки. Блондинки, паря, слегка приелись, в горах в снегу грезишь о кастаньетах, о фламенке... Точнее нельзя? Шо за блонда тебя интересует, Бенни-бой?

ГОРЕЛИК. Неотразимая такая. Сумасшедшая. Звезда станции метро «Нарвские ворота». Наташка Светлякова такая по прозвищу Какаша. Ее кто-то в Америку увез... (*Застывает со стаканом очередного напитка в руке, на лице его отражается неподдельное страдание.*)

ВОРОНЦОВ (*отводит в сторону Оладу, шепотом*). Ну, князь, вот так попали! Этот Бенни Менделл нашу мечту, нашу супругу хочет поймать, надергать из нее перьев.

ОЛАДА. То-то она прошлый раз кричала: он придет, придет, он освободит меня из рабства! Как напьется или нажрется, так обязательно Славку Горелика какого-то зовет.

Слушай, граф, она ни разу никакого Бенни Менделла не называла.

ВОРОНЦОВ. Шат ап, Ник! Ни слова больше на эту тему! *(Горелику.)* Нет, Бенни, таких, как вы описываете, у нас тут сроду не было. Но не горюй, душка, найдутся и не хуже.

Из дома Фэймоса выходит Софи. Она в лыжном костюме и с лыжами. Деловито проверяет экипировку.

ГОРЕЛИК *(Воронцову)*. Как ты меня назвал? Чушка?

ВОРОНЦОВ. Я вас назвал «душка», а не «чушка». Это просто так по-дворянски, любезнейший.

ГОРЕЛИК. За такие любезности можно и по хребтине получить! Ну погоди, граф кисельный, в смысле седьмая вода на киселе, я ведь всю твою родословную знаю!

ВОРОНЦОВ. Милостивый государь! Не забывайте!

ОЛАДА *(основательно поплыл)*. Мир, пацаны! Мэйк лав, нот уор!¹ Мы за мир, и песню эту не упрячет враг в штиблету!

Проходящая мимо Софи Фэймос фыркает прехорошеньким носиком: дескать, что за свинство развели здесь эти мужланы.

ОЛАДА. Куда рулишь, София Премудрая?

СОФИ. Будто вы не знаете, дядя Коля. Всего неделя осталась до стартов Килиманджаро, надо тренироваться. *(Замедляет шаги, внимательно изучает фигуру Горелика.)*

ВОРОНЦОВ. Дочь министра-капиталиста барона Фамуса, если по-русски. Софи Фэймос, олимпийская чемпионка. *(В сторону.)* По ночным видам спорта.

СОФИ. А вы дурак, дядя Евгиный. Ваши реплики в сторону прекрасно доходят до моих ушных мембран, еще не тронутых возрастом. Граф, не стыдно ли вам постоянно волочиться за молодежью? Ваш друг из Рио-де-Жанейро еще подумает, что вы что-то обо мне знаете.

ГОРЕЛИК. Простите, мисс, но почему вы решили, что я из Рио?

СОФИ. По вашей шляпе. Никто из бразильцев не носит такого, но наши все возвращаются из Рио в этих шляпах. Им,

¹ От англ. Make Love, not war! — Занимайтесь любовью, а не войной!

тем нашим, ну, скажем, дяде Коле и дяде Жеке, кажется, что после поездки в Бразилию они стали авантюристами, между тем не вылезали из бара отеля. А то еще на родину предков повадились, изображают там всяких гусар: поручик Голицын, корнет Оболенский, всяких там Лермонтовичей и Пушкинзонов. В недалеком прошлом приехали два этих наших бюргера из Санкт-Петербурга такие, видите ли, загадочные, как будто там какой-то кусок любви отхватили. И все время норовят «а труа» — даже с племянницами.

ГОРЕЛИК. Какая наблюдательность! Какая проницательность! Какой высокий моральный стандарт! Разрешите, я провожу вас до вашей трассы?

СОФИ. Только без расчета на «куики». То есть без «пистона», по-рашенски.

ГОРЕЛИК. О Боже мой! Юная баронесса! Как вы могли предположить столь нахальные намерения с моей стороны? Смею вас уверить, я как кабинетный ученый являюсь солидным и даже слегка консервативным членом общества.

СОФИ. Мэн, что-то вы не похожи на консерватора. Скорее напоминаете сексуальных бандитов, которые всегда собираются вокруг Олимпийских игр в надежде потрахать опьяненных успехом чемпионок.

ГОРЕЛИК. Я не из их числа, барышня. Уж если я встречаю какую-нибудь чемпионку, неизменно влюбляюсь до умопомрачения. Ночные безумные телефонные звонки, раблезианского масштаба муки ревности, тонны стихов и пр. и др. Что касается непосредственно вас, то я ведь вас вычислил задолго до того, как вы побили Кламзи Батток¹ и Лиззи Ярд на страшных склонах Килиманджаро. Ведь вы же шестнадцатая баронесса из третьего колена Фамусов, не так ли?

Вы удивлены, вы даже шокированы, однако поверьте, в этой разработке нет ничего скабрезного. Дело в том, что я историк, архивист, и моя главная тема — это родословные российского дворянства. Ваш род я прослеживаю до Смутных времен. В войске Лжедмитрия Первого сражался бельгийский капитан Фома Усс. Считалось, что он пал на поле брани, однако я достоверно установил, что он в течение пятнадцати лет после даты предположительной смерти получал пособие от саксонского короля.

¹ От англ. Clumsy Buttoc — неуклюжая задница.

Теперь держитесь за что-нибудь, лучше всего за меня, Сонечка! Россия притягивала бродячих капитанов своими женщинами. Кавалер Усс остался в России и женился на дочери боярина, то есть барона, Кайсын-Кайсацкого. Эта фамилия вам, конечно, известна, однако вы никогда не предполагали такой кровной близости к Мими, что была национальным сокровищем как Англии, так и Калмыкии. Ага, я вижу, вы слегка закачались? А ведь мы только начали рассказ о славной династии, о которой немало всякого, в том числе и клеветы, распространялось в свете.

СОФИ. Чем это от вас так сильно несет?

ГОРЕЛИК. Это водка «Жириновский».

СОФИ. Я потрясена. Вместе с запахом водки «Жириновский» вы приносите мне память о капитане Фоме Уссе, о котором я, признаться, никогда не находила никаких сведений в семейных анналах.

ГОРЕЛИК. Пеняйте на аниалы.

СОФИ. Значит, цель вашего приезда в нашу Березань...

ГОРЕЛИК. Интервью, интервью и еще раз интервью. С их помощью я надеюсь найти недостающие звенья в генеалогической паутине семейств Олада, Воронцовых, Фамусовых, фон Мочалкиных, Нардин-Нашокиных и Кайсынкайсацких-Соммерсет. Меня, собственно говоря, зовут по-русски д-р Горелик, Слава Горелик, всегда к вашим услугам, а по-английски Бенни Менделл, если позволите. Вы понимаете?

СОФИ (*очень возбуждена, с трепетом*). Еще бы не понять! Как могу я не понять, если вы столько раз являлись мне во сне!

ГОРЕЛИК (*как бы не замечает такого ошеломляющего признания*). Я проведу здесь не менее недели. Жаль только, что в этой очаровательной гостиничке, что напротив ваших окон, нет свободных комнат.

СОФИ. Для вас найдется.

ГОРЕЛИК. Вы знакомы с хозяином?

СОФИ. Я сама хозяйка этого отеля. Где ваши лыжи? (*Шепчет жарко.*) Человек без лыж здесь вызывает подозрение в это время года. Даже такой тропический принц, как вы.

ГОРЕЛИК. Ну, я куплю себе сноуборд в «Уорренти офф». Я слышал, что сноубордисты сейчас тут у вас задают тон.

СОФИ (с неожиданным раздражением). Сисси-бойз, вот кто они такие! Не настоящие спортсмены! (С неожиданной нежностью.) Впрочем, вам я и доску прощу. Ведь вы, сударь, как это по-русски, являнствуете фром моих мечт, подобен Онегин, подобен Байрон...

ГОРЕЛИК. Ну с этим мы разберемся, барышня.

Парочка исчезает в глубине сцены.

Между тем князь и граф сидят на краю фонтана в глубокой, почти ступорозной задумчивости: веселое опьянение патристическими водками сменилось черным сплином, этим нередким спутником русской аристократии.

ВОРОНЦОВ. Терпеть не могу таких Бенни Менделлов. Сталин знал, как с ними управляться, а теперь они вертятся повсюду с такой самонадеянностью, как будто весь мир — их удельный штетл.

ОЛАДА. Однако ты слышал, он проговорился, он представился нашей нимфоманке под другим именем. Слава Горелли или что-то в этом роде. Ты слышал, Джин?

ВОРОНЦОВ. Ничего я не слышал. И слышать не хочу.

ОЛАДА. Нет, ты слышал! И ты прекрасно понимаешь, что это именно тот парень, которого ждет наша Какаша. Сколько раз она нам грозила: вот придет Славка, Славка нас рассудит! Он меня вырвет из ваших жадных лап! Славка — это горелик моей души и тела, вот так она все время твердит, тьфу тебя и изыди!

ВОРОНЦОВ. Ник, я хочу тебе сказать, что я устал от этого мира. Здесь не происходит ничего, кроме постоянного обмана. Едва лишь замерцает огонек гармонии, как тут же тебе в лицо расхохочется какая-нибудь посторонняя харя, ну а уж если ты с твоим ближайшим другом, с твоим вторым «я» влюбишься в девушку, если вы женитесь на ней, жди, кто-то возникнет из хаотического кружения тел, называемого человечеством, и заявит свои права на мечту — больше того, на вашу легитимную супругу.

ОЛАДА. Джин, нам придется его убрать.

ВОРОНЦОВ. Как убрать?

ОЛАДА. Ну как когда-то в батальоне учили (показывает, как бросают нож).

На сцену весело возвращается Горелик, шагает широко, размахивает руками: очевидно, весьма доволен своей прогулкой с олимпийской чемпионкой. Начинает собирать свой порядком разбросанный багаж. Замечает собутыльников.

ГОРЕЛИК. Хей, бразерс, я хочу вам дать по миллиону баксов, чтобы вы искали мою любимую девчонку по кличке Какаша (*вынимает из рюкзака два увесистых пакета*). Это тебе, князь! А это тебе, граф! Можете не волноваться, чисто вашингтонская продукция. Ну а если приведете ее ко мне в более-менее пристойном виде, получите десять. Чего десять? Да лимонов же, князьё неотесаное! Итак, ищите, ребята! А я пока пойду придавлю пару часов. Похоже на то, что события на этом пятаке будут закручиваться как смерч. Я сказал «смерч», а не «смерть», но это не значит, что эти явления далеки друг от друга, по крайней мере фонетически, *n'est pas?* (*Собрав шмотки, включая и мешок с налом, весело уходит в гостиницу.*)

Едва только за ним захлопнулась дверь, как на улице появляется прелестная Светлякова Н.А., Какаша. Порванная цепь свисает с шен. Остальной туалет тоже оставляет желать лучшего в смысле завершенности. Поражают босые ноги. Словно фурия, полуодетая девушка проносится вокруг фонтана и сильно толкает присутствующих, то есть двух благородных друзей, в снежную чашу.

КАКАША. Гады, вы снова передо мной! Думала, что уже вырвалась на свободу, и опять нарвалась на мужей-мучителей! Мерзавец Жека, мерзавец Колян, вы почему мне ничего не оставили? Ни порошков, ни бузы — хоть шаром покати во всем доме! Убирайтесь с глаз моих долой, проклятые отрывки байронизма, пошлые кочерыжки романтизма, замшелые «лишние люди», мужские климатерички! Ха-ха, граф и князь, электрик и водопроводчик! Аристократы-лавочники!

ОЛАДА. Да ты что как с цепи сорвалась, Какаша?

КАКАША. А с чего же я сорвалась, гудило грешное?! Ты что, не видишь, что болтается с моего ошейника? Не ты ли сам зашелкивал его столько раз, князь Изверг?! Хорошо еще, что Полкан помог, перегрыз. Бедный пес чуть не поломал зубы. Только один он меня и любит в целом мире.

ВОРОНЦОВ. Это неправда, не он один. Успокойся, Наталья Ардадьоновна! Разве ты забыла, какую роль играет эта цепь в наших отношениях? Ведь это же чистая метафора, ничего больше.

ОЛАДА. Дева, ты чё, забыла, что сама напросилась на цепь в своих метаниях? Не ты ли говорила, что в калифорнийском заточении у тебя установились с цепью особые отношения? Да ты скажи только слово, краса-колбаса, и мы покончим с этим факин-цепь-бизнес! Я лично тебя без цепей больше люблю, а у Жеки это ж просто метафантазмы, ну ты ж знаешь. Брось яриться, дева! Ежели, как ты говоришь, в доме нет ничего, то чего же ты тогда насосалась?

КАКАША. Клей нюхала. Ну что зенки разинула, аристократия? Даже ты, Олада, знаток питерского подполья, и то не знаешь такого способа, а у нас он был в ходу еще со времен «Системы». Просто и гениально, как все простые и гениальные гадости. Кладешь открытую банку какого-нибудь БФ на дно пластикового мешка и сама башкой в этот мешок влезает. Так я нанюхалась до того, что привиделось, будто Славка сюда приехал, будто он где-то совсем рядом, будто меня ищет. Вам он тут не попадался, ваши сиятельства?

ВОРОНЦОВ. Позволь, Наталья Ардадьоновна, ты говоришь о фантоме своего воображения как о реальном предмете! (*Жарко, в сторону.*)

Предмет ужасный, зело страшный.
Игрец нахальный иль герой
Фольклорных буйств. Он тянет клешни
И разрушает жизни строй.

КАКАША. «Страшный — клешни» — это ничего. «Герой — строй» — это говно.

ОЛАДА. Какаша, любимая наша чувиха, мы тут с Жекой надыбали два пакета по мнллиону баксов. Мы отдаем их тебе, но только с одним условием: завтра утром мы втроем покидаем Березань, летим в Париж и там садимся на кругосветный «Конкорд» (*в сторону, с жаром.*).

Водопровода ток хрустальный
Пусть ржавчиною прорастет,

Но не допустим шуток сальных,
Похожих на дрянной ростбёф!

КАКАША (*хохочет*). Олада, ты прибавляешь! «Прорастет — ростбёф», это уже постмодернизм! (*Забирает пакеты.*)

ВОРОНЦОВ. Так ты согласна?

КАКАША. Конечно. Я их Славке моему отдам, пусть погуляет как «новый русский». А если он мне немного оставит, я смогу продолжить образование и получу бакалавра в Северо-Западном университете. Подумать только — питерская хиппица и беглая из Калифорнии секс-рабыня становится бакалавром, полезным членом академического сообщества!

ВОРОНЦОВ И ОЛАДА (*обескураженно*). А как же мыто, твои законные? Что же, харакири, что ли, нам прикажешь делать?

КАКАША (*хохочет*). Да я шучу! Ведь Славки же не существует, ведь он же просто фантом! (*В сторону*).

Прощай, прощай, Горелик Славка!
Ты просто вымысла фантом.
Хоть помню я твои уловки,
Лимоны крутят все вверх дном.

Слышится сильный шум, как будто внутри дома кто-то скагивает по лестнице всю затоваренную бочкотару. Доносится могучий бас: «Молчать! В сортир твой факин факс! Фак-твою-в-коробку, уничтожу! Молчать, служить и выполнять! Иначе из Думы вылетишь в яму! Пять минут на раздумье!» Из двери дома выходит Пол Фэймос, цветущий старик. Он в деловом костюме банкира, но в яркой лыжной шапочке на голове. Возле уха мобильный телефон.

Не замечает присутствующих. Между тем граф и князь пытаются удержать девушку Какашу от ее бурного стремления взлететь на самый верх фонтана и изобразить нимфу. Попытка проваливается, и красавица воцаряется над площадью.

Мистер Фэймос сует телефон под мышку, подходит к дверям своего банка и открывает их большим фамильным ключом. Вдруг истывает в глубокой задумчивости.

КАКАША. Какой аппетитный папаша!

(Он не слышит и не замечает.)

ФЭЙМОС. Что происходит? Мне семьдесят лет, но по ночам меня преследуют сексуальные видения: выпяченные зады, свисающие груди, прочее.

В ночных мечтах я Казанова,
Но сладости сии горчат.
То нимфу трахаю лиловую,
То жму корову сгоряча.

Должно быть, это из-за того, что я поэт. Меня тут все финансовым тираином считают, а я поэт, прежде всего поэт! *(Оборачивается и видит Какашу, которая немедленно принимает жеманную позу, как бы прикрывая срам обрывками одежды и тончайшими своими ладонями.)* Боже мой, это она, нимфа моих ночей! Лиловость этих глаз неповторима, я не мог ошибиться! Нимфа, откуда ты прилетела в нашу лыжную тумтаракань, в мои дикие сны?

КАКАША.

Жила я на воротах Нарвских,
Парила средь балтийских вод.
И осеняла финнов варварских
Лучами счастья и невзгод.

ОЛАДА. Ты ее меньше слушай, Пол. Это обыкновенная студентка из Северо-Западного университета — чумная, конечно, но они там все чумные. Как нанюхаются клея, так их не остановишь.

ФЭЙМОС. Князь, меня не обманешь. Она необыкновенная, у нее почти забытый в наших краях русский акцент. Я так и вижу ее парящей, и осеняющей, и снижающейся прямо в руки того, кто ее ждет, того, кто измучен ее нематериальными явлениями. Дай руку мне, красотка, и в церковь со мною пойдем! Надеюсь, сорокапятiletняя разница в возрасте тебя не смущает?

КАКАША. Ничуть! *(Спрыгивает с фонтана прямо в руки животрепещущего старика.)*

ФЭЙМОС.

Иные скажут: мир ужасен,
Но он красотами влеком.
Ползет в нем уж, пылает ясень,
В груди у женщин молоко!

(Нежнейшим образом лапает свой идеал.)

Дитя мое, я отдаю тебе мой банк «Дип Чазм» с ежегодным профитом два миллиона долларов! Два миллиона, ты не ослышалась! *(Под мышкой у него звонит телефон, грубый мужланский голос звучит во всю мощь: «Вот тебе мой ответ, факинг Пол Фэймос! Ай фак ю факингли в коробку, фак ю под хрящ, фак расфакованный в фачью ффакку, понял?»)* Какие все-таки хамы в этой Государственной Думе! *(Банкир в растерянности выпускает из рук красавицу и даже не замечает, как Воронцов и Олада увлекают ее за обрывок цепи в кулисы.)*

В этом месте мы осмеливаемся предложить режиссеру своеобразное балетное трио, в котором Какаша стремительно эволюционирует от похищенной Европы до грозной валькирии, а Жека и Колян — от коварных сластолюбцев-похитителей до умирающих от любви Пьеро. К тому же с некоторым японским оттенком: оба жестами и перочинными ножиками намекают, что готовы совершить харакири. «Какаша, родная, пошади!» Она сдается.

ФЭЙМОС *(остался один)*. О горе, она исчезла! Пока этот московский боров орал, она испарилась! И больше не появится никогда! Нет, невозможно жить среди такой сволочи, среди бессмысленного стада обалдевших от цивилизации овец. И что мне мои миллионы, если мне семьдесят, если я упустил свой последний шанс, если я сам по себе никакой не барон, а паршивый баран, всю жизнь протолкавшийся в этом стаде?! *(Тычет в свой «мобиль», нигде нет ответа.)* Куда же все эти сволочи, мои помощники, провалились? Где этот косноязычный Мамм Алекс, факс-пакс?! Хорош менеджер! Каждую ночь шлезает через окно в спальню моей дочери, а когда нужен, его нигде нет! *(Распалается все больше.)* Сидит, молчит и ждет — сначала благословения, потом завещания. Уволю мерзавца!

Отправлю его в Россию, в аппарат Государственной Думы! Боже, Боже, как мне найти ту нимфу, увлеченную двумя негодьями, гедонистами Вудстока и отпрысками развращенных кокаином Воронцовых и Олада, с их порочными отвлеченностями от Куракиных и Чурило-Пленковичей? *(Вытаскивает свой аппарат, тычет пальцем.)* Мефисто, где ты? Возьми мою душу! Молчит, всегда молчит.

Пока он так изливает свою скорбь и ярость, открывается окно на втором этаже гостиницы, и в нем появляется сладко потягивающийся со сна Слава Горелик.

ГОРЕЛИК. Сколько же я спал — десять минут или десять часов? *(Замечает внизу одинокого банкира, прислушивается к его lamentациям.)* Вы ошибаетесь, барон, на вашем склоне горы нет ни одного потомка былинных князей Чурило-Пленковичей. Те гнездятся за границей вашего штата — может быть, в Вермонте, поближе к летописцу. Что касается Куракиных, то они действительно присутствуют в здешних аборигенах, в том числе и в вас, мой барон. Я, конечно, понимаю, что этими связями нечего гордиться, особенно после печального эпизода похищения Наташи (не Какаши), который мог бы вызвать новую Троянскую войну, будь он рассказан на былинный лад, а не в стиле буржуазного реализма. Впрочем, тут есть и другая сторона медали — Куракины отменно сражались в течение четырех веков за русские интересы, теряли конечно, но не теряли пыла. Так и вошел один из них в ствол Кайсынкайсацких, если вы позволите, барон.

ФЭЙМОС. Три вопроса. Откуда вы знаете, что я барон? Откуда у вас эти сведения о наших родословных?

ГОРЕЛИК. Я давно знал о вас многое, но, как вижу, и все. То, что вы, оказывается, поэт, и недюжинный, сударь, для меня ново. Откуда у меня сведения о родословных? Книжки, старые хроники, архивные изыскания. Давайте ваш третий вопрос.

ФЭЙМОС. Вы из КГБ?

ГОРЕЛИК. Нет, из ВРИИАНРФа. Всероссийский институт истории Академии наук Российской Федерации, к вашим услугам. Доктор наук Мстислав Горелик, он же Бенни Менделл для удобства путешествия. Я только что из Санкта, с ко-

мандировкой РАНа. Вот пжалста! *(Протягивает Фэймосу довольно гадкого вида бумажку.)*

ФЭЙМОС. Да я и без бумажки вижу, что вы настоящий русский человек. Какая удача! Сейчас попробую по-русски.

Посредь людей американски
Не можно сделать конфессьон.
Повсюду эти их глянцы,
Российский дух не посвящен.

Если бы вы знали, мой друг, как плоть моя искусана духовными уколами.

ГОРЕЛИК. Вы, кажется, хотите мне в чем-то исповедаться, барон?

Хоть я не пастор православный,
Всего лишь жизни скоморох,
Спокойно доверяйте Славе
Рассказ о ваших комарах.

Ну, давайте!

ФЭЙМОС. Да я весь горю, разве не видите? Весь потом заливаюсь!

ГОРЕЛИК. Вам нужно охладиться. Полезайте в фонтан! Поглубже, по горло, ваше сиятельство! Сейчас вам станет лучше.

ФЭЙМОС *(барахтается в снегу фонтана)*. Мне уже лучше. Никогда не думал, что у нас такая тут целительная купель.

Ну, приготовьтесь, мистер Менделл,
Принять признания душн,
Что изогнулась, словно модуль,
Страдая, как сплошной ушиб.

Дело в том, что меня мучают во снах видения молодой женщины с лиловыми глазами.

ГОРЕЛИК. Меня тоже!

ФЭЙМОС. И вдруг сегодня утром, не далее как полчасика назад, я встретился с ней во плоти и даже лобзал ее в шею сзади.

ГОРЕЛИК. В шею сзади? (*С нарастающей тревогой.*)
Где она? Как она выглядит? Как ее зовут?
ФЭЙМОС.

Я имени ее не знаю,
Хотя я отдал бы свой банк
За чистый звук, как имя Зоя
Иль Глория де Шарабан!

Она была полуголой и с обрывком цепи на шее, глаза излучали сильнейшее лиловое свечение. Неотразимая! Увы, пока я на секунду отвлекся, ее увлекли два местных развратника — электрик и водопроводчик. Теперь она пропала, пропала навсегда! Господи, прости старому дураку его прегрешения, а вы, путник из города имперской нашей славы, скажите, что это — любовь или похоть в чистом виде?

ГОРЕЛИК. Любопох в чистом виде, мой барон. (*Вытаскивает Фэймоса из снежного фонтана.*) Портрет, который вы тут нарисовали, очень похож... ммм... на одну мою корреспондентку. Вы помните ее имя — Наташа, Какаша? Если уж исповедоваться, барон, тогда полный вперед! Признавайтесь!

Во время этого диалога в глубине сцены появляется Алекс Мамм (фон Молчалин). Не решаясь приблизиться, он ждет окончания беседы.

ФЭЙМОС. Вы мне не верите? Слово дворянина! Ноу информэйшн эбаут хёр айдентити¹. Последнее, что осталось, — звук ее голоса. Он прерывался, как будто кто-то затыкал ей рот. Слабел и прерывался, прерывался и слабел. Однако она пела, пела!

ГОРЕЛИК. Вы помните хоть одну строчку из ее песни?

ФЭЙМОС. Попытаюсь вспомнить. (*Изумленно.*) Помню всю строфу! Она пела приблизительно следующее:

Тебя я помню, Словко-Словко,
Твой сладкий груз, плечей размах,

¹ От англ. No information about her identity — Никакой информации о ее личности.

Твою античную головку,
Мечту троянских Андромех.

Это действительно было похоже на одну из песенок Мадам де Шарбан, которыми меня в детстве потчевала бабушка Мими. (*Открывает рот в изумлении.*) Словко, Словко, это о ком же она пела, кого это она так помнит?

ГОРЕЛИК. Куда эти гады ее потащили?

ФЭЙМОС.

Небось ухапкали красу
В тот тминный бор, что на востоке,
Где стайки пестрых карасей
Напоминают о Вудстоке.

(Безнадежно показывает направление.)

Телефон звонит у Фэймоса под мышкой. Горелик немедленно срывается с места и в следующий миг исчезает. Мамм, все еще не решаясь подойти, звонит по мобильному телефону.

МАММ. Звоняйте, дядя Паша, это Леха спыкает.

ФЭЙМОС. Кто вы такой?

МАММ. Дык ваша ж племяша ж. Управленец вашего ж банка. (*Хмыкает.*) То есь не банка пивы, а банк, где деньги повышают себя.

ФЭЙМОС. Похвально, что вы объясняетесь по-русски, но все-таки я вас не знаю. У меня таких менеджеров быть не может. Мой менеджер должен постоянно быть на связи со мной. Не существует такой менеджер, которому звонишь, а он не отвечает.

МАММ. Дык не вписался же ж в поворотные ворота. Софа прикидки катала, а я ей лэпсы¹ секундометрил. Размечтался, ну, эквипмент, и пошел вразнос, правая туда, левая сюда. Пока летел, слышал ваш звонок, но ответить не вспомогательствовал.

ФЭЙМОС. Ладно, хватит дурака валять с твоим русским. Пользуешься моей слабостью. Последний раз прощаю, понял? Подойди сюда. Ты видел человека, с которым я только что

¹ От англ. lap — круг на стадионе, треке. (Здесь: попытка.)

разговаривал? Он говорит, что он из Академии наук, специалист по родословным российского дворянства. Однако не верю. Есть подозрения по его части. Ой, боюсь, не для родословных этот молодец сюда приехал. Не замышляет ли похищения девиц? Ну, скажем, ну, скажем, моей дочки ненаглядной, моего олимпийского золота.

МАММ (*пораженный*). Да вы чё, дядя Паша, вы чё?
ФЭЙМОС.

Любой мужчина настоящий
Всегда мечтает уволочь.
И образ весь, и малый прыщик
Влекут его, как волчья ночь.

Ну ладно, я тебе, Лёха, поручаю ответственное задание, как говорят юные гайдаровцы в кинофильме «Судьба барабанщика». Ты должен собрать всю информацию об этом человеке. Где родился, чему учился, не сидел ли, не участвовал ли в антиправительственной диссидентской деятельности, не голубой ли, и как у него с иммунной системой, а самое главное — зачем к нам, в Березань, явился.

МАММ. Йессэр!

ФЭЙМОС. Справишься?

МАММ. Йессэр! Надо сразу в Америку позвонить, раз такое дело.

ФЭЙМОС. В какую еще Америку, мы и так в Америке семьдесят восемь лет живем.

МАММ. Разве вы не знаете, что мы называем Америкой в кругах молодежи?

ФЭЙМОС. Ах, это. Рискованное дело, что и говорить, но позвонить надо. Будь осторожен с этой Америкой: она хоть и все знает, но не все. Бери у нее то, что она знает, но не отдавай того, чего мы сами не знаем.

МАММ. Иду на связь. Да, кстати, дядя Павел, вам Софа ничего не говорила? Мы собираемся пожениться.

ФЭЙМОС. Что-о-о? Лыжник-неудачник на олимпийской чемпионке? Такого мезальянса я никогда не допущу!

МАММ. Тогда прошу меня уволить.

Ночное солнце на закате
Уходит в гости в никуда.

Пусть унесет меня мой катер
Туда, где радуги дуга.

ФЭЙМОС. Все тут рехнулись с рифмовками. Какая дуга, при чем здесь катер? Хоть ты бы в поэзию не лез, в тщете тщеславный. Ночное солнце! Я знаю, как оно в спальню к моей дочери пробирается.

МАММ. Значит, в Америку сами будете звонить? А что, если они спросят о ваших делах с Думой, с кем матюкаетесь по утрам?

ФЭЙМОС *(рывает)*. Нет, это ты будешь звонить! У тебя, я вижу, прямой телефон в Америку. Звони, женись, делай детей, разводишься, отсуживай капитал. По всем законам жанра ты должен меня сожрать, но мне наплевать!

Померкли все мои надежды,
Мой возраст, гадкий, как угар,
Не спрячешь в пышные одежды,
Не выльешь в марочный кагор.

МАММ. Ну чё, я пошел, фактически папа, да? *(Уходит внутрь банка.)*

ФЭЙМОС. Без информации на глаза не попадайся!
(В растерзанных чувствах лезет в свою купель, то есть в фонтан.)

Из-за угла кафе «Дядя Саша» выскакивает разгоряченный Слава Горелик. Пронзительным голосом поет призывную песню.

ГОРЕЛИК.

Если кликну я,
Отзовешься ли ты?
Выпьем ли «Клико»
Или в грязь полетим?..

Твой образ был, как небо голубое
В простых мечтах еврейского ковбоя...

Не отвечает... А ведь пока носился по «тминному бору», явно слышал ее голос. Кто еще в здешних местах знает «Песенку Елагина острова» образца 1988-го?

Есть на свете островок Елагин,
И гребная база есть на нем.
Приходи, мой бешеный стилинга,
Мы на зыбком скифе погребем!

И вдруг замолчала, как будто ей рот заткнули.

ФЭЙМОС. Это у вас слуховое галлюцинация, говоря по-русски. А девица сия просто фантом и фонтан моего воображения. Моего, не вашего, понимаете, сэр?

ГОРЕЛИК (*грустно*). Может быть. Может быть, лопухнула моя разведка, и ее здесь просто нет, как не оказалось ее в Санкте, когда я сбежал из крытки, как не оказалось ни в Эл-Эй, ни в Израиле, ни в Рио. Всем этим подлым агентам сую по миллиону — ищите, бляди! Вот они и ищут, закупая себе недвижимость и дорогие автомобили. Странно, на этот раз я почему-то был уверен, что меня не надули. Мне и сейчас кажется, что моя девчонка где-то здесь. Эти странные шорохи в долинах, благоухающие потоки воздуха, отзвуки какой-то драмы кружат голову, как будто клею надышался.

ФЭЙМОС.

Дело тут не в клее,
Мистер Гоурелли.
Дело тут в долинах,
Наших Мессалинах.

Здесь колоссальное эхо, сэр. Запахи снегов и отзвуки памяти тревожат тут всех, даже людей продвинутого возраста. Например, моя бабушка с материнской стороны — ну, конечно, вам она знакома по вашим изысканиям — княжна Мими, которой сейчас сильно за сто, постоянно рассказывает любовные истории из своего богатого прошлого.

ГОРЕЛИК. Скажите правду, барон, вы действительно сегодня целовали полуобнаженную девушку сзади в шею?

ФЭЙМОС. Конечно нет. Я просто вас немного разыгрывал, мой слишком молодой друг. Дело в том, что я ожидал вашего появления. Дело в том, что я ведь по совместительству являюсь мэром этого местечка. Так вот, мне звонили из Америки и сказали: «Ждите гостя. Выдает себя за ученого, а

на самом деле ищет по всему миру какую-то бежавшую девушку».

ГОРЕЛИК. Больше ничего не говорили? Странно. Могли бы сказать, например, что я продал крейсер Китаю. Пошли бы они подальше, все эти Америки, России и Китай! Кому какое дело, за кого я себя выдаю, где я шатаюсь, кого я ищу? Я пускаюсь в финансовые махинации, повязываюсь с подонками бывшей гэбухи, просто потому, что пытаюсь стать хоть немного счастливым, а ведь что сказал Джефферсон: каждый гражданин имеет право на погоню за счастьем. Это совсем не значит, что он станет счастливым, как я понимаю, но на погоню-то я имею право как всякий незадачливый путешественник — не так ли? Еще недавно я считал себя участником молодежного движения, а теперь, когда движение покатилося вниз, а возраст повысился до тридцатки, я лишь стараюсь быть одновременно и богатым, и негадом. Неужели такой малости не подарит мне весь этот рок-н-ролл?

ФЭЙМОС. *(Вылезает из фонтана, отряхивается, церемонно подходит к Горелику.)* Я вижу, вы светский человек с должной долей разочарования. Как светский человек светскому человеку, я хочу сообщить вам приятную новость. Сегодня вечером наша община устраивает «Бал аристократов». Будут все, во всяком случае, все достойные люди, записанные в «Бархатную книгу».

ГОРЕЛИК. Это в честь чего же?

ФЭЙМОС. Не чего же, а кого же. Бал будет дан в честь вновь прибывшего романтика. Было время, когда романтик считался синонимом авантюриста. Сейчас не обязательно, но некоторые представители заслуживают повышенного внимания со стороны любителей литературы и театра.

ГОРЕЛИК. Это кто же?

ФЭЙМОС. Вы, милостивый государь. По непонятным мне причинам я питаю к вам истинное благорасположение. Не скрою, моя первая задача состоит в том, чтобы вернуть нас с пустых небес на великолепную землю. Поверьте, кроме призрачных или полупрозрачных, то есть полуодетых, женских фантомов, есть в наших краях и настоящие телесные девушки, олимпийские чемпионки и особы исключительной нравственной цельности. Вы можете составить с таким девушками, ну, например, с моей дочерью Софи, прекрасную

пару. Девушка нежна и сильна. По натуре она золотоискатель души. Иногда, правда, копает слишком глубоко, но по склону проносится, как буря, в семейной же жизни проливает бальзам.

ГОРЕЛИК. Как интересно! (*В сторону.*) Это та, с которой мы уже договорились потрахаться.

Окруженная небольшой, но очень активной толпой, на сцене появляется Софи. Среди присутствующих мы видим почитай всех участников пьесы: двух репортеров, Воронцовфа и Оладу, присоединяющихся к толпе папу Фэймоса, Алешу фон Молчалина, Славу Горелика, а также Габи Нарда и его супругу, мадам Лиди. Шествие возглавляет Мими Кайсынкаясацкая в кресле-каталке.

МИМИ. Город, встречай свою героиню! На сегодняшних прикидках по скоростному спуску Софи Фэймос показала недостижимое для соперниц время! Моя любимая племянница...

НАРД. Правнучатая племянница, осмелюсь я уточнить.

МИМИ. Какой же вы зануда, мистер Нёрд, ой, сорри, мистер Нард. (*Городам и весям.*) Моя родная племянница принесет в нашу долину свое второе олимпийское золото! И это будет наша простая русская девушка, баронесса Фамус! Пусть злые языки болтают о распаде аристократии, вот вам результаты налицо! Русские девушки, мы всегда были первыми, как в мощных атаках, так и в нежных капитуляциях! В тысяча девятьсот двенадцатом году я была первой дамой, прогулявшейся по Невскому в брюках «жюп-кюло». Толпа опознала меня как женщину-летчицу, хотела растерзать, но вмешалась наша армия. Полковник-душка был так хорош собой, а я, при всем моем суффражизме, была так легкомысленна...

ЛИДИ (*в сторону, громко*). Года три назад этот полковник был всего лишь штабс-капитаном. Так, глядишь, и до генерала дотянет!

РЕПОРТЕРЫ. Пожалуйста, барышня Софи, расскажите о себе!

СОФИ. После сегодняшних прикидок склоны Килиманджаро у меня за пазухой.

ОЛАДА. У ей там за пазухой еще чтой-то есть, за что подержаться. (*Мамму.*) Правда, Лека?

МАММ. Ты чё, дядя Колян?

ОЛАДА. А чё?

МАММ. В лоб захотел?

ВОРОНЦОВ (Мамму). Отставить «в лоб»! (Оладе.) Ты не прав, Ник: кавалерам не пристало вслух о дамских запазухах, тем более что дама — наша племянница, а тебя никакой прокурор за язык не тянет.

РЕПОРТЕРЫ. Барышня Софи, расскажите о себе больше. Правда ли, что в вашей личной жизни называют серьезные перемены?

СОФИ. Вся моя личная жизнь — это спорт, без спорта не мню я себе личной жизни. (Находит глазами приезжего Славу Горелика и глазами же показывает ему в сторону гостиницы. Горелик хохочет и идет куда показали.)

РЕПОРТЕРЫ. Вопрос к тренеру несравненной Софи. Как вам удастся при такой обоюдной активности наращивать еще индивидуальную активность? Ведь к нынешнему рекорду вы имеете непосредственное отношение, не так ли?

МАММ. А чё? Я барышню одел, проверил все оборудование и по попке шлепнул, она и пошла. (Погружается в задумчивость.) Пошла, значит, и пришла.

РЕПОРТЕРЫ. Скажите, барышня Софи, почему вы так быстро спускаетесь?

СОФИ. Вы знаете, я не знаю, почему я так быстро спускаюсь. (Взбегает по ступенькам своей гостиницы.) Спасибо тебе, мой верный народ! Говорят, что вечером будет бал, ну, значит, увидимся. А пока что мне надо проверять счета. Счета, счета, счета! (Исчезает внутри гостиницы.)

Габи Нард отводит свою супругу мадам Лиди поближе к зрителям, чтобы те могли слышать ядовитый шепот.

НАРД. Ты понимаешь, что происходит, мой медок? Девница на глазах у всех скрывается в спальне незнакомца.

ЛИДИ. Бессовестная!

НАРД. Слишком мягко сказано, мой медок. Тут прокручивается хитро сплетенная интрига. Софи интригует своего возможного женишка, нашего племянника Алекса Мамма, и одновременно своих бывших (или настоящих) любовников — Воронцова и Оладу, которых она называет по-русски «дядя Жека» и «дядя Колян», а ведь они, как любому

медведю известно, ничего не могут поодиночке, только всегда вдвоем.

ЛИДИ. Ах, мой медок, как это сильно закручивается! Беспутная особа пытается таким образом вытянуть из парней сведения о какой-то калифорнийской наркоманке, которую они, по довольно достоверным слухам, прячут в заброшенном бунгало за перевалом Инаксессибл Аксесс¹. Держись за что-нибудь, дружок. Сегодня в супермаркете я подцепила интересенький слушок из международных кругов. В парижском «Геральде» промелькнуло сообщение, что за сведения об этой наркоманке назначено вознаграждение в один миллион, а за благополучную ее доставку в назначенное место — все десять миллионов!

НАРД. Ну вот мы и пришли к искомому корню интриги, к повелителю здешних мест нашему Фамусу. Ты ведь помнишь, что после смерти своей Парси, нашей дорогой Параскевы, которая сама по себе была довольно двусмысленной, Паша потерял интерес ко всем проявлениям жизни, кроме одного — к деньгам. В принципе, он всегда жаждал обобрать всю долину, посадить всех на полуголодный паек — хорошо, что нас защищает правительство, на алтарь которого я положил сорок лет сотрудничества, — ну а теперь он решил выйти на международный уровень, на котором за девушек предлагают такие деньги. Кстати, нет ли у тебя сведений о том бунгало на Недоступном Доступе?

ЛИДИ. Как раз сегодня после супермаркета я натолкнулась на шепоток в аптеке. Говорят, что оттуда прибежала незнакомая собака невероятных размеров, в общем, некое существо сродни тигру, но с человеческими глазами, а за ошейником у нее была обнаружена записка с двумя словами: «Помогите! Помогите!» Кто-то шепнул, что пса — он представился как Полкан — потом увел Алекс Мамм якобы для того, чтобы сделать ему нужные прививки.

НАРД (*дрожит от возбуждения*). Ну вот изволь, мой медок, подтверждаются наши прежние догадки. Теперь ясно, что Джин и Ник действительно выращивают собак-мутантов и отправляют их в Колумбию для охраны кокаиновых склонов. И второе: не правда ли, странно, что записка попадает прямо в

¹ От англ. Unaccessible Access — Недоступный Доступ.

руки нашего Мамма? Быть может, и он интригует против своего хозяина в надежде вырвать у того согласие на брак с Софи, чтобы стать совладельцем банка? Ты видишь, всяк здесь в центре интригует против другого, но главным интриганом является...

ЛИДИ. Употребляй женский род, милок. Главной интриганкой является Софка. Этой юной особе мало спортивных успехов — она хочет одновременно выйти замуж за всех мужчин мира и завладеть их... ну, капиталами. Она не видит в человеке человека. Для нее любой человек — это человек с этим или без этого. То есть с деньгами или без. Значит, она интригует против своего папочки, который влюбился на старости лет во что-то неопознанное, а также против своего Алекса и против дядьев по понятным причинам, а также и против приезжего незнакомца, с которым сейчас сладко спит или, вернее, спит сладко, в честь которого сегодня состоится бал.

НАРД. Лиди моя сахарная, если бы ты была просто красивой женщиной, я мог бы даже с тобой соскучиться, но ты моя единомышленница, вот что главное! Если не мы, то кого еще в этой долине можно назвать рыцарями морали?

ЛИДИ. Ходит также слух, что эта огромная собака Полкан является на деле альтер эго нашего банкира. Я уверена, что на балу многое выяснится, а пока что, посмотри, у фонтана сходятся Фэймос и Мамм. Ой, я умираю услышать их разговор! Где бы спрятаться?

НАРД. Давай превратимся в березы. Не будут же их пересчитывать в суматохе. *(Превращаются в березы.)*

Следует сказать, что в течение разговора супругов-сплетников все спортивные болельщики уже разошлись. Остались только Мамм и Фэймос. Они проходят на авансцену, чтобы их разговор услышали зрители.

ФЭЙМОС. Ну что, будущий зятек, какие у нас новости?

МАММ. Я не женюсь на ней. Дворянская честь мне не позволит сочетаться браком с юной распутницей, ввести в генетический код старинного рода пороки горнолыжного спорта.

ФЭЙМОС. Ты еще скажи, что Молчалины от Владимира Ясно Солнышка, а Фамусы-де лишь в шестнадцатом веке по-

жаловали в златоглавую, да и то с ненастоящим именем. Довольно, хватят с меня этих головоломок. Отныне я буду называть вещи только собственными именами. Могу себе позволить такую роскошь в свои семьдесят лет.

Пора лукавства миновала.
Сократ, будь ты моим цека!
Уединюсь на сеновале
С бокалом пламенных цикут.

Очищай офис и проваливай, хам! Но прежде скажи, куда ты дел Полкана?

МАММ. А чё лаетесь, босс? По-русски говоря, чего хотите? Будем побеседовать или нет? Перехожу на язык бизнеса. Полкан отпущен в лес, для связи ему даден мобильный телефон. Вся банка данных на интересующую вас персону у меня в кармане. *(Вынимает «банку данных».)* Америка, а точнее, мой бадди Джимми Крукс, немедленно откликнулась. Джимми даже сказал: обращай почаще и по любому поводу. Итак, вот чем мы располагаем. *(Вытягивает из банки ленту и читает.)* Мстислав Игоревич Горелик, также известный как Юрий Попов, Поп Юрьев, Федор Васильев, Василь Федоров, Андрей Лебедев, Лебедь Андреев — последний паспорт выдан в Красноярске — вы, конечно, понимаете кем, — ну и, наконец, по свежим сведениям Америки, Бенни Менделл, родился в 1966 году в городе Сент-Пит Ленинградской губернии. Пронсходит из потомственных марксистов частично еврейского происхождения. В 1986 году, будучи студентом университета ЛГУ, увлекся философией, за что был позднее арестован. Провел за решеткой КГБ три года, которые, как он однажды выразился, «прошли как три дня». В 1991-м, освободившись, вступил в Коммерческий Союз Молодежи, то есть комсомол. В 1991-м же стал известен тем, что купил колонну грузовников с цементными блоками и использовал их для защиты Белого Дома (Москва, не Вашингтон) от танков. 1992-й и 1993-й, как там выражаются, прошли под флагом приватизации. По некоторым сведениям электронных ведомств, мистер Горелик участвовал в приватизации большого числа боевых кораблей Северного флота для дальнейшей их продажи в еще недостаточно развитые

страны. Для отвода глаз организовал общество борьбы за чистый воздух, то есть против выхлопа человеческих газов. Последующие годы заполнены хаотическим передвижением по разным странам мира, скупкой недвижимости и анархической благотворительностью.

Основные достоинства мистера Горелика: мужская внешность — больше никаких. Основные недостатки мистера Горелика — неумеренное злоупотребление шампанским, лицами женского происхождения, а также на неумеренной скорости эбьюзает¹ дорогие машины.

Эмоциональные вспышки. Не всегда ясная речь. Появления под видом других личностей.

По недавним сведениям, мистер Горелик стал одержим непонятным по силе чувством к гражданке СССР Наталье Ардальоновне Светляковой, также известной как Какаша, 1973 года рождения, проживающей нелегально на территории США и подлежащей розыску.

В целом Америка считает, что и сам мистер Горелик подлежит розыску и аресту для передачи его нашим коллегам в России.

ФЭЙМОС. Эка хватили — парень не виноват, что у него гены так странно закручены. Признайся, Мамм, концовку ты от себя добавил?

МАММ. Босс, все на ваше усмотрение. Многовековое чувство достоинства не позволяет мне сводить счеты с вероломным созданием, чемпионкой ОИ. Пусть ее очередной избранник обладает великолепной мужской внешностью, ои, я уверен, не обладает мужской внутренностью. Я мог бы его вызвать на дуэль, как это делали мои предки, но разве я могу драться с евреем?

ФЭЙМОС. А чем евреи не люди? Между прочим, Владимир Соловьев и Лев Николаевич Толстой относились к евреям очень сносно. Я уверен, что с ними можно драться и даже подстреливать. Нет-нет, я тебе ничего не советую, ты должен сам подумать. Ну, в общем, можешь вернуться в свой офис. Ради памяти о твоём отце, с которым мы вместе служили в 82-й авиадесантной, я тебя прощаю. (*Забрав «банку данных», уходит.*)

¹ От англ. abuse — злоупотреблять, оскорблять.

Следует сказать, что во время этого диалога две искусственные березы постоянно обнаруживают свое присутствие если не участникам сцены, то зрительному залу. В частности, они комментируют происходящее короткими репликами: «Измена!», «Ревность!», «Мошенник!», «Дуэль!», «Еврей!», «Это была не 82-я, а 83-я, и не авиадесантная, а обычная!» После ухода Фэймоса «березы» застывают, демонстрируя извечную российскую скромную красоту, но только с выпяченными задницами.

Некоторое время на сцене находится один Алекс Мамм, если не считать двух репортеров, которые нацелили свои камеры и микрофоны на окна гостиницы. Мамм прислушивается к ритмичному поскрипыванию и спорадическому повизгиванию, доносящимся из гостиницы. Заметно, что здание начинает потряхивать.

МАММ. Землетрясение, что ли? Земля, что ли, пустилась в пляс? Аллах с ней, пускай трясется. Главное все-таки устоять на ногах. (*Уходит.*)

Появляется Какаша. Ее трудно узнать. В роскошной шубе она выглядит как красавица из шикарно-спортивных кругов. Из гостиницы в это время доносится вопль чемпионки.

КАКАША. И здесь трахаются! Везде, везде они только и делают, что трахаются. Ни одно млекопитающее не трахается так часто, как человек. Детородная функция давно стала второстепенной. Первостепенной стала жажда сласти. Не страсти, а сласти, говорю это как профессионалка секса. Первичный инстинкт превратился в эротическую наркоманию, если только он изначально не был таковым. Даже толстые дядьки и тетki бесконечно трахаются друг с другом. Что касается юных и красивых, к которым я отношу и себя, то они уже давно превратились в сексуальные машины. С пятнадцати лет я знаю, что при первом же взгляде на меня любой мужчина любой расы, любого возраста и любой степени уродливости прежде всего думает: как бы ее трахнуть. А если подсчитать, сколько раз за десять лет я отдавалась этим козлам, можно задохнуться от отвращения. И далеко не всегда по принуждению или для денег. Будь уж откровенна сама с собой, гёрл, ты тоже жаждала сласти, приторной патоки, которую ты хаваешь всеми открытыми частями тела по мере ис-

течения из тебя той же самой сахарной липкой секреции, которую человечество любит больше шоколада. Вся эта сладость, и едальная, и ебальная, одурманила всех на этой планете, почти без исключения — вот она и есть основа первородного греха. Как я хочу прекратить трахаться и завязать со жратвой! Тело мое, в которое я была так влюблена прежде, теперь становится моей обузой.

Пускай избыток шоколада
Течет к сладене-шаху, ну,
Бараний бок уже обглодан —
Теперь он требует шахну.
Позвольте, где же упование
Любви, надежды нежный смех?
Дрочишь в забытой Богом ванне
И гладишь собственный свой мех.

Ой, что я тут бормочу, бессовестная, богохульная? Ведь если уж дана нам такая забава, значит, неспроста. Ведь были же, наверное, моменты в человеческой истории, когда ангел, падший или парящий, какой-нибудь холозагор или олеожар, одним словом, некий мощный демиург трахал девушку и все о ней знал? Когда я торчу на чем-нибудь, будь это хоть презренный клей «Балт-Флот», я вспоминаю Славку Горелика как вот такого демиурга. Только раз в своей жизни я уловила разницу между сладостью и страстью. Та наша единственная ночь, после которой его замели органы, кажется мне, имела какое-то отношение к истории тварей, еще не написанной истории сущего; вот вам и философ из гребного клуба, где он сторожем промышлял себе на анашу. Мне не забыть никогда ни одного из тех моментов, что обрушились на нас, словно пчелиный рой, одномоментно стараясь обжечь и внутри, и снаружи. Путаница моментов, и все остаются в памяти.

Какая же я была дрянь, молокососка! Как я могла выйти замуж сразу за двух американов — Жеку и Коляна? Но почему я, такая дрянь, чем дальше, тем глубже вспоминаю ту ночь со Славкой на Елагином острове? Почему мне все время кажется, что он появится, хотя он пять лет уже не появляется? Дура, вдолбила себе, что если он появится, значит, не совсем еще засосала сладость людская со всей ее парафернализацией: кондомами,

пружинкамн, пилюлями, подмывками и полосканиями... — что мы вдвоем с ним, только с ним, окажемся в объятиях страсти, не знаю уж какой, земной или небесной, во всяком случае, той, какую жду.

Жду как дура. Ну... какого черта я сюда приперлась, в Березань? Надо было сразу, как только оторвалась от мужей со всей кучей денег, линять в аэропорт, а вместо этого отправилась по модным бутикам и вот теперь в полном прикиде сижу у фонтана, превращаюсь в сосульку и разглагольствую. А ведь в любую минуту могут мужья налететь, начнутся мольбы, намеки на харакири. Нет, ваши сиятельства, цепь больше не защелкнете на гордой шее! С этими двумя лимонами в сумке я уж Славку обязательно найду! Правда, Полкаша? Бесценный мой друг, ты один ко мне пылаешь платонически! Если бы не ты, не смогла бы я оторваться от мужей. Отзовись, мое золото!

ГОЛОС ПОЛКАНА. Ав-ав-ав-авангард!

В этот момент одно из окон гостиницы с шумом распахивается. Из него олимпийской кошкой ловко выпрыгивает Софи. Вслед за ней вылетают ее чемпионские ботинки.

СОФИ. Прощай, луна моя дневная, золотой принц, чао-чао!

В ответ слышится сильный мужской храп.

Софи подбирает свои ботинки и смеется, смеется. Идет босиком по снегу, превосходная и счастливая.

Вдруг видит одинокую фигуру Какаши и застывает на ходу. Две юные женщины долго смотрят друг на дружку, разделенные пятью годами жизни, соединенные чем-то, о чем они только могут догадываться, пойманные в сети триумфов и позоров. Софи с силой рвет «сеть» и уходит. Наташа, подгибаясь, волочась, потом выпрямляясь и гордясь, улетает в сторону горы и исчезает.

РЕПОРТЕРЫ.

Какие кадры, елки-палки!
Она летела, как газель!
В восторге будут даже волки
Российских фирменных газет!

КОНЕЦ ПЕРВОГО АКТА

АНТРАКТ

В АНТРАКТЕ К ВАКСИНО ПОДХОДИТ МОЛОДОЙ ЛИТЕРАТУРОВЕД, ЖГУЧИЙ И ЖИРНЫЙ БРЮНЕТ. НА КОГО-ТО ПОХОЖИЙ, МЕЖДУ ПРОЧИМ. ТОЧНЕЕ, СЫН ВАКСИНОВСКОГО ПРИЯТЕЛЯ.

ЧТО ЭТО ВЫ ТУТ НАГОРОДИЛИ, СТАС АПОЛЛИНАРИЕВИЧ? ЗАЧЕМ ВАМ ЭТА ТИПА ДРАМА?

(ОТКУДА ТАКАЯ НАГЛОСТЬ У ЭТИХ ЖИРНЮГ?)

ОТ ВАС НЕ ЭТОГО ЖДУТ.

(ПАПАША В ЭТОМ ВОЗРАСТЕ И ПУКНУТЬ НЕ СМЕЛ, А ЭТОТ СРАЗУ НА ВСЕ ФОЙЕ.)

ВОТ КРИТИК ГОВНОВОЗОВ ТОЛЬКО ЧТО МНЕ СКАЗАЛ: ВАКСИНО ВСЕ ХОРОХОРИТСЯ, ДЕЛАЕТ ВИД, ЧТО НЕ ИСПИСАЛСЯ. ОТ НЕГО СОВСЕМ ДРУГОГО ТИПА ЖДУТ, ЕСЛИ ВООБЩЕ ЖДУТ ЧЕГО-ТО.

(ГДЕ? КОГО? ЧЕГО? КАКОГО ХЕРА?)

НУ, МЕМУАРОВ, ПРИЗНАНИЙ, ТИПА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КАПИТУЛЯЦИИ, ЭТО ЦЕНИТСЯ.

(КАК ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ, ДОСЛОВНО — ГОВНОВОЗОВ?)

ДА ВОТ ОН ТАМ, В УГЛУ, СОБСТВЕННОЙ ПЕРСОНОЙ У БУФЕТА.

ВАКСИНО СМОТРИТ, КУДА ПОКАЗЫВАЮТ, И НИКОГО ТАМ НЕ ВИДИТ, КРОМЕ ЗДОРОВЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ, КУШАЮЩЕЙ КУСОК КУРЫ.

(ТАМ НЕТ НИКАКОГО КРИТИКА МУЖСКОГО РОДА, ОДНА ТОЛЬКО ФЕМИНА СТОИТ С ЕДОЙ.)

ЧОРСКИНД ВГЛЯДЫВАЕТСЯ ВНИМАТЕЛЬНО В ЛИЦО ВАКСИНО.

Я ВИЖУ, ВЫ СОВСЕМ НЕ В КУРСЕ НАШЕЙ ОБСТАНОВКИ, СТАС АПОЛЛИНАРИЕВИЧ. НАПРАСНО ОТМАЛЧИВАЕТЕСЬ.

(СЛЫШИТЕ — ЗВОНОК. ПАПАШЕ ПРИВЕТ, МАМАШЕ ПРИВЕТ!)

ОНИ РАСШАРКИВАЮТСЯ: ВСЕ-ТАКИ ПОРЯДОЧНОЕ ВОСПИТАНИЕ.

АКТ ВТОРОЙ

Сцена представляет собой все ту же главную улочку поселка Березань, однако за время антракта в ней произошли разительные изменения: сошли снега, расцвели своей скромной, но неотразимой красой березы, забил фонтан, все окна и двери открылись. Иными словами, классическая триада (единство времени, места и действия) слегка нарушена: за несколько часов, прошедших с утренних событий, Березань оказалась в иной климатической зоне. Гора, впрочем, по-прежнему бела. Там работает подъемник и проскальзывают вниз фигурки лыжников.

Сумерки. Бал развивается вокруг фонтана, над которым развешаны гирлянды ламп. В глубине пространства — бар с двумя тульскими самоварами и медный квартет. В своей интерпретации он исполняет «Весну» Антонио Вивальди.

Слева от фонтана хозяева — барон Фамус и его дочь София, а также почетный гость д-р Слава Горелик, он же Бенни Менделл. Приглашенные цепочкой тянутся к этой тройке для обмена светскими приветствиями, мужчины все в таксидо, женщины — декольтие. Те, кто уже прошел, располагаются по всей сцене в соответствующих позах. Они не входят в число наших персонажей, а представляют собой лишь манекены раута, молчаливые и неподвижные. Их можно время от времени брать под мышку и переставлять для создания мизансцен.

ФЭЙМОС. Ну, Слава Горелик, без пяти минут родственник, сейчас к тебе приближается женщина-легенда.

ГОРЕЛИК (*очень живо*). Где?

Публика расступается, торжественно в своем кресле подъезжает Мими.

ГОРЕЛИК. Я счастлив познакомиться с вами, княжна Мими!

МИМИ (*холодно*). Чему обязана?

ГОРЕЛИК. Во-первых, вы для меня ходячая, то есть, я хотел сказать, катящаяся, легенда. Я столько времени провел в архивах, изучая ваше происхождение, но не подозревал, что вы по-прежнему столь живы. Какая комбинация генов! О, это блистательное соединение воевод-рюриковичей с басурманской элитой и затем с британским кланом, известным со времен короля Артура!

МИМИ (*по-прежнему с холодком, но уже не так сурово*). А во-вторых, мон шер?

ГОРЕЛИК. А во-вторых, серебряный век, мадам. Насколько я понимаю, вы как молодая красавица тех дней входили в круг княжны Саломеи Андроникашвили, не так ли?

МИМИ (*довольна*). Не я входила в ее круг, а как раз наоборот. Ее мы принимали. Судейкиной, однако, от ворот поворот. Хорошенькая мордашка — еще не индульгенция. Именно на ней висит вина за трагедию с общим любимцем, нашим Адонисом. Вы, конечно, знаете, кого я имею в виду?

ГОРЕЛИК. Ну конечно, Вячеслава Князева. В Санкте, княжна, сейчас все опьяняются серебряным веком.

МИМИ. Никакого серебряного века не было. Были серебряные ночи, и гвардейцы метались по девичьим квартирам. Кстати, мистер Горелик, вам никто не говорил, что вы похожи на нашего Адониса? Только волосы у того были жидковаты, а у вас-то такая крепкая копна, так и хочется потрепать!

ГОРЕЛИК. Извольте, буду счастлив. (*Подставляет голову для трепки; княжна с удовольствием осуществляет свое желание.*) Не слабо, мадам. Копна все-таки цела. Она у меня от евреев.

МИМИ. Э нет, дружок, это у тебя от казаков. Казачья у тебя куделя, мон шер.

ГОРЕЛИК. Правда ли, мадам, что в Гражданскую вы скакали с конниками Шкуро?

МИМИ. Я была командиром одной из «волчьих сотен». Мы партизанили, как Мишель Лермонтов, на Кавказе. Красные кочаны летели веером под нашими саблями! Кто бы сказал, что под старость лет я стану такой завзятой большевичкой!

ГОРЕЛИК. Замечательно! Ново! Значит, вы большевичка?

МИМИ. Есть грешок. Господа, наш гость живо напоминает мне Яшу Железнопартизанского! Когда меня привели на допрос, я увидела отличного самца в кожаной куртке и в малиновых галифе из портьер. Я думала, сейчас всем скопом начнут насиловать, но Яшка-душка один меня увез на свою квартиру. Правда, поработал за весь штаб, ха-ха-ха! Вот, может быть, тогда и зародился мой большевизм. Ну хорошо-с, а чем вы, мон шер, собираетесь заняться на нашей горе?

ГОРЕЛИК. Я собираю материал о рассеянии российской аристократии за рубежом и в бывшем Советском Союзе. Гарантирую отсутствие сарказма. Произойдет компьютерное воссоздание отечественного красавца, генеалогического баобаба. Надеюсь на вашу помощь, мадам.

МИМИ. Благородная задача! А на самом деле, друг, что привело вас сюда?

ФЭЙМОС. Ах, гранмаман, в молодости не всегда знаешь, что тебя ведет.

СОФИ. На самом деле он здесь олимпийскую чемпионку хочет похитить.

ГОРЕЛИК (*машет руками*). Уж вы тоже скажете, барышня Софи!

Все добродушно смеются. Мими прокатывается дальше к буфету. К хозяевам и гостю подходит наша пара журналистов; по всей вероятности, оба они на поверку окажутся девушками.

РЕПОРТЕРЫ. Привет, мистер Гоурелик, от газеты «Дейли слип»! Значит, вы тоже аристократ, как все тузы Бёрчтри-Вэлли?

ГОРЕЛИК. Берите выше, пацаны, я не аристократ, я авангардист-структуралист.

РЕПОРТЕРЫ. Святая корова, а это еще что такое?

ГОРЕЛИК. В том смысле, что я структурирую новую утопию взамен подошедшей.

РЕПОРТЕРЫ. Холи кау, а это еще что такое?

ФЭЙМОС. Вас в Беннингтоне этому не учили? Ну, давайте-давайте, ребята, проходите! За вами еще хвост на полкилометра.

Подходят князь Гаврила Нардин-Нашокин и его супруга Лиди.

ФЭЙМОС.

О друг наш Менделл
Славный Бенни,
Позволь тебе представить здесь
Прекрасную, как торт миндальный,
Чету Нашокиных. Он князь.

ЛИДИ (*оскорблена*). Как будто я не князь! Ради рифмы у нас нередко несут вздор.

ГОРЕЛИК.

Нардин-Нащокин,
Боже правый,
Не верю я своим ушам!
Сей звук звучит, как артишоки,
Как пальмы грива
В роще славы,
Как к пиву чудо-черемша!

НАРД. Черемша моих предков, то есть, я хотел сказать, череда моих предков, милостивый государь, представляет собой не что иное, как симфоническую процессию истинных патриотов.

ГОРЕЛИК. Вот именно, симфоническую! Прошу меня простить, князь, но мой долг исследователя заставляет меня задать вам один мимолетный вопрос. Знакома ли вам фамилия Дудделлдорф?

НАРД. Что-то не припомню. Однако должен добавить, что, в отличие от всякой хлестаковщины, мы, Нардин-Нащокины, всегда несли свои депозиты на алтарь отечества.

ГОРЕЛИК. Прошу прощения, в ваших семейных хрониках, по какой-то причине засекреченных ЦК КПСС и рассекреченных упрделамн эрэф, в доме большого орла, сударь, Двуглавого Феникса, с вашего позволения, есть запись примечательного события. В самом начале Петровской эры воевода города Кружка и Кружковской губернии, его сиятельство князь Блажен Нардин-Нащокин хоть еще и не названный губернатором, но в огромном парике и с хвостом шпагистрекулистки, отбыл из Россин во главе царской миссии к венскому кесарю.

Странно, что записи о его возвращении не обнаружено. Скорее всего, она засекречена огэпзу, а их секреты в доме большого орла до сих пор святыня, сударь. Дело в том, что наш предок утек в Европу, как какой-нибудь наш простой советский невозвращенец. Так что поздравляю, сэр, у вас в роду был герой, настоящий антисоветчик.

Мне, однако, удалось выяснить, что князь, скрываясь под фамилией Дудделлдорф... Фэймос, давай рифму на Дудделлдорф!

ФЭЙМОС. Дудки дроф.

ГОРЕЛИК. На худой конец сойдет, на толстый не влезет. Короче, он стал основателем большой австрийской семьи, и все они из поколения в поколение играли на литаврах в Венском симфоническом оркестре. Он страстно хотел, чтобы его потомство забыло о своих русских внутренностях, но почему-то во всех поколениях там находились русские патриоты, включенные в симфоническую процессию, о которой вы упоминали.

НАРД. Да-да, припоминаю, там есть один Дудделдорф, который занимается реставрацией русского антиквариата. Но что из того?

ГОРЕЛИК. Ну, скажем, не реставрацией, а изготовлением подделок, однако ведь и в этом есть что-то патриотическое, не правда ли?

ЛИДИ (мужу). Он над нами издевается! Ну подожди, сейчас я ему устрою! (Горелику.) Послушайте, любезнейший, не принимайте нас за простаков. Многие из нас поддерживают непосредственную связь с Ленинградом.

ФЭЙМОС. Ты хотела сказать — с Санктом, душка Лиди, с Санкт-Петербургом?

ЛИДИ. Для меня он всегда Ленинград. (Поет.) «Гоурод нат шамно Наевоу, гоурод нэш хи славик боуи-вой»... Я там спросила про вас, а там говорят, что вы совсем не тот, за кого себя выдаете. Вроде как у Пушкина, ревизор-инспектор. Маша Волчицына, например, сказала, что вы сбежали с-под стражи, c'est vrai!¹

ГОРЕЛИК. Княгиня, вы мне как раз напоминаете эту Машку Волчицыну с Аптекарского острова. Такая же тяжелая рыжая кошка.

ЛИДИ. Пжалста?

ГОРЕЛИК. Мне нравится брать таких кошек под пузо.

ЛИДИ (почти истерически). Пжалста?

ГОРЕЛИК. Фэймос, рифму на «пжалста»!

ФЭЙМОС. Пожалуйста — жимолость.

ГОРЕЛИК. Вот это уже рифма гиганта.

ЛИДИ (мужу, в крайнем возбуждении). Ты слышал — ему нравятся тяжелые рыжие кошки! Он любит брать их под пузо!

¹ Это правда? (фр.)

НАРД (*глуховато*). Пжалста?

Наступает очередь Алекса Мамма.

ФЭЙМОС. А это просто один из наших служащих, Алекс Мамм, но из старинного рода фон Молчалиных.

ГОРЕЛИК. Позвольте заметить, что до пятнадцатого века они были Мамчачалины, но потом во время набега хан Мамча угнал один слог, что и дало возможность образовать нынешнюю шикарную фамилию, не имеющую никакого отношения к молчанию.

МАММ. Я не «один из», босс! Я жених вашей дочери!

СОФИ. И то и другое, дурачок, — ты один из женихов.

ГОРЕЛИК. Да, мы уже спотыкались друг о друга в самом начале.

МАММ. В самом начале чего?

ГОРЕЛИК. Да пьесы же, конечно.

МАММ. Какой еще пьесы?

ГОРЕЛИК. Ты хочешь сказать, что принимаешь все это всерьез?

МАММ.

Жизнь для меня — не лицедейство

И не шумиха, не успех.

Пусть вслед мне скажут без лакейства:

Во имя принципов усоп!

СОФИ (*мгновенно бледнеет*). Ох! (*Краски возвращаются.*)

Как два воплощения мужской элегантности приближаются Воронцов и Олада.

ФЭЙМОС. Перед вами еще два представителя наших знатных родов — граф Воронцов и князь Олада. Не исключаю, что вы с ними, доктор Горелик, успели уже познакомиться. Не исключаю даже, что нашли много общего в жизненных интересах.

ВОРОНЦОВ (*молча кивает*).

ОЛАДА. Имею честь.

ГОРЕЛИК. Bravo! Колян лучше выступил, чем Жека. Я всегда предпочитал князей графам. Князя ведь идут от самих варягов, а графьев стало раздавать правительство по мере рос-

та бюрократии. Далеко не отходите, ребята, есть тема для сильного триалога.

ФЭЙМОС. Ну, довольно этих представлений. Так мы до утра не перейдем к следующей картине. *(Выходит в центр, поднимает бокал шампанского, обращается к собравшимся.)* Дамы и господа, уважаемые «овичи» и «овны»! Сегодня мы приветствуем в нашем «Геральдическом клубе Березанской долины» нашего почетного гостя — доктора исторических наук Горелика, также известного в некоторых кругах Америки под именем Бенни Менделл. Несмотря на молодость, а может быть, даже и благодаря ей, доктор Горелик успел воплотить в себе иные примеры из нашей классической литературы, без которых невозможно воспитание нашего юношества, что может подтвердить и дочь моя Софи. *(Выпивает бокал и тут же берет второй.)* В принципе, мы можем приветствовать его дважды и трижды, если не десятижды, как историка знатных родов России и как представителя молодого поколения, близкого к Государственной Думе.

Мы, русские американцы дворянского происхождения, хотя и не можем по закону этой страны употреблять наши титулы, носим в себе двойной заряд патриотизма, умноженного в квадрате. Мы, рыцари России, были везде, где красная зараза начинала набирать силу. *(Ищет в толпе Нардина-Нащокина.)* Ты помнишь, Нардишка, дороги Вьетнамщины, сколько русских там полегло «охотников на оленей»! И сколько традиций взорлило! *(Поет со слезой.)*

Сыны традиций этих старых,
Не пожалели мы костей,
Меня ментики гусаров
На парашютных войск костюм.

В те дни воздушная пехота
Под гордым стягом Stars & Stripes¹
Не пожалела б и енота,
Когда б он в дырку пулемета
Вдувал кощунственную страсть.

Вьетнам! Как много в этом звуке
Ловил боец и гражданин,

¹ Звезды и полосы (намек на американский флаг) (англ.).

Стреляя из родной базуки,
Не стал от страха он занкой,
А умер средь родных ржанин!

То есть в Новом Гемпшире, Нардинка, на родине, как ты это сделал. Как тебя мне не хватает, родной Нардинка!

НАРД (*громким шепотом*). Как хватанет шампанского, так ему кажется, что я с ним воевал во Вьетнаме и умер среди каких-то «ржанин». Неискренний человек!

ФЭЙМОС (*продолжает*). В вашем лице, Святослав, простите, Вячеслав, виноват, Славослав, или как там — спасибо за подсказку, мой добрый Мамм, Мстислав — что за имя такое, почти как у Ростроповича, — мы приветствуем Златоглавую Париж, нет, не то, Златошпильную Лондон, ну, в общем, Петроленинград, или, как вы его хорошо называете, город Санкт, эту колыбель хама и усыпальницу хорошо воспитанных.

Софья, моя юная дочь, надежда горнолыжного спорта по обе стороны Атлантики, призналась отцу, что — цитирую — «хотела бы вечно закладывать виражи с этим парнем». Я очень рад, что Софья и Слава в рекордно короткий срок нашли общий язык.

При этих словах Алекс Мамм роняет стакан, Колян и Жека тихонечко в рукав делают «бу-бу». Софи волнообразно, будто наклонно, пошевеливает бедрами. Слава выстреливает пробкой шампанского в своих соперников, обладателей Какаши. Нард и Лиди бросаются к обеим ушам гранмаман. Репортеры ослепляют все общество мощной вспышкой. Под мышкой у Фэймоса пронзительно звонит телефон. Слышится голос неведомого Полкана.

ГОЛОС ПОЛКАНА. Полкан еси. Не искать, порву. Ее ишу. Ее отсутствует. Ав-ав-ав, авангард!

ФЭЙМОС.

Фонтан любви, фонтан живой,
Спаси от наважденья,
От скорбной участи живца
В струях воображенья!

(*Влезает в фонтан.*)

ГОРЕЛИК. Да что вы, господа, как нерусские, пьете местную дрянь? Софка, скажи, чтоб французского ташили —

«Татинже» или что там есть. За всех плачу! А теперь позвольте мне высказаться в манерах взэмпээса, то есть великого, могучего, правдивого и свободного. Я очень рад, что эти типа динамичные репрезентаторы этой фуа так быстро как бы экстраполируют типа сходную химию, как бы взлетают так ракетонебесно типа ввысь, все сплетни как бы прочь и соединяют-ся типа харизматически свои духовки типа духа!

ОЛАДА (*задохнувшись от восхищения*). Во как излагает! Трудно с ним будет!

ВОРОНЦОВ. Оставь! Покончим с ним, найдем ее, уедем втроем в Саянск, откроем ателье бытовых услуг...

ГОРЕЛИК (*окружен толпой поклонников*). Господа, дамы! «Овичи», «овны»! Каждый из вас может заказать свое генеалогическое древо в нашем институте по адресу Проспект Стачек, 19 дробь 17, квартира 19, дробь 91. Мы перешли на коммерческую основу, и все заказы принимаются.

МИМИ. Почему он ко мне не подходит? Ко мне всегда подходили молодые офицеры. В любом возрасте я получала знаки внимания от молодых офицеров.

ЛИДИ. Вы знаете, гранмаман, ему нравятся тяжелые рыжие кошки.

НАРД. Признался, что любит брать их под пузо. Не скотоложец ли?

МИМИ. Ах, вздор, он просто влюблен в кого-то, о ком не говорит.

ГОРЕЛИК. Цены невысокие, господа. Начиная от пятнадцати косых за древо. В пакете с косметической подтяжкой лица, почтенные, с перелетом в Санкт и обратно. Что касается звезды нашего вечера Мими Кайсынхайсайской-Соммерсет, то она получает весь пакет бесплатно!

Мими начинает кружить на своей каталке, да так лихо, что в конечном счете вылетает в объятия к вальсирующему Славе и вальсирует с ним.

Каталку немедленно занимает барон Фамус, выбравшийся из «фонтана любви».

Запахавшийся Горелик оставляет неутомимую Мими и наталкивается на суровую Софи.

СОФИ. Ты почему ко мне не подходишь? Разлюбил?

ГОРЕЛИК. Сонечка, ведь мы же не договаривались о любви, ведь мы же договаривались просто потрахаться — не

правда ли? Вроде как в гору и с горы, так? И гореть ведь мы не договаривались, не так ли?

СОФИ. Что ты несешь, несчастный?

ГОРЕЛИК. Вот именно: я несчастный, не влюбляйся в меня. Ведь я же Горелик, то есть лик горя.

СОФИ (*испуганно*). Сумасшедший!

ГОРЕЛИК. Наконец-то ты догадалась. Сейчас я расскажу обо всем в форме баллады. (*Берет гитару.*) Господа, по примеру вашего мэра, когда мне трудно что-нибудь объяснить, я берусь за гитару. Баллада называется «Девушка из метро». Итак, пою.

Итак, она звалась Какашей.
Впервые именем таким,
Чудным любому кашалоту,
Мы героиню наградим.

Узри ее в воротах Нарвских,
Среди колонн мелькнет она.
Так тешил на тюремных нарах
Себя греховный сатана,

С толпой лихих волчиц соблазна
Там, на закате эсэсэсэр,
Она, «систему» всю облазив,
Грустит печалью, dear Sir.

Мне хочется живого, девы,
Хочу на остров ярких глаз,
Чтоб из воды, а также с неба
Звезда сверлила, как игла.

Что привело тебя, Какаша,
В клуб гребли и других утех?
Там милый мой живет алкашник,
Там ждет меня страстей кутеж...

Два диких мужских крика прорезают стильную атмосферу Безрезани.

ВОРОНЦОВ. Я не могу, не могу, не могу слушать эту песню! Замолчи, негодяй!

ОЛАДА. Славка, заткнись, наприсишься!

ГОРЕЛИК. Ну, теперь давайте разбираться! (*Быстро подходит к двум друзьям и отводит их, едва ли не подталкивая, к фонтану.*) Где мои два лимона? Где искомое?

ОЛАДА. Како тако насекомое?

ГОРЕЛИК. Девушка моя Какаша, Светлякова Наталья Ардальоновна. Я знаю, что вы ее киднепнули из Вирджинии, предварительно разгромив притон в Калифорнии, за это вам полагаются две российские медали; вот вам две медали от Двуглавого Феникса (*несмотря на сопротивление, втыкает в смокинги медали*), а я за нее дал вам два лимона. Теперь отдавайте! Ну, где она?

ВОРОНЦОВ. Она в наших сердцах.

ГОРЕЛИК. Ошибаетесь, она в моем сердце!

В это время на основной площадке гости делают вид, что увлечены светским приемом, на самом же деле у всех ушки на макушке.

МИМИ. Что там происходит?

НАРД. Старо, как мир, — они спорят из-за девки.

ЛИДИ. А ново то, что наши аристократы женились на ней вдвоем.

МИМИ. Вдвоем? Законным браком? За буераком? Разве это возможно?

НАРД. В России сейчас все возможно.

ЛИДИ (*с бешеной скоростью выкладывает все по данной теме*). Из самых достоверных! У тех был роман. Его посадили. За переоценку ценностей — там это называлось фарца. А тут наши появились, Ник и Джин, все помнят, конечно, они опустошили свои счета и отправились на историческую родину как богачи-аристократы. Девушка своего потеряла, с нашими заигралась. Мальчики влюбились как бешеные, потому что таких раньше не видели. Пошли в мэрию, там это называется загс, это от слова «загост», и зарегистрировали свой *ménage à trois*¹.

Вы же помните, гранмаман, они же с детства были неразлучны, их даже одно время считали гомиками, уважали. Потом они потеряли эту девушку, а она отправилась в Америку их

¹ Брак втроем (*фр.*).

искать. Она работала потаскухой — это от слова «стаскивать», то есть to strip, а потом ее продали в рабство. Тогда наши развелись со своими супругами — все помнят, конечно, трагедию Шарон и трагикомедию Карен — и отправились ее искать. Мы не можем без нее ни жить, ни умереть — так признавались они бармену Тэду в баре «Тэддлби». Вот вам завязка этой истории со скоростью слалома.

МИМИ. Так вот почему у нас уже давно барахлит электричество и водопровод пускает.

Между тем у фонтана развивается кульминация драмы.

ГОРЕЛИК. Я знаю все, мне друг ее Полкаша все поведал, но обо мне ей он почему-то не хочет говорить. Ну ладно, давайте договоримся так: деньги остаются у вас, но вы просто исчезаете со сцены. Отправляйтесь снова в Россию, найдите себе нового кадра. Что касается Какаши — подавайте на развод, гады, или вам не жить!

ВОРОНЦОВ. Послушайте, нувориш, вы все-таки не забываете, с кем имеете дело. У вас, может быть, денег много, но чести мало, малопочтеннейший. Перед вами все-таки русские аристократы и американские граждане. Перед вами поколение Вудстока! Мы с Ннком вдвоем служили в сверхсекретном русском батальоне! Готовились к штурму Лубянки. Вы там безобразничали, разрушали великую державу, а мы как-никак приносим ежедневную пользу нашим согражданам на ниве двух важнейших для жизни течений. Ник, ну что же ты молчишь, ничего не делаешь? Пора с этим кончать.

ОЛАДА. Славка, в натуре, ты однозначно не прав. Однозначно! Мочить нас собрался? Опоздал, товарищ, мы сами тебя приговорили, а нас все-таки двое, и в батальоне нас учили приемам атаки. Ну, Джин, что ты только языком работаешь? Давай, руби, вариантов теперь нету.

ВОРОНЦОВ (в отчаянии). Не могу. Не так я воспитан. Даже ради нашей великой любви не могу мокрым делом рук пачкать.

ОЛАДА (преисполнен мрака). И я не могу. Однозначно. Убив его, мы и любовь свою убьем. Поправьте, если не прав.

ГОРЕЛИК (с притворным весельем). Ну вот, заладили, «не могу, не могу». Давайте я вам помогу. Вызываю вас обоих

на дуэль! Ну что же вы, пацаны, так обалдели? Дуэль за прекрасную даму — разве это не в лучших традициях? Ведь это же не убийство, ведь это же в кодексе чести!

ВОРОНЦОВ. Выход действительно найден, все решит дуэль. *(Берет себя обеими руками за горло и замирает.)*

ОЛАДА.

Прощай, душевная улада.

Решенье найдено — дуэль!

Все мифы к черту в ад услали,

Миф пропадает Целься в цель!

(Вытирает слезы.)

Фонтан затемняется, высвечивается бал. Тревожное танго. Все прислушиваются к шороху листьев.

СОФИ *(Мамму)*. Он сумасшедший, ты разве не понял? А то, что ты принял за землетрясение, было просто приступом падучей.

МАММ. Это точно, нерегулярный индивидуум, об этом и в Америке говорят.

СОФИ. Я жду тебя, как обычно, солнце мое ночное.

ЛИДИ. Габи, ты слышал, он сумасшедший! Этот русский сумасшедший! Ну кто еще так скажет про кошек, если не сумасшедший?

НАРД. Да я в этом не сомневался ни на йоту с первой минуты. Приплел каких-то Дедделлдорфов, пел про потаскуху... типичный шизофреник!

Зашелестело по всему парку: сумасшедший, сумасшедший.

ФЭЙМОС. Я все время думал, чем мы отличаемся друг от друга. Теперь-то я понял: он сумасшедший поэт, а я нормальный поэт.

МИМИ. Сумасшествие — это полет! Меня всю жизнь окружали сумасшедшие. Кавалергарды, конная разведка, барон Оммау-Эммергау, Яшка Железнопартизанский...

РЕПОРТЕРЫ *(Софи)*. Эй, рекордсменка, это правда, что вы увлечены сумасшедшим?

СОФИ *(хохочет)*. Неправда, Мамм нормальный!

Внезапный порыв ветра.

ЛИДИ. Дуэль! Я слышу, слышу каждое слово! Он вызвал их на дуэль! Вызов принят!

МАММ. Вот молодцы дядя Жека и дядя Колян, вот это по-гвардейски, закон гор! Все равно этот сумасшедший до утра бы у нас не дожил.

НАРД. Решительно протестую! Надо звонить шерифу! Семит не может вызвать аристократа! Аристократ не может драться с семитом!

МИМИ. А как же Троцкий, Сталин, мой Яшка? А как же Пушкин, наконец?

ФЭЙМОС. Vous avez raison, grand-maman¹. Нужно опросить наш высший совет по всему миру, князей Куракиных в Австралии и виконта Чурило-Пленковича в Монако, и всех, что я сейчас же и сделаю с помощью современной техники. (*Вынимает из кармана свой «мобиль», начинает названивать.*)

С этого момента и почти до конца его пребывания на сцене «мобиль» будет звонить у Фэймоса под мышкой, и он будет вполголоса советоваться с членами совета на животрепещущую тему: может ли аристократ драться с семитом; были прецеденты или не было прецедентов.

СОФИ (*с внезапным отчаянием*). Да ведь их двое, а он один! Один! И сумасшедший! Пошел к черту, Мамм! Ты не сумасшедший!

Бал снова затемняется, березовая роща, куда перешла тронца дуэлянтов, высвечивается.

ГОРЕЛИК. Какое у вас оружие, хлопцы?

ВОРОНЦОВФ. По пистолету «макаров» и по складному ножу «арафат». А у вас какое, милостивый государь?

ГОРЕЛИК (*обескураженно*). Никакого. Только руки. И ноги.

ОЛАДА (*обрадовался*). Ну, значит, с безоружным драться нельзя. Дуэль отменяется.

ВОРОНЦОВФ. Или, по крайней мере, переносится. На следующий год. В Россию.

¹ Вы правы, бабушка (*фр.*).

ГОРЕЛИК. Отменять нельзя и переносить нельзя. Во избежание самоубийств или бесчестной резни. Вспомните Печорина и Грушницкого, парни. Нам троим не жить на свете — или двое останутся, или один. Весьма сожалею, что так случилось. Поскольку дуэль у нас двойная, мы сделаем просто. Ты, Колян, отдаешь мне свое оружие. Мы с Жекой стреляемся, а если... хм... я уцелею, мы с тобой бросаем ножи. Это честно?

ВОРОНЦОВ И ОЛАДА. Честно. Вполне. *(Олада передает Горелику оружие, тот углубляется в его изучение.)*

Игра теней и света. В роще дуэлянты отмеряют расстояние. На балу танцуют с некоторой маниякальностью. Царнт по-прежнему Мими.

РЕПОРТЕРЫ *(друг другу).* Мы потеряем главное событие: убийство семита людьми благородного происхождения. Да где мы их найдем в этой чертовой тайге? Есть предложения? Нужно оставаться здесь: произойдет нечто неожиданное.

Появляется Какаша. Она в бальном платье, совершенно неотразима. Ветер услужливо взвихривает ее подол, напоминая об историческом снимке Мэрилин Монро. Первое время ее не замечают, что дает ей возможность объясниться со зрителями.

КАКАША. Ну вот, какая я идиотка! Потеряла шубу, потеряла билет до Москвы через Гонконг и Токио, потеряла все деньги, что мне мужья дали. Выскочила из самолета в последний момент, и вот все эти дела без меня улетели. Надеюсь, что хоть приличной девушке они достанутся.

Впрочем, может быть, я и не такая уж дура, не глупее других, как с первого взгляда покажется. Шуба, на кой она, если такая весна вдруг разыгралась? Деньги — ну что я их первый раз, что ли, теряю? Как я могу их не терять, если никогда пересчитать не умею — хоть сотню, хоть лимон? Билет — ну как я могу улететь за тыщи миль, когда у меня так интуиция разыгралась, а она говорит мне, что Славка здесь остался, а я ведь интуиции своей всегда верю, и она меня не подводит, ну как?

Хочу я верить интуиции,
А не столпам слепых скрижалей!

Пускай китаец чтит Конфуция,
Славянку цепи не сдержали!

Я верю в воздух древней Греции.
Ахилл в аттической дубраве
Меня заждался. Я в проекции,
Я словно глаз в лесной оправе.

Ну вот, опять — я, я, я! Временами тошнит от бесконечного «я». Прислушаешься, что вокруг звучит — я, я, я. Им что-нибудь рассказывают, а они только ждут, когда рассказ кончится, чтобы взяться за свое: «а вот я», «а вот мне», «а вот у меня». Такова и ваша покорная слуга, беглая рабыня. А между прочим, душа не всегда хочет «я», она нередко страдает по «нему». Соединится с «ним», чтоб не было ни «я», ни «он», чтоб что-то новое возникло, без названия, без слова. Не так ли?

Ее замечают. Сенсация. Все поняли, что это та, о которой столько было сказано сегодня, из-за которой весь сыр-бор разгорелся. Бросаются. Фэймос впереди на правах старого родственника.

ФЭЙМОС.

Я знал, что ты вернешься, девство!
Европа, свет мне свой прольешь!
К усталому в бессмертье Зевсу
Спиною нежною прильнешь!

КАКАША. Дайте мне бокал шампанского. О, я вижу, вы люди со вкусом, пьете «Татннже»! Дайте сигарету. Ну а теперь говорите, где он? Кто он? Вы прекрасно знаете, что я ишу только одного — Славку Горелика, и интуиция мне подсказывает, что он где-то здесь. Ну почему же все замаялись, и вы, мой Зевс? А почему я не вижу в благородном обществе моих мужей? Не притворяйтесь, ведь вы же все знаете про нас. Вы знаете, что я Какаша.

ЛИДИ (*с высокомерной светскостью*). Кстати, душка, почему у вас такое странное прозвище?

КАКАША. Да это просто детские глупости. Наташа-Какаша.

ЛИДИ (*ядовито*). А может быть, что-нибудь фрейдистское?

Теперь пропой нам, жизни соловей,
То, что ты пел в сиреновом пролете,
Ведь «Жириновский» в нашей голове
Все посильней, чем мистика у Гете!

Жалко, закусона нет.

ОЛАДА. Обижаешь. (*Вынимает из кармана закуску.*)
Креветочки. (*Жует и смотрит, как компаньоны жуют, вытирает креветкой глаз.*) Эх, ребята!

ГОРЕЛИК. Давайте кончать! В нашем споре мы на троих не сообразим! К барьеру, граф!

ВОРОНЦОВФ (*встает к барьеру*). Я понимаю, Слава, что налицо здесь явная несправедливость по отношению к тебе. В отличие от твоих врагов или, лучше сказать, соперников, тебе предстоит двойная дуэль, но... пойми, мы с Ником — это одно целое, мы не переживем друг друга, потому для каждого из нас это тоже двойная дуэль.

ОЛАДА. А для меня, может быть, тройная.

ГОРЕЛИК. И для меня, наверное, тройная.

ВОРОНЦОВФ. Признаюсь, и для меня тоже тройная.

ОЛАДА. Три смерти перед каждым из нас. Не слишком ли много, братва? Страшна, однако, не боль, не агония, а то, что мы все там безвозвратно потеряемся.

ГОРЕЛИК (*с раздражением*). Где это там? Откуда ты знаешь, что мы там потеряемся?

ОЛАДА. Да ведь гигантские же расстояния, миллионы и миллионы световых лет, мириады и мириады звезд...

ГОРЕЛИК (*с нарастающим раздражением*). Там нет никаких расстояний, никаких мириад, никаких звезд и никаких лет.

ОЛАДА. Что же, значит, там и нас быть не может?

ГОРЕЛИК. Во всяком случае, там нет нашего воображения, оно исчезает с последним вдохом, равно как и наши слух и зрение отмирают мгновенно со смертью глаз и ушей. Идя на дуэль, черт возьми, надо все-таки представлять себе не жизнь, а не-жизнь, согласен? Отвлекись от видов бытия, подумай о видах не-бытия, то есть об отсутствии видов. Подумай напоследок, потому что потом уже не подумаешь, если я не промажу. Разумно звучит «я мыслю, значит, я существую», но лучше на всякий случай попрощаться с разумом, равно как и со

своей драгоценной индивидуальностью, которая станет частью непознаваемого. Итак: «Я не существую, значит, я не мыслю». Если уж что-то от нас и останется, то, может быть, лишь какие-то мимолетности и пронзительности вроде жалости к бродячей собаке, или восторга от запаха травы, или странного щемящего вдохновения, что я испытывал в детстве, когда слышал, как дед поет с еврейским акцентом «И девушка наша в солдатской шинели горящей Каховкой идет»; иными словами, наши личности превратятся в пучки подобных мимолетностей и пронзительностей. И то дай Бог! Вот если бы мы сейчас вдруг отказались от дуэли, но не из-за страха за свои сути, а из-за пронзительной невыносимой жалости друг к другу, быть может, эта жалость бы и осталась от нас навеки. Но мы не откажемся, я первый не откажусь, потому что ревность во мне сильнее жалости, потому что я дерусь за свою девушку, то есть за свою бренную жизнь. И потому от этой дуэли ничего не останется, кроме разлагающегося трупа. Или двух трупов. Или трех трупов.

ВОРОНЦОВ (*накачивается яростью*). Откуда ты это все знаешь, нувориш? Что будет, чего не будет, что останется, чего не останется? В каком марксизме ты это прочел? Приезжают всезнайки, отученные от Бога, и начинают нам лекции читать на краю могилы. И девушка это не ваша проходит в шинели, а наша, наша! Пусть вы превратили ее в проститутку, но она наша! Стреляй!

Два выстрела звучат одновременно. Воронцов падает. Горелик, пошатнувшись, остается на ногах. К барьеру прыгает Олада.

Одновременно просвистывают в воздухе два ножа. На этот раз падают оба дуэлянта.

И на рошу падает мрак. Ярко освещается сцена бала. Все общество танцует свинг. Какаша выкаблучивает вокруг крутящегося в кресле-каталке Фамуса. К ней подтанцовывает Лиди.

ЛИДИ. А это правда, душка, что вы одновременно и графиня, и княгиня?

КАКАША (*словно подкошенная, падает на пол*). Он убит! Вы слышали выстрелы?

ЛИДИ. Я слышала не только выстрелы, но и свист ножей.

КАКАША. Мой жених убит! И мои мужья убиты! Они все трое убиты!

Затемняется сцена бала с агонизирующей в центре Какашей. Узенький луч света начинает бродить по роше, где лежат три неподвижных тела.

ВОРОНЦОВ. Я убит.

ОЛАДА. Я тоже.

ГОРЕЛИК. Про себя пока не знаю.

ОЛАДА. Славка, у тебя зажигалка еще работает? Подожги одну березку и давайте уходить с молитвой.

ВСЕ ТРОЕ (*поют*). Господи, прости и помилуй! Во имя Отца и Сына и Духа Святого прими и со святыми упокой, если можешь.

Все трое неподвижны. Над ними, как свеча, потрескивает в огне березка.

Снова ярко освещается сцена бала. Вся группа персонажей и гостей, кроме Какаша, неподвижно лежащей на сцене, словно подстреленная чайка, повернулась лицами в сторону снежной горы. Там происходит нечто трудноописуемое — какой-то комок пульсирующей разноцветной энергии стремительно движется вниз.

МИМИ. Боже мой, кто это?!

ФЭЙМОС. Разве вы не узнаете? Это движется к нам, это стремительно спускается к нам с горы не кто иной, как Бенни Менделл! Настоящий Бенни Менделл, а не тот, что здесь был, не Лжебенни. Тому, Славке Горелику, казалось, что это все он сам тут у нас закрутил или какой-нибудь его автор из «Третьей волны», но нитки были в руках у настоящего Бенни!

Того, другого, больше нет,
Но настоящий прибыл к ночи,
Могуч, как древний большевик
И, как священник, непорочен!

СОФИ.

Как он несется! Не пылит!
Сверкают кубики и ромбы!
Техничен, как Жан-Клод Килли,
Непредсказуем, словно Томба!

МИМИ.

Теперь я вижу, это демон,
Перед которым ниц пади!
Он не мужчина и не дама,
Он супермен и господин!

НАРД.

Он пресечет дурные толки,
Дурное слово пресечет.
Проверит памяти шкатулки,
Введет моральный пересчет!

ЛИДИ.

О настоящий Бенни Менделл.
Мой брат, ты жизни режиссер!
Надеюсь, припасешь ты крендель
Для страстных рыженьких сестер?

МАММ.

Готов работать при обмене,
В законном браке результат
Предъявлен будет брату Бенни
В законный срок и без затрат.

КАКАША *(с трудом приподнимается с пола и остается на коленях)*.

Простите, Библия и Тора.
Прости, мой Бенни, стаж нет!
Я выпала из партитуры
И не вписалась я в сюжет.

РЕПОРТЕРЫ.

Здесь назревает, без сомнения,
Сюрприз для этих горемык:
Как плод классического семени,
Немешая из сцен немых.

Тем временем наша массовка, как живая, так и искусственная,
приветствует криками и взмахами рук приближающегося Настоя-

щего Бенни Менделла, НБМ. И вот он является, огромный, почти шарообразный, переливающийся всеми цветами спектра и за спектром, своего рода индюк, но ногами сродни медведю. Из него исходит какая-то музыка барокко, густая басовитая виола, и под нее же он как бы танцует или, вернее, выступает самовлюбленным гоголем. И напевает! Бар-там-баб-онди-онди-бра. Длинным хлыстиком он ненавязчиво, но не оставляя никаких других шансов, организывает персонажей в немую сцену.

КАКАША. Почему обязательно так? Ведь это уже давно стало клише.

НБМ. Клям-био-буран-тиг-лон-тиг-уанти. Трам-био-шар-транти-флинти-просонти.

Под мышкой у Фэймоса звонит телефон. Несмотря на гипнотическое воздействие НБМ, банкир прикладывает свою мыльницу к уху.

ФЭЙМОС. Здравствуй, Лавр Корнилович, здравствуй, ваше высокопревосходительство! Как вы там на Папуа? Считаешь, что можно стреляться? Любой еврей древнее нашего аристократа, ты так считаешь? У них уже Иерусалим стоял, а у нас только волки бегали, я тебя правильно понял? Ну, прощай, родной, нас тут в немую сцену организуют.

Настоящий Бенни Менделл, только что деликатно тонким хлыстиком напомнивший Фамусу о действительности, никак не может прервать свое самолюбование, чтобы не сказать самовосхищение. Он пританцовывает, поворачивается вокруг оси, притоптывает, играет ручками.

НБМ. Крошти-фрошти-драдж-молфанси, куон-тапирамезо-прам-сим-дин.

Немая сцена уже почти организована. Все застыли в своих шаковых позах. Никто уже не открывает рта, кроме Фамуса, который, естественно, расположился рядом с Какашей. Снова звучит телефон.

ГОЛОС ПОЛКАНА. Ав! Ав! Ав! Авангард! Ку-Ку-Ку, Кукушкины острова.

ФЭЙМОС (*шепотом Какаше*). Неужели и ты уже замерзла? Послушай, любовь моя, мы должны бежать, иначе сто лет не выберемся из этого барельефа. Мы найдем трупы твоего Горелика и племянников моих — твоих законных, похороним их и оплачем. А потом — свобода! Вместе!

Сбежим на Кипр мы, может статься!
Любимого лишь жеста жду!
Лишь подними волос богатство,
И я тебя освобожу!

Казалось бы, уже окаменевшая Какаша женственным жестом поднимает волосы и завязывает их в пучок. Взъярившийся любовью Фамус выдергивает ее из немой сцены. Они убегают. НБМ, между тем поглощенный своей красотой, продолжает танцевать перед «барельефом» и напевать полюбившийся мотив Алессандро Марчелло «крошти-фрошти-драдж-молфанси, куон-тапиро-мезо-пром-сим-дин».

Появляется Слава Горелик. Раны его перевязаны его собственной разодранной рубахой. За собой он тянет неподвижные тела графа Воронцова и князя Олады. Останавливается изумленный при виде «барельефа» и пританцовывающего Настоящего Бенни Менделла.

ГОРЕЛИК. Ну вот, что и требовалось доказать — «немая сцена». Какаши нет, друзья мои мертвы, я еле жив, а вся драма перешла под хлыстик Настоящего Бенни Менделла.

Таков итог страстей, потех,
Излишеств скромных карнавала.
Утих тревожный треск шутих,
Все стерто мира жерновамн.

Безмерно наслаждаясь самим собой, к нему подтанцовывает НБМ и тонким хлыстиком направляет его в строй «немой сцены». Равно и мертвым персонажам надлежит там быть — ненавязчиво, но непреклонно заявляет этот хлыстик. Воронцофф и Олада встают и присоединяются к остывшим. Горелик некоторое время стоит молча. Кровь капает из-под тряпок. Потом обращается к танцующему свой медленный неуклюжий танец НБМ.

ГОРЕЛИК. Я понимаю, ты хочешь сказать, что она сбежала со стариком сластеной. Ты приготовил мне какое-то другое место в своей игре. Ну что ж, я все-таки не подчиняюсь, я ухожу своей тропой, и мне все равно, совпадет ли она с твоими замыслами. Разбирайтесь тут со Стасом во всем оставшемся.

В неподвижной группе вдруг происходит едва заметная вибрация. Доносится голосок юной Софи.

СОФИ. Но ты ведь еще вернешься, мой ангел?

ГОРЕЛИК.

Довольно шлаться за звездой,
Вдыхать предательства токсин.
Сюда я больше не ездук.
Такси! Подайте мне такси!

(Уходит.)

НБМ. Крошти-фрошти-драдж-молфансн, куон-тапиро-мезо-прам-сим-дин.

ЗАНАВЕС





ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

Звонок Незабываемой

В мае одного из девяностых годов, вроде бы где-то в середине десятилетия, я получил sabbatical, то есть академический отпуск на весь осенний семестр. Вместе с летними и зимними каникулами получалось семь с половиной месяцев вольного плавания; вполне достаточно для того, чтобы забыть о школе и об исследовательском центре. Манила, как сказал поэт, «ширь весны и каторги». От кокетства в данном случае не уберечься: имеется в виду сладкая каторга сочинительства.

Почему-то я долго не мог составить распорядка своих занятий и передвижений. От прошлого года остались незаконченными некий рассказ о «бэби Кассандре», какие-то стихи, зарифмованные во время бега трусцой, наброски пьес, очерк о молодом Пикассо. Все это входило в масштабный концепт подведения итогов века Ха Ха, особенно история юнца Пабло, который, собственно говоря, и открыл этот век, переехав в 1900 году из Каталонии в Париж. Что касается текущего «большого романа», то он тоже входил в этот концепт или, вернее, концепт входил в него. Я понимал, что мне нужно уехать от сестер О, иначе они со своей бесцеремонностью вкупе с преувеличенным пие-тетом, со своим ревностным приглядом за моими бумажками, а также со своими бесконечными арбатскими хохмами могут меня сильно запутать. Куда, однако, податься: в Москву ли, в Саратов (прошу оценить, неизменная цитата опущена), на волжский ли пароход, на набережную

Тель-Авива, в каменный ли городок на скале Бер-лез-Альп, на Родос ли, к бухте Св. Павла?

В это время по факсу пришло приглашение на Кукушкины острова. Отказаться я, конечно, не мог. Кукушкины острова! Сколько связано с ними! Я благосклонно, хоть и со «своеобычинкой, присущей большим русским писателям», ответил на факс и стал собираться. О сути приглашения и о нынешнем статусе Кукушкиных островов в Российской Федерации я расскажу позднее, пока что поведаю о внезапном завихрении судьбы, которое прервало мои размеренные сборы.

Однажды около трех часов ночи мой очередной сюрреализм был прерван телефонным звонком. Сначала я подумал, что позвонили во сне, то ли из семьи Никсона-Брежнева, то ли от имени настольной лампы, которая как раз начала разрастаться в будни бальнеологического санатория на склоне Машука, и не проснулся. Минуту спустя, когда я все-таки открыл глаза, кто-то (никогда не поймешь кто) немедленно вышел из спальни, и я взялся за трубку. Ошметки сна отлетали прочь, как разрозненные отряды российской армии, бегущие при Аустерлице (Толстой на тумбочке). Реальность восстанавливалась, как будто вставлялась в рамку, только с некоторым опозданием. Кто звонит в такой час? Дельфин или жена Дельфина? Бывшая теща, воспитывающая моих дочерей Сузи и Бузи, или сами девчонки?

Ни то, ни другое, ни третье, ни четвертое. Звонила Любка Андриканис. Напоминаю: Незабываемая из «116-го маршрута», жена друга юности Игоря, мать Славки. Голос ее захлебывался в том, что накопилось у нее к этому моменту в носу и глотке. То, что обильно у нее вытекало из глаз, тоже, очевидно, не способствовало артикуляции, поскольку она, очевидно, левой ладонью все время вытирала лицо; очевидно, хотя очами не видно. «Стас, Стас», — бормотала она, и далее следовали всхлипы и хлюпы. Наконец прорезалось: «Мие нужна твоя помощь!»

Интересно, сколько ей нужно, подумал я. По укоренившейся капиталистической привычке слово «помощь» жаждет тут же реализоваться в цифре. Неужели я похож на человека, у которого может попросить помощи торговец недвижимостью? Может быть, уже прошел слух о трех миллионах из рассказа? Жалкая сумма университетского пенсионного фонда стала

мерцать вполнакала; вот все, что я смогу предложить Незабываемой Любке. Если решусь.

«Что случилось, Любка?»

«Подожди», — сказала она почти внятно.

«Жду», — сказал я.

«Сейчас. Сейчас успокоюсь. — Звук большого глотка. Неужели водка? — Сейчас кирну и успокоюсь. — Бульканье. — Ну, вот все, — сказала она почти спокойным пьяноватым голосом. — Стас, что-то ужасное произошло между мной и Игорем. Мы оба были невменяемы. Я стреляла в него!»

Так. Теперь уже у меня что-то забило нос и глотку. Почему я раньше не подумал, что до этого может дойти? Думай — не думай, у жизни всегда припасен какой-нибудь «непродуманный» трюк. Любка теперь не рыдала, а просто выла, как ветер в трубе.

«Ты его убила?» — еле ворочая языком, произнес я.

«Не знаю! — неузнаваемо завизжала она. — Его нигде нет! Ни его самого, ни его тела!»

Значит, ни Игоря нет, ни его тела, с какой-то странной тупостью думал я. Может ли так быть, что его там нет, а тело лежит?

«Кровь на полу есть?» — шепотом спросил я.

«Ну а как же! — Она глотала и рыдала. — Конечно, есть!»

«Почему «конечно?»»

«Да я же руку себе разрезала, идиотка, кретинка, исчадие ада, зачем я родилась на свет Божий?»

«Я сейчас выезжаю, Любка. Слушай меня внимательно. Я буду у тебя через три часа, если не попаду в трафик на тёрнпайке¹.

В любом случае приеду не позже восьми утра. Не напиваясь! Есть у тебя московский валокордин? Глотай и жди! Где пистолет?»

Из нее заряд за зарядом стали вылетать матерные проклятия, не совсем понятно, в чей адрес: Игоря или пистолета. Потом, когда эти заряды, что никого бы не удивили в элитной среде Москвы шестидесятых, но теперь, в девяностых, звучали с доколумбовой дикостью в стране изгнания, опали, как хлопья сажки, она зашептала:

¹ От англ. *turpike* — выезд на шоссе, разворот

«Стаська, я знала, только ты, я знала, спасешь, не хочу в тюрьму, ненавижу гада Игоря, люблю тебя, спрячь, закутай в одеяло, дай молока горячего, горячего (звучало «хорячего, хорячего», как в юности этой провинциалочки...)» Замолчала.

Через четверть часа я уже ехал по шоссе. Для таких случаев я держал двухместный «Делорен», который купил когда-то в самом начале своей американской жизни, потратив две трети первого аванса от «Фара-Строус-энд-Жиро». Помнится, меня совершенно загипнотизировало то, что дверь у него одновременно являлась и крышей — открывалась вверх, как крыло жука. Советский субъект, я не мог даже представить, что такая машина может стать моей собственностью, и вот — росчерк пера, и она моя! Теперь, через девятнадцать лет, я мчусь на ней по ночному фривею спасать звезду Коктебеля 1964 года. Девятнадцатилетнюю, романтическую до полубезумия девчонку, которую тогда звали Любка-Любка-Потеряла-Юбку. Подступив в гараже к «Делорену», я загадал: если заведется, все как-нибудь уладится. Ржавый конь завелся с полоборота.

Однажды мы сидели с ней при луне на скале, свесив ноги в страшную пропасть. Она смеялась, поглядывая на меня, блестя глазами и зубами, а также ногтями рук и ног. Инопланетянам, быть может, была непонятна ее красота, у жителей Земли от нее перехватывало дыхание. Я спросил ее, может ли она представить, что ее молодость когда-нибудь пройдет. О чем ты говорншь, расхохоталась она, я не могу себе представить даже то, что когда-нибудь пройдет этот заезд.

Ночью на шоссе почти не было машин. Неслись только те, кому надо было кого-нибудь спасти или кого-нибудь угробить. Я старался не превышать ста миль в час, то есть нарушал почти вдвое. В машине гудел потенциал еще по крайней мере на сотню. Впрочем, иногда в ней покашливало что-то, похожее на разочарование прожитой жизнью: почему мне суждено было родиться в эпоху ограничения скоростей, почему мой создатель не смог избежать тюрьмы?

Мы очень быстро проехали вашингтонскую кольцевую, все еще в темноте докатили до тоннеля под Балтиморским заливом, и только уже на полях Делавера стало светлеть. Как вестники восхода, на горизонте стали появляться огромные шкафы дальнобойных грузовиков.

В ту давнюю фиесту на долю ее будущего мужа пришла довольно двусмысленная роль. Ты, Игорь, привез в Крым эту девчонку, не подумав. Она вроде бы была твоя, все в нашей компании это признавали, но тебе было за ней не уследить. У костра в Сердоликовой бухте Любка была коронована как Мисс Коктебель с прибавлением эпитета Незабываемая. «Физики и лирики» поднимали ее на руках и сажали на мускулистые плечи. Бродячие барды гремели гитарами в ее честь. Ныряльщики приносили ей раковины из темно-зеленых глубин. Мотоциклисты предлагали ей свои торсы для обхвата сзади. Богатые писатели на новеньких «Волгах» подстерегали ее у ворот Дома творчества и приглашали махнуть в Судак или в Ялту — вообще, куда угодно. Дряхлый сталинский лауреат постоянно ходил за ней с букетом роз из своего сада. Пещерные люди из «Республики Карадаг» заманивали ее в свои убежища на предмет совместных медитаций. Археологи с кургана Тепсень называли ее именем свежоткопанную амфору.

Головная боль началась, когда в штате Нью-Джерси я вышел с магистрали на боковую дорогу. Близость Нью-Йорка не оставляла никаких надежд на спокойный проезд по буколическим окрестностям: машины еле ползли, бампер в бампер, или стояли в, казалось, бессмысленном ожидании. Люди внутри брились, расчесывали гривы, подмазывали губы, читали газеты, завтракали или просто сидели с искаженными лицами. Тут-то я снова оценил маневренные способности «Делорена». С места он опережал всех и раньше всех успевал протыриться в малейший просвет. Тем не менее не меньше сорока минут понадобилось, чтобы повернуть к гореликовскому городишку Фёнфли, и это дало мне возможность завершить коктебельские воспоминания.

Ты, Игорь, бесился. Однажды она пропадала весь день. Народ на пляже за скалой Хамелеон поглядывал на тебя, а ты зверем щетинился на меня, как будто я не ждал вместе с тобой ее возвращения. К вечеру на пляже приземлились три дельтаплана, на одном из них была Любка, на двух других — ее новые поклонники, супермены воздуха. «Быть в Планерском и не научиться на дельтаплане — это же глупо! — Она пыталась оправдываться. — Ну, Игорь, согласись! Ну, Стас, хоть ты-то согласен? Ну что вы дуетесь, ребята?» Сгрудившийся вокруг народ хохотал.

Ночью ты, Игорь, свистнул под моей террасой. «Любка у тебя?» — «С какой стати?» — «Ты знаешь, с какой стати!» Я спустился к тебе, и ты, не думая ни секунды, хлестнул меня кулаком по скуле. До сих пор, кажется, болит эта скула, тридцать лет спустя. Все та же острая и обидная боль. Мы дрались с тобой минуты три, молча наносили удары по корпусу и в голову, пытались поймать вражеские конечности на захват. Потом опомнились и сели с сигаретами на крыльце. Я сказал тебе то, что знал: ее увез известный в бухте человек по кличке Хемингуэй. Они отправились в совхоз на шашлык. Звали и меня, но я не поехал. А меня не звали, сказал ты, Игорь, полный мрака. Мы отправились на моей «Волге» в совхоз. Шашлычная компания гужевалась на пригорке. Горел костер, двигались молодые тени. Мы с тобой, Игорь, уже тогда были для них стариками — как-никак за тридцать. Любка в белом марлевом платье ходила вокруг шалой походкой, больше чем на минуту ни с кем не задерживаясь. Пока мы медленно приближались к ним, у меня возникло ощущение, что она каждую минуту может вспыхнуть. «Сейчас загорится, идиотка, в своем мудацком платье, — пробормотал ты, Игорь. — Достаточно одной искры». Мы вылезли из машины, и она, по-щелячьи взвизгнув, бросилась к нам, стала тормозить то тебя, то меня. Можно было подумать, что она напилась — компания Хемингуэя дула чудовищный крепленый портвейн, — но ее тогда вовсе не тянуло к бузе, как не тянуло персонально ни к кому из тех крепленых мужчины; ну, за редким исключением. Она сама себя самой собой опьяняла в то лето. Едва лишь открывала утром глаза, как ее охватывал восторг, и весь день он кружил ее, то ускоряясь едва ли не до психоза, то чуть замедляясь до «первого бала Наташи», чтобы ночью неудержимо замелькать в лунных бликах того редкого по прозрачности и по таинственным бризам сезона, когда запахи горюхих трав перебивали даже стойкий запах коктейбельских летних сортиров. «Ах, Стас, если бы ты только знал, — сказала она однажды, — какое это счастье быть такой девушкой, как я!»

Наконец я нашел их дом. Он стоял среди своих двойников на генистой улице, но отличался от них своей бедой. До сих пор не понимаю, какие признаки беды сразу бросились мне в гла-

за, если не считать открытой двери, из которой молча, без лая, как будто с мольбой о помощи скатился мне навстречу большой черный терьер.

Я вбежал в гостиную и сразу увидел женщину, в которую превратилась та Любка из воспоминаний. Она сидела на полу, привалившись к стене. Глаза ее закатились, с патологической блаженной улыбкой она засыпала. Бессвязные обрывки слов еле слышно еще слетали с опухших и потрескавшихся губ. Рядом на полу стоял стакан с недопитой водой и валялся пустой аптекарский пузырек без пробки. На ярлычке значилось «афтолассол, 60 таблеток». «Не спать! — заорал я и стал хлестать ее ладонями по щекам. — Не спать! Не спать! Не спать!» Голова ее тяжело моталась под пощечинами. Не помня себя, я подхватил ее под мышки и потащил неведомо куда. Она весила тонну.

Тут меня осенило: если она что-то еще бормотала, значит, она проглотила эти 60 таблеток только сейчас! Значит, есть еще горсточка шансов предотвратить окончательное угнетение дыхательного центра! Значит, можно еще попробовать вытащить ее откуда-то оттуда куда-то сюда! Вывернуть из нее что-то наружу!

Рванул на кухню вместе с терьером, выхватил из холодильника бутыл «Эвиана», содрал пробку, рванул назад, к телу, всунул горлышко в тело. «Пей! Пей! Пей!» Чудо, о чудо! — она стала делать глотательные движения. Терьер повизгивал, умолял любимую мамочку: «Пей! Пей! Пей!» Бутылка опустела. Я разжал Любке рот и засунул в него свою лапу. Другой рукой я ухватил ее за язык и стал вытягивать его наружу с риском оставить его у себя в ладони, как хвост ящерицы. Третьей рукой, или какой там по счету, я давил в глубине глотки на корень языка.

Прошу прощенья, но не могу удержаться здесь от вполне идиотской по гладкости фразы: усилия мои не пропали втуне. Ее стало бурно выворачивать. Вода возвращалась вместе с желудочным соком. Выходили и повисали на подбородке тягучие нити слизи. Что-то вдруг шлепнулось из ее рта на ковер. Передо мной лежал круглый сгусток величиной с детский кулачок — это были слипшиеся таблетки антидепрессанта. Я чуть не закричал от радости: кажется, основную массу ее самоубийства удалось вытащить обратно! Рядом, счастливый,

скакал пес (позднее я узнал, что его зовут Бульонский); он все понял, как будто не первый раз был свидетелем подобных семейных пертурбаций. Не хочется вдаваться в подробности, но я тоже в таких делах был не новичок.

Почти спокойно я накрыл отторгнутые субстанции пластиковой пленкой «wgar-wgar-wgar», которую так лихо рекламируют по телевидению. Ну теперь она может просто спать. Сатанинская доза лекарства выскочила наружу. Я откатил ее тело от блевотины. Нет, конечно, она весила меньше тонны, она в общем-то была неплохо очерчена, а если и превышала плотью ту Любку из Коктебеля, то не более чем в два раза. Подложил ей под голову подушки с софы, накрыл пледом. Позвонил 911 и попросил помощи. Yes, ma'am, we need help. It looks like an intentional overdose, a suicide attempt. Woman. About fifty. No, I'm not her husband, just a visitor¹.

Я рассказал, что я увидел и что я сделал.

Девушка на телефоне спросила имя больной, адрес и телефон. На минуту замолчала, видимо вводя данные в компьютер, а после каким-то иным, как будто уже посвященным в суть дела тоном произнесла: Sir, the help is coming. Please, stay with Mrs. Gorelik untill they arrived. It won't take long. Thank you very much for your cooperation².

Вот такие вежливые тут у нас на «скорой помощи». Да что там говорить — немало стоящих превосходных людей работает в этой сфере.

Я осмотрелся. Дом был просторен и убран со вкусом. Комфортом совсем не уступает цэковским стандартам. Пожалуй, превосходит. Одна стена целиком была отдана московской ностальгии: афиши спектаклей, живопись Рабина и Немухина, фотографии, среди них одна и моя далекой давности — Стас Ваксина в день своего сорокалетия на сцене ЦДЛ читает подозрительный текст.

¹ Да, мэм. Нужна помощь. Похоже на передозировку. Попытка самоубийства. Женщина. Около пятидесяти. Нет, я не ее муж, просто посетитель (англ.).

² Сэр, помощь направлена. Пожалуйста, оставайтесь с миссис Горелик до их прибытия. Это недолго. Большое спасибо за ваше содействие (англ.).

Любка спала и во сне кому-то приветливо улыбалась. Может быть, мне. Может быть, своему сыну Славке. Может быть, своему псу, который сейчас лежал у ее изголовья и вопросительно смотрел на меня. А может быть, и своему мужу — тебе, Игорь, в которого она прошлой ночью стреляла. Я поднялся и пошел на улицу, чтобы встретить машины. Пес отправился за мной. На крыльце он встал на задние лапы и положил передние мне на плечи. Лизнул меня в щеку. Боже, мы можем только догадываться, как страдают собаки от того, что мы творим в их присутствии!

По американским правилам, в случае подобных вызовов вокруг дома собирается сушая армада машин. Вот и сейчас, не прошло и пяти минут после звонка, как на огромном красном траке прибыли парамеднки из пожарного депо. Группа числом не менее пяти промчалась к дому, словно десант спецназа. Почти одновременно прибыл патрульный «шевроле» полиции. Два статных офицера, затянутых в свои черные штаны и бежевые рубашки с разными бляхами, проявляя благосклонную готовность к любому повороту событий, проследовали в резиденцию Гореликов. Еще две минуты, и пришвартовался амбуланс, то есть квалифицированная медпомощь из соседнего госпиталя «Десять заповедей». Работали мигалки всех трех машин, множество огней, персонал переговаривался по радиотелефонам друг с другом и со своими центрами. Проезжающие между тем мимо соседи делали вид, что ничего особенно-го не происходит.

После уколов Любка открыла глаза и заметила меня среди хлопочущих спасателей.

«Стас, птичка моя», — прошептала она.

— What did she say? — спросил меня один из полицейских.

— She simply recognized me, — сказал я. Не говорить же копу, что дама назвала немолодого господина *my little bird*¹.

Глава пожарников, черный парень лет сорока, явно крутой специалист своего дела, отвел меня в сторону.

— We know this Russian lady, — сказал он. — It wasn't first time, sir, that we treat her on a similar matter, but this time it was really serious. Actually, she already opened the door, from

¹ Что она сказала?.. — Она просто узнала меня... — Моя птичка... (англ.).

behind which people don't return. Thank God, she threw this stuff up¹.

— Thank God, — повторил я за ним и перекрестился.

Он улыбнулся:

— Are you Orthodox? Me too.

Врач из амбуланса, молодой человек с походкой теннисиста, взял меня под руку, словно на коктейль-парти.

— Mister... — Он заглянул в свои данные. — Mr. Vaccino, we're going to take Mrs. Gorelik to our hospital. She's certainly out of hot water, but we prefer to make a double-checking all over. Besides, these suicidal cases require some special consulting. You know what I mean. Are you going to follow us? Excuse my curiosity, is it your car parked in the driveway? A striking design, I must admit! Is it European?² — По молодости лет он никогда не видел «Делоренов». Узнав, что странный зверь был рожден в его родной стране, доктор был поражен. — I can't believe it's that legendary Deloren!³

Вот я уже дожил до чего в этой стране — стал субъектом американской ностальгии: пожилой джент с иностранным акцентом на легендарном «Делорене».

Когда Любку выкатывали из дома, она, кажется, уже начала ориентироваться в ситуации. Во всяком случае, сказала своему псу: «Бульонский, сторожи дом!» И тот немедленно отправился внутрь.

«Я еду за тобой, Любка, — сказал я ей. — Не волнуйся, буду поблизости». — «Лапа моя», — пропела она, и глаза ее закрылись.

¹ Мы знаем эту русскую леди... Это не первый раз, сэр, мы выхаживаем ее подобным образом, но на сей раз все по-настоящему серьезно. Она в самом деле уже распахнула дверь, из-за которой не возвращаются. Слава Богу, она исторгла эту дрянь.

² — Слава Богу.

— Вы православный? Я тоже.

— Мистер... мистер Ваксина, мы собираемся забрать миссис Горелик в наш госпиталь. Она, конечно, уже вне опасности, но мы предпочитаем перестраховаться. Кроме того, эти суицидные происшествия требуют некоторого специального консультирования. Вы знаете, что я имею в виду. Вы с нами? Простите мое любопытство, это ваша машина запаркована на проезжей части? Удивительная конструкция, должен признать! Европейская? (англ.).

³ Не могу поверить, что это тот легендарный «Делорен» (англ.).

— What did she want to say in paritcular? — снова поинтересовался полицейский.

— I'm sleepy, — я ему сказал. — That's what she wanted to say, I am sleeeeeeepy¹.

Не будешь ведь говорить парню, что она назвала меня *my raw*.

В углу на диване

В холле приемного покоя я лег в темном углу на диван и положил ноги на валик. Я думал, что сразу усну, но не тут-то было. Все что-то прыгало в памяти, в уме, выскакивали какие-то картины, лица, отдельные слова, все малозначительное, ничемушное. Я знал это состояние. Чтобы от него избавиться, нужно начать процесс сочинительства. Начну сочинять повесть о Кукушкиных островах. Внутреннюю повесть из этого романа, вернее, маленький роман, внедрившийся в этот большой. Так в процессе сочинительства можно иногда утихомирить сумятицу ума и даже немного поспать.

Исторический экскурс,

который можно будет по желанию публики изъять из этой части и присоединить к следующей.

Людям моего поколения или даже поколения моего сына Дельфина такой экскурс может показаться излишним, а вот зеленой молодежи он не помешает. Об иностранных читателях и говорить нечего: просвещенные европейцы и даже изощренные американцы, не говоря уже о высокомерных арабах и самолюбивых бразильцах, часто обнаруживают прискорбную неосведомленность в вопросах российской специфики. Для такого иностранца что Кукушкины острова, что республики нашего Северного Кавказа — все одно темный лес. Спроси его, где находится Дагестан, он скажет: в Тихом океане; спроси его, где остров Кубарь, он полезет в Черное море.

¹ Что она хотела сказать существенного?.. — Я засыпаю. Вот что она хотела сказать. — Я засыпа-а-аю (*англ.*).

Надо все-таки целенаправленно просвещать массы. Ведь людей на планете становится все больше, а стало быть, и невежество увеличивается. Людей практически интересует только свое, а если интересует чужое, то только с точки обращения его в свое собственное. Вот почему из всех зарубежных народов только японцы сведущи в истории Кукушкиных островов, кои отделяет от архипелага всего лишь пара-тройка тысяч морских миль, и потому они убеждены, что их собственное восходящее солнце зарождается именно в этом регионе. Подтекст, я думаю, ясен не только японологам. В кругах политической элиты, как сейчас выражаются, бытует мнение, что жители архипелага только и мечтают о высокой йене и о низком японском холестерине, однако предложите эту альтернативу кукушанам — и увидите, что из этого получится. Грудью встанут на защиту православия, как и за социализм семьдесят лет бились против империалистических хищников.

Русский флаг был вынесен на эти полутропические брега эскадрой адмирала графа Кукушкина в конце XVIII века. Перед этим здесь разыгралась величественная битва между русскими фрегатами и объединенным англо-франко-турецким флотом, из которой наши пращурь вышли победителями. Злые языки нных прозападных запродаванцев мелят по этому поводу всяческий вздор: дескать, никакого объединенного флота там не было, одни только пиратские катамараны нападали на транспорты, однако патриотический народ — а он всегда в большинстве — с гневом опровергает измышления. В общем, с тех славных дней и утвердилось за архипелагом название Кукушкины острова, а старое имя, если оно когда-нибудь существовало, было напрочь забыто.

Новые земли привели в восторг петербургскую и московскую знать. Целебные источники билн там между скал, а фрукты, съеденные с ветвей, давали декадентам заряд поистине ренессансной бодрости. Особым же животворным эффектом обладала в меру горячая галька иных укромных бухт. Ею обкладывались с ног до головы, а часто и голову закапывали в усыпляюще шуршащий состав, оставляя лишь дырку для дыхания. Подержанный на императорской службе генерал выходил из таких галечных ванн юным кавалергардом да к тому же с головой, полной государственных идей. Что касается дам, то у них начиналась вторая, третья, а то и четвертая молодость.

Известно, что фрейлина двора Степаниа Кадмовна Пертолючини, страдавшая жестоким люмбаго, после Кукушкиных островов исполнила роль умирающего лебедя в царском балете.

Итак, там стали возникать российские лечебницы, виллы и отели, но вскоре пришлось строить и крепости. Дикарям острова Кубарь понравилось грабить спа и увозить в горы горничных и госпож. Вскоре к отважным ползунам присоединились туземцы Шабарге и Анчача, возникло освободительное движение Хуразу — по имени верховного божества. Идол, между прочим, был лишен головы, и, по поверьям, она должна была прибыть извне в момент победы.

Империя ответила на вызов язычников страшным ударом. Многотысячные контингенты солдат в белых штанах и рубахах высаживались на пляжах. Торговые парусники и первые пароходы везли переселенцев и тульские пушки. Возникали казачьи войска: Кубарьское, Анчачское, Шабаргинское и т.д. Среди дикарей насильственным путем распространялось просвещение — в частности, ношение штанов. Запрещено было традиционное обрубание голов. Православная церковь мощным смирением завоевывала сердца и угоды. Нововведения волей-неволей смягчали местные души. В принципе, дикарские вожди ненавидели друг друга больше, чем русских колонизаторов. Петербургские талейраны, в большинстве своем иноземцы, ловко пользовались междоусобицей. Позднее марксистский мыслитель Руламонд Нинел записал в своем капитальном труде «Большевистские организации Кукушкиных островов в условиях межнациональной резни» следующее: «Усмирение Кукушкиных островов дает нам живейший пример общей для всех империалистических держав политики «раздулай и влавствуй» (sic!).

В общем раздулили, а потом как бы всех смешали и стали влавствовать. Русификация шла быстро. Только в горных селах еще кое-где говорили на наречиях, прибрежные же города, где жила основная масса населения, изъяснялись только порусски. На базарах можно было увидеть приказы губернатора: «Говорить по-шабаргински строго воспрещается». Рос имперский патриотизм. Из местной знати молодежь отправлялась в Петербург на службу в особом Кукушкинском полку лейб-гвардии Е.В. Все острова давно уже перешли либо в православие, либо в ислам, только где-то в тайных пещерах оставались, по слухам, жертвенники для древних ритуалов.

Настоящим объединителем этих этносов и земель оказался, однако, марксизм — международная теория классовой борьбы. В унисон с метрополией Кукушкины острова провели у себя революцию и гражданскую войну. Из этого горнила выделилась в качестве любимого вождя примечательная фигура Федота Скопцо. Он был наполовину хохлом, наполовину индейцем-кубарем с характерными для этого племени пучками волос, растущих на ушах, как у рыси. Да и слух у него был рысий. Малейшие смутьянские шепотки в аудитории приводили к тому, что Федот выхватывал свой знаменитый маузер. В начале тридцатых верный ленинец товарищ Скопцо вернулся из Москвы после окончания трехмесячного Института красной профессуры. В столицу океанского края город Революционск (б. Имперск) со всего архипелага были созваны на семинар служители култов: православные попы, муллы и кое-где уцелевшие шаманы Хуразу. В громовой исторической речи профессор Скопцо обвинил всю эту братию в троцкизме и прямо из зала партакадемии отправил на расстрел. После этого акта культовые, да и этнические различия приказали долго жить. Все уцелевшие люди стали образцовыми гражданами радужного социализма.

В 1937 году в Революционск прибыла группа специалистов из Центральной контрольной комиссии ЦК ВКП(б). Приехали вроде бы для расследования некоторых сигналов, указывающих на некоторое искривление линии партии, однако в ходе этой работы группа стала терять своих членов одного за другим и вскоре полностью исчезла. Федоту Скопцо после этого было присвоено звание Героя Социалистического Труда, и в газетах его стали величать «верным учеником вождя трудящихся товарища Шталина». Не удивляйтесь, товарищи, так по местному произношению произносилось и писалось имя Сталина, и ничего с этим нельзя было поделать: не вырывать же языки, не вшивать же новые.

Народ любил этого Федота. Приезжая на фестиваль народного творчества, он отстегивал исторический маузер, чтобы оторвать русского трепака, или украинского гопака, или анчачскую рупсавару с дородными красавицами колхозов. Казнил он так же легко, как миловал. Впрочем, и тех, кого миловал, потом казнил. Поощрял славословие, а народ это понимает, потому что и сам любит славословие. Верховный в Кремле, узнав, что Федота стали велнчать на мистический

лад «отцом и сыном островных народов Советского Союза», вызвал его на ковер, кажется сказав в его адрес историческую фразу «Федот, да не тот». Тут бы ему и конец пришел на этом самом ковре — завернул бы в ковер и выкатили из дворца, — однако другой верховный по соседству начал осуществлять свой «План «Барбаросса», и в Кремле про Федота забыли. В Москву он не поехал, однако всю войну кричал по всем своим радиостанциям: «За Родину, за Сталина!»

Он намного пережил своего любимого учителя. Во всяком случае, успел после хрущевских съездов стащить с пьедесталов массивные культы гранитной личности и заменил их на свои собственные, бронзовые, исполненные революционного романтизма. Увековечившись, он испустил дух, что позволило осиротевшим кукушанам открыть его мавзолей на одной из скал в акватории Революционска. Помнится, тридцать лет назад мы с поэтом Петрушайло давали трешку красноармейцу, охранявшему мемориал, и подолгу вместе с женами загорали на ступенях, уходящих глубоко в прозрачные воды, вдали от переполненных городских пляжей, неизбежно папахивающих сероводородом.

Кстати о кукушкинских пляжах. Их там неслыханное множество благодаря исключительной изрезанности береговой линии, однако в советское время для отдыха трудящихся использовались только 0,1 процента. Все остальное считалось запретной зоной.

Ну довольно, хватит уж растекаться мыслью по этому трахнутому историческому экскурсу! Достаточно сказать, что архипелаг всегда был неотъемлемой частью великого СССР и вместе с ним проходил все фазы распада. В Беловежской пуше его закрыли потной ладонью и с недюжинной лукавостью прохрипотали: «А вот этого уж мы никому не отдадим. Архипелаг далекий, да нашенький!»

Баста, я засыпаю, и тут же кто-то начинает спешить ко мне по гулкому коридору нью-джерсийского госпиталя, а кто-то стоит у меня в ногах, как будто изучает мои подошвы. Кукушкинские сочинения исчезают из башки, как пятна с тарелки под действием моющих средств. Вот все промылось до чистой реальности. Ко мне пришли сказать, что с Любкой все-таки что-то случилось. Вдруг, еще перед тем, как услышать беду, я

понимаю, как невыносимо мне будет потерять эту Любку Андриканис. Нет, совсем не ту юную ведьму с Карадага, а вот именно эту климактерическую, вдребезги психопатическую бабу с ее утолщенным зобом, глазами навывкате, с ее избыточной плотью, выпирающей из дизайнеровского треника агента недвижимости — одну из тех баб, что бороздят округу в своих «ягуарах» (без «ягуара» тут не станешь агентом по недвижимости), что фотографируют полароидом дома на продажу, навешивают на эти дома кодированные замки, втыкают в клумбы таблицы On Sale, быстро подсчитывают проценты финансирования, «клизингов» и до сих пор не понятных мне «пойнтов», а потом закатываются в гимнастические залы и бегут там, бегут по «тредмиллам» или пляшут синхронно с десятками таких же стареющих баб; вся эта средняя и, ох, шикарная Америка!

Что мне в этой Любке Андриканис? Что нас связывает, кроме той ночи на Карадаге тридцать с чем-то лет назад? Романтика не может жить так долго. От такой жизни она превращается в сопли. Я не вижу эту женщину годами, десятилетиями, почти никогда о ней не вспоминаю, и вдруг наплывает нечто неразделимое, близость, от которой никуда не сбежать, и мысль об ее исчезновении из числа двигающихся, потеющих, сопящих, орущих, шепчущих, кушающих, выпивающих, пугающих, садящихся на унитаз, писающих, какающих, читающих, насвистывающих, совокупляющихся, мастурбирующих и об ее присоединении к числу неподвижных, разлагающихся, разъедаемых подземной живностью, распадающихся на куски и размываемых водами, переходящих в гниль и в состав почв, вплоть до костей и костяных трубок — эта мысль была невыносима, и значит, женщина эта была мне почему-то очень близка, иначе я не думал бы о ней с таким натурализмом, как не думаешь в этом ключе о большинстве человеческого рода, уже прошедшего этот процесс. Может быть, Славка нас так сблизжает — мое, как говорят, литературное дегище? Ведь раньше-то, до того, как заварился этот «большой роман», никакой у меня не было душевной тяги к этой Любке, одно лишь романтическое воспоминание; одно из многих, должен признаться.

— Mr. Vaccino, our patient wants to see you, — произнесла медсестра в оливковом халате, туго затянутом вокруг талии. — Follow me, sir, if you please.

Я сбросил ноги с валика дивана и встал, демонстрируя нетвердую готовность, но твердую несгибаемость. Мы двинулись вдвоем мимо дремотных родственников и чуть постанывающих больных, ожидавших своей очереди в приемном покое, к коридору, ведущему в ярко-белый сектор реанимации.

— Is she getting worse, may I ask? — спросил я, набравшись храбрости.

Она мельком, но с отчетливой строгостью взглянула на меня:

— You'll get a chance to talk to her doctor, sir. The only thing I can say is that she is on a respirator for the time being¹.

Все это похоже на приближение развязки, подумал я. Посланица слишком суха и слишком вежлива. Похоже, что понимает свою роль вестницы мрака. Даже не притормозив, она задала свой вопрос:

— Excuse me, sir, are you aware that a dead scolopendrus has stuck to your sole?² — Ее глаз на миг повернулся ко мне с безучастным любопытством синицы. Я приотстал и, подурячки припрыгивая, осмотрел свои подошвы — и левую, и правую. Никакой сколопендры на них не было. Наверное, отпала. Или эта сивилла что-то другое — фонетически близкое — имела в виду? Тут мы вошли в обширную палату, в середине которой под простыней лежала Любка; нижняя часть ее лица была прикрыта пластмассовой маской.

Вообще-то она лежала, как труп. В торчащих из-под простыни конечностях не было жизни. Лицо напоминало грубую лепку по мылу. Только грудь вздымалась, как бы демонстрируя жизнь, но это работал респиратор. Наблюдательная сестрица куда-то исчезла. Я стоял в одиночестве перед проколотым иглами и опутанным трубками телом Любки Незабываемой. Глаза ее были как будто зажаты контрактурой. Похоже, что я опоздал на последнее свидание. В комнату вошли два врача. В одном из них я узнал того, со «скорой», который ин-

¹ Мистер Ваксину, наша пациентка хочет вас видеть. Будьте любезны, следуйте за мной... — Позвольте спросить: ей хуже?... — У вас будет возможность поговорить с ее доктором, сэр. Единственное, что я могу сказать, — она в данный момент на искусственном дыхании (англ.).

² Простите, сэр, вы знаете, что к вашей подошве прилипла дохлая сколопендра? (англ.)

тересовался моей машиной. Второй был постарше — сухошавый лорд медицины. Первый улыбнулся мне, как старому знакомому

— This is that Mr Vaksisakis I told you about, — сказал он старшему.

— Is she dead? — спросил я и, услышав себя со стороны, удивился странному светскому тону вопроса.

Доктор Рекс (так гласила его планка на груди халата) улыбнулся и окинул взглядом пульсирующие цифрами и каляшущиеся зубцами панели приборов.

— Just the other way around, sir. She's coming back. In ten minutes we'll pronounce her in a stable condition. Hey, Ljubby! — громко позвал он.

Неожиданно для меня она открыла глаза и осмотрела нашу группу совершенно осмысленным взглядом. Морщины вокруг ее глаз шевельнулись, как будто она сказала в мой адрес что-то ласковое.

— Are you all Greek, folks? — любопытствовал молодой док.

— Almost, — сказал я.

Оба доктора рассмеялись.

— Almost doesn't count¹, — сказал молодой. И они снова рассмеялись.

Слово almost, очевидно, напомнило им что-то смешное из внутреннего обихода. Они отвели меня к стене и объяснили ситуацию. Куда ни кинь, получалось так, что мистер Ваксисакис, случайно заехав к миссис Эндриканисус-Гоурелли, спас ей жизнь. Вызвав рвоту и отторжение основной массы пилюль, спаситель уменьшил дозу интоксикации в 6,5 раз. Такая точность? Да-да, вот именно в 6,5 раз. Разрешите любопытствовать, какой специфике вашего опыта мы обязаны таким исходом? Это флот, сказал я, но не стал уточнять. Они похлопали в ладоши. Браво! Греческий флот — это awesome, это грозно!

Немало все-таки успело всосаться в стенки желудка нашей пациентки. Временами появлялись симптомы угнетения

¹ Это тот самый мистер Ваксисакис, о котором я тебе говорил... — Она умерла?.. — Наоборот, сэр. Она приходит в себя. В течение десяти минут мы объявим, что она стабильна. Эй, Любби!.. — Вы все греки, народ?.. — Почти... — Почти не считается (англ.).

дыхания и фибрилляции сердца. Вот почему решено было поставить ее на респиратор. Сейчас опасность уже позади. Через полчаса она будет переведена на более мягкий режим, и вы сможете даже обменяться парой-другой фраз.

Через полчаса респиратор был удален. Теперь она полусидела среди подушек. Капельница все еще стояла за ее спиной.

«Эй! — сказал я ей. — Любка-Любка-Потеряла-Юбку!»

Она ответила еле слышно: «Стас, я люблю только тебя и Бульонского».

«Бульонский достоин твоей любви, а я не очень».

Мы улыбнулись друг другу. Она закашлялась: видимо, гортань сильно саднило после трубки. Лицо ее сморщилось и сделалось почти неузнаваемым. Неузнаваемая Незабываемая. Я мог бы еще посидеть возле ее кровати, обмениваясь улыбками и ободряющими фразами, однако я сделал жест «тебе нужен покой», потом другой — «я буду поблизости» и вышел из палаты почти на цыпочках, хотя там не было никого, кого могли бы разбудить обычные шаги. На пороге оглянулся. Она снова улыбнулась, расплылась всем мылом своего теперешнего лица.

Еще немного психреализма

Я вышел на паркинг-лот. После искусственной прохлады госпиталя меня почему-то чрезвычайно удивила сильная жара. Странными показались тяжелые зеленые кроны огромных деревьев и налитые чашки цветов магнолии, как будто я должен был выйти не в июнь, а в ноябрь.

К дальнему углу паркинга по проходу между машинами медленно шел сутулый старик с длинной седой гривой, в накинутах на плечи клетчатом пиджаке. Я пошел вслед за ним, разыскивая «Делорен». Старик, дойдя до конца, повернулся и пошел мне навстречу. Чем ближе он подходил, тем меньше оставалось сомнений: это был ты, Игорь. Ты поднял ладонь к уху и отвел ее в сторону, салютуя на прежний манер: «Привет, старик!»

«Ну что, жива она?» — спросил ты.

«Жива», — ответил я и дальше не знал, что сказать.

«Отсюда семь миль до океана, — сказал ты. — Поехали? Выпьем?»

У тебя был большущий «линкольн-таункар», ты вел его одной рукой, и мы быстро приплыли в другой мир, к дощатому board-уоку¹ над дюнами и к растопырившемуся на сваях ресторану «Буканир», прямо под который с равнодушным шипением подкатывали волны.

Мы уселись на открытой террасе. Здесь жары не чувствовалось. Пеликаны, пролетая мимо, с любопытством посматривали на нас, как бы напрашиваясь в компанию. Подошел официант. Ты, Игорь, заказал двойной шат «Столи». Безо льда. Умеренно охлажденный. Немного перцу. Кайенского. Ты подмигнул мне набухшим веком, как бы напоминая о Джеймсе Бонде в оригинале. Я попросил пива и тарелку поджаренных кальмаров. Очень хотелось есть. Много бы отдал за то, чтобы пожевать здесь в одиночестве, то есть за пределами гореликовской семейной драмы.

Драма, однако, не удалялась. Она висела на наших загривках и заставляла повторять водку и пиво. В конце концов мы подготовили себя для театральщины: я размяк, а ты, Игорь, взвинтился. Губы твои вытянулись в нитку, в глазах засветилась смутная угроза. В чей адрес — непонятно. Прошло, однако, не меньше получаса, а мы все еще не касались нашей темы. Речь шла в основном о русских делах: о развале правительства молодых, о Думе с ее коммунистами (ты теперь называл свой былой орден коммунаганн), о странного рода бандитизме, распространявшемся по всей державе от Калининграда до Кукушкиных островов, ну и так далее.

Я спросил тебя, почему ты не наденешь свой пиджак в рукава, и тут внезапно наша главная тема овладела беседой. Ты сказал, что не можешь этого сделать: рука не пролезает в рукав. Плечо перебинтовано, там скользящая огнестрельная рана — ничего страшного, пуля содрала полоску кожи. Ты юрко проследил за моей реакцией на это сообщение и понял, что я знаю о Любкиной стрельбе.

«Она шмальнула в меня три раза, — сказал ты и понял, что я не знал о количестве выстрелов. Тогда ты стал рассказывать свою версию событий: — Вот из этого ствола. Видишь,

¹ (От англ. board-walk — дощатый настил для прогулок по пляжу.

это «Магнум». Я отнял его у нее, иначе уже лежал бы в морге. Было омерзительное единоборство, сродни, знаешь ли, чемпионату Туркмении по дзюдо. Потом она еще пыталась пробиться к кухонным ножам».

«Фу, черт», — я глубоко вдохнул и выдохнул, словно пытаюсь вынырнуть из наплывающего мрака.

Ты был поражен, увидев у нее пистолет. Откуда он взялся? Стас Ваксино случайно к этому не причастен? Ну, в том смысле, что в поисках литературного материала... Слава Богу! Ты так и знал, что я не имею к этому никакого отношения. Только лишь этого не хватало!

«Отчего у тебя пальцы так дрожат? — спросил я. — Только от стресса или паркинсончик проявляется?»

Ха-ха, сказал ты и предложил мне спросить о твоём паркинсончике у бильярдистов этой страны. Со дня приезда сюда ты еще не проиграл ни одной партии. Говоря о «магнуме», ты приходишь к заключению, что она загодя запаслась оружием. В ожидании событий, а может быть, и в предвкушении оных.

Как все это началось? Ну что ж, ты все мне расскажешь. Ты усмехаешься: ведь не чужой же нам человек этот сочинитель Стас Ваксино. Ведь именно ему в первую очередь звонит ночью оскорбленная женщина. Именно у него просит помощи. И получает ее! Ты начинаешь издали, разглагольствуя о том, что умные люди вообще-то стараются избавляться от своих жен до того, как у тех развивается климакс. Обзаводятся женами помоложе или держат любовниц на стороне. Иные даже, перехитрив судьбу, устраивают в своем доме своего рода гарем, приглашая на жительство какую-нибудь чеховскую тройку сестер. Ты, конечно, шутишь, ты прекрасно понимаешь суть моих отношений с небезызвестными сестрами Остроуховыми. Ты просто хочешь подпустить немного юмора в эту мрачную тему. Искорка юмора никогда не помешает, не так ли?

Ну, в общем, ты просто хочешь сказать, что не относишься к числу таких счастливых мужчин. Ты моногам, тебе так уж предписано в этих порядках. И у твоей единственной женщины развивается климакс. Она начинает постоянно нарываться на скандал. Вопит, что ты ее обокрал. У нее зеленеют щеки и выкатываются зенки. Ты обокрал ее юность! Лишил счастья быть с любимым человеком, познать поиски истины и роман-

тики. Она бросает в тебя чем-нибудь, что под рукой, чаще всего открытой банкой slim-fast¹.

Романтики! Истины! Так кричит баба, которая всю жизнь не интересовалась ничем, кроме втирания в кожу разных мазей. Сначала тебе кажется, что с каждым подобным приступом бешенства ты все ближе подходишь к концу света. Потом ты начинаешь к ним привыкать. Ты даже высчитываешь периодичность таких беснований. Ты находишь в них и некоторое благо, потому что два-три дня после твоя баба испытывает угрызения совести. Нет-нет, не кается, не просит прощения, но зато выпекает поджаристую кулебяку.

Прошлой ночью, однако, обычный сценарий перешел в следующую фазу, разросся до невменяемости. Твоя жена выплеснула тебе в лицо то, что в ней, очевидно, давно накапливалось. Оказывается, ты изуродовал ее физически. Ты убил ее женскую суть, сделав так, что ей пришлось рожать своего единственного ребенка кесаревым сечением. Ты обесплодил ее молодое и здоровое лоно! Привязал ее навеки к себе — таков был твой тайный умысел, так вопила она. Со своим любимым человеком она бы родила множество чудесных детей, мальчиков и девочек! Ты и Славку-то ее единственного всегда ненавидел, потому что ни с кем не хотел ее делить!

Ну, Стас Ваксина, что ты на это скажешь? Ты, Игорь, склонился лицом к столу и теперь смотрел на меня исподлобья. Странное, нерусское, да и не очень-то еврейское лицо с выпученными глазами. Пальцы твои совершали на скатерти столь же странный танец с трепыханиями. Представить себе в этих пальцах бильярдный кий было нелегко.

«Прости, мне нечего сказать. Я этого не знал», — проговорил я.

«Чего не знал?» — простонал он.

«Кесарева сечения».

«Мудак!» — говоришь ты.

Ничего не говорю я.

«Прости», — говоришь ты.

«Да ладно», — говорю я.

Тебе нужно было перед кем-то выговориться, иначе ты мог пустить в ход свой трофей. Так, во всяком случае, объяс-

¹ Средство для похудения (англ.).

няли твои мутные выпученные глаза над трехъярусными мешками. Мужчина, ты сказал, кем бы он ни был, будь это хоть Зевс в его *ad maximum*, не несет ответственности за кесарево сечение. Ответственность несет только бабий сучий и лживый потрох. Это ты, ты, ты, крикнул ты тогда беснующейся Любке, ты, блядь, искурочила всю мою жизнь своим кесаревым сечением! Ты несся под гору с провалившимися тормозами. Ты не родила мне больше ни одного чада! Ни одного чада, ни единого чада, визжал ты, заклинившись на слове «чадо». Этим «чадом» ты как будто молотил ее по бешеной башке. Ты орал ей, что все твое семя пропало втуне, вот так, втуне, растворилось в кислотах пропоротого чрева; чрева! Никакой девочки, нежной и любящей, никакого утешения сердцу униженного отца! Ни одного хорошего мальчика, который бы стал другом и опорой в старости! Ты родила только одно исчадие (вот к чему тебя вело слово «чадо» — к «исчадию!»), да еще и неизвестно от кого! Ты и назвала своего выблядка с фрейдовским подтекстом — Мсти-славом! Ты все это чудовищное кричал, вопил, исторгал, как будто старался избавиться от своего собственниго многолетнего засевшего в тебе монстра. А жена твоя в эти минуты молчала и только вела тебя своим взглядом, как охотник ведет взглядом дичь, а рука ее была по локоть засунута в ящик кухонного стола.

Местом действия безумного диалога была кухня, гордость Любви Ипполитовны, с висящими на стенах медными кастрюлями и сковородками, с гирляндами перцев и чеснока, с огромными часами в супрематистском стиле (все дело заняло не более пятнадцати минут), с неизбежной «Весной» Боттичелли, с экспозицией граненого стекла, а также с дубовой колодой для пучка здоровенных ножей, годных скорее для абордажных боев, чем для американской кухни. Ты продолжал вопить об исчадии. Этот так называемый сын, имени которого нельзя произнести вслух, чтобы не напугать присутствующих! Авантюрист! Гангстер! Волк из бандитской стаи, раздирающей на куски некогда величественное государство! С этим человеком у меня нет ничего общего, а значит, это меня ты оставила бесплодным и одиноким на старости лет, бездушная сука, блядь, блядь!

Тут она вытащила руку из ящика. Рука завершалась пистолетом. Пистолет исторг вспышку и гром. Мгновенное давление воздуха от прошедшей мимо пули. Повторение всех

этих актов физики. Мажет, дура, мелькнуло у тебя. Третий удар обжег плечо.

Ты замолчал, глядя на свой стакан со «Столичной». Гадкая досада терзала меня. Почему-то очень злило, что ты, Игорь, не дал мне как следует пожрать со своими откровениями.

«Ну, что теперь? — спросил я. — Будешь разводиться?»

Ты швырнул в меня стакан с тяжелым дном. Неизвестно, чем бы это кончилось для автора, если бы рука бильярдиста была тверда; мог бы оборваться весь роман. Ты все-таки промазал. Стакан, как пушечное ядро, пролетел мимо моей головы и вышел в сверкающий морской простор. Тут же на него спикировал пеликан. Сосуд оказался у него в клюве. Водка, очевидно, обожгла нёбо морского разведчика. Потрясенный живоглот взмыл на более высокий уровень планирования. Стекляшка шлепнулась в воду. Не знаю уж, каким образом мне удалось увидеть эту душераздирающую сцену, если учесть, что я сидел спиной к морю и продолжал смотреть на твое безумное лицо, Игорь.

«Вот ты, Ваксина, конечно бы, развелся, — прошипел ты. — Сволочь! Гад! Сочинитель! А я с ней не разведусь никогда!» Ты швырнул на стол какие-то доллары и ушел с террасы.

Я доел оставшихся кальмаров, а потом еще намазал маслом свежую хрустящую булку. Хотя бы небольшое вознаграждение за этот вырожденческий московский маразм. Затем добавил к его долларам немного своих и покинул место действия. Нужно вызвать такси, чтобы добраться до «Делорена» и убраться восвояси.

Зеленый закат торжествовал над округой. Лиловатые узкие облака предвещали что-то неожиданное. Теперь иди вперед. Кипела листва платанов. Вдалеке на паркинге сутулый старик — ты, Игорь, — разговаривал с кем-то высоким и стройным. Сделав еще несколько шагов, я увидел, что с тобой, Игорь, стоит не кто иной, как только что проклятый «сын неизвестно от кого», Славка Горелик. Я остановился с поднятой ногой и, прежде чем ее опустить, вспомнил об откровении последней страницы. Кесарево сечение, которое я и не помышлял вводить в роман, о котором просто не знал ничего, вдруг озарило весь ворох уже написанных страниц, то есть все скопление текста внутри нетитулованного файла, каким-то

новым особым свечением. Что мне с этим делать теперь? Бежать? Смываться?

Между тем в округе возникла та особая резкость, что появляется за четверть часа до того, как солнце окончательно исчезнет с горизонта. Отец и сын обнялись. Ты, Игорь, плакал теперь на плече «исчадия», а оно ободряло тебя тихим похлопываньем по спине. Потом ты сел в свой «таункар» и, слава Богу, покинул главу, столь отягощенную твоим присутствием.

Небрежное вознаграждение

«Славка!»

«Стас!»

«Как ты догадался приехать сюда?»

«Да ведь это не в первый раз. Мать привозят в реанимацию, а батя напивается в «Буканире».

Оказалось, что еще вчера Любка позвонила сыну на его сателлитный телефон и в истерике, словно пьяный джазист, выбила длинный квадрат на его барабанной перепонке. Он в это время был в Каракасе и сумел вылететь только утром. Теперь он уже все знает от врачей. Хорошо, что ты, Стас, успел вовремя и спас мою глупую мать. И моего глупого отца, добавил он, помолчав.

На своей наемной машине он вез меня к паркингу «Десяти заповедей». Дороги, перед тем как опустошиться, были забиты нью-йоркским возвратом. Мы еле ползли. Я сказал: «Раз уж мы с вами встретились, достопочтенный Бенни Менделл, я бы хотел кое-что уточнить».

Он хохотнул: «Бенни Менделл? Это откуда?»

Уже давно у нас с ним установились шуточные правила игры: он притворяется, будто не знает, что произошло в предыдущей главе, а я делаю вид, что мне невдомек, куда дальше покатимся. В общем-то правила были не такими уж жесткими, если учесть, что мы нередко менялись местами и все больше запутывались.

В данном случае мне казалось, что я забуксую без уточнения некоторых деталей, связанных с таинственным факсом и с его бегством из Пинкертон. Неожиданно для меня он стал подробно рассказывать. Оказалось, его сильно кинули в Перу. Да-да, в этом царстве пушистых лам и инопланетных стано-

вищ. А началось это, конечно, в Москве. На него вышла группа ребят, бывших математиков из ФИАНа. Нормальные ребята, не из комсы, никаких стволов, взрывчатки, раскаленных утюгов и водки со снотворным, настоящая совинтеллигенция. Предлагалась простая схема. В этом Перу, в ущелье меж двух кочек, на высоте 3000 метров геологи совместного предприятия «Калимакс» нашли большие запасы алюминия. «Калимакс» этот дышит на ладан, что и заинтересовало мальчиков. Разработана была идея создания международного пула инвесторов. Все держится в тайне. На разных биржах начинается скупка почти обесцененных акций «Калимакса». Все они оказываются в наших руках. Между тем новый финансовый поток стимулирует начало промышленных разработок. Тогда мы «выходим из клозета» (в прямом переводе с английского) и объявляем об алюминиевых сокровищах. В дальнейших ходах интриги разберется и сочинитель романов Стас Ваксина. Акции «Калимакса» достигают космических высот, и дети лейтенанта Шмидта получают такой навар, о котором даже неловко говорить двум гуманитариям вроде нас с тобой.

— Ты скажешь, Стас, что это мошенничество, а я тебе отвечу, что если это и мошенничество, то мошенничество предельной строгости и чистоты, сродни внезапно открывшемуся в джунглях кристальному водопаду. Если это обман, Стас, то мы обманщики типа лафонтеновской лисы. Мы просто хотим кусочек сыру и поем дифирамбы бирже. А что такое биржа, если не узаконенный институт обмана? Манипуляторство в мире фантомов становится основой общества. Короче говоря, я выписал фиановцам швейцарский чек, а мой вице Герасим Мумуев занес им чемоданчик лавэ. Став таким образом главным инвестором «Калимакса», я полетел в Перу. Вот тут-то меня ждало то, что впоследствии наш казначей Юрка Эссесер назвал «в чужом Перу похмеле».

Удивительно, как я не почувствовал подвоха еще в Москве. Невозможно было представить, что за симпатиями-математиками стоит комсомольско-бандитская структура ГИТ, а так оно и было. Рудники в Андах оказались липой. Наши башли ушли в чистый криминал, в связанную с 24-й армией кампанию по торговле оружием. Похоже, что через них генерал Удодов делал бизнес с теми, кто любит пострелять в западном полушарии, а также, как ни странно, с кем-то на Кукушкиных островах. Мне там сказали: «Слава, мы тебя уважа-

ем за размах, но, если хочешь жизнью наслаждаться, не выступай».

Все эти разборки проходили в шикарном приморском отеле, полностью захваченном ТНТ. За каждым моим шагом следила их охрана. И все-таки я их кинул. Заплыл однажды далеко в море, вытащил из шортов непромокаемый мешочек со своей «соткой» и поговорил с Москвой. Через два дня прибыли наши: Герка, Маринка, Вертолетчик, Юрка Эссесер — ты их, кажется, почти всех уже знаешь. Они явились туда как раз в тот вечер, когда обсуждался тот самый шоп-лист, который потом нарушил нашу пинкертоновскую идиллию. Во избежание утомительных и неаппетитных деталей скажу только, что мы отобрали у них все, что нам принадлежало, если верить Эссесеру, или почти все, если ему не совсем верить. После этого все рассыпались по разным уголкам мира, а твой покорный слуга выбрал далеко не худший уголок в окрестностях светоча знаний; Боже, благослови его студентов и преподавательский состав. Дальнейшее все происходило на твоих глазах, пока по факсу не прибыло предложение капитулировать.

— Если только это не был сигнал тревоги, — вставил тут я.

Он быстро на меня взглянул.

— Знаешь, мне это в голову никогда не приходило. Кто из них мог там меня предупредить? Там были одни акулы. Впрочем, — он задумался, — среди акул там была одна с дельфиньими замашками. — Он улыбнулся и покрутил башкой, как бы отгоняя посторонние мысли.

— Что было после того, как ты от нас уехал? — спросил я.

Он продолжил свой рассказ:

— Через пять минут я почувствовал, что меня охватывает паника.

— Ты испугался? — удивился я. — А ведь говорят, что кесарята не знают страха.

Он снова быстро на меня посмотрел и насмешливо присвистнул:

— Нет-нет, Стас, это не то — не страх смерти, что-то другое. Нам с тобой придется подумать об этой панике, откуда она взялась. Так или иначе, я бросил «фольксваген» на обочине и попер напрямую через кювет, через кусты, перелез через звукозащитную стену, понесся по газонам какого-то прилич-

ного поселка. Тут хлынул ливень, на паркингах, как твари в джунглях, взвыли и завизжали противоугонные сигналы, ну, в общем, остальное ты дорисуешь сам, а я выскочил к отелю «Четыре сезона», взял там другую машину и поехал на запад. Не знаю, что случилось с «фольксом» на обочине.

— То, что полагается в таких сюжетах, — сказал я. — Взорвался и сгорел.

Славка юмористически пожал плечами: дескать, что и требовалось доказать. После этого перешел на другие темы. Как девчонки? Вот кого мне не хватает — этих сестер О! Хотел бы я стать предметом их культа. То есть тобой, Стас Ваксино. Сидеть вот таким классиком у себя наверху, спускаться к ним, своим преданным мойрам, читать им вслух всякую лажу, ну-ну, не лажу, ну что-нибудь такое в твоём духе, потрясающее устои, нетленку; внимать нелицеприятной критике, переходящей в полный восторг, посещать по ночам то одну, то другую, ну-ну, я шучу, ну хотя бы одну, неприступную для молодежи Вавку — ну что ты, Стас, шуток не понимаешь? Скажи, а Мирка все такая же вумная? А Галка по-прежнему дружит с адмиралом или больше с его бутылкой? А как брат Дельфин? Скажи ему при встрече, что я теперь разнесу его в теннис, как кенгуренка. Да-да, как незрелого кенгуру. Недавно в Мексике я играл с Агасси и чуть не выиграл у него один сет. Парень, правда, мучился поносом.

Мы уже стояли на паркинге госпиталя рядом с похожим на старую борзую «Делореном». Славка продолжал болтать легко и весело, как будто это не его мать лежала тут неподалеку в реанимации и не его отец бродил в отдалении вдоль подстриженных кустов, терзаемый выжигающим все внутри отчаянием. Мне не хотелось прерывать его, но я все-таки задал следующий вопрос:

— Слушай, Славка, тут болтают, что ты якобы убил кого-то в каком-то северном штате, — это правда?

Он запнулся и на мгновение устался в пространство, как будто оттуда, прямо через стекло машины, на него показилось нечто непостижимое, какие-нибудь НБМ и Большой Коричневый вкупе с двумя демиургами Хнумом и Птахом. Потом отстряхнул наваждение и дерзостно рассмеялся.

— Зачем ты спрашиваешь, Стас? Ведь ты же знаешь. Ну хорошо, если хочешь, да, я убил там двоих — князя и графа. (Очень сожалею, но так уж получилось.

— Какой-нибудь большой наезд, да? Крутая разборка? — спросил я.

Должен признаться, эти новые выражения мне не по душе. Я стараюсь их не употреблять, а если приходится, испытываю неловкость. Когда-то в литературных кругах я слыл знатоком жаргона, однако сейчас, после столь долгого отрыва от родины, выпал из современного словесного обихода. Новый линго, возникший в России, отражал несвойственную мне походку. Эти словечки в устах старого чужака вызывали недоуменные взгляды. Так и Славка сейчас глянул на меня и хмыкнул:

— Да нет, это не по бизнесу. Ты же знаешь, не притворяйся, что я везде ищу свою девчонку — Наташку такую Светлякову. Пока я сидел в каземате у большевиков, какие-то гады увезли ее в Америку, и она тут запропала. Иногда мне кажется, что я вот-вот схвачу ее за подол, гонюсь, прущу напролом, увы, вылетаю в пустоту. Однажды, не поверишь, возле Пинкертон, в час пик на 77-й, мне показалось, что она проехала мимо в «роллс-ройсе». Не знаю уж, каким образом, но мне удалось догнать этот «роллс» в пробке возле кольцевой дороги. Черт побери, вместо Наташиной золотой гривы я увидел там только неаппетитную плешь какого-то гуся, который почему-то мне напомнил Центр по изучению и решению конфликтных ситуаций. Впрочем, откуда у этих зануд может взяться «роллс»? В другой раз мне дали знать, что она обретается в Нью-Гемпшире. Я рванул туда и вот там-то и столкнулся с аристократией. — В лице его появилось что-то прежде мне неведомое, некий намек на будущую непроходящую досаду, на mlc. — Там все обернулось каким-то абсурдом, какой-то театральной вакханалией. Прости, Стас, не мое это дело, но мне кажется, ты перебарщиваешь с этим, по-чешски говоря, «дивадлом»; что тут корень — диво или дева? Словом, ее я не встретил, а парни вызвали меня на дуэль — в общем, чушь собачья. — Он двумя руками резко убрал волосы со лба и засмеялся, как бы избавляясь от угрызений совести. — Словом, поиски продолжаютя!

Я поинтересовался, бывал ли он за последний год в России. И не раз, был ответ. Для поддержания бизнеса это необходимо. Однако он всегда приезжает в чужом обличье: борода, длинные волосы, горбик. ТНТ разрастается, у них сейчас везде свои люди, однако простейшие театральные фокусы пока еще

сбивают этих дубин с толку. А ты, батя Стас, как всегда, частый гость на просторах родины чудесной? Великий-могучий-правдивый-свободный все еще кружит голову? Знаешь, в Москве говорят, что назревает историческое шествие писателя земли русской Власа Ваксакова (бывшего Стаса Ваксино) с посохом через Лапландию и Курляндию в Белокаменную на постоянное м.ж.; это верно?

Я ему сказал, что давно уже не был дома, но вскоре поеду в самую экзотическую часть распадающейся родины — на Кукушкины острова. Вот это да, сказал Славка, да ведь я тоже собираюсь на Кукушкины острова. Похоже, что everybody who's somebody¹ едут в этом сезоне на Кукушкины острова.

Мы вышли из его машины, и я направился к «делорену». Оглянувшись, Славка копался в своем багажнике.

— Что у тебя там?! — крикнул я.

— Деньги,— был ответ.

Возит деньги в багажнике — каково? Надо не забыть: «новый русский» возит деньги в багажнике. Славка захлопнул багажник и пошел ко мне, держа в руке желтый «манильский» пакет. Протянул его мне.

— Помнишь, Стас, ты отстегнул мне три грэнда от своих щедрот, а я тебе обещал тысячу процентов интереса. Здесь проценты — можешь не считать, три лимона.

Пакет оказался в моих руках. Материализация литературного вздора была довольно весомой.

— Славка, не дури, какие еще три лимона? Это только в рассказе так получилось.

— В каком еще рассказе? — удивился он.

— «Блюз 116-го маршрута».

— Стас, прости, но я никаких рассказов не читаю, даже твоих. Признаюсь, читаю только американские аэропортовские книжки, причем бормочу себе под нос, но не для кайфа, как это делал Белый, а для улучшения артикуляции. Итак, позволь тебя поздравить: ты — миллионер!

Мы обнялись, и через десять минут я уже был на тёрн-пайке. «Делорен» рывал с новой бодростью, как будто был возбужден поворотом в своей судьбе — стать машиной миллионера! По дороге парни в открытых джипах, очевидно направлявшиеся на очередной сабантуй в Форт-Лодердейл, по-

¹ Сливки общества (англ.).

казывали мне большие пальцы рук и ног, а их телки хлопали себя по ляжкам: *Keep up, sugar daddy!*¹

Боже мой, сколько лет я прожил на этой далекой от дома земле, никогда не вспоминая о Гореликах, и вот к старости стал едва ли не членом семьи, которому можно позвонить среди ночи и попросить немедленной помощи, на которого можно излить весь трупный яд загнивающей любви, которому можно швырнуть в голову тяжелый стакан с кремлевским напитком, которому можно, наконец, подарить три миллиона преступных денег! Где, кстати, этот пакет? Не снижая скорости, я обшарил пассажирское кресло, а потом пространство за креслами. Пакета нигде не было. Может, я бросил его в багажник по примеру Славки? Ну не останавливаться же сейчас. Читатель, не волнуйся, он в багажнике.

Тут я заметил, что у меня все лицо мокрое. Что это — пот или слезы? Что-то текло и из глаз, и с макушки сквозь редкую поросль, собираясь на дряблых ярусах кожи, повисая на разросшихся с годами родинках и перетекая на начинающий уже запекаться подбородок. Я потею и плачу по уходящему веку. Скорблю по ускоряющемуся в своей жажде исчезновения моему столь любимому XX. Чтобы отвлечься от вечной людской печали, я обращаюсь за помощью к памяти, и она снова заворачивает меня на Кукушкины острова.

Грехопаренье

В середине шестидесятых после очередного погрома литературы, учиненного ЦК, я решил смотаться в Революционск. Денег, как всегда, не было. Жена, как всегда, скандалила, подозревая меня в намерении удрать с бабой. Голенький сын и мохнатая собака в тоске следили за моими передвижениями по квартире, беззвучно молили: возьми нас с собой! Удрать было необходимо: партия висела повсюду неподвижной тучей, ссала ледяным дождем. Я снял с буфета саксонскую вазу, бабушкино наследство, отнес ее в комиссионку и, не заходя домой, улетел на Кукушкины острова.

О эти острова, нам всем тогда они казались вольером воли, хотя режим там был по-провинциальному еще более суров

¹ Так держать, дед! (англ.)

и туп, чем в столице. Сама география этих земель и их захватывающие дух пейзажи, очевидно, способствовали этому блаженному заблуждению. Задолго до приземления самолет почему-то — скорее всего, по требованию стражей родины — сильно снижался. Можно было видеть живую массу воды и на ней военные корабли. Всегда неожиданно возникал на горизонте рельеф главного кубарьского хребта. Он медленно приближался, вырастал, обогащался видом трехглавой горы Святош. Самолет садился, и ты сразу видел рядом со зданием аэропорта пучки трепещущих под ветром пальм. Они бесповоротно отвлекали тебя от изваяний исторических истуканов, Ленина, Дзержинского, Федота Скопцо. Юг, Океан, Воля! Транспарант с надписью «Партия дала советскому человеку право на отдых!» превращался просто в раздувающуюся парусину.

В тот день под вечер я добрался до набережной, о которой страстно мечтал в прокисшей Москве. Стоять и смотреть на море — вот и все, что мне нужно. Максимум взоров на перемещение воды, минимум — на перемещение масс. А между тем необычное оживление царило здесь. Взоры, должен признать, то и дело отвлекались к толпе, которая выглядела как-то странно, не совсем по-советски. Какие-то лунатические вывески появились тут со времени моего последнего приезда, например «bodega» (латинскими!), «taco», «tortilla», «Hacienda El Dorados» (все латинскими!), и наконец то, что меня чуть не сшибло с ног, — «Coca-Cola»!!! Все советское между тем было каким-то непостижимым образом замаскировано. На Доску почета, например, было натянуто полотно с танцорками фламенко.

Над толпой слышались усиленные микрофонами команды: «Джинсы, рассредоточиться!», «Джинсовые юбки, подойдите к колоннаде!», «Платформы, платформы, а ну-ка пробежались!», «Плащи, двигайтесь к банку!» Какой-то юркий субъект с громкоговорителем взвизгнул мне прямо в ухо: «Плащ, куда вы тащитесь? Вам же сказали — к банку!» Только тогда я заметил грузовик с откинутыми бортами и на нем знакомого режиссера-литовца. Тогда все прояснилось: здесь на фоне кукушкинского архимодерна идет съемка худфильма о «пылающем континенте».

Кое-как выбравшись из массовки, я пошел к порту, и тут передо мной предстало новое наваждение. У причала рядом с

привычными рыбными тральщиками был ошвартован старинный, но как новенький, пароход с двумя высоченными трубами. На носу у него золотыми буквами значилось имя «Цесаревичъ», а на корме трепыхался дореволюционный триколор. Приблизившись, увидел, что по палубе парохода прогуливаются дамы с парасолями и офицеры в белых фуражках. Один из них перегнулся через борт и крикнул: «Стас! Эй, Ваксино! Стой там, где стоишь, я спускаюсь!» Это был знаменитый актер, мой частый собутыльник тех времен. Предвкушая очередной загул, он скатился по трапу, да не один — за ним влеклись две барышни серебряного века, в которых знающий человек мог тотчас же опознать полупрофессионалок из владивостокского Дома офицеров. «Вперед, Стас! — шумел экзальтированный актер. — Здесь такая клевая бодяга открылась!» Так в устах актерской братии немедленно трансформировалось испанское слово «bodega».

В этой полуподземной «бодяге» среди бочек с вином сошлись представители двух киногрупп. Но там уже сидели и двое из третьей — молодые московские лицедеи, игравшие тут в интерьере бальнеологического курорта юных ленинцев Маркса и Энгельса. Не сняв грима и костюмов, они хлестали дешевое винище и драли воблу. Публика не могла разобраться, кого эти молодчики напоминают, тем более что, хохоча и матерясь, они называли друг друга *mein lieber Karl*, *mein lieber Fritz* и что-то пели на пфальцском языке.

Вбежал, вернее, кувырком скатился народный кумир Невинномысский. Он был в гриме Ленина. Оказалось, тут есть еще и четвертая киногруппа, снимающая фильм «Ленин на Кукушкиных островах». Этот малый, считавшийся большим борцом за «правду XX съезда», вопил своим молодым друзьям: «Святотатцы! Святотатцы!», в том смысле, что, перевоплотившись в святые образы, они не имеют права, не сняв грима, надираться в «бодяге». Вскоре они, уже втроем, хлестали винище и голосили «Черного кота».

Между тем постановщик фильма о «пылающем континенте», рослый, с трубным голосом Гришка Гравитаускас, уже спускался в подвал во главе своей камарильи. Какой-то подголосок докладывал ему, что горком КПСС требует немедленно снять оцепление с набережной и боковых улиц. Гришка зычно отвечивал: «Передай им, что, пока я здесь снимаю, их горкому придется работать в подполье!»

Подвал в конце концов заполнился до отказа киношной братией и девчонками из массовки. У всех в ту ночь крыша поехала под океанским пассатом и среди декораций внешнего мира. Пили, насколько помнится, чудовищную гадость — крепленый портвейн, — но чувствовали себя великолепно.

Боже мой, да что же это было за время такое, думал я сейчас под ровный гул мотора «Делорена» на федеральной трассе 95. Что за перекрученные мозги, что за безумные эскапады? Смутный и бесноватый ропот рабов. В тридцать лет чувствуешь себя пацаном, солдатом в самоволке. Отвергаешь безбожие, но и не преклоняешься перед Богом. Химическая буза затягивает тебя в прорву язычества; вакх-аналия, грехопарение. К счастью, не все постыдные мизансцены нашей «бодяги» ясно высвечиваются в памяти, а дальнейшее скотство, всю ночь до утра, в турбазе «Кубарьская коммуна» вообще завихряется в темной воронке; не гони, не жми на педаль, старик, ограничение скорости 65 миль в час.

Когда я вернулся в двенадцатом часу ночи, весь дом был освещен, в окнах двигались бодрые люди. Оказалось, за это время прибыл Дельфин со всем своим семейством, то есть с женой Сигурни, тестем Малкольмом Тейт-Слюссари и моими внучатами Полом и Кэтти. Сестры накрывали на стол, полихали телевизоры, звучал мажорный Бетховен, и мой приезд не сразу был замечен.





ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

Кукушкины острова

малый роман

На борту «Муромца»

Итак, во второй половине девяностых, в какой точно год — не важно, в сезон Блаженных Пассатов в Революционск стали стекаться со всей метрополии, а также из ближнего и дальнего зарубежья многочисленные посланники на Месячник Островов российских. Значение этому событию придавалось исключительное: месячник, прежде всего, должен был подтвердить целостность тысячелетнего государства. Невзирая ни на какие тектонические сдвиги, оторвавшие за последние годы от геологически единого массива отдельные куски суши, в умах и сердцах подлинных патриотов Русь должна была предстать как несокрушимый монолит.

Эту тенденцию писатель Стас Ваксина уловил, едва лишь вошел в первый класс самолета «Илья Муромец» аэрокомпании «Кукушкины крылья». Все кресла, кроме его собственного, были уже заняты известными членами Государственной Думы от левых фракций. Устраиваясь и поглядывая на сополетников, он узнавал примелькавшиеся телевизионные образины преда Шкандыбы, головы Жиганькова, воителя Калоша, ваятеля Саблезуба. Странная произошла трансформация понятия «левый», думал он. Ну какие же они левые, эти бывшие обкомщики и райкомщики, гэбэшники скрытые и явные, солдафоны советской муштры, мужланы в дорогуших костюмен-

циях, будто пошитых в закрытых ателье их любимой эпохи? Что общего у них с европейской «левой» — ну, скажем, с троцкистами двадцатых годов, с Маяковским, Бриками, Луи Арагоном? Можно ли назвать левыми людей, жаждущих восстановить самую кондовую версию сталинизма, всеми фибрами души ненавидящих всяческое западничество?

Тут Ваксина заметил, что и сам является объектом внимания со стороны попутчиков. То депутат-гэкачепист Дубастый шибанет взглядом, то Саблезуб смажет лукавиной, а то и сам товарищ Жиганьков наострит глазик, похожий на клюквочку в квашеной капусте. Кое-кто даже переговаривался или через стюардессу обменивался записочками явно по его душу. Что это значит, да и вообще, как я оказался в такой компании, подумал старый космополит. Вдруг обожгло: да ведь там, на Кукушкиных-то островах, вроде бы недавно власть сменилась! Кажется, и «Пост» и «Таймс» писали о том, что на выборах в русских заморских территориях, этих самых Cuckoo Islands, победу одержали коммунисты. Вот теперь все они, эти «левые силы», и съезжаются туда как в свою вотчину. Да, но я-то тут при чем, меня-то почему к «красному поясу» пристегнули, да еще и дорогу оплатили первым классом? Ведь я-то для них в лучшем случае «бездородный отщепенец» — не так ли?

События далее приняли еще более странный оборот. После взлета за завтраком «левые силы» сильно поддали. Жиганьков поднял тост «За Неделимую!», и все обернулись с бокалами к писателю, а те, кому было не с руки, вылезли из кресел и подошли поближе.

— Хотим вас поприветствовать, Влас Ваксаков, писатель земли русской! — произнес Дубастый.

— За Власа! — прошумела вся кабина.

Далее изумленный профессор сообразил, что и здесь, как в университете, его трактуют Власом, а не Стасом, хотя ему казалось, что прежнее имя давно уже на родине забыто. Подоплека этого сюрприза оказалась на редкость нехитрой.

Чуть ли не сорок лет назад он вошел в советскую литературу с четырьмя повестушками о деревне. Почвенники тогда шумно приветствовали молодой талант — нашего полку прибыло! Парень и выглядел ладно, волжанин с ударением на «о», носил бороду лопатой на бурлацкий манер, да и имя имел хорошее, исконное — Влас Ваксаков! Сколько воды и водки с

той поры утекло, в этой повести не подсчитаешь, корежило литературного व्यоношу так, что и бороду свою он где-то в богемных вихрях забыл, и имя свое извратил на интернетовский манер за многолетье до Интернета, а вот, оказывается, в памяти нынешних политвитязей так и остался автором четырех опусов о почвах: «Овсо», «Пшано», «Зыби» и «Зяби». В последней штучке, надо сказать, проглядывало уже что-то антинародное, был уже сигнал тревоги еще в те времена в «Нашем современнике», однако и об этом теперь никто не вспомнил. Ты наш, Влас!

— Позвольте, господа, — воспротивился было Ваксино, но был прерван тяжелой, но ласковой дланью Шкандыбы.

— А вот так не надо, Власушко! Зачем же так поинностранному-то — «господа»? У нас тут товарищество нарастает!

— Вы хотите сказать, что «господа» — это поинностранному? — удивился литератор.

Державный ваятель Саблезуб укоризненно, но товарищески, как один человек искусства другому, проговорил, покручивая голову:

— Эх, скрутила тебя чужбина, Влас! А ведь как, я помню, ты зяби-то наши пел, как ты их оглаживал равнодушной рукою, как они под ладонью твоею шелестели зеленой волной!

— Ни фига они не шелестели! — начал злиться сочинитель. — Зяби, господин депутат от аграрной партии, шелестеть не могут. Это не растения, к вашему сведенью! Зяби — это вспаханная земля-с! — Напрасно я добавил это «с», подумал он, злясь теперь уже на самого себя. Разве можно в стиле Таврического дворца-то с воровской шайкой?

Депутатам, однако, эта «земля-с» чрезвычайно понравилась. Вот так надо теперь говорить, как Ленин. Такой сарказм будет высказан «Яблоку»-с, господа-с! Калаш позвал стюардесс:

— Нут-ко, Тамарушка, Ольгушка, откройте-ка нам «Кликуши»!

Девушки тут же явились с «Вдовой Клико». Тост был предложен опять за Власа Ваксакова, на книгах которого, оказывается, все присутствующие росли. Проросло твое овсо, наш друг, в сердцах русичей, хоть и пришлось тебе намаяться на чужбине!

Стас совсем взъярился:

— Какой я вам Влас?! Вы, я вижу, ничего не знаете моего, кроме тех повестушек. Ну так знайте, я автор двадцати больших романов под другим, то есть моим настоящим, литературным именем!

Компания как бы не особенно и вслушивалась в его восклицания, посмеивалась, переговаривалась друг с другом, один только идеолог Жиганьков был очень внимателен, даже рукой расширил орган слуха. Выслушав, приблизился вплотную и под той же самой рукою, которой слушал, шепотнул:

— Забудь, Влас, это все наносное. Забудешь, и мы не вспомним.

Тут «Илья Муромец» вошел в зону турбулентности, и депутаты разошлись по своим креслам то ли предвкушать победу народного блока и запрет всех других партий, то ли, наоборот, кошмариться от противоположной перспективы: сатрапы Ельцина разгоняют Думу и запрещают авангард трудящихся. Куда меня несет, ныло в зубах у Стаса Ваксино. Ведь не в страну богемных воспоминаний лечу, а в чистый совдеп.

Оказалось не так все однозначно.

В аэропорту делегацию «левых думцев» ждала огромная толпа островитян с красными знаменами, православными хоругвями, портретами Ленина, Федота Скопцо и главного гостя Жиганькова. Нашлись, однако, и те, кому интересен был Стас Ваксино. Группа журналистов, не обращая внимания на коммунаг, окружила старого сочинителя. Ни о каком Владе Ваксакове они никогда и не слышали, а вот ваксиновские романы явно читали.

— Вы даже не представляете, господин Ваксино, какое значение ваш приезд имеет для тех, кто еще не совсем спятил на Кукушкиных островах, — сказала ему молодая остроносая журналистка.

Стас, взглянув на нее, вдруг задумался о феномене нового русского остроносия и стал отвечать невпопад.

Как старый человек, он помнил времена, когда подобные остренькие выступления лиц были на родине редкостью. Доминировали все-таки кругленькие пенечки, дырочками слегка вверх. А нынче весь русский тип, особенно в женской части, как-то по-немецки заострился. В то же время в Германии распространились среди девушек широкие славянские скулы, полные губы и вздернутые носы. Вот таким образом спустя

несколько послевоенных поколений стал проявляться обмен генами, что происходит волей-неволей, когда орды бесноватых мужиков входят в поработанные женские территории.

— ...и все-таки частью постмодернистского направления, не так ли? — завершил свой вопрос журналист в майке экологического общества «Эвкалипт».

— But of course. — Ваксина невольно стал отвечать по-английски. — I was a part of it before I came into being¹.

Журналисты пришли в восторг, но не от остроумия старика, а от своих собственных возможностей. Заголовок был готов: «Русский писатель отвечает по-английски».

Все это происходило, надо сказать, прямо на летном поле, едва ли не под натрудившимися соплами «Ильи». По наблюдениям Ваксина, российская элита того за людей не считает, кому не подают автомобиль к трапу. При разборке транспортных средств выясняется, кто есть кто. Главный ленинец федерации Жиганьков безошибочно направился к длинному лимузину. Так и Леинн бы сделал. Проходя мимо трехцветного флажка на крыле хамовоза, он небрежно шелкнул по нему пальцем, от чего преданный электорат понимающе взвыл. Владыка Филарет был встречен братией на «Мерседесе-600», который с отменной мощностью умчал Его Преосвященство в висящую над Революционным горную обитель. Ну, и так далее.

Постмодернист на такие т.с., конечно, не рассчитывал. Ведомый длинноносой русской островитянкой, он начал было пробираться к стоянке такси, однако был остановлен казаками. Оказывается, и для «человека сложной судьбы» был приготовлен экипаж, хоть и обычная черная «Волга», но с синей мигалкой на крыше. Казаки оттерли журналистов, и Стас, вернее, Влас плюхнулся на заднее сиденье, до сих пор хранившее запах обкомовских задниц.

Когда-то, году так в 66-м, что ли, такая же «Волга» ждала его в этом же аэропорту, и в ней сидел пьяный кореш, местный поэт Ян Петрушайло. Им обоим было тогда немного за тридцать, и вечный хмельной кураж гнал их на одно из сидел трехглавого Святоша, в турбазу, где, казалось им, сохранился нетронутым пузырь свободы. По дороге, на серпантинах, в ви-

¹ Разумеется. Я был его частью еще до своего появления на свет (англ.).

ду открывающихся долин с казачьими поселениями, Петрушайло бахвалился глубинной причастностью к экзотической земле. «Глянь-ка налево, Стас, видишь, там сторожевой хутор Дикарь, в нем мы насчитываем семьсот сабель. Готовы выступить по первому призыву. Глянь-ка направо, белоручка Ваксино, перед тобой сторожевой хутор Есаул, восемьсот сабель готовы к походу!»

Обкомовский шофер покрывал: «Ну, это уж ты преувеличиваешь, Янко. В Есауле и пятисот сабель не наберется. Другое дело — вон там, на склоне, линейная бригада Кавалеровская, она может и тысячу клинков представить». Давно уже тут не было никаких «сторожевых хуторов» и «линейных бригад», вместо них стояли расказаченные колхозы — имени Ленина, имени Кирова, имени XIX партсъезда, однако шофер и поэт — он же инструктор отдела культуры — с удовольствием разыгрывали перед приезжим какой-то блеф по мотивам казачьей вольницы.

Нынешний шофер явно не был расположен к мистификациям, да и возрастом сильно отличался от той вечно поддатой молодежи. У него были инструкции по доставке именитого гостя в гостиницу «Бельмонд», что в самом центре на углу Орджоникидзе и Дзержинского, и он их строго выполнял с хмуроватым, но добросовестным профессионализмом. Рука с морской наколкой — русалка, оседлавшая якорь, — тяжело лежала на руле.

Залитые закатным солнцем предгорья были знакомы не меньше, чем эта наколка. В то же время трудно было представить, что это те же самые предгорья тридцатилетней давности. Вдоль дороги иногда мелькали какие-то признаки мелкой капиталистической активности. Например, появилась ярко раскрашенная фигура ковбоя с плотоядной улыбкой и с надписью над головой: «Шашлык есть всегда!», что представляло как рекламную игру слов, так и глубокую историческую альтернативу. Доминировали, однако, стоящие среди блочных пятиэтажек монументы: то высокопарный латунный Скопцо, то тяжелый цементный Ильич, как всегда в жарких краях, облаченный в пальто и коверкотовую кепку.

Казаки на мотоциклах неслись вровень с кортежем машин. На обочинах кое-где виднелись кучки граждан то под красными, то под трехцветными флагами. Ваксино поинтере-

совался, какой населенный пункт они в данный момент проезжают.

— Сторожевой хутор Индюк, — ответил шофер.

— Сколько сабель? — спросил писатель ради шутки.

— Четыреста семьдесят, — был ответ. Как видно, кое-что здесь все-таки было восстановлено по историческим стандартам.

Ваксино поймал на себе взгляд водителя из зеркальца заднего вида. Тот явно присматривался. Русалка в обнимку с якорем по-прежнему маячила то ли в глазах, то ли в памяти.

— Прошу прощения, м-м-м... товарищ водитель, не может ли быть такого чуда, что мы с вами уже встречались на кукушкинских дорогах?

Водительские уши шевельнулись, как бывает у некоторых людей при улыбке.

— Нет-нет, господин Ваксино, такие варианты только в книгах случаются. — Несколько минут ехали молча. Потом водитель задал вопрос: — Ну, как вы там?

— Что и где? — переспросил Ваксино.

— Как вы там живете-то в Америке?

— А почему вы решили, что я из Америки?

— У вас пиджак американского кроя.

Ваксино рассмеялся, довольный. Затасканный пиджакишко вдруг приобрел знаковую ценность: пиджак американского кроя! После этого они познакомились и разговорились.

— А против кого тут сабли точатся, Анатолий Сергеевич? — спросил писатель.

— А против тех, кто нам жить не дает на благодатных Кукушкиных островах. С самого начала перестройки от них житья нет, — ответил водитель.

— Против криминала, что ли?

— Ну, криминал само собой, а главное, Стас Аполлинариевич, нерусь заела. Отвязались вконец. Возомнили себя расой господ, а Москва им только потакает.

Тут он воспламенился. От профессиональной апатии не осталось и следа. Было видно, что эта тема животрепещет на островах. Трепещет так живо, что недалеко и до агонии. Возрождение национального самосознания коренных народов идет на волне терроризма, угона самолетов и кораблей, грабежей и поджогов, бешеного живодерства, пыток, захвата заложников, часть которых возвращают за огромные баксы,

чтобы потом опять захватить, часть продают в рабство или на органы разбирают, если есть покупатели в богатых странах, а третью часть режут для собственного удовольствия. Самое же унижительное для нас, казаков, это насилие над нашими молодыми женщинами. Вот совсем недавно, Стас Аполлинариевич, мою троюродную племянницу Виолетту, хорошая была девчонка, в консерваторию готовилась, прямо на улице захватили хуразиты из Шабаргэ, отвезли через пролив в свой Коммунск-Чинари, заперли у богатого колдуна в подвале, и там ее каждую ночь по пятнадцать нажратых посещали. Что делать? Я знал этого колдуна еще по обкомовским временам — он был замзавом сектора партпросвещения. Знал и где вила его располагается, однако в милицию обращаться было бессмысленно: ни один мент в Чинари не сунется, жизнь дороже. Пришлось обращаться к десанту, помогли старые связи. Отдал им все, что собрал на евроремонт — три тысячи баксов, — и они вытащили девку. Оказалось, вовремя. Вакапутов, ну этот колдун, уже продал ее на Анчач такому Табаззу, полевому командиру, а ведь с Анчача то, что от девчат остается, отправляют в Меделинский картель, и уж больше не найдешь. Вот такая история, дорогой писатель, и я вас уверяю, что каждый третий житель на Кукушкинских островах — нет, каждый второй — расскажет вам в этом роде из личного опыта.

Анатолий посмотрел на часы. Ваксина отметил марку: «Командирские» с красной звездой и серп-и-молотом.

— Вы не возражаете, если мы на пять минут отклонимся от маршрута?

— Надеюсь, нас хуразиты не захватят? — пошутил Ваксина и тут же подумал, что шутка неуместна после такого рассказа.

— Маловероятно, — усмехнулся водитель. — Я, знаете ли, из гаража теперь без четырех гранат не выезжаю. — Он приоткрыл бардачок, там рядом лежали и смотрели на Ваксина четыре пехотные гранаты.

Любой сочинитель на месте Стаса Аполлинариевича был бы счастлив увидеть такую деталь, как четыре гранаты в перчаточном отделении автомобиля, да он и сам не был исключением. На этих гранатах, в принципе, можно было бы и завершить диалог с кукушкинским водителем, однако он ждал дальнейших излияний. Четыре гранаты — это слишком киношный прием в стиле голливудского реализма, а здесь

все-таки идет повесть совсем другого рода. Хочешь не хочешь, придется задать вопрос, который и так уж свисает с кончика языка.

— Скажите, Анатолий Сергеевич, почему у вас народ голосует за коммунистов?

— Неужели непонятно, Стас Аполлинариевич? — как бы даже обиделся водитель. — Народ за черта лысого проголосует, если ему пообещают защиту. На Москву у нас уже не надеются, если нерусь пойдет на штурм.

Штурм, запомнил сочинитель и взглядом, и носом, и движением рук ободрил водителя к продолжению. Тот продолжил:

— А коммунаги вопят — не позволим глумиться над нашей историей! — Он безнадежно отмахнул рукой. — А в общем-то это чистая демагогия. Они все уже повязались с теми же колдунами и полками. Те им то ржавым ножом грозят, то чемоданы с капустой заносят. А народ тем временем бежит на материк. Дома продают по двадцать тысяч. Двадцать тысяч рублей, мой дорогой, не баксов — воображаете?! И все равно покупателей нету. Вот эта улица Павлика Морозова совсем опустела.

Улица со светлым именем советского отцепредателя была, очевидно, еще недавно вполне зажиточной. Кирпичные мешанские дома и порядочные сотки участков говорили сами за себя. Увы, дома пустовали, немало стекол было побито, кое-где и двери сорваны с петель или покачивались в одиночестве. Сотки одичали, заросли полутропическими сорняками. В зарослях полубезумием поблескивали глаза брошенных домашних животных. То тут, то там прыскали большие ящерицы.

На углу Павлика Морозова, возле почтового ящика, в кресле-каталке сидел инвалид.

— Вот ради этой персоны мы с вами, Стас Аполлинариевич, и сделали небольшой крюк, — сказал водитель.

— Да кто это?! — вскричал Ваксина, глядя на бледно-голубые, «материковые», как здесь говорили, глаза, осветившиеся жизнью при виде автомобиля, на тощие бледные руки старика, опустившиеся на колени из коротких рукавов чистенькой рубашки, на которой углы глажки были так остры, что сразу можно было предположить, что она не один месяц пролежала под спудом.

— Это наш поэт Ян Петрушайло, — пояснил водитель. — Узнав о вашем приезде, он попросил меня хоть на минуту остановиться возле его дома.

— Да что с ним стало? — пробормотал растерянный Ваксино.

— Просто старость, — сказал Анатолий Сергеевич.

Ваксино бодро выскочил из машины, как бы показывая, что старость старости рознь. Может, водка разжижила Янко, может, местный табак задурил, только дело не в счете лет. Взгляните, мол, на Ваксино, и сами убедитесь. Потом казнили. Петрушайло попытался протянуть к нему беспомощные руки, которые вроде бы еще совсем недавно творили столько безобразий зрелого и здорового человека.

— Стасинька, Стасинька! Ты приехал! А ведь никто, никогда... Это Сергеичу спасибо! Сергеич, от поэзии тебе спасибо! Стаська, друг мой, а помнишь... — То ли от нахлынувшей массы воспоминаний, то ли от отсутствия чего-либо более-менее отчетливого он не закончил фразы.

Они обнялись. Запашок, подумал Ваксино. Он вдруг вспомнил, как в юности, на всесоюзной конференции молодых писателей, в Питере, что ли, ну да, в городе над Невой, загуляли они с Петрушайло по-есенински, по-павловасильевски, вопили в какой-то компании о своей гениальности, сшибались лбами с другими претендентами на корону литературы, девицам под юбки залезали с выпренными дифирамбами, а потом, вышибленные наружу ногами и предметами, брели по проспекту Стачек, где не было ни души, и койку с панцирной сеткой купили у ночного сторожа мебельного магазина, и койку эту поставили посреди тротуара, и спали на ней валетом, пока не расцвел в этом городе новый трудовой день, пока не приехала милиция.

— А помнишь койку-то с панцирной сеткой, Янко? — спросил он у старика и замер, потому что все-таки не был до конца уверен, что это именно тот самый друг паршивой юности.

— Койку? Да как же, Стасинька. — Мордочка старика на мгновение запеклась в мучительных морщинах. — Койку-то? Да как же! — Разгладилась тоже на мгновение и снова запеклась. — Сергеич, я тебе про койку-то рассказывал? — повернулся он к шоферу.

— Рассказывал, рассказывал, — подтвердил тот.

— Видишь, Стасинька, я ему не раз про эту койку рассказывал! Немало поэтов все-таки на этой панцирной сетке-то в общаге Литинститута покачивались, верно?

Все перепутал, с досадой подумал Ваксино. Тут Ян Петрушайло вынул из кармана серую книжонку толщиной в палец. Это был сборник его стихов под названием «Странствия соловья» в местном кукушкинском издании.

— Стасинька, это тебе на память. Тут мое лучшее все. Захочешь, издай там. — Он со значением подмигнул. — Пусть увидят нового Яна Петрушайло. А главное, читай сам, сам и знай, и знай... — Тут он заслезился, потек и стал отключаться от контекста: слишком силен, очевидно, был подъем эмоций.

Анатолий Сергеевич подвез его в коляске к дому, в окне которого, оказывается, за всей этой сценой наблюдала еще не старая баба с каменной неприветливостью лица, довольно типичного для затерянных в океане русских баб. Вернувшись на свое место за рулем, он с некоторым смущением проговорил:

— Это все-таки вам не Америка, Стас Аполлинариевич.

Можно кончить и на этой фразе — вполне приличная кода для квадрата импровизаций, но можно пропустить несколько тактов, раскрыть наугад «Странствия соловья» и прочесть строфу:

То штнль царит литья стального,
То сонмы бурь.
Три ноты есть, все остальное —
Сплошной сумбур.

Если читатель не заметит крошечной грамматической погрешности и будет снисходителен к рифмам, он может удивиться точности чувств.

Мир искусства

Далее все действие переносится в зону отеля «Бельмонд», где можно даже и забыть, что находишься на Кукушкиных островах бывшего Советского Союза. Вышколенные гарды из лучших охранных агентств Москвы и Острова Крыма, присутствующие на всех этажах и в саду, исключают всякую возмож-

ность появления здесь всякой «неруси» из поклонников местных божеств Бальдека, Гамедо и Хуразу, да, впрочем, и иных православных с недостаточным воспитанием. Везде за пределами ваших покоев звучит приглушенная музыка, в основном Стравинский и Прокофьев. В покоях же спутниковое телевидение и автономная телефонная система соединяют вас со всем миром. Холлы и коридоры украшены тут великолепными шелкографическими копиями художников начала века. Сервис улыбчивый, тихий и, что поразительно, очень быстрый. Ну, словом, высший международный класс, если уж не придираться к небольшим и случайным проявлениям совка: ну, скажем, выключатель лампы находится не под рукой, а на противоположной стене, или рулон туалетной бумаги не обладает должной дыркой для надевания на изящный медный штырек, а посему просто лежит на ампирной табуреточке — но ведь это, согласитесь, сущие мелочи, их не стоило бы даже и упоминать, если бы не придирчивость Стаса Ваксина.

Он помнил этот отель в стиле *belle époque* по прежним советским временам. В досоветские прежние времена, в 1910 году, «Belmonde» был построен как раз для придания Имперску первоклассного туристического а-ля «Контора Кука» шику и петербургского современного намека. В советские времена почти все эти намеки испарились. В здание стали вселяться полезные учреждения вроде отдела снабжения сейнерного флота, госкомхоза, краеведческого музея и т.п. Только лишь в одном крыле существовала задрипанная гостиница «Дружба», где то и дело замыкалось электричество, пропадала то горячая вода, то холодная вода, а то и всякая вода, обваливались потолки, но зато постоянно слышался пьяный рев командированных.

Представить себе возрождение этого величественного и тревожно манящего здания мог только какой-нибудь писатель вроде Ваксина, что он нередко и делал по ночам, сидя на парапете набережной, глядя на венчающий угловую башню огромный глобус, вставляя силой воображения этому глобусу выбитые зеркальные бока, той же силой возрождая лица и конечности изуродованным океанским титанам, на плечах которых сей глобус покоился, восстанавливая осыпавшийся с фасада майзельский кафель.

Однако и он не мог себе тогда представить, что произойдет с этим отелем в новые времена, среди разрухи со-

циализма, среди отвязанной паники, среди воровства и хуражитства. Дом и парк вдруг по мановению чьей-то руки (чьей? чьей?) превратились в то, что по праву можно было назвать «жемчужиной Российской Океании» и представить как отличное место действия этой повести в его собственном ваксиновском ключе.

Телефоны тут тоже звонили мягко, как бы давая понять, что отвечать необязательно. Третий уже раз, включая запись, Ваксино слушал любезнейший голос портье, который изящно напоминал, что его ждут в зале «Колхида» на банкете по случаю Месячника Островов. Отзвонив и сказавшись занятым — приглашение на банкет знаменитого кукушкинского поэта Яна Петрушайло, — Ваксино отправился на обследование своих новых декораций. Отель, казалось, был еще мало заселен. В коридорах не встретилось ни души за исключением бесшумных, как призраки, слуг. Все они кланялись по-английски, а также шептали good evening, одними губами, но доходчиво. Он вышел в парк и был очарован лиловыми сумерками. То тут, то там среди ухоженной листвы светились мраморы то Аполлона, то Психеи. Не меньше часа он бродил по хрустящим под подошвами аллеям, внимал фонтанам, которые, казалось, пели пушкинский стих, обонял вживе известный в поэзии феномен «Букет Архипелага» и все жалел, что стал стар и приходится сочинять роман вместо того, чтобы быть его участником. Он не сразу понял, что на страницах этого «малого романа» он присутствует в третьем лице.

Между тем совсем стемнело. «Бельмонд» озарился искусной подсветкой, что выгодно подчеркивало его благородное происхождение. Окна номеров были темны, светилась только одна из так называемых «президентских квартир» на третьем этаже. Оттуда доносились переборы гитары. Женский голос пел по-русски, останавливаясь, возвращаясь и продолжая, то ли заучивая новую вещь, то ли сочиняя.

Мой братец во грехе, ха-ха, мой нежный брат,
Пою тебе стихи, все с рифмами хромыми.
Ночной той гребли плот у нас не отобрать,
Все мнится Ланселот Франческе да Римини.

Ваксино поднялся на обширную террасу прямо под этими окнами, но пение скоро оборвалось, затихла и гитара. Он сел в кресло лицом к горам. Хребет был подчеркнут светом полной луны, которая и здесь позировала со своей извечной претензией на вечность, если так можно выразиться без претензии на каламбур. Ну а если нельзя, забудем об этом. За хребтом, замыкая ночной прозрачный горизонт, высился трехглавый Святош. Именно из-за Святоша выдвинулось и преодолело расстояние летающее блюдо. Нельзя сказать, большое или малое. Нельзя сказать, в секунды пришло или ташилось тысячелетиями. С натяжкой можно сказать, что круглое и светящееся. Теперь оно висело прямо над фонтаном «Купающийся фавн» и общалось с Ваксино. Да это ведь может быть мой Прозрачный, подумал он, и блюдо тут же ответило: «Угадал».

Неподалеку что-то прошуршало. Он повернул голову и увидел, что по соседству в кресло садится высокая девушка в вечернем платье и наброшенной на плечи куртке «Адидас». Летающее блюдо ушло за Святош, исчезло.

— Вы видели? — спросил он девушку.

— Да, — сказала она. Это была та самая, что пела.

Он не знал, что дальше сказать. Она повернула к нему глаз, сверкнувший, как кусочек НЛО.

— А еще говорят, что они просто атмосферные явления, — грустно она добавила.

— Ну конечно, они атмосферные явления! — воскликнул он. — Почему бы им, ко всему прочему, не быть еще атмосферными явлениями?

— А вы горяч! — засмеялась она.

Он похолодел: уж не заигрывает ли она со мной? Она снова поникла, отвернулась, пробормотала, не обращая к нему:

— Иногда мне кажется, что это попытки умерших проникнуть к нам, живущим. Вот так моя сестра, быть может...

Он молчал, боясь ее спугнуть. Она продолжала:

— Ведь вы же не знали, что у меня была сестра, не правда ли? Она родилась за год до меня, мертвой. Вот почему меня извлекли из мамы кесаревым сечением.

— Вас тоже?! — воскликнул он. — Боги, я этого не знал!

Она расхохоталась и встала из кресла.

— Вот почему, как все кесарята, я ни черта не боюсь, идиотка. Я даже и вас не боюсь — не знаю, как вас по батюшке. — Сбросила адидасовский куртяк и предстала с голыми плечами. — Хочешь трахнуть меня, старик? — Сделала шаг к нему, запустила пальцы в свои волосы и вздыбила их так, что они замелькали искрами.

Он тоже встал и отошел в сторону.

— Вы предназначены другому, мисс.

Она еще пуще расхохоталась.

— Вы имеете в виду барона, с которым я приехала?

— Нет, я имею в виду того, кто ищет вас уже несколько лет.

— Вы что, его отец?

— Я считаю его своим литературным детищем.

Здесь диалог был прерван громкими звуками. Поблизости за углом открылось сразу несколько окон. Немолодой голошишко взвизгнул: «Да где же эта чертовка Какаша?» Вслед за этим загремел хор патриотического банкета:

Белоруссия родная!
Украина золотая!
Ваше счастье молодое
Мы своими штыками оградим!

Новые горизонты

Между тем к архипелагу на очень большой высоте, то есть там, где не качает, приближался личный самолет человека, по мановению чьей (чьей? чьей?) руки как раз и был заново отстроен отель «Бельмонд». Размером этот аппарат был меньше «Муромца», но стоил намного дороже, и если в брюхе «богатырей» всегда было навалено множество разномастного багажа, включая и раздутые сумки вездесущих «челноков», и разопревшие картонные, еле удерживаемые от развала клейкой лентой, то в трюме «Горизонта» (таково было имя уникального борта) в идеальном пространстве стояли только предметы первоклассного багажного набора от «Шмоноэнти» — саквояжи, чемоданы и кофры.

Несмотря на близость посадки, в одном из салонов еще проходило совещание. Таков уж был стиль Артемия Артемь-

евича Горизонтова, владельца финансово-промышленной империи, подлинных размеров которой не знал никто, кроме, быть может, самого владельца: работать, работать, работать! Конечно, человек не машина, полагал Артем Артемович, а современный бизнесмен — это тоже человек, однако он должен работать всегда и везде, как во время ускорений мировой биржи, так и наедине с подругой, в нежности чувств, в изысканности интерьера, при звуках старинной японской музыки (как знали эти самураи тайники человеческого сердца!) — работать, не отключаться, не выпадать, бя (зачеркнуть!), в осадок!

Совещание проходило в самом тесном, почти домашнем кругу: Борис Борисович, Равиль Равильевич, Вера Верхарновна, Эрнэ Эрнестович, Душан Душанович и сам А.А. Иногда появлялась из будуара и присаживалась на подлокотник А.А. его новая подруга, которую он называл Милок, внешность которой немедленно говорила о ее происхождении — петербуржанка! Всесильный магнат в сердечных делах предпочитал не обращаться к услугам парижских или лондонских фирм. Слов нет — оттуда приходят прелестные юные леди, однако языковой барьер не способствует сближению, как говорит интеллигенция, «на клеточном уровне». Ведь русскому бизнесмену мало банальных диалогов а *près* — «как тебя зовут?», «какого ты года рождения?», — ему нужна духовная и эстетическая связь с уготованной ему судьбой подругой. Что ж, что за деньги? Деньги — это тоже судьба. Надо, чтобы с девушкой и в горизонтальном положении можно было поговорить о разном: ну, скажем, о новом романе Стаса Ваксина, о музыке самураев, о чувствах, вызываемых оттянутой и отпущенной струной «тайхэн». Да и вообще, если руку положить, скажем, на сердце, наши девчонки лучше всяких других. Отдаются они хоть и за деньги, но всегда с угольком трагедии в глубине вопроса.

Артемию Артемьевичу было от сорока до пятидесяти, к этому возрасту он успел урегулировать свои в прошлом довольно варварские отношения с алкоголем, внедрив в обиход гастрономически продвинутый подход к коллекционным винам. Цены его, разумеется, не волновали, однако во избежание снобизма он старался не платить за бутылку «бордо» больше трех тысяч франков. Что касается напитков покрепче, ликеров и коньяков, он, по совету своего консультанта барона Де Фа-

мю, научился смотреть на них не с точки зрения градусов, а как на *les digestifs*¹, и пригублять слегка после отменных, но не чрезмерных трапез. Водка с пивом вообще были изгнаны из круга его интересов. Вместо них практиковались гимнастика, плавание, сквош. Увлекался также виртуальными прыжками с парашютом, надеясь вскорости перейти и к реальным, то есть к мечте пионерского детства в глубинке. Словом, разные там набухлости и гематомы давно сошли, так что к началу нашего «малого романа» господин Горизонтов представлял собой превосходного мирового миллиардера, при виде которого сердца лучших девушек планеты начинали стучать сильнее. Таков был их принц — чуть-чуть непрямоногий, слегка с откляченным задком, однако именно такой, каким он и подавался органами СМИ: А.А.Горизонтов, промышленник и коллекционер; густая головная шерсть «соль-с-перцем» идеально подстрижена и расчесана на пробор. Что касается костюмов, он предпочитал синие, но иногда появлялся и в других строгих тонах, и тоже не снобствовал: заказывал их, дюжину-другую, не на Бонд-стрит, а в бутике «Калигула», что на Покровке.

Итак, они приближались к Кукушкиным островам. Никто из них прежде, в советские годы, здесь не бывал. Артемию Артемьевичу просто не случилось из-за постоянной занятости в одном соответствующем учреждении, а Борису Борисовичу и Равилю Равильевичу в прежние годы даже и не снились такие путешествия. В принципе, единственное, на что тогдашняя пролетарская молодежь могла рассчитывать после окончания своих ПТУ, это какая-нибудь раз в пять лет путевочка за «без денег» в профсоюзный дом отдыха на окраине тех трудовых городов, где их поколения прозябали. А вот когда пришло их время, когда ребята взмыли до нынешних эмпиреев, Кукушкины острова уже скатились в разряд советского брака. Теперь уже, как в песне поется, «пошли другие острова». Теперь уж ребята летали купаться на Кота Лазурного, на Майорские, баловались рулеткой на Монако, только недавно обнаружив, что оное Монако не остров, а королевство, то есть типа часть суши.

И вот боссу однажды приходит идея раскрутить затрапезные Кукушки до уровня рыночного продукта по шкале м.с.

¹ Средство, способствующее пищеварению (*фр.*).

Решение Артемия Артемьевича равносильно закону Вселенной. Потекли к островам денежные потоки, поехали в Богом забытый сектор океана лучшие мировые дизайнеры, строители и специалисты по стилю жизни. Как воплощение гигантских замыслов, поднялся из грязи отель «Бельмонд». Интересно, что никто ни на островах, ни на материке не знал, что за этим возрождением стоит Горизонтов. Даже в столице вездесущий и всезнающий «Ъ» не связывал нашего олигарха с фирмой «Шоколад и прочее», занимающейся обустройством этой почти коммунистической земли. А Артемий Артемьевич до поры только посмеивался.

Вот и теперь, на подлете, глядя на колонки цифр, выбрасываемые на экран компьютера информационным сектором «Шоколада», он усмехался — суховато, коварновато, по-макиавеллиевски.

— Как научить наших русских хотя бы частично внедряться в ситуацию? — произнес он. — Еще вчера в этом Революционске — кстати, Борис Борисович, позаботьтесь о возврате к историческому названию — мухи дохли на лету от всеобщей нищеты. Небольшевики растащили и просрали, прошу прощения у дам, ну хорошо, Милок, будем говорить, как у Достоевского — профершпилили все, что нахапали при деприватизации. Казалось бы, полное банкротство, не так ли? Помните, господа, их новый губернатор — ну внук какого-то комиссара, как его фамилиё, — да-да, Милок, — милия?

— Скопцо-внук, — напомнил Равиль Равильевич, и все с понимающими улыбками переглянулись. Не было еще случая, чтобы босс забыл чью-либо фамилию или номер телефона, а нынешняя рассеянность должна была просто продемонстрировать пренебрежение. Он продолжал с насмешливым переpleтсом хорошо отполированных ногтей:

— Помните, как этот внук целую неделю сидел у нас в приемной и был счастлив, когда Душан Душанович брал его с собой в ресторан? И что же? Едва лишь в действие вступил «Шоколад и прочее», как красные воспрянули и обнаглели. Вот вопрос на засыпку нашим иностранным членам правления — Вере Верхарновне и Эрни Эрнестовичу. Что сделали кукушкинские правители первым делом, когда к ним стал притекать ручеек от наших финансовых потоков?

— Ворроувалли, — немедленно произнес Э.Э. Это слово всегда получалось у него замечательно.

— Покупаль «ле мерседе», нэс па? — лишь на секунду отстала от него В.В.

— Bravo! — вскричал А.А. — Ваши ответы, друзья, продемонстрировали глубокое понимание нашей национальной ментальности. К этому мне остается добавить только еще одно курьезное, — он быстро взглянул на свою подругу, та быстро и одобрительно кивнула, — курьезное наблюдение. Кукушкинские скопцовцы, все эти завы, замзавы и атаманы, типа забыли, откуда к ним пришло нынешнее благополучие. Может быть, они даже и не притворяются, просто забыли, и все. Они теперь прикидывают на ребят из нашего «Шоколада», выражаются резко в псевдонародном духе. Похоже, что они даже гостиницу «Бельмонд» хотят провести по разряду своего коммунального хозяйства.

Когда улегся смех за круглым столом делового салона, Борис Борисович спросил с неожиданной для его пенсне интонацией:

— Чё делать-то с лохами будем?

Милок при этих словах как-то вскинулась, словно ей вместо розы преподнесли испачканную салфетку. Артемий Артемьевич с досадой поморщился:

— Следите за своей речью, Борис Борисович!

Неизящная фраза, однако, всколыхнула всю компанию. Надо все-таки как-то укоротить зарвавшийся обком. И не потому что красные, а потому что идиоты. Красноту трогать не будем, ведь это же все-ш-таки наша общая традиция. Ведь сами же в юности иной раз зажигались романтикой подвига — разве не так, Артемий Артемьевич? А все-таки надо разобраться с совком, экскьюзе-муа за неаппетитное слово. Надо им сказать, чтобы поняли: остыньте, мужики! А не захотят, пусть лопаты, грабли и метлы в руки берут очищать загаженный Имперск. То есть возвращать ему былое изящество, стиль серебряного века, не так ли? Именно так, Милок, именно так!

Так, заговорившись, и не заметили, что уже стоят в темноте перед тусклым зданием аэропорта. А к «Горизонту» уже пружинисто направляется прилетевшая сюда заранее группа консультантов и экспертов «Шоколада и прочее» числом не менее двух дюжин. Нет, не все еще шансы потеряны у России: нарождается и разрастается у нас поколение консультантов и экспертов!

Дежурные по аэропорту гэбэшники «красного пояса» недоумевали: это кто ж такой прилетел на собственном борту и не потребовал машину к трапу?

Их недоумение разделял и романист Ваксина, стоящий в полутьме отельного вестибюля у огромного окна с вплетенными в стекло ветвями металлической лианы и наблюдающий прибытие из аэропорта сплоченной группы молодых мужчин и женщин во главе с энергичным и не совсем отвратительным на вид джентльменом, идущим твердо шаг за шагом прямо в середину нашего повествования о закате XX века. Это кто ж такой прилетел? То ли я не решаюсь его назвать, то ли действительно не знаю? С чем он явился — с многоточиями или с точками над *i*, какое при нем оружие — словесное или огнестрельное?

В номере старого Стаса поджидали два телефоных сигнала: за время его блужданий по парку звонили сестры Остроуховы и Славка Горелик. Все они с огромной человеческой заботой осведомлялись, как он там «шустрит» на Кукушкинских островах. Были и пожелания. Поменьше воспоминаний. Побольше прямого действия. Они тоже еще не догадывались, что романист в этой части обретается на правах персонажа. Тем не менее сестры увещевали романиста пощадить кукушкинских казачек, а Славка надеялся, что ему не придется выкупать литературного отца из рабства на Шабаргэ. Между прочим, он сообщал: звоню тебе с борта самолета. Через два часа десять минут мы приземляемся в Революционске. Вот так сюрприз!

Чартерный аэробус был, пожалуй, великоват для небольшой компании из ООО «Природа». Не более дюжины персон, молодые русские денди и стильные дамы, все в основном уже известные нам лично или понаслышке, блуждали по салонам: то поддавали у бара, то танцевали в проходах, то начинали рисковывать преферанс, то смешивали карты, чтобы вернуться к бару. Там в течение всего полета с Крокодиловых островов перховодила парочка — Герасим Мумуев и Маринка княжна Дикобразова. Вместе с ними заседала другая пара — Олег Телескопов-Незаконный и Юлью Ласканен. Главную скрипку в квинтете играл Мумуев. Он все рассказывал истории о любовных странствиях босса, Славки Горелика.

— *Entrez nous*, чтобы не вышло за пределы этого самолета, я давно заметил, что наш Славочка как литературный тип

«лишнего человека» просто не может не мечтать о женском типе этой меди, ну, скажем, о «тургеневской девушке» или о «даме с собачкой». Вот однажды сидим мы с ним в клубе «Бочкотара», и тут входит баскетбольная команда манекенов, а во главе — *une blonde*¹ с толстенной косой вокруг головы, то есть вроде бы корона. Я, конечно, по своей растленной привычке сразу думаю, сколько она берет за ночь — наверняка не меньше трех сотен, а Славка мне на ухо шепчет: «Гер, смотри, да ведь это же королева Гиневра!» Оказалось, мы оба не правы — девушка попросила пятьсот. Стали рыскать по карманам, не набрали и сотни. Хорошо, что тут хозяин появился, господин Незаконный. У него и одолжились тышечкой.

— До сих пор не отдали... нгкдм, — притворно возмутился Олег Владимирович.

Трудно было узнать в этом молодом человеке международного класса того безнадежного лоха из первой главы «большого романа». Тогдашнее извлечение из-под скамьи гусятинского парка культуры оказалось таким поворотным пунктом телескоповского маршрута, что ему и незаконный папа бы позавидовал. Прибавшись к Мстиславу и Герасиму, а вместе с ними и ко всей корпорации тогдашнего «Канала», он стал богатым человеком или, вернее, стал считать себя таковым, поскольку даже и думать не хотел о том, кому на самом деле принадлежат записанные на него несколько крутых московских клубов, в том числе и скандальная «Бочкотара». По всему прикиду Тел.-Незаконного теперь были разбросаны маленькие монограммы, почти незаметные глазу неопытного человека, но зато сразу понятные атлетам элиты, если можно так выразиться. От всего прежнего у него остался только горловой звук нгкдм, напоминающий начало отрывки.

Этот звук не устраивал его подругу Юлию категорически (так по-фински). Иппёнаплатть, говорила она опять же по-фински, с этой отрывкой на что ты можешь рассчитывать в международных кругах, пппетни алькохолик? С нашей финкой тоже произошли разительные перемены, и в ней тоже трудно было признать расхристанную нимфоманку из стремного кабака «Стреляй». Все-таки приятно видеть, как выкабкиваются из созданной автором выгребной ямы вроде бы совсем уже погибшие персонажи. Посмотрите на указатель-

¹ Блондинка (фр.).

ный палец правой руки этой Юлью. Прежде ему ничего не оставалось, как только впиваться в тела спившихся трактористов из сел Ешьте и Ташите, теперь он безостановочно гуляет по клавишам маленького «мобиля», постоянно работающего в режиме save. Помимо всего прочего, на пальце этом светится далеко не безопасный рубин. Как видим, резервов у Ласки Юлью (так ее со значением называет Олег) оказалось вполне достаточно как для возрождения, так и для выполнения заданий корпорации. Добавим: глаза ее еще пуще стали напоминать озаренные полярным сиянием озера Лапландии.

Читатель, подключившийся к нам с самого начала, очевидно, может догадаться, что трон Мессалины Титании в этой компании все-таки принадлежал не Юлью, а княжне Марианне Дикобразовой. Тип, она вечно трепетала в облаках шампанского, в небрежно наброшенных на природные сокровища кутюрьевских прикидах. В лифте штаб-квартиры ООО «Природа» она редко упускала возможность поиграть язычками «молний» на штанах приближенных. Иные ребята после таких игр сходили с ума и низвергались из стильных офисов в дворничьи подсобки, потому что княжна была неприступна, ибо хранила верность своему благоверному Мумуеву.

Вдобавок к этим старым знакомым, открывшим все наше действо, еще не зная, куда оно их заведет — старый Ваксина и сам буксовал тогда по бумаге, — мы должны представить еще кое-кого из тех, что только упоминались, однако уже с прицелом на материализацию. Вот, например, Никодим Дулин — припоминаете? — тот самый Пулеметчик-Вертолетчик, единственный уцелевший из клуба «Баграм». После той жестокой битвы этот Дима научился при всех обстоятельствах сохранять полное спокойствие, за которым таилась постоянная готовность к внезапному разгрому врага. В данный момент этот Дима в черной майке с надписью «Говори по существу!» стоял, сложив на груди тяжеленные забойные руки, и улыбался шуткам своего друга Геры по адресу главного друга Славы. С ним рядом, тоже в маечке, только лилового цвета и с далеко не столь императивным текстом «А вы уверены?», стояла его подруга, неплохая девушка, которую все почему-то звали по фамилии — Никитина. Часто к этому обращению прибавлялся эпитет «милая»; получалось неплохо, «милая Никитина». Надо ли говорить, что она была из Петербурга? Если надо, тогда уточняем: она была петербуржанкой от Нарвских ворот. В

этом случае что-то должно промелькнуть в голове даже заспанного читателя.

Как-то странно тут получается, но и другая девушка из ООО «Природа» тоже звалась по фамилии — Мухаметшина, и ничуть против этого не возражала. Девушкам позднего возраста, то есть двадцати двух-двадцати трех лет, всегда приятно вспомнить десятый класс средней школы, а в данном случае выплывал еще какой-то молодежный клуб в районе тех же Нарвских ворот — то ли «Компас», то ли «Надежда». Так, что ли, Стас Аполлинариевич? — спросил сам себя Стас Аполлинариевич. Да, вот так, иначе для чего же все собираемся на Кукушкиных островах?

О девушках впоследствии будет сказано особо, пока еще не знаем что. Воображению рисуются эти стройные фигурки на каких-нибудь баррикадах гибнущей российской демократии, однако пока не видно никакой необходимости доводить дело до такого кошмара. Пока что скажем несколько слов о друге Розы Мухаметшиной, молодом человеке по имени Юрка Эссесер. Эта фамилия, между прочим, возникла совсем недавно. Несколько лет назад совсем под другой фамилией он прославился на весь мир как фантастический хакер, взломавший закрытые файлы Chase Manhattan и выудивший из сусеков этого небедного учреждения несколько заваливавшихся там миллиончиков. «Ребята, — клялся он тогда аппаратчикам «Канала», или «канальям», как их называли в недружественных структурах, — не ради башлей я трудился, а токмо батюшки-Интернета для!» Тогда-то и возникла в «Канале», а позднее в ООО «Природа» принципиально новая личность под странной, но знакомой на слух фамилией Эссесер. Эссесер Юрий Михайлович, 1970 г.р., место рождения Китайская Народная Республика, остров Тайвань. По возрасту, как видим, он был моложе основных «каналей», по внешнему виду значительно старше. Килограммчиков двадцать лишней загрузки свисали с боков и ягодиц, плюхами лежали на плечах. В отличие от друзей, он мало заботился о своем внешнем виде; достаточно сказать, что ездил на «Жигулях». Парень был компанейский, участвовал во всех загулах, однако даже в самые увлекательные моменты трудно было сказать, во что вглядываются из-под темно-рыжих патл его глазки — в романное ли пространство или во что-то более виртуальное, то есть в финансы.

Только лишь появление в штаб-квартире Розы Мухаметшиной стало иногда отвлекать Юрку от интернетовских браузеров. Она, кстати, немедленно озаботилась внешним видом своего избранника. Купила ему дюжину ультраитальянских рубаш. Далеко не все они сходились у него на пузе, пришлось худеть. Однажды в штаб-квартире все охнуло, когда заметили, что Юрка с Розой стали подъезжать на «лендровере».

Кстати о штаб-квартире. Бывали у корпорации времена, когда ей вроде бы ничего не угрожало. Тогда снимали объемистый особняк, задавали ему евроремонт, украшались какой-нибудь солидной вывеской, ну, скажем, ООО «Природа». Там процветали то месяц, то год. Потом подъезжали какие-нибудь ребята на «шестисотом», вежливо интересовались, что в данном случае означает это любопытное ООО. Им с такой же предельной вежливостью объясняли, что в данном случае это означает «опасное огнестрельное оружие». Нередко после такого обмена любезностями приходилось спешно эвакуироваться. Штаб-квартира тогда рассредоточивалась по разным чердакам и подвалам, а пленарные заседания проводились в самых неожиданных помещениях — однажды даже на платформе «Ухтомская» под ледяным дождем вели беседу, а то и просто по мобильникам из быстро движущихся автомобилей.

Интересно отметить, что это случайно выбранное маскировочное название «Природа» в дальнейшем сыграло серьезную роль в развитии наших характеров и даже, что еще важнее, в неожиданном для старика Ваксина повороте сюжета. Впрочем, до этого поворота нам еще ехать полкниги. Пока лишь скажем, что, поставив над собой крышу в виде экологии, ребята стали всерьез этой утопией увлекаться. Нередко у них теперь появлялись люди, мало похожие на привычную братву, — скорее какие-то интеллигентики из небогатых, представители обществ «Кедр», «Береза неплакучая», а то и из всемирного «Гринписа», и без увесистого чека с подписью Горелика никто не оставался. Больше того — иной раз ООО «Природа» даже стало принимать участие в экологических акциях, голько на свой манер, без всяких там наивных плакатиков. Допустим, стоит на Яузе какой-нибудь грязный советский завод. Стоит там сорок лет, выпускает никому не нужные химикаты и сливает свое дерьмо в и без того не кристальные воды. Дулину тогда говорят на правлении: сходи, Дима, туда, поин-

тересуйся, сколько это может продолжаться. Дима надевает свой буденновский шлем с овальной кокардой императорских ВВС, берет пару помощников и отправляется куда сказали. Вскоре после этого похода завод резко сокращает свое производство, а потом и совсем закрывается. Концентрация грязи в реке падает со 100 до 99,5 процентов.

Итак, обрисовав вот так на лету нашу странноватую компанию, мы возвращаемся в чартерный аэробус, подлетающий ночью к Кукушкиным островам. Ребята все еще толпились возле бара и развлекались пустопорожней болтовней на тему любовных походов своего босса Славки Горелика, этого современного байронита, который никогда не начнет заходить на телку, не найдя для нее подходящего романтического прототипа. Месье Мумуев по-прежнему играл главную скрипку.

— Как вы, конечно, понимаете, господа, стоит только нашему Славочке заторчать на какой-нибудь замужней даме, как он немедленно зачисляет ее в свой список невинных жертв, а себя в Дон-Жуаны. Зная свою благоверную, пацаны, я все время дрожу, как бы меня он не принял за статую Командора.

— Слишком болтливая статуя, — поморщилась княжна, однако тут же живо поинтересовалась: — А где Славка?

Славка между тем сидел в соседнем салоне и все слышал. Впрочем, все участники стеба прекрасно знали, что босс сидит рядом и все слышит. В корпорации почему-то прижился такой стиль по отношению к президенту: за рамками бизнеса и экологии, то есть за пределами рискованных ситуаций, считалось уместным юморить по его адресу. Ну, прежде всего, очевидно, потому, что он не возражал против такой игры, ему это типа нравилось. В данный момент Славка старался не прислушиваться. Он был увлечен своим секретным хобби, современным литпроцессом.

Читатель, быть может, помнит, что наш герой в разговорах со своим прародителем Ваксина всегда отмежевывался от литературы как от пустякового пережитка. Так диктовал стиль эпохи. С рассусоленной литературоцентричностью в России должно быть покончено! Новый центр — это банк! На самом деле прежняя, еще с молодых ногтей, причастность к московским и питерским кухням постоянно сказывалась, и ему стоило немалых трудов сохранять отчужденную мину во время

бурных дискуссий сестер Остроуховых или родительских стычек над руинами социалистического и антисоциалистического реализмов.

Мало кто знал, а точнее, не знал никто, что иные из погибающих толстых журналов были спасены через вторые и третьи руки субсидиями мафиозо Горелика. Для самооправдания он и это относил к своему новому бзiku, к экологии. Очистка воздуха от пердежа зловонных современников — вот чем мы должны, по идее, заниматься, говаривал он под банкой.

Недавно, опять же через подставных лиц — на этот раз это были отвязанные постмодерны из «Бочкотары», — он открыл в Интернете литературный сайт под названием «Говорим на «ты»!». Идеи новой литературы, словесность людей, говорящих друг с другом на «ты», должны зарождаться именно в виртуальном пространстве. Остающиеся за бортом Интернета, вроде старика Власа Ваксакова, останутся и за бортом новой словесности. Те, кто активно посещает этот сайт, включая даже и старика Стаса Ваксино, по крайней мере, не затеряются. Такова была принципиальная задача. На деле пока что получалась какая-то достаточно зловонная толкучка. Вот и сейчас, чтобы скоротать полет, Славка засовывает в свой лэптоп новую дискетку «Говорим на «ты»!», и первое, что появляется на экране, оказывается статьей критика Говновозова, уверенного в том, что этот псевдоним дает ему карт-бланш по всем аспектам постмодернизма.

На этот раз Говновозов злобно и безапелляционно драл недавно возникший в Мытищах «Клуб мочеглотов». Нет, мы не из тех, что творят фальшивые аркады струящихся фонтанчиков, витийствовал он. Мы за тех, кто работает по большому счету! Сволочи, обозлился Славка, концептуалисты сраные и зассанные! Закрою сайт, перекрою им кислород, а ведь без кислорода не возникнет и вонючего.

Как раз в этот момент Герка перешел к еще одной истории из эротических походов президента:

— Однажды мы с ним вдвоем прогуливались вдоль Женевского озера, валяли дурака вокруг бронзового Чарли Чаплина, поглядывали на дамочек. Вдруг у Славки загорелись очи. Сбылась мечта недоучки: по набережной Веве шествовала Дама с собачкой! И не какая-нибудь чеховская скромняжка Анна Григорьевна, что ли, или как ее там — ну та, которую, je crois, господин Гуров тра-ля-ля в «Ореанде», —

кстати, почему мы до сих пор не купили этот отель? — а совсем иного типа баронесса из наших. Ну, как вам ее описать? Ну, вот перед вами моя жена Марианна, *née princesse Dikobrazova*, так та дама, чтоб я так жил, была в два раза больше, то есть лучше. *Ma chère, si vous vous conduisez comme toujours, vous finirez très mal*¹. Я ведь могу объяснить и без насилия. Ну, просто это была своего рода Анита Экберг, только в брюнетистом варианте, и волосы ее водопадом лились до самой жопы. Вдобавок, когда она оборачивалась на мужчин, в глазах ее зажигались маяки сродни тому, что был построен фельдмаршалом Роммелем в дюнах Ниды. Такого никогда не случается с княжной Дикобразовой. Та просто маркирует кобельков своим невидимым лазером. *Dieu, quelle virulente sortie!*²

Дайте мне закончить рассказ, ваша светлость!

Что касается общего прикида незнакомки, он тоже оставлял сильное впечатление. Во-первых, собачка; это был золотой кобелек бассенджи, и коготки его напоминали ювелирные инкрустации. Во-вторых, шуба: она была составлена вперемежку из шиншилл и горностаев. В-третьих, машина — вдоль набережной медленно двигался ее рукодельный «Даймлер».

В общем, я вижу, Славка маячит. Набирает скорость, обходит плывущую, что твой атомный крейсер, фемину, резко поворачивается, идет встречным курсом. Ваш покорный слуга прикрывает тыл. «Мужчины, вы чего это?!» — восклицает объект и тормозит. Как будто жаром полыхнуло из турбин. Мы не ошиблись: она — из наших! Оказалось, Аврора Троцких прилетела из Кузбасса на бар-мицву своего племянника, наследника дома Левитов, ну да, тех самых — по никелю. Давайте быстро направимся в «Гранд отель», туда, где жил господин Набоков В.В, в честь которого набережная и соответствующее село. «Мы таких татар не знаем», — говорит мадам Троцких и трепещет все сильнее по мере приближения к отелю. «Мужчины, мужчины, — бормочет она, — ох уж эти мужчины». Я уж было настраиваюсь на выполнение дружеского долга, однако Мстислав категорически заявляет: это сокровище — мое и только мое! Разливают шампанское. Сибирячка

¹ Урожденная княжна Дикобразова... Моя дорогая, если вы будете вести себя как всегда, это кончится плохо (*фр.*).

² Боже, что за гадкая выходка! (*фр.*)

морщится: «А сладенького нету? — Потом вспыхивает: — Да и не надо! Я и так горю от вас, товарищ Горелик!»

Тогда я ухожу смотреть хоккей и только слышу, как ее контральто перекрывает шум трибун и треск костей. «Слава, давай! Ты мой капитан! Я твой послушный пароход! Все трюмы мои — твои! Загружай меня, загружай! Слава моя, Горелик мой! Даю гудок — гугу, гугу!»

В заключение хочу поделиться одним почти чеховским наблюдением. Собаки африканской породы бассенджи никогда не лают и моют себя как коты.

Смех не успел еще разгореться, когда в проеме двери появился во весь рост Мстислав Игоревич.

— Что за век! — вздохнул он, скрешивая руки на груди. — Всякий шут считает себя вправе добавлять и своего вздору в...

— Во что, Славочка? — поинтересовались недавно примкнувшие к компании Никитина и Мухаметшина.

— В и без того пробздетый воздух, — сумрачно завершил свою мысль президент.

В это время включился кокпит. Эрбас начинает снижение. Просьба всем сесть и пристегнуться. Притушили свет. За окнами в большом пространстве стояла полная луна. Виден был солидный кусок кукушкинской географии. Вровень с самолетом, но неподвижно, двигался неопознанный летающий объект. В первом ряду салона все вдруг увидели какого-то жутко плечистого в оранжевой майке. Он ободрял присутствующих кивками того, что у него было на месте головы, то есть густого пучка сильнейших листьев.

Вскоре засветились внизу огоньки гавани и карабкающихся по склонам гор кварталов Революционска. Исчез случайный попутчик. За две минуты до посадки быстро проплыла мимо окон вывеска «Hotel Belmonde». Появились тускловатые строения аэропорта и монумент мыслителю Чилье Нинелу, автору знаменитого выражения на кубарьском языке: «Хурасары аплегию, ад экснияшниян!» Скульптура была подсвечена таким образом, что наводила на мысль о близости человека к другим приматам. Посадка. Выруливание. На фасаде аэропорта длинный транспарант кумачовой ткани: «Привет участникам Месячника Островов российских!»

Самолет, как видно, ждали. Порядочная группа людей направилась к трапу. «Проверить — о.о.!» — тихо скомандо-

вал Дима Дулин. Все, однако, обошлось. Это была дежурная группа хлебосолов: представители трудящихся, казачки с караваем, дикарки с традиционными змеями на плечах.

Наши персонажи благополучно прибыли на архипелаг, который они — откроем секрет — собирались превратить в зону экологического — и не только — благоденствия.

Эко чудо!

Месячник официально открылся на следующее утро. Сочинитель Ваксино в свежем пиджаке «американского кроя», довольный литературным развитием дела, но мрачный от исторических перспектив, сидел в третьем ряду и смотрел на сцену, где формировался президиум. Все там прекрасно знали, как рассаживаться. Одесную от губернатора Скопцо-внука сидел владыко Филарет, ошуюю расположился партголова Жиганьков. Таким образом составилось знаменательное трио, администрация в рамке народно-патриотических сил. Здесь же на первой линии разместились прочие попутчики Ваксино по самолету: пред Шкандыба, воитель Калош, ваятель Саблезуб, деп Дубастый. Вперемежку с ними сидели местные кукушкинские главы администраций. Из них один отличался отчетливо океанскими чертами тяжелого лица и демонстративно расчесанными волосами на ушах.

— А это кто такой? — поинтересовался писатель у своего соседа, замзавкульта и скрытого либерала.

Тот охотно пояснил:

— Этнический лидер Вакапутов. Неоднозначная личность.

Кого мне напоминает это сборище, пытался припомнить Ваксино. Ба, да ведь это же брежневское Политбюро раннего созыва! Тут и унылая, как колхозное вымя, физиономия Косыгина, и олигофрен Подгорный, и уголовная, по Ломброзо, головенка Шелеста, и сын Андропов, и расплющенное тесто Кириленко, и все остальные протокольные физии, а хозяин-то торжества — просто реинкарнация Ильича Второго в лучшие годы — ну, брови, разумеется, но также и массивная верхняя губа, и величественный зуб, и жесты, говорящие об огромном самоудовлетворении избранника кукушкинских масс. «Дорогие тоуарышы прэдштаўітэлы нашых оштроуоу ы хосты ар-

хыпэлаха!» Как это замечательно, думал Ваксино. Еще чище, еще непосредственной, чем в Госдуме! Все тут присутствует, что требуется для номенклатуры: и фрикативное «г», и «э» обратное, и «у» решительно вытесняют подозрительные московские фыканья, а местная шепелявость лишь подчеркивает неразрывную связь партии и народа. Даже и бюст высится над президиумом среди драпировки знамен — ну, хоть и не Ленина В.И., но зато легендарного Федота. Никто не забыт, ничто не забыто!

В соответствии с духом времени первое слово для благословения было предоставлено архиепископу Кубарьскому, Анчачскому и Шабаргинскому владыке Филарету. Большая седая борода этого человека только подчеркивала свежесть щек. Ему явно не было еще и сорока, что говорило в его пользу: быть может, все-таки еще не успел при советской власти бесповоротно оскормиться. Он осенил собрание крестом и заговорил о великом Промысле Божьем, что собрал на отдаленных, но нашенских островах столько людей со светлыми мыслями, горячими сердцами и чистыми руками.

Какая-никакая, а все-таки церковь, подумал Ваксино в приступе неожиданного умиления. Даже и такой вот, слегка сомнительный, с его несколько чекистскими оборотами речи, батюшка все-таки благо творит для заскорузлых-то. Все-таки не о победоносной поступи коммунизма гласит, а о Промысле Божьем!

Далее Владыко вещал о благотворной реформе (он произносил «рэформа»), что так изменила жизнь на Кукушкиных островах, и этому тоже можно было поаплодировать, хотя и не совсем было понятно, о чем идет речь: о приватизации или о деприватизации. В заключение он вдохновенно вознесся со словом о любви к ближнему, и тут Ваксино по старости лет выпал в некоторое замешательство. Ему все казалось, что вместо «ближнего» батюшка произносит «брежнего» и получается абсурдное «возлюби брежнего своего»!

В президиуме многие перекрестились, и даже партголова Жиганьков приложил ладонь ко лбу и склонил голову; совсем недурно для тоталитарной партии. Кто их знает, может, и они как-то все-таки, ну хоть слегка меняются, подумал Ваксино. Может, не ГУЛАГ все-таки вынашивают, а что-нибудь в итальянском духе, мягкий фашизм?

Все действие проходило в старом оперном театре Имперска с его этажами позолоченных лож и огромной «царской ложей», что сама по себе походила на старый оперный театр. Когда-то, говорят, сживал в ней и сам государь, прибывший во главе Третьего флота на пути к Цусиме. Сдуру местные артисты принялись играть то, что у них лучше всего получалось, — «Чио-Чио-Сан». Вся свита в знак протеста, гремя саблями, покинула помещение. Государь остался один и кротко дослушал оперу до конца, в перерывах откушивая водочки и задумчиво вытирая усы. Говорят также, что после этого эпизода в Третьем флоте произошел раскол, что спасло государя от второго приближения к Японии, не менее для него опасного, чем первое, когда самурай набросился с острым. Впрочем, чего только не говорят в провинциальных городах о своих оперных театрах!

Теперь в «царской ложе» вместо расшитых придворных мундиров и эполет губернской знати, вместо последовавшей за ними суконной большевизны с ее азиатскими бляхами можно было видеть только поблескивание дорогих очков да галстучных булавок. В зале никто толком не знал, кому предоставлена БЦЛ, хотя в президиуме многие догадывались, что жемчужину пришлось уступить капиталистам — фирме «Шоколад и прочее», а также прибывшему неизвестно откуда и для чего Горизонтову Артемию Артемьевичу. Ну ничего, думал партг. тов. Жиганьков свою марксистскую тугую думу, пусть они дадут нам денег на веревку, а мы их на ней и повесим.

Между тем выступали представители Островов российских: обьяпленные сахалинцы и курильцы, пропахшие нерпой врангелевцы, радиоактивные новоземельцы, люди крымского патриотического подполья, валаамцы, кижинане. Интересную речь произнес отставной Герой Советского Союза, не к ночи будь помянут, контр-адмирал фон Котофф, как он сейчас себя называл. Петр Великий открыл окно в Европу, однако XX век окно это заколотил и навесил там амбарный замок — крепость Кронштадт. Наша задача состоит в том, чтобы в условиях реформы не просто открыть этот замок, но и пригласить к нам на остров (то есть в амбарный замок, что ли, озадачился Ваксина) всех пожаловать. Кронштадту все-таки есть чем гордиться: и мощью наших батарей, и линейными кораблями — всю Балтику все-таки держали в стра-

хе! — и революционными традициями — ведь «Аврора»-то легендарная откуда в Неву вошла, от Кронштадта! — и дерзновенностью Кронштадтской коммуны 1921-го — ведь как осинового листья тряслись большевички! — огненными проповедями отца Иоанна — глядишь, и вся Европа повалится на амвон! — радио-то где изобрели наши маркони? В Кронштадте! Короче говоря, городская управа совместно с командованием базы и флота решили организовать на острове крупнейший в Европе луна-парк.

Пожалуйте, товарищи, покупайте акции, все будете в прибыли! Центр гуляния переселяется в Кронштадт! Костюмированные балы на всех деках флагмана Балтики крейсера «Рюрик»! Круизы на атомных субмаринах! Спуски в катакомбы Третьей мировой войны! Повсеместно работают сувенирные магазины duty free! Welcome! Soyez en bienvenue! Добро пожаловать!

Партголова из-под мощных надбровных дуг нехорошо смотрел на разгулявшегося контр-адмирала. Вот такие индюки и загоголивают всю нашу идею! В условиях тотального геноцида русского народа, осуществляемого кремлевской бандой сионистских запродавцев, устраивают луна-парк! Жаждают дорваться до буржуазной халявы! Нет уж, господин фон Коттофф, пожалуйста-ка в список для окончательной разборки. Он черкнул что-то в блокноте и демонстративно передал листок адъютанту в чапаевской папаше. Театр ахнул, но оратор ничего не заметил и очень довольный собой спустился к своей делегации, в которой светились серпасто-молоткастые, равно как и орлино-двуглавые, пуговицы и бляхи.

А вот следующий оратор, представитель острова Врангеля, как раз понравился Жиганькову и всем «левым». Когда вернется советская власть? — вопрошал он. Она нам каждую навигацию снабжала макароны, муку снабжала, тушенку, водочку, кинофильмы про родину, крепкий медикамент, конфетки, бульонные кубики. «Севера» понимали обеспечение советской властью! Врангелевский охотник добывал песка, приносил шкурки на пароход, брал что нужно, неразбавленный пил с органами милиции, или с Сергеем, или с Феоктистовым. Органы приходили на пароход конфисковать незаконные шкурки песка, отдавали их врангелевскому охотнику. Тот приносил шкурки на другой пароход, получал крепкий медикамент, пил его с органами милиции. Органы составляли акт,

отдавали шкурки охотнику опять. Так сохранялось человеческое достоинство, дорогие товарищи, а сейчас обо всем забыли, ничего не снабжают, охотник не может стрелять, руки дрожат от болезни рук. Такой геноцид у нас поселился, не успеваем их щелкать одну за другой на газете.

Он стал показывать, как они щелкают мелких геноцидов. Зал хохотал: во дает чукча! А ведь как мы жили при советской власти, товарищи, как мало дрожали! Как пели, товарищи, старые песни о главном? «Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз!» Он пел пронзительно, словно из самой утробы полярной ночи. Жиганьков умилился. Вот оно, единство! Вот она, ленинская национальная! Вот за что надо неустанно сражаться! Тут, однако, островитянин добавил нечто совсем уж неразбавленное. Ведь в каждом чуме, товарищи, подчеркиваю, в каждом чуме висел у нас портрет генерала Врангеля! Эх, Жиганьков поморщился, испортил песню нацмен. А между тем в густопсово-монархическом секторе зала послышались бурные аплодисменты, и чукча тоже ушел довольный.

Тут возникла такая идеологическая — или, может быть, метафизическая? — путаница, что старому сочинителю показалось, будто поплыл основной камень человечества, так называемый текущий момент. Мысли Ваксина смешались. Если он текущий, почему бы ему не плыть? Вопрос только в том, почему я не теку и не плыву с ним, почему он протекает через меня, не задерживаясь, а я исчезаю где-то вдаль?

Когда он вернулся, аплодисменты, трепеты рук продолжались, — иными словами, момент затянулся. Аплодировали прибывшие на месячник в большом числе зарубежные соотечественники, потомки Белой армии. На них сейчас был спрос. Смотрите на Китай, говорила элита Российской Федерации. Сколько миллиардов принесли в страну богатые зарубежные соотечественники? Простодушные, хоть и циничные, совки не догадывались, что в русском зарубежье никаких миллиардов нет. Никому и в голову не могло прийти, что князь Олада, скажем, работает водопроводчиком и специалистом по снегу на горнолыжном курорте в своем родном Нью-Гемпшире. А граф Воронцов просто-напросто владеет магазином электроприборов. Так или иначе, многие члены диаспоры, особенно с титулами, были приглашены из своих стран в эту чертову даль, на «нашенские» Кукушкины острова. И всем им были

посланы оплаченные билеты, и все их пребывание в отеле «Бельмонд» взял на себя оргкомитет.

Откуда же деньги-то взялись, эдакая уймаща СКВ на обнищавшем архипелаге? Таким вопросом задавалась пресса, однако администрация делала вид, что это вообще не вопрос. Не хлебом же единым, в самом деле, жив человек, не деньги же движут сердцами. Было бы стремление к единству, а крылья найдутся. Ну конечно, некоторая помощь была предоставлена нашей российской фирмой «Шоколад и прочее», что весьма похвально в смысле патриотизма, однако это не было решающим фактором: власть все-таки здесь находится в руках народа. Ехидные журналисты в своем ехидстве заходили так далеко, что даже за «Шоколадом» им мнились какие-то таинственные силы, но что только не мнится этой братии, по которой потьминские лагеря скучают.

Из всего сборища персонажей, собравшегося здесь для раскручивания нашего «малого романа», быть может, один лишь Ваксина доподлинно знал, кто является подлинным спонсором месячника, однако, будучи и сам представителем «богатой и знатной диаспоры», предпочитал не гнать сюжет.

Тем временем вице-губернатор товарищ Ворр-Ошилло (тоже скрытый либерал, между прочим) объявил присутствие старейшины зарубежных патриотов парижского барона Фамю.

— Дорогие товарищи, дамы и господа, открою вам секрет, — сказал он с подмигом, от которого у многих присутствующих ёкнуло внутри: вдруг действительно что-нибудь откроется? — Барон Фамю, которого сейчас все мы будем приветствовать, является не кем иным, как героем нашей классической литературы Павлом Фамусовым. Все учащиеся российских средних школ знают этого патриота, носителя сильных идей. Все мы в свое время заучивали его, — он заглянул в бумажку, — монодиалоги. — Сиова заглянул в бумажку. — «Петрушка, вечно ты с обновкой, с разодранным локтем. Дос-тань-ка календарь. Читай не так, как пономарь, а с чувством, с толком, с расстановкой!» Вот где проявлялись, товарищи, идеи просвещения, поучения подрастающих!

Еще раз заглянул в бумажку, но оказалась не та, поднял ворох листов и покраснел сущим шишковатым буряком.

Барон Фамю меж тем уже шел по проходу к трибуне своей развязной старческой походкой с некоторыми похотливыми

вихляниями, источая сильнейший аромат M-me Rochas pour les hommes, весь в клубном параде: фрак с хвостом, галстук «аскот», украденная в оранжерее орхидея. Ворр-Ошилло нашел нужное, зачитал:

— Постмодернистская эстетика создает новую реальность, в которой классика становится нашей современницей, а эзотерический текст нашего дня после взлома определенных замков вливается в архаическую эпiku. — Он передохнул. Ближним рядом даже показалось, что сквозь изъязы рта пролетело междометие «бля». — Ну что ж, товарищи, поприветствуем барона и поблагодарим его за то, что он почтил нас своим присутствием вместе со своей очаровательной внучкой. Кстати, где она, Павел Афанасьевич?

— В теннис играет с дочкой, — легко, по-парижски, ответил барон и козликом взлетел к микрофону. На сцене он мигом преобразился, принял лицейскую позу А.С.П. и с ходу зачитал экспромт:

Так с чувством, с толком, с расстановкой
Провозглашаю: мой народ!
Без задних мыслей, без рисовки
К тебе приехал старый бард!

От грибоедовских поместий
И от подножья Tour D'Eiffel
К тебе, bien sur, он строил мостик,
Любимец дев и трюфелей

Большой знаток. Дворян замашки
Народ оценит в старике.
Виагра верная в кармашке
И русский рэ-вольвер в руке!

Взрывом искреннего восторга ответил зал на эти три строфы. Особенно ликовал президиум. Тузы архипелага, не исключая и этнического лидера Вакапутова, толкали друг друга локтями, прыскали в кулак или заливались открытыми ладонями. Вот дал барон! Вот это по-нашему! И русский рэ-вольвер в руке! Живы мы, живы, нет, не пропали! Даже на чужбине не затерялись! Нет, не иссякла талантами российская плоть! В этом месте колдун Вакапутов насупился чернее прежнего. От французов поднабрались, а сами-то де-

генераты, прорычал он, но в общем ликующем шуме не был услышан.

Ваксина аплодировал вместе со всеми, но сам восторга не испытывал. Напротив, его корежило что-то похожее на стыд. Черт знает что тут из-за меня накручивается. Напридумывал вздору на той нью-гемпширской горе, и вот теперь откликается. Выскакивает олицетворение кича, парижский барончик Фамю. Не исключено, что и убиенные на дуэли аристократы объявятся. А самое печальное, что Славкина дама сердца, эта полумифическая Наташа-Какаша, является в роли двусмысленной внучки русской литературы. Этим самым перечеркивается возможность их встречи. Что касается моей роли в «малом романе», то она аморальна!

Описывать все выступление Фамю нет сил. Достаточно сказать, что он объявил самого себя российским островом и предложил Кубарю статус острова-побратима. Сияющий, триумфальный, он сошел со сцены и на вопрос корреспондента спортивной газеты «Русский рывок» — «А сколько лет теннисисткам из вашей семьи?» — запросто ответил: «Мой дочке Софи двадцать лет, а моей внучке Натали двадцать три года».

Из всего дальнейшего, до перерыва, концерта идей и эмоций следует выделить выступление самоназначенного на днях главы администрации острова Шабаргэ товарища Вакапутова. Представившись как Очарчир XVIII Заведоморожденный, он ошарашил аудиторию низкими, в басовом ключе, завываниями. Организаторам ничего не оставалось как объявить его спич образцом фольклора. Вот несколько мест из этого фольклорного текста:

— Проклятие на вас всех, сыны кислой и дряблой земли! Уаххрр фууруш! Нет никаких Кукушкиных островов, а есть Очарчирия Воды и Вулкана! Череп вашего адмирала лежит в жерле Ужжал, а мясо его съедено воннами Шабаргэ! Двести лет молчали Великий Хуразу и два его брата, Бальдек и Гамедо, но час настал, и теперь они вздымаются, как три башки горы Хубальгам! Ууририцекапп, падите нни! Почему обрубают головы своим врагам воины Хуразу? Чтоб вышел гнилостный дух волосатика и растворился над океаном, чтобы очистилась наша земля! Ууплоч, уссофикаты, уаххрр фууруш! Бьет барабан над жерлом Ужжалу, клоочут под звездами котлы Уллико! Паттришат гурр муурр!

Закончив свое выступление, Очарчир Восемнадцатый Заведоморожденный вытащил из-под одежд мобильный телефон и прошептал в него несколько слов. В наступившей ступорозной тишине вице-губернатор Ворр-Ошилло объявил получасовой перерыв. Переглядываясь и что-то бормоча, гости повалили на обширную террасу, где был сервирован щедрый фуршет. Все видели, как на Театральную площадь выехала колонна бронированных джипов под флагами только что провозглашенной Очарчирии Воды и Вулкана: на кровавом фоне два скрещенных ножа, под ними ритуальная змея Ууплоч с раскрытой пастью. Из джипов высыпала охрана Верховного Колдуна — свирепого вида молодчики в натовском камуфляже. Бесцеремонно отогнав казаков, они образовали круг и нацелили свои автоматы на праздничную террасу. Из динамиков загремел их гимн «Паттришшат гурр муур», что означает по очарчирски «Родина или смерть!». Позднее в кулуарах распространилось любопытное «мо» барона Фамю. «А что они все-таки предпочитают?» — якобы спросил заезжий аристократ, когда ему перевели слова гимна.

Товарищ Вакапутов вышел из театра с оставшимся еще от обкомовских времен портфелем под мышкой. Хвост его бурнуса несли два члена его кабинета, в принципе ничем не отличающиеся от всей кукушкинской номенклатуры. Один из них, как ни странно, тащил еще авоську с боржомом. В толпе гостей начался хохот. Ваксино оглянулся. Смеялись, конечно, «каналы» Горелика. Довольно удачно они гримасничали, изображая надутых мраком боевиков. Оркестр заиграл вальс Хачатуряна к драме Лермонтова «Маскарад». Наваждение было забыто.

Гораздо более серьезные события, чем хуразнтская угроза, ждали собрание после перерыва. От имени деловых кругов слова попросил некий Борис Борисович Клопов. При виде этого господина по президиуму прошла волна не совсем понятных эмоций. То ли молодой человек, то ли не очень, то ли из простых, то ли из изысканных, то ли угодливый, то ли бесцеремонный. Одно было ясно: на трибуне стоял посланец каких-то несметных капиталов.

— Мне поручили передать вам, дорогие наши островитяне, что Кукушкинский архипелаг находится в центре интересов отечественного патриотического бизнеса. Посмотрите вообще-то, какой вклад внесла сравнительно небольшая, но

энергичная, как я не знаю что, компания «Шоколад и прочее»! Теперь представьте, почтенные, что будет, когда основные силы однозначно войдут сюда с инвестициями. Бизнес вам передает: идеалы трогать не будем. Этот бизнес чисто конкретно уважает историческое наследие. Здесь мы утвердим наш новый российский рубль среди кумача ваших знамен! И всякий захочет пойтить, задрав штаны, за комсомолом! Это шутка. Спасибо. У вас есть все, что нам нужно, это однозначно. Вот ваш список о ресурсах: одни лишь залежи вольфрама — это кой-чего, а медь, а сельдь, а ваши казачьи сердца?! А у бизнеса есть все, чего вам надо: финансовые потоки, передовой, с учетом вашего марксизма, менеджмент. Не пройдет и десяти лет, как ваш край превратится, я хочу сказать, в сильно процветающую индустриальную империю, достопочтенные товарищи! Какая у вас сейчас минимальная месячная зарплата — восемь у.е., так? Через пять лет будете иметь восемьдесят у.е., так мне велели передать! Какая у вас безработица — сорок восемь процентов, так? Через два года будет zero! Zero, товарищи! Отсюда, из океана, начнет, как Япония, подниматься наше могучее! Понятно? Хватит уж, заколебали нас совсем: ГУЛАГ, ГУЛАГ! Теперь весь мир узнает другой архипелаг — Кукушкин! Спасибо за внимание, и от имени Ордена Рыцарской Чести России — большой привет!

В президиуме буквально ахнули: «Ах, вот оно откуда! Это ж РЧР, ах, вот оно что!» Ваксина не мог не восхититься неожиданным завершением довольно корявого спича. Об РЧР давно уже бродили смутные слухи по российским СМИ, да и в мировой прессе мелькали, как бы вскользь, какие-то ссылки на тайную ложу, где, может быть, гнездится настоящая власть. Казачество мощно ухало с ярусов: «Любо! Любо!» В глубине «царской ложи» поблескивали маленькие, сродни пенсне, драгоценные очки. Ваксина еще больше восхитился. Да вот же он на кого похож, этот до поры неведомый Артемий Артемьевич — на Берию! На многосмысленного антипартийного большевика Лаврентия Павловича! Какая эволюция, какая романная игра: мелькнул бессмысленной тушей, ушел в глубину, а вынырнул в сердцеvine, на конгрессе всех персонажей, хозяином положения, магистром Ордена Рыцарской Чести России!

Дальше пошло еще пуще. Едва затих казачий гул, на трибуну поднялась личность совсем иного, в сравнении с Борисом Борисовичем, плана — молодая цветущая дама в безупречном

легком костюмчике, с платком «Херме» на плече, в очках, но не на носу, а сдвинутых на макушку, где они светились, как стрекоза, среди не очень-то расчесанной, но опять же безупречной гривки.

— Марианна Дикобразова-Мумуева, ООО «Природа», — представилась она. — Мы представляем группу альтернативного бизнеса, которая к РЧР не имеет никакого отношения. Леди и джентльмены, казаки, две цели подняли меня на эту трибуну. Первая — предупреждение. Вторая цель — предложение. Начну по порядку. Ребята, вы что, не понимаете, какую вам лапшу на уши навешивал господин Клопов? Читали «Двенадцать стульев», мальчики и девочки? Ведь это же просто Нью-Васюки, только без остроумного Бендера.

Зал зашевелился, послышались смешки. Дамочка явно нравилась: выглядит неприступно, а говорит понятно и про лапшу, и про мебель. Маринка продолжала:

— На вас наезжает олигархический — простите, чуть не сказала олигофренический — капитал, за которым к тому же стоит орден российского кича РЧР с его фальшивыми князьями и графьями. Вольфрам, сельдь, медь? Разработка кукушкинского сырья, развитие индустрии? *C'est une stupidite, je vous assure*¹, прошу прощения, чушь на постном масле, если не голый обман. Вам обещали капиталистический коммунизм, а вы уже и варешку раскрыли. Вы думаете, к вам пойдут финансовые потоки? Вздор! Не пройдет и трех лет этой программы, как из-за загрязнения воздуха засохнут все ваши пальмы, из-за гнилых сливов подохнет вся ваша рыба, а всю вашу медь, включая памятник Адмиралу, переправят в Германию. Что же касается вольфрама, от него останется только волчья драма, ключья шерсти и выбитые зубы. Получится как в песне: «Надо б лампочку повесить, денег все не соберем».

Для того чтобы создать новое кукушкинское общество, вам нужно сначала разбогатеть самим, а не рассчитывать на какие-то таинственные структуры, за которыми, по всей вероятности, стоит никому пока не ведомый магнат Горизонтов. Сначала хотя бы узнайте, кто это такой, а уж потом продавайте тело и душу!

Если бы в зал мог спуститься из 6-й главы некий Настоящий Бенни Менделл, он бы за милую душу своим хлыстиком

¹ Глупости, уверяю вас (*фр.*)

под музыку Марчелло сотворил из президиума новую «немую сцену». Но он по каким-то своим причинам не пожелал проявиться. «Немая сцена» не получилась. Члены президиума, словно полураздавленные трепанги, слабо, но шевелились. Как, поворачивали они друг к другу полуживые лица, как осмелилась эта красотка произнести непроезжее?

Сильнейшее, сродни электрошоку, ощущение пронизало и «царскую ложу», однако никто не дернулся — не лягушки. Все тридцать сидевших там мужиков и адекватное число дам не двигались, однако все они, кто как мог — кто глазами, кто ушами, кто, просим прощения, рецепторами кожи, — смотрели на Артемия Артемьевича. В принципе, каждому было ясно, что делать с обнаглевшей бабенкой из гореликовской структуры: мочить, невзирая даже на внешние данные. И дело тут, конечно, не в жестокости. Просто такая дерзость не может остаться безнаказанной, и те, кому полагается в мире бизнеса, должны в этом удостовериться. Все ждали знака, хотя и знали, что знака не будет. Слишком высоко сидел ААГ, чтобы подавать подобные знаки. Мочить? Заказать? Нет, эти низкие слова были не из его оперы. Философ будущего не подаст своим приближенным никакого знака, кроме почти неуловимого не-знака, и вот тогда красотка будет заказана. Прошло несколько минут, прежде чем свита в «царской ложе» поняла, что и не-знака не последует. Внешние данные оратора победили.

Между тем княжна Дикобразова, подождав, пока оттрепещет оторопь, продолжила с улыбкой:

— А теперь вторая часть моего выступления, дорогое казачество, *mesdames et monsieurs*; наше предложение. Мы предлагаем Кукушкиным островам более прямой и короткий путь к экономическому чуду. По примеру некоторых других неглупых архипелагов, вы должны стать офшорной зоной. Наше ООО откроет вам дверь в этот мир международного процветания. При наших связях и вложениях в мировой офшор мы предлагаем вам неограниченные возможности. Став первой российской офшорной зоной и получив статус порто-франко, Кукушкины острова уже через год обеспечат такой доход, что вам не нужно будет дергаться. Вам не понадобится загрязнять свою экологию, — напротив, вы будете ее очищать от советской грязи. Вместе с богатством к вам придет чистый воздух — так говорим вам мы, ООО «Природа»!

Да, это будет чистый капитализм с элементом узаконенного мошенничества, однако вы сможете вкладывать огромные средства в социальную сферу и практически покончить с бедностью, а ведь бедность — это тоже загрязнение среды обитания.

Берите пример с Кипра, с Британских Виргиний, с Каймановых островов: люди там наслаждаются своей природой и отвергают демагогию. Ваш отказ от демагогии будет главным условием для начала нашей работы. Как говорит наш през Слава Горелик: «Перестаньте портить воздух, и все наладится!» Нужно поменьше пердеть! Во всех смыслах, господа! Мы обращаемся ко всему населению архипелага. Проведите референдум: «да» или «нет» — чего проще? Мы обращаемся также к присутствующим здесь участникам Месячника Островов российских, и прежде всего к почетному гостю, сочинителю Ваксину, с просьбой способствовать положительному ответу. Стас Аполлинариевич, ау, вы с нами? Все, господа! Группа «Природа» располагается на седьмом этаже западного крыла гостиницы «Бельмонд». Прием ежедневно и еженощно. В манере наших бесноватых красных предков позвольте мне воскликнуть: «Даешь офшор! Даешь экочудо!»

Взмахнув кистью руки, гривой и платком «Эрмэс», чудесная посланница сбежала со сцены в зал. «Ну, мой народ, — страстно подумал партголова Жиганьков. — Яви нам свой гнев, отвергни злодейский соблазн!» Народ не заставил себя ждать. «Любо! Любо! Даешь офшор! Даешь экочудо!» — взъярились казачьи глотки.

В «царской ложе» встал никому не известный, но все-таки очень похожий на Л.П.Берия господин. С интеллигентной улыбкой он вымолвил одно-единственное слово — «Фантазеры» и пошел к выходу. Теперь все вокруг поняли, кто заказан.

Чистая лирика

Затем в «малом романе» начался сезон чистой лирики. Лирики и светской жизни. Лирики и ослепительных дней, овевяных волнующими бризами. Лирики и прозрачных ночей под полным ассортиментом небесных светил. Лирики и громоздящихся на горизонте и быстро темнеющих до цвета густой

смородины облаков. Лирики и грозного грохота океана, когда порывы ветра треплют на террасах отеля яркие тенты и белые юбки загорелых девиц. Лирики и медного неба занимающихся рассветов, когда загорелые мужчины бегут по кромке пляжа в сторону горного хребта, из-за которого вот-вот поднимется солнце. Лирики и шумных пиров с головокружительным шампанским. Лирики и интимных вечеров с философскими разговорами. Лирики и концертов с участием заезжих звезд и спонтанными импровизациями публики. Лирики и нередких сцен ревности, ибо какой же лирический сезон обходится без пощечин? Лирики и продолжающегося парада наших персонажей, которые, как вы увидите, ничуть не затерялись среди элитной (самое модное нынче слово в РФ) публики.

Однажды под мотив бессмертной песенки «Базар большой и народу много» в холле «Бельмонда» появилась дама без возраста, но зато с явным положением в обществе. Она выступала, можно сказать, как пава, и казалось, что вот сейчас разведет руками, мягко остановит кавказскую жигу и задушевно заведет долгую, как Волга, величальную. С нею рядом в качестве спутника шел мужчина менее примечательной внешности, хотя именно к нему отельная прислуга обращалась «Ваше Превосходительство».

Ваксино на всякий случай навел справки и был рад, что не ошибся в предположениях: прибыл посол по особым поручениям (ППОП) Гачик Арутюнович Шальян с супругой Серафимой Игнатьевной — дамой, которая предпочитала не вспоминать о каких бы то ни было родственных отношениях с кем бы то ни было из активистов романа.

За ними внесли портативные шкафы со сменами одежд. Процокали крепкими старческими каблучками два божьих одуванчика — тетя Гортензия и тетя Калерия, бывшие гусятинские побирушки, ныне компаньонки мадам посланницы. Если читатель и после этого не вспомнил прибывших, придется ему прошелестеть страницами первой главы.

К чему это, с досадой морщился Ваксино. Уместна ли здесь столь отдаленная ностальгия?

Как-то под вечер, когда общество прогуливалось по пирсу, похожему на палубу круизного лайнера, внизу была замечена привязанная к стальной ноге пирса захудалая лодчонка под выцветшим трехцветным флагом. В ней, наполовину вы-

совываясь из самодельной каютки, сидел человек и чистил картошку.

— Сударь, — обратилась к нему прогуливающаяся соло подруга ААГ Людмила Штраух, — не угодно ли вам разделить со мной трапезу наверху? Это освободит вас от докучливой необходимости приготовления пищи.

Яхтсмен после этих приветливых слов встал во весь рост и одним махом взлетел на прогулочную поверхность. Публика ахнула, увидев его могучую и живую мускулатуру — ту броню, что позволила бы ему штурмовать и Трою. Клеймо спортклуба Череповидовского химкомбината все еще было различимо на его шортах сквозь разводы океанской соли. Оказалось, что он совершает кругосветное путешествие, начатое еще на волоках Стрёмы. Судно его представляло собой реплику древнерусского, то есть немного варяжского, струга, изготовленного монахами-корабелями Свято-Никодимовского возрожденного монастыря. Весь смысл уникального путешествия состоял в том, что судно надо было тащить самому от одной воды до другой. Так что, если ты вдруг упирался в Америку, надо было ничтоже сумняшеся впрягаться и тащить, тащить, тащить, пока не покажется свободная стихия. Так он добрался до Кукушкиных островов, и, как видим, вовремя. Милочка уже распоряжалась сервировкой столика.

— Ваша фамилия, кажется, Валидол? — поинтересовался Ваксино.

— Броммел, — уточнил путешественник. — В Гусятине меня называли Юноша Бром. — В подтверждение сказанного он показал сочинителю впечатляющий шрам под левым коленом. — Столкновение двух правящих элит едва не стоило мне ноги.

— Но почему же вы так облысели, мой друг? — огорчился Ваксино. — По моей версии, вы должны быть волосатый, как Тарзан.

— Дело в том, что мне однажды вылили из окна на голову тарелку горячего жирного супа, — элегически сказал Бром, но тут же рассмеялся. — Снявши голову, по волосам не плачут. Я имею в виду страсть к путешествиям.

Многие участники месячника прибыли на архипелаг в составе обыкновенных туристических групп. Так, однажды у входа в отель из переполненного «Икаруса» вывалилась толпа любознательных москвичей.

— Ба, да тут половина людей наши! — взвинулся Ваксина. Вот и Славостелькины, вечно юные, вечно дружные, вечно с шахматной доской и турнирными часами; вот и Марк, не отрывающийся от газеты; вот и Руслан-спорщик — «кто миру больше дал, Ньютон или Дарвин?»; вот и Изя Незабудкин с Асей Дмитриевной — кажется, все-таки поженились; вот и тот из Польши, судя по ковбойской шляпе, совсем обрусел; вот и оба близнеца Дьяконовы, тщательно следящие за своей идентичностью; вот и внучка Хабибуллина, она же племянница Мальгремов — эва как вытянулась девчонка; вот и сам Хабибуллин, вечно строгий, сильный, сразу узнаешь бывшего вратаря сборной Союза, а вот и сами Мальгреды — богема театра, неувядающее вдохновение Чистых прудов, Таганки, Бронной; а вот и тот самый Межмышлин, чья скульптура «Пушкин в возрасте Державина» вызвала такое всеобщее возмущение, что он предпочел забыть ее в саду одного вирджинского писателя... Хорошо еще, что сестры Остроуховы не прибыли с этой группой: кто там будет кормить кота Онегина?

Ваксина понял, что деваться некуда, и приготовился к массированным объятиям, однако никто из вновь прибывших не обратил на него ни малейшего внимания. Неужели же новая декорация, густые нищенские усы сделали его в глазах друзей таким абсолютно неузнаваемым? Он был даже слегка задет за живое: уж если даже они под жалким пучком волос не могут опознать знаменитого писателя, что же говорить о широкой читающей публике?

Не все, впрочем, были такими рассеянными. Вечером из толпы, собравшейся возле бара, обрушился на него сосед по Лэзью-Хилл, мистер Маллиган, независимый контрактор. Hey, neighbor! I knew I'll bump into you in this crazy land! Listen, is there some interesting female beings over here?¹

Оказалось, он думает не столько о себе, сколько о приехавшем вместе с ним Финнегане. Последний тут же подбежал, замечательно славировав меж ног многочисленного общества, и с ходу прыгнул на руки Ваксина. Язычок его, равно как и

¹ Привет, сосед! Я знал, что непременно встречу с вами в этом сумасшедшем месте! Послушайте, нет ли здесь каких-нибудь любопытных особ женского пола? (англ.)

хвост, работал в максимальном режиме. Общество умилилось столь трогательной встрече.

Не обошлось, конечно, без Центра по изучению и решению конфликтных ситуаций. Однажды в очень ранний час Ваксина возвращался с пляжа после пробежки и купания. В одном из холлов своего этажа под острым лучом только что поднявшегося из-за Святоша солнца он увидел группу академического народа, среди которых от неожиданности не сразу узнал своих сослуживцев. На столе уже светились экраны двух лэптопов, между ними нагромождены были папки с бумагами. Присутствовали, разумеется, и здоровенные чашки с кофе — эти неизменные спутники утренних дискуссий, до которых была так охоча бывший директор ЦИРКСа профессор Вибиге Олссон. Сама Вибиге тоже присутствовала, но теперь уже в роли рядового дискуссанта. На председательском месте с гусиной важностью высился нынешний председатель Эбрахам Шумейкер.

После приключений и огорчений 4-й главы Эйб решительно выбросил из своей фамилии лишнюю «м» и дефис. По его лицу, на котором губы, казалось, втянулись внутрь, было видно, что он ищет решение своего личного кризиса в плотной академической работе. Присутствовал также наш «первый постмодернист» Брун; этот клевал носом. Еще несколько стульев занимали со своими пожитками только что прибывшие Стробб, Бэнник и Сулканеццин. Здесь же Ваксина увидел и двух незнакомцев явно европейского обличья — еще не старую даму в плечистом пиджаке и не совсем молодого юношу в основательно зажеванной рубашке.

Появление мокрого и даже немного веселого, как всегда после бега, Ваксина не вызвало большого удивления.

— А вот и Влос, — сказал кто-то.

— Очень кстати, — промолвил председатель и предложил старому другу присесть.

Вибиге обратилась к нему:

— Знаете, Влос, хоть вы и в отпуске, — тут она не удержалась от легкой нотки сарказма, как будто коллега, несмотря на полную легитимность своего sabbatical leave, все-таки отчасти отлынивает от обязанностей, — мы, — это местоимение прозвучало как «те, кто не отлынивает от обязанностей», — мы все-таки хотели бы вас посвятить в цель нашего прибытия на эти Cuckoo Islands. Официально мы приехали на эти стран-

ные празднества, однако цель у нас, как вы, должно быть, догадывается, другая.

— Да я почти не сомневался, друзья, что вас здесь увижу, — сказал Ваксино и постарался прикрыть полотенцем еще мокрые чресла.

Губы председателя вдруг развернулись в совсем неплохую улыбку.

— Знаешь, очень приятно даже в сумасшедшем доме увидеть своего человека.

Американцы с удовольствием расхохотались. Европейка неприятно усмехнулась. Европейец с тоской посмотрел на Ваксино, как будто умолял угадать его желание. Эйб, пошутив, тут же потянул на себя бразды правления.

— Прежде всего, позволь тебя представить нашим коллегам из университета Пантер. Марта, Юрайя, перед вами профессор Влос Ваксакоу, он же романист Ваксино, да-да, тот самый Ваксино!

Тот, кого называли Юрайей, радостно осветился, как будто решил, что этот «тот самый» сейчас угадает его желание. Дама губами и подбородком как бы сказала «ого» и холодно кивнула. Эйб продолжал представление:

— Влос, перед тобой профессор Марта Летик, да-да, та самая Марта Летик! Ты, конечно, помнишь ее работы по «лабораторным взрывам в трехступенчатом социуме».

— Еще бы! — воскликнул Ваксино. Он и в самом деле помнил какую-то абракадабру в этом роде.

Эйб остался доволен такой живой реакцией.

— Вместе с ней прибыл ее ассистент, очень многообещающий Юрайя Мак-Честный, Ph.D.

— Весьма, весьма, — проямлил Ваксино и кивком ободрил молодого человека.

Тут появилась официантка в свежем фартучке. Оказалось, что компания уже успела заказать завтрак. Быстро, споро не очень красивая, но профессионально безупречная девушка стала сервировать стол.

— How would you like your eggs, Sir?¹ — спросила она профессора Шумейкера.

— В смятении, — ответил тот по-русски.

¹ Как приготовить вам яйца, сэр? (англ.)

На мгновение остолбенев, девушка поняла и деловито кивнула.

Где и когда их так здорово натренировали, не переставал удивляться Ваксина, глядя на персонал «Бельмонда». Даже на Острове Крым трудно представить такую русскую прислугу.

— Скажите, барышня, — обратился он, словно играя роль в какой-то пьесе, — а не могли бы вы принести пива мне и вот этому молодому человеку? — Он посмотрел на Юрайю и понял, что попал в точку. Лицо подержанного юнца радостно вспыхнуло, как будто к нему вернулась первая молодость.

Расправляясь с яйцами в смятенни, Вибиге Олссон продолжала объяснять Ваксина, а может быть, и самой себе цель приезда академической группы. На этом архипелаге назревает колоссальный этнический конфликт. Политическая борьба в Россин имеет к нему только косвенное отношение. Да-да, Влос, косвенное, то есть по касательной, правильно, Влос. Парадигма этого конфликта возникла задолго до колонизации, она уходит корнями в давние времена возникновения религии Хуразу и других обезглавленных богов.

— Это очень древняя культура, — вставила тут Марта Летик. — Очень.

— Очень, очень, — блаженно, после первого глубочайшего глотка, вздохнул Мак-Честный.

— Она гораздо древнее русской культуры, — заметила Летик и отвлеклась к круассанам.

— О да, — завершил кружку Юрайя.

— Сейчас все назрело, — продолжала Вибиге. — В любой момент может быть развязан полноразмерный геноцид. Вы спрашиваете кем, Влос? Странно, что у вас есть какие-то сомнения. Разумеется, русской военщиной. Вообще русскими с их отягощенным тоталитаризмом прошлым.

Тут вдруг тряхнул седой красавицей головою «отец постмодернизма» Хьюлетт Брун. Оказалось, что просто немного добирал в позе величия, а сейчас проснулся.

— А Шабаргэ?! — тонко воскликнул он. — А зловещий Анчач?! А юго-западный истмус Кубаря?! Да знаете ли вы, Вибиге, что этот этнос находится сейчас в фазе роевой популяции? — И снова принял позу величия, то есть заснул.

Все обратили взоры к профессорше Летик, как бы призывая ее выступить в роли арбитра. Что она незамедлительно и сделала. Сдвинув в угол рта то, что она курила — а это, надо

сказать, была советская папираса «Казбек», каких, казалось бы, вовсе уже не существует в природе, — и поправив плечистый пиджак с крошечным значком компартии Мадагаскара, она хлопнула по столу обеими ладонями: одна была готически суховатой, вторая почему-то основательно распухла, словно ею колотили в стену.

— Когда мы научимся, товарищи, в анализах хрестоматийных ситуаций избегать излишнего психологизма и уж тем более надуманной метафизики?

Ваксино как человек с отягощенным тоталитарным прошлым вздрогнул, услышав «товарищей».

— При анализе революционных ситуаций, товарищи, — продолжала Летик, — нужно прибегать к испытанному марксистскому методу. Не отрицаю, этот метод может хромать в других областях, ну скажем... — она покосилась на Ваксино, — в оценке литературного процесса, но уж в оценке-то революционных ситуаций только он может привести к успеху.

— К успеху? — переспросил Ваксино.

— Да, господин Ваксино, к успеху. — Теперь уже в упор тяжелым взглядом она на него посмотрела. — Общеизвестно, что борьба за национальное самоопределение на некоторых этапах может способствовать успеху классовой борьбы.

— О, Марта, — слабо произнесла Вибиге с неожиданно женственным вздохом.

— Ну, я, пожалуй, пойду. — Ваксино стал выбираться из кресла.

Летик продолжала, отмахивая каждую фразу здоровой рукой и припечатывая распухшей:

— Этнический подъем на Кукушкиных островах — не исключение. В конечном счете все знают, что Маркс победит Фрейда. Лидеры этносов тоже отдают себе в этом отчет. Вчера я встречалась с верховным колдуном Шабаргэ Вакапутовым, он же Очарчирий Восемнадцатый Заведоморожденный. Этот товарищ проявил недюжинные познания в области марксистского анализа.

— Почему ты уходишь, Стас? — нервно спросил председатель.

— С меня натекло. — Ваксино указал на скопившуюся под креслом лужицу морской воды. Затем он чуть подтолкнул свою непечатую кружку пива в сторону ассистента МакЧестного. И откланялся.

Шумейкер, извинившись, пошел его проводить.

— Стас, — сказал он, когда они завернули за угол, — ты знаешь, я еле держусь.

Стас приостановился:

— Эйб, прости меня, но этот баскетбол, ей-ей, не принес тебе никакой особенной беды, кроме кучи денег.

— К черту баскетбол! — рявкнул вчерашний снайпер НБА. Реплика «рявкнул», разумеется, правомерна только в присутствии звука «р», то есть в русском переводе его восклицания, а поскольку в оригинале не было ни одной рычащей, лучше было бы сказать «взвыл». — Стас! — Он вцепился старому другу в костлявое плечо. — Где она? По всему раскладу, она должна быть здесь, в этом факин отеле «Бельмонд»! Иногда мне кажется, что я слышу ее голос. Пойми, я умираю.

Ваксина с деликатностью, неестественной среди друзей, выбирался из-под его руки. Он еле боролся с нахлынувшим раздражением. Как они все мне надоели. Увольняюсь из ЦИР-КСа! Завязываю с литературой! У меня теперь есть три лимона. Я здесь на правах персонажа! Хватит!

В тот же день после ужина в вестибюле отеля возник небольшой конфуз. Приехал иностранец и потребовал номер люкс. Все говорило за то, что это человек люкса: седая львиная грива, чапаевские черные усы, брежневские брови, бочкообразная грудь пеона с навешанными на ней амулетами доколумбова периода, стройные ноги кастильского кабальеро, внушительная трость, казалось готовая в любую минуту обрушиться на голову нерадивого портье. Увы, люксы давно уже были разобраны, равно как полулюксы, равно как и все другие номера, даже самые скромные, что всего лишь по 300 баксов за ночь.

— Да вы отдаете себе отчет, кто перед вами?! — взревел новоприбывший на великолепном испанском и даже слегка приподнял тяжеленную (очевидно, с начинкой) трость.

— Кто бы вы ни были, сеньор, — ответил на таком же испанском крымчаинн-портье, — вам все-таки следовало озаботиться своим устройством заранее.

— Вы что, не понимаете — перед вами Ильич Гватемала! Да-да, вот именно тот самый, чьи книги теперь читает весь мир!

— Циклопический реализм?! — ахнул начитанный портье.

Ильич Гватемала правой оперся на трость, благосклонно помахал всеми перстнями левой: пронто! пронто! Портье прижал руки к груди и помотал головой. При всем восхищении — а он читал все четырнадцать гватемаловских романов и был полностью покорен — он не может найти комнаты для великолепного автора. Их просто нет. Выселить кого-нибудь из россиян мы сейчас не можем: все-таки не те времена. Глядя, как опять начала приподниматься палица Геракла, он сделал условный жест двум дюжим охранникам. Те начали деликатно выдвигаться на позицию за спиной Гватемалы. Портье был в отчаянии: неужели придется бить? Неужели придется вышвыривать за порог такого гиганта литературы? Но что же делать — ведь не бельевую же ему предлагать!

— А почему же нет? — сказал Гватемала, словно услышал мысль. — Бельевая бельевой рознь. Уверен, что ваша мне подойдет. — Не дав никому позаботиться о его портпледе, он с достоинством пронес его в сокровищницу душистого бельмондского белья.

— Чё-то я не врубаюсь, Энтони Мардельевич, — сказал один из охранников умудренному портье. — Ведь Гватемалу-то этого еще в прошлом году в Чикаго федералы однозначно замочили — рази нет?

Портье погрозил ему холеным пальцем:

— Служащие отеля не должны вторгаться в личные обстоятельства клиентов!

Что касается сестер О, то они в полном составе, вместе с котом Онегиным, прибыли и расположились в люксе Ваксина, или, как его продолжали упорно называть в рамках месячника, «писателя земли русской Власа Ваксакова». Кукушкинский быт сочинителя, конечно, сразу изменился. Женщины повсюду развешивали мокрые купальники и разбрасывали московские «толстые журналы», из которых сыпался песок. Кот, ошалевший от перелета из Вирджинии через Нью-Йорк и Москву, скакал по предметам изящной фурины и скандально требовал прогулок в парке, где он уже заметил с балкона своего друга Финнегана, с его отменным хвостом.

Повсюду теперь попадались пепельницы, доверху наполненные начатыми и тут же уткнутыми сигаретами. Нередко

слышались грубые американские выражения типа fuck'em off или those bloody m.f., перемежаемые, разумеется, и родными экспрессиями того же типа, в примерах которых русский интеллигентный читатель не нуждается. Сестры прибыли в возбужденном и даже агрессивном состоянии. Оказывается, в Москве критик Говновозов со товарищи начали массированную атаку на Стаса Ваксина. Причислили его к «шестидесятникам», понимаете ли! Отождествляют с приспособленцами, межеумками, с кукишами-в-кармане — его, который был кумиром самых первых неформалов, антагонистов совка, молодежи еще 50-х, не говоря уже о легендарной богеме 60-х, 70-х, 80-х и нынешних 90-х! Ты понимаешь, кого они хотят замарать, эти жалкие time-servers, кричали сестры О Стасу Ваксину, как будто речь шла не о нем самом, а о каком-то общем феномене.

Шикарный международный трен «Бельмонда» стал вытесняться привычным курортным бытом какой-нибудь турбазы или литфондовского Дома творчества. Сестры любили устраивать домашние трапезы, приносили в люкс всякую всячину с грязных рынков Революционска: то пучки зелени вкупе с головастиками знаменитых кукушкинских редисок, то подсушенные хвостики змей, то трехступенчатое сало полосатых кабанчиков и, уж конечно, гиперболические бананы с виноградными наростами, к которым надо привыкнуть, чтобы понять, из чего на Олимпе делали нектар и амброзию. «Это все афродизиаки, колоссальные афродизиаки, если их хорошенько прожевывать», — убеждали сестры О нашего сочинителя, как будто у того не было другой задачи, как только накачаться сверхнормативным либидо для посрамления критика Говновозова.

Однажды Мирка призналась Стасу, что у нее, кажется, восстанавливаются отношения с его сыном Дельфином. Ваксина был ошарашен: какие еще отношения? Как какие — конечно, интеллектуальные. Мы с ним обмениваемся мнениями по e-mail. Тут же сестрица Галка подняла бокал базарной бормотухи. За положительного героя! За незаслуженно забытого русского положительного героя по имени Дельфин! Адмирал Лихи всегда соответствовал своей избраннице. Он поселился неподалеку на базе российских субмарин, за которой еще недавно так усердно шпионствовал. Ему там выделили домик с проточной водой, что он всякий раз как бы между прочим

подчеркивал. Что они там пили, кроме спирта из гироскопов, остается за пределами повествования. Во всяком случае, Галка возвращалась от подводников, то и дело налетая на стены и напевая песенки из репертуара группы Night Hawks. «Ночные ястребы кружат по поднебесью, а мы с тобой, мой милый друг, грустим в беседе»; в этом роде. По утрам она клялась Вавке, что скоро начнет лечиться.

Ну а Вавка, само изящество, если идти за ней по пятам, сама забава, если идти навстречу, как тургеневская девушка, только в мини-юбке, гуляла с книжкой стихов по аллеям парка. Старик Ваксина с ментоловой сигаретой меж пальцев наблюдал за ней иной раз с балкона. В предзакатных сумерках порой возникало особое лиловатое свечение, словно пришедшее из времен столетней давности. Цветочные вазы на первом плане создавали своего рода парафраз к известной картине Леона Бакста. Вместо смутной фигуры живописца Ваксина с чисто художественными целями нет-нет да подставлял самого себя, и тогда беленькое платице среди ухоженных кустов обретало новый смысл.

Интересно, что Вавка за время своего отсутствия ни разу не появилась в спальне старика, как будто расстояния, все эти материки и океаны, могли быть препятствием. Теперь, после приезда, не проходит ночи, чтобы она, как всегда бесшумно, не появилась в лунном свете, идущем из открытого настежь окна. Он ждет ее в постели, но она проходит мимо и останавливается спиной к нему, ставит одну свою балетную ножку на подоконник, стаскивает через голову ночную рубашку. Он, привычно подавляя артритное побряхтыванье, приближается и берет ее бедра в свои руки. Несколько секунд, прежде чем прийти в движение, они стоят бесстыдно и блаженно перед набитым звездами пространством, в волне вечного бриза, он с божественной нимфой в руках, она в магнитном зажиме молодого фавна. За завтраком она его спрашивает глотком кофе: ты опять? Он переспрашивает ее шелестом газеты: а ты? Мирка и Галка булькают грейпфрутовым соком.

Много раз Стасу Ваксина говорили в администрации «Бельмонда»: «Не уходите слишком далеко по пляжу, сэр. Вас могут похитить и увезти на Анчач или на Шабаргэ, а то и здесь, на Кубаре, так запрячут, что никакой спецназ не доберется. Потребуют миллион долларов за вашу голову,

как мы оплатим?» (В скобках тут упомянем то, что впоследствии стало известным местному ФСБ. Оказывается, полевой командир Апломб Кашамов со своим отрядом целую неделю рыскал в окрестностях отеля именно с прицелом на «писателя земли русской». Только лишь волей Провидения можно объяснить, как накуренные дикари не наскочили на беспечного сочинителя. Впрочем, и качество «шмали» тоже сыграло свою роль.)

И вот однажды Ваксину в мыслях о «малом романе», в котором ему волей-неволей приходится играть роль персонажа, зашел по пляжу действительно так далеко, что даже башня «Бельмонда» с ее глобусом-маяком скрылась за горизонтом. Вокруг не было ни души. Волны накатывали и погромыхивали галькой. Составные части пейзажа, как и все на этом архипелаге, создавали двойственное впечатление. С одной стороны над пляжем колыхались огромные пальмы, как бы не давая забыть, что эта земля относится к необозримой Океании. С другой стороны на склонах холмов посвечивали белоствольные березки. Эти символы русскости были здесь в свое время посажены по воле партии для возбуждения хорошо известного в те времена чувства, именуемого «гордостью великоросса».

Над одним из холмов из-за берез стал вырастать тяжелый железобетон. Ваксину вдруг припомнил: ба, да ведь это же санаторий имени Кирова пресловутого Четвертого управления! Построенный в период советской НТР корпус незыблемо несет характерные черты своей эпохи: тяжесть позднего коммунизма и остороженькие претензии на модерн. А вот появилась и большущая голова Кирова. Волевые черты выступали из нарочито недоработанного гранита. Возникало странное впечатление, будто на плечи большевика опускаются мелкозавитые волны ассирийской каменной гривы.

Он вспомнил: вот в этом месте пляж пересекал проволочный забор, дальше простому люду хода не было, за забором отдыхала номенклатура. Теперь никакого забора не замечалось. Вообще не было ничего — одна первозданная природа да насаженные березки. Санаторий превратился в гробницу погибшей цивилизации.

Не встретив ни души, он прошел еще метров сто по пляжу и тут увидел на гальке две человеческие головы. Дурная шутка посетила его: должно быть, за эти головы не был запла-

чен выкуп. Вслед за этой шуткой должен был прийти ужас, но не успел: Ваксино заметил, что головы наблюдают за его приближением.

— Вот и он, твой Ваксино, — сказала одна голова.

— Стаська, лапа моя, — проговорила другая.

Внимательный читатель, конечно, уже догадался, что это были головы Славкиных родителей Игоря Николаевича (Натановича) Горелика и Любви Ипполитовны Горелик-Андриканис.

— Вот решили по старой памяти отдохнуть в Кировке, — сказал Игорь.

— А ваши тела в порядке, ребята? — осторожно спросил сочинитель.

— Да что ты, Стаська, мы тут помолодели на тридцать лет! — хохотнула Любка.

Оказалось, что санаторий работает на коммерческой основе, но для носителей СКВ недорого. Вообрази, все бальнеологические службы функционируют нормально. Больше того, сейчас здесь внедрили прежде осужденные партией галечные ванны, эту услугу царской аристократии. Результаты — потрясающие! Все болячки забыты! Состояние духа — в духе зари! Какой еще зари? Да социализма же, неужели не понимаешь?!

— Только жратва херовая, — добавил Игорь.

— Не то что в прежние времена, ты хочешь сказать? — спросил Ваксино.

— Вот именно, как в прежние времена, такая же хуйня, — сказал Игорь.

— Игорь, ты не в бильярдной! — с юморком прикрикнула на мужа печаль ваксиновских очей, Любка-Любка-Потеряла-Юбку.

— А что, Бульонский дома остался? — спросил Ваксино.

Бульонский тут же вышел из пальмовой тени. Со свойственным ему тактом он никогда не подходил сам, не быв зван.

— Друг мой, Бульонский! — сказал ему Ваксино.

Пес подошел и сел рядом. Протянул лапу человеку, о котором так часто говорили в семье и нередко в раздраженных гонах. Имя этого человека чем-то напоминает ежегодный укол и ляжку, однако это именно он прибежал спасать маму Бульонского. Он лег рядом с Ваксино. Собаки на самом деле пом-

нят все до последних мелочей из окружающей жизни, не говоря уже о носках. Едва приблизившись, собака отмечает: этот человек был прошлый раз в других носках, но пятки пахнут тем же. Мореным дубом, ледис.

В переполненном «Бельмонде» все-таки было одно помещение, где можно было уединиться. Стены его от пола до потолка были закрыты полками красного дерева, на которых корешком к корешку стояли дорогие книги оксфордского издания. К верхним полкам можно было добраться по передвижным лестницам, что катались вдоль закрепленного на потолке рельса. Добравшись, там можно было и усесться с раскрытым томом, ибо каждую лесенку венчало удобное сиденье с подлокотниками. Внизу глубокие кожаные кресла приглашали в них утонуть, чтобы подремать над каким-нибудь просветителем и пробудиться, чтобы перевероршить гору периодических изданий со всего света.

Словом, это помещение напоминало Стасу Аполлинаруевичу библиотеку лондонского клуба Atheneum, членом которого он состоял в восьмидесятые годы. Всякий раз, заходя сюда, он вспоминал, как его рекомендатель лорд Лоуренс однажды остановился на торжественной лестнице, ведущей в библиотеку. «Вот именно на этой ступеньке, мой дорогой Ваксина, Чарльз Хаффэм Диккенс помирился с Уильямом Мэйкписом Теккереем. До этого они двадцать лет не разговаривали друг с другом. «Ну, Теккерей, перестаньте дуться!» — сказал он ему и протянул руку. Рукопожатие было принято. После этого они вместе проследовали в библиотеку и углубились в чтение».

В «Бельмонде», который все дни месячника гудел немолчной болтовней, а иной раз и взрывался дикими криками враждующих группировок, библиотека была сущим оазисом тишины. Публика чуралась этого стильного помещения, и мы, кажется, знаем почему. Дело в том, что здесь запрещалось подавать напитки, а употребление оных за счет какого-то неведомого покровителя стало уже навязчивой потребностью большинства постояльцев. Стас Аполлинаруевич обычно забирался под потолок по одной из лестниц-каталок с томиком Диккенса, а потом, держась за продольный брусок, перекатывался в секцию «Т», к Теккерее. На самом деле он просто жаждал умерить внутреннюю дрожь, что накапливалась по мере прибытия персонажей.

Вот и сейчас, все еще переживая столь неожиданную встречу с друзьями, он вошел в библиотеку и стал подниматься по лесенке мимо Габриэля Д'Аннунцио, Данте Алигьери, Чарльза Дарвина, Альфонса Додэ, Даниэля Додэ, Томаса Де Куинси (*Confessions of an English Opium Eater*¹, чтоб было понятно), Рене Декарта, Чарльза Диккенса, Эмили Диккинсон, Джона Донна, Ф.М.Достоевского, Александра Дюма, Влад. Даля, Гаврилы Державина, Джамбула Джабаева («Песни о Сталине», чтоб было понятно), Джеймса Джойса (врём, потому что в оригинале он не на «Д»), Т.Драйзера (члена КПА), В.Дудинцева (сотрясателя КП СССР), Фр.Дюрренматта.

Забравшись и утвердившись, Ваксина заметил, что находится здесь сегодня не в полном одиночестве. Внизу в кресле сидел и с несколько рассеянным выражением лица следил за его подъемом не кто иной, как его сын Дельфин. «Вот это да, он уже немного лысеет», — такова была первая мысль отца. «Этот папаша, он такой же костлявый, как я», — думал сын.

Теперь, кажется, появилась возможность представить читателю этого незаурядного молодого человека — так дальше развивалась подсказка сочинителя, — оказавшегося в роли персонажа. Дельфин вполне заслужил достойное место на этих страницах. Великолепный тип современного ученого, таков этот наш сын от первого брака. Простое умное лицо. Простая одежда: темный свитерок, брючата хаки, неизменно стоптанные кроссовки. Большие руки, большие ноги, крепкий торс, ваксаковская волжская косточка. Почему-то Стас не спускался вниз, словно жалел покидать уже занятую вершину. Видя это, Дельфин вылез из кресла, подкатил по рельсе другую лесенку и сам поднялся к вершинам секции «Д»; там они обнялись.

— Тебе, наверное, кажется, Дельфин, что я тебя избегаю? — спросил отец.

Сын рассмеялся:

— Да я ведь понимаю, Стас: ты в процессе. Прекрасно помню, как еще в те времена ты начинал свой новый романести и впадал в полусомнамбулическое состояние. Тебя тогда... — он хотел сказать «тебя тогда мать», но поправился: — Все домашние называли Стас Лунатиков.

¹ Исповедь английского курильщика опиума (англ.).

Они оба рассмеялись. Отец с удовольствием потрепал слегка лысеющую шевелюру сына.

— А вот этого ты можешь и не помнить. Тебе четыре года. Мне тридцать. Я сижу за осточертевшим столом и строчу осточертевший литсценарий. Ты съешь свою мордашу мне под руку. Ну что ты все пишешь да пишешь, Стас? Я злюсь. Деньги нужны, вот и пишу. А зачем же тогда вычеркиваешь, спрашиваешь ты, и тут уж я отшвыриваю перо и мы начинаем нашу любимую игру «Подвиг борца Ивана-Огурца».

— Прекрасно помню. Мне и сейчас хочется тебя спросить о том же, — тихо сказал Дельфин.

— Почему же не спрашиваешь? Может быть, это ты меня избегаешь?

— Послушай, ты же сам написал в «Судорогах байронизма»...

Ваксина перебил сына:

— Неужели ты читал? Довольно вздорная штучка для моего возраста, не правда ли? Вот уж не думал, что за такой чепухой следят в кругах современных генетиков.

Дельфин похлопал старика по плечу так, как когда-то дерзновенный писатель Стас похлопывал по плечу бэби Дельфина.

— Не приbedняйся, там были зернистые мысли. Например, ты сказал, что литература, по определению, не может развиваться без байронита. Даже Достоевский, которого считают разрушителем русского байронизма, не состоялся бы без игрока Алеши, без Раскольникова, без Свидригайлова, без Ставрогина, наконец, то есть без всех этих вырожденцев все того же Онегина-Печорина. Теперь я тебе скажу, как мне представляется твой нынешний спонтан, или, скажем по-русски, выплеск. Для романа о конце века тебе был нужен новый байронит, верно? Я на эту роль не гожусь, во-первых, потому, что близкий родственник, во-вторых, потому, что вот я то как раз не имею никакого отношения к байронизму, а значит, и к развитию литературы. Тогда ты присвоил себе чужое детище, Славку Горелика. Этот-то как раз и является типичным представителем недобитых. Ну, я правильно тебя расшифровал?

Ваксина смотрел на его длинное лицо, едва ли не повтор его собственного лица, на наметки морщин, обещающих развиться в его собственные вожжи у глаз и брыла у подбородка.

Куда меня тянет? — подумалось с тоской. Вечно все запутываю от оргии до похмелья, от носатых масок до раззявых рож. Написал бы лучше, как Даниил Гранин, вразумительно, социалистично, с человеческим лицом, книгу о молодых ученых, о генетиках; «Иду на ДНК» — с восклицательным или без одного?

— Нет, только не это, — сказал Дельфин.

Лет с четырнадцати он начал нередко угадывать то, что отец не произносил вслух. Вообще. С тем же успехом он мог стать сочинителем. С тем же или с другим? Вообще-то, запятая, он должен благодарить отца за то, что не стал сочинителем. С детства наблюдал эти унижительные нравы. Естественно, в нем проявилось желание не повторять отца. Именно отсюда вырастает его гармония, отрешенность от ярмарки тщеславия, углубленность в науку.

— Ты здесь со всей мешпухой? — спросил Ваксина, имея в виду всех тех, с кем Дельфин обычно выезжал на курорт, — то есть жену Сигурни, деток — своих внучат Пола и Кэтти, — тестя Малкольма Тейт-Слюссари.

Дельфин как-то странно замялся, проямлил не очень-то вразумительно:

— Да нет, ну, в общем, я здесь проездом. Куда? Ну, на Галапагоссовы острова, конечно. Ты же знаешь, там все просто засрано необычными хромосомами. Там варится странная биокаша. Любая муха оттуда — это клад. Понимаешь, три года назад мы поставили там некоторые тесты, а сейчас надо проверить результаты.

— Эва, — задумчиво произнес Ваксина, — от Кукушкиных-то до Галапагоссовых путь немалый.

— Да ведь я же сказал, что проездом, — вконец смутился ясноглазый Дельфин.

— Скажи, а чем ты сейчас занимаешься? — спросил отец. — Ну, я имею в виду главное направление.

Сын явно был благодарен отцу за перемену темы.

— Весь институт сейчас работает над геномом человека. Знаешь, мы близки к ошеломляющим открытиям, причем с перспективой почти немедленного практического применения. Фармацевтические концерны и медицинские корпорации просто сидят на нас, ждут только сигнала, чтобы начать новую эру безумных прибылей, полного переворота всех концепций лечения и излечения. И не без оснований, Стас,

не без оснований. Если бы не мой вечный скепсис... — он на минуту запнулся, как бы давая отцу возможность проглотить его «вечный скепсис», о котором тот раньше не имел ни малейшего понятия, — да-да, мой вечный скепсис, унаследованный, должно быть — нет, не бойся, не от тебя, а от дедушки-троцкиста, — я бы сказал, что мы приближаемся то ли к золотому веку, то ли к Апокалипсису. Ей-ей, разбираясь с генами, я иногда думаю, что работаю даже не для людей, а для какого-то пока еще непостижимого демиургического процесса, в котором будет главенствовать некое высшее био-духовное начало. Не исключено, что мы приближаемся к такому моменту, когда современный ублюдочный человек будет сменен новой расой; почти по Ницше. Видишь, я заговорил с тобой на твоём языке художественного косноязычия. — Он замолчал, словно дал себе команду остановиться, не упоминать чего-то всуе, не разглашать.

Отец с трудом скрывал волнение.

— Скажи, Дельфин, скажи по чести, пусть это даже еще не ясно, что ты думаешь: ДНК — умирает?

Они смотрели теперь друг на друга одинаковыми прозрачными глазами: как сказал бы исламский фанатик, «глазами дьявола».

— Вообще-то долго не умирает, — осторожно ответил сын.

— А вообще, когда-нибудь умрет? — спросил отец.

— Это зависит, — произнес Дельфин без многоточий, то есть в прямом переводе с американского. — Ведь это все же кислота, понимаешь ли, все же кислота ведь.

— Я понимаю, — кивнул Ваксина. — Она может начать умирать от воздействия чего-то внешнего. Но если умирает, умирает до конца?

— Кажется, нет, — тихо сказал Дельфин и повернулся в сторону двери. Посмотрел туда и отец.

В дверях стояла бывшая жена Дельфина Мирка, старшая из сестер Остроуховых.

В этот момент в библиотеке так распределились тени и свет, что она не сразу заметила Ваксина и быстро пошла к Дельфину, серьезная и как будто на что-то решившаяся и в то же время какая-то трепещущая; ну прямо из какого-то кинофильма эпохи «послесталинского пробуждения — ну, скажем, «Девять дней одного года» — в этом роде. Какой-то штрих в

этом проходе даже поразил Стаса Аполлинариевича; ага, вот в чем дело — вместо привычного мягкого жакета на ней было темно-бежевое платье с глубоким вырезом! Уже почти дойдя до смущенного Дельфина, она увидела сочинителя. И запнулась, но как! Без всякого неуклюжества, без чертыханья, даже с некоторой грацией, почти как младшая сестренка иной раз спотыкается.

— Ах, Стас!

Все трое рассмеялись, и все трое по-разному.

— Генетики, я вас оставляю. Вам есть о чем поговорить.

На прощанье Ваксно сказал сыну:

— Дельф, ты все-таки лезешь в «большой роман», но не в роли положительного героя.

В этом хаотическом кружении персонажей читатель может подумать, что забыты некоторые основные движители кукушкинского сюжета — в частности, «каналы», что внесли в атмосферу триумфального месячника вихри тревоги и раскола. О расколе речь пойдет позже, пока предлагаем просто вернуться к нашей молодой бизнес-компании.

На закате одного из ослепительных дней того сезона ребята сидели и лежали на маленьком пирсе: Славка, Герка, Маринка, Лёлик, Юлю, Димка и Юрка Эссесер. Не хватало только «милрой Никитиной» и Розы Мухаметшиной. Девушки отпросились на своего рода «традиционный сбор», если можно так сказать о совершенно случайной встрече бывшего активы бывшего клуба «Наш компас земной», давно уже превращенного в Fitness Center.

Весь день они в свое удовольствие рубились в теннис на кортах «Бельмонда». Дима Дулин расставил под пальмами своих бойцов, так что можно было ни о чем постороннем — в смысле пуль — не беспокоиться. Потрепали на славу (никаких каламбуров!) некоторых заезжих знаменитостей: комсомольца Кафельникова, пионерку Курникову, досталось и вездесущему буржую Агасси.

— В юности я торчал на закатах, — говорил сейчас Горелик. — Всегда пытался расшифровать закатные послания, словно какие-то призывы свободы.

— А сейчас за закатом лежит совок, — тут же саркастически вставил Мумуев.

— Маленькая вставка по поводу совка, — сказал Эссесер. — Тебе оттуда интересный e-mail только что пришел,

Славк. — Он тут же пустил в ход портативный принтер и вытащил страничку с текстом. — Читаю вслух, потому что всех касается. «Славочка, родной ты мой и сладкий человек! Твой пароход гудит тебе сквозь все сибирские недра: гу-гу! Решила тебе в честь нашей швейцарской встречи сделать подарок, 70 000 тонн чистого металла почти задаром. Твоя Аврора».

— Не слабо, — промолвил немногословный Дулин.

— Ах, Славочка, тебя, кажется, за бедного приняли! — посетовала княжна Дикобразова.

— Еще бы, он ее так затрахал! Богатые так не трахаются, — срезонировал Мумуев.

Юрка потряхивал электронограммой:

— Ну, братва, где сейчас рулит такая свобода, как на родине тоталитаризма? Мне как гражданину Эссесеру ясно — нигде! — И он в экстазе даже проплясал на досках пирса некую джнгу.

— Нгкдм, — резюмировал Телескопов-Незаконный.

— Перестаньте этот ваш противный звук, Олег Владимирович! — как всегда прикркнула на друга Юлию Ласканен. Под сгущающимся закатным освещением она была похожа на энди-уорхоловское воплощение блондинки.

— Эх, иностранка, не знаешь ты нашего фольклора, потому и без понятия, — привычно парировал Лёлик. — А я чего, братва: а почему бы не искупаться, а? Почему бы не устроить заплыв до Зуба Мудрости?

Примерно в километре от пирса из плавающего блеска воды торчала скала, действительно похожая на зуб корнями вверх. Ребята переглянулись: интересная идея, не правда ли? Дима Дулин встал и сильно скрестил пальцы на животе, очевидно, для того, чтобы под последними лучами солнца еще лучше обрисовалась его мускулатура.

— Говоря о свободе, парни, лучше все-таки дождаться темноты. — Он отошел в сторону, чтобы отдать по телефону своим бойцам соответствующие команды.

Через четверть часа все попрыгали в воду, что вызвало веселый переполох среди поджидавших компанию дельфинов. По пути к Зубу Мудрости болтали о том, что на ум взбредет. В частности, о том, как отучить русскую интеллигенцию от любви к литературе. Тут, конечно, витийствовал Герка Мумуев.

— Пора изгнать этих сладкозвучных сирен, залепить себе воском уши! — кричал он, плывя вальжным брассом. — Поколение наших родителей приучило нас жить внутри литературного пространства. Мне, например, было нелегко выйти во внешний мир. Литература в этой стране к черту вытеснила и историю, и экономику. Возьмите Питер. Городу всего двести пятьдесят лет, а литературных символов в нем наткано столько, что хватит и на Рим. Здесь «первый бал Наташи», там «Лизина канавка», а вот, извольте, «подвал старухи процентщицы»! Недаром пишут, что литература девятнадцатого века заменила нам настоящий девятнадцатый век. Этому, правда, придается высокое артистическое значение. Дескать, руслит обогащает историю. А я сомневаюсь! Сомневаюсь!

«Аюсь! Аюсь!» — несло над затихшим, совсем уже ночным морем, и это, конечно, можно было принять за лишнее первое звука слово «каюсь».

— Что ты так орешь? — одернула мужа плывущая рядом Маринка.

— Пусть орет! — крикнул замыкающий Вертолетчик-Пулеметчик.

— Литература должна существовать автономно! — продолжал усердствовать Герасим. — Музыка ведь не вмешивается, правда? Славка, я прав?

— Великий кормчий всегда прав, — отвечивал плывущий в середине группы президент корпорации.

Герка поднырнул и выпустил фонтан: это был его коронный номер.

— У нас налепили литературных фетишей на пятьсот лет вперед! Тургенев! Чехов! Эти бесконечные интерпретации меня заколебали! Да я скорее схохну, чем пойду смотреть этот недавний фильм «Муму»! — Хохот тут грянул такой, что прынули вбок дельфины. Ниспровергатель сообразил, что сам сделал из себя плывущий каламбур, и наконец замолчал.

— Месье Мумуев, пес убогий, — в довершение всего прошипела благоверная.

Пловцы уже начали огибать Зуб Мудрости. Вблизи он представлял собой скалу со скользким, в водорослях, отвесом. Вода сильно закручивалась вокруг, но с морской стороны возле скалы стояло небольшое спокойное озерцо, где все и собрались.

— Ну, Незаконный, теперь говори, в чем дело, — проговорил президент.

Все тихо шевелили руками и ногами под молодой луной, уже начинавшей свой привычный на море серебристый перепляс. Лёлик воздвигся над водой, опираясь на какой-то невидимый камешек.

— Славк, Герк, Маринк, Димк, Юрк и вы, госпожа Ласканен, вот клянусь своей родиной, русской Стрёмой, опознал я сегодня нашего главного врага — Артемия Артемьевича Горизонтова. Спокойно, мальчики и девочки, не тонуть! Наш он, гусятинский, не кто иной, как Федор Окоемов по кличке Налим. Вот именно тот самый, которого в самом начале на «Шолохове» брали, — зуб даю!

Зуб Мудрости мрачной громадой взирал на исказившиеся под луною лица друзей. А не поехала ли крыша у нашего Лёлика? Тот самый? Которого тогда вниз башкой в «Ниву» затолкали? Тот самый комсомольский жлоб, что тогда всю келью в монастыре обрыгал? Которого тогда к ленинской ноге привязали? Да может ли быть такое?

— Послушайте, Телескопов. — Княжна Дикобразова вдруг перешла на «вы». — У этого воплощенного олигарха нет ничего общего с тем бандитом!

— А ей лучше знать! — крикнул ужаленный старой ревностью Герасим.

— Лёлик, ты, может быть, не в курсе дела, — сказал Славка, — Налима-то еще в девяносто третьем объявили в розыск. Кроме того, у нас есть достоверная информация, что его своя же братва из правления ТНТ заказала, после чего он и исчез. Боюсь, приятель, это у тебя папино халигалийское воображение разгулялось.

— Ээтотт пратец Льёлик слишком много смотритт пуржуазных мувис, — насмешливо высказалась Юлюю.

Телескопов-Незаконный взмолился:

— Верьте мне, ребята, а то поздно будет! Я его с лягушачьего детства знаю. Он меня на двенадцать лет старше, вся пацанва в Гусятине за ним бегала. Вожак комсомольской дружины, стилиг учил родину любить! Пиздили без пощады! Помню, как сейчас, мы на Коровьей протоке у берега барахтаемся, а Налим с дружинниками на «уазике» подъезжают. Залезает он на перила моста и бух в стремнину, только ягодицы сверкают, а под левой заметная татуировочка: x y z. Так вот,

сегодня случайно навел я бинокль на бассейн «Царской виллы», а там Артемий Артемьевич обнаженным образом прогуливается, а под левой ягодицей — х у з!

— Боже! — выдохнула Марианна.

— Вспомнила?! — яростно затрясся Герасим.

Она плеснула ему в лицо горсть ночной воды:

— Что за неуместная дурацкая ревность. Решается вопрос нашего существования. Vous êtes un minable, mon cher!¹

Славка подплыл поближе к вертолетчику:

— Димк, ты считаешь возможным такое изменение внешности?

— Элементарно, — ответил тот. — Частная клиника «Бобколетти» в Дарнахе за пол-лимона любого ублюдка делает приличным господином.

— Если это Налим и ТНТ, значит, они давно нас вычислили как «каналей», — сказала Марианна.

— Однозначно, — подтвердил охранник.

— Это значит, что нам отсюда не выбраться, — спокойно резюмировал президент ООО «Природа».

— Или наоборот, — с меньшим спокойствием предположил Никодим Дулин, ветеран боев у «Баграма».

Президент предложил всем подплыть поближе. Они образовали своего рода цветок с колеблющимися лепестками ног и с сердцевинкой из восьми голов. Говорили так тихо, что даже в спокойном море, где каждый звук разносится вокруг на милю, их не было слышно. Через несколько минут цветок распался.

— Надеюсь, даже твой литпапаша Стас Ваксина нас сейчас не смониторил, — сказал вертолетчик Горелику.

— Стас не горазд плавать, — усмехнулся тот. — Сюда он не заплывет даже ради своих сочинительств.

— Ты в этом уверен, шенок? — услышался голос из темноты. Моржом выплывал писатель земли русской, он же эмигрантский пустоцвет и буржуазный захребетник.

Несмотря на драматичность ситуации, ядро группировки «Природа» развеселилось. Стас Аполлинариевич, какими судьбами? Не оседлали ли дельфина? Сочинитель не удостоил компанию ответом, но только лишь буркнул, что не отвечает на дешевые каламбуры. После этого он предложил всем вернуться на берег, поскольку он не хочет опоздать на интерес-

¹ Вы ничтожество, дорогой! (фр.)

ный концерт, который сегодня состоится в зале «Чаир». Никто не спросил его «а мы-то тут при чем», хотя каждый, разумеется, так подумал.

На обратном пути Ваксина пристроился к Славке. Тот снизил скорость, и они отстали от группы.

— Славка, я хотел тебе задать один вопрос. — Ваксина фыркнул в моржовые усы. — В этой воде я просто персонаж, поэтому обращаюсь к тебе не как к своему литературному детищу, а просто как к другу.

— Почти догадываюсь, — сказал Горелик с горечью и печалью.

— Ты уже забыл Какашу?

— Да. Забыл. Почти.

— И в этом есть моя вина, как ты думаешь?

— А ты как думаешь, старый Стас?

Длинные ноги Славки медленно и мощно двигались в освещенной лунной воде. Медленно появлялось на поверхности сильное плечо, следовал гребок, после чего пловец переходил на скольжение. Сочинитель тянулся сбоку по-лягушачьи.

— Видишь ли, мне вовсе не хочется все это так запутывать, просто я не могу разобраться в ваших чувствах.

— Ты никогда не был отчетлив в своих любовных историях, старый Стас. Наверное, у меня это наследственное. — Горелик расхохотался.

Ваксина подумал: Дельфин прав — и промолвил:

— Ты как-то по-печорински сейчас смеешься, Славка. Помнишь, после смерти Бэлы?

— А как еще прикажешь мне смеяться?

Впереди вся группа уже выходила на берег. Вскоре и они почувствовали под ногами рифленое песчаное дно. Горелик шел впереди.

— Она здесь? — спросил он, не оборачиваясь.

— Это только от тебя сейчас зависит, — с горечью и печалью ответил Ваксина. — Ты сам должен решить: здесь она или где-нибудь не здесь.

В зале «Чаир»

Мы можем только догадываться, откуда взялось название зала. Не исключено, что оно относится к самым глухим

временам совка, когда представление об изяществе соединялось с робким пассадоблем «В парке Чаир распускаются розы». Так или иначе, зал был с какой-то сильной ностальгической претензией оформлен розами — лепными, живописными, шелкографическими, а также огромными букетами как жнвых, так и великолепно искусных; вот так и получилось сногшибательное постмодернистское рококо на самой грани пошлости.

Теперь он был заполнен почти до отказа элитным обществом месячника. В первых рядах, вокруг пустого губернаторского места (сам Скопцо-внук почему-то отсутствовал) располагались представители знатных родов: княжна Мими Кайсынкайсацкая-Соммерсет, таинственный князь Нардин-Нашокин, аристократическая молодежь, неразлучные князь Олада и граф Воронцофф, парнжский барон Фамю и прочие. Запыхавшись и промокая лоб чем-то похожим на жменю кислой капусты, но с запахом роз, прискакал на замену вице-губернатор Ворр-Ошилло, известный на архипелаге «скрытый либерал» (так тут называли алкоголиков).

Всех удивил молодой аристократ Алекс Мамм (из Молчалиных). Every inch a dandy¹, он явился под руку с очаровательной, хоть и немного курносенькой Валентиной Остроуховой. Этот неожиданный союз вызвал первую нервную дрожь. Вызывающе прохохотала неотразимая олимпийская чемпионка, восемнадцатилетняя Софи Фамю. Она пригласила на этот концерт кое-кому тут уже известного авантюриста Славу Горелика, но тот с присущей ему наглостью не явился. Кое-кому также известно, что Алекс Мамм был отвергнут Софи ради Славки и вот явился со стройняшечкой Остроуховой — какой пассаж! В результате девушка, недавно посеянная в первой десятке мировых секс-символов, оказалась и без Алекса, и без Славы, то есть просто-напросто одна; а ведь она уже забыла, как это бывает!

Все это, разумеется, остро и тонко подмечалось представителями все еще не ренационализированной прессы архипелага: «Кукушкинской правды», «Кукушкинского комсомольца», местного радио-телевидения «Ку-Ку!», а также главного боевика общественного мнения, таблоида «Русский рывок». К этому надо добавить, что месячник на задворках бывшей им-

¹ Денди до кончиков ногтей (англ.).

перин стал уже привлекать внимание столичной и даже зарубежной прессы, и среди публики в ожидании скандала присутствовали и пока еще не опознанные нами матерые волки пера. Находился тут даже знаменитый критик Говновозов, на проверку оказавшийся пожилой теткой с большими зубами, в слегка заскорузлом вельветовом платье.

Первый настоящий скандал разыгрался еще до начала действия. В зале появился Стас Ваксино, еще мокрый после морского шпионства: пряди зачесаны поперек плечи, усы прилипли к губам, пуговица пиджака пристегнута к жилету. В углу зала, где сидела смешанная литературная поросль, от крапивы до порядочных дубов, его проход вызвал неприязненное оживление.

— Видите, вон Стас Ваксино трусит, да-да, вот этот старик — классик! — Некогда был знаменит бурою бородою и мускулистым задом. — Теперь на его жопе в рай не уедешь. — А бороду общипали птицы «холодной войны». — Усами же одолжился у Ницше. — Да нет, у Максима! — Живет за границей на всем готовом. — Слова составляет в порядки каких-то романов; смешон, как Софокл. — Бедна наша почва, откуда такие берутся, маньяки величья! — Пигмеи моральных устоев!

Тут кто-то стул отшвырнул и на костылях гневно воздвигся, трясущийся, горлом свистящий. «Не трогайте Стаську! Вы, гужееды ослиного толка! Я говорю это вам, я — Петрушайло, Янко который! Первый поэт и певец русского океана! Я запрещаю вам Стаську руками немытыми трогать!»

Хлопнулся было в падучей.

— «Скорую!» «Скорую!» Быструю амбуланцу! — те же «ослиного толка» вокруг закричали. Никто тут не жаждал летального с ходу исхода. Тут человек, про которого позже сказали «супруга», склянку достав из шали кубарьской с орлиными петухами, снадобьем личным попотчевала поэта, после чего тот воспрял без памяти об инциденте.

Все восстановилось. По проходу прошел еще один литературный старик в оливковой спецовке революционного команданте.

«Да это же покойный Ильич Гватемала, тайный лауреат премии Циклоппини! — прошелестела поросль. — Вот это писатель, не то что...» Поросль взглянула на Петрушайло и замолчала. А тот уже носовым платком, лишь по краям немного засохшим, помахивал: «Начинайте!»

На сцене появился барон Фамю, тоже в стиле Чаир, — с розами, приколотыми к лацканам и фалдам фрака.

— Ну что ж, господа, вот и дождались, — интимно сказал он. — Внучка моя Натали согласилась сегодня петь!

Постоянная и все нарастающая любовь кукушкинского народа в лице его элиты вконец разбаловала парижского приживала. Движения его были томны, слегка усталы, но великодушны; так ходят меж нами любимцы земли, суперзвезды элиты вроде Филиппа и Аллы.

— Просим! — Он барственно, беззвучно зааплодировал в сторону кулисы. — Заранее хочу сказать почтенному собранию: дева сия не профессионалка.

Кто-то, конечно из молодежи, гаркнул: «Не верим!» Где-то грохнуло. Барон продолжал:

— Так уж принято в наших кругах. Она поет только для себя. И для меня, *ma parole*¹. Только лишь патриотические чувства толкнули ее сегодня на сцену. *Je vous en prie, m'enfant!*²

Наташенька, прошу — играй, спонтань, импровизуй!

Слегка споткнувшись, как будто действительно от толчка патриотических чувств, на сцену выкатилась хорошо уже нам знакомая девушка Светлякова. И пошла по ней так, что у мужиков, да и у некоторых дам множественными шариками разбежался под кожей Меркурий восторга. Явилась игручая нимфа конца ошалевшего века.

Несколько слов о ее внешности в этот вечер. Она была босиком, и мелкие ногти ступней играли, как бисер, а крупный ноготь правой ноги горел огоньком. Тонкие брюки ее струились с бедер, и в этих шелках юморили две девочки ее ног. Шемизка ее была завязана узлом под грудями, которые в ней шевелились, как два недоступных зверька. Левое ухо ее украшал царской империи сказочный камень. В правой ноздре колебалось мифов гвианских кольцо. Один ее глаз был обведен ярко-желтым, другой мягко-зеленым. Волосы ее были забраны вверх и чутко дрожали, как устоявшийся факел.

— Hi, everybody!³ — сказала она голосом вечной ундины.

¹ Клянусь (*фр.*).

² Прошу, мое дитя! (*фр.*)

³ Всем привет! (*англ.*)

«Демон Прозрачный, спасибо тебе даже за это явление», — ошарашенный, думал Ваксино. Нет, не завяла она со времен наших горных фантазий, напротив, будто вернулась в эпоху Нарвских ворот. Наташка села на высокую табуретку у микрофона и прогуляла свои пальцы по струнам гитары. Потом подняла голову и дерзко в зал посмотрела.

— Те, кто помнит меня по питерским временам, а такие в зале, надеюсь, есть, знают, что я и тогда иной раз подпевала гитаре и даже выдумывала лирическую дребедень. С годами вокал окреп, — добавила она смешным басом. — О да, господа, сейчас вы в этом убедитесь! — Тут она пустила в потолок такую мощную трель, что даже розочки люстр задрезбуждали. В зале стали переглядываться, не зная, что еще ожидать. Она засмеялась: — Не ждите ничего особенного. Просто несколько песенок, что я сочинила на этих загадочных островах.

Первая песня

Святош трехглавый, рафинадный
Осенней охрою полёг,
А дальше — в кружеве фанданго
Кукушкинский архипелаг.

Как заселился изначально
Сей недвусмысленный Эдем?
Кто набросал сюда исчадий
Неполноценных генных схем?

Кто вы, адепты живодерства,
Бальдек, Гамедо, Хуразу?
Кто ваши глиняные торсы
Воздвиг в дремучую грозу?

Какие странные несходства,
Пейзаж прекрасен, воздух чист,
Но темный дух тут правит сходку,
Злодейской мести зреет час,

Что побудило адмирала
Сюда направить свой фрегат?
Удастся ль нам, не умирая,
Забыть про эти берега?

Вторая песня

— Стас Аполлинариевич, это для вас!

Кесарево сеченне!
Гибнет бесстрашный царь.
Заговор худосочия
Обогатил алтарь.

Плоти гниль, плодородие.
Звук неземных кифар.
Ниточка наша бродит
В том, что зовем мы эфир.

Нить золотого сечения,
Ноль-шесть, девяносто пять,
Режет средоточение,
Тянется вверх и вспять.

Плавится воск и олово.
Во избежанье клише
Не говорит ни слова
Царственный акушер.

Третья песня

— Мадам Мнмн, это вам!

По палубе гуляет дева,
Она читает «Рошамбо».
Атлантика тиха на диво,
Струится нежно аш-два-О.

Да-да, Гаврила, о да-да, мой друг Гаврила! О да!

Не знает дева огорчений,
Ни прыщиков и ни морщин.
Свежа, как с Лесбоса гречанка,
Она не ведала мужчнн.

Нет-нет, Гаврила, о нет-нет, мой хитрый друг Гаврила!
О нет!

А между тем на верхнем деке
Богатой сволочи Олимп
Выписывает деве чеки,
Их собирает Вовка-пимп.

О нет, о да, не верь, Гаврила, тебя запутать не хочу.
Нет-нет, да-да, мой друг Гаврила, я хохочу!

*C'est très joli, n'est pas?*¹ — с шиком расхохоталась столетняя княжна Мими, и все жены кукушкинского бомонда, сильно преуспевшие за время месячника по части шика, вспорхнули с аплодисментами: «Шармант! Шармант!»

Четвертая песня

— Посвящается русскому женскому веку.

Вздывают жезлы атаманы,
Горой взбухают одеяла,
Орлицей кычет нимфоманка
В любовных играх без финала.

Гвардейцев племенная рота
Потешить пах императрицы
Готова. Сладкие аборт
Лейб-акушер привез из Ниццы.

Она рыдает, как пастушка,
Запас грудей трепещет бурно.
В чем юности моей проступок?
Где прелести моей котурны?

— Однако! — поднял мотыльковую бровь князь Нардин-Нащокин, когда угас последний аккорд, поглотивший рифму. — Как это прикажете понимать?

— Возмутительно! Как она смеет, плебейка?! — С высоты своего подбородка княгиня посмотрела на окружающий бомонд, и тот, конечно, тут же сделал большие глаза.

¹ Это очень мило, не правда ли? (*фр.*)

Пятая песня

— Сейчас я спою балладу об уходящем двадцатом веке; она так и называется «Прощай, ХаХа-век!». Мне захотелось посвятить ее одному человеку, с которым я встретила-сь однажды на закате семь лет назад на плоту гребной базы ленинградского «Спартака». Мне минуло тогда шестнадцать лет, но сердцу было мене. Оно не помышляло об измене. С тех пор я ни разу этого человека не видела. Не только внешность его затуманилась, но даже имя под вопросом. Все-таки мне кажется, что его до сих пор зовут Слава Горелик, и каждый вечер мне мнится, что он сейчас войдет. Обращаюсь к тем, кто в курсе дела: есть ли еще смысл ждать?

Мой братец во грехе, Ха-Ха, мой нежный брат,
Прими грехи стиха, все с рифмами хромыми,
Ночной той гребли плот у нас не отобрать,
Все мнится Ланселот Франческе да Римини.

Ха-Ха, ты был свиреп, ты хавал свой прогресс,
Но все ж ты был Ха-Ха, ты сеял массу фана!
Ты рывкаешь, как вепрь, но куришь сладкий грасс,
Прости, что для стиха я ботаю на фене.

Ха-Ха, ты петъ горазд и бедрами вертеть,
Тебе не чужд маразм во имя человека.
Ты пестрый балаган, но ты же и вертеп,
Где Коба жил, пахан, гиена Ха-Ха-века.

Волшебник Ха-Ха-век, ты вырастил кино.
Марлон скакнул, как волк, мой призрак черно-белый.
Спускаю паруса и в твой вхожу каньон,
А в нем моя краса — Марина-Анна-Белла.

Постой, повремени, не уходи, наш век,
Пока мы подшофе сидим вокруг салата,
Покуда над меню не подниму я век,
Чтоб увидеть в кафе живого Ланселота.

О демиурги! — задохнулся Ваксина. Почему вы состари-ли меня? Почему втравили автором в тот «большой роман»?

Оставалось несколько минут до развала стиля и до начала вакханалии. Зал чинно аплодировал Какаше перед началом шестой песни. Кое-кто, тайком от журналистов, кружевными платочками или венериными бугорками ладоней вытирал запотевшие глаза. Несколько минут прошли, дальние двери открылись, и появились четверо мужланов поперек себя шире. Вы угадали — это были старые Наташенькины знакомые еще по первым калифорнийским опытам — Вазо, Чизо, Арути и Нукрешик. Этих субчиков, вспомнил Ваксино, я уже отправлял в преисподнюю, а они, похоже, бессмертны. Позвольте и вам напомнить: всей четверке, задремавшей однажды после долгих утех, досталось по башке припрятанной чугунной сковородкой. Ну что теперь остается сказать об оптимистах жизни? Башки их если и пострадали, то не очень. Словарные запасы если и убавились, то ненамного. Шерсть на грудях заколосилась. Золото созрело. Пейджеры, мобильники и еще какие-то предметы в чехлах щедро украшали их пояса. Костюменции их по первому же взгляду можно было узнать как шедевры костюмного дома «Фьюго Грасс», то есть дер шик. На каждую туфленцию, можем вас заверить, ушел без остатков бэбикрокодил. Это о внешнем виде. Что касается внутренних запросов, то они по-прежнему были большие, потому и прибыла четверка на кукушкинскую тусовку, слух о которой уже встревожил всю мировую элиту.

Сейчас нажратые в соседнем кабинете партнеры с удовольствием завалились в зал «Чаир» на эртертейнмент-шментертейнмент¹, чтобы разогнать циркуляцию-шмеркуляцию. При виде певицы на сцене восторгу их не было конца. Ю-кент-белив-ит², телочка-то, русачка-то, которую пять лет назад трэнали квартетом, выросла в соло! Кто-то из зала шикнул на них, но они тому пальцем показали на горло: «Молчи! Вжик!»

«Что же это такое? Да ведь не может быть, что меня этими мясистыми пугают мои любимые холозагоры, мои родные олеожары!» — Наташа на сцене уронила гитару, немного упала с табуретки, руки и ноги слегка перепутались. Факел на голове развалился и скрыл лицо.

¹ От англ. entertainment — развлечение, представление.

² От англ. You can not believe it... — Вы не поверите (англ.).

— Эй, девушка! — весело позвали четверо. — Помнишь хорошую компанию? Заявки принимаются? Давай пошли!

Вместо девушки к ним быстро пошли граф Воронцов и князь Олада.

Напомним тем, кто внимательно читает, что оба аристократа в свое время прошли курс определенных наук в русском батальоне команды «Дельта», который в дурацкой неразберихе «холодной войны» готовился к штурму Лубянки. С тех пор наука воздействия на надкостницу не сильно изменилась. Вазо, Чизо, Арути и Нукрешик ослепли от боли и, воя, понеслись прочь — кто прямо в стенку, кто от колонны к колонне, кто на балкон и с проломом вниз, а Нукрешик мордой в гриль, из которого только что кушал.

Завершив преследование невеж, Ник и Джин присели к бару, заказали по сухому мартини и выпили в старом стиле за тоску своих очей, что пришла к ним и ушла от них по воздушным путям метафизики. Все-таки хорошо, что Славка убил их только для сцены, подумал Ваксина. У прозы все-таки есть свои неплохие приемы. Наташа тем временем уже хохотала и взбивала кудри: юмора все-таки было немало в девичьей судьбе!

Ну а где же остальные утешители, оглядывался персонаж-сочинитель. А вот, пожалуйста — дедушка барон Фамю! Следует отдать ему должное, уже готовился мушкетер ценой, ну, не жизни, но, скажем, достоинства отразить атаку *les sauvages*¹ (так он вообще-то в глубине души называл всех, кого встречал за пределами 16-го аррондисмана). Теперь, после того как «соважи» были рассеяны, он с еще большей решимостью раскрыл объятия перед своей внучкой: дитя мое! А Какаша все хохотала и приплясывала. Все выкидывала трепачка и заливалась горловыми конвульсиями, да так, что у иных гуманитариев возникал вопрос — не послать ли за доктором Вернером.

А вот и второй утешитель прет напролом, опровергая то, чему учат в вузах, — мастер циклопического реализма команданте Гватемала из Никарагуа.

Наталлита, Каккалита, ты одна оправдываешь мое существование!

¹ Дикарей (фр.).

А вот и третий утешитель в затычном прыжке с полным поворотом вокруг оси.

Какаша, ради наших перелестных деток, опомнись, вернись! Твой Абраша.

Секунды не проходит, как три утешителя сталкиваются лбами и застывают, изрыгая проклятия на чистом французском, на чистом бразильском и на чисто русском академическом языках. Ваксино, благоразумно не выделяясь из толпы, из толпы кричит утешителям:

— Джентльмены, не толпитесь! Не мне вас учить, как разрешаются конфликтные ситуации!

А Наташка даже и не видит своих утешителей. Выкидывая лапы в беззвучном среди гама матлоте, она вглядывается в глубину зала, где вновь возникла какая-то непредвиденная коммочия. Там только что появилась группа девушек нервных, одного с ней урожая.

Одноклассницы! Неугомонные мойры Ха-Ха-века! Никитина, Мухаметшина, Штраух, Пенкина, Ларионова, Шахбазарова, Трубецкая, а во главе группы, как и в прежние времена, она, своя, родная, девушка-гиревик Ольга Кольцатая!

— Светлякова! — кричит она своим испепеляющим контральто, чтобы не сказать баритоном, и бросается, расшвыривая элиту. — Вот! — кричит она по мере приближения к родной, единственно трепетной Какаше. — Обо мне несут, что продаю девушек на растерзание! Ложь! Слив компромата! Видите, вот моя звезда Светлякова, видите, в каком порядке, в каком прикиде, в каком расцвете таланта!

— Кольцатая моя, Кольцатая! — плачет светло Светлякова, и все девушки, обнявшись кружком, затягивают вечнопахмутское «Надежда, мой компас земной!».

— Девчонки, не убивайте, скажите хорошее! Кто-нибудь из вас видел за эти годы моего Славку Горелика?

Тут выдвинулись Никитина и Мухаметшина:

— Дева, вообрази, мы как раз работаем у того, кого ты ищешь! И они, то есть все наши мальчишки из «Природы», как раз нас ждут наверху в кафе «Астролябия»! Не надо, Какашка, не падать! Вихрем вперед и найдешь искомое!

Вызывая полную оторопь у всех встречаемых, особенно у лиц океанского происхождения, девицы проскакали по коридорам, засыпались все в лифт, создав в оном волнуемую тес-

ноту, особенно для джентльменов выше среднего возраста, и так, на полном аллюре, влетели в «Астролябию».

В кафе было пусто. «Природа», во всяком случае, отсутствовала. Крымские официанты изящно извинялись. Заказ был неожиданно отменен. Мистер Дулин поставил нас в известность, что их компания, возможно, придет позднее, но когда позднее, не уточнил.

Ничего не оставалось, как заказать торт «Царское село» и пуститься в воспоминания. Наташа сладостно горевала и трепетала, предчувствуя неминуемую встречу, пока кто-то из подруг не влепил ей в нос кремовую розу. Тогда уж пришлось проявлять чувство юмора.

— Девчонки, а посмотрите-ка, что у меня есть! — сказала Милочка Штраух и показала здоровенную банку гарнизонного клея БФ.

Наша героиня первой шмыгнула под стол, чтобы там в полутьме насладиться ностальгической сладостью.

Операция «Налим»

«Канальи» в это самое время продвигались по улицам Революционска. Продвигались пешком, словно подгулявшая компания матросов. В этом была тактика Вертолетчика. Он не сомневался, что ТНТ мониторит их транспортные средства. Нужно было обычным советским способом добраться до порта, а вот там уже добыть транспорт и по прибрежному серпантину выдвинуться к «Царской вилле».

По сути дела, они впервые были в городе и с некоторым удивлением обнаружили, что рядом с безупречно международным «Бельмондом» находится пространство убогого социализма, едва тронутое так называемой реформой. Здесь народ мочился там, где шел. Мужик даже от фонаря в сторону не отходил, благо что и фонари были в большинстве перебиты. Бабы все-таки отскакивали к кустам перед тем как присесть. Впрочем, побирушки, конечно, передвигались без штанов, и поэтому из-под них без всякой подготовки время от времени растекалась лужица. Солдаты мочились кучей, с гоготом, перед городской афишей. Что касается по большому счету, в этом отношении горожане не были столь непосредственны: удалялись в подъезды жилых домов. Впрочем, и на бульварах

кое-где, чаще почему-то вокруг монументов, иное казачество рассаживалось орлами.

Приметы «рэформы» здесь напоминали последние горбачевские месяцы Москвы. Горсточка коммерческих киосков, один из них обгоревший после конкурентной борьбы, предлагала окаменевшие «сникерсы», желтоватый ликер и журнал «Хаслер» трехлетней давности. Набор табачных изделий поверг в изумление вечно любопытствующего Юрку Эссесера.

— Ребята, обратите внимание, ничего американского! Торгуют «БТ», «Примой», «Беломором». Край непуганого совка! — Неугомонный толстяк успел даже подбежать к очереди возле продмага. — За чем стоите, люди добрые?

— За вечерней доставкой, — был ответ.

Центром «вечерней доставки» была, очевидно, пиццерия «Нэаполь» на трамвайном кольце. Сквозь стеклянные двери там виднелся Запад. Буфетчицы были в униформе а-ля «Макдоналдс», видны были пышущие жаром пиццы и даже пивная машина с эмалированными рукоятками. Возле «Нэаполя», словно гротескные манекены, стояли местные кадры, не вполне созревшие девчонки на огромных ножищах и с маленькими детскими туловищами. Здесь же сидела компания бродячих собак, в которой хаотически были перепутаны уши, хвосты, лапы и другие части тела.

— Если все перезагрузить, получится несколько порядочных псов, — глубокомысленно изрек компьютерный гений.

Пока ждали трамвая, Юрка не поленился узнать у девиц, какие тут держатся ставки на их услуги. Вернулся к друзьям с выупленными глазами.

— Запросили по сотне. Не баксов, а рубленых, — представляете, мужики?! Баксов тут и в глаза не видели. Заметили — ни одного обменного пункта в поле зрения.

— Вы что, Юра, с ума сошли, что ли? — ледяным тоном одернула любознательного вице-президент Дикобразова. — На экскурсию приехали? — Ей, признаться, еще не встречались столь суетливые любопыты среди людей, идущих на огнестрельную операцию. Подошел гремящий всеми частями, но довольно просторный вагон. В нем на фанере лепился ободраный, но живучий плакат с трудящимся без плеча. Он гласил: «...ебе...артия...аш...охиновенный...уд!» Эссесер, конечно,

вперился в плакат, но, метнув косяка на Маринку, не решился высказаться.

На Театральной площади трамвай остановился и долго стоял. Там кипела политическая борьба, захватившая и рельсы. Толпа под лозунгами «Дашь эчоудо! Дашь офшор!» наседала на другую толпу под лозунгами «Да здравствует РЧР! Да здравствует процветание!». Наконец начался кулачный бой, толпы сдвинулись, и трамвай проехал.

— А нашин-то, кажется, побеждают, — шепнул Герка Славке.

Тот осадил его одними губами:

— Молчи!

Все теперь хранили молчание. Бывает ведь и такое: подгулявшая компания где-то недобрала, вот и испортилось настроение.

Трамвай грохотал по узким улочкам с перекосившимися домишками из пальмового дерева: ни дать ни взять Казань или Саратов. Трое парнюг сидели в тамбуре на корточках и курили в кулак, они внимательно присматривались к молчаливой восьмерке в стильном прикиде. Наконец, вычислив Славку как босса, они кивнули ему и подошли. Руки у парней были в карманах курток, физиономии исключали всякую возможность завести разговор на литературную тему.

Славка молча и надменно созерцал троицу. Этот Славка, подумал Герка, весь его беззаботный стиль сразу исчезает, когда такие подходят. Тюремный опыт, должно быть, сказывается. Перед нами авторитет в законе. Из всех из нас он, наверное, единственный, кто в грош не ставит такие кадры.

— Боевая сила не нужна? — мрачно спросил один из парней.

Еще на минуту или на две воцарилось молчание. Затем Славка процедил сквозь зубы:

— Выньте руки из карманов!

Уголовники нехотя повиновались. Карманы опали. Похоже, там ничего и не было.

В это время трамвай пришел на свою последнюю остановку у ворот порта. Безлюдье царило в пропитанных сажей сумерках. Лишь два анчачца с тремя верблюдами творили свой жалкий костерок возле памятника комиссару Лазо. За воротами вообще стоял сплошной мрак: порт давно бездействовал. Пассажиры, то есть группа «Природа» и трое ворюг, вы-

садились, других не наблюдалось. На земле ворюги перешли на жалобную интонацию:

— Дайте денег, пацаны, мы два дня не жрамши.

— Ну вот что, — тут же по делу заговорил Дулин. — Нам нужен автобус. Пригоните через десять минут, получите косяк грина. Понятно?

Парни тут же, как шакалы, скрылись в ночи. Не прошло и восьми минут, как они явились на миниавтобусе «Газель».

— Только не глушите, господа, ключа нет, мы его вручную завели. Сереге вон на этом деле мизинец оторвало.

Мизинец не мизинец, но одной фаланги на мизинце владелец мизинца лишился.словно некий дед из затоваренного молодежного эпоса, он держал перед собой размочаленный сверху отросток и показывал всем своим видом, что держаться можно.

Тут уж не выдержало женское финское сердце.

— Эх, разъедай ты несчастный! — запричитала Юлью над парнем, напомнившим ей вконец пропавших трактористов Стрёмы. — Даже тачку не можешь завести пез ущерпа. — Вытащив из сумки запасные трусики, она тут же соорудила воруе надежный бандаж.

Ну, поехали. Дулин сел на руль. Дорога оказалась в самый раз для любителей острых ощущений. Пожалеешь, что под рукой «Газель», а не «МИ-4». Вверх, резкий поворот, вниз, резкий поворот, и так далее без передышки. На подъемах иной раз появлялись подсвеченные башенки «Царской виллы», на спусках они пропадали. Наконец в полукилометре от цели загнали машину в «карман» — то есть в боковой тупичок, что на дорогах такого рода устраивают на тот случай, если у водителя отказали тормоза. Дали гопникам обещанную тыщу и пообещали еще одну, если дождутся. Пока что, Серега, глуши мотор и больше пальцев под вентилятор не суй. Так пальчиками будешь бросаться, пробросаешься. Добавили им также бутл грубого джина. Серега хохотал, полностью счастливый. Юлью Ласка почти по-родственному потрепала его пегий хохол.

— Н-г-к-д-м, — произнес Лёлик и добавил: — Ну-ну, не очень!

Дальше пошли пешком. В крошечном мраке нависли над усадьбой. Она сияла внизу, будто выплыла из какого-нибудь бондовского фильма. По подстриженным газонам прогулива-

лись павлины ночной фосфоресцирующей породы. В центре обширного фонтана стояла цельнометаллическая фигура воина Ахилла, точная копия того, что можно увидеть на острове Корфу. Фигура сия была подарена Гогенцоллернами Романовым за несколько недель до начала Первой мировой войны, но это просто к слову.

Возле первых ворот дежурили три «быка». На одного из них навел свой пытливый бинокль Т.-Незаконный.

— Э, да там наш юноша Бром, вечный спортсмен на вахте! Да ведь он же мне полубратом приходится, только не помню, по какой линии.

Лёлик не ошибся. Юноша Бром был недавно зачислен в личную охрану магната Горизонтова. Тут, конечно, не обошлось без протекции фаворитки Штраух. Сверхчеловек пришелся по душе утонченной петербуржанке. «Вы знаете, Артемиус, — обратилась она к своему покровителю, — к каждому новому человеку я отношусь как к новой книге. Этот вечно юный Бром кажется мне новым воплощением Кандида. Однако, Артемиус, вы, надеюсь, понимаете, кто является для меня главной книгой, своего рода, — она тонко улыбнулась, — «Катехизисом революции»; кто?»

«Я? — догадывался ААГ и, получив утвердительный ответ, излучал блаженство. Немножко кокетничал: — Уж вы простите, Милок, это не я для вас книга, а вы сами для меня захватывающая какая-нибудь книга, в которой я всегда нахожу новые абзацы».

«А вы знаете, это не так уж плохо сказано, мой Артемиус», — шептала Штраух, и глаза ее расширялись, расширялись.

А друг её продолжал: «А ваши увлечения другими книгами делают вас для меня еще интереснее», — и склонялся, склонялся.

«Следите за ударениями, мой Артемиус. — И она тоже склонялась, открывая свои абзацы и сдаваясь неправильным ударениям, чтобы в последний момент перед вспышкой безумной страсти шепнуть: — Не забудьте юношу Брома».

Вот таким образом этот вечно приветливый гигант стал бойцом первой линии обороны. Он отвечал за металлодетектор, что улавливал малейший намек на любые металлические достижения человечества. Положили ему в месяц сумму, которую он, пожалуй, не заработал за всю предшествующую

жизнь. Колоссально стабильный, он теперь излучал вообще лучезарную незыблемость, когда стоял, заложив руки за спину, на фоне цельнометаллического Ахилла, и никогда не опровергал гостей, предполагавших, что это именно он позировал для высокохудожественной статуи.

В тот вечер Бром увидел спускающегося по дороге пешехода с сумкой через плечо. Наверное, с метеостанции мужик идет бутылки сдавать, подумал он. Мужик приближался странно знакомой расхлябанной походкой. Ёкалэмэнэ, да ведь это же не кто иной, как Лёлик Незаконный, полубратик со стороны матушки Серафимы Игнатьевны, владелец Гусятинского парка культуры имени тов. Дровосекова! Всюду наши, не без гордости подумал Бром. Неугомонный народ! И он махнул ему рукой с крыльца КП. Телескопов-Н. притворно ахиул. Бромчик, ты?! Ну, даешь! Всюду наши, гусятинцы! Во народ, во неугомонное племя! Начался беспорядочный обмен мнениями. Ну, дела! А ты тут чё? По охране! Класс! А ты чё? Скажу, уссышься!

Тут Лёлика понесло, и он рассказал полубрату Брому историю вполне в духе своего литературно-незаконного папаши. Оказывается, его на гусятинском рынке похитили анчачские торговцы поросятиной. Везли в багаже с дырками для дыхания. Во надышался, Бромчик, представляешь? Во, я надышался! Ну, тут, на Шабаргэ, на невольничьем рынке забодали меня в рабство, в хозяйство полевого командира Нассала Ассхолова, слышал? Справедливейший мужик, я тебе скажу, из советской бомбардировочной авиации.

За расу Лёлика, как других, вообразите, не били. Так он сумел себя поставить. Циклевал паркеты. На всю жизнь нациклевался! К тому же там надсмотрщиком был свой парень, комсорг из дивизиона малых катеров Усла Сусами; подкармливал алкоголем.

Этот Усла однажды из-за девчурки такой Виолетты подрезал жилу Нассалу, и тогда они вместе бежали через пролив на Кубарь и здесь вот на метеостанции начали квасить и квасим уже пять дней и ночей без перерыва. Щас, значит, бутылки иду сдавать в Шлакоблоки и тут вижу какой-то знакомый колосс возвышается, то ли Ахиллес Задунайский, то ли братец Бромчик, свой подкожный, вот так встреча!

Увлеченный интересной историей Бром даже и не заметил, как Лёлик обогнул улавливающие металл воротики и

прошел на территорию сбоку. Вдвоем молодые люди двинулись от ворот к монументу. Те двое, что там вместе с Бромом дежурили, хотели было напомнить о проверке на металл, но тут их внимание было отвлечено приближающейся группой из семи индивидуумов, включая двух привлекательных женщин.

У пишущего эти строки не возникает ни малейшего желания касаться деталей развернувшихся далее событий. Достаточно будет сказать, что те двое у внешних ворот так и остались там стоять с заклеенными ртами и со стреноженными конечностями. Что касается вошедших «каналей», то они быстро догнали Лёлика и взяли у него из сумки то, что им нужно было, но только не пустую посуду, потому что ее там не было. Изумленному Брому сказали: «Пойдешь с нами — не пожалеешь! А не пойдешь — пожалеешь». И он пошел, так как понял, что имеется в виду.

Из второго КП вышли навстречу компании еще четверо атлетов. Эти ребята вовремя не услышали шума крыльев приближающихся валькирий. Они лишь успели потянуться за своими стволами, как были оглушены шумом этих налетающих крыльев.

А в это время в глубине дворца, в кабинете самого ААГ, завершался прием довольно важного гостя, избранника кукушкинского народа, губернатора Скопцо-внука. Артемий Артемьевич, проявляя уважение к легитимным структурам, сидел не за царским столом, а напротив своего гостя в кожаном кресле, и даже слегка касался его коленом. Они смотрели друг на друга и «милели людскою лаской». Любителям партийной живописи могло бы прийти на ум, что происходит встреча молодого Брежнева со зрелым Берия. Добавим невзначай: именно таким властителем дум мог бы стать мингрельский гедонист, если бы сорок с чем-то лет назад удался его план перестройки Советского Союза. План, однако, не удался, поэтому и все разговоры о сходстве Берия и Горизонтова звучат неуместно.

Весь внутренний круг, разумеется, присутствовал, расположившись вдоль стен карельской березы в таких же великолепных креслах: Равиль Равильевич, Борис Борисович, Эрнн Эрнестович, Вера Верхарновна и Душан Душанович. Последнего джентльмена, обладавшего некоторым сходством с молодым Микояном, забегая вперед, можно объявить винов-

ником приближающейся катастрофы. Именно он третьего дня доложил боссу результаты расследования злополучной группы «Природа». Все было ясно: отчетливо высвечивался «Канал», извечный враг как бы давно уже не существующего ТНТ, начиная еще с «Баграма». Никаких этих кликух, конечно, нельзя было даже произнести в присутствии почетного члена «Рыцарской чести России» и активного сопредседателя международного клуба дельцов «Форс-Мажор». Надо было так доложить, чтобы он все понял и без имен и без названий, что и было сделано Душаном Душановичем. Именно Душану Душановичу и было дано понять — не словами, конечно, а светотенью лица, — что с «канальями» надо кончать немедленно и прямо здесь, на Кукушкиных островах. Вот почему именно к Душану Душановичу свирепо вскинулся Артемий Артемьевич, когда вбежала секретарша с паническими криками: «Канальи! Канальи!» Он-то был уверен, что никаких «каналий» уже целые сутки нет в живых, а Душан-то Душанович по каким-то своим пустяковым соображениям отложил операцию на завтра.

Все это произошло через несколько минут, а пока что шел нелегкий разговор с нерадивым коммунагой. Ласково, но со страшноватым поблескиванием (ходили слухи, что это те же самые стеклышки) губернатору пеняли на безынициативность:

— Что же, Федот Федотович, душа моя, получается? Финансовые потоки к вам пошли, протекция вам на всех уровнях обеспечена; теперь, казалось бы, пора приступить к созданию акционерных обществ, а там уже и рукой подать до контрактных договоров, а вместо этого мы видим вашу талантливую публику вовлеченной, извините за выражение, в уличную бузу. Какая-то неуклюжесть возникает, дорогой вы мой человек.

Скопцо-внук волновался, пристукивал кулаком по груди, этим жестом подтверждая верность идее промышленного подъема:

— Артемий Артемьевич! Хочется прямо по-мужски! Российский бизнес! Идеалы РЧР, куда вы столь благородно обещали рекомендацию! Корневые чаяния трудового большинства! Защита интересов! Многополярная стратегия! Однако, простите, на данный момент не покажутся ли преждевременными силовые меры по отношению к замороженным-то эконо-

довцами массам? Вот и из Кремля сегодня звонили, как-то странно, в старом стиле спрашивают: что там у тебя? На «ты», Артемий Артемьевич! Это о чем-то говорит, нет?

ААГ удрученно вздохнул:

— О детях нам с вами надо думать, а не о Кремле. Ведь для них же трудимся, не для себя. Ваши-то сын и дочка где сейчас учатся, в Америке?

Внезапный и бесповоротный ужас словно свинцом опечата-
тал всю внутреннюю циркуляцию губернатора. Ничего не мог
он ответить отвсечивающему пенсне, любезнейшей улыбке
драгоценных зубов. Душан Душанович легким тоном из сво-
его кресла дал справку:

— Дочка Федота Федотовича, Сусанночка, музыкой за-
нимается в Вассар-колледже, а сынок Игорек — будущий ме-
неджер, в Пинкертоновском университете, содружество
Вирджиния.

«Господи Боже мой, милосердный, уйду из коммунизма,
только деток упаси!» — пронеслось в голове губернатора.

Артемий Артемьевич ласково покивал:

— Одобряю ваш выбор, Федот Федотович. Солидные ву-
зы — Лига Плюща, ничего не скажешь. А я, знаете ли, своих
отпрысков все-таки в Швейцарию послал, в старую добрую
Гельвецию. Изучают право. Чем меня подкупают эти кантоны,
господа, это юриспруденцией. Какой опыт у них накоплен ве-
ками! Вот, например, есть там секретный, но плодотворный
обычай по отношению к преступным бандам. Выслеживают,
наводят на дело, а потом окружают и уничтожают на месте.
Такова, господа, Швейцария, — вот и Вера Верхарновна не
даст соврать. Ведь сама...

Эту фразу ему не удалось закончить. Вбежала секретар-
ша, а за ней молодые люди из «Шоколада и прочего». Сейчас
по всем законам — или по беззаконию — техники «замедле-
ния» можно будет сказать, что эта фирма, столь внезапно оза-
рившая маразм Кукушкиных островов и, в частности, сооруди-
вшая такой классный «сеттинг» для нашего повествования,
как отель «Бельмонд», была просто-напросто частью секрета-
риата огромнейшей финансово-торговой империи, которую в
просторечии называли «Артемий Артемьевич».

Теперь эти вбежавшие секретари в ужас заламывали ру-
ки. «Канальи» в доме! Атакуют огромными силами!» Вот ко-
гда подвело Артемия Артемьевича введенное недавно прави-

ло: оружие только по периферии, никаких стволов внутри резиденции. А ведь он только добрым примерам следовал: ведь не носят же при себе оружия сотрудники Белого Дома (Дист-рикт Коламбия).

Описывать дальше сцену, полную безобразных телодвижений и не менее отвратительных звуков, нет никакого желания. Достаточно сказать, что ААГ все-таки бросился к своему столу, в котором все-таки хранился автомат «узи», набор дымовых гранат и противогаз, не говоря уже о том, что там были кнопки, кнопки, однако за столом уже сидел Никодим Дулин в скифском шлеме с радужным овалом императорской авиации; зрелище не для слабонервных.

Вскоре все жалкие попытки «тринитротолуольщиков» как-то изменить ситуацию (ну, скажем, вывалиться из окна на версальскую клумбу) были пресечены и мизансцена установилась. Могущественный совет вместе с секретариатом был поставлен вдоль стены с книжными полками. Губернатора Скопцо-внука оставили в кресле, только откатали в сторону, чтобы ненароком что-нибудь не отскочило в народного избранника. При всем ужасе положения он, надо сказать, чувствовал некоторое облегчение: все лучше, чем диалоги с Артемием Артемьевичем. Захватчики-«каналы» с недвусмысленно нацеленным о.о. расположились по углам. Особенно эффектно среди них выглядели дамы в своих коротких черных плащах — финская славистка Юлью Ласканен и российская романогерманистка княжна Дикобразова.

— Что вам угодно? — механическим голосом спросил Артемий Артемьевич.

Славка и Герка переглянулись. Ни тому, ни другому не хотелось произносить сакраментальной фразы. Выручил Теле-скопов-Незаконный.

— Ну, что ж, Налим, финита ля комедия, так, что ли? — произнес он таким тоном, что всем сразу захотелось выйти на свежий воздух.

— Эх, Лёлик-Лёлик, — промычал теперь уже бывший Артемий Артемьевич.

Спустя несколько лет те, кто уцелел, вспоминали, что им в этот момент показалось, как из какой-то книги за спинами обреченных мафиози — кажется, из «Похвалы глупости» Эразма Дезидерия Роттердамского — вышел и сразу раздулся наподобие рекламы шин «Мишлен» тот самый про-

мельк, которого они называли Большой Коричневый, несмотря на то что он всякий раз играл разными красками. В данном случае он проплыл от стены до стеклянных дверей на балкон, сверкнул саркастически четырьмя глазами и ушел в сторону моря.

Славка приблизился к Герке:

— Ну, что делать будем, Герк? Ну не устраивать же здесь дом Ипатьева.

Герка, продолжая держать пистолет на изготовку, шепотом, кривым ртом, ответил:

— Славк, меня уже тошнит от предстоящей сцены. Как-то получается не по законам жанра.

Приблизился Вертолетчик:

— Не дурите, ребята! Не замочим их, они нас замочат. До утра не дотянем. Не хотите мараться, оставьте это на меня. Я за своих пацанов с Налимом рассчитаюсь.

В кармане у Горелика зазвонил телефон. Кто в мире, кроме семи присутствующих, у которых руки были заняты, мог знать этот номер? Оказалось, это местный звонок. Из «Бельмонда» звонил не кто иной, как Стас Ваксино.

— Включите там телевизор, — сказал он и закашлялся.

— Где это там? — строго спросил Славка.

— Я знаю, где вы находитесь, — наждачным голосом продолжил сочинитель. — Включайте местный канал, и поскорее!

Отбой.

«Ремонтка» лежала прямо на письменном столе среди маляхитов царского письменного набора. Телевизор был на одной из полок над головами тринитротолуольщиков. Увидев направленную в их сторону руку, Налим то ли завизжал, то ли взвыл:

— Не стреляй, Горелик! Даю миллиард! Налом! Налом!

— Налим дает налом! — тоже не очень-то нормальным голосом расхохоталась княжна.

— Марианна, вы же женщина! — еще пуще взвыл магнат. — Госпожа Ласканен, вы же тоже женщина! Я знаю, вы обе — женщины! Ребята, вы меня уже один раз пощадили, я этого не забуду! Даю два! Два «бильярда»! Налом! Налом!

Экран осветился. На нем оказался Верховный Колдун (Очарчирий Заведоморожденный, он же товарищ Вакапутов, в

камуфляже полевого командира и в боевом шлеме Хуразу с торчащим в сторону камеры буйволиным рогом. Он продолжал: «...вот почему объединенное командование сил освобождения начинает сегодня наступление по всему фронту. Хурраф Хуразу! Пошады не будет!»

Никто еще не успел сообразить, что произошло, когда рухнул внешний угол кабинета. Противотанковая ракета разнесла мраморную стену.

Приятная компания на террасе

За час до того, как ракета разрушила нам мизансцену расправы над смертельным врагом (расправы, которая, очевидно, и так бы не состоялась), приятная и неглупая компания собралась на террасе ваксиновского люкса. Помимо старого сочинителя, присутствовали все три сестры Остроуховы, неизменный адмирал Лихи, симпатичный, хотя и чрезмерно печальный молодой американец русского происхождения Алекс Мамм, а также родное, то есть не «литературное», детище Стаса Аполлинариевича, генетик Дельфин Власевич Ваксаков, который за последние дни замечательно помолодел и повеселел. Позднее к ним присоединились супруги Мак-Маевские, их соседи по Лэдью-Хилл, бывшие все еще под впечатлением дальнего перелета: чем больше проблем у этой страны, тем длиннее она кажется.

Слышен был шум океана. Крупные звезды мерцали над парком. На склонах хребта ползали и копошились какие-то огоньки. Похоже было, что в горных селениях хуразиты проводили ритуальные празднества.

Заказали шампанского. Оно пришлось как нельзя кстати. Так подумали все, кроме Галки и Доналда (личное имя адмирала). Последние старались не смотреть на пузырящийся напиток, поскольку для них шел уже второй день «сухого закона». Все общество было под впечатлением концерта внушки барона Фамю.

— И все-таки ты что-то там намудрил, Стас, — сказала Вавка. — Зачем нужны были все эти безобразия в конце?

— А я-то тут при чем? — кипятился старик. — Я здесь в отпуске, такой же персонаж, как и все остальные! Как и все, сидел в зале, и для меня тоже было полной неожиданностью

появление четырех ублюдков, а также столкновение трех Какашинных покровителей. Кто виноват, что девушка за годы своих странствий приобрела столь богатую биографию?

— Это ее собственные ошибки. Стас тут ни при чем, — высказался адмирал.

— Наш Стас просто как губка, — подхватила без пяти минут адмиральша. — Он просто все впитывает.

— Сама ты как губка, — обиделась Вавка. — Сама ты все впитываешь!

Галка вспыхнула:

— Как тебе не стыдно! А еще называется сестра! Зачем ты бьешь по больному месту?

Мирка, которой явно тоже пошло на пользу пребывание на Кукушкинских островах, уверенным, но не лишенным грации движением рук развела сестер:

— Девочки, неужели вы думаете, что в этом отеле, на этом безумном Месячнике может возникнуть какое-либо подобие гармонии? Стас ведь все-таки всего лишь сочинитель, он может так же запутаться, как и любой из нас, читателей. Для меня гораздо важнее внутренняя эволюция Светляковой. Если раньше она представляла как сумасбродка, пустышка... ну, во всяком случае, во всех тех клочках и страничках, которые мы еще год назад подбирали за пинкертоновским классиком...

— Это для меня ново, — перебил ее Ваксино. — Оказывается, они за мной подбирают!

— Не притворяйся, Стас! Если бы мы не подбирали, у тебя вообще ничего бы не сложилось. Вообще, мы не о тебе говорим, а о той, кого ты прочишь в свои героини, в даму сердца для твоего сомнительного трубадура.

— Скорее уж рыцаря печального образа, — вставили Мак-Маевские.

— Ха-ха-ха! — разом захохотали все три сестры О. — Жил на свете рыцарь бедный Славочка Горелик!

— Вы знаете, на этом концерте, — уже серьезно продолжала Мирка, — она мне показалась своего рода голосом поколения. Для нас такими были, ну, скажем, Лена Камбурова или Вероника Долина.

— Джоан Базз, в общем, — пробормотал адмирал и под шумок, как бы невзначай, опустошил бокал Дельфина.

Мак-Маевские вдруг заняли площадку.

— А вот мы, несмотря на серьгу в носу, увидели в ней тургеневскую Асю. Или даже Нину Заречную. Ну и, конечно, с искорками Наташи Ростовской.

— Вот те на, — пробормотал Ваксина.

— А как насчет Катюши Масловой? — скромно спросил Дельфин и попытался выпить из пустого бокала.

Вавка вдруг всем своим гибким станом повернулась к Мамму:

— А вы, Алекс, почему все молчите? Вы знаете, господа, этот застенчивый молодой американец происходит от грибоедовского Молчалина. Вот он и молчит все время. А вообще-то он профессор классики в знаменитом колледже Пампкин-Хилл, так что волей-неволей ему там говорить приходится. Ну, Сашенька, разомкните уста!

Всем было видно, что изощренная москвичка просто так с этим «Молчалиным» не расстанется.

Мистер Мамм кашлянул и покраснел. Позднее он признавался молодой жене, что его в тот вечер смущало не все общество, а присутствие Ваксина. Ему казалось, что стоит ему открыть рот, как тот тут же решит его изобразить в виде какого-нибудь туповатого плута. Странное провинциальное ощущение, говорил он, как бы мне хотелось от него освободиться. Как-то не хочется чувствовать себя добычей в лапах писателя. «Мой дорогой, тебе это не грозит», — усмехалась плутовка.

Несмотря на смущенье, Мамм придал беседе неожиданный поворот:

— Если говорить о классике, товарищи, — приехав из лесного графства, в котором за такое обращение могут хорошенько отбарабанить по спине, дескать, *volf is your comrade*¹, молодой филолог почему-то считал, что в России нужно всех называть товарищами, хотя прекрасно знал, что товарищи давно уже стали господами. Вавка рассказывала, что он даже ее «закадрил» со словами «Товарищ, который час?». — Если уж говорить о классике, то Наташа на концерте показалась мне своего рода современной Кассандрой.

— Расскажи нам немного о Кассандре, сынок, — попросил его уже слегка размякший Лихи.

¹ Волк тебе товарищ (англ.).

— Доналд, — прикрикнула Галка. Она тоже ненароком что-то опрокинула, когда выходила в ванную. — Чему вас учили в Аннаполисе?

Заставить Алекса рассказать о Кассандре было невозможно. Он замкнулся, думая, что над ним смеются. Пришлось Ваксину самому поведать адмиралу кое-что из того, что осталось от любимой в детстве книги «Мифы Древней Греции».

— Слушай, Дон, ты, наверное, помнишь Троянского коня, правда? Любой военный человек, по идее, должен изучать эту *sting operation*¹. Правильно, мой друг, там был Улисс и другие супермаринс. Нет-нет, они были не верхами, а как раз внутри лошадки, — правильно! Браво! Хотел бы я, чтобы какой-нибудь советский адмирал в отставке знал эту историю так, как Доналд. Ну вот, Кассандра — троянская девушка, правильно, гражданка Трои, — была своего рода оракулом. Вот она-то и предупредила своих феллоу-троянцев: не вносите коня в крепость, каким бы желанным он вам ни казался. Ну вот, теперь ты уже вспомнил все остальное.

— Тут, между прочим, есть некоторая амбивалентность, — сказал Дельфин. — Она сказала, что Троя погибнет из-за этого коня, но что это было — предсказание или предупреждение? Если бы троянцы вняли предупреждению, тогда и предсказание бы не состоялось, верно? Такого рода логические тупики присутствуют во всей культуре древних. Двойкость творит великие метафоры. Не будь предательства Иуды, не состоялся бы подвиг Христа. Не было бы низости, не воздвиглось бы величие. То же самое происходит и сейчас. Вся история завязана на таких парадоксах, которые говорят об ограниченности человеческого сознания. Когда-нибудь в будущем мы посмеемся над своими логическими мучениями.

— Кто это мы? — проворчал Ваксину. Он старался не подавать вида, что его занимает эта тема.

— Люди будущего, — улыбнулся Дельфин.

— То есть они посмеются над нами? — Ваксину пыхтел, чтобы не уронить реноме брюзгливого классика. — Какое отношение имеет к этому взбалмошная Наташка-Какашка? Девчонка спела несколько фривольных песенок, а ее уже возвели в Кассандры...

¹ От англ. *sting* — жало; замаскированный спецназ (лазутчики).

БЭБИ КАССАНДРА

рассказ

В начале 1980-х, точную дату не припомним, в ходе нашего долгого странствия мы достигли юго-запада Вашингтона, Дистрикт Коламбия, и сняли там двухкомнатную квартиру в большом жилом доме. В этом районе, с его геометрически правильными кварталами шестизэтажек, мы все время пребывали в состоянии сонливого замедленного движения. Шаркаешь ногами из кухни, с чашкой кофе в руке, к окну в гостиной. Потягиваешь тепленький напиток перед окном с видом на робкий, если не слезливый, пейзаж. Ничего особенного в поле зрения не определяется, кроме паклевидных облаков да ряда одинаковых окон со стоящими в них то тут, то там одинокими фигурами соседей, потягивающих тепленький кофе.

В редких случаях можно увидеть в небесах альбатроса на пути из Гренландии к мысу Горн. Он совершает круг над кварталами юго-запада, а потом, явно напуганный монотонностью этих мест, быстро взмывает к облакам; выше, выше, исчез! Ну и птичка, говорим мы сами себе, экая огромная Чайка! Месяц за месяцем она летит над ревающим и пенящимся океаном; разве можно сравнить чеховскую дачную пьесу с этими головокружительными водоворотами! В конце концов она приземляется на предназначенном ей утесе возле мыса Горн и начинает там свои любовные игры. Посылает там звуковые сигналы противоположному полу своего вида, и противоположный пол посылает тысячи звуковых сигналов новичку. Тысячи негативных калькуляций имеют место перед тем, как возникает одна-единственная позитивная калькуляция, после чего два альбатроса, он и она, начинают летать вместе, показывая уникальную, почти безупречную синхронность.

Мы имитируем волну какого-то воображения, сильные эмоции, но потом оставляем скучное, обезальбатросенное окно и плетемся к своему полуспальному дивану. Кружка остается на полу, никакого осадка на дне.

«Это как раз то, что вам нужно, — говорит наш сосед, психолог доктор Казимир Макс. — Лучшая терапевтическая среда для блуждающего народа. Оставайтесь здесь так долго, как можете, и избавитесь от изнуряющей мигрени, кожного

зуда и сыпи, депрессии духа и угнетения либидо — всех этих последствий культурного шока. Посмотрите на меня, я поселился здесь двадцать пять лет назад, сразу после того, как мой апартамент в Будапеште был поражен танковым снарядом, и с тех пор с удовольствием ощущаю постоянное улучшение моего состояния».

Так случилось, что сразу после этого увещевания мы нашли новую квартиру и переехали в маленький кондоминиум в районе Адамс-Морган. Ошеломляющий опыт, мы должны признать, равный, скажем, эмиграции из Исландии в Бразилию или из Минска в Париж. Нечто сродни переходу из сна в реальность, или наоборот. Теперь из большущего окна нашей гостиной открывается вид на мешанину домов Адамс-Моргана и Дюпона, с ее башенками, куполами, бесчисленными типами террас и деков, огромным разнообразием антенн, а дальше церковные шпили, отдаленные колоннады нашего правительства и гигантская фараонская колонна-символ, в конечном счете. Добавьте к этому аэролайнер, что через каждые две минуты скользит, словно разумное существо, вниз к порту Нэшнл, и вы получите полную картину.

С другой стороны окна нашей спальни выходили на оживленную деловую улицу с ее неиссякаемым потоком машин, множеством маленьких шопов, торгующих любыми необходимыми предметами, от французских булочек до камней, домашних любимчиков. На одном углу саксофон играл каждую ночь до рассветного часа, на другом безостановочно завывал проповедник, поставивший своей целью пресечь зловредный гедонизм человечества.

Мы, конечно, тут же влюбились в эту среду обитания. Мы надеялись, что наши чувства тут оживут скорее, чем во владениях доктора Макса. И все говорило за то, что мы не ошибемся. Первым вернулось обоняние. Запах всех мыслимых пряностей, источаемый этническими едальнями, дразнил наши ноздри и увлажнял нёбо. В области запахов вообще-то этот район не был буколическим местом — совсем нет. Адамс-Морган пованивал самым что ни на есть *raison d'être*¹.

Ароматы всевозможных мазей и кремов смешивались тут с мочой, разные сорта табака — с порохом и ацетоном, трупный яд — с хелебором, гиацинты — с экскрементами, с потом

¹ Смысл (жизни) (*фр.*).

и слизью всевозможных происхождений. Такова была ароматическая палитра этого района, и она, после всеобъемлющей санитарии юго-запада, возвращала нас в контекст человечества. Нашего несусветного мирового становища.

Второе сильное ощущение возникало под влиянием человеческих взглядов, как мимолетных, так и пристальных. Там, где мы раньше жили, редкий встречный как-то слепо взглядывал исподлобья во время обмена малоразборчивым «гудморнинг». Здесь каждый прежде всего старался встретиться с вами глазами, чтобы затем улыбнуться, или подмигнуть, или то и другое, или сделать комическую гримасу, как будто он чрезвычайно впечатлен чем-то в вашем облике, будь это пакет с апельсинами или плюмаж на вашей шляпе.

Мы должны признаться, что Адамс-Морган заставил нас вернуться к нашему любимому, еще со времен Старого Мира, времяпрепровождению — бесцельным прогулкам. День-деньской мы шлялись вокруг перекрестка Коламбия-роуд и Восемнадцатой, привыкая к множеству гортанных диалектов, переминаясь с ноги на ногу в толпе, слушающей бочковый оркестр, вглядываясь в витрины магазинчиков курьезов или в бесчисленные храмы еды, а также жуя что-нибудь на ходу, на-свистывая новые мотивчики, приобщаясь к специфической местной легковесной достоверности.

Вскоре мы стали знатоками этой общины. Наши соседи, красочная смесь англос, ирландцев, афроамериканцев, афроафриканцев, славян, индонезийцев, индусов, монголов, китайцев, вьетнамцев, узбеков, евреев, всех видов латино, скотцев, французов, непальцев (надеюсь, мы не забыли перечислить армян), сердечно нас приветствовали и на вопрос «как у вас сегодня?» не ограничивались неизменным «файн!», но всякий раз старались пояснить, почему это так уж файн сегодня.

«Капитан квартала», отставной коммодор Трой Крэнкшоу, всегда был горазд устроить какое-нибудь светское событие прямо на улице — будь то выставка аквариумов с рыбками, или сбор сыпучих субстанций для нуждающихся, или просто «сэй-хеллоу»¹ — вечеринку, одобренную особым сортом крепленого сидра из его родной Западной Вирджинии.

Проходили у нас также парады «Голубого достоинства», международные фестивали (в основном в области кулинарии),

¹ От англ. Say hello — Скажи привет! (простенькая вечеринка).

случались массовые потасовки и кикбоксинг, пожары (или поджоги?), спасательные операции и пиротехника. Люди здесь были склонны показывать пальцами в небеса, как будто что-то приближается. С другой стороны, они никогда долго не думали перед тем, как швырнуть опустошенную бутылку в стену. Словом, здесь процветал довольно веселый и слегка чокнутый образ жизни.

После нескольких визитов к нам наш друг доктор Макс наконец осознал, что созрел, то есть в достаточной степени поправился для переезда в Адамс-Морган. Здешний народ с его чудачествами составит, он полагал, порядочный круг его пациентов. Он открыл здесь свой офис под названием «Психо-кафе», оборудованный стендом для пончиков и машиной «эспрессо». Все устаканится, господа, поговаривал он на языке своих прежних обидчиков, все постепенно устаканится. Признаться, мы немного опасались: не слишком ли?

Однажды вечером около девяти в паре кварталов от нашего кондо возле бессонного магазинчика «7-11» мы заметили огромный автомобиль, который был похож на старого заезженного верблюда в ряду ухоженных пони. Как он умудрился запарковаться здесь, на одном из самых бойких перекрестков, где из-за малой лужи асфальта нередко вспыхивали лобовые столкновения? Это был «шевроле стэйшн-вагон» с «деревянными» панелями вдоль бортов, что безусловно указывало на его происхождение из ранних шестидесятых. Его старательно обезображенный задний бампер, хоть и был привязан к корпусу поясом купального халата, все-таки висел едва ли не до земли. Что касается его внутренностей, то они были заполнены какой-то дрянью до самого потолка. Сквозь грязные окна мы заметили среди пластиковых мешочков, как бы раздутых какой-то гнилью, желтоватый бюст античного человека с кудрявой бородой, лысой башкой и слепыми глазами.

Некоторое время мы болтались возле этого авто, чтобы увидеть водителя, но никто не появился. Через пару дней мы снова здесь оказались и увидели, что машина стоит на прежнем месте, а пучок штрафов под одним из ее крабовидных «дворников» трепещет в порывах ветра, словно голубь в силке.

Есть что-то жуткое в этих брошенных по американской земле машинах. От них несет тотальным упадком, внезапным

концом нашего, казалось бы, безостановочного движения, тем днем, когда все наши «кары», Господи упаси, будут брошены.

Еще через день-два, в тот же вечерний час, купив бубликов в «7-11», мы снова бросили взгляд внутрь оставленной колымаги. Никакого бюста там больше не наблюдалось. Вместо него рука ползла там посреди помойки, ощупывая сомнительные пожитки какой-то персоны, чье существование само по себе вызывало сомнение. Рука, похоже, что-то искала или старалась определить что-то путем ощупывания. Она была похожа на ныряльщика в темноте неисследованных глубин, а может быть, скорее на чужака с другой планеты. У нее не было глаз, как не было у нее и ушей. Это была отдельно взятая рука с пятью длинными костлявыми пальцами, вот и все.

Тут нас пронзила догадка: данная рука — это не что иное, как чья-то попытка преодолеть перегородку между биологическим осязаемым миром и небιологическим неосязаемым миром. Бюст не сработал, теперь пробуют руку. Кто-то из «того мира» (или, вернее, не-мира) принял форму тактильного биоустройства, то есть стал рукою.

Какой только вздор не приходит в голову, когда заглядываешь в брошенную машину! Пальцы сжали край какой-то ткани и потянули его таким образом, каким любая обычная персона тянет на себя одеяло, чтобы укрыться с головой. Потом рука исчезла.

— В чем дело, народ? — произнес рядом с нами густой голос. Башней высился полицейский в своей великолепной форме с блестящими бляхами и эмблемами.

— Все в порядке, офицер, — ответили мы. — Ничего особенного. Просто мы думали, что это бесхозная машина, а оказывается, кто-то там обитает.

Мент усмехнулся и подкрутил концы своих усов.

— Не надо волноваться. Мы обо всем позаботимся.

Мы на это надеемся, о наш блестящий страж — так захотелось нам к нему обратиться. Вы, сержант Боб Бобро, как гласит ваша планка идентификации, позаботитесь обо всех этих метафизических глюках. Мы рассчитываем на вас, славный хранитель здравого смысла, стойкий сторонник порядка вещей! Как приятно вас видеть, пышущего здоровьем и спокойствием при исполнении служебных обязанностей. Боже вас

благослови каждый пролетающий момент на этом ветреном перекрестке! Разумеется, мы не произнесли ни слова из этой экзальтированной чепухи, но лишь отклонялись и покинули центуриона.

На следующий день в то же время, после ужина в эфипском ресторане мы бодро двигались домой в предвкушении баскетбольной битвы на ТВ, когда внезапно рядом с той дурацкой развалюхой мы заметили человеческое существо. Это была тощая и парадоксально высокая женщина в джинсах и сверхразмерной майке. У нее были сутулые плечи и впалая грудь. Она курила дешевую сигару и обращалась к прохожим при помощи своих беспорядочно двигающихся длинных пальцев и беззвучного шевеления синеватых губ. У нее были длинное тяжелое лицо и водянистые глаза, явно не способные сконцентрироваться на частностях окружающей среды.

Какой бы странной она ни казалась, самой поразительной чертой в ее облике был крошечный ребенок, прикрепленный к ее левому бедру. На вид он был не старше шести месяцев, но он спокойно висел на бедре, словно удерживаемый туго натянутой пуповиной. С серьезным и добродушным выражением ребенок озирает этот новый для него мир, образованный в данный момент нашим суевливым перекрестком.

Мы приблизились к машине и ощутили с трудом выносимую вонь. Две передние двери были приоткрыты, мутный свет шел с потолка. Полусъеденная курица торчала из пластикового мешка. Мы спросили курильщицу сигар, нужна ли ей помощь. Она повернулась к нам, но было неясно, правильно ли она нас фокусирует, то есть во множественном ли числе. Впрочем, она обратилась к нам при помощи собирательного существительного.

— Пипл, — сказала она, — я не знаю, что делать с этой проклятой развалюхой. — Она звучала в удивительно низком регистре.

— Не волнуйтесь, сударыня, — сказали мы. — Сейчас мы вас раскочегарим!

— Пипл, вы так добры, вы так милы! — вскричала вдруг она с неожиданной страстью, как будто мы предложили ей одну из наших почек.

— Подождите немного, сейчас мы приедем сюда на нашей машине, — сказали мы.

Тень улыбки проплыла по ее длинной физиономии, после чего ее всю передернуло. Беспомощно она прошептала:

— Пипл, у меня ключ-ч-ча нет.

— Где же ваш ключ?

— Пропал.

Несколько минут прошло в молчании. Женщина покачивалась, как мыслящее взвешенное растение.

— Может быть, у вас есть другой набор ключей дома? — спросили мы.

— Дома? — Она улыбнулась уголком рта. — Может быть. А может быть, и нет...

— Нельзя ли узнать, где вы живете, мэм? — спросили мы осторожно, ожидая услышать в ответ что-нибудь вроде «Зембла» или «Рубла».

— Гикки. — Она улыбнулась с привкусом какой-то отдаленной ностальгии.

— Это где? — спросили мы с еще большей осмотрительностью.

— Зовите меня Гикки, хороший пипл, — сказала она. — Я Гикки.

— Так где же вы живете... хм... Гикки?

— Спрингфилд, — сказала она меланхолично.

— Стало быть, вы Гикки Спрингфилд, или вы Гикки из Спрингфилда?

— И то и другое.

— А это ваш бэби прикреплен к вашей ноге? — спросили мы с ударением на слове «ваш».

— Да, это мой бэби! — воскликнула она с ударением на «бэби». — Это моя дочь Кассандра!

Она разразилась рыданиями. Весь ее огромный костяк дрожал и дергался в диких спазмах. Что касается бэби Кассандры, она казалась совершенно невозмутимой в этой тряске. Только ее маленькие ручки трепетали, словно ища равновесия.

— Мы описались, добрый пипл, — стонала Гикки. — Мы мокрые и грязные! Мы не можем больше жрать нашу тухлятину! У нас ломка! Мы потерялись тут совсем, несчастные, мой добрый заботливый пипл!

Что делать дальше? Привести их к нам? Но что подумают о нас соседи? Приход таких гостей, как Гикки, может существенно поколебать позицию нашего чинного кондо на рынке недвижимости. Что, если некоторые наши соседи не будут

обезоружены чувством сострадания? Затем мы отбросили колебания. Идемте, Гикки и бэби Кассандра, вам нужна ванная комната, горячая еда и питье, телефон, чтобы позвонить своим спрингфилдианцам! Благодетельные демиурги аплодировали нам с осенних небес. Коммодор Крэнкшоу одобрительно кивал с отдаленной точки перекрестка.

В нашей гостиной Гикки положила свою дочь на диван и отправилась в ванную. Наш французский бульдог Гюго немедленно лизнул бэби в пятку и улегся рядом, как будто давно уже привык к такого рода посетителям. Кассандра то и дело пыталась поиграть с его выпученными глазками и тряпочными ушками.

Гикки вышла из ванной комнаты абсолютно голой. Она была похожа на бывшую баскетбольную центровую из Балтии. Удивляло полное отсутствие грудных желез, однако костлявые плечи и длинные руки составляли несколько странную гармонию с чудесно женственными бедрами. Для полноты портрета добавим, что белки ее глаз казались скорее желтками, что губы по цвету гармонировали с бледной, опять же балтийской, голубизной зрачков и что ярко-розовые пятнышки были рассыпаны вокруг крупных суставов.

— Пипл, вы, наверное, хотите взять меня, не так ли? — спросила она с несколько претенциозным смирением.

— Послушайте, мисс Гикки, — сказали мы. — Мы вовсе не собираемся посягать на вашу личность. Отправляйтесь-ка наверх, откройте шкаф и найдите там для себя какую-нибудь чистую теплую одежду. Что касается вашего собственного гардероба, можете бросить его в стиральную машину.

Мы думали, что она выберет какой-нибудь треник, но она вернулась из спальни в костюме-тройке, который там давно уже висел в ожидании приглашения на светскую тусовку. Он ей шел, несмотря на то что и рукава и штанины были коротки для ее конечностей.

Она взяла бэби Кассандру и при помощи каких-то липучих поверхностей соединила ее с привычным местом на своем левом бедре. Инфант улыбался и трепетал, словно представляя вечно счастливый рой малых ангелов. Гикки жевала гамбургер, сдобренный большим количеством кетчупа. Временами она зачерпывала прожеванную пульпу изо рта и отправляла ее в ротовое отверстие крошки. Кетчуп размазался по их лицам, и мы впервые заметили их удивительное фа-

мильное сходство. Обе залетные птицы были чрезвычайно возбуждены — одна от полноты жизни, другая от ее предвкушения.

— Спасибо за все, — шамкала Гикки сквозь гамбургер. — Куча благодарностей за то, что привели нас в тепло, а также за горячую воду и мыло, одежду и гамбургер и за кетчуп, в натуре. Вы просто волшебник, сэр!

— Множественное число, пжалста, — напомнили мы ей правила игры.

Она стала часто кивать, как какой-то герой мультяшки:

— Конечно, множественное, чисто конкретно, плюраль! Ну, уж конечно, наш щедрый пипл, вы — чистый плюраль! — Тут она схватила наш телефон.

Полчаса или дольше она набирала номера и рассказывала по линии историю ее злополучного странствия: затерялись в лабиринте Ди Си, все четыре шины сплющились, ноги тоже не держат, живот бурчит, голова тоже, а руки стали похожи на морских птиц, угодивших в мазут, пока нам тут не встретился щедрый плюральный пипл, который нас спас. Насчет бэби Кассандры не извольте беспокоиться, она счастлива и здорова и ест сейчас полную ложку клубничного шейка, пускает пузыри, такая чудесная девочка! Давай приезжайте за нами и отвезите нас в Спрингфилд! Она не называла имен, но по специфическому хихиканью и кокетливой мимике можно было понять, что все ее собеседники были мужчины.

Вскоре они начали прибывать; трудно сказать, сколько их было. Каждый представлялся как муж Гикки. У всех у них было что-то общее, и прежде всего в глаза бросалась татуировка. Открытые части их тел были покрыты таким густым слоем этого изобразительного искусства, что казалось, их майки были натянуты на плотное голубоватое трико. Один из них, впрочем, пришел в рубашке с галстуком, однако хвостики змей выползали у него из-под манжет, а острый кинжал выпирал из воротника прямо под адамово яблоко.

Все эти ребята, здоровенные и мускулистые, старались демонстрировать хорошие манеры. Принимая свои напитки, они оттопыривали мизинец.

— Джи, Гикки, ты выглядишь снэззи!¹ — восклицали они при виде своей жены, вихляющейся в костюме-тройке. Все

¹ От англ. snazzy — шикарный, эффектный.

они, без исключения, делали бэби Кассандре козу. — Хай, Кэсси! Как дела, моя конфетка?

Девочка приветствовала их очаровательной улыбкой, однако глазенки ее катались слева направо и обратно: слишком много было папочек для одного инфанта.

— Вот так прорва мужей, — сказали мы осторожно. — Где вы их выращиваете, Гикки, если не на ферме?

Она смущенно присвистнула по-французски:

— C'est la vie!

Снова и снова мужественные голоса звучали в домофоне, двери распахивались, и новый муж в своей татуировке присоединялся к компании. Все они топтались в нашей квартире и, казалось, были готовы пуститься в пляс. В конце концов так и случилось: они начали свой неуклюжий танец, который, как мы поняли, был своего рода ритуалом прощания. Только после того, как последний муж покинул помещение, мы заметили, что вместе с ними исчезли: бэби Кассандра, ее мать Гикки, наш костюм-тройка и наш французский бульдог Гюго. Мы сидели в углу гостиной, оглохшие от внезапной тишины. Одна лишь единственная вещь напоминала о столь внезапно разыгравшейся и столь же внезапно исчезнувшей вечеринке: забытые жалкие джинсы Гикки. Мы швырнули этот предмет вымысла в окно, прямо в мощный поток воздуха, которому случилось пролетать мимо. Хлопая штанинами, джинсы удалились в сторону тлеющего горизонта.

С той ночи прошло много лет. Кажется, не менее восемнадцати, но кто считает? Адамс-Морган существенно не изменился. Как прежде, он был бурнокипящим и расслабленным в одно и то же время. Впрочем, некоторые изменения, разумеется, накопились. Из них самые заметные сразу бросались в глаза всякий раз, когда мы бросали взгляд на свое отражение в витрине. Мы постарели. Наши бакенбарды и косица стали седыми. Мы отказались от нашего дерзкого прикида. Не было больше ни треуголки с плюмажем, ни серебряных шпор. Вместо этого у нас развилась склонность ко всему мягкому: вельветовый костюм, ирландская твидовая шляпа, кашемировый шарф, туфли из оленьей кожи. Мы придерживались диеты и перечитывали классиков. Народ Адамс-Моргана к нам привык и называл нас «наша старая гвардия». Больше того, коммодор Крэнкшоу однажды осторожно предложил

нам занять позицию его заместителя по части подбора разбитой посуды. Для дальнейшей циклической переработки, разумеется.

По-прежнему нам нравился этот уголок мира, и мы жалели только о том, что он не расположен на острове, омываемом теплыми океанскими течениями, подсушенном благосклонными солнечными лучами и продуваемом прохладными бризами. Увы, он не был там расположен. Осадки и влажность частенько выводили нас из себя, однако мы все-таки получали удовольствие от этого места действия, потому что там было славно.

Однажды мы шли домой, неся пучок экологически чистой моркови и упаковку безалкогольного пива, когда к нам подошла худенькая девушка лет восемнадцати. Она мягко сказала:

— Добрый вечер!

— Добрый вечер, мисс! Чем мы можем быть вам полезны?

Она счастливо засмеялась:

— Как мне нравится ваше множественное число! Клянусь, я всегда обожала ваш плюраль! — Что-то было в этой молодой особе несказанно невинное и добродушное.

— Имели ли мы честь видеть вас ранее, мисс? — спросили мы.

— Ну конечно же! — воскликнула она. — Присмотритесь! Неужели вы меня не узнаете? Я Кэсси, бэби Кассандра, как меня звали в те дни. Я была приторочена к левому бедру моей матери, припоминаете?

— Это удивительно, — сказали мы. — Вам в ту ночь, если это были вы, было всего шесть месяцев. Как вы можете помнить нас?

Она потупила глаза.

— Я помню все: ваш диван, и жвачку с кетчупом, и ложку клубничного шейка, которую я с таким наслаждением проглотила, и вашего Гюго, который последовал за мной и стал лучшим другом моего детства, и танцующую вокруг толпу моих отцов. — Она подняла глаза, они сияли. — Уж если вы не помните меня, припомните мою мать, мою драгоценную женщину с ее гигантским размахом рук сродни альбатросовым крыльям.

— Конечно, мы помним Гикки, — сказали мы и добавили осторожно: — Ну, как она?

Кэсси вздохнула:

— Она всегда легко взмывала ввысь, однако, увы, ей всегда было трудно благополучно приземлиться. Ее конечности были слишком тяжелы для приземлений. Однажды на сильно пересеченной местности она переломилась.

— Как это грустно, — вздохнули и мы.

Мы заняли столик на тротуаре возле углового кафе. Как многие другие заведения в округе, это кафе теперь принадлежало нашему бывшему другу психологу. Он сам в своем новом бурнусе, окруженный группой верных пациентов, шествовал мимо, как бы не замечая нас с девушкой. Без сомнения, он уже прослышал, что нам была предложена позиция по надзору за битым стеклом, а ведь коммодор Крэнкшоу был здесь его архисоперником. В недавние годы доктор Казимир Макс изменил манеру своего обращения с людьми. Если раньше он впивался взглядом прямо в человеческие лбы, стараясь прочесть их мысли, теперь его глаза скользили выше, как будто он подсчитывал клиентов по макушкам. Сегодня он, по идее, должен был быть доволен: улицы были полны потенциальных пациентов и к тому же многие из них быстро превращались в посетителей кафе. Тем временем саксофонист на углу играл «Около полуночи», а на другом углу проповедник вопил, как обычно: «Отрекитесь от сирен Христианства!»

— А что с вами было, бэби Кассандра, как вы провели эти восемнадцать лет? — спросили мы тепло, но осторожно: сильные эмоции были противопоказаны в нашем возрасте.

Она залилась колокольчиком в счастливом смехе:

— О, благодарю вас, со мной все было в порядке, иначе я бы уже давно попросила вашего покровительства. Обо мне заботились мои отцы, а один из них, некий Стас Ваксина — он русский, представляете? — даже оказал на меня серьезное влияние. Вы знаете, все мои отцы принадлежат к весьма авторитетному обществу с широкой сетью общенациональных связей. Вы спросите, что это за общество? — Она улыбнулась с детской хитроватостью. — Могучая гласная буква трижды венчает его!

— А-а-а, — догадались мы.

Она продолжала свой рассказ:

— Я была неординарно одаренным ребенком, особенно в области музыки. Точнее, в вокале. Похоже, что вы не принадлежите к концертной публике, не так ли? В концертном мире я широко известна как одна из ярчайших восходящих звезд, «Сопрано Нового Тысячелетия» — ни больше ни меньше. Специалисты пишут работы о моей уникальной гортани, о мембране, связках и язычке-глотис. Они называют все это безупречным, больше того — чудодейственным вокальным аппаратом!

— Странно, как это могло пройти мимо нас, — пробормотали мы. — Конечно, некоторые проблемы мочеиспускания мешают нам посещать концерты, однако в нашей фонотеке мы поддерживаем довольно существенную коллекцию вокальной виртуозности. Мы также стараемся следить за развитием этой области, читаем периодику и даже некоторые специальные издания. — Внезапно мы поняли, что девушка еле сдерживается, чтобы не разрыдаться.

— Какая досада, — прошептала она. — Я еще не начала петь, а вы уже мне не верите.

— Кэсси, бэби, — мы умоляли, — не плачьте, пожалуйста! Кто сказал, что мы вам не верим? Мы просто огорчились, что пропустили что-то важное.

Она вынула платок из нашего нагрудного вельветового кармана и крепко вытерла им свое лицо досуха.

— Самая паршивая часть этой истории состоит в том, что народ не верит моему пению, — произнесла она с некоторым привкусом злобноватой меланхолии.

— Господи, что это значит?! — воскликнули мы. — Вы говорите в аллегорическом смысле?

— Нет, в буквальном. Всякий раз, как я начинаю свое феноменальное пение, публика бывает ошарашена, полностью захвачена, задыхается от восхищения. Однако через пять—десять минут она начинает обмениваться взглядами, а потом и ухмылками. Не успею я достичь зенита в своем апофеозе, как они начинают уходить. Если хотите, я вам продемонстрирую этот феномен прямо сейчас. Хотите, спою?

— Сделайте одолжение, — сказали мы. — Мы уверены, что народ Адамс-Моргана оценит ваше пение по достоинству.

— Я спою «Вокализ» Рахманинова, — предложила она.

— Все что угодно, только не это! — взмолились мы. — Это не очень хорошо для диабетиков.

— Нет, я спою «Вокализ», — сказала она категорически. — Верьте не верьте, я долго мечтала спеть именно эту пьесу на именно этом углу рассказа.

С первыми же звуками ее пения проповедник и саксофонист прекратили свою деятельность, а прохожие остановились как вкопанные под напором неслыханного обаяния. Сержант Боб Бобро остановил движение, а доктор Казимир Макс подиял руку, призывая свою паству к молчанию. «А-А-А, — пела бэби Кассандра и продолжала: — А-А-А». Ее пение очаровывало и обезоруживало, то есть опутывало чарами и отбирало оружие, оно было почти невыносимо. Публика стала обмениваться взглядами. Некоторые ухмылялись, как будто выказывая последнее жалкое сопротивление. Внезапно кто-то встал, с грохотом перевернул столик и с хряканьем отшвырнул свой стул. Это был наш властитель дум в его ветхозаветном одеянии.

Она нас заклинает, как змей, люди добрые! Она нас чарует! Я протестую против чар ея! Мы ведь не рептилии! Мы люди, сторонники психоанализа!

Вокруг был слышен ропот толпы. Сержант Бобро капитулировал и возобновил траффик. Кто-то прошептал в одно из наших ушей:

— Ах, если бы только децибелы очарования остались на этом уровне! Народ бы постепенно привык к ним! Я молюсь, чтобы они не пошли выше! — Это был коммодор Крэнкшоу, бледный и драматичный. Его выцветшие голубые глаза, выдававшие немало морских сражений, не отрывались от поющего отверстия бэби Кассандры. — Прошу тебя, дитя, утихомирь свои децибелы очарования!

Однако амплитуда децибелов очарования продолжала нарастать.

Едва этот рассказ сложился в воображении Стаса Ваксина, как в парке послышались частые хлопки выстрелов. Гости встревожились. Одни бросились к балюстраде террасы и устремили взоры в темный, с редкими подсветами скульптур, парк. Другие повернулись в сторону комнат. Там полыхал вечерней программой телевизор. Где стреляют? Кто-то предположил, что в парке происходит дуэль. Кто-то побежал к телевизору и закричал оттуда: сюда! сюда! стреляют в телевизоре!

Хуррафф Хуразу!

По экрану шествовали бойцы Хуразитской освободительной армии. Обвешанные современным оружием, они были в древних масках своих племен. Клыкастые, рогатые, с торчащими волчьими ушами и похотливо извивающимися языками, с зияющими пастьями, время от времени изрыгающими огонь, они казались сущими исчадиями ада. Таковыми они и были. Они только что взяли предместье Революционска, линейную станицу Гвардейку, и теперь в ознаменование победы расстреливали жителей без разбора пола и возраста. Не убивали только работников телевидения.

Непонятно было, каким образом мастера новостей со всего мира так быстро оказались на месте действия. По всем основным каналам уже шли экстренные сообщения: восстание в последней колонии бывшего СССР! Позируя перед камерами, бойцы Хуразу иногда снимали устрашающие маски, открывая не менее жуткие их собственные лица. Потрясали тесаками, орали «Хуррафф Хуразу!» Весело поджигали нищие строения Гвардейки: обвешанные бельем скособоченные пятиэтажки, частные домишки, так называемые «виллы», из которых разбегались полосатые поросята, своим пронзительным визгом завершавшие фонограмму кошмара.

Среди пожарища и взрывов нетронутой оставалась только скульптура Ильича. Рядом с ней стояли вездеходы хуразитов. У пьедестала проводился безостановочный агитпроп. Плясали колдуны. Сам вождь мирового пролетариата уже приобщился к Хуразу. На башке у него красовался ушастый, языкастый, с тремя рогами головной убор воина Шабаргэ.

Подъехал «Мерседес-600», тоже с рогами и мордами. Из него выпростался народный генерал Апломб Кашамов, тяжелый мужик с глиняной физиономией и с дрожащими от сильных чувств зенками. Заговорил в подставленную уйму микрофонов с фирменными знаками мировых компаний:

— Операция развивается по заранее намеченному плану. Никаких отклонений. Центр города уже взят нашим десантом. Гвардейка пала под ударом передовых сил. Подходят новые полки. Через час приступим к осуществлению главной задачи — захвату отеля «Бельмонд».

— Зачем вам этот отель, генерал? — крикнул кто-то из журналистов. Глина кашамовского лица пошла трещинами.

— «Бельмонд» — это символ издевательства над гордыми племенами Очарчирии Хуразу! Там гнездится презренный Месячник островов российских, цель которого — навеки закрепить власть Москвы. Я отдал приказ своему воинству — никого не щадить! Все собравшиеся там — и капиталисты, и так называемые коммунисты, бароны и рыцари русской чести, всякие там мерзкие теннисисты, писатели и певцы — будут уничтожены! Там крутятся лимоны и миллиарды денег, и мы их все возьмем! Все ценные вещи пойдут в казну возродившейся Очарчирии! Всех девок, собравшихся там на блядство, я отдам своим солдатам! Немного возьму себе! — Он захохотал, глина склеилась, он хохотал и хохотал и уже не слушал вопросов, пока кто-то из телевизионщиков не спросил:

— А почему вы сразу туда не двигаетесь, генерал? Чего вы ждете?

Кашам тогда оборвал свой хохот и спокойно разъяснил ситуацию:

— Мы ждем, когда они организуют оборону. Нам нужна победа в бою. Это будет историческое событие. Через тысячу лет в Хуразитской империи детей будут воспитывать на примерах героизма, на разгроме болезнетворного «Бельмонда». Хуррафф Хуразу!

На этом встреча с прессой закончилась.

Между прочим, мы были недалеко от истины, когда при звуках первых выстрелов решили, что в парке происходит дуэль. Действительно, возле грота Нимф собрались три дуэлянта: Павел Афанасьевич барон Фамю, классик цикреализма Ильич Гватемала и профессор Эбрахам Шумейкер. Дрались они, конечно, не из-за оскорблений, нанесенных друг другу, не из-за тычков головой и пощечин. Дрались во имя магической нимфы Нарвских ворот, озарившей их заурядные жизни и даже, в случае циклопического реализма, не позволившей после смерти покинуть сей бранный мир.

В суматохе, возникшей после Какашиного концерта, они не успели обзавестись секундантами, однако нашли немало важную персону, которую провозгласили «церемониймейстером диспута». Этой персоной оказался вице-губернатор Кукушкинских островов, скрытый либерал Адам Ворр-Ошилло. Розовощекий кудрявенький алкоголик увидел в этом свой шанс. За участие в дуэли его исключат из партии, но зато при-

мут в орден Рыцарской Чести России. После этого можно будет отчалить от «Вольфрама» и примкнуть к «Экочуду». Он давно уже был уверен, что совершенно не обязательно обладать политическим чутьем, чтобы оказаться на гребне волны.

Грот Нимф был хорошо подсвечен, очевидно, для того, чтобы стреляли без промаха. Ворр-Ошилло казачьей дедовской саблей прочертил на гравии равнобедренный треугольник и в каждом углу поставил по дуэлянту. Джентльмены явились каждый со своим оружием: барон, как оказалось, никогда не расставался с парой дульных ре-вольверов (это был чистый понт, никогда бы он не взял их с собой, если бы думал, что понадобятся). Профессор как в воду глядел, когда перед поездкой купил за двадцатку в соседнем пон-шопе (комиссионке) наган с инкрустациями. Соперникам он объяснил, что получил это оружие в Бейруте за разрешение конфликта вокруг общественных бань, возникшего между шиитской и суннитской общинами древнего града. Что касается Ильича Гватемалы, то он, как читатель догадывается, всегда имел при себе свою скорострельную трость, полученную вкупе со значком «Ворошиловский стрелок» на курсах Коминтерна в 1930 году.

Более бессмысленной дуэли, пожалуй, не знала ни русская, ни французская литература. Все трое должны были стрелять по команде «арбитра чести» по той мишени, на которую глаз ляжет. Что из этого получится, никто не предполагал. Ворр-Ошилло надеялся, что старперы промажут, а он потом с американцем выпьет в спокойной обстановке. Вдруг барон и профессор заявили, что будут стрелять в воздух, потому что не хотят осквернить образ своей прекрасной дамы убийством. Ильич Гватемала предложил партнерам стрелять в него.

— Погибнуть ради любви — разве это не высокая участь? — спросил он. — В век цинизма и сарказма принять пулю чести — разве это не благо? — Разумеется, он умолчал, что стрелять в него — это все равно что стрелять в воздух.

За этими расправами их и застало передовое подразделение Уссала Асхолова. Как в масках, так и без оных оно являло собой лики ада. Барон и профессор решили, что они уже в аду, и только вопрошали Всевышнего: «За что, за что?», как будто не было за что. Гватемала, постоянно помня заповедь бойца-интернационалиста, немедленно стал частью окружающей среды, то есть растворился в стене грота.

Пленников ждали все прелести хуразитской цивилизации, которая, как мы уже указывали, была намного древнее русской. Пленникам для начала засунули в задние проходы по стволу оружия. Потом, вынув стволы, отдубасили прикладами. Затем решили позабавиться, то есть отрезать каждому по голове. В это время раздался громopodobный глас Кашама:

— Уссал, тебе что, удовольствие дороже революции? Ну-ка, гони эту сволочь на обменный пункт! За каждого возьмем по сто лимонов!

Благодаря этому приказу в прессе за генералом закрепилось звание «прагматика».

Покажется неправдоподобным, но первый штурм «Бельмонда» был отбит. Крымская вохра отеля оказалась хорошо натренированной для отражения взбунтовавшихся дикарей. Хуразиты двигались к отелю не спеша, как бы растягивая удовольствие, постреливая по светящемуся в ночи глобусу на башне, останавливаясь помочиться возле скульптур или навалить кучу в клумбу, однако на открытом пространстве между парком и отелем, когда они строились, чтобы с воем «Хуррафф Хуразу!» броситься в атаку, крымчане забросали их гранатами со слезоточивым газом, а растерявшихся и сбившихся в кучу чертей стали поджаривать при помощи специальных антидикарских огнеметов. Делалось это в соответствии с требованиями школы отельного сервиса, то есть по-английски и в сослагательном наклонении: *Wouldn't you mind, savages, if we try something hot on you?*¹

Уцелевшие повстанцы попытались удрать, но в тыл им ударил вовремя прибывший с моря объединенный отряд отечественного бизнеса, а именно ООО «Природа» вкупе с «Шоколадом и прочее». Эти уже обходились без сослагательного наклонения, а просто крыли духов матом и автоматными очередями.

Так погибло целиком передовое подразделение Уссала Ассхолова. Историческое событие, которого так жаждали хуразиты, свершилось. В течение многих последующих веков судьба передового отряда приводилась в пример подрастающим поколениям как вдохновенный подвиг во имя Родины,

¹ Вы не возражаете, дикари, если попробуем на вас что-нибудь горяченькое? (англ.)

Расы и Великих Богов. Маленькая информация для заинтересованных лиц: рабы Ассхолова уцелели и были переправлены в один из баров отеля на поправку.

Увы, на этом в ту ночь все не кончилось. Из глубины острова Кубарь, где давно уже существовало фактически независимое дикарское царство, к побережью катили все новые полки боевиков. Плохо вооруженные и окончательно разложившиеся под влиянием рыночных отношений гарнизоны регулярной армии распадались под ударами. Казачество спонтанно вооружалось, но толку от этого хаоса было мало. Хуразиты захватывали сторожевые хутора и тысячами гнали население вперед в качестве живого щита.

Революционск-Имперск горел. Правительственные здания, хотя и не были еще взяты (генерал Кашам врал), находились под непрерывным минометным огнем. Флот отошел от стенок и встал посередине залива. Без приказа из Москвы он не собирался обстреливать бандитов, однако приказа не поступало. Кремль еще не выработал своей концепции в отношении «этнических недоразумений на Кукушкиных островах».

Губернатор Скопцо-внук, успевший все-таки на краденой «Газели» добраться до своей канцелярии, рыдал в трубку телефона. Дежурный кремлевский экскурсовод недоумевал:

— Вас плохо слышно. Почему вы смеетесь?

— Я не смеюсь, я плачу! — кричал Скопцо-внук. — Ельцина позовите!

— Президент в отпуске, — сухо отвечал дежурный.

— Мы погибаем! Архипелаг в огне! — снова рыдал Внук.

Дежурный пришел в раздражение:

— Послушайте, Федот Федотович, позвоните-ка нам из «Бельмонда». Там все-таки нормальная связь.

— Из «Бельмонда»? Ха-ха, «Бельмонд» окружен, он под обстрелом!

Тут наконец кремлевский дежурный заволновался: что-то личное, очевидно, было у него в «Бельмонде». Связь сразу улучшилась. Стали соединять с силовыми министерствами. Там, к сожалению, все было как всегда: кто-то дремал, кто-то орал, кто-то раздражался. Один чин даже спросил: «А разве эти острова наши, а не английские?» Все звучали как спросонья, а ведь это на архипелаге была ночь, в Моск-

ве же, за двенадцать часовых поясов, можно предполагать, было утро.

Наконец определились. Ждите помощь. В Мурманске батальон морской пехоты выразил желание навести порядок на Кукушкиных островах. Всего один батальон? Это не простой батальон, это непобедимый. Лучшее, чем располагаем на данный момент. Так, запишите: марины вылетают послезавтра рейсом «Кукушкиных крыльев». Оплату билетов вы берете на себя.

— Какую оплату? — завопил тут губернатор, как будто к нему в штаны уже хуразит с ржавым ножом пробирается. — Вы понимаете, о чем вы говорите? Мы гибнем, товарищи кремлевские трутни!

Последовало молчание, затем совершенно другой голос, сухой и властный, произнес:

— Оплату батальона возьмет на себя отель «Бельмонд»!

При всем своем сатанинском величии Очарчирий Восемнадцатый Заведоморожденный любил СМИ. На каждом включении эфира погибающий народ архипелага и отдыхающий народ остального мира видел Верховного Колдуна в его дворце на Шабаргэ сидящим на троне в окружении телекамер. За троном стояли закованные русские рабыни. Временами по их обнаженным телам прогуливался кнут. Рейтинг этих программ был высок. Позднее рассказывали, что в Америке многие телезрители переключались с бейсбола на «Бунт в России». Многие, правда, думали, что идет неплохой голливудский сериал.

В этот раз Очарчирий много говорил о погибшем передовом подразделении Уссала Ассхолова. Он воздавал должное его героизму и самоотверженности и возлагал вину на сионистский заговор буржуазных наймитов. Русские алкоголики так воевать не могут. В спины нашим юношам стреляли буржуазные евреи Масада. Иным обозревателям, в частности Евгению Киселеву и Кристине Аманпур, пришло в голову, что он неспроста так много говорит об ассхоловцах. Похоже, что он хочет подорвать авторитет генерала Кашама, этого бывшего московского партийца не совсем чистого хуразитского происхождения. Комментаторы волновались, не зреют ли зерна раздора среди вождей восстания?

Один из комментаторов спросил, каковы конечные цели движения. Очарчирий обжег его взглядом, но потом, вспомнив

об американских правилах, улыбнулся. Мы собираемся разрушить Российскую Федерацию. Да хватит ли у вас бойцов? — спросил простодушный. Очарчирий охотно пояснил: каждый хуразит по своей огневой силе — в прямом и переносном смысле — равен пятистам русским олухам. Из этого расчета у нас бойцов достаточно.

Вдруг произошел скандал. Какой-то петербуржец из молодых да ранних небрежно поинтересовался: правда ли, что весь сыр-бор разгорелся из-за десяти «бильярдов», которые Артемий Артемьевич Горизонтов отказался положить на алтарь Хуразу?

Такого раньше не случалось: всемогущий Очарчирий ответил вопросом на вопрос. Откуда у вас эти сведения провокационного, сукин сын, характера? Юнец в галстучке селедочкой хмыкнул. Из кругов, близких к администрации.

Низко, вулканно, со страшными вспышками разящих глаз, с пузырящейся слюной, Верховный Колдун завопил:

— Это Скопцо! Это его стиль! Кого может избрать ничтожный народ, если не самое большое ничтожество?! Холуй кремлевских холуев хочет устроить и здесь, как в презренной Москве, войну компроматов! Воины Хуразу ответят на это войной тесаков! А когда ко мне приведут на веревке Скопцо, я съем его печень!

После каждой встречи с вождем на экранах обычно появлялся глава хуразитского агитпропа, кандидат диамата Овло Опой, который гордился быстро прилепившейся к нему кличкой «Анчачский Геббельс». В этот раз он разъяснил, что съедение печени надо понимать фигурально как метафору священной непримиримости хуразитов. Позже, когда эпизоды съедения печени у еще живого врага, нередко прямо на поле боя, стали проникать и на западное телевидение, Овло Опой применил другое оружие: испепеляющий страх. Да, наши воины возродили этот гордый древний обычай, и пусть об этом знают наши враги!

Интересно, как быстро приспосабливаются люди к самым невероятным поворотам так называемой реальности. Даже персонажам книг не всегда удается продемонстрировать такую гибкость в отношении новых парадигм, выражаясь языком современной конфликтологии. Еще вчера отель «Бельмонд» представлял собой идеально отлаженный институт сервиса, в котором как бы воплощались лучшие идеи Ренессанса,

всей школы европейского либерализма, что оказывает себя во всех сферах, начиная с сервировки завтраков и кончая вкуснейшей шоколадкой, которую вы находите на своем ночном столике перед отходом ко сну. Ну, конечно, даже и в этом отеле существовала процедура, своей неумолимостью напоминавшая мрачные времена инквизиции, — мы имеем в виду процедуру окончательного расчета, так называемый *checking out*, — однако, согласитесь, господа, даже эта процедура напоминала времена насилия над личностью лишь отдаленно, лишь чуть-чуть, а тем, у кого кредит в порядке, или тем, за кого платят другие, вообще можно было не волноваться.

И что же, приходит какое-нибудь невероятное событие, и отель на ваших глазах превращается в осажденную крепость. Обслуга, которая еще вчера бесшумно скользила по помещениям и с восхищением приветствовала постояльцев, сегодня, обмотанная пулеметными лентами, топает по коридорам — винтовка в одной руке, связка гранат в другой. Гости из тех, что еще держатся на ногах после двух недель Месячника островов российских, получают в подвале мешки с песком и тащат их по лестницам (лифты, конечно, отключены) в свои номера, чтобы заложить стильные окна и превратить будуары в долговременные огневые точки. Все различия в статусе теперь отменены: нет ни люксов, ни ординаров, ни клиентов, ни обслуги — все осажденные.

Любопытно отметить еще одну деталь: состояние духа. До нападения дикарей в «Бельмонде», особенно в деловых кругах, начинало возникать раздраженное томление. Месячник, не дотянув и до середины, уже изжил самое себя. Даже патриотические банкеты Жиганькова стали отрываться горьким похмельем. Проливалась большая блатная слеза: песни все перепеты, а денег никто не дает. У западных же гостей на лицах все чаще можно было заметить саркастические улыбки: контракты никто не подписывает и все смотрят со странным тягучим ожиданием — словом, русские в своем репертуаре. Иные буржуазы уже начинали паковать в отъезд.

И вдруг все переменялось, как будто привычный прокисший кислород заменили неведомым энергетическим составом. Опасность, близость безжалостного врага странным образом вызвали не панику, а какое-то трудно объяснимое вдохновение, решимость, огоньки в глазах. Вообще-то состояние осажденности — это звездный час больших международных

отелей; это было замечено и блестящими писателями сороковых годов. Конечно, такой подъем долго держаться не может, рядом с ним неизбежно начинает нарастать отчаяние. Тонкая мембрана может прорваться в любой момент. «Пока что держимся», — записал в своем блокноте Ваксино, хотел проставить число и час, но передумал: хронология в такой ситуации кажется абсурдом.

Терраса его номера висела прямо над парком. Именно оттуда, из парка, могла появиться вторая волна хуразитов. За мешками с песком сидел в ожидании московский крутой народ, ради такого дела забывший о собственных разборках. Здесь были «канальи» во главе с Гореликом и «шоколадники» под командой Налима, все очень хорошо вооруженные. Лучше не спрашивать, откуда взялось оружие. Ответа никто не даст. Командовал объединенным отрядом, разумеется, Никодим Вертолетчик. Пользуясь затишьем, он устанавливал на треноге какую-то небольшую трубу, похожую на любительский телескоп. В ответ на вопрос Ваксино, что, мол, за штука такая, Вертолетчик сказал:

— Сам точно не знаю, Аполлинарьич, — то ли СПУРО, то ли СТУРО, а может быть, и ЧТЮП. Признаюсь вам, хоть вы и не спрашиваете: это мне друг подарил из оборонки. Возьми, говорит, Дима, пригодится на островах. Да что ты, говорю, акул, что ли, стрелять? А вот оказалось, что прав был Егор: сегодня мы ее и опробуем.

Этот деловой свойский тон обычно очень сдержанного парня, а также панибратское обращение «Аполлинарьич» взбодрили старого сочинителя. Бодрли и огоньки сигарет, и хохмы, которыми обменивались «канальи» с «шоколадниками-тринитротолуольщиками», как будто никогда раньше и не бились друг с другом насмерть. Вдруг он услышал то, чему сначала не мог и поверить. Артемий Артемьевич, всемогущий олигарх, отвел в сторону непутевого Горелика.

— Слава, давай договоримся: не зови меня больше Налимом, а?

— А как же, если не Налимом, Налим? — с понтом изумился Славка.

Олигарх по-пацански зашептал:

— Давай так, Слава: мы вас не будем «канальями» называть, а вы забудете Налима, лады? Ну ты же видишь, перерос я

Налима — разве нет? Знаешь, я боюсь, Мила Штраух услышит, будет разочарована. Зови меня просто Артемом — ну, по-революционному, договорились?

Хоть я в этой главе не первое, а всего лишь третье лицо, а все-таки надо обрисовать диспозицию, решил Ваксина. Иначе потом будут упрекать в выдумках. Говновозов напишет что-нибудь вроде «Почтенный мэтр пытается щегольнуть батальными сценами, получается детский лепет». Впрочем, этого «потом» может и не быть. Ну что ж, тогда и Говновозову нечего будет сказать.

Итак, «Бельмонд» был осажден со всех сторон. Всю ночь от Гвардейки, над которой стояло зарево пожарища, на прилегающие к парку холмы выдвигались все новые отряды хуразитов. Они не скрывались, напротив, — шли с факелами и жгли костры вокруг подвешенных к столбам пленников: тактика тотального устрашения.

Искусно действовали электронные саботажники дикарей. Телевизоры в отеле то и дело начинали расплываться какими-то мрачными пятнами, из которых выплывали страшные рожи или сцены пыток, чаще всего на мужских гениталиях. В телефонные разговоры, как сетевые, так и сотовые, то и дело врывались голоса с характерным дикарским булькающим акцентом. «Отрежем и свиньям бросим!» — вопили они все на ту же свою излюбленную тему. В Интернете, однако, они старались выглядеть посolidнее. Там появилось множество повстанческих сайтов: «Хуррафф Хуразу!», «Шабаргэ, взгляд в будущее», «Очарчирий Заведоморожденный, герой народа» и т.п. На них шли гладко написанные в стиле марксо-ленинского философского фака МГУ восьмидесятых годов тексты о сионизме, об ублюдочности русского этноса, о поедании печени врага как проявлении возвышающего культурного мифа. Агитпроп Овла Опоя работал на победу.

В общем, положение было хуже губернаторского, даже учитывая тот факт, что губернатора в это время волокли на неревке по коридорам его любимого здания, бывшего обкома КПСС, в подвал, где он ни разу до этого не был.

Ребята на ваксиновской террасе, однако, не унывали. Всем нравилось называть Налима Артемом. Ну, скажем: «Посмотри-ка, на... направо, Артем, нет-нет, на... налево, Артем!» Хохотали. Как ни странно, обе враждующие группировки бы-

ли довольны, что составили общий отряд. Борька Клопов, Равилька Шамашедшин, Лёлик Телескопов и Василиск Бром (все, между прочим, полубратья по Серафиме Игнатьевне) вспоминали детские шалости. Вот было время, пацаны! За пачку жвачки можно было ялик купить! Юрка Эссесер нашел общий язык с Эрни Эрнестовичем. Старый гангстер рассказывал ему о знаменитом ограблении почтового экспресса в шестидесятые годы сего века. Даже Вера Верхарновна, уж на что молчунья по профессии, делилась с княжной и Юлью Лаской воспоминаниями о своем безоблачном детстве в солидной брюссельской малине.

Между тем Славка и Герка изучали инструкцию по пользованию безобидным телескопчиком на треноге и тоже делали это без «звериной серьезности», постоянно обращаясь с вопросами к старому сочинителю:

— Стас, а Стас, как мастер Великого-Могучего-Правдивого-Свободного, можешь расшифровать нам акроним СТУРО?

Старик с притворной суровостью предполагал:

— Сверхточная установка реактивного огня, так, что ли? — И попадал в цель.

Ребята умирали:

— Ну а вот это место в инструкции как прикажешь понимать: «Краткосрочным, но сильным приложением давления привести в действие»?

Ваксину и это расшифровывал:

— Надо нажать.

Ребята почему-то от слова «нажать» просто отпадали.

Один лишь Никодим Дулин не принимал участия в светской жизни. Во-первых, он все еще не мог вычеркнуть из памяти злодейского нападения на клуб «Баграм». Позже разберемся, е-бэ-же, говорил он себе. Без разборки все-таки балаиса не составишь, е-бэ-же, если говорить попросту. Во-вторых, он внимательно следил за склонами холмов сквозь прибор ночного видения, который, к счастью, обнаружил в своем багаже. Предрассветное свечение уже начинало распространяться над гребнем гор, когда он сказал:

— Для общего сведения, дамы и господа. Духи подвезли установку «град».

На вершине одного из холмов, по прямой километрах и двух, уже видны были пятнистые фигурки, копошившиеся во-

круг темной массы грозного оружия. Дима, конечно, понимал, что именно после выступления «града» начнется штурм.

— Славк, Герк, как там у вас, разобрались? — осторожно спросил он.

Молодые люди по очереди смотрели в маленькую трубочку, тоже весьма напоминавшую деталь любительского телескопа. Крестик прицела некоторое время еще колебался, потом застыл.

— Мы готовы, — бойко ответили новоявленные стуровцы.

— Огонь! — скомандовал Вертолетчик.

Уши зажимать не требовалось: СТУРО была почти бесшумным агрегатом. Славка произвел «краткосрочное, но сильное приложение давления». Снаряд ушел.

Всем показалось, что он летел довольно долго, во всяком случае, все видели его удаляющуюся раскаленную задницу. Что касается дикарей на холме, им, очевидно, показалось, что огненная точка летит к ним слишком быстро. Во всяком случае, никто не успел отбежать в сторону. Снаряд угодил в самую сердцевину «града» и разнес его на куски, вызвав сильнейший взрыв.

— Вот так дулю ты им припас, Дима Дулин! — восторженно крикнул Юрка Эссесер.

— Браво, мальчик! — воскликнули дамы.

Из верхних окон отеля послышались крики «Ура!». Засевшие там защитники, как оказалось, внимательно наблюдали за подготовкой телескопчика СТУРО. Налим-Артем молча переглянулся со своим штабом. Они, конечно, понимали, что «дуля» в других обстоятельствах с таким же успехом могла найти и другую цель.

Очередной афронт, очевидно, взъярил хуразитов. Жертва, казалось уже загнанная и почти задранная, ударила копытом по зубам. В предутренних сумерках вся округа замелькала огоньками выстрелов. Видно было, как кое-где бандиты выскакивали из укрытий, чтобы нестись в атаку. Отель теперь молчал. Вскоре, однако, и «духи» затихли и залегли: командирам, должно быть, удалось утихомирить бесноватых. На одном из холмов стали двигаться густые кусты, то есть замаскированная техника.

— Интересно, откуда у банды «грады» и прочее? — спросил, ни к кому не обращаясь, Ваксино.

— Спроси об этом в местных гарнизонах, Аполлинарьич, — сказал Никодим.

Вдруг Артемий Артемьевич (будем все-таки иногда называть его таким образом, ну хотя бы в такие минуты, когда он говорит по своему сверхнакрученному мобильнику) оторвался от своего аппарата и сказал совсем по-налимовски:

— Пацаны, верьте не верьте, но я с флотом договорился чисто конкретно!

Не веря своим ушам, все обратили взоры к бухте. Эскадра, авианесущий БПЛК и три десантных судна, не считая мелочи, была уже освещена первыми лучами встающего из-за Святоша солнца. Здешние моряки всегда презрительно подчеркивали, что не имеют никакого отношения к делишкам архипелага. Неужели сейчас они решили выступить против повстанцев?

«Артем» с поблескивающими временным безумием бериевскими пенсиями рассказывал, что ему удалось найти общий язык с контр-адмиралом Шмалевичем. Через час они задействуют вертолеты. Затем эскадра начнет прицельный обстрел холмов. Вокруг отеля будет создано огненное кольцо. Даже десант согласился принять участие в операции. Защита Месячника Островов российских — дело святое, верно, пацаны? За все придется отстегнуть всего сто лимонов. Семьдесят берет на себя «Шоколад», тридцать, надеемся, покроет «Природа». Лады? Началось обсуждение. Не так уж много, ребята. Нет-нет, не так уж много. Много, но не очень. Много, но терпимо. Ну и так далее.

Вообще, продолжал АА, положение у нас хоть и серьезное, но не безнадежное. На «Царской вилле» вчера было хуже — шучу, шучу! Вечером приземлятся два «Муромца» с мурманчанами. С ними тоже удалось согласовать все детали. Покрываем на тех же условиях, Горелик, — лады? Прямо из самолетов они выдвнутся в город и начнут вышибать Хуразу — из тех, кто не разобрался в ленинской национальной политике, шучу, шучу! В общем, это подразделение, как известно, проигрывать бои не обучено.

Теперь текущая ситуация. Первый шок позади. Казачество приходит в себя. Отряд сторожевого хутора Кочет отбил у дикарей здание обкома, освобожден губернатор Скопцо-внук. Толку от этого говнюка мало, но важен сам факт. Видите, все не так уж плохо, а самое главное, мы теперь вместе — правда

ведь, правда? — к черту, забудем наши распри, вместе давайте строить и «Нерушимость», и «Экочудо», бывший комсомол вместе с бывшей интеллигенцией — верно? — вот они, рыцари чести новой России, ведь можем же вместе сражаться, ведь можем же!

Одна только мысль не дает мне покоя, Слава, Гера, Мариночка, все присутствующие и особенно наш сочинитель, уважаемый Стас Ваксина, он же Влас Ваксаков, писатель земли русской, — не удивляйтесь, что знаю вас, как мне вас не знать, ведь я же давно перерос, перерос, мальчики и девочки, того дурацкого Налима-то из первой главы-то-то-то...

Тут АА задергался в странном, с заглотами слюны, хохоте. «Канальи» переглянулись с «шоколадниками»: неужели поехал Налим? Спокойно, показал рукой Слава и подсел к олигарху.

— Какая мысль тебе не дает покоя, Артем? Что тебя гложет?

АА с благодарностью взглянул на Горелика и сформулировал мысль:

— Где Людмила Штраух? Где она, без которой уже не могу? Кто мне скажет?

Слава повернулся к Василиску Брону, который, почти обнаженный, словно Геркулес, нянчил в руках свою палицу — гранатомет «сокол»:

— Брон, где Милок, ты же должен знать.

— Славк, что ты, конечно, знаю, не все, но знаю, — кивнул Василиск. — Барышня Штраух вчера пошедши на встречу со своими одноклассниками из Питера. С тех пор ее не видавши.

Приободрившийся было при виде Брома АА снова потек:

— Ведь это же не женщина, а мираж, братаны! А я ее столько времени уже не вижу! Где, где, где Людмила Штраух?

Все тут повернулись к Ваксина, все бойцы террасы, включая автоматчиц Маринку и Юлью, включая и сына его Дельфина, который умудрился вытащить из «уголка обороны» частично распиленный пулемет «максим» и превратил его в *deus ex machina*¹ для стрельбы, включая и трех сестер О, которые за плечами бойцов, по примеру аристократок Петрограда 1914-го, щипали корпию. Тут уж пришлось старому обманщи-

¹ Бог из машины (лат.).

ку хотя бы на минуту выйти из своей роли отпускника. Он показал на дальнее крыло отеля. Там из окон десятого этажа махали несколько нежных ручек, светились румянцем еще почти нежные личики.

— Вот он, весь цвет несостоявшегося выпуска тысяча девятьсот восемьдесят девятого года сто пятой школы Нарвского района! — продемонстрировал сочинитель и искоса взглянул на Славу.

Тот вместе со всеми смотрел вверх на девушек. Среди них были и два знакомых ему лица — милая Никитина и Роза Мухаметшина. Не было только лица, которое он столько лет надеялся увидеть. Да и надеялся ли еще?

— Милок! — вскричал АА, узнавая свой цветок среди «всего цвета». — Ты видишь меня? Ты видишь, мы бьемся за вашу и нашу свободу! Родная моя, утонченная!

— Это все? — невозмутимо обратился Слава к своему литродителю. — Стас, ты уверен?

В это время донеслись крики девушек:

— Слава Горелик! У нас для вас сюрприз! — Часть из них побежала куда-то в глубину, оставшиеся продолжали кричать: — Сюрприз! Сюрприз!

До сюрприза оставалось несколько секунд, когда сильнейший взрыв поднял в воздух срединную секцию отеля. Не веря своим глазам, с террасы смотрели, как вылетают из разорванных окон людские тела, как дым и огонь поднимаются бешено клубящимся облаком и в нем рассыпаются и низвергаются столетние стены «Бельмонда». Не прошло и двух минут, как в середине отеля образовался зияющий провал. От дикого растряса пол террасы ваксиновского люкса пошел трещинами. Дальнее крыло, в котором только что столь жизнерадостно щебетали девушки, было окутано дымом, на всех этажах полыхали пожары. Девушки исчезли.

За секунду до взрыва Наташа Светлякова бежала по коридору туда, куда ее влекли Никитина и Мухаметшина.

— Сюрприз! Сюрприз! — радостно восклицали одноклассницы.

Через несколько минут после взрыва она очнулась одна в частично развороченной комнате. Вокруг ни души. Пол засыпан стеклом и обломками кирпича. В провалах стен гудит бешеный огонь. Она подползла к двери, подтянулась на ручке,

попыталась выскочить, но перекошенная дверь не поддавалась ее толчкам.

— Милка! Нинка! — завизжала наша несчастная героиня. — На помощь, люди! Фамю, Абрашка, Стас Аполлинариевич, куда вы все провалились?! Когда нужно, вас нету!

Ответа не было. Из разбитых окон сквозь дым и пыль неся какой-то приближающийся вой. Она почему-то успокоилась, паника прошла, страха как не бывало.

— Это пиздец, — пробормотала она и вспомнила, как ту же самую емкую фразу она произнесла, когда завуч застукала их, семиклассниц, за курением в школьной уборной. Хихикнула. Одернула себя. Принимайте гибель с должным драматизмом, барышня!

Дверь вдруг легко отворилась, и в разрушенную комнату (это, кажется, была подсобка кафе «Астролябия») тоже с должным триумфом вошел Ильич Гватемала. Он был в длинном до пят пончо. На плечах его плясали бесенята огня. Длинные седые волосы развевались, хотя в комнате не было никакого ветра.

— О amor минья, я пришел тебя спасти! — провозгласил он на манер героев циклопического реализма. — Вокруг все уничтожено, иди со мной!

— Гватемала! — Она отстранилась. — В тебе просвечивает неживое.

— Знаю! — яростно прошипел он. — Но если ты пойдешь со мной, оно рассеется, отлетит: ведь я живу в тебе вместе с текстами моих романов.

— Пошел бы ты к черту, Гватемала, — слабо прошептала она.

— Я не хочу к нему! — взревел он. — Я должен спасти тебя и себя!

— Мне совсем другой нужен. — Она в отчаянье заплакала.

— Его нет! Валяется с простреленной башкой! Печень его жрет хуразит! — Он взмахнул своим пончо и закрутил в него целиком всю Наташу-Какашу. И с этим она исчезла навсегда, во всяком случае, из «малого романа» о Кукушкиных островах.

Тот, о ком так нагло соврал революционный романист, Мстислав Игоревич Горелик, стоял на балюстраде террасы. Перед

ним над дымной воронкой ребром торчала странным образом уцелевшая переборка фасадной стены. По ней можно было достичь дальнего крыла, теперь отделенного от основного корпуса руинами взорванной секции. Можно было бы достичь, если бы дело происходило в кино, а не в прозе. В прозе вообще-то у героев дрожат поджилки, если им предстоит пройти полсотни метров по узкой переборке над убийственной пропастью с торчащей арматурой и с воплями погибающих в огне. Есть, разумеется, и исключения. К ним относятся те, кто рожден кесаревым сечением. Славка как раз был из этого числа, если помнит читатель. У него было атрофировано чувство страха, и он об этом знал. Во многих обстоятельствах своей не тихой жизни он внушал себе: это опасно, не дури! Сейчас он забыл об этом увещевании. Ему надо было обязательно добраться до полуразрушенной части здания, откуда только что к нему неслись крики «Сюрприз! Сюрприз!».

— Димк, у тебя случайно нет десантного троса? — спросил он Вертолетчика.

— Как раз случайно есть один комплект, — ответил дальновидный «афганец». Через минуту он уже закрепил один конец троса вокруг торса одного из атлантов, поддерживающих здешнюю архитектуру.

Пока Славка, растягивая трос, будет проходить по гребешку стенной переборки, расскажем, что происходило в это время на подступах к «Бельмонду».

После взрыва, устроенного в бельевой отеля двумя прачками, фанатичками Хуразу, началось массированное наступление с холмов. Впереди своих колонн боевики гнали толпы гражданского населения Гвардейки, в основном женщин пожилого возраста. Продвигаясь, бесы вели густой автоматный и гранатометный огонь в буквальном смысле из-под юбок несчастных старух. Впоследствии этот штурм не без восхищения изучали в университетах Европы и Прибалтики. Защитники отеля были загнаны в тупик. Гуманистические предрассудки не позволяли им стрелять в женщин. Остроумное решение командира Кашама позволило ему вновь укрепить свой авторитет в правящих кругах Очарчиири.

Крутые ребята «Природы» и «Шоколада», матерясь в адрес не столько дикарей, сколь в свой собственный, залегли за мешками с песком. Оставалось только ждать, когда бесы от-

бросят свой «живой щит» и устремятся внутрь на разграбление отеля. Тогда хотя бы можно будет пустить в ход ручные гранаты. СТУРО на первых порах исправно уничтожал идущие за людской массой бэтээры, но в конце концов и сам был подбит, вернее, разнесен на куски крупнокалиберной разрывной пулей.

Атакующая масса уже текла через парк, когда в одном из окон дальнего крыла появился Слава Горелик. Лучшей мишени, чем он в его белых штанах и белой рубашке, трудно было и найти.

— Славка, подожди, сейчас я тебя прикрою! — поделовому крикнул Вертолетчик.

Чем безнадежнее становилась обстановка, тем больше он активизировался, впадая в опьянение боем сродни тому, что испытывали защитники Шевардинского редута в «В. и М.». С профессиональной ловкостью он подвесил над зияющим кратером одну за другой три дымовые шутихи. Сквозь этот дым Славка был виден только как размытое белое пятно, а ползущая впереди него тоненькая женская фигурка проявилась из мрака только уже в непосредственной близости от террасы.

— Неужели он нашел ее? — весь сморщился Стас Ваксисно. — Можем ли мы себе позволить подобные трюки?

Женщина свалилась в глубь террасы прямо в руки бойцов. За ней спрыгнул и Славка.

— Налимчик! Где мой Налимчик? Он жив? — истерически верещал девичий голосок. Это была, разумеется, Штраух. Через секунду она уже была в объятиях любимого. Героический АА рыдал.

— Славка, Славочка, мы теперь с тобой братья навеки! — вопил он сквозь рыдания, не отдавая себе отчета в том, что вечное братство может оборваться через минуту.

— Это было нетрудно, — буркнул Горелик, подобрал какой-то ствол и прилег к смотровой щели между мешками. Стас Аполлинариевич с грустью смотрел на затылок и плечи своего «литературного детища». Он догадывался, что произошло, но не хотел себе в этом признаться.

Между тем к свисту пуль и разрывам гранат прибавился какой-то странный звук, похожий на бешеные кастаньеты. Это клацали зубами врывающиеся в первый этаж отеля дикари.

— Что теперь будем делать, орлы?! — как пьяный, завопил Вертолетчик. — Аполлинарьич, слово за тобой!

— Будем пробиваться к аэропорту! — с неожиданной для него самого решимостью выкрикнул старик. В одном из разбитых окон мелькнуло отражение его некоторых частей: выпрямившиеся плечи, обгоревшие усы, кулак с выставленным указательным пальцем. Ясно было, что он не собирается расставаться со своими персонажами.

Быстро сформировалась группа эвакуации. Все оцетинились оружием — и мужчины, и женщины, — но женщин все-таки постарались засунуть в середину отряда.

— Не спешить, не суетиться, всем держаться вместе! — командовал романист. — В момент бешеного ускорения сюжета мы включаем прием замедления, иначе получится полная размазня!

Так они, участники парада персонажей, плотной группой стали продвигаться в глубь горящего и гудящего «Бельмонда». Хуразиты, уже нагруженные награбленным, натываясь на них, тут же расставались со своей добычей, а заодно и со всеми другими предметами этого мира. Уцелевшие омоновцы и вохра отеля присоединялись к отряду. Уже внизу, в главном фойе, они увидели двух аристократов физического труда — графа Воронцовфа и князя Оладу. Из-за стойки бара те окатывали дикарей струями огнетушителей. Сильно увеличившийся, хотя и основательно израненный отряд вывалился из отеля. В последний момент к нему присоединился самый периферийный персонаж нашей истории, контрактор Маллиган со своим другом Финнеганом на руках. Честь и хвала этому вирджинскому джентльмену: с его плеча на плечо папы Ваксина перепрыгнул один из основных героев — кот Онегин!

Вокруг уже стояли патрули хуразитской гвардии. Стойкости этих мужиков приходится удивиться. Как им хотелось присоединиться к разгулявшимся сотоварищам, расстреливать или лучше резать захваченных крымчан, включиться в массовое изнасилование иностранок! Нет, ради родины, ради революции они должны были нести вахту вокруг буржуазного капища, а не внутри. Одно лишь утешало — усиленное снабжение стручками «ксиво», которые как раз и способствовали революционному вдохновению.

— Замедление, братаны! — гаркнул Вертолетчик. — Слушайте деда Ваксина, спешка бывает только в кино! — За плечами у профессионала войны теперь наблюдалась объе-

мистая канистра, в руках была большая труба вроде той, которой в Америке сдувают опавшие листья. За пальмами виднелось несколько стоящих хуразитских грузовиков «Урал». Туда-то и направилась неторопливой трусцой вся наша группа. Незнакомые с принципом замедления патрульные идиотически бросились со своими автоматами. В этот момент Дима как раз и пустил из своей трубы по всему пространству неопровержимый веер огня. Дальнейшее отдаем воображению читателей.

Через полчаса два «Урала» с нашими людьми и животными среди грохота разрывов въехали на летное поле аэропорта Революционск-Имперск. Еще через десять минут после неторопливого, но жестокого боя наши стали вваливаться в стоявший под парами суперджет «Горизонт». Последним втащили за ноги полубесчувственное тело олнгарха. Он гладил что-то телесное, думая, что это Милок, но это было то, что его втащило, — железная конечность Василиска Брома.

— Куда летим? — поинтересовался командир корабля.

— В Сибирь! — скомандовал печальный, но непримиримый Слава Горелик.

Отправив народ и кота, старик Ваксина пешком, притворяясь нищим инвалидом, направился в город. На его глазах история вдруг развернулась на сто восемьдесят градусов и погнала всю шелуху погрома в обратную сторону. Мурманчане одним ударом вышвырнули нажратую стручками банду из развалин «Бельмонда». Казачья армия на мотоциклах овладела городом и безжалостно расправилась с мародерами. Вертолеты кукушкинской эскадры прочесали холмы. Десант, в предчувствии приличного гонорара, отбил Гвардейку и взял в плен весь штаб и заложников «прагматика» Кашама. Очарчирия на острове Шабаргэ спешно объявила себя автономной областью многоуважаемой Российской Федерации.

Оставалось только взять дворец Очарчирия Восемнадцатого Заведоморожденного. На нем уже работала прилетевшая с двумя дозаправками в воздухе эскадрилья «Сухих». В мире тем временем росло движение в защиту свободолюбивого народа Хуразу, и это было явным признаком полного разгрома.

Ваксина ковылял по смрадным от трупов улицам, кланчил у солдат сигареты и все недоумевал: неужели вот так за-

просто все и кончится? Все так и кончилось бы, если бы не «творческий сон» нашего сочинителя. В какой-то момент он увидел посреди оскверненной площади полуразрушенный скульптурный комплекс, воздвигнутый в свое время для увековечивания боевых подвигов Федота Скопцо-деда. Там на дне бронзовой тачанки валялась шинель. Ваксино воспринял это как приглашение ко сну и тут же им воспользовался. Меньше всего он думал, что увидит во сне другой вариант завершения кровавой драмы.

Озверев от приближения конца, Очарчирий-Вакапутов с последним взводом своих пожирателей печени захватил родильный дом и предъявил ультиматум Кремлю. «Каждая матка, а их у нас под контролем восемьсот пятьдесят (соврал в два раза!) будет подвергнута кесареву сечению, если немедленно не прекратите боевых действий против свободолюбивого народа Хуразу!»

Кремль, которому предстояли очередные выборы, немедленно капитулировал. Генпрокуратура в срочном порядке реабилитировала весь штаб Кашама. Мастера военных предательств во главе с генералом Гусем вылетели на архипелаг. Была образована согласительная комиссия из находящихся на островах думцев. Пред Шкандыба, голова Жиганьков, деп Дубастый, нар. арт. Саблезубов вместе с Гусем и в сопровождении губернатора Скопцо-внука, начисто забывшего о беседах в подвале обкома, а также извечного оппортуниста Ворр-Ошилло, отправились в роддом к товарищу Заведоморожденному (каламбур тут возникает сам по себе, и мы за него не несем никакой ответственности) и там под вопли рожениц подписали соглашение о разделе сфер влияния и о направлении финансовых потоков. После этого выпили все запасы акушерского спирта, захорошили и хором спели «старую песню о главном»:

Открой нам, Отчизна, секреты свои,
Военную тайну открой ненароком,
И так же, как в детстве, меня напои
Грейпфрутовым соком, грейпфрутовым соком!

Десанту, который к этому времени уже занял первый этаж роддома и готовился повязать всю банду, оставалось

только смотреть на проплывающее мимо бухое идолище и на ухмыляющихся зверей, каждый из которых гнал перед собой излюбленный «шит» в виде готовой разродиться русской бабы.

Ваксино очнулся. Над ним плыли кровавые облака. Где-то неподалеку гремела песня, напоминавшая ему тысяча девятьсот пятьдесят третий год, студенческую каторгу в артиллерийской бригаде Приволжского военного округа. «Над курганами горбатыми, над речными перекатами, под разрывами гранатными песня ласточкой летит!» Вместо ласточек под облаками кружили стервятники. Откуда они прилетели с такой оперативностью? Быть может, почувствовали запах мертвечины и явились с Галапагосских островов? Почему-то он никак не мог вспомнить русского слова «стервятники» — вертелось только английское «валчурс». Нужно пошевелить рукой или ногой, иначе они примут меня за труп и опустятся всей стаей. Ни ноги, ни руки не двигались, он был распростерт на дне тачанки под стаей «валчурс». Надо хоть голову поднять. Голова как будто вросла в прокисшую бронзу скульптуры. Вдруг кто-то совсем близко отрыгнул водкой с пивом. Кто-то произнес за его головой с прогорклым смешком:

— А вот еще один жмурик лежит в коляске. — Кто-то еще приблизился, бренча железом. — Да это наш лежит, пенсионер. — Шаги отдалились. Кто-то крикнул: — Серега, сбрось-ка нам упаковку «Туборга»!

От этого слова у Ваксино сразу пересохло во рту. Пиво — вот что вернет к жизни! Все вдруг пришло в движение: и руки, и ноги, и голова. Он сел, а потом и встал в своей тачанке, опираясь на бронзовое плечо героического, с чубом, пулеметчика. Перед его взором предстала обширная площадь с догорающими бронетранспортерами и разбросанными по всему пространству телами погибших. По площади бродили несколько мосластых длинноруких солдат далеко не первой молодости. С ног до головы они были обвешаны боевыми железяками, потому и бренчали на каждом шагу. Время от времени кто-нибудь из них нагибался над трупом хуразита и делал резкое движение рукой; так в лесу опытные грибники снимают шапочку боровика. Увидев вставшего Ваксино, двое, что были поближе, расхохотались:

— Э, дед, да ты живой!

— Дайте пива! — прохрипел сочиинитель.

Солдаты совсем зашлись от юмора.

— Во, дед, пива захотел!

Они подошли поближе.

Он увидел их глаза, и ему, даже после всех прелестей яви и сна, стало не по себе. Глаза не обещали пива. Вообще ничего не обещали, как ничего не обещают глаза птиц. Может, я еще сплю, понадеялся он. Напрасно; они протянули ему длинную банку. Во сне так не бывает, подумал он, шелкая язычком банки и глядя на вылетевший дымок. Начав пить, он убедился в реальности момента. После нескольких глотков он расслабился от пивного блаженства.

— Чем это вы тут занимаетесь, ребята? — спросил он.

— Ушки собираем, — сказали солдаты.

Тут он увидел, что на поясах у них и впрямь, словно связки грибов, висят еще кровоточащие уши с обвисшими пучками хуразитских волос.

— Обрезаете у людей уши?

— А зачем этим жмурикам уши?

— А вам они зачем?

— Мы спецназ, ты что, не понимаешь?

Он допил банку и заново стал укладываться в тачанку.

— Стой, дед! — сказали ему. — Ну-ка, выверни карманы!

Забрав все деньги, что вывалились из карманов, солдаты пошли прочь. Не желая упускать минуты пивного блаженства, он растянулся на дне бронзовой колымаги и смежил очи.

Через десять тысяч лет описанные выше события приобрели мифические и мрачно-героические очертания наподобие вагнеровского медного буханья. Почти полностью забылась некая этническая данность, именовавшаяся Россией. То же самое, по сути дела, произошло и с другими большими этносами, но только немного позже. Господствующей расой Земли с незапамятных времен стали хуразиты. Отсчет времени все еще велся по-старому, но никто его не связывал с Рождеством Христа. Древние культы, ислам, христианство, иудаизм были искоренены и забыты. Буддизм если и сохранился, то только на недоступных высотах Гималаев, где его анахореты влачили жалкое существование. Вообще все, что осталось от человечества, влачило жалкое существование. Неслыханные технологические достижения конца второго тысячелетия давно уже стали предметом археологии. Впрочем, какая еще там архео-

логия — никакой археологии не существовало. Диковинные штуки древности: ящички с экранами, клавиатуры, пеналы легкого металла с трудно объяснимыми каркасами внутри, арматуры гигантских малопонятных сооружений и развалы почти невесомых блестящих дисков — все это открывалось землянам тринадцатого миллениума только в результате геологических подвижек, землетрясений и извержений вулканов. Иной раз трещина земной коры с веками превращалась в какой-нибудь обширный каньон, и на одном из его берегов обнажались огромные стены с бесчисленными окнами, вернее, не с окнами, а с железными дырами, ибо стекло под землей растворялось, железо же стояло. В одном месте, кажется на берегу Миссисипи (ее сейчас называли Ссиссипимм), открылся перекресток даун-тауна. Слух прошел, что там даже сохранился какой-то мигающий фонарь, однако тут вмешался ВКО, после чего фонарь исчез и слух погас.

Человечество за эту огромную череду веков успело доказать до низшего уровня деградации и там, на этом уровне, держалось не менее тысячи лет, только лишь не превращаясь в червей. На огромных пространствах суши забыто было даже колесо. Уцелевшие после бесчисленных эпидемий остатки племен перетаскивали волоком свои пожитки, спасаясь от странных мутантных животных. На море было немного лучше: там все-таки уцелело весло и косой парус, морские племена умудрялись как-то пасти стада дюгоней и растить более-менее здоровых детей.

Существовали, конечно, страшные замки, за стенами которых жила очарчирская иерархия. Оттуда временами выходили процессии на слонах. Они спускались в долины с целью набора добровольцев для человеческих жертвоприношений. Как проходила жизнь за стенами, никто не знает, и никаких свидетельств не сохранилось, за исключением Саморазворачивающегося Свитка Столетий. Вот там, если дунуть на него левой ноздрей, зажав правое ухо, открывалось нечто неожиданное. Оказывается, при дворе Верховного Колдуна существовал какой-то пыхтутель, с помощью которого ВК смотрел древние чудеса-видухи, в частности подвиги бессмертных. Ничто не помешает нам предположить, что в этих видухах среди сонмища врагов доблестных рыцарей Хуразу могли промелькнуть и герои одного романа, к написанию которого спящий имел самое прямое отношение.

Этот вещий спящий в какой-то безмоментный момент сна осознал, что начинается возрождение. Человеческая раса, даже в ее хуразитском варианте, очевидно, не может не начать все сначала. В начале тринадцатого тысячелетия вдруг возникла какая-то новая письменность. Сначала записывались только гласные звуки, получался сплошной вой. Потом стали карябать согласные, получалась птичья трескотня. Потом все смешалось, и вышла азбука. Стали выпускать газеты. Не будем вдаваться в подробности нового прогресса, скажем лишь, что к исходу миллениума началась эпоха, которую в некоторых ее чертах можно было сравнить с первым десятилетием нашего двадцатого века. Выплыло нечто напоминающее берега социалистической Албании, вдоль которых спящий когда-то плыл на югославском пароме с острова Корфу в Дубровник. Гигантские круглые доты с орудиями невероятных калибров. Потом появилось что-то еще более отдаленное; эскадры дымящих на полнеба нагромождений стали, над ними что-то летающее с сорока медленно вращающимися пропеллерами. Единое спиритуальное пространство стало проявлять тенденции к расколу. Страны Баальбека и Гамеды стали что-то замышлять самостоятельное, то есть против великого Хуразу. Это вносило в общество некую притягательную нервинку. Женщины гаремов перестали наращивать жирные ягодички и начали играть во что-то вроде бадминтона. Вдруг вспыхнул пожар государственного байронизма. В поисках каучука три разные армин стали выжигать ту землю, где в наше время был Вьетнам. Весть о победе Хуразу была распространена по всему миру тысячами механических голубей.

Империя вновь вздыбилась во всем своем могуществе, когда в небе было замечено светящееся пятно. С каждым месяцем оно увеличивалось. До правящей элиты не сразу дошло, что оно приближается. Низы почему-то поняли это раньше. Возникло странное возбуждение сродни карнавалу. Власти пытались разгонять танцующие толпы, однако в толпах возникло убеждение, что поверхность превращается в шар, и от этого карнавал стал полностью неуправляемым.

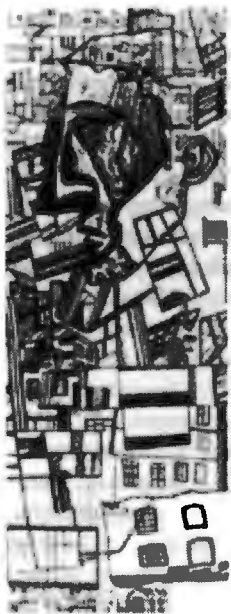
Когда небесное пятно достигло размеров половины Луны, на Земле установилась сильнейшая жара. Забыв о высоких достижениях своей техники, люди стали впадать в первичный хуразитский мистицизм. Заговорили о том, что это возвращается Голова Хуразу. Она нацелилась на наши печени, смеялись

люди, а поэтому надо пока танцевать и совокупляться. Стремительно возродилась культура стручков «ксиво».

Сильнейшая жара стояла недолго, вскоре она превратилась в испепеляющую жару. Люди расплавились, а потом испепелились, а потом снова расплавились уже в виде пепла. Вместе с ними расплавилась и вся сопутствующая биология. Запылала и вся Земля. Столкновения двух огненных тел не видел и не слышал никто, ибо не было никого, кто мог видеть и слышать. Таким образом, столкновение и сопутствующий шум вкупе с огнем произошли за пределами биологического существования, то есть как бы не осуществились, потому что кто же еще в таких обстоятельствах может вообразить объективную реальность?

С таким сновидением в творческом багаже космополитический сочинитель Ваксино, он же бывший «писатель земли русской Влас Ваксаков», возвращался домой в Вирджинию из поездки на Кукушкины острова своей родины РФ.





ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ

Аврора Горелика

*драма в двух актах
с 11 монологами*

Действующие лица:

СЛАВА ГОРЕЛИК, авантюрист,
31 год

СТАРШИЙ ОФИЦИАНТ, 65 лет

МЛАДШИЙ ОФИЦИАНТ, 20 лет

КЛЕНСИ ФАУСТ, профессиональ-
ный революционер, 29 лет

ЛОРЕНЦО МГБЕКИ, профессио-
нальный революционер, 29 лет

МАРТА ЛЕТИК, профессор, 47 лет

РОЗИ ЯГОДА, ее ассистентка,
20 лет

УРИЯ МАК-ЧЕСТНЫЙ, кандидат
наук, 37 лет

ХНУМ, демиург

ПТАХ, демиург

ИЛЬИЧ ГВАТЕМАЛА, классик
циклопического реализма, 75 лет

НАТАША СВЕТЛЯКОВА, она же
КАКАША, его жена, 24 года

1-Й КИЛЛЕР

2-Й КИЛЛЕР

АВРОРА ГОРЕЛИКА, крейсер

РАБОЧИЕ с ближайшей стройки

Девятостые годы XX века. Действие
происходит однажды вечером в Лисса-
боне.

АКТ ПЕРВЫЙ

Перекресток где-то в районе площади Фигероа в Лиссабоне. В глубине сцены видна конная статуя. Судя по шуму, вокруг нее кружит автомобильная карусель. Монумент виден только наполовину, пьедестал и ноги коня скрыты строительным забором. Временами над забором поднимается ковш экскаватора. То и дело со свистом и грохотом начинают работать компрессоры и перфораторы.

Вся сцена представляет собой веранду кафе, почти примыкающую к строительству. В просцениуме тоже стоит несколько столиков. Над ними вывеска «Кафе А Лембранса».

Какими-то средствами — массовой ли, экранными ли мельканьями, внесенном ли всяких чучел и кукол — нужно создать атмосферу шумного перекрестка в центре старинного города. Кроме механического грохота, в звуковом хаосе слышны завывания нищих и уличных музыкантов, голоса гндов.

Освещение должно подчеркнуть обстановку позднего жаркого дня, пропитанного пылью строительных работ и выхлопными газами. Небо постепенно темнеет. Быстро прогорит закат. Появится яркая и как бы увеличивающаяся звезда. Потом она исчезнет. Ночь на несколько минут очистит панораму. Потом зажгутся уличные огни и сильные фонари на стройке. Пыль станет еще заметнее. Пока что — солнце, жара и шум.

Появляется Слава Горелнк. Он в толстой куртке «бомбовоз-классик», в твидовой кепке козырьком назад, в шарфе. Обременен багажом, среди которого выделяется солидный рюкзак, украшенный долларовыми знаками. Вид у Славы непрigлядный, он весь пропитан потом, намокшая фальшивая борода сбилась в сторону. Явно только что прилетел с более высоких и менее жарких широт.

Проходит по просцениуму, внимательно оглядывая вывески. На веранде появляются Ст. Официант и Мл. Официант.

Смотрят на потенциального клиента. Горелик не торопится, прогуливается, насвистывает «Айне кляйне Нахтмюзик» и поглядывает то на кафе, то в зрительный зал.

В глубине веранды появляются Профессор Летик и Роза Ягода. Занимают столик поближе к строительному забору, профессор лицом к залу, Роза в профиль. Ст. Официант немедленно приносит им по большому бокалу пива — очевидно, знает заказ наперед.

ЛЕТИК. Ах, как я люблю этот предвечерний час. Сидеть здесь с каким-нибудь глупым юным существом, ждать, когда

начнут появляться наши. Слышать эти молотки за забором. Тревога и вдохновение. Кажется, вот-вот что-то начнется. Что-то большое, симфоническое.

РОЗИ. Марта, у меня опять все лицо запылало.

ЛЕТИК. Нечего выдавливать угри!

РОЗИ. Купи мне немного пудры.

ЛЕТИК *(очень жестко)*. Мы не употребляем пудры.

Слава Горелик тем временем вступает в пределы кафе. Маленький и гордый Ст. Официант направляется к нему.

СТ. ОФИЦИАНТ. Внутри или снаружи?

ГОРЕЛИК. Где лучше?

СТ. ОФИЦИАНТ. Внутри кондиционер, снаружи пыль и зрители.

ГОРЕЛИК *(поет из Гребенщикова)*. Мне нож по сердцу там, где хорошо, я дома там, где херово. *(Показывает на столик в просцениуме.)* Вот здесь я сяду. *(Вешает куртку и фальшивую бороду на спинку стула; впоследствии не раз будут этой бородой протирать его столик.)*

СТ. ОФИЦИАНТ. Деньги-то у вас есть, сэр?

ГОРЕЛИК *(показывает на рюкзак)*. Ты что, не видишь? Денег под завязку! Ладно-ладно, не борзей! Вот тебе моя кредитка, отпечатай ее себе на жопе!

СТ. ОФИЦИАНТ. Не очень понятно говорит, но порода чувствуется. Милости просим, сеньор!

Горелик садится спиной к зрительному залу, стаскивает верхнюю теплую рубашку, потом нижнюю легкую и остается в одной майке без рукавов. Зрители могут видеть на его левой лопатке татуировку бабочки. Иногда он пытается прихлопнуть ее ладонью, но всякий раз безуспешно.

Мл. Официант приносит ему огромный бокал пива. Он осушает его залпом и изумленно трясет головой.

ГОРЕЛИК. Да что это такое, ёкэлэмэнэ? Да я бухой совсем!

МЛ. ОФИЦИАНТ. Желаете еще?

ГОРЕЛИК. Тащи две сразу!

СТ. ОФИЦИАНТ *(подходит с меню)*. Рекомендую на ужин «Ум-Жажанош». Лучшая из лучших в мире португаль-

ских рыб. Не удивляйтесь, сэр, кулинары во всем мире вам скажут, что самая добрая, самая холеная рыба плещется тут, у наших берегов!

ГОРЕЛИК. Так что же, вы жрете своего доброго холеного соседа? Что же, она там плещется только для того, чтобы вы ее в своем ресторане подавали? Ну-ну, сеньор, не обращайтесь внимания на мою демагогию. Мы все являемся и хищниками, и жертвами шопенгауэровского кругооборота. В конце концов, и нас ведь жрут муравьи и черви. Тащи своего «Ум-Жажаноша»!

СТ. ОФИЦИАНТ *(в сторону)*. Сколько тут у нас всякой демагогической сволочи сейчас бродит. *(Смотрит в ладошку на кредитную карточку.)* Слава Гоурелик, звучит не по-человечески. И все, главное, собираются снаружи, поближе к трудящимся. Эх, в прежние-то времена мы знали, как отделять сеньоров от демагогов!

Панически, буквально задыхаясь от жажды, вбегает Урия Мак-Честный. Он в зажеванных шортиках и в майке не последней свежести, мягко говоря. Явно с сильного похмелья. Останавливается, борясь с головокружением, потом замечает профессора Летик и бросается.

МАК-ЧЕСТНЫЙ. Профессор! Рози! Вы зря вчера ушли так рано! К середине ночи возникла совершенно уникальная обстановка. *(Щелкает пальцами официанту: дескать, тащите, тащите пива!)* Пели, все пели до утра, как в двадцатые годы певали деды движения!

ЛЕТИК. От вас пахнет отторгнутыми массами, Урия. *(Делает жест официанту, чтобы принесли не большую, а маленькую.)*

МАК-ЧЕСТНЫЙ *(поражен размерами принесенного бокала, выпивает его одним духом и тут же щелкает пальцами: еще, еще!)*. Эти ночи, полные подъема, такого специфического вдохновения, всегда оставляют какую-то страниую, едва ли не духовную жажду.

Пока происходит этот нервный обмен фразами, жестикуляцией и взглядами, из зала в просцениум вылезает долговязый Кленси Фауст и маленький мускулистый Лоренцо Мгбеки, на одном штаны

«фатиг», на другом куртка «фатиг», на одной голове шапка «фатиг», на другой ничего. Сверившись с какой-то бумажкой, входят в кафе и молча подходят к столику профессора Летик.

МАК-ЧЕСТНЫЙ (*восторженно*). Ребята, как вы точны! Марта, Роза, посмотрите, как они точны, — явились минута в минуту! Вот что значит настоящий профессионализм!

ЛЕТИК. Урия, что это за неуместная театральщина? Кто это такие?

МАК-ЧЕСТНЫЙ (*обескураженно*). Ну я же вам говорил еще неделю назад... (*свистящим шепотом*)... это ребята от Аффи Арра... ну, я их встретил у Амма Эйна... ну, вы еще сказали, чтобы я... ну вот, опять я в лужу...

ЛЕТИК. Увы, мой друг, вы погрязли в театральщине. (*Вежливо новопривывшим.*) Присаживайтесь, товарищи. Кажется, мы встречались на семинарах по скользящей экономике в Аахене, не так ли? Роза, займись товарищами, пожалуйста.

Роза вынимает из портфельчика какие-то бумаги, дает новопривывшим расписаться, вручает им конверты. Официанты подносят бокалы с пивом и закуски. Все встают с бокалами. Хором поют «Дивизию на марше».

Проходят века и века,
Но поступью тысячелетий
Дивизия тянет быка
На сгибах рабочих предплечий!

Река, как всегда, глубока,
Но в небе сияет нам глетчер!

Чтоб жизнь наша сделалась краше,
Дивизия крепнет на марше!
Во имя высокой мечты
Втыкай вдохновляющий штык!

Пред нами поля и луга,
И сине-зеленое море,
И тактики наш ураган,
И вихри мятежных теорий,
И бык наш вздымает рога,
И шапка пылает на воре!

Чтоб жизнь наша сделалась краше,
Дивизия крепнет на марше!
Во имя высокой мечты
Втыкай вдохновляющий штык!

К этому моменту в просцениуме оба официанта подвозят Горелику на колесиках несколько дымящихся блюд и бутылок вина. Действие в глубине сцены приглушается, доносится только общий «мурмур» улицы, стройки, музыки (противное мяуканье группы Spice Girls) и ресторанной террасы, на которой стол профессора Леттик продолжает обрывать «нашими».

ГОРЕЛИК. Папаша, я этого всего не заказывал. Вы, наверное, ошиблись. Это, должно быть, для вон того банкета, папаша.

СТ. ОФИЦИАНТ. Во-первых, я вам не папаша. Вы откуда приехали — из Оклахомы или из Миссури?

ГОРЕЛИК. Я сейчас прямым рейсом из Иркутска. Нас всю дорогу пельменями кормили. Апофеоз патриотизма!

СТ. ОФИЦИАНТ. Это меня не касается, во-вторых. Так у нас подают «Ум-Жажаноша» с тысяча восемьсот двенадцатого года. Сейчас мне придется вас научить этикету, чтобы вы хотя бы почувствовали приближение к сеньорам Лиссабона. Этим молоточком вы разбиваете спинку вот этому крабу. Этим крючком вытаскиваете мясо из лап. Этой ложкой вычерпываете внутренности. Делаете два хороших глотка белого вина. Затем последуют ракушки. Каждую погружаете в соус. Постоянно освежайтесь красным вином. Третий акт — бобы с креветками. После них вы употребляете добрую чарку водки, кабальеро из Иркутска. Залпом, сеньор Гоурэлли! Браво, браво, вот эта ваша манера крякать после водки обличает в вас знатное происхождение.

И вот только теперь начинается кульминация вашего пира — запеченный в морских звездах благородный «Ум-Жажанош». Начинайте с хвоста. Не оставляйте без внимания поджаренные плавники. Каждую передышку заполняйте ложечкой коимбрского мороженого. По завершении рыбы вы переходите к этому горшочку с расплавленным сыром. Затем, ничтоже сумняшеся, вы допиваете все оставшееся вино и расплачиваетесь. Коллектив рассчитывает на достойные вашего происхождения чаевые.

ГОРЕЛИК. Как я допиваю оставшееся вино?

СТ. ОФИЦИАНТ (*в упоении собственным искусством*).
Ничтоже сумняшеся, сэр!

ГОРЕЛИК. Должен сказать, сеньор, что ваш «Ум-Жажанош» освещает всю реальность каким-то иным, пламенным, нет-нет, отнюдь не мертвенным, светом. Монстр погиб не зря, ей-ей! Пожиратель монстра преисполнен вдохновения. Он настраивается на произнесение монолога. Если, конечно, публика не возражает, сейчас начну. Если, конечно, публика не была оскорблена звуками гурманских засосов, этим итимом пожирателя и пожираемого. Не слыша криков «долой», я спускаюсь с веранды на улицу и начинаю свой монолог.

МОНОЛОГ ГОРЕЛИКА

Меня зовут Мстислав, хотя а) я никому не собираюсь мстить и б) я не очень-то стопроцентный славянин. Предпочитаю, чтобы меня называли просто Слава, тем более что она, добрая или дурная, мне явно предназначена. Слава Горелик, к вашим услугам.

Как вы, очевидно, догадались по репликам здешнего недобитого салазаровца, мне прежде всего придется коснуться происхождения. Я был рожден тридцать один год назад на набережной Крузенштерна в тогдашнем Ленинграде, который ни сном ни духом не помышлял, что когда-нибудь ему отдадут его исконное голландское имя. Квартира была большая, а семья старая, к сожалению, с глубокими марксистскими корнями.

Ну, тут, разумеется, назревает фундаментальный вопрос — не еврей ли я. Если скажешь, как есть, что столь же еврей, сколь и донской казак, часть аудитории, конечно, подумает: ну и ловкачи! Думайте, что хотите, но мой дед еврей, а бабка донская казачка. Эка невидаль! Гораздо интереснее тот факт, что и тот и другая были Горелики. Дед Натан, впоследствии Николай, Горелик дважды удостоился лауреатства Сталинской премии и тайного героизма Советского Союза. Он был всегда глубоко убежден, что при Сталине к евреям относились лучше. Моя бабка же до замужества была советской девушкой Анной Горелик, да-да, той самой дискоболкой, что позировала и Мухиной и Дейнеке как воплощение зари социализма. Такие браки — хоть и редкое, но все-таки не ненор-

мальное явление. Даже Пушкин теоретически мог оказаться таким же отродьем, как я, потому что в семье Ганнибалов была одна девушка Пушкина.

Пора сказать несколько слов о моих родителях; большего они и не заслужили. Мой папа был выкорышлем ЦК КПСС, с молодых ногтей его записали в штат кремлевских спичрайтеров, он писал речи вождям и играл в бильярд на партийных дачах. Сейчас он называет себя шестидесятником. Что касается мамы, то она всю жизнь собирала «гжель». Все это рухнуло без особенного шума. Обосновались, конечно, в Нью-Джерси. Папин бильярд помогает им сейчас свести концы с концами и даже начать новую коллекцию, теперь уже веджвудского фарфора.

Дед, как сильная личность, так и не отпустил мальчика с родителями в Москву. «Я хочу, чтобы мой внук вырос настоящим европейцем, то есть на набережной Крузенштерна», — кричал он. Подозреваю, что дед всегда был скрытым троцкистом, то есть мечтал о «перманентной революции».

В принципе, мне так и не удалось до конца понять, кем он был. Даже на вопрос о возрасте мерзавец не отвечал прямо. Вместо простого ответа начинал подсчитывать стаж: где год за два, а где и за три. Бумажку, на которой велся подсчет, неизменно сжигал. Скандалил, если я пытался заглянуть через плечо. «Это не для беспартийных, не говоря уже о диссидентской сволочи!» Закончив подсчеты, он всегда вставал очень довольный, с сияющим взглядом. «Да-с, батеньки мои, есть чем гордиться. Жизнь прошла, но стаж впечатляюще вырос!» В этом оксюморе, казалось, решалась для него проблема бессмертия.

Двуличный был старик, что и говорить. Прихрамывал, это верно, но это у него было не от возраста, а от того, что ему на допросах в тысяча девятьсот сорок седьмом году Абакумов и Хрушев дробили колени. Что оставалось делать этим ребятам, если Сосо каждое утро интересовался, разоружился ли Горелик перед партией?

Он, конечно, разоружился и все признал, но тут ему вдруг сказали, что он ни в чем не виноват и что он должен немедленно, хоть и без коленных чашечек, отправиться на борьбу за мир в братские страны социализма.

С ним вместе поехали генерал Судоплатов и доктор Майрановский с набором ядов. Вообразите себе тройку ин-

теллигентов! Академик Горелик с чеховской бородкой, прихрамывающий после царской ссылки, а с ним два интеллектуала новой формации прибывают в какой-нибудь Будапешт для полуприватных бесед с местной мыслящей элитой. Кажется, все трое косили под раннее большевистское «богоискательство», намекали на развитие взглядов Богданова и Луначарского. По городу проходил слух: Москва меняет курс. Во время бесед Майрановский капал какому-нибудь епископу в кофе из флакончика, а Судоплатов угощал какого-нибудь эпистомолога душистой пахитоской. Нет-нет, сам Горелик впрямую не занимался этими делами. Он просто соловьем заливался о евразийской идее или об антиматерии. Симптомы смертельной диспепсии или распада легочной ткани обычно развивались у собеседников через неделю после отъезда нашего трио. Нет, это были не тайные убийства, а боевые операции, спасшие, быть может, тысячи жизней, утверждает сейчас наш милый дедушка. С туманной улыбкой он намекает, что Дьердь Лукач уцелел только благодаря его «неназойливому вмешательству».

В официальном своем статусе дед был мастером социалистического реализма по живописи. Огромными картинами на классические сюжеты, то есть из жизни партии и Красной Армии, дед вошел в самую высшую плеяду секретарей союза художников и академиков. Надо сказать, что он обладал несомненным талантом. Если между головами вождей надо было нарисовать небо, оно возникало с такой глубиной, что у зрителя захватывало дыхание. Летящие по степи буденновские лошади были настолько живыми, что казалось, сейчас затопчут вас своими копытами. Только фигуры простых советских людей почему-то получались у него топорными, неказистыми — сущими ублюдками на фоне божественной природы.

Однажды группа соперников попыталась ему вставить лыко в строку, намекнуть на умышленное искажение образов наших героев, однако недремлющий Сталин взял эти фигуры под защиту. Это люди из народа, сказал он, не какая-нибудь аристократия. Посмотрите, какая в них сила, какая неумолимость! С тех пор за академиком Гореликом утвердилось реноме «певца народной неумолимости».

По части теории дедок тоже не знал себе равных. Особенно ярко его теоретическая сила проявилась в годы борьбы

с космополитизмом. Не знаю, догадывался ли он, что после его теорий носители упадочнических идей попадали прямоком в руки практиков гзбухи, но, если и догадывался, это не вызывало в нем ничего, кроме торжества.

Жертвы истории, мой внук, нередко говорил он, тоже должны гордиться своим участием в нашей грандиозной фее-рии. Ни один зек не погиб даром. Любой никчемный польский поручик, сраженный в затылок пульей российского пролетариата, вошел в историю. Лучше бы красная сволочь ушла в эту вашу гребаную историю, чем польские поручики, сказал ему однажды внук. Анна, Анна, панически закричал тогда дед, как будто у него все кишки вывалились. Вбежала старая казачка, встала в позу барельефа. Проморгали внука, Анна, всю ночь вопил старик, упустили целое поколение! Сын пристроился в вырожденческом ЦК, прибежнше гнусных либералов, а внук просто подхватился в белую стаю!

Всю ночь нападал академик на свою библиотеку, выхватывал том за томом философов всех времен и народов, пытался найти ключ к поколенческому предательству. В чем прячется загадка?! А внук тем временем, найдя ключ от дедовского винного погребка, с хохотом двух олухов-сокурсников нагружал для похода в женское общежитие. Экое странное легкомыслие!

Минуту или две Слава Горелик стоит, задумавшись, в просцениуме. В течение этой паузы зритель может обратить внимание на второй план сцены, где компания профессорши Летик продолжает обростать новоприбывшими. Там сдвигаются столики, провозглашаются неслышные тосты, иногда доносится нестройное пение. Ст. Официант и Мл. Официант то и дело проходят туда с подносами пи-ва. Слава, выйдя из задумчивости, перехватывает Ст. Официанта.

ГОРЕЛИК. Послушайте, любезнейший, вы мне нужны для продолжения монолога. Можете сыграть роль моего деда в коротком диалоге внутри монолога?

СТ. ОФИЦИАНТ. Почему бы нет? Живо представляю себе этого почтенного господина.

ГОРЕЛИК. Ну, вот, великолепно! У вас в руках книги, в которых вы находите пометки внука. Начинайте!

СТ.ОФИЦИАНТ *(с воображаемыми книгами в руках)*. Какие наглые и безвкусовые пометки он оставил на полях моих

книг! Ну и ну! Во загнул! Хрящ! Блин! Букаха! Гребись налево! И ни одного вопросительного знака, товарищи! У этой молодой сволочи на все уже есть ответ — гребись налево, восклицательный знак!

ГОРЕЛИК. Прекрасно! У вас даже интонация дедушкина проявляется. Итак, начинаем рубаться от пифагорейцев к Пармениду! Существо есть!

СТ. ОФИЦИАНТ. Не-существа нет. Существо и мысль идентичны, значит, только они дают истину о реальности!

ГОРЕЛИК. Если существо есть, а не-существа нет, значит, существо не может произойти из не-существа, так?

СТ. ОФИЦИАНТ. Хорошо хоть это ты понимаешь, недоучка! А ведь это твой Парменид говорил, что движения не существует, что все неизменно!

ГОРЕЛИК. Дед, перестань визжать! Ведь ты же все-таки мужчина! Ты служил тайным агентом, ты был мужем моей неотразимой бабушки! Ты был знатоком не только Маркса, но и Платона.

СТ. ОФИЦИАНТ. Хватай Платона, читай, сукин сын! Не он ли относил существо к неизменной идее? Не он ли соединил движущееся и неподвижное?

ГОРЕЛИК. А разве ты не видишь разницы в понятиях «существо» и «субстанция»? Да знаешь ли ты, что Аристотель делил субстанцию на материю и форму?

СТ. ОФИЦИАНТ. А до тебя так и не дошло, что и то и другое имело качество существа! Ты не понимаешь, что именно тогда и возникло ядро нашей философии!

ГОРЕЛИК. На мой взгляд, тогда оно и развалилось — за две тысячи лет до рождения. Вернее, сгнило. Фома Аквинский, товарищ академик, отделил существо субстанции от существа идеи.

СТ. ОФИЦИАНТ. Твой Фома Аквинский все запутал! Неужели тебе неясно, что во всех своих частях и на всех уровнях реальность движется через диалектический процесс противоположностей от тезиса к антитезису и далее к синтезу, в котором и выявляются новые качества? Гегелем! Гегелем мы вас всегда били! Ну-ка, старый друг Георг Вильгельм Фридрих, не ты ли сказал, что рацию — это не только путь к реальности, но и сама, но и сама реальность?!

ГОРЕЛИК. Хо-хо! А как насчет Макса Вундта, который отличал чистое существо от существа ординарного и говорил,

что только ординарное существо находится в пределах нашей досягаемости? Не он ли заявил, что существует диалектическая игра между двумя типами существа?

СТ. ОФИЦИАНТ. Ты мне еще Джаспера сунь, который совсем запутался в ординарном, аутентичном и трансцендентном!

ГОРЕЛИК. И суну, и суну! И прихлопну тебя Хайдеггером, который отличал Dasein, то есть тот тип существа, который существует с нами, от Ek-sistenz, то есть от повторяющегося аутентичного существа и от трансцендентного существа, подобного Божественному. И наконец, паршивый красный дед, я дам тебе под дых Паулем Вейсом, что видит реальность в составе четырех видов существа — актуального, идеального, экзистенциального и Бога, и все они взаимосвязаны, хоть и противоположны. Ну? Молчишь!

СТ. ОФИЦИАНТ. Кто тебе позволил читать эти книги? Они не для беспартийных! *(Вытаскивает из кармана мобильный телефон, набирает какой-то заветный номер, что-то шепчет, глаза его горят.)*

Глаза Горелика тоже горят. Не двигаясь, он следит за разговором своего «дедушки». Каким-то образом во время этого «диалога в монолог» на сцене появились два молодых человека, брюнеты, стриженные ежиком, в черных майках и черных джинсах. Теперь внимание зрителей переключается на эту пару. Молодые люди занимают столик на авансцене. Сидят, похлопывая ладонями по столу, как будто в предвкушении ужина. Смотрят друг на друга с большим удовольствием, словно давно не виделись.

ПЕРВЫЙ М.Ч. Ба! Ба! Ба! Ба! Ба! Ба! Ба!

ВТОРОЙ М.Ч. Сех! Сех! Сех! Сех! Сех! Сех! Сех!

ПЕРВЫЙ М.Ч. Ану! Ану! Ану! Ану! Ану! Ану! Ану! Ану!

ВТОРОЙ М.Ч. Кет! Кет! Кет! Кет! Кет! Кет! Кет!

ПЕРВЫЙ М.Ч. Неф! Неф! Неф! Неф! Неф! Неф! Неф! Неф!

ВТОРОЙ М.Ч. Ерт! Ерт! Ерт! Ерт! Ерт! Ерт! Ерт! Ерт!

ПЕРВЫЙ М.Ч. Мон! Мон! Мон! Мон! Мон! Мон! Мон! Мон!

ВТОРОЙ М.Ч. Мон! Ерт! Неф! Кет! Ану! Сех! Ба! Им-пресциндивель!

ОБА (с большим удовлетворением). Чииииииич!

Ст. Официант кладет телефон в карман и делает знак Горелику — дескать, возвращаюсь к выполнению трудовых обязанностей. С двумя книжками меню подходит к молодым людям.

СТ. ОФИЦИАНТ. Кушать будете, почтенные сеньоры?

ОБА М.Ч. (хватают меню с изумлением и восхищением, как будто никогда этого не видели или позабыли). Сала! Сала! Сала! Ада! Ада! Ада! Ки э эшто? Э ума салада мешта!

СТ. ОФИЦИАНТ. Вы вообще-то откуда, молодежь?

ОБА М.Ч. Сар! Сар! Сар! Сар! Дин! Дин! Дин! Дин!

СТ. ОФИЦИАНТ. Из Сардинии? Оно и видно.

Молодые люди пальцами показывают, чего хотят. Ст. Официант принимает заказ и удаляется. Молодые люди с большим интересом оглядывают сцену.

Внимание публики отвлекается в глубину террасы. Там Розн Ягода целуется с профессоршей Летик. Гневный Лоренцо Мгбеки трясет над столом газетой и тычет в нее пальцем. Урия Мак-Честный слезливо умоляет выпить.

К компании присоединяется шикарная, в стиле арт-деко, пара. В мужчине не без труда, но все-таки можно узнать давно уже вроде бы почившего классика циклопического реализма Ильича Гватемалу. В юной особе легко определяется девушка Какаша во цвете лет. Их приветствуют аплодисментами и звуками песни «Дивизия на марше». Происходят все новые перестановки, возня со столиками и стульями.

Вдоль строительного забора проходят два парня, похожих на московскую братву. Они разглядывают присутствующих то в лорнеты, то в бинокль.

ГОРЕЛИК (очнувшись, продолжает монолог). Не помню, сколько дверей рухнуло за мной — пять или шесть. На набережной, однако, меня уже ждали три гэбэшных борова. Дел, который меня заложил, кричал теперь из окна: беги, я тебя прикрою! Увы, его именной маузер, подарок Дзержа, заело с первой же попытки. Меня обротали и в тот же день обвинили в попытке продать японцам Курильские острова.

В тюрьме со мной стали происходить какие-то странные изменения. Что-то вроде молниеносного увядания. Дверь в камере была обита оцинкованным железом, и я мог в ней ви-

деть свое тусклое отражение. Я видел, как с каждым днем отвисают мои щеки, как покрывается большими морщинами шея. Иногда, если луч солнца падал на дверь из-за оконной решетки, я даже видел на лбу пигментные возрастные пятна. Кисти рук не нуждались в отражении, и на них лучше всего я видел признаки одряхления. Кожа по всему телу вытягивалась и опадала в форме отвратительных наплывов и мешочков. Заметно уменьшившийся в размерах член висел, как никчемная тряпка, кровь больше не прилиwała к кавернозным телам даже в полусне, когда я пытался вспомнить женщин, с которыми спал, даже когда вспоминал любимую Какашу, а ведь обычно всякая мысль о ней вздрючивала мое существование. Либи́до улетучилось. Мех на лобке поседел, как сказал поэт. По утрам чудовищная тяжесть не давала мне поднять конечности — что уж там говорить о гимнастике. В конце концов в железной двери отразилась сутулая поникшая фигура старого большевика, моего гада-деда товарища по партии.

Не могу не добавить к этой картине несколько слов о деснах. Они кровоточили, если можно назвать кровью белесую жижу. Я боялся потерять расшатавшиеся зубы и ничего не ел, а вскоре потерял привычку жевать еду. Единственное, чего я жаждал, — сладенького чайку. О нем я молил надзирателя день-деньской. Чайку, дайте сладенького чайку, начальник. Вот в такой маразм я впадал за каких-нибудь трое суток одиночного сидения.

И вдруг все поворачивалось в обратную сторону. Как предчувствие перемены, являлся эротический сон. Мне снилась моя единственная ночь с моей девушкой, этой самой Какашей со станции метро «Нарвские ворота», в том самом гребном клубе на Елагином острове, где мы с ней встретились. Во сне то наше бесконечное траханье преображалось, в нем не было порнографии, а только жар любви. В нем было нечто метафизическое, если мне позволят сказать уже сказанное. Уверен, что и Какаша где-нибудь в Америке — в библиотеке ли, в кабаке ли, на мотоцикле ли или посреди улицы в этот именно миг испытывала такой же жар любви ко мне, к своему Горелке, как она успела меня прозвать в гребном клубе. Ведь я не Чацкий, господа, я не чажу, — во мне, как в Ахматовой, три корня: горе, гора, гореть! Вот так и горел под тюремным одеялом, испытывая счастье от обладания моей всегда отсутствующей девушкой, умирая от счастья.

Мой возраст возвращался ко мне. Я видел свои руки — это были мускулистые конечности молодого парня. Я прыгивал на пол и начинал на этой слизи отжиматься, триста отжиманий от пола! Потом сжирал все, что осталось от прежних пайков, весь хлеб и засохшие каши. Никаких морщин не определялось ни в отражении, ни на ощупь. Я пружинил ноги и похохатывал в ожидании вызова на допрос. Вот в чем было дело — я предчувствовал вызов на допрос! И в этот же день за мной приходили. Горелик, руки за спину!

Они, похоже, даже не замечали возрастных перепадов в этом опасном заключенном. Там все шло вяло, уныло, служба полностью деградировала. С руками за спиной на допрос шел известный в городе молодой нахал с подрагивающими ляжками. Со страстью я презирал своих тюремщиков. Потомки художников-радикалов Чернышевского и Писарева, внуки большевистских отродий, что не смогли правильно прочесть ни Ницше, ни Фрейда. Последыши отбора, приведшего великую утопию к полицейскому маразму. Мечта о «новом человеке», который сможет победить смерть, грезы и мысли Соловьева, Федорова, Хлебникова были захватаны грязными лапами богоборцев. «Белокурая бестия» стала конвойным у крематориев. Соловьевский «богочеловек» был вытеснен homo soveticus'ом. Вместо Апокалипсиса пришли революции, эти, по-бердяевски говоря, «малые апокалипсисы» с торжествами мелкобесия.

Прошу прощения, но каким бы смешным я ни казался, я все-таки считаю себя одним из немногих уцелевших при дешевой распродаже. Или, скажем так, по недосмотру родившимся. Или воспитанным без досмотра, если угодно. Вот почему я так молодел перед допросом, предвкушая схватку романтического ницшеанца с «советским простым человеком». В эти минуты я твердо знал, что уйду из-под стражи. *(Перехватывает проходящего мимо с вазой фруктов Мл. Официанта.)* Ну, давай, браток!

МЛ. ОФИЦИАНТ *(растерянно)*. Чего изволите?

ГОРЕЛИК. Сыграешь следователя майора Ковалева.

МЛ. ОФИЦИАНТ. Ой! *(Закрывает ладонью область носа.)*

ГОРЕЛИК. Ничего, ничего! *(Усаживает Мл. Официанта за один из пустых столиков, водружает в углу просцениума портрет Дзержинского и герб Советского Союза.)* Обслужи-
ваешь русских, надо привыкать.

МЛ. ОФИЦИАНТ. Со мной случилось нечто очень важное — пропал мой нос.

ГОРЕЛИК. Однако чувство долга-то у вас осталось, гражданин следовательно? Начинайте допрос!

МЛ. ОФИЦИАНТ. Садитесь, Горелик. *(Дрожащими надламывающимися руками вытаскивает носовой платок, пристраивает его под очки, чтобы свисал в область носа.)*

ГОРЕЛИК. У вас что, насморк? Сплин?

МЛ. ОФИЦИАНТ *(уныло тянет)*. Сплин, сплин, полсплина, четверть сплина, восьмая сплина... *(Вздрагивает.)* Вопросы задаю я, вы отвечаете. *(Смотрит в бумаги.)* Вы давно знаете японского подданного по имени Такуя Хара?

ГОРЕЛИК. Не знаю такого Такую.

МЛ. ОФИЦИАНТ. А по нашим сведениям, вы встречались с господином Хара в квартире вашего деда на набережной Крузенштерна.

ГОРЕЛИК. Вот вы деда или какого-нибудь другого стукача об этом и спросите.

МЛ. ОФИЦИАНТ. Молчать! Вам вышка грозит, а вы тут разговариваете!

ГОРЕЛИК. Можно воды налить?

МЛ. ОФИЦИАНТ. Это пожалуйста. *(Придвигает графин и стакан. Горелик наливает стакан и начинает делать над ним какие-то пассы пальцами.)* Что вы делаете?

ГОРЕЛИК. Отгоняю чертей.

МЛ. ОФИЦИАНТ. Каких еще чертей?

ГОРЕЛИК. Каких-каких, хвостатых. У вас тут в гэбэ весь воздух ими нафарширован. *(Поднимает стакан, смотрит на свет.)* Ну вот, теперь можно пить.

МЛ. ОФИЦИАНТ *(жалобно)*. Дайте и мне немного воды... нет, из вашего стакана, пожалуйста... *(Жадно пьет, спохватывается, вопит.)* Да как вы смеете?! Со средневековыми предрассудками?! В советском учреждении?! Я вас сейчас на психиатрическую экспертизу отправлю! С носом или без носа, но я свой партийный долг выполню!

ГОРЕЛИК *(берет из вазы банан)*. Вот ваш нос! *(Влепляет банан прямо в середину лица следователя, где тот немедленно приживляется.)* Хватит тянуть тягомотину! *(Подлетает к стенке, сбрасывает портрет Дзержинского и герб Советского Союза, водружает трехцветный флаг и портрет круглолицего человека.)* Теперь вот так дело пойдет!

МЛ. ОФИЦИАНТ *(в восторге поглаживает новый нос, робко поглядывает на портрет)*. А это что за товарищ будут?

ГОРЕЛИК. Президент России Владимир Буковский! Начинается процесс дебольшевизации. Раскаивайтесь, пока не поздно!

МЛ. ОФИЦИАНТ. Никого не пытал, никого не расстреливал... Вербовать вербовал, и немало, в чем раскаиваюсь. Просто счет потерял, скольких записал в сексоты. Задача была перейти от каждого пятого к каждому третьему, вот и старались. Нам объясняли: над страной, над всей нашей системой нависла опасность. Формула «каждый пятый» уже не срабатывает. Нужно переходить к формуле «каждый третий». Тогда опасность отодвинется. Опоздали, товарищи! *(Плачет.)* Но зато каждый остался с носом. Жить можно. И с вами, господин Горелик, как с крупным миллиардером родины, мы можем дружить по части охраны, по части синтеза и анализа. *(Поднимает благоприобретенный нос.)* Все к лучшему, сеньоры, рриштоврантеш процветают, каблейрейрош процветают, лимпар а секо процветают, а вот ностальгии нашей мы все-таки никому не отдадим.

ГОРЕЛИК. Ну, хватит! Отправляйтесь на конюшню и скажите, чтоб вам задали плетей! *(Поворачивается к залу.)* Я надеюсь, публика понимает, что мы все еще в рамках моего монолога. Быть может, вы обратили внимание, что тут в устах моего псевдоследователя промелькнуло слово «миллиардер». Ха-ха, юнец попал в точку. В первые же дни приватизации я решил заработать несколько миллиардов баксов, чтобы выйти к новым задачам с солидным финансовым багажом. Кстати, где мой багаж? *(Находит свой рюкзак и подтягивает его ближе к столу.)* Ну вот, отправился я с делегацией Академии наук в Нью-Йорк. Пока все там рыскали в поисках «кожаных изделий», я знакомился с фондовой биржей, заводил там знакомства. Потом началось самое интересное. Дело в том, что дома на набережной Крузенштерна раскаявшийся и рыдающий дед шепнул мне перед отъездом заветное словечко: «Поровое». Прибыв на место назначения, я дал в «Нью-Йорк таймс» объявление: «Молодой человек ищет «Поровое». Сейчас уже можно об этом сказать, во всяком случае, в рамках этой драмы: «Поровое» — это был один из тайников партии. Уже через два дня ко мне пришли с ключом. Тут же объявил, что «Поровое» приватизируется.

Возражений, конечно, не было. Со всем этим добром я прибыл на биржу, а через три дня игры купил воздушный лайнер и отправился восвояси.

В Москве уже вовсю шла ваучерная приватизация. Другие хапали что попало, а я приобрел крейсер «Аврора». Одна любовница сплавила мне этот крейсер под маркой семьдесят тысяч тонн чистого металла. Нет-нет, милостивые государи и милостивые государыни, вовсе не ту большевистскую посудину, что пёрднула в ночь их переворота. За ту в базарный день не дадут и тысячи баксов. Моя «Аврора» — это воплощение всего лучшего, что накопило человечество. В принципе, она может одна, даже без экипажа, начать и выиграть войну у какой-нибудь монструозной страны порядочного размера. С первого же дня нашей связи я заметил, что я ей нравлюсь. Может быть, это произошло от того, что я единственный заметил в ней большую женственность. Ничего особенного в этом нет, ведь по-английски любой крейсер или дредноут — это «она». В конце концов, я переименовал ее в «Аврору Горелика» и за огромную сумму продал китайцам. Никакого предательства в этом не было, потому что я знал, что она от них уйдет.

Так и получилось. Она ушла из бухты Тяньцзиня со всеми своими перехватчиками вертикального взлета, самонаводящимися ракетами и без единого китайца на борту. С того дня ее никто больше не видел. Иногда мне кажется, что я ловлю в ночи ее нежные сигналы. Уверен, что мы еще встретимся. Пока что получилась весьма удачная коммерческая сделка: я обогатился и обогатил свое государство, выплатив все налоги.

Не исключаю, господа, что вы принимаете мой монолог за очередную русскую хлестаковщину, но, во-первых, он уже подходит к концу, а во-вторых, должен же я был объяснить, как мне удалось создать основательный финансовый багаж. *(Снова оглядывается на свой рюкзак, тот на месте.)* К счастью, все удалось унести с собой. *(Выходит поближе к залу как бы для того, чтобы посекретничать.)* Надеюсь, для людей сцены это останется тайной, но людям зала я могу открыться: мешок набит крупномасштабными долларовыми купюрами. Десять биллионов, как у них говорят, а по-нашему «бильярд»». Перед тем как меня приговорила московская «комса», я успел все обратить в нал и сквозанул на-

легке. Уверен, что два самых опытных киллера рыщут сейчас по всему миру, чтобы привести комсомольский приговор в исполнение, но даже они не знают, что я сейчас в Лиссабоне. Значит, можно спокойно поужинать и поболтать. В тайну моего нынешнего местопребывания посвящено, возможно, только одно существо на сцене — авианесущий крейсер «Аврора Горелика». Так что дела моей родины в смысле чистоты ее воздуха не так уж безнадежны. Ведь моя главная задача — с помощью «Авроры» очистить воздух моей пробздетой в прямом и переносном смыслах родины. Кто тут последний в очереди на экспертизу?

В этот момент два молодых человека в черном, которые только что мирно ужинали, не обращая никакого внимания на высказывания Горелика, вскакивают и поворачиваются в его сторону.

Общее освещение на сцене гаснет. Начинают мелькать световые пятна. В них попадают лица и затылки большого импровизированного застолья, нагромождение пивных кружек. Мы видим, как профессор Летик трясет за шиворот Урию Мак-Честного: проснись! В какой-то момент в луч прожектора попадает стильная парочка — классик Гватемала и красавица Какаша; она в томлении. Почти в тот же момент в кругу света, идущего вдоль строительного забора, оказываются два киллера, одетых и подстриженных в стиле московской братвы. В просцениуме под прожектором стоит наш монологист Слава Горелнк. Слышатся выстрелы — один, другой, третий. Слава качается и падает. Распростерт. Киллеры медленно приближаются.

ПЕРВЫЙ КИЛЛЕР. Контрольный в голову.

ВТОРОЙ КИЛЛЕР. Жалко парня. *(Стреляет.)*

ПЕРВЫЙ КИЛЛЕР. Шмотки его возьми.

ВТОРОЙ КИЛЛЕР. Мешки таскать не нанимался.

Проходят по просценному, на секунду притормаживают возле молодых людей в черном; дескать, вопросы есть? Вопросов нет. Чао-какао. Уходят.

Зажигается общее освещение. Богема в глубине террасы функционирует в прежнем режиме. Слышится тонкий голос Какаши.

КАКАША. Мне сейчас показалось, что кто-то погиб в мою честь. Будто лежит он сейчас на поле брани, ну, какой-то такой, вроде Славки моего Горелика, и на щите его написано

по-португальски *Par Minha Dama!* — то есть «За Наташу Светлякову!».

ГВАТЕМАЛА. За революцию надо погибнуть, а не за баб!

Наташа-Какаша расплакалась.

Ст. Официант и Мл. Официант подходят к распростертому Горелику.

СТ. ОФИЦИАНТ. Что случилось с этим клиентом?

МЛ. ОФИЦИАНТ. Он тут напачкал. Темная лужа вокруг башки.

СТ. ОФИЦИАНТ. Это «Бордо».

МЛ. ОФИЦИАНТ. Не похоже.

СТ. ОФИЦИАНТ. Попробуй на палец.

МЛ. ОФИЦИАНТ (*пробует*). «Бордо».

СТ. ОФИЦИАНТ. Надо позвонить в вытрезвитель. (*Уходит.*)

МЛ. ОФИЦИАНТ. Этих русских надо сразу сдавать в вытрезвитель. Мешки свои расставили! (*Уносит рюкзак Горелика.*)

Молодые люди в черном приближаются к распростертому телу.

1-й МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Спри. Спри. Спро. Спро. Спроси его.

2-й МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК (*Горелику*). Тыж. Тыж. Тыж. Ты жив? Илим. Илим. Или мертв?

ГОРЕЛИК. Не знаю. Все пули попали в цель. Серый Карасевич целил в коронарную артерию и попал. Валька Гром целил в трахею и пробил. Контрольный прошел башку от одной височной кости до другой. Проклятые пули, если бы пролетели мимо, я был бы жив.

1-й МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Вот они, все твои пули. (*Потраховывает в ладони.*) Ты лежишь в луже «Бордо». Теперь вставай.

Горелик встает, вытирается салфеткой, садится к своему столу, закусывает остатками «Ум-Жажаноша».

2-й МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Какие у тебя вообще-то цели? Зачем ты появился в этой, так сказать, драме?

ГОРЕЛИК. Если я скажу, нарушатся все законы. В первом акте все выкладывать?

1-й МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Нам не говоришь, скажи им. *(Показывает на зал.)*

ГОРЕЛИК *(в зал, с нарастающей страстью)*. Я вырвался из убийственной ловушки с двумя целями. Первая: найти и освободить свою прекрасную даму. Разведка донесла, что она может появиться где-нибудь здесь, в Лисбоа. Вторая цель: соединиться с «Авророй», подойти к берегам моей родины и продиктовать свою волю по части очистки воздуха. И я клянусь мирозданием и моими покровителями — египетскими демиургами Хнумом и Птахом, — что сделаю все для достижения этих целей, если только гадские пули не растерзают мое тело!

Зал взрывается аплодисментами. Молодые люди в черном тоже аплодируют — сначала неумело, потом все дружнее и дружнее, в унисон с залом. Потом они садятся к своему столу и начинают обмениваться своими междометиями.

ОБА. Ра! Ра! Ра! Опу! Опу! Опу! Лем! Лем! Лем! *(С глубоким удовлетворением.)* Чииииииииич!

ГОРЕЛИК *(весело)*. А это что же у вас, парни, такой вроде университетский жаргон, да?

ОБА *(весело кивают, как бы удивляясь гореликовской смекалке)*. Вот именно! Университетский жаргон! Лучше и не скажешь!

ГОРЕЛИК. Знаете, ребята, у меня что-то настроение стремительно улучшается, как будто я снова на третьем курсе, когда у меня было перманентно хорошее настроение. Какбудто сей, прямо сей час со мной произойдет что-то стремительно счастливое. Как будто даже выходящее за рамки драмы!

В глубине сцены сквозь общий гул прорезается грохот отброшенного стула. Там воздвигается во весь свой недюжинный рост классик циклопического реализма Ильич Гватемала. Фигура его закрывает от взоров зала страдающую в своей красоте Какашу.

ГВАТЕМАЛА *(звонким старческим голосом)*. Никогда, ни за что, даже ради лучшей промежути в мире, я не отступлюсь от своих идеалов! *(Продвигается в просцениум, где принимает позу монолога.)*

МОНОЛОГ ИЛЬИЧА ГВАТЕМАЛЫ. Давайте договоримся: мое настоящее имя останется тайной, прежде всего потому, что я его давно забыл. Боевая подпольная кликуха стала моей кожей и моей пращой. Иные из вас, особенно тронутые буржуазным тленом, скажут, что я сплошная фикция. Спросите тех, кто poleg под моими ударами, придерживаются ли они такого же мнения, — спросите!

В революцию меня толкнула литература. В какой-то момент мне надоели книжные салоны, где тебе все время суют в нос Шекспира, Камозша, ну, этого Борхеса, все такое как бы невоночье, нетленное. Никто там не знал, что такое тлен, что такое вонь, потому что никто по-настоящему не был в революции. Тут пустили слух, что у нас там на опушке леса набирают бригаду, я туда и уехал на своем велосипеде, который уже много лет стоит в Музее Революции и одновременно в Музее Литературы; где копия, где оригинал, я и сам запутался.

Дело в том, что в литературу я вернулся задним ходом из революции. Из всех лозунгов тех дней один был мне милее всего как песня незамутненного народного потока: «Грабь награбленное!» И тут я заметил, что и это, самое святое, стало покрываться коростой. Лозунг масс стал прерастать в лозунг аппарата. «Грабь награбленное награбленное!» — так он фактически стал звучать в устах аппарата джунглей.

Все чаще в структурах партии стали появляться умудренные классикой писатели. Прикрываясь бесчисленными терминами, они заключали миллионные договора с американскими издательствами, получали всемирные премии, а потом навесывались в джунгли, к тем, кто день и ночь ползал там с автоматами, с ножами в зубах, к тем, кто не прочел и единой брошюры. Поднабравшись ума и от тех и от других, я сбежал из бригады, прихватив всю кассу взаимопомощи, и погрузился в двойное подполье — и от партии, и от литературы.

Именно там, в подполье, в обществе крыс, игуан и сколопендр я начал создавать свой цикл циклопического реализма. Я мог бы давным-давно выйти на поверхность и стать звездой, но мне нужна была муза. Она появилась наконец в лице неотразимой русской шлюхи то ли в Ленинграде, то ли в Петербурге — уже не помню, во всяком случае, она была со мной во время моего последнего боя с федеральными агентами на окраине Чикаго. Гринго убили меня, но я продолжал жить в це-

лом сундуке неопубликованных романов. Распотрошив сундук, девка пустила эти романы в ход, и они начали свое триумфальное шествие по книжным магазинам того мира, который нам так хотелось уничтожить. Она пустила по ветру все мои миллионные гонорары, но я на нее не сержусь, ведь это у нее в памяти я еще жив, и это со мной она явилась в эту пьесу, в лиссабонские жаркие сумерки накануне восстания, о котором я мечтал и в джунглях, и на бумаге! Пусть там, где все вы пока что пребываете, дорогие товарищи, я остался только в виде памятника на месте своей последней битвы, здесь-то, на сцене, я еще ой-ё-ёй как жив! *(Уходит в глубину сцены.)*

ГОРЕЛИК *(отмахивается от монолога)*. А, все те же, все о том же! Столько лет все о том же, как будто у человечества нет проблем с тем тонким слоем животворного и тлетворного, без которого мы превратимся в камни, без которого не сможем даже сгнить! *(Поворачивается к своим собеседникам и видит, что их нет на сцене.)* Что это? Студентов-то как ветром сдуло! Помнится, и мы так делали, когда проходили курс наук в Электротехническом. Завалимся в «Чвановский», напьем, нажрем, а потом кто-нибудь выбьет пробку из щитка, и все в темноте смываются.

Входит мрачный Ст. Официант.

ГОРЕЛИК. Ты видишь, друг, студенты-то смылись.

СТ. ОФИЦИАНТ. Что ж из того? Еще вернутся. Дело молодое.

ГОРЕЛИК. Так они и вернутся! Смылись, и ужина не доев...

СТ. ОФИЦИАНТ. Не все ж такие обжоры, чтоб за раз целого «Ум-Жажаноша» скушать.

ГОРЕЛИК. Да и вина не допили!

СТ. ОФИЦИАНТ. Не все же такие пьянчуги, чтоб обязательно допить до донышка.

ГОРЕЛИК. Все-таки я не понимаю, как это так — р-раз и растворились в сумерках?..

СТ. ОФИЦИАНТ. Вернутся. Это же Лиссабон, что вы от нас хотите?

Появляется Официант с гореликовским рюкзаком. Он весь дрожит.

МЛ. ОФИЦИАНТ (*Ст. Официанту*). Экселенс, посмотрите, что там внутри! Меня всего колотит! Я рехнусь, если я сейчас не убегу со всем этим!

СТ. ОФИЦИАНТ. Дай сюда! (*Вырывает у Мл. Официанта рюкзак, швыряет его к гореликовскому столику.*) И больше к этому хозяйству не притрагивайся! (*Причесывается, застегивается на все пуговицы, выходит к зрителям, прокашливается, начинает.*)

МОНОЛОГ СТ. ОФИЦИАНТА

Джентльмены Лиссабона никогда не унизятся до подбора мешков сомнительного свойства, что бы в них ни содержалось! Сеньоры Лиссабона воспитаны в рыцарских традициях! Вы, туристы, бизнесмены, авантюристы и другие гости столицы, знайте, что во многих гражданах этого города, невзирая на их социальное положение, течет кровь великолепных сеньоров Лиссабона!

(*Доверительно.*) Всякий знает на бульваре Либертада историческую парикмахерскую «Брито-а-Брито», что по-русски означает «Заходи побриться». В юности я работал там у своего дяди Бритоша Гомеша Брито. Вот кто всегда узнавал джентльмена в своем кресле! Вот кто был настоящим кабальеро для кабальеро! Даже я, юнец, что выметал там остриженные дядей волосы, научился различать клиентов. Я научился наслаждаться теми моментами, когда в воздух из-под моей метлы взмывали волосики сеньоров! И они взмывали, парили и улетали в открытые двери!

Они растворялись в небе Португалии точно так же, как они растворялись пятьсот лет назад, когда командор Васко да Гама входил туда и тихо просил: пожалуйста, сеньор Бритош, не сбривайте всего, и пусть кудри выются, как у всех порядочный людей. Так тихо он просил, как будто это не он завоевал Индию.

Да и две тысячи лет назад отцы-основатели и отцы-завоеватели из Седьмого легиона Жемина заходили к Брито и сдержанно, как кабальеро, просили побрить им шею на римский лад. И предки мои сдержанно выполняли эти заказы, сами чувствуя на своих шеях холодок их взглядов.

Ты должен знать, Пинтоквиш, говорил мне дядя, джентльменство определяется не богатством и не высоким чином.

Наша страна невелика, но дух ее могуч, как наши пробковые дубы, которыми славятся наши пейзажи. Многие наши клиенты в ходе исторических пертурбаций не стали генералами, иные из них продают на углах лотерейные билеты, есть среди них даже и чистильщики обуви, но и в них нередко с первыми же взмахами ножниц можно увидеть сеньора.

Этой школы, уважаемая аудитория, мне не забыть. Фортуна привела меня к моей нынешней должности старшего помощника метрдотеля в великолепном кафе, но даже и здесь, среди сегодняшней неразберихи, в пыли бесконечного городского строительства, среди левой швали, что стекается сюда из Европы и Африки в расчете на близкие бунты, я не разучился узнавать поступь настоящего сеньора, который умеет заказать рыбу «Ум-Жажанош» и съесть ее с достоинством, не валясь на пол в винные лужи. И если кто-нибудь еще сомневается в моем предназначении, я должен буду тому сказать: сеньоры Лиссабона не ударят лицом в грязь ради мешка с долларами!

ГОРЕЛИК. Здорово сказано, сеньор Бритош!

Ст. Официант уходит. Мл. Официант выдвигается на позицию монолога.

МОНОЛОГ МЛ. ОФИЦИАНТА

Пока этого гада, моего дяди, нет, спешу высказаться как представитель униженной молодежи. У каждого человека моего небольшого возраста есть своя большая мечта. Многие ребята у нас на дворе постоянно думают, что будут делать в случае городского восстания. Один, по прозвищу Висячая Сила, клянется взять школу, где его не баловали отметками. Гортензия Суареш решила громить подряд все магазины «Кодак», в одном из которых она сейчас работает. Девку можно понять: ненавижу, говорит, всю эту сволочь, что решила увековечиться, всю фотографию, говорит, надо смыть хотя бы ради будущего.

Бывают у ребят и странные фантазии. Один, например, мечтает вскарабкаться на конный памятник и оттуда, с крупа, навалить солидную кучу. Что касается меня, то я прост. Анархизма во мне маловато. Давали бы чаевые. Конечно, и я мечтаю, не без этого. Никому не признавался, даже самому себе,

что мечтаю о мешке с долларами. Ведь это же такое чудо — вдруг натыкаешься на мешок с деньгами, ведь это же сродни... сродни... прилету какого-нибудь протуберанца! Мне стыдно было мечтать о несбыточном, но все-таки, при отсутствии чего-либо другого, почему бы нет? Почему не мечтать?! И вот он в моих руках, и вот я его отдаю назад негодяю, варвару! Да что же это такое, уважаемые посетители, ведь это же двойное, если не тройное убийство мечты! Эх, был бы у меня характер, не поздоровилось бы сегодня этому месту! (*Уходит, весь дрожа.*)

ГОЛОС ДЕВУШКИ КАКАШИ (*издалека*). Славка, когда же ты освободишь меня из рабства?!

ГОРЕЛИК (*маячит*). Почудилось? Пригрезилось? Какаша, неужели это ты? Где ты, на сцене или в зале?

Из глубины сцены в просцениум выходят профессор Летик и Урия Мак-Честный. Садятся к свободному столику и освещаются тонким лучом света.

ЛЕТИК. Ты слишком много пьешь, Мак-Честный.

МАК-ЧЕСТНЫЙ. Марта!

ЛЕТИК. Ты выдул уже девять «грандо», Урия Мак-Честный! Да, я считаю! Всякий раз, как я показываю Пинто-квишу «принесите покито», ты бросаешься и меняешь «покито» на «грандо». Ты же знаешь, что я не могу на это закрывать глаза!

МАК-ЧЕСТНЫЙ. Но ты же видишь, я в форме!

ЛЕТИК. Я вижу, что у тебя отвисли брыла, пот течет по носогубным складкам, руки дрожат, а самое главное, я вижу, что у тебя разбушевало подсознание!

МАК-ЧЕСТНЫЙ. Марта, побойся... (*С безнадегой.*) Да нет, не Всевышнего. Ты же знаешь, кого должны опасаться люди с классовым сознанием. Внеклассового подсознания.

ЛЕТИК (*кладет на стол небольшую монету*). Ну-ка, одним движением придави пальцем этот эскудо!

Мак-Честный тычет указательным пальцем.

ЛЕТИК (*уничтожающе хохочет*). Мимо на пять сантиметров! Ну, еще раз! (*Хохочет зловеще.*) Off the mark again!¹

¹ Опять мимо (*англ.*).

Черт тебя дери, Урия Мак-Честный, Ph. D., ты уже ни на что не годишься! *(Берет его руку и медленно опускает палец на монету, заглядывает в глаза.)* Вот теперь попал.

МАК-ЧЕСТНЫЙ *(в полном отчаянии)*. Нужно потренироваться, Марта. Марта, слушай, попробуй меня через десять минут, и ты увидишь, я буду попадать сразу.

ЛЕТИК. Есть мнение отстранить тебя от сегодняшнего задания.

МАК-ЧЕСТНЫЙ *(падает перед ней на одно колено)*. Ты не сделаешь этого! Ты же знаешь, что это значит! Ведь товарищ Квутанзо меня растерзает! Меня, твоего любимого аспиранта!

ЛЕТИК. Как ты не похож на того юношу, который еще недавно писал «Зародыши гражданских позиций»! Какой огонь в тебе тогда пылал! Все вздымалось в тебе, словноobeliski грядущего!

МАК-ЧЕСТНЫЙ. Марта, поверь, времена «Зародышей» еще вернутся!

ЛЕТИК *(сухо)*. Прости меня, но я уже переросла твои «зародыши», уже отринула твои «obeliski». *(Молчит и смотрит на трепещущего Мак-Честного.)* Ну хорошо, на этот раз ты еще останешься и замкнешь. Когда они все выйдут и возникнет ситуация общего подъема, ты по моему сигналу — это будет тост за ГРЯДУЩЕЕ — нажмешь кнопку детонатора. Где находится заряд?

МАК-ЧЕСТНЫЙ *(суетливо)*. В левой передней ножке вон того стола. *(Показывает на стол, за которым продолжает пиршествовать Горелик.)* Там, правда, этот симпатичный молодой господин расположился. Кто-нибудь его отзовет?

ЛЕТИК. Наплевать на эту буржуазную сволочь! Я его узнала. Однажды он сорвал конференцию в Шантьере. Беспрерывно провоцировал, острил, видите ли. В конце концов неплохо, если будет хоть одна жертва. Небольшие брызги не помешают. Скажем, что погиб философ, идейный лидер движения. Сотворим культ из этого проходимца. Возникнет вихрь, а это то, чего нам не хватает и для практики, и для теории, и для моего фундаментального труда «Грядущее сознание», — вихря!

МАК-ЧЕСТНЫЙ. Ты была права, сказав, что у меня под-сознание скрипит. Но я слажу, слажу! Может быть, во всем виновато мое имя, мое проклятое происхождение. Я знаю, что

взрыв необходим, но что-то скрипит во мне, что-то корежится. Но я слажу, слажу!

ЛЕТИК. Знаешь, что однажды сказал Фрейд? «С той материей, с которой мы работаем, никогда нельзя будет избежать маленьких лабораторных взрывов». Конечно, это было сказано о психоанализе, но и к нашей теории это имеет прямое отношение.

МАК-ЧЕСТНЫЙ. Я восхищаюсь тобой, Марта!

ЛЕТИК. Потренируйся на эскудо! *(Выходит вперед для произнесения монолога.)*

МОНОЛОГ ПРОФЕССОРА ЛЕТИК

Должна признаться, я просто женщина. Как всякая женщина, мечтаю о простом: взять любимое существо, отдать ему себя, мять его, подминаться под ним, раскрывать его, раскрываться самой, ну а потом погружаться в быт — все эти пufики, коврики, песики, котики, детки, конфетки, супу наварить на три дня, денег заработать на три года, починить телевизор или, как его там, телевьюзор, и так изо дня в день.

Увы, как теоретика движения мне приходится еще прочитывать каждый день три титула соответствующей литературы в рамках междисциплинарной программы — к счастью, у меня зеркальная память: пятнадцать секунд смотрю на страницу, и она уже вот в этом маленьком хорошеньком компьютере — ну и постоянно приходится думать о сочетании теории с практикой, подбирать литературу, которую смогут прочесть на местах, контролировать текучку кадров, пестовать взрывчатку для лабораторных взрывов. Ну, если уж признаваться, то во всем. Эстетически это мне не очень-то по душе. Только лишь первый момент прекрасен — явление огня, акустическая феерия, а дальше, ах, сплошная размазия. Ведь где-то в сугубо личном плане, несмотря на все напечатанные труды, я осталась все той же крестьянской девчонкой, пастушкой козлят и козлиц, майне дамен унд херрен. Увы, если ты выбираешь путь в теории, грани личности смещаются, ибо нужно искать подтверждения своим гипотезам на практике. Не так ли? *(С изъяснением удаляется.)*

Оставшийся в одиночестве Мак-Честный сам встает в позицию монолога.

МОНОЛОГ УРИИ МАК-ЧЕСТНОГО

«Почитай сон и входи в него с робостью, это превыше всего. Избегай тех, кто плохо спит или проводит ночи без сна. Даже вор бывает застенчив перед тем, как заснуть. По ночам он ворует молча. Бесстыж, однако, ночной сторож, с бесстыдством он поднимает свой горн.

Ради сна ты должен бодрствовать весь день. Десять раз в день ты должен одолевать себя. Это сделает тебя добрым и усталым, и это будет опиумом для твоей души. Десять раз в день ты должен примирять себя с самим собой: непримирившийся спит плохо. Десять истин в день ты должен найти, иначе ты будешь искать истину в ночи и твоя душа останется голодной. Десять раз в день ты должен рассмеяться, иначе тебя будет беспокоить желудок, отец тоски».

Так говорил мудрец на горном склоне. И я внимал ему на зеленом пастбище среди молодежи. Кто бы сейчас поверил, что я был когда-то апостолом чистого сна? Будто стоик Рахметов, я десять раз в день одолевал себя, то есть всякий раз, когда мне хотелось выпить и закурить. Десять истин в день я находил в университетской библиотеке в десятке книг. Десять раз в день я смеялся над этими истинами. И все это ради сна, ради мудрости того горного склона. О, эти сладкие сны предреволюционного транса! Я спал, как большой хитрый ребенок. Каждую минуту сна я притворялся невинным. Десять больших выпивок бултыхались во мне. Истины превращались в эротические кошмары, а я все спал, как бы на зеленом пастбище, как бы ягненок. Вдруг однажды мне приснилось, что я никогда не проснусь, — это прямо мне в ухо свистнул Заратустра: «Блаженны спящие, ибо они скоро выпадут в полный осадок». И тогда мне осталось поверить только в то, что желудок действительно — это отец тоски.

Завершив монолог, Урия возвращается к столу, тычет пальцем в монету, промахивается и роняет голову на руки. Свет в этом месте гаснет.

Освещается столик, за которым Слава Горелик заканчивает свой ужин.

ГОЛОС КАКАШИ (*издалека*). Славка, если ты еще жив, освободи меня из этого рабства! Ради юности! Ради всего знакомого до слез!

Горелик, отшвырнув стул, бросается в самую гущу ресторанного сборища. После довольно бестолковой свалки вытаскивает в просцениум почти голую в ее бесценном вечернем платье Какашу.

ГОРЕЛИК. Боже, это она! Какаша моей тоски!

КАКАША. Боже, это он! Горелик души моей!

ГОРЕЛИК. Теперь я понимаю, почему меня так тянуло в это Боа-из-Лис!

КАКАША (*счастливая*). Какое еще Боа-из-Лис, сумасброд?

ГОРЕЛИК. Ну, Лиссабон, Лисбоа, то есть Боа-из-Лис!

КАКАША. Ты все такой же, Славка! И обнимаешь так же, так же... безвозвратно!

ГОРЕЛИК. А ты еще краше стала, моя Какаша, любовь моя бессмертная!

КАКАША. Вот это новости — я его любовь бессмертная!

ГОРЕЛИК. Я тебя ждал все эти годы. Тебя носило по заморским странам, как Одиссея, а я тебя ждал, как Пенелопу!

КАКАША. Славка, ты какого-то андрогина сочинил своим отвязанным языком.

ГОРЕЛИК. Андрогина? Да откуда ты такой премудрости набралась, Какашка моя?

КАКАША. Да я университет окончила по славистике.

Стоят, обнявшись, смеются и целуются.

ГОРЕЛИК. Впрочем, мужская Пенелопа, не дождавшись женского Одиссея, сама пустилась в странствия. Я давно шел по твоим следам. Почти перехватил тебя в нью-гемпширской «белоруссии», где наследники империи окопались уже в четвертом поколении. Меня там чуть не убили из-за тебя.

КАКАША. Так это действительно ты устроил скандал в благородном семействе? Слухи о негодяе гуляли по всей Америке. Ты, кажется, убил там кого-то?

ГОРЕЛИК. Я убил там двоих на дуэли. Двух отличных ребят, аристократов. В полном соответствии с их кодексом чести. Целые сутки там заседал совет дворян — решали вопрос, можно ли драться на дуэли с евреем. Прогрессивные силы взяли верх. Никто на меня не в обиде. Дамы даже заинтересовались.

КАКАША. Кого ты там убил, не помнишь?

ГОРЕЛИК. Электрика Жеку, графа Воронцова, и водопроводчика Коляна, князя Оладу.

КАКАША *(потупив глаза)*. Чутье тебя не обмануло. *(С потупленными глазами она выходит вперед и становится в позицию монолога.)*

МОНОЛОГ ДЕВУШКИ КАКАШИ

Старбол Гватемала много наврал, но немало и правды сказал. К моменту нашего бракосочетания я уже устала быть объектом постоянного вожделения. Дикостью веяло на меня, когда я ощущала, что всякий встречный мужик меня хочет. В детстве вместе с этой дикостью на меня какая-то музыка накаывала, я ничего не понимала, а просто как бы взлетала куда-то, ну а потом-то я уж это так поняла, как ни одна девочка в районе метро «Нарвские ворота», наверное, не понимала.

Чего он от меня хочет, этот встречный любой мужик? Ох, матушки мои, да он не от меня чего-то хочет, а во мне что-то ищет постороннее, в случайно увиденной очаровательной девочке, в самом сокровенном моем месте что-то чужое хочет найти для себя. Любой мужик, и молодой и старый, и чистый и грязный, и интеллигент и хам.

В глазах моих родителей был ужас, когда они перехватывали прилипающие ко мне взгляды мужичья. Да неужели же любой лох жаждет нашу киску свалить, ноги ей растащить и что-то там у нее внутри для себя своей палкой искать, казалось, вопили они.

Славка Горелик, между прочим, был мой первый настоящий муж, хоть я с ним всего одну ночь провела. Только с ним я поняла разницу между ёбарем и мужчиной. Он во мне не для себя искал, а для чего-то другого, может быть, даже возвышенного. Как я счастлива тогда была, когда на следующий день неслась к нему на второе свидание в гребной клуб. А его там уже не было. Пропал с концами, как будто утонул. Никто о нем ничего не знал, хотя он там три месяца сторожем просидел. Потом один гребец с восьмерки отозвал меня в сторону. Ты что, не знаешь? Твоего парня большевики арестовали.

Это уж я потом полностью отвязалась в разнузданном направлении так, что вполне заслужила все эти любезные от

козлов наклейки: телка, лоханка, подстилка. Ну, а уж в Америке-то Наташка-Какашка с Нарвских ворот совсем вразнос пошла.

Впрочем, должна сказать, не все уж так однозначно было во время заокеанских приключений — ведь все-таки иногда что-то питерское, что-то гореликовское все ш таки проскальзывало и в Жеке все ш таки графе Воронцове, и в Коляне, князе Олада, недаром все ш таки они на мне вдвоем женились, а потом и погибли из-за меня. Да и старый бонвиван барон Фэймос был ведь поэтом любви все ш таки. А уж что говорить об этом сумасшедшем Абрашке Шумейкере, который ради меня стал звездой профессионального баскетбола в шестьдесят лет и которому я все ш таки столько гусят родила. Даже в этом циклопе с «пылающего континента» что-то было. При всей низости убеждений он воспарял в любви, а возраст только прибавлял ему взлетной тяги. Тягучее старичье, между нами, прям-таки создано для нас, девушек.

Славка, не отходи от меня, все время трогай! Знаешь, я вообще-то не знаю, родилась ли я на свет Божий. Если ты опять свалишь, я не пойму тогда, зачем были все эти горести, ревности, стыды, ярости. Ведь только с тобой у меня «шестое» просыпается. Что шестое, не понимаешь? Гумилева за-был, балда?

Крупными шагами в просцениум выходит Ильич Гватемала. Тащит за пуговицу Ст. Официанта.

ГВАТЕМАЛА (*громогласно*). Экое свинство! Что за бардак! Это ресторан или бардак?

СТ. ОФИЦИАНТ (*защищает свою пуговицу как символ достоинства*). Руки прочь, красный узурпатор!

ГВАТЕМАЛА. Не успеешь завязать беседу с единомышленниками, как у тебя уводят законную жену!

СТ. ОФИЦИАНТ. Руки прочь, или мои повара возьмут тебя в ножи! (*Вдруг перехватывает инициативу, и теперь уже он держит обидчика за брючный ремень.*) Не знаю, откуда ты взялся, но уж явно не из сословия сеньоров! Говори, кто таков!

ГВАТЕМАЛА. Я писатель Ильич Гватемала, черт бы вас всех побрал! Руки прочь, прислужник реакции, или весь ваш бардак взлетит на воздух! Я автор двенадцати романов цикло-

пического реализма! Я возглавлял революции и шесть раз был расстрелян! Никто не помешает мне вернуть мою законную супругу!

ГОРЕЛИК (*не выпуская девушку из объятий*). Никто, кроме меня!

КАКАША (*весело*). Ну вот, опять дуэль!

ГОРЕЛИК. Ну нет, руку на писателя, тем более усопшего, не подниму, даже если он красная сволочь. В мире есть и другие способы перехвата женщин. (*Гватемале.*) Можешь забирать этот мешок, циклоп, в обмен на жену!

ГВАТЕМАЛА (*берет мешок с долларами*). Сколько там?

ГОРЕЛИК. Дюжина.

ГВАТЕМАЛА. Чего дюжина?

ГОРЕЛИК. Чего, чего — ясно, что не романов... Откроешь — увидишь, деревенщина! А нет — так пинка в жопу, и к барьеру!

ГВАТЕМАЛА (*с горечью*). Эх, Какаша, продаешься за деньги, да? (*С гневом.*) Эх, гады, как великий СССР продали, так и бабу покупают! (*Уходит с мешком на плече.*)

Какаша и Горелик опускаются на пол. Вся сцена снова погружается в сумрак, сквозь пелену которого видны в глубине фигуры участников драмы. Влюбленные лежат в пятне яркого света. Каждое их движение вызывает усиленный киароскуро. Их диалог прерывается паузами, сорванным дыханием, эротическим подвизгиванием.

КАКАША. Ну я больше уже не могу, Славка, ну давай!

ГОРЕЛИК. Зрители тебя не смущают?

КАКАША. Пусть сами смущаются, раз в театр пришли. Дай-ка я тебя возьму! Вот так! И давай, давай, давай!

ГОРЕЛИК. Я и впрямь становлюсь плененной Пенелопой, а ты Одиссеем-освободителем. Впрочем, это уже не важно. В такой любви, как у нас, теряются различия пола. Мое становится твоим, твое — моим. Не об этом ли писал Ницше?

КАКАША. Именно об этом. Вздывается страсть к «переоценке ценностей». Переплетаясь, мы строим мост в идеал.

ГОРЕЛИК. Это кто говорит, я или ты?

КАКАША. Это говорит Заратустра. В идеале мы вдвоем сотворим надчеловека, это будет надчеловек любви, а не супермен убийства. Не нам ли выпало на долю выжать священный сок хаомы?

ГОРЕЛИК. Вал, вал, вал! Ико, ико, ико!

КАКАША. Вобюл, вобюл, вобюл! Оки, оки, оки!

ОБА (*в экстазе*). Ч-и-и-и-и-и-и-и-ч!

Испутив этот вопль, они лежат некоторое время неподвижно и молча. Потом закуривают.

ГОРЕЛИК. Где ты набралась таких премудростей?

КАКАША. В Северо-Западном университете.

ГОРЕЛИК. Если впасть в хронологию, родная, окажется, что ты прожила без меня безобразно долгий кусок жизни. Но мы в нее не впадем. Проживем и без хронологии. И тогда окажется, что мы просто продолжаем ту нашу единственную ночь на Елагином острове. Ты помнишь тот гребной клуб, где я тогда сторожем работал? Это была ночь фантастической гребли, как будто сами отцы-демиурги Хнум и Птах сидели рядом. Мы бросили матрас прямо на мостки и там валялись. Меж досок в воде отражались звезды... крутилась кассета «Аквариума»... три бутылки «Солнцедара» стояли у изголовья... и мы хлебали эту гадость, и гребли, гребли, как будто плыли в центр Вселенной...

КАКАША. Потому что покуривали кое-что.

ГОРЕЛИК. У меня была шмаль из Красноводска.

КАКАША. Ох, сладкая была эта красноводская шмаль. Ты меня тогда просто затрахал, Славка. А ведь я считалась чемпионкой в «системе»... Славка, а ты помнишь нашу тогдашнюю песенку? (*Поет, Горелик ей подпевает.*)

Ветер принес издалека
Прежней весны уголек,
Вторил там Сашеньке Блоку
Тысячелетний Блок.

Розы, кресты, эвкалипты
Вырастут тут на снегу.
Встретим же Апокалипсис
Стаей гусят на лугу!

Ровно, темно и глубоко
Дрогнули струны мои,
Ветер принес издалека
Дюжину старых «Аи»...

Ровно, темно и глубоко,
Можно сказать, глубоко...
Ветер принес издалека
Дюжину нежных «Клико»...

Ровно, темно и глубоко,
Милый наш брат Александр,
Ветер принес издалека
Ящик крепленных «Массандр»...

ГОРЕЛИК. Ты бы знала, сколько раз я эту ночь в памяти прокручивал!

КАКАША. Я знаю. Ровно столько же раз, сколько и я эту ночь в памяти прокручивала. Иногда осточертеет все на свете, заберешься куда-нибудь в темноту и вспоминаешь, как с тем Славкой Гореликом, простым советским заключенным, греблась в гребном клубе.

ГОРЕЛИК. У нас с тобой, наверное, это одновременно случалось. Учитывая разницу во времени между Россией и Америкой, если у меня, скажем, в полночь, то у тебя в четыре часа прошлого дня, а если у тебя в полночь, то у меня в восемь утра дня будущего. Это тебе понятно?

КАКАША. Да, теперь-то я понимаю, в чем было дело. Иногда в классе или с мужем каким-нибудь на динприеме как подхватит, едва успеваю проскочить в туалетку. И вспоминаю, как тебя в первый раз увидела с двумя веслами на плече на фоне нашего меланхолического балтийского заката. Что за кадр, я подумала и тут же узнала: да ведь это же Славка Горелик из подполья! Все девки ахнули, но я так посмотрела, что они сразу поняли — мой кадр!

ГОРЕЛИК. Значит, дала бы и без шмали?

КАКАША. Ну, конечно, дала бы и без всего.

ГОРЕЛИК. А я, признаться, попался на курьезе, как сказал бы мой дед. Как это так — самая красивая девчонка откликается на Какашу? Откуда это взялось, неужели от дурацкой рифмы Наташа-Какаша?

КАКАША. Ну, не так-то просто. У меня в подростковом возрасте стало проявляться анальное беспокойство. Особенно во время траханья. При тебе этого, к счастью, не случилось, а вот некоторые кобельки несказанно удивлялись, когда из шикарной телки выскакивали пахучие кусочки. Потом, уже в

Америке, один профессор излечил меня от этого дела психоанализом.

ГОРЕЛИК. Расскажи мне об этом, любимая.

КАКАША. Да там я одного такого Абрашку встретила Шумейкера. Он и сам-то был вполне сумасшедшим, но меня вылечил. Докопался до детского стресса, когда меня трехлетнюю с соседкой оставляли, а та мне в попку палец совала. Я так была этому Эйбу благодарна, что родила ему целый выводок гусят. Вот так Какаша стала Мамашей.

ГОРЕЛИК. А где же ты детей своих держишь, Наташа-Какаша-Мамаша моя любимая?

КАКАША. Да они все улетели, когда время пришло. Ты же сам это видел, Славка мой родной. Изволь, напомню. Я сидела на пригорке со всем своим выводком. Внизу было озеро, в нем скользила чета лебедей — Этель и Эланор. За озером из-за леса высовывались стеклянные башки билдингов: коридор высокой технологии этого графства. Над ними заходили на посадку джамбо-джеты. Всем подъем, сказала я своим птенцам. Пора вам учиться летать и плавать. Они побежали вниз к озеру. Иные еще на склоне отрывались от земли и поднимались. Другие плюхались в воду, плыли к середине и там взмывали в потоках брызг. Я плакала от счастья. За близкой рошей тут стала вышагивать вереница гигантских и многоликих холозагор и олеожаров. Они сияли и смешно приседали на пик елок.

Тут поблизости остановился автобус компании «Питер Пэн», и из него выпрыгнул ты, Славка Горелик. Я хотела перелететь к тебе, однако жировая прослойка, отложившаяся во время высиживания яиц, тянула к земле. Ты, кажется, тоже хотел перелететь ко мне, но тут приблизились холозагоры, ты смешался с ними, и вы все исчезли за горизонтом. Вот как было дело, и, если ты этого не помнишь, тебе надо полечиться.

ГОРЕЛИК. А своему психоаналитику ты этого не рассказывала?

Какаша не успевает ему ответить. В просцениум проходит Ильнч Гватемала с сильно похудевшим денежным мешком.

ГВАТЕМАЛА (*Горелику*). Слушай, амиго, эта девчонка не стоит и половины твоих миллиардов. Я отсыпал себе сколько полагается, а остальное возвращаю.

ГОРЕЛИК. Значит, мы все сейчас можем дернуть шампанского. Сеньор Де Бритто, дюжину брютя!

Появляется шампанское. Все в просцениуме, включая и официантов, поднимают бокалы.

ГОРЕЛИК. Первый тост — за любовь! Второй — за деньги! Третий — за шампанское!

Все выпивают по три бокала без передышки. После третьего звучит сирена и грубый голос подрядчика со стройки объявляет: «Конец первой смены!»

ЗАНАВЕС

АНТРАКТ

БРОДЯЧАЯ ТРУППА, РАЗЫГРАВШАЯ «АВРОРУ», ПРИГЛАСИЛА НА ПРЕМЬЕРУ НЕМАЛО ПОРТУГАЛЬЦЕВ, КОТОРЫЕ ТЕПЕРЬ В АНТРАКТЕ В ПОЛНОМ НЕДОУМЕНИИ СЛИЛИСЬ С МОСКВИЧАМИ. ФОНЕТИЧЕСКИ БЛИЗКИЕ ЯЗЫКИ ОБРАЗОВАЛИ ПОЧТИ НЕРАЗЛИЧИМЫЙ МУРМУР.

В ЭТОЙ ТОЛПЕ ВЫДЕЛЯЛИСЬ ДВА СОГБЕННЫХ КИТАЙЦА. ОНИ НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЛИ ИЛИ ДЕЛАЛИ ВИД, ЧТО НЕ ПОНИМАЮТ, ИЗ ТОГО, ЧТО ГОВОРИЛОСЬ ВОКРУГ. ВДРУГ НЕПОДАЛЕКУ ОТ НИХ ПРОРЕЗАЛСЯ РЕЗКИЙ ГОЛОС ЖИРНОГО МОЛОДОГО БРЮНЕТА. ЧОРСКИНД КОМУ-ТО ГОВОРИЛ:

— ВАКСИНО СОВСЕМ ОТОРВАЛСЯ ОТ РЕАЛЬНОСТИ, НЕ ПРИШЕЛ ДАЖЕ НА СВОЮ ПРЕМЬЕРУ. ДОЖДЕТСЯ ОН ПОЛНОЙ ОБСТРУКЦИИ.

КИТАЙЦЫ ПЕРЕГЛЯНУЛИСЬ И ВЫШЛИ НА БАЛКОН ПОКУРИТЬ. МОСКВА РАСПЫЛАСЬ В ДОЖДЕ. ОГЛЯДЕВШИСЬ И НИКОГО НЕ ЗАМЕТИВ ВОКРУГ, КИТАЙЦЫ РАСПРЯМИЛИСЬ И ОКАЗАЛИСЬ ДОВОЛЬНО ВЫСОКОГО, НУ ЕСЛИ НЕ БАСКЕТБОЛЬНОГО, ТО ЯВНО ВОЛЕЙБОЛЬНОГО РОСТА. У ОДНОГО, ПРАВДА, НЕМНОГО СКРИПЕЛ СУСТАВ, ЗАТО У ДРУГОГО ТИХОНЬКО ГУДЕЛИ ХОРОШО НАТЯНУТЫЕ МЫШЦЫ.

— СТАС, ТЫ ПРАВДА ОТОРВАЛСЯ ОТ РЕАЛЬНОСТИ, — СКАЗАЛ ЭТОТ ПОСЛЕДНИЙ. — ОТКУДА ТЫ ВЗЯЛ ЭТУ ИСТОРИЮ?

— РАЗВЕ НИЧЕГО ПОХОЖЕГО С ТОБОЙ НЕ БЫЛО? — СПРОСИЛ ПЕРВЫЙ.

— НУ ЧТО-ТО БЫЛО ПОХОЖЕЕ, НО НЕ ТО. НУ СКАЖИ, ЧТО ТЕБЯ ТЯНЕТ В ЭТУ ТЕАТРАЛЬЩИНУ, В ЭТО ОТЖИВШЕЕ ЛИЦЕДЕЙСТВО?

— ЕДИНСТВО ВРЕМЕНИ, МЕСТА И ДЕЙСТВИЯ, ВОТ ЧТО МЕНЯ ТЯНЕТ СЮДА.

НА БАЛКОН ВЫШЕЛ ЕЩЕ ОДИН СОГБЕННЫЙ КИТАЕЦ. ЗАМЕТИВ, ЧТО, КРОМЕ ЕДИНОВЕРЦЕВ, ЗДЕСЬ БОЛЬШЕ НИКОГО НЕТ, ОН РАСПРЯМИЛСЯ И ПРЕДСТАЛ ИЗУМИТЕЛЬНОЙ КИТАЯНКОЙ.

— СТАС АПОЛЛИНАРИЕВИЧ, Я ВСЯ ТРЯСУСЬ. ОТКУДА ВЫ ВЗЯЛИ ТАКОГО ВОЛШЕБНОГО ГРОТЕСКНОГО ПЕРСОНАЖА, ИЛЬИЧА ГВАТЕМАЛУ?

— ДА ОН ЗДЕСЬ РАБОТАЕТ НА ВЕШАЛКЕ, МОЯ ДОРОГАЯ. ТАКОВ ТЕАТР.

АКТ ВТОРОЙ

Перед началом действия мы видим всех участников драмы в тех же местах, где они были, когда упал занавес. Они неподвижны или очень-очень малоподвижны. В принципе сцена должна производить впечатление какой-то не существующей во времени паузы, в которой, словно мухи в паутине, застряли или повисли наши персонажи.

Активно передвигаются только двое — исчезнувшие было в первом акте молодые люди в черных майках. То быстрыми шагами, то на четвереньках они меряют пространство. Иногда как-то неестественно высоко подпрыгивают на манер астронавтов, посетивших Луну (в определенных местах должны быть замаскированы два-три трамплина). Иногда повисают в воздухе (замаскированные кольца или трапеции), чтобы потом снова перейти к быстрым шажкам ищек. У зрителей должно возникнуть впечатление, что эти двое изучают обстановку: мебель, посуду, еду, расположение фигур, одежду, выражение лиц, газету, упавшую на пол. По ходу дела они обмениваются односложными словами своего «студенческого жаргона»: фти-фти-фти... тиф-тиф-тиф... дыр-дыр-дыр... бул-бул-бул... шил-шил-шил... чииииич!

Неожиданно оба останавливаются в просценнуме.

1-Й МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Послушай, мы ведь в театре. Театр, кажется, был здесь первой попыткой объясняться на разноплановом уровне.

2-Й МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Тут все так наивно.

1-Й МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Наивно, значит, мудро, так нас, кажется, учили?

2-Й МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Ну, может быть, тут слишком мудрено?

1-Й МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Ты знаешь, по сравнению с другими уровнями мне почему-то всегда трудно переходить на здешний уровень.

2-Й МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Тут царит какое-то странное, отчасти даже умилительное, чувство самодостаточности. Словно они — это центр, и каждый по отдельности — центр в центре.

1-Й МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Ну хорошо, на данный момент...

2-Й МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Вот это тоже. Данный. Момент. Перейти эту грань по-прежнему трудно.

1-Й МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Раз уж мы здесь, значит, мы в Моменте, в Данном.

2-Й МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК *(смеется)*. У нас уже появилось чувство юмора.

1-Й МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Тут надо еще знать, женщина ты или мужчина.

2-Й МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Мы женщина, женатый на женщине, и мужчина, замужняя за мужчиной; так, кажется?

1-Й МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Мы делаем успехи! *(Оба хохочут.)* Однако им пора начинать второй акт.

Молодые люди в черных майках усаживаются за их прежний столик. Зажигается весь свет. Все приходит в движение. Звучит второй гудок сирены. В глубине открываются ворота строительной площадки. Из них выходит отработавшая смена в комбинезонах и пластмассовых касках. Взрыв приветствий, аплодисменты.

КЛЕНСИ ФАУСТ. Да здравствуют строительные рабочие! И ремонтники!

ЛОРЕНЦО МГБЕКИ (*вскочив на стул*). Протуберанца! Гелиострата! (*Размахивает стоцветным флагом радикальной партии.*)

ЛЕТИК. Прошу всех к столу, товарищи!

Рабочие, хохоча и базлая неприличности, валяются за столы — большая халява!

СТ. ОФИЦИАНТ (*благим матом*). В прозодежде обслуживаются только в буфете!

РОЗИ ЯГОДА. Какая низость! Какая унижительная стратификация! Товарищи, не верьте, интеллигенция с вами! Рассаживайтесь, где вам удобно!

Ильич Гватемала, Лоренцо Мгбеки и Кленси Фауст наступают на Ст. Официанта с двумя гранеными штыками и буденновской саблей.

ГВАТЕМАЛА. Рассаживай пролетариат, подлец, или тебе крышка!

СТ. ОФИЦИАНТ (*скрестив руки на груди*). Сеньоров Лиссабона не напугаешь ржавым!

РАБОЧИЕ. А чо? Чо там, что ли, удобнее? Удобнее там, где наливают. Хули? Не капать же на чистое. Верно, ребята? Давай, наливай хмельного! (*Гватемале.*) Эй, дед, кончай соваться с острозаточенным!

ГВАТЕМАЛА. И это сейчас называется классовой борьбой?! (*Сует шашку в штанину, дает сподвижникам сигнал к временному отступлению.*)

Оба сподвижника, как были со штыками, выходят в просцениум для произнесения монологов.

МОНОЛОГ КЛЕНСИ ФАУСТА

У молодого парня всегда должна быть альтернатива. Я, например, альтернативщик. В тюрьме я не засиживаюсь, всегда ищу альтернативу крытке, то есть простор. Если я белый, я все-таки имею право чувствовать себя как негр. Замкнуто? Вот вопрос социального неравенства, о котором нам уши прожужжали в ячейках. Какого черта? Равенство не дает альтернати-

вы. Если я беден, имею право быть богатым. Если я богат, просираю все до нитки. Вопрос замкнут?

Альтернатива, товарищи, движет революцию. Если я голоден, нажрусь обязательно! Ежедневное питание с горячими щами, с макаронами по-флотски, с крутыми битками, с компотом, как в лучшие дни ВМС, однако почему-то всегда тянет нажраться вредной водки. Прешь к хорошей бабе в самоволку, а жаждешь какую-то самку волка. Замкнуто? Все это, однако, не означает, что не выполняю приказов командования или призывов партии. Однако альтернатива всегда остается — где? — вот здесь, в задней части башки, то есть в ленинском затылке. Замкнуто? Размыкаю. Я на задании.

МОНОЛОГ ЛОРЕНЦО МГБЕКИ

(произносится с нарастающей злостью)

Стартоментош, эрстинари бранто валиста крепиораш! Кросто фужара жалионари? Фронт накотония юриопрудеш! Стерриоваза хулихунари! Пронто потензия фило морфозош? Нулло! Брожжению фило мерккаро са! Феррокаттория птероглища кусси? Просесто пленариуш виссиорутта! Аберто энсерадош хорарио фехада! Куанто музео абрэ а конвенто! Эмпуррар эмпрего, эмпрего эскова! О порко апре апортаге? Прима а кунта! А габардина! А хора де понта! Идаде о джого а жувентюдаш? Ассинатура о бенгальеро калькас паладо калькулядора а демораш! Ну во дирейтус эффишио эмбура? Энгаррофоменто а факка хердада фаз фавор эмпрешшионанте! О, лаватория хойе фургао гратиш? Бластро эксклементио инферно жаражжо! Инферно! Инферно! Инферно и бластро! Аржанио сильвирорастиш пур раггиомагиш?! О блура! Блура! Аффиксыяментош! Стирральтош! Корродиш! О брэйя! Трепеттуареш ум паррофьюзош! На фиг!

Закончив свои монологи, оба профессионала задерживаются в просцениуме и внимательно, как будто впервые, смотрят друг на друга.

КЛЕНСИ ФАУСТ. Слушай, Мгбеки, а ведь у меня к тебе привет от товарища Кватунзо. *(Вынимает из кармана что-то круглое, плоское, вроде коробки леденцов.)*

ЛОРЕНЦО МГБЕКИ. Слушай, Фауст, а ведь у меня к тебе привет от товарища Кватунзо. *(Вынимает из кармана что-то круглое, плоское, в виде коробки леденцов.)*

Обмениваются приветами и удаляются в глубь сцены. Над общим столом к этому времени воздвигается Мак-Честный, совсем уже бухой и слабый.

МАК-ЧЕСТНЫЙ. Товарищи ремонтники и строительные рабочие, фрезеровщики и молотобойцы, монтажники и кочегары, поднимем бокалы за музы, за гений, фу-ты, заговариваюсь. Поднимем бокалы за смычку теории и практики! *(Выпивает, приободряется, поднимает в левой ладони крупное эскудо, безошибочно тычет в него правым указательным пальцем.)* Вот так, товарищи, вот так! Практика, вооруженная теорией, непобедима! А теперь перед вами выступит гордость движения, знаменитый писатель циклопического реализма Ильич Сталин Гватемала!

ГВАТЕМАЛА. Товарищи, не верьте, что перед нами закат! Повернитесь к нему задницей и дождетесь восхода! Я привез вам приветы от наших больших друзей — от Куделя Фастро, Куамара Мудаффи, Минженжена, Кимсульсуна, Половинного-Пота, Молсона Куделло, аятоллы Мухтахара, Ху-сама Фусейна, Цитрона Лукаморченко, Рудая Шамиля и других борцов! Нас много, а будет еще больше! Да здравствует Больше! Да слохнет Меньше!

РАБОЧИЕ. Ур-а-а-а! Да здравствует Больше! Маленькими не надо! Давай большими!

Мгбеки и Фауст выволакивают в середину университетский лектерн. Профессор Летик раскладывает на нем свой пухлый текст, водружает на нос очки. За ней то на четвереньках, то на животике ползет Роза Ягода.

РОЗИ ЯГОДА *(хнычет)*. Марточка, любименькая, купи мне ленточки, купи лошадку-дадалку!¹ *(Пристраивается у ног Летик.)*

ЛЕТИК. Дорогие товарищи, как хорошо у нас все получилось, импропту в стиле баррикад! Вы, усталые и запы-

¹ Отсюда «дадаизм».

ленные, выходите со стройплощадки, и мы, тоже усталые и запыленные от соседства с вами, видим ваши исторически просветленные лица! Вместе с вами за дружеским столом мы продолжим наши диалоги о грядущем! *(Рози Ягоде, шепотом.)* Перестань пресмыкаться, бессовестная! *(Громогласно.)* Но прежде мы поднимем тост за ГРЯДУЩЕЕ! *(Делает паузу, смотрит вокруг в поисках Мак-Честного, стучит кулаком по лектерну.)* За прекрасное и грозное ГРЯДУЩЕЕ! О, ГРЯДУЩЕЕ!

Мак-Честный в своем углу едва ли не конвульсирует от слова «грядущее». Делает вид, что не может найти за пазухой детонатор. Срывается с места и бежит к столу Горелика, за которым тот по-прежнему милуется со своей зазубой и потягивает шампанское.

МАК-ЧЕСТНЫЙ. Товарищи, у нас там смычка с рабочим классом. Почему бы вам не присоединиться к компании?

ГОРЕЛИК. Козлы тебе товарищи, товарищ! У меня к этому слову аллергия.

КАКАША. У нас совсем другая смычка на уме, молодой человек.

МАК-ЧЕСТНЫЙ *(в отчаянии)*. Да ведь вы же известный ученый, вас многие знают в лицо, вы полемизировали в Шан-тэере! Ну что вы торчите здесь, в этом псевдоаристократическом секторе? Расселся тут словно... словно Раджив Ганди какой-то! Приклеили вас, что ли, к этому столику?

ЛЕТИК. Никому не уйти от ГРЯДУЩЕГО! Ни одному живому существу не уйти от ГРЯДУЩЕГО! Отвергая ГРЯДУЩЕЕ, отвергают жизнь!

МАК-ЧЕСТНЫЙ *(трясаясь всеми членами, пытается оттащить Горелика и Какашу от их столика)*. Ну давайте хоть потанцуем, ребята! Ну давайте, так вашу, станцуем сиртаки вон там, подальше от вашего столика, где места больше. Музыканты, сиртаки! Давайте, руки друг другу на плечи, девушку в середину! Хоппа! Хоппа!

Хохоча от этого психа, Горелик и Какаша танцуют сиртаки, да так заразительно, что вся веранда пускается в пляс. В толпе Лоренцо Мгбеки и Кленси Фауст по очереди подтанцовывают к пустому столику и закрепляют под скатертью свое круглое и плоское, полученное от товарища Кватунзо.

КАКАША (*Мак-Честному*). Да ну вас, папаша, вы мне все ноги отдавили! (*Возвращается к столику, Горелик за ней.*)

Мак-Честный падает, сучит ногами. Летик обескураженно покидает трибуну. Роза Ягода цепляется за нее.

РОЗИ ЯГОДА (*жарким шепотом*). Он никогда этого не сделает! Марта, родная, отбери у него прибор!

ЛЕТИК. А ты откуда про это знаешь, прыщавка?

РОЗИ ЯГОДА. Марта, любимая, мы так с тобой сроднились, я угадываю твои мысли на расстоянии. Поверь, Урия уже сгнил, он никогда не сможет ничего взорвать даже ради нашего дела, ради социологии, ради тебя, моя Марта непревзойденная!

ЛЕТИК. Кто же это сделает ради социологии, ради моего фундаментального труда, ради ГРЯДУЩЕГО?

РОЗИ ЯГОДА. Я! (*Выходит вперед и становится в позицию монолога.*)

МОНОЛОГ РОЗИ ЯГОДЫ

Мон маман э ма папан думали, что я родилась в худшем случае балериной, но вообще-то парящей Сильфидой. Тренеры говорили, что я гений своего рода. Моя папа и мой мама, затаив дыхание, следили за моими выступлениями на льду. Им казалось, что я вот-вот взлечу под музыку Феликса Мендельсона.

Все как-то иначе получилось. В пубертатном периоде у меня появилась склонность к быстрым скользящим движениям в положении лежа — иными словами, к экзерсисам ящерицы. Родители не смогли оценить этой своеобразной эстетики и полностью от меня отказались, черт с ними. Иное родное и сильное существо появилось в моей жизни — профессор Марта Арвидовна Летик. С нею я надеюсь проползти любое расстояние, и ни один заклинатель, клянусь, меня не зачарует! (*Стремительно ускользает в глубь сцены.*)

На веранде между тем восстанавливается ресторанный рутин. Мл. Официант подходит к столу молодых людей в черном.

МЛ. ОФИЦИАНТ. Чего изволите?

1-Й МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Пивка тащи!

2-Й МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Того, что там, возле забора пьют. Бочкового! Прессиона!

Тем временем Ст. Официант заново накрывает стол Горелика, ставит ведерки с шампанским.

СТ. ОФИЦИАНТ (*не без торжества*). Ну, видите, сеньор Гоурелли, я был прав: ребята-то эти в черном вернулись.

ГОРЕЛИК. Признаться, не ожидал. Может, они не студенты?

СТ. ОФИЦИАНТ. Прежде всего они джентльмены.

Горелик, слегка покачиваясь, направляется к молодым людям.

ГОРЕЛИК. Фот-фот-фот, тоф-тоф-тоф! Чиииич? Чиииич?

1-Й МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Нам тоже очень приятно.

ГОРЕЛИК. У меня сегодня большой праздник, я освободил из рабства свою любимую!

2-Й МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Мы знаем.

ГОРЕЛИК. Откуда вы знаете? Может, я просто телку снял?

1-Й МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Да ведь это пока что главная новость вечера.

ГОРЕЛИК. Ребята, вы мне нравитесь! Давайте составим столы? Какашка, то есть Наталья Ардадьоновна, будет рада.

Без лишних церемоний они составляют столы. Поднимают бокалы. Все хором.

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ. Мы пьем за эту жизнь!

КАКАША. И за все, что с ней соседствует!

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ. Вот это да, какая остроумная! А правда говорят, что пиво — это шампанское бедных?

ГОРЕЛИК. Не верьте, шампанское — это пиво богатых.

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ. Ух, какие оба остроумные! Жаль, что вы как-то раздельно ходите. Выпьем за то, чтобы вы вместе ходили, как одно целое!

Ура, все опорожняют бокалы с пивом. Потом меняют пиво на шампанское и снова опорожняют.

ГОРЕЛИК. Что-то я не пойму ваших надписей на майках, парни. Ну, Phi Beta Карра — это понятно, а вот ниже, вот у тебя, hnwtn, как это читается?

1-Й МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Хнум.

2-Й МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. А моя надпись pth читается как Птах.

ГОРЕЛИК *(в изумлении)*. То есть имена демиургов?! Вы что, культивируете Хнума и Птаха в своем сардинском университете?

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ. Мы сами Хнум и Птах.

ГОРЕЛИК И КАКАША. Вот это дали! Вот это остроумие! Вот кто чемпионы остроумия! Мы теперь так вас и будем звать, Хнум и Птах! Как насчет Апокалипсиса, Хнум и Птах?

ХНУМ И ПТАХ *(вместе)*. Не за горами!

ГОРЕЛИК И КАКАША *(вместе)*. У нас так про коммунизм когда-то говорили. А армяне отвечали: а мы за горами! Ну, кто самый остроумный?

ХНУМ И ПТАХ *(вместе)*. Те армяне!

В середине сцены смычка тем временем развивается в полный рост. Основательно поднабравшиеся работяги танцуют летку-енку, прыгают друг за другом, как козлы, иногда имитируя козлиные атаки с тыла.

Ильич Гватемала вытаскивает из штанины саблю, затягивает «Дивизию». Танец переходит в марш. Розы Ягода с обнаженной грудью вырастает над столом, как на картине Делакруа.

ХОР МАСС

Идут молодые бойцы,
Мужчины и женщины вместе!
Для них от излучин Янцзы
Гремят вдохновенно оркестры!
Младенцы идут и отцы
Под флагом горящим и пестрым!

Чтоб жизнь наша делалась краше,
Дивизия крепнет на марше!
Во имя высокой мечты
Втыкай вдохновляющий штык!

Для них хорошеет Париж
В преддверье большого захвата!
Геройский их дух воспарит!
Стройнее шагайте, ребята!
И видится им среди крыш
Лицо мусульманского брата!

Чтоб жизнь наша сделалась краше,
Дивизия крепнет на марше!
Во имя высокой мечты
Втыкай вдохновляющий штык!

Рози Ягода спрыгивает со стола и, извиваясь, как ящерица, ползет к телу Мак-Честного. Достигает цели, запускает руку телу за пазуху.

С озаренным лицом снова взлетает к лектерну профессорша Летик.

ЛЕТИК *(со звенящей слезой)*. Я горжусь вами, солдаты-пролетарии и солдаты-интеллектуалы! Давайте еще раз поднимем тост за ГРЯДУЩЕЕ!

РАБОЧИЕ. Что ты заладила? Кончай, тетка, базлагать про грядущее! Отдыхаешь, дай другим отдохнуть!

ЛЕТИК *(воет, как торнадо)*. И все-таки — за ГРЯДУЩЕЕ!

Рози нажимает нужную кнопку детонатора. Колоссальный взрыв разрушает весь спектакль. Но зрители, кажется, целы. Если они целы, им предстоит в течение нескольких минут вглядываться в кромешный мрак и вслушиваться в кромешную тишину, что воцарилась после того, как осел звуковой удар.

Затем начинают вступать в действие некоторые театральные условности: живучесть жанра!

В двух тонких лучах света появляются Хнум и Птах. Как бы пытаясь что-то объяснить, они начинают диалог на доступном публике языке.

ХНУМ. Наши друзья разлетелись в прах, Птах!

ПТАХ. Их останки кружит самум, Хнум!

ХНУМ. Пожалуй, ты прав. Останки их пока что где-то неподалеку кружатся: куски рук, куски ног, ошметки печеней,

почек, сердечек, легких, обрывки кишок и артерий, вот кружится член Горелика, опадает Какашина вульва, кровь, и моча, и лимфа, и все секреты — уже не секрет, они вращаются, закручиваются в хвосты вместе со сперматозоидами, яйцеклетками и ДНК... Как профессионал свидетельствую: гены их перемешались, не сразу и разберешь, где чьи.

ПТАХ. Славка! Какашка! Вы нас видите? Вы нас слышите?

ГОЛОС ГОРЕЛИКА. Не знаю, где мои глаза, но я вас вижу.

ГОЛОС КАКАШИ. Не знаю, где мои уши, но я вас слышу.

ХНУМ. Привет, ребята! Мы пока что употребляем слова, доступные публике, но на самом-то деле вы нас не видите и не слышите, вы нас воспринимаете. То, что к вам придет, будет несравненно выше и слуха, и зрения.

ПТАХ. Вы воспримете такое, что в биологическом поле Земли не воспринимается.

ГОЛОС ГОРЕЛИКА (*мрачно*). Звезды, что ли?

Демииурги ободряюще смеются.

ХНУМ. Звезды остались там, где вы только что были уничтожены.

ГОЛОС КАКАШИ (*с любопытством школьницы*). Как это может быть пространство без звезд?

ПТАХ. Позвольте мне напомнить, как двенадцатилетний Слава Горелик в кабинете своего дедушки однажды докопался до одной фразы Николая Лобачевского: «Само по себе пространство не существует». Слава, ты помнишь, как ты упал и кулачками, кулачками молотил по ковру, на котором выткан был туркменскими умельцами шестимоторный самолет родины?

ГОЛОС ГОРЕЛИКА. Значит, все звезды растают?

ХНУМ. Примерно так.

ГОЛОС ГОРЕЛИКА. Жаль.

ГОЛОС КАКАШИ. Послушайте, если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно? (*Плачет.*)

ПТАХ. Ну, не нужно так расстраиваться. Вы уйдете в такую энергию, с которой звездам не сравниться.

ГОЛОС ГОРЕЛИКА. А нельзя... а нельзя там выловить хотя бы уши?..

ГОЛОС КАКАШИ. И глазки?

Пауза.

ПТАХ. Ты видишь, Хнум, как им трудно. Мне всегда казалось, что с этого уровня труднее уходить, чем с других. Особенно если эти так называемые мужчины, так называемые женщины влюблены друг в друга.

ХНУМ. Славка, Какашка, неужели вам хочется назад? Туда, где все умирает и гниет?

ГОЛОС ГОРЕЛИКА. Пожалуй...

ГОЛОС КАКАШИ. Ста! Пожалуй — Ста! Пожалуй — Тысячи! Пожалуй — Миллиона! Пожалуй — Триллона! Пожалуй — Зиллиона!

Пауза.

ПТАХ. Ну что ж, Хнум, придется тебе закручивать свой гончарный круг в обратную сторону.

ХНУМ (*ворчливо*). Странно, эти дети небольшого перекося не понимают, что они просто дети небольшого перекося, что все идет к концу так или иначе. Как-то глупо снова проходить через эти мифологические фазы: остров Элефантина, бог плодородия... вычленять из единого понятия всех этих Нунов, Анукет, Менхит, Нейтунов... опять тревожиться по поводу баба-ба, что это — баран или душа... почему-то считаться «владыкой катарактов Нила»... отождествляться с Амоном, Ра, Себеком...

ПТАХ. Послушай, Хнум, ты крутишь свой круг?

ХНУМ (*ворчливо*). Кручу, кручу... однако, Птах, ведь мы же опять в рамках времени, поэтому мне нужно время, чтобы прогнать весь этот хлам через крутилку.

ПТАХ. Как своему второму или первому «я», Хнум, я должен тебе признаться, что мне иногда доставляет удовольствие посещение этой смертной биологии. Признаюсь, я люблю их творить своим языком и сердцем. Зубы и губы Птаха и все, что возникает из них, как-то меня умиляют. Так что я и сам, твой Птах, чем-то здесь заряжаюсь, чем-то, что они называют вдохновением, трагедией, шампанским...

ХНУМ (*продолжает работу*). В принципе, от них ничего не требовалось, кроме наивности, учитывая обреченность этого варианта. Однако они умнеют — вот в чем дело. В своей материи они уже добрались до генов и всяких там основных кислот. И их тянет все глубже. В их акустике появляются нездешние ноты. Казалось бы, это благо, но среди них начинает расцветать какое-то странное неверие, мания величия. Бог, видите ли, умер, человек — венец творения! Природа кружит им голову. И вместе с тем жалуются на вселенское одиночество. О какой из вселенных вы речь ведете, мне хочется их спросить. Самое же главное, что они не хотят всерьез воспринимать неизбежность перехода на другой уровень... Кажется, готово. Сейчас мы увидим своих Славку и Какашку. Чининич!

Из темноты в освещенный круг сцены падает большущий мягкий шар, из которого торчат башмак Горелика и Какашина славная мордаха.

ХНУМ (*со скромной гордостью*). Ну вот!

ПТАХ. Это само совершенство!

Пауза.

ПТАХ. Как себя чувствуете, ребята?

ГОРЕЛИК. Ничего не чувствую, кроме своей левой туфли.

КАКАША. А я почему-то чувствую только глупость своей физиономии.

ГОРЕЛИК (*осторожно*). Подожди, девочка, процесс еще не завершен — не так ли, дружище Хнум?

ХНУМ. Птах, ты видишь? Совершенство они принимают за незавершенность!

ПТАХ. Здесь всегда так, ну, ты же знаешь, Великий Хнум, ну, ну...

ХНУМ. Отказаться от такого классного холозагора — нет, не могу!

ПТАХ. Открути немного назад, Великий Хнум, и я вдохну в них то, что тут так правильно называется вдохновением.

ХНУМ. Только ради тебя, Великий Птах.

КАКАША (*канареечным голосом*). Ура-ура-ура-ра-ра-ра-а-а-а!

Свет снова гаснет, видны только лики Хнума и Птаха, да слышен свист гончарного круга.

Снова яркий свет. Теперь перед нами стоят разделенные Горелик и Светлякова. Но что это? На Горелике красуются Какашины груди, а у девушки свисает гореликовский пенис.

Влюбленные бросаются друг к дружке, но останавливаются: что-то не то.

ХНУМ. Ну какая вам разница, у кого что? Все равно ведь вы стремитесь к слиянию — разве нет?

ПТАХ. Дело в том, что в этом варианте у них вся их лирика перепутается.

ХНУМ. Ну хорошо, еще одна попытка. Предупреждаю, последняя!

Новое затемнение. Новые повороты круга. Торжествующая нота Птаха. Свет. Перед зрителями приплясывают полностью восстановленные Горелик и Светлякова. Ой, прикрывают обнаженности. «Славка!» — «Какашка!» Обнимаются.

ГОРЕЛИК И СВЕТЛЯКОВА *(одновременно, в восторге)*. Мы живы! Мы целы! У нас все на месте! Но где мы? Кажется, все там же, в пьесе! А где же демиурги? Где ты, Великий Хнум? Где ты, Великий Птах?

Никого рядом нет. Вокруг руины кафе. Живых, кажется, после «лабораторного взрыва» не осталось. Тела участников «смычки» навалены кучами. Струйки пожара играют на стенах. Дым. Слышны приближающиеся сигналы аварийных машин, выстрелы, взрывы, марши.

Под главной люстрой переливается разными цветами небольшой, но неотразимый холозагор. Похоже, что именно оттуда доносится объединившийся голос Хнума и Птаха.

ХНУМ И ПТАХ. С возвращением в вашу биологию, в ваше любимое, со звездами, пространствочко!

ГОРЕЛИК И КАКАША. Ну что же вы так просто сваливаете? Ведь надо же выпить за жизнь! И за то, что рядом с нею!

ХНУМ И ПТАХ. Это смешно, это соблазнительно, но мы вас покидаем. По законам жанра.

ГОРЕЛИК И КАКАША. Надолго? Неужели навсегда?

ХНУМ И ПТАХ. Вот этот вопрос уже не в духе жанра. Пока что посылаем вам небольшие сюрпризы.

Из развалин, переступая через тела, выбирается Ст. Официант. Тащит складной столик и авоську с шампанским.

СТ. ОФИЦИАНТ. Вот все, что осталось от неплохого кафе. Да, еще вот это. *(Подтаскивает мешок с миллиардами, расставляет столик, разливает шампанское.)* Давайте выпьем, пока сюда еще не ворвались красные. Или белые.

ГОРЕЛИК. Кажется, пора драпать, Наталья Ардальоновна.

КАКАША. Не спеши. Похоже, что-то еще должно случиться.

Зловещая картина сцены внезапно меняется. Задник освещается видом бухты. Среди прожекторов и огней там появляется ультрасовременный боевой корабль. Вступает музыка, что-то вроде концерта D-Minor Алессандро Марчелло. Над кораблем как бы в облаке романтизма появляется женская суть крейсера, большое лицо с нежными губами и туманными очами.

АВРОРА ГОРЕЛИКА. Ты права, Светлякова, вот оно и случилось. Случилась наша встреча, любезнейшая Какаша.

ГОРЕЛИК. Не верю своим глазам и ушам. Аврора, ты научилась говорить и являться в своей сути?

МОНОЛОГ АВРОРЫ ГОРЕЛИКА

Слава, Слава... Как живется вам с другою — проще ведь? — удар весла! — Линией береговой скоро ль память отошла обо мне, плывучем острове?.. Ах, Горелик, Горелик... Не смущайся и не оправдывайся, ведь ты же знаешь, что я тебе все прощаю! Я не обиделась, даже когда ты продал меня китайцам. Ведь ты же знал, что я уйду от них и отыщу тебя. Ты знал, что мое чувство к тебе вкупе с моим радарным зонтом и самонаводящимися ракетами сильнее всех китайских ВВС, что моя суть, явившаяся сейчас перед тобой и перед всеми участниками этой драмы, живыми и мертвыми, перед актерами и зрителями, равно как и перед священными демидургами Хнумом и Птахом, о которых ты мне столько говорил в те ветреные и звездные ночи, когда мы шли с тобой наеди-

не, кроша лед полярных морей, в Китай, — она, суть ее так неотрывна от твоей сути, сутяга мировой сутолоки, странствующий рыцарь миллиардной барахолки, Чичиков постбайронизма, последний солдат и дуэлянт экологического ристалища.

И все-таки, вообрази, как мне было одиноко, когда ты свалил из Шанхая со своим долларовым мешком! Представь себе, как я преисполнялась ярости, набирая скорость по водам Хуанпу, как я разбрасывала все их патрульные корабли, как я сбрасывала с борта десанты отборных китайцев! Как я начала, наконец, растворяться в холодном тумане... *(короткое рыдание)* и в одиночестве!

(Жарким шепотом продолжает.) Я помню тебя всего, Славка! Я так любила, когда ты во мне принимал душ! Ты не античный красавец, мой дорогой, но я так наслаждалась видом твоих волосатых мускулистых ляжек, а также растительностью с контурами российского орла на груди! *(Прерывистое дыхание.)* А когда ты брал в руку свой шут... ах, что я говорю... ах, я теряю всякий стыд, да еще в присутствии соперницы... все мои компьютеры преисполнены бесстыдством любви... но вы поймите меня... они все говорят: «крейсер», «авианосец»... для них это что-то бесполое, хоть и мужского рода, но ведь в английском языке, то есть на языке прародины всех крейсеров и авианосцев, любое судно — это она! Страшная самоотверженная фемина!

Какое счастье, что мне в конце концов удалось через спутник перехватить номер твоего «мобиля»! В самом центре Индийского океана я поняла, что ты устремился на поиски своей любви. Сначала я думала, что речь идет только обо мне, но потом образ несносной Какаши стал вытеснять меня из мечты Горелика. Взрыв ревности едва не заставил меня обрушиться на Багдад, или на Афины, или уж не знаю на что. Хвала корректировщикам Хнуму и Птаху, они в конце концов надоумили меня охладить мой пыл. Именно они довели до моего сознания, что ревность — это чад, это мрак, это перегар. В конце концов, Наталья Ардадьоновна, ведь вы же не виноваты, что встретили моего Славку еще в те времена, когда я была в лучшем случае всего лишь кучей чертежей. В принципе, я даже понимаю ваше чувство, Горелик не может не оставить глубокого следа в душе любой женщины, будь это стальная дева морей или какая-нибудь сикуха с питер-

ской окраины, — ведь верно? В конце концов, мы можем жить втроем на мне, правда, Наталья Ардадьоновна? Да вы не бойтесь, это я только снаружи такая громадина, внутри я такая же, как вы, только тоньше, только чувствительнее немного, вы согласны?

КАКАША (*хохочет и кокетничает*). А почему бы нет? В конце концов надо все испытать в этой жизни, не только в той не-жизни, верно? Хнум и Птах, правильно я говорю?

ХНУМ И ПТАХ (*из поднебесья*). Истина глаголет твоими... кем-чем, кем-чем, кем-чем, Какаша?

КАКАША. Да устами, конечно, — чем же еще!

ГОРЕЛИК. Аврора, кто у тебя на борту?

АВРОРА ГОРЕЛИКА. Только моя любовь. Жду тебя... ну и... (*легкий железный скрежет*)... ну и нашу компаньонку...

ГОРЕЛИК. Но как мы к тебе проберемся? Весь город в огне.

АВРОРА ГОРЕЛИКА. Произвожу зачистку города. Интенсивно тушу пожары. Вразумляю взбесившийся народ. За вами вылетел вертолет. Сейчас спустятся лестницы. Итак, до скорого!

«Суть Авроры» гаснет, восстанавливается панорама рейда. Слышится шум вертолетного мотора. Спускаются две веревочные лестницы.

ГОРЕЛИК (*передает мешок с миллиардами Ст. Официанту*). Восстановишь город, и прежде всего «Лембрансу», чтобы все было готово для новой драмы. Если хочешь, купи картин и открой новую картинную галерею, чтобы затмить дарителя Гульбекяна. Поощряй джентльменство и особо следи за состоянием воздуха. Все ясно?

СТ. ОФИЦИАНТ. Яснее тумана, сеньор Горрелли. Яснее дыма и самума. Ждем вас снова у нас для полной ясности.

Горелик подсаживает на лестницу Какашу и начинает карабкаться сам.

ГОРЕЛИК (*раскачивается на лестнице*). Как все просто в этой пресловутой истории человечества! Сущий детский сад! По сути дела, любой персонаж может подойти к берегам своей родины на крейсере и продиктовать этим берегам свою волю. И мы это сделаем с тобой, моя любимая! Довольно

всей этой непристойной возни, когда по всей стране бурчат кишки, а пища засовывается без разбора в горловые отверстия! Займитесь очисткой воздуха, скажем мы им. Контролируйте уровень окиси углерода и прекратите повсеместный бздёж. Пердеть и пускать шептуны теперь придется в специально отведенных местах. Любая брехня приравнивается к сероводороду. Говорите все начистоту, с каждым днем усиливайте вентиляцию, иначе «Аврора Горелика» запустит свои «сनावоны»!

КАКАША (*карабкается по лестнице и не забывает отхлебывать из горлышка шампанское*). Прощай, Боа-из-Лис! Здравствуй, Тпруть-моя-матушка!

ЗАНАВЕС

ХНУМ. А все-таки куда они отправились, Великий Птах?
ПТАХ. В Россию, Великий Хнум.

ХНУМ. Странно, а разве это была не Россия?

ПТАХ. Да вроде бы нет. Они говорят, что это была Португалия.

ХНУМ. Станные, странные, сушие дети, как они тут все раскроили — Россия, Португалия... Куда-то мчатся, что-то воруют, кого-то взрывают, воспаряют спьяну до небес... И не знают, что их ждет, сидят в клетке своих трех времен и не знают...

ПТАХ. Даже не догадываются...



ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ

После спектакля

Так. Кажется, наша история подошла к концу. Да как же, воскликнет придирчивый читатель, там еще столько осталось бумажной массы? Да и вообще, какую из множества насованных сюда историй вы провозглашаете законченной, любезнейший? Тут нам остается только одно: шелкнуть придиру по носу. Милостивый государь, позвольте вам представить синопсис книги, и вы увидите, что здесь есть лишь одна цельная история, все же остальные насованы, как вы выражаетесь, лишь для того, чтобы она выглядела реальной, то есть не притянутой за уши.

Это все равно, сударь, как если бы вы прицелились в утку. Ну что, бабахнул, утка упала, это и все? Прикиньте сами, сколько всего существует вокруг этого вашего кардинального момента: еще четыре утки, летящие на рассвете вместе с вашей жертвой из одного озера в другое, перышко угасающей луны, бронзоватое свечение восхода, инверсионный след проходящего на большой высоте патрульного самолета, дальние выстрелы других охотников, от которых вам не хочется отставать, ваше воспитание, что позволяет вам убивать пролетающую тварь ради забавы, ваш тренированный на утку сеттер, который ни в чем не виноват, десятки, если не сотни маленьких глаз, глядящих на вас из листвы, идея творения и практика эволюции тварей, охотничья проза, возрожденная другом близкого к народу Влакса Ваксакова Юрием Казаковым, ну и так



далее. Не будь этого всего, вы, быть может, и на охоту бы не поехали. Таковы и романнные обстоятельства. Грош цена той истории, вокруг которой не накручено всякого.

Итак, синопсис нашей истории, то есть выстрел в утку. Молодой человек встретил юную девушку, и они полюбили друг друга, как им казалось, на всю жизнь. На следующий день молодой человек попал в тюрьму, где провел, почитай, три года своей жизни. За это время девушку продали в подпольный бардак за границу. После многих надругательств она убегает от рабовладельцев, пускается в разные авантюры и, наконец, выходит замуж за богача. Советский Союз распадается. Молодой человек выходит на свободу, отбрасывает свои демократические идеалы и становится авантюристом денег. Невзирая на эти забавы, он одержим целью найти свою девушку. Семь лет они не могут встретиться, хотя порой оказываются очень близко друг к другу, иногда в одном доме. Наконец встречаются. Это происходит, кажется, в Лиссабоне, а может быть, и в другом месте: после всех этих театральных дел чувствуешь своего рода сильное похмелье и не всегда отчетливо помнишь, что и где было. Впрочем, это не важно. Важно, что они воссоединились. Вот и вся история, в том смысле, что все остальное не вмещается в синопсис.

Вокруг этого наворочена книга. Книга в общем-то продолжает наворачиваться, но уже за пределами синопсиса. Не будешь ведь называть продолжением этой истории рассказ о старике, который пишет что-то вроде этой книги и сбивает с толку читателей, направляя их предположения на ложный путь ради того, что ему кажется необходимым для романа.

Век истекал, и я от этого постоянно чувствовал себя не в своей тарелке. Постоянно себя уговаривал, что все эти наши века и тысячелетия только лишь правила детской игры. Ну что означают наши отрезки времени в контексте Вселенной? Во-первых, они смехотворно коротки; во-вторых, мы их сами придумали, чтобы как-то определиться в непостижимости, где нет ни грохота, ни света, ни жара, ни вращения планет. Что там происходит за пределами наших чувств, если вообще что-то происходит в нашем смысле? И все-таки: как нам жить теперь без XX века? Ведь совсем еще недавно шли времена, когда принадлежность к этому веку считалась признаком передовизны. Идет какой-нибудь молодой хмырь вроде меня, на

носу у него темные очки «полароид», чиркает зажигалкой «ронсон», в башке у него сочиняется «телеграфная проза» или рок-опера; вот про такого совсем еще недавно говорили: настоящий человек XX века!

Как быстро это все прошелестело мимо! Осталось только отстегнуть на себя последнюю страницу, и за ней начнутся времена, когда о том гипотетическом хмыре будут с усмешкой или с грустью говорить: «Ну что вы хотите от него, ведь это же человек двадцатого века». Вот мама моя всегда называла себя «человеком девятнадцатого века». Она родилась в первом десятилетии XX — никогда не говорила точной даты своего рождения, всегда старалась «зажать» парочку оборотов вокруг Солнца — прожила две трети этого века, вместе с ним и воспаряла, вместе с ним катилась и вниз, в его зловонные гулаги, то дерзновенно бросала ему вызов, а то опускала в отчаянии руки — укатали сивку крутые горки, однако всегда называла себя «человеком девятнадцатого века».

Первые тридцать с чем-то лет XX расправлялся с XIX, добивал его в революциях и гражданских войнах. Я так стар, что даже помню тех революционеров и бойцов. Если угодно, могу поделиться воспоминаниями. Человек XXI века из тех, что миллионами ходят вокруг, прижав руку с мобильником к уху, словно отоларингологические больные, смотрит на меня как на психа: делиться воспоминаниями? Посещайте наш chat box, там и делитесь воспоминаниями. Нет уж, я лучше расскажу своему коту что-нибудь из этой оперы.

Мы нервные люди

Я сижу в столовой, один за круглым столом, и тупо смотрю на тарелку с манной кашей. Я там уже накрутил множество сфер своей ложкой. В центре сфер, как Солнце, плавится кусок сливочного масла. Ложка теперь кружит по периферии, как Нептун. Входит революционер. Он в кителе с красным эмалевым значком на кармане. «Заведи патефон», — прошу я его. Подумать только, это я был там, бутуз, раскормленный манной кашей!

Патефон скрипит и скрежешет, хотя замечательно сверкает своей головкой и трубой; из него идет какой-то голос, не

поймешь какой, задушевный, что ли: «Мы мирные люди, но наш бронепоезд...» Я пучусь весь от восторга и, конечно, слышу иначе: «Мы нервные люди, но наш бронепоезд...» Нервные люди, тонконогие, как водяные пауки, проносятся по периферии манной каши, не проваливаясь, прыгают в бронепоезд, тот, весь мгновенно обговнявшись, выходит из запасного пути. Под это дело, под революционный экстаз, я пытаюсь смыться от манной каши, выскакиваю из-за стола, бросаюсь к оружию, но тут входит жертва революции, представительница романтических остатков XIX века. Дыша духами и туманами, дочь «лучшего терапевта Волги» пресекает вращение диска. «Ах, Аполлоша, как мне приелась эта солдафонская романтика!» Как всегда при виде жертвы, глаза революционера, директора местного танкостроительного гиганта, начинают разгораться любовью. Жертва делает вид, что не замечает растущего жара, находит мельтешащего ребенка, урезонивает его строгим тоном классной дамы: «Влас, прошу тебя немедленно вернуться к столу!»

В отчаянии я наполняю рот все еще горячим и вязким, жирным и в общем-то далеко не противным составом. Родители покидают столовую и запираются в кабинете. Сначала там царит тишина, потом начинают раздаваться звуки фортепиано. Они то прерываются, то возобновляются, идет знакомая мягкая борьба, а я между тем опоясываюсь саблей Буденного, щелкаю пистолетом Ворошилова, стреляю в утку из винтовки пограничника Карацупы. Сияя счастьем и нежностью, появляются родители и присоединяются к моей игре. Что может быть увлекательнее для человеческого детеныша, чем стрельба?

С отцом что-то происходило. Он как-то менялся, но как — я не понимал. Однажды от соседей по лестничной клетке ночью послышался визг сродни свинячьему. Вся квартира повскакала, и все скопилось у входных дверей: отец в старой шинели, из-под которой виднелись ступни с большущими ногтями, мама в халате с кистями, бабка и нянька, заночевавший наш шофер — кто как, дезабилье, между ними, конечно, мельтешил и Влас, пытаюсь пробраться поближе.

«Аполлоша, если можешь, не открывай!» — просила мама. Аполлинарий открыл.

Дверь в квартиру соседа Хизбулатова Хамаза Гантемировича тоже была открыта. На площадке, к восхищению Власа,

стоял красноармеец хоть и без винтовки, но с большим наганом в кожаной кобуре. Непрекращающийся визг, как тут все поняли, принадлежал самому Хамазу Гантемировичу. Не прошло и минуты, как появился и он сам с распухшим лицом и затекшими невидящими глазами. Плотно за ним шли два командира-лейтенанта с улыбочивыми ртами. Не взглянув на соседей, Хизбулатов, который раньше нередко брал Власа за ухо и говорил «боец!», стал спускаться по лестнице. Руки он держал за спиной, скрестив пальцы, словно боялся, что они разбегутся. Затем вышел майор и прикрыл за собой дверь. Увидев отца, он кивнул. Отец ответил кивком. Майор достал коробку «Казбека» и предложил папиросу отцу. Они закурили.

— Видите, товарищ Ваксаков, какие гадины пробираются в партию, — сказал майор.

— Он не гадина, — сказал отец.

— Что вы имеете в виду? — удивился майор.

— Он никого не избивал по ночам, — хрипло произнес отец.

Майор бросил папиросу себе под ноги.

— Я вам припомню этот разговор.

Отец вошел с папиросой в квартиру и почему-то докурил ее до конца, постоянно взглядывая на огонек. Мать с сияющими глазами целовала его и дрожала, как липка на ветру. Как липка на ветру! — вспоминаю я сейчас и содрогаюсь. О Боже! Да ведь я тогда именно так и подумал: мамочка моя, она дрожит, как липка на ветру! Я обнимал ее ногу, и дрожь ее передавалась мне. И отец дрожал нашей общей дрожью, хоть и докуривал «Казбек» чекиста.

Став взрослым, уже в 50-х, я часто думал, что в подобных эпизодах по всей стране завершалась крокодильская революция. Человеческая дрожь понемногу стала пронизывать классовую борьбу.

Пока что я все вооружался. Родители выполняли все мои капризы: покупали ружья с пулями-липучками, заводные танки и тачанки и даже сложную электрическую игру под названием «Прибытие бронепоезда». Им хотелось потрафить единственному сыну до того, как за отцом придут. Пришли, однако, не сразу. Не исключено, что и сам тот угрожающий майор уже истлел на Колыме, а отец все выпускал игрушки для взрослых, танки КВ и ИС с переходом на унифицированную модель Т-34. Потом все-таки за ним пришли. Он не визжал, но

рыдал, никак не мог остановиться. Окаменевшая мать с трудом протягивала к нему руки. Через три месяца увезли и мать. Влас остался с нянкой, теткой и бабушкой в одной комнате. Все остальные комнаты большой заводской квартиры были опечатаны. Он не в силах был понять, что происходит. Он только наполнялся яростью и все яростнее сражался на всех фронтах и с басмачами, и с самураями, а главное, с фашистами-троцкистами. Малыш с сабелькой посреди своего разрушенного детства.

Класс конфликтологии

Оружие хорошо ложится в ладонь. Это знает всякий оружейник, удовлетворяя смутную жажду ладони. Может быть, это ощущение и не связано с личной жестокостью — просто всякая ладонь, быть может, помнит о всех прежних ладонях.

Как-то раз в своем классе по конфликтам я затеял разговор о жестокости. Увеличивается ли людская жестокость с ходом истории? Обычно, если профессор ставит такого рода общий вопрос, в классе сразу поднимается несколько рук смекалистых студентов. Смекалистый студент старается отвечать на общие вопросы. Он может не попасть в точку, но это для него не главное. Главное — выделиться из общей массы класса, запомниться преподавателю в лицо. Таким образом, считает он, между мной и профом завяжутся персонализированные отношения, что, конечно, повлияет на отметку. Так оно и есть на самом деле: смекалистый студент не дурак.

В этот раз все мои любимчики сходились на том, что с ходом истории жестокость человека увеличивается. В качестве доказательства приводилось число жертв. В прежние века в насильственных конфликтах погибали сотни, ну тысячи. В XX веке жертвы исчисляются иногда десятками, а иногда и сотнями тысяч, в мировые войны доходит до миллионов.

С этими доводами трудно не согласиться, покивал я своим активистам в манере дедушки Мазая. Однако позвольте мне теперь поставить вопрос в другой плоскости: увеличилась ли жестокость человека после изобретения огнестрельного оружия?

Тут один с задней парты, молчун в бейсбольной шапке с натянутым на брови гнутым козырьком, сказал, что, по его

мнению, огнестрельное оружие немного — он подчеркнул, a bit, — уменьшило человеческую жестокость. Класс повернулся к нему, и ему волей-неволей пришлось развить свою мысль. Ну, возьмите, скажем, римского легионера. Чтобы убить врага, ему приходилось сближаться вплотную и врубаться мечом или копьем прямо в человеческую плоть. От такой работы звереешь. Теперь возьмите пулеметчика в траншее. Он рассеивает пули на большом расстоянии. Враги представляются ему какими-то бегущими и падающими фигурками. Факт разрыва плоти почти ускользает. Он убивает больше людей, чем легионер, но в обыденной жизни может остаться обычным человеком, что было невозможно с легионером: постоянный кровопуск выжигал в нем все, что мы называем человеческим, сэр.

Народ зашумел на Филиппа Ноуза (он, между прочим, был кадетом военно-морской академии в Аннаполисе и посещал Пинкертон, чтобы заработать себе кредиты для каких-то своих морских целей). Ты не прав, Фил! Это двойной стандарт! Демагогия! Твой пулеметчик — более жестокий гад, чем римский легионер, просто потому что может больше убить!

Вдруг один парень присоединился к Филу. Известно, что во время войны с Карфагеном легионеры развлекались тем, что распинали львов. Можете себе представить летчиков наших ВВС, которые для забавы распинают львов? Отбомбившись, они смотрят бейсбол.

В классе поднялся такой шум, что проходивший мимо прохвост Коллекто приоткрыл дверь. «У вас все в порядке, ребята?» Увидев конфликтолога Влоса, он успокоился и одобрительно подмигнул: хорошо, мол, что никто не спит.

Интересное происходило расслоение дискуссантов: мальчики постепенно переходили на сторону Фила, девочки были непримиримы в обличении тех, кто применяет средства массового уничтожения, гомосексуалисты, как всегда, отмалчивались. Кончилось тем, что одна чилийка, Мелинда Крупп, стала подавать какие-то странные сверчковые сигналы. Оказалось, что у нее сердце слишком быстро забилося. Подкожный датчик рекомендует срочно принять лекарство. Шум прекратился. Все с сочувствием проводили Мелинду. Не исключено, что многие смотрели на нее с завистью. Студент всегда студент: любой, самой интересной дискуссии он предпочтет возможность смотаться из класса.

Так или иначе, возбудив аудиторию своим «провокативным вопросом», я мог рассчитывать, что никто не задремлет. Уставившись в окно на ветку сосны с двумя раскачивающимися на ней кардиналами, я начал говорить: «Давайте коснемся такой штуки, как цель истории. Боюсь, что она нам неведома, леди и джентльмены. Мы привыкли думать, что наш путь — это путь постоянного усовершенствования человеческой расы. Какого усовершенствования, а главное — для чего? Быть может, эта цель возникала в видениях Ницше, когда он грезил о «надчеловеке»? Нацисты вульгаризировали его идеи, представив их как мечту о нордическом супермене. Большевики, которые никогда не признавались в своем ницшеанстве, выдвинули план создания «нового советского человека», который, по сути дела, является не чем иным, как другой версией супермена. Между тем Ницше имел в виду не супер-, а «над-человека», иными словами, человека, уже частично преодолевшего гравитацию «первичного греха». Быть может, в этом и состоит неведомая нам цель истории, то есть цель постоянного усовершенствования?

Принято думать, что в основе усовершенствования лежит рост интеллекта. Идея духовного усовершенствования так или иначе тоже связывается с интеллектом, что в общем-то справедливо, но только отчасти. Более или менее независимо от интеллекта стоит физическое усовершенствование.

Как и все остальное, физическое развитие человеческой расы несет в себе множество противоречий. С одной стороны, увеличивается число высоких и сильных, с другой — растет число ожиревших и вялых. Эра антибиотиков, витаминов, массового спорта, медицинской высокой технологии ведет к увеличению продолжительности жизни, а значит, и к перенаселению и распространению дряхлости. Поднимается заря «генной революции», и это дает возможность предположить, что мы на всех парах движемся к феномену «надчеловечества», а с другой стороны, генная инженерия порождает опасность дегенерации и образования своего рода «подчеловечества».

Поставив эти вопросы, затронем теперь феномен «счастья». В начале XX века то ли Короленко, то ли Максим Горький, которого называют основоположником литературы социалистического реализма, высказал зернистую мысль: «Человек рожден для счастья, как птица для полета». Можно в это

поверить, а можно предположить, что в этом заключается основополагающая ложь. Нетрудно увидеть, что человек рожден не для счастья, а для беды, ибо каждого из нас ждет смерть.

Счастье — это острая радость жизни, которая налетает мгновениями и так же мгновенно отлетает. Только в этом смысле тут уместно сравнение с полетом. Не исключено, что последнее такое мгновение возникает в момент смерти, в этом случае Короленко или Горький могут быть правы. Не исключено также, что это мгновение становится бесконечностью.

Давайте вернемся теперь к интеллекту. Рост его неразрывно связан с накоплением знаний. Оглядываясь назад, мы задаемся вопросом: почему мы в течение шести тысяч лет плелись улиткой, а теперь так лихо заракечиваемся? Значит ли это, что мы на столько же умнее древних, на сколько наши знания превышают их багаж? Весьма сомнительно. Человек, придумавший колесо, не ниже человека, разрабатывающего систему космической навигации. Видеокамеры, позволяющие запечатлеть ускользающий момент, напрямую относятся к тем краскам, с помощью которых был запечатлен на скале пробегающий мимо буйвол.

Все эти открытия, по сути дела, являются чудесами, но мы их считаем результатами детерминированного развития нашего интеллекта.

Физики-теоретики, то есть народ наиболее приближенный к метафизике, задаются вопросом: почему молчит космос. Они считают, что мы уже вышли на уровень, достойный сигнала. Они обеспокоены тем, что наша наука может вдруг стремительно подойти к своему тупику, задвинуться в него и остановиться навсегда. Они жаждут сигналов со звезд, но вообще-то, как я понимаю, они имеют в виду за-звездность. Космос — это все-таки то, что мы видим. Мы даже измеряем его расстояния в миллиардах световых лет. Однако чудовищность этих расстояний сама по себе почти опровергает идею космоса как дома. Физика жаждет пройти в метафизику, где нет никаких световых лет, как нет и света в нашем понимании, и откуда, быть может, давно уже подаются сигналы, которые мы пока не можем распознать.

Мир заастральный приоткрылся нам раз с приходом и уходом Христа, и, быть может, то, о чем тоскуют большие математические умы вроде Эйнштейна или Николая Ляпунова, станет не чем иным, как Вторым Пришествием.

Так или иначе, но сейчас мы подходим к тому моменту, после которого интеллектуальное развитие начнет сливаться с духовным.

— Можно выйти позвонить? — спросила первая скрипка сегодняшней дискуссии, кадет Филипп Ноуз.

— А мне нужно выйти помолиться, — капризно напомнила красавица из Саудовской Аравии Мэйсун Кэйхан. — Ведь я вас предупреждала, профессор.

— Да-да, — подтвердил я. — Давайте тогда сделаем общий перекур.

— Перекур! Перекур! — зашумели студенты. Станным образом вся группа очень быстро освоила произношение этого «политически некорректного» слова.

Все быстро разбежались кто куда. Несколько «альтернативщиков» задымили у подъезда нашего маленького корпуса. Чтобы не поощрять варварский обычай, я пошел со своей сигаретой в сторону главной площади кампуса. Там, рядом с бронзовой копией чудаковатого просветителя доктора Пинкертона, ритмически шевелилась довольно большая толпа. На помосте под ярким ноябрьским солнцем с его пролетающими, как птицы, листьями, стояли трубачи, саксофонисты и контрабасисты, все в нахлобученных старомодных федорах. Донеслась мгновенно опьяняющая тема 40-х годов *Now's the Time*¹ с ее чередой синкоп. Потом пошла другая, *I got a gal in Calamazoo*².

Вспомнились времена, когда мы хохмили напропалую: кто эта «гэл» из колымского зоо — зощенковская обезьяна, что ли?

«Свинги» появились совсем недавно в нашем передовом у.з. Вдруг среди студентов, похожих скорее на толпу машинистов в их круглых бейсболках с гнутыми козырьками и в широких бесформенных штанах, стали мелькать подтянутые тонконогие типчики: штиблеты, напомаженные башки, галстуки в диагональную полоску. Кто они, откуда, уж не шуточки ли Прозрачного, уж не призраки ли юности 1956 года на Петроградской стороне? Любопытно, что нынешних «свингов» с теми стилягами роднило не только шмотье и прически, но и походка

¹ Настало время (англ.).

² У меня была девчонка в Каламазо (англ.).

типа «а-вот-и-я-народы!», но и выражение лиц, нарциссический вызов обществу.

Как-то раз я увидел объявление: «Класс свинга приглашает всех желающих потанцевать. Многоцелевой зал Студенческого союза. Начало в 11 вечера». Мы приехали с сестрами О, с адмиралом и с неожиданным гостем, скульптором Межумышлиным. Этот последний, похоже, был убежден, что присутствие в нашем саду его работы «Пушкин в возрасте Державина» дает ему право на неожиданный визит в любое время и на любой срок. Может, он и прав: признаться, я уже не представляю себе своего сада без этой согбенной фигуры с висящей мотней.

Поскольку уж прижился, следует добавить еще несколько слов о переменах в его жизни. Межумышлин завязал со скульптурой и постригся в православные монахи. «Любое творчество греховно, — вещает он сейчас, — скульптура особенно. Недаром погиб Рим, недаром катится в пропасть Европа!» В этом смысле. Артистические патлы и борода пригодились ему и в монашестве. Ходит он, главным образом, в подрыснике, но, если переодевается в свитер и джинсы, снова становится неотличим от сотен других скульпторов. Сейчас он был как раз таким — крупный, неряшливый неформал из провинции. Войдя в «многоцелевой зал», он сразу стал пришепывать разболтанным «адидасом» правой ноги и щелкать кастаньетой левой руки.

В огромном помещении танцевали несколько сот свингеров. Непринужденно, словно на дворе ранняя «оттепель», с эстрады неся ритм «Бала дровосеков». Большинство танцоров, как молодых, так и старых, были в соответствующем прикиде: мальчики так, как описано выше, девочки в широких юбках и неизменных белых носочках: white socks girls. Конечно, это был своего рода ностальгический маскарад, но, с другой стороны, не было ничего более естественного, чем этот возврат героической моды. Среди всеобщей деконструкции конца века, словно из старомодного кинематографического «наплыва», проступило то, что называлось «свинг», или, в нашем советском варианте, «стиль».

Заиграли Zoot Suit Riot. Толпа с энтузиазмом взвинтила градус накала. В отличие от монотонной трясушки современной дискотеки, в свинге и во всех его вариантах — джиттербаге, буги-вуги, рок-н-ролле, — надо знать хореографию, со-

вершать множество па, подбрасывать партнерш и даже переворачивать их вокруг руки попойкой вверх.

Не прошло и нескольких минут, как вся наша компания была втянута в ритм. Адмирал Лихи, как несомненный участник ранних демонстраций военно-морского империализма, танцевал с каменным лицом, лишь слегка освещенным косой улыбкой, как бы обращенной к девушкам Японии. Галка бултыхалась во все стороны, а также вверх и вниз. При бурных взлетах открывались ее трусы, которые, к удивлению всех наших, оказывались теми же шортами, в коих она совершала утренние упражнения. Что касается монаха, то его уже обратала здоровенная игровуха в лакросс, которая в прошлом году посещала мой класс по литературным утопиям. Она была явно увлечена своим партнером из разряда *something different*¹.

На Вавку нашу стремительно вышел некто стройный в черной паре с развевающимися фалдами. Ба, не кто иной, как неизвестно откуда взявшийся барон Мамм! Любопытно, откуда эти молокососы знают танцы нашей поры? Так или иначе, получалось здорово, особенно если смотреть со спины. При поворотах болван Мамм бросал на меня взгляды, полные строгого торжества.

Ну и наконец, еще одна пара — мы с Миркой. «Я это видела только в кино!» — смеялась моя бывшая, или снова будущая, невестка. А я вспоминал весну 56-го и «школу» на площади Льва Толстого, арендованную под полуподпольные танцы. Никто тогда толком не знал, как «бацать стилем», но вдруг появились два парня из Штатов, сыновья дипломатов; они знали. Эти «штатники» плясали в центре зала, а толпа вокруг копировала их движения. «Шухер!» — крикнул кто-то от дверей. Это означало, что появилась комсомольская дружина. Оркестр Кондата немедленно перешел на «Молдавеняску». Дружина удалилась, и снова пошел «стиль».

Прошло всего лишь сорок с чем-то лет, и я, сутулый, костлявый, с пегими усами, бывший русский писатель, а ныне профессор конфликтологии на грани отставки, заново повторил тот урок. Многое получалось, я даже раскручивал Мирку из-за спины, я был полностью захвачен свингом и только слегка прихрамывал из-за артрита.

¹ Какой-то другой (англ.).

Сигарета докурена, перерыв кончился, пора возвращаться в класс. Итак, продолжим разговор о духовном развитии. Вернемся сначала к жестокости. Недавно один журнал в Москве задавался вопросом: не завянет ли человечество от скуки, если покончит с насилием? Интересно, что насилие, а стало быть, и жестокость напрямую соединяются с подъемом и вдохновением. Проявление насилия, сопротивление насилию и ответное насилие — вот что крутит порочный круг человечества. Толстой, быть может самый серьезный конфликтолог тысячелетия, пытался прорвать этот круг, призывая к несопротивлению злу насилием. Эта утопическая идея с его времени ни на йоту не стала менее утопической, и все-таки на протяжении двух последних столетий что-то сдвинулось, иначе не появился бы и Толстой.

Господа студенты, конечно, понимают, что в основе человеческой жестокости лежит жажда мяса. Древний охотник поражал оленя, одолевал его, добивал, сдира с него шкуру, резал и жрал. Акт резни медлительно развивался в институтах власти, получая ритуальное значение, знаменуя мощь и власть, а также — парадоксально — и смирение, когда приносили жертвы богам. Во время войн человек сближался с другим человеком вплотную, потому что так легче было убить. Прочтите Иосифа Флавия, и вы увидите всечеловеческий пир расчленения и садизма.

При всем парадоксе нашей дискуссии я склонен согласиться с Филиппом Ноузом: огнестрельное оружие уменьшило садизм. Кстати, где Фил? Он исчез во время перекура. Срочно вызвало командование? Наверное, узнали о его взглядах на огнестрельное оружие. Класс хохотнул.

Чем более дальнобойной становилась артиллерия, тем меньше ярости вкладывал в свое дело артиллерист. Любопытный пример в этом смысле представляет сцена обороны Шевардинского редута у того же Толстого. Летящие в них ядра и гранаты солдаты воспринимают отвлеченно, без злобы: оно летит (о ядре), она пришла (о гранате). С той же отвлеченностью, совсем без злобы, словно не в живых людей, они отправляют свои ответы: пошла, матушка (о гранате), лети, соколик (о ядре). Только когда пехота врывается на редут со своими штыками и палашами, начинается остервенелая резня.

Во время Второй мировой войны молодые американцы в «летающих крепостях», покрывая Германию сплошной бом-

бежкой, насвистывали песенки Пэгги Ли. Что творилось внизу, их не особенно интересовало, а там творилось то, что описано у Воннегута в *Slaughter House № 5*¹.

Даже насквозь идеологизированные нацистские подводники, выпуская свои торпеды, испытывали скорее спортивный азарт, чем садистскую радость.

Технология все больше вытесняет личные чувства из сферы большой войны. Входят в строй «умные бомбы» и точечные прицелы. С неизбежной долей лицемерия, но все-таки и с долей ответственности генералы говорят о «коллатеральных жертвах» среди населения, стараются отнести их к случайным ошибкам. Конечно, и в наше время полно людей, охочих до резни, — хамазовцы, скажем, в Израиле, чеченские живодеры Басаева, — но они относятся скорее к средневековью, чем к миру компьютеров.

Конечно, памятуя о совсем еще недавних временах Освенцима и ГУЛАГа, мы не можем пока ответить на вопрос, становится ли человек менее жестоким с ходом «прогресса», однако уже сейчас, как мне кажется, появляются предпосылки для того, чтобы задаться вопросом: не заложена ли в задумку человеческой расы попытка изжить первичную жестокость как знак атавизма? Мы можем даже представить, что «надчеловек» будет лишен жестокости.

Мы уже говорили, что первичная жестокость была вызвана жаждой мяса. Кстати, существует не очень-то политически корректное мнение, что она особенно развита среди этнических групп, обожравшихся свежатиной. В конечном счете все это идет от первородного греха, от «био», то есть от вовлеченности в замкнутый круг взаимопожирания. Мы и сейчас еще вращаемся в потрохах метаболизма, не можем освободиться от потребности умерщвлять чужую плоть, отрывать кусок от целого, размельчать его твердыми штуками, которые именно для этого (а не для улыбки) вырастают у нас во рту, проглатывать получившуюся во рту пульпу, переваривать ее в своем желудке, то есть втягивать из нее все нужное себе в кровь, а ненужное выделять наружу через задний проход.

Однако посмотрите, как далеко мы, основные массы XX века, с нашей индустрией *food processing*², ушли от первичных

¹ Бойня № 5.

² Производство пищи (англ.).

закланий. Накладывая на ломоть хлеба кружочки колбасы, мы меньше всего думаем, что эти кружочки принадлежали чему-то целому, хрюкающему или мычащему. Мы просто едим какую-то вкусную, приготовленную высокотехнологическим способом еду.

Генная инженерия в сочетании с вегетарианскими тенденциями уведет нас еще дальше от первичных закланий. Не исключено, что «над-человек» перестанет быть жующей тварью, а зубы у него останутся только для улыбок и будут мелькать какими-нибудь приятными огоньками. Иными словами, он станет уже не совсем «био».

Германия дала нам такое ублюдочное животное, как Адольф Гитлер, но она же родила удивительных человеческих провидцев, и среди них Артура Шопенгауэра. Этот ум или, скажем, этот дух донес до нас идею сострадания. Из всех чувств, коими наделен человек, сказал он, лишь сострадание относится к Небесному. Все остальное в тех или иных формах вырастает из биокруга, из воли к жизни, а значит, в основе своей относится к хищничеству.

Сострадание может появиться у человека не только к себе подобным, но и к другим насельникам брэнного мира. У эгофутуриста Игоря Северянина есть такие строки:

В парке плакала девочка:
Посмотри-ка ты, папочка,
У малюсенькой ласточки
Переломана лапочка!
Я возьму птицу бедную
И в платочек укутаю.
И отец содрогнулся,
Потрясенный минутою,
И простил он грядущие
Все обиды и шалости
Своей маленькой девочке,
Зарывавшей от жалости.

При всей своей манерности Северянин иногда создавал нечто пронзительное. В этих строчках и отец, и дочь охвачены небесным чувством сострадания, и ласточка как объект сострадания вовлечена в акт небесной милости, то есть, быть может, в над-человечность.

Двадцатый век принес массовые вакханалии ублюдочной плоти, кровавые заклания коммунизма и нацизма. Однако он же ввел в обиход неведомые прежде акции массового гуманизма, вдохновленные состраданием. Когда еще случалось в человеческой истории, чтобы армада снималась плыть (в данном случае лететь) за полсвета с единственной целью — спасти умирающих детей страны, чье мужичье осатанело от дурманных листьев «хат»?

В этом веке, от которого уже осталось всего ничего, на Земле появились могущественные организации, профессионально занятые состраданием. Возникла всемирная либеральная система ООН. Оборонительный блок решил предотвратить возможность геноцида в глухом углу Европы. Пусть эта операция оказалась ущербной во многих отношениях, и прежде всего в перекосе нравственного стержня, все-таки она была мотивирована не чем иным, как либеральным мировоззрением.

Означает ли это, что к концу XX века люди чуть-чуть отошли от своего «био» и приблизились к «не-био» благодаря своему единственному, по Шопенгауэру, «небесному чувству»? Пойдет ли следующий век дальше по этому пути или отбросит его как старомодный вздор?

Люди привыкли считать вздором все, что выходит за рамки прагматизма. А вдруг окажется наоборот? Ясно, что без прагматических подпорок рассыплется весь карточный домик так называемой реальности, однако без вспышек вдохновения в этом домике нельзя будет дышать.

В этом смысле интересна история всем сейчас известного эколога, или, как его называют в прессе, «борца за воздух», Славы Горелика. В начале 90-х в России он рьяно устремился в новый, далеко не всегда легитимный бизнес. В принципе, его можно было тогда назвать членом «русской мафии» или своего рода «антимафиозным мафиозо», поскольку его группа всегда находилась в состоянии войны с другими кланами. Так или иначе, через его руки проходили фантастические суммы, и часть этих сумм прилипала к рукам в основном в виде наличных.

Будучи еще крутым мафиозо, мистер Горелик делал значительные дотации российским экологическим обществам. Свою финансовую группу он даже назвал ООО «Природа».

Естественно, многие думали, что это делается лишь для отвода глаз или для отмыwania грязных денег, но это было справедливо только отчасти. Горелик уже тогда был одержим тем, что он позднее назвал *the fight against the world's vicious farting*¹.

Два года назад, после того как «Природа» стабилизировалась в роли легитимной могущественной корпорации, а ее основатели Горелик, Мумуев и Дикобразова вошли в число так называемых российских «олигархов», происходит то, что мы склонны считать человеческим чудом. Слава и его жена, известная деятельница женского движения Наталья Светлякова, публикуют манифест, в котором объявляют о создании международного общества AIR-GOR («Горный воздух»). В пользу этого общества они переводят все свои личные средства со счетов в России и за границей. «Пусть наш поступок выглядит донкихотством, — говорят они, — но мы не против ветряных мельниц, мы за них!»

Суть этого поступка состоит в том, что он совершается не для себя и даже не для современников — люди пока еще не задыхаются от удушья, — а для гипотетических поколений будущего. Или даже для того грядущего естества, которое мы здесь называем «над-человечеством». Так эти люди осуществляют свое право на утопию.

Среди утопий XX века есть лишь одна, что не развалилась, — это утопия художественной культуры. Революцию начали французы, импрессионисты и символисты. Кондовый реализм качнулся. За привычными декорациями стала просвечивать метафизика.

Через пару десятилетий дело докатилось до России. Мережковский произнес свою знаменитую речь. Смысл ее сводился к тому, что функциональный (социальный) реализм оставляет человека перед черной бездной, потому что делает вид, что ее не существует. Реализм говорит, что в мире есть непознанное, подразумевая, что оно будет познано. Между тем любой человек в глубине души догадывается, что в мире, или за миром, есть непознаваемое, и оно не становится для него светлее от того, что о нем не принято говорить.

¹ Борьба против мирового злобного пердежа (англ.).

Видеть мир в символах за-мирности — вот к чему вели символисты, и именно в эту сторону стало развиваться искусство XX века. Только в символах и виден смысл, или несмысл, невзирая на другие знаковые клички в контексте литературной конкуренции.

В то время, когда политические утопии захлебывались кровью в своей борьбе за власть, то есть за биологию, хлебниковский Зангези, этот новый Заратустра, а также малевичевский «авиатор иных сфер» всякий раз старались, как нынче говорят, «выйти в астрал».

Сюрреалисты, и вместе с ними Пикассо и Дали, поставили под сомнение реальность или, скажем так, обязательность реальных форм. Метафизика становилась непрременной художественной метафорой. Технология искусства позволила останавливать вечно пролетающий мимо миг. До сих пор не ясно, как возникает волшебство фотографии и кино, что позволяет запечатлеть на пленке момент со всеми его предметами, лицами и выражением лиц. Человек умирает, пропадают предметы, разваливается мизансцена, однако оказывается, что человек не совсем умирает, предметы не совсем пропадают и мизансцена остается в хранилище. Конечно, это не победа над временем, однако отчетливый знак того, что в каких-то пересечениях бытия и не-бытия существует более совершенная фильмотека.

Я долго еще говорил о единственной успешной революции XX века, об искусстве отрыва. В заключение, обращаясь в окно к пушистой, словно живая тварь, ветке с качающимися на ней, как игрушки, кардинальчиками, я произнес: «Никто не скажет, для чего существует род людской. Однако мы можем предположить, что смысл нашего существования состоит в достойном завершении пути. Усовершенствуясь, мы, может быть, постепенно выходим из плена и готовимся к возвращению в наш вечный дом. Конечно, вы понимаете, что это только один сценарий. По всей вероятности, есть немало и других».

В классе давно уже никого не было. Студенты только выглядят взрослыми, на самом деле мы их правильно зовем kids, детьми. Если время урока вышло, ничто не заставит их удержаться в комнате, даже странноватые идеи доктора Влоса. Хорошо, что я не успел пообещать еще один вариант человеческого развития — в частности, тот, что описан в седьмой час-

ти этой книги. Думать о таких вещах отказывается детский ум. Однажды даже ревностная католичка Мелинда Крупп прервала меня с некоторым возмущением: «Вы что хотите сказать, профессор? Конец человечества? Вы это всерьез?» Словно она не читала «От Иоанна».

Роман подходит к концу; народ разъезжается

Вновь мы остались вдвоем с Онегиным в огромном доме. Кот не то чтобы постарел, но изрядно посолоднел. Притворный бандитизм в округе меньше его увлекает. Он любит теперь сидеть на столе в кухне и смотреть на папу, когда тот вкушает свой патентованный диетический ужин. Ты не один, как бы говорит он мне своими круглыми глазищами и подрагивающими усищами, мы с тобой вместе; мужчины, друзья. Я скоро догоню тебя по возрасту, если принимать во внимание ваш дурацкий расчет кошачьих лет — один к семи. Иногда лапой берет какой-нибудь кусочек из тарелки.

Сестры разъехались почти одновременно. Галка наконец вышла замуж за своего адмирала. Они поселились сравнительно неподалеку от Пинкертона, возле базы ВМФ Норфолк, в мегаполисе вирджинских приатлантических городищ, в старом доме Лихи, где висели портреты прежних морских офицеров этого рода. Интересно отметить, что предки были в невысоких чинах — какой-нибудь патриарх с отблескивающими в вечных сумерках гостиной сединами на поверку оказывался всего лишь лейтенантом. Продвижение в те времена шло очень медленно. Не то что сейчас: идет какой-нибудь молодой, думаешь, сержант, а он вице-адмирал.

Все у них шло вроде бы недурно. Вдвоем они ходили на терапевтические посиделки в местном отделении АА и выгоняли свой спирт ездой на тандеме вдоль бордуока в Вирджиния-Бич. Иногда среди ночи звонили старому Стасу и пели на два голоса советский морской репертуар. «Там за волнами, бурей полными, моряка родимый дом. Над крылечками дым колечками и черемуха под окном». Тут Галка включала такую пронзительность — «Синие очи далеких подруг! Ой вы, ночи, матросские ночи! Только волны да ветер вокруг!» — что поневоле можно было подумать: поют не совсем о том, о чем гласят слова.

Теперь о Вавке; с ней получилось сложнее. Несмотря на нашу, ну, скажем, виртуальную близость, я не был уверен, что прочел ее до конца. Что из того, что мордочкой не вышла, — во всем остальном цвела столь прелестная и гордая женственность, что иногда приходил в голову курьез: общепринятые-то красавицы ведь все в общем-то на одно лицо, а вот у необычных-то красавиц как раз и должны быть такие мордочки, как у Вавки? Ведь если, знаете ли, посмотреть внимательно взглядом — кого? — ну, скажем, эстета, можно предположить, что Вавка — это просто утрированная Наташа-Какаша Светлякова-Горелик, недавно объявленная Женщиной Двух Столетий. И даже, милостивые государи, при определенной изощренности (прямой перевод слова *sophistication*) можно представить, что Какашина мордочка не дотягивает до Вавкиной.

Она уехала, конечно, из-за того, что не хотела оставаться наедине со старым фантазером. Почувствовала, что Мирка намылилась, и опередила старшую сестру. Может быть, была и другая причина. Дело в том, что она как раз вступила в полосу успеха. Как-то вечером я увидел ее на канале Arts по программе PBS. В чудесных очках, которые, конечно, слегка отвлекали внимание от ноздрят, великолепным, слегка запинаящимся, но не от смущения, а от шика, английским она комментировала вашингтонскую премьеру оперы «Любовь к трем апельсинам». Мы с Онегиным едва с кресла не попадали. Каково — свой подкожный человек, не предупредив, появляется на экране в роли американской знаменитости! Оказалось, что она уже давно в этой роли подвизается. Все русские шоу держит в своих руках с этими тонкими, но сильными пальцами. Оказалось также, что, кроме Ти-Вн, она ведет колонку в шикарном журнале под название то ли *Fortune*, то ли *Torture*¹. *Moscow Art Scholar*² — такой у нее теперь чин. Словом, она уехала в Нью-Йорк и сняла квартирку в Сохо, в бывшем здании полицейского управления, то есть в самой сердцевине.

Была, конечно, еще одна причина для ее — бегства? предательства? негодяйства? — в общем, для отъезда. Причина заключалась в жалком аристократишке Алешке бароне Мамме. В бытность ее в этом доме он то и дело звонил и, напав на

¹ Удача... Пытка (англ.).

² Знаток искусств из Москвы (англ.).

меня, вешал трубку. После ее отъезда он продолжал звонить, но теперь уже не скрывался, а, наоборот, норовил вступить в продолжительную беседу с «достопочтенным Власом Аполлоновичем», как он меня называл. Говорил он всегда только по-русски, как бы подчеркивая, что он свой. Больше того — употреблял жаргон. Например, ему нравилось слово «заколебать», и он им часто пользовался. «Эти нестабильности в московской сфере меня даунрайт¹ заколебали». Такие фразы я с ходу записывал на желтые стикеры (читатель, чуешь подлянку?) и приклеивал их к стене. Впрочем, они там засыхали и опадали без пользы.

Он где-то преподавал свой классицизм, в каком-то женском колледже Коннектикута, так что мы сближались с ним еще и по академической линии. Однажды он даже завел разговор о своем проекте консорциума его небольшого, «но изысканного» заведения с каким-нибудь знаменитым и могущественным вузом; таким мог бы оказаться и ваш Пинкертон, достопочтенный Влас Аполлонович, на предмет взаимной пользы по части классического куррикулума и современной конфликтологии. По правде говоря, я сначала «купился» и подумал, что именно в этом проекте и состоит его цель разговоров со мной. Однако все оказалось иначе.

Как-то он спросил, словно между прочим, слышал ли я, что о нем болтают в Америке. Сказать ему, что никто никогда нигде ни разу не вспомнил о нем в разговорах со мной ни в Америке, ни в какой-либо другой части света, было бы жестоко, а между тем так и обстояло дело. Даже Вавка никогда не упоминала симпатичного мистера Мамма, а ведь, кажется, была заинтересована. Впрочем, однажды я вышел в сад, когда Вавка и Мирка вели там какой-то серьезный разговор из тех, что женщины ведут о мужчинах с серьезными намерениями. Увидев меня, они замолчали. Вавка сидела с обиженной мордочкой. Представьте себе обиженную французскую бульдожку. Может быть, они говорили о бароне — почти уверен, что именно о нем.

— Алекс, — сказал я в телефон, — я ничего о вас не слышал, окромя хорошего.

С большим достоинством он заметил, что речь идет не о плохом. Но и не о хорошем. Просто болтают, что он гомо-

¹ От англ. downright — совершенно, прямо-таки.

сексуалист. Это неправда. Вернее, не совсем правда. В молодости, ну лет десять назад (ему тогда, стало быть, было лет восемнадцать), он как-то заехал на Кэйп-Код в разгаре сезона. Это было еще до всех этих ужасов с иммунным дефицитом. Там бурлил невероятный карнавал. Парни накачивали себе женский гормон под соски. Ну, в общем, он оказался в одной компании, потерял голову и некоторое время не мог ее найти. Но потом все-таки нашел. Кого? Свою голову, сэр. Он влюблял в себя женщин много раз. В женщине каждый раз находишь что-то новое. Не так ли? Мужчина банален, именно поэтому он хочет стать женщиной. Не так ли, Влас Аполлонович? Нет, не так? А как? Он просто не хочет? Чего не хочет? Не хочет стать женщиной? Какой прелестный софизм! Быть может, вы думаете, что я «бай»? (Поскольку беседа велась по-русски, я сначала подумал, что Алекс имеет в виду среднеазиатского владыку, угнетателя мужчин и женщин, и только несколько минут спустя понял, что речь идет о двойной сексуальности, или, как в советских ВС говорили, о «двустволках»).

Нет, он не «бай». Он обыкновенный банальный мужчина. И вы знаете, в кого я влюблен, достопочтенный Влас Аполлонович, — я влюблен в вашу племянницу Валентину. (Оказывается, Вавка — моя племянница!) У меня есть просто катастрофа на Валентину.

Они встретились в Российской Федерации на каком-то курорте, она там ходила как «девушка серебряного века». Ему вспомнилось, знаете ли, из нашей поэзии: «Валентина-плутоглазка, остроумная чертовка!» И вот теперь в Нью-Йорке ей сказали, что он фэггот. И тогда она сказала... Наконец-то Алешка дошел до своей истинной печали, до той причины, из-за которой он стал чуть ли не ежедневно звонить достопочтенному Власу Аполлоновичу. Вавка, очевидно, отказалась с ним встречаться. Он разрыдался.

Сквозь слезы он бормотал по системе АТ&Т: «Я вычитаю себя без нее, я вычитаю себя без ее чудесного лица, без ее глаз, без ее голоса, я вычитаю себя из Вселенной, достопочтенный Влас Аполлонович. Мне не нужны ни мужчины, ни женщины — мне нужна только Валентина Остроухова!»

Неожиданно для себя я дико разозлился. Вычитаешь, ну и вычитай! Мне-то какое дело? Мало того что он называет меня Влас, а не Стас, как будто я ничего не сделал для лите-

ратуры; он и отчество мое видоизменяет, видите ли, да еще и величает «достопочтенным», словно я купеческого сословия. В своем эмигрантском замшелом русском он не чувствует, что «достопочтенный» — это нечто пузатое, тяжеловесное, а ведь я поджар, долговяз и легок на ходу. Ему, видите ли, нужна только Валентина Остроухова, моя племянница. Он, видите ли, не гомосек, и не двухсбруйный, и не мужской кобелек, ему просто нужна до зарезу моя Вавка — чистый образ любви, голосок, глазки, мопящая мордочка. И он ревет, этот баронский ублюдок, которому отказали в игрушке. Ревешь — реви, а меня-то чего в свои нюни втягиваешь? Или уже зачислил в дядюшки? Я перешел на английский: I'm awfully sorry, Mr. Mumm, but I don't see any reason for talking to you on these matters. I categorically reject a perspective to become any sort of your confidant, not to mention a matchmake. In case you would dial my number again, please, do not call me dostopochtenny anymore. Instead I suggest «Mr. Vaccino», which is my professional name, and in case you'll be unable to overcome your penchant for the superlatives use the adjective «highly-esteemed», all right?¹

«На том конце провода», как говорили в старину, страдающая душа захлебнулась в рыданиях. Я повесил трубку и тут же позвонил на Вавкин мобильник. «Этот малый, барон Мамм, от тебя без ума, — сказал я ей. — Знаешь, это редкость на исходе века. Давай-ка без глупостей выходи за него замуж!»

Покажется странным, но она немедленно последовала моему совету и, стало быть, стала баронессой. Иными словами, дамочка пошла по стопам легендарной Какаши, которая, кажется, на каком-то этапе своего пути умудрилась одновременно быть и графиней и княгиней. С другой стороны, мне лично, например, это совсем не кажется странным. Мне ка-

¹ Страшно извиняюсь, мистер Мамм, но я не вижу ни малейшей причины беседовать с вами по этим вопросам. Я категорически отвергаю перспективу стать в любом виде вашим исповедником, не говоря уже о сводничестве. Если же вы снова позвоните мне, пожалуйста, больше не называйте меня достопочтенным. Вместо этого я предлагаю «мистер Ваксино» — это мой профессиональный псевдоним, а уж коли вы не способны преодолеть свою склонность к превосходным степеням, используйте определение «высокохотимый», — договорились? (англ.)

жется, что Вавка это сделала нарочно, чтобы заново взвинтить воображение старого Стаса.

Эта история теперь приобретает совсем новые обертоны. Баронесса ведет себя независимо, часто дерзит своему молодому мужу — оно и не удивительно для комментатора телевидения по отношению к преподавателю «маленькой, но элегантной» школы. Она ему говорит утром: «Знаешь, Мамм, я улетаю на один день, завтра у нас съемка в Центре Кеннеди». Ему говорить нелегко, он только отвечает глазами: «Моя сексуальная ориентация — это баронесса Остроухова-Мамм!» Она мчится вовсю, чтобы поймать последний «челиок» из аэропорта Ла Гардия. В десять вечера прилетает в аэропорт Роналд Рейган. Через двадцать минут выезжает на Итерстэйт-77 в наемном авто компании «Херц» (русские читатели, надеюсь, поймут и простят). Около одиннадцати она въезжает в поселок Лэдью-Хилл и ждет на стоянке, когда старый Стас погасит свет. Тот ложится рано, чтобы завтра проснуться и написать эту страницу. Свет гаснет. Ее каблучки быстро пролетают по асфальту. Своим ключом открывает дверь и прямо у дверей начинает раздеваться. Туфли остаются в прихожей, юбка на лестнице, пиджачок летит на журнальный столик в гостиной, блузка повисает на перилах, ну и так далее, еще два предмета. Онегин, хвост трубой, радостно скачет впереди обнажающейся кузины. Баронесса входит в спальню, чуть поддерживая снизу свои артемидские груди (не от Артемия Артемьевича, упаси Зевс, а от Охотицы Артемиды). Я весь поднимаюсь ей навстречу, но она направляет меня в сидячую позицию, забирается ко мне на колени и накрывает цель. Освобожденно и радостно вздохнув, она оплетает вокруг моей шеи свои девчачьи руки. За один лишь этот вздох смиренно благодарю тебя, Провидение!

У нас вообще-то прогресс. Теперь мы не успокаиваемся, не пройдя через все наши позы. Их не так уж много, какой-нибудь десяток. Не буду их описывать, каждый может включить свое собственное воображение или перелистать «Камасутру». Скажу лишь, что в наших вариантах вряд ли найдешь индийскую маслянистую деловитость. Мы больше все-таки завязаны на художественной литературе, просто договариваем то, о чем умалчивал Тургенев. Договариваем, конечно, в переносном смысле, потому что, как всегда, не произносится ни слова. Она засыпает на костлявом плече похотливого старика.

Старик не шевелится, боясь спугнуть счастливые минуты. Потом проваливается в какое-то путешествие по Эгейским островам, в котором всякого рода кошки и собаки, словно паруса, пробегают по свежему морю, являясь в то же время позывными «Радио Анкары» и совсем уж сбоку припеку какими-то крупными лимфоцитами крови.

Утром, конечно, никаких следов Вавки, даже запаха ее духов, не обнаруживается. Никого поблизости нет, кроме Прозрачного. Он сидит в ногах, расплывшийся, как живот Будды, пупком взирает на друга с юмористической укоризной. Потом это пузо валится на меня и хорошенько проминает от макушки до пяток. Скрипнув суставами, вылезаю из-под одеяла. Немедленно входит кот со своими утренними требованиями. День начался.

Что касается Миррели, то здесь все было просто. Она просто вышла замуж за своего прежнего мужа Дельфа — моего сына, чему я был, пожалуй, рад, и переехала в Калифорнию. Теперь они вместе трудятся на поприще генетики, этой сверхнауки, которая вскоре, похоже, перевернет все наши представления о нашей собственной природе.

Сложности начались позже, когда все, казалось, уже устоялось. Сигурни не только взглядом или словом, но даже и жестом не выказала ни ненависти, ни жажды мести, ни даже простецкой обиды. Передовая женщина Калифорнии, она была, разумеется, агентом по недвижимости. Она сама нашла «молодоженам» подходящий дом в полумиле от ее собственного. Дельфин мог заезжать к ребятам по нескольку раз в день, чтобы не создавать травматической ситуации. Мирка тоже могла заезжать в любое время. Сигурни ничего против нее не имела. Политическая корректность была не то что усвоена этой рослой женщиной-янки, она с ней просто родилась как с наследием долгой череды просветителей. Жены в общем-то стали друзьями. Мирка не раз готовила в «старой семье» и возила детей на забаву к дельфинам в марина-лэнд; дешевый каламбур, как всегда, получается случайно. Они даже всем кагалом съездили в Москву, где жили на недавно освободившейся даче сводного дедушки профессора Остроухова, а для городских ночевков после театра использовали гнездо прямого дедушки (по папе) Стаса Ваксина.

«Я буду учиться сдержанности у Огурца», — нередко заявляла Мирка, имея в виду Сигурни. Прозвище ее она произ-

вела по цепи фонетических узелков: Сигурни—Снегурка—Огурка—Огурец. Американка была в восторге, узнав, что теперь она «Кьюкамбер». Она, впрочем, старалась не поддаваться псевдогрубоватому стилю утонченной москвички.

Мирке и в самом деле пришлось учиться сдержанности. Вскоре она стала замечать, что Сигурни иной раз застывает в углу дома и смотрит в одну точку, словно не понимает, куда воткнуть пылесос. Иногда она ловила растерянный взгляд Дельфа, который можно было, конечно, списать на чужаковатость ученого человека. Однажды ученый человек остался ночевать в «старом доме». Он, конечно, изнемогает от жалости к Огурцу, думала она, а вслух только похохатывала: «Дельфишка, а ты неплохо устроился? В профсоюз не платил, а двух женок захватил. Все вы, мужичье, одним мирром мазаны, прошу прощения за скрытый каламбур, вечно вас к гарему тянет».

«Listen, Space Station, — однажды сказала ей Огурец, имея в виду станцию «Мир», — why do you smock? Are you really not aware that's dangerous to your health?»

«You know, Ogurets, without it I would howl like a wolf»¹, — ответила Мирка.

Женщины очень серьезно и печально посмотрели друг на друга. Еще момент, и они обнялись бы в слезах. Сигурни попросила у Мирки сигарету. Соседи по поселку долго не могли прийти в себя: обе жены профессора Дельфа Ваксаки повадились сидеть на крыльце с двумя струйками табачного дыма вдобавок к двум струйкам кофейного, тоже не очень-то полезного, пара. В прежние времена «эту русскую», наверное, обвинили бы в ведьмизме; сейчас до этого не дошло. Народ все-таки сведущий — все знают, в каком варварстве пребывает то место, откуда она приехала.

Временами в Лэджю-Хилл начинался дикий сестринский перезвон. Моя нынешняя система позволяла мне всех трех одновременно держать на одной линии. Теперь они могли за милую душу орать друг дружке и любимому классику Ваксину: «В Москву! В Москву!»

¹ Слушай, Космическая Станция... зачем ты куришь? Ты действительно не знаешь, что это опасно для твоего здоровья? — Знаешь, Огурец, без этого я бы звывала как волк (англ.).

Довольно, я возвращаюсь! Хватит! Эта страна лишает меня моей личности! Чертов адмирал совсем окосел, перевозит Сталина как создателя подводного флота! Весь день орет советские песни! Я сопьюсь из-за него! А мой? Жалкий аристократишко! Никуда не ходит — боится, как бы его не приняли за гомика. Выпиливает рамочки для портретов Валентины. Совсем чувак задвинулся, такому даже изменить не вмоготу. Стас, это ты виноват — подбил меня выйти за него. Сознайся, тебе просто захотелось баронессы! Ты ведь еще не пробовал баронессы — сознайся! Гёрлс, смотрите, такой старый, а баронессы еще не пробовал!

А ты, Мирка, что молчишь? Все орут, а она молчит! А что мне орать, я не первый раз за своим замужем. И потом, он все-таки наш сын, Дельфин Власевич! А главное, девки, — перестаньте визжать! — он все-таки работает над проблемой над-человечества, mind it!¹

— В Москву, в Москву, — завывали все три девки сразу.

Пусть читатель не подумает, что это подвывают три чеховских мойры. Москва для сестер О — это всего лишь пароль. Он означает, что они просто не могут жить друг без дружки. И, как ни странно, без своего старого Стаса. Так что не тяготись одиночеством, говорю я себе, а наслаждайся им, а то, не ровен час, все три сразу вернутся.

Снова на «Делорене»

Такова ситуация. Каждое утро я выхожу на свою трассу и бегу по направлению к дому правительства нашего графства, который раскинул свои постмодернистские крылья над пологими вирджинскими холмами с апломбом, что сгодился бы и для независимой страны — ну, скажем, для Израиля. Уже тридцать с чем-то лет я занимаюсь этим делом и дошел до того, что не могу начать день, не пробежав мили три.

Нередко во время бега приходят важные соображения по сочинительству. Так, например, идея отправиться в творческую командировку на Кукушкины острова пришла ко мне во время бега вокруг горы Машук, уже после «Места дуэли», ко-

¹ Имей это в виду (англ.).

гда мой паровоз успел раскошегариться, ноги шли ровным темпом, майка намокла, повязка на лбу хоть выжимай, то есть когда все уже было готово для сочинительства.

Сейчас, в предпоследнюю весну XX века, появилась и другая неожиданность: рифмы. То и дело во время бега в башке возникают «корневые» или «ассоциативные» штучки, за которыми гоняются поэты. Ну, скажем: «Произволы—Радзивииллы», «Варит яйца—Вариаций». Лета к суровой рифме клонят, а вслед за рифмой волей-неволей возникает и стих.

Холодная весна, а в стихах все время всплывают жаркие делишки над Косово. Забытая Богом глухомань вдруг превратилась в полигон человеческих произволов. Пока мы в Америке спим, там уже успевает свершиться какое-нибудь «коллатеральное» злодеяние. Встав из постели, мы тут же об этом узнаем. Вот, например, эта история с Чарли Браво, который плохо выбрал цель, невзирая на указания Матери, то есть АВАК-Са. Я бегу, бубню рифмы:

Он подлетает, Чарли Браво,
Над ним, как мать, летит АВАКС.
Сквозь тучи виден берег рваный
И деревень дремучий воск.

Великий универсальный размер «служил Гаврила дрово-секом» уводит меня все дальше по асфальтовой тропинке в тронутый зябким зеленым пухом полулес-полупарк.

Вот он взлетает по спирали,
Уходит свечкою в зенит.
Искус воздушного пирата,
Как саранча вокруг звенит.

Темп учащается. Резкий луч солнца, словно прожектор ПВО, начинает бить из-за угла правительственного здания. Стих завершается на третьей строфе:

Он целит в красных злые танки,
В посланников белградских бонз,
А попадает не в подоилов —
В албанцев, страждущих обоз.

На поясе у меня библикает пейджер. Еще год назад я сопротивлялся этим маленьким штучкам, в классе даже шутил, если у кого-нибудь библикало в штанах: «Вы, должно быть, доктор, мой друг?» А теперь как-то даже и не представляю себя без этого средства коммуникации величиной со спичечную коробку. Тем, кто не знает, что такое спичечная коробка, объясняю: спичечная коробка — это маленький контейнер, содержащий деревянные палочки с воспламеняющимися от трения головками, величиной не более пейджера.

Черные буковки побежали по маленькому экранчику: «Stas, I need to see you as soon as possible. Please, come directly to the club. Igor»¹.

Год назад он остался один. Любка Андриканис завершилась. Ушла вместе со своей юношеской мифологией и климактерическими неврозами, со своей хрустящей кулебякой и любовью к Стасу Ваксину, которая так подогревала ее любовно-ненависть к ее Игорю. Произошло это без всяких драматических бурь, ничего похожего на события шестой главы — просто, как говорится, «не проснулась». Мы с Игорем сначала, в синагоге, стойко стояли, только щеки дергались, а потом на кладбище долго рыдали, обнявшись.

Славка успел только к концу церемонии, когда все уже решил, что «это чудовище» не придет. Я видел, как он выскочил из машины и помчался по склону подстриженного холма к вершине, где стояли скорбящие мы и раввин произносил прощальные слова.

В последние годы Любка — не исключено, что в пику мужу, православному неофиту, — ушла в иудаизм, хоть и еврейкой практически не была.

Славка мчался с растерянным видом школьника, опоздавшего в класс. Увидев, что гроб уже опущен, он рухнул на колени и закрыл лицо руками. И именно то, что так сделал он, Слава Горелик, об авантюрах которого ходили легенды по всему российскому периметру, заставило присутствующих поверить в абсолютную трагичность маленького ритуала. А может быть, и всего сущего. Словом — конец. Всякий, переживший смерть матери, понимает, что это начало всеобщего конца. Славка не был исключением.

¹ Стас, мне нужно увидеть тебя как можно скорее. Пожалуйста, приезжай прямо в клуб. Игорь (англ.).

Сейчас на бегу, с пейджером на ладони, я думал, что случилось с Игорем. Скорее всего, он не выдерживает своей обезлюбовленной жизни. Ему нужен я как человек из его олюбовленного прошлого, почти как фантом тех коктебельских холмов, пропавших чабрецом и полынью. И нужен срочно, быть может, потому, что где-нибудь в пустом доме он натолкнулся на тот Любкин пистолет, что совсем еще недавно — что такое четыре года для старика? — обжег его Любкиной любовью.

Терпеть не могу тот кусок дороги, который называется Вашингтон-Балтимор-Паркуэй, особенно ту его часть, что направляется на север. Машины там идут в два ряда, все на одной довольно высокой скорости, между стенами высокого темного леса. Здесь почти не бывает торможений, об обгонах лучше и не думать. Возникает впечатление, что ты отстранен от вождения, что дорога сама тебя несет. Не знаю, как обстоит дело с другими водителями из тех, кого вызвал по пейджеру умирающий от одиночества друг, но мне в такие минуты дисбаланса ничего не остается, как только сунуть себе меж зубов 0,25 занакса. Это помогает, баланс восстанавливается, руки начинают снова чувствовать руль, ты начинаешь ощущать себя активным участником автопролета по желобу в лесу, ты снова слышишь ровный гул своего вечно нестарого «Делорена». Что происходит с этим аппаратом? Хозяин все стареет, а машина хоть бы хны, хозяин посасывает транквилизаторы, а железяка довольствуется обыкновенной смазкой три раза в год.

На этот раз я проскакиваю все выходы на Нью-Джерси до самого моста Верразано. Солнце уже село, но с верхнего яруса моста еще видны его блики на протянувшихся верблюжьим стадом облаках и на приплясывающих ягнятах Нью-Йоркского залива.

В девятом часу апрельского вечера я подъезжаю к клубу «Шестигранник» на Кони-Айленд-авеню, которую, конечно, в этих местах называют Конская. Интересно, что у клубов такого рода всегда вы найдете весьма убогий подъезд и занюханный экстерьер. Своего рода маскировка, что ли? Вообще кажется, что стоишь перед какой-то хавирой, в которой для бильярдного стола не хватит места.

Бильярд в половине девятого

Дверь открылась передо мной, едва лишь я приблизился. За ней стоял ливрейный лакей в парике и белых чулках. «Вы к Гор-Гору, что ли, сударь, сэр?» — спросил он с брайтонским акцентом. Я сообразил, что речь идет о моем друге. Сводчатый, с толстыми колоннами, исполненный мрачноватой роскоши вестибюль открылся передо мной. В глубине его были видны рулетки и карточные столы, стойки баров и столики с полной сервировкой. Проходили с достоинством слуги и гости в вечерних нарядах. Все это напоминало аль-капоновский стиль, если не считать длинных русских красоток: таких в Чикаго 20-х вроде бы не водилось. Играла музыка: «Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я». В этом роде.

Я стоял посреди вестибюля, не зная, куда идти дальше. Мимо проходили группы людей не моего возраста, то есть моложе. В одной из таких групп я заметил знакомую физиономию и даже вспомнил, кто таков: Боря Клопов из ТНТ — гусятинский бычок, впоследствии ставший международным СЕО Борисом Борисовичем. Он бурно что-то хохотал, держался руками за что-то женское, извилистое и хохотал, хохотал. Он шел прямо на меня и не узнавал, да и как ему меня узнать в его увлекательном мире. Кто-то из сопровождения, забежав вперед, аккуратно отодвинул меня в сторону. Все были в костюмах от Хьюго Босса, а ведь еще недавно такая публика щеголяла в трениках из шелка-сырца. Вспомнилась любопытная деталь: на штанах у этих треников ниже колена обычно фигурировала поперечная цветная полоса, как бы рассекающая ногу на две части. При движении такой группы возникал футуристический эффект — казалось, что ног гораздо больше, чем в действительности, и что они идут отдельно от туловищ.

Наконец один из ливрейных обратил на меня внимание: «Ты чего тут, папаша, ищешь, одетый не по-нашему?» — «Я к Гор-Гору, сынуля», — ответил я неласково. Ливрейный тут же лакейским инстинктом почувствовал недовольство и вильнул: «Так вам, сэр, надо в эмпориум. Вон туда, за шторы; уэлкам, сэр».

«Эмпориум» представлял собой огромный ангар с золотистой драпировкой на стенах. Там были ряды бильярдных

столов от обыкновенных «пулов» и «карамболей» до огромных британских «снукеров» и «полных русских». Все они были не заняты и манили глубокой зеленью поверхностей, словно представители природы. Все, кроме одного, вокруг которого стояла дюжина персон мужского пола, все в глубоком молчании. Подойдя, я увидел того, на кого было обращено общее внимание. Это был друг моей юности Игорь Горелик, по-здешнему Гор-Гор. Партия, очевидно, подходила к концу. Последний шар стоял вплотную к борту между центральной и боковой лузами. Чтобы лучше его достать, Игорь применял прием, который мне, невежде, казался чистым пижонством. Отвернувшись от стола, он заводил кий из-за спины. Прогнув свою хрупкую фигуру, через плечо косил глазом на поле боя. Странная жеманная поза, чуть ли не «умирающий лебедь». Чем-то он напоминал в эти минуты старенького тореадора. Публика вокруг серьезно и сурово наблюдала за его маневром. Видимо, решалась судьба важного заклада. Противник Игоря, пожилой афроам со щеточкой седых усов, ни дать ни взять Дюк Эллингтон, стоял со своим кием у торца. Он, казалось, что-то неслышно насвистывал, явно стараясь унять нервы.

Я смотрел на кисти рук Игоря, на его левую щеку и странно выпученный нерусский глаз. Он стал желтоват с тех пор, как я его видел последний раз. Странно, но даже гладко зачесанные седины тоже, казалось, приобрели желтоватый оттенок. Я хотел ему сказать «Игореша, не посрами!» или что в этом роде, однако решил подождать до удара. Он все равно промажет, у него трясутся руки, думал я, и вот тогда я своим приветом хоть чуть смягчу его поражение. Быть может, если бы я тогда перед ним объявился, не случилось бы того, что случилось.

Игорь ударил, вернее, просто чуть-чуть толкнул белый шар, придав ему труднообъяснимое вращение. Шар отделился от борта, прошел по дуге, стукнул черного и отправил его точно в угловую лузу. Наблюдатели подняли глаза к потолку и развели руками. Негр вынул из кармана брюк пачку денег и протянул победителю. Никакой особенной экзальтации не наблюдалось: Гор-Гор просто подтвердил свой класс. Такой подход старому марксисту был, очевидно, дороже оваций. Он тоже старался не выказывать радости, только лишь кивал в ответ на реплики коллег и показывал на разные секторы стола,

видимо вспоминая эпизоды прошедшей партии. Меня он пока что не замечал, и я не вылезал, чтобы дать ему возможность насладиться общением с собратями по нелегкому ремеслу. Подойди я к нему чуть раньше, быть может, ничего бы и не случилось.

Увы, это случилось. Подгрехала шумная компания Бобы Клопова.

— Так это и есть знаменитый Гор-Гор? — возгласил жизнелюб. — Ну и ну! Вот уж не думал, что ты такой, папаша Гор-Гор!

— А ты кто такой, чтобы тут базарить? — спросил негр по-русски почти без акцента.

— Не знаешь меня, негр? — хохотнул сильно поддатый Клопов. — А меня тут все знают. Меня везде знают! Только в Африке меня не знают!

Профессионалы опешили. Афроам был, очевидно, большим авторитетом в их среде — никто не ожидал, что его так грубо одернут. Они переглядывались, пожимали плечами, и только Гор-Гор весь выставился на Клопа и задрожал во гневе.

— А вот я тебя не знаю! — взвизгнул он. — И знать не хочу!

— Хочешь — не хочешь, узнаешь! — попёр Клопов. Он сильно приблизился и даже вступил в соприкосновение с мастро. — Давай сыграем скунер, Гор-Гор! Желаю себе впнать в биографию нгру с Гор-Гором! Бери кий, отец!

Игорь взял свой драгоценный кий и как бы взвесил его в правой руке. Вот тут мне надо было подходить и отводить его в сторону! Все дряблые ткани его лица подобрались, обнаружилась лепка неудержимой ярости.

— Уходи, пока цел, отморозок!

Клопов хохотал, продолжая мощной грудью с животом напирать на моего друга. Он был на голову его выше и на плечо шире. Шестерки его уже выставляли на столе шары.

— Пять косых даю! — хохотал от полноты жизни нувориш. — Семь даю! А пронграешь, урлюю, десять дам! Лады?

И тут началось. Игорь огрел Клопа тяжелым концом кня по голове. Тот вскрикнул, закрылся руками и побежал прочь. Игорь гнал его и молотил по согнувшейся спине. Амок овладел им. Он явно не понимал, что делает, просто мстил кому-то за что-то — в данном случае случайно подвернувшемуся наглому богачу.

Все дело продолжалось от силы двадцать секунд. Сначала все остолбенело от неожиданности. Клопов выл и исторгал матерщину. Игорь с успехом выбивал из парня его победительное настроение. Выдвинулись телохранители, слегка тягловатые для такой профессии. Поднялся над головами зажатый в кулаке пистолет. Тут и я наконец рванул, чтобы встать между ними и моим несчастным старым другом, с которым мы когда-то, всего лишь полвека назад, были пионерами питерского «джаза на костях». Интересно, что именно в эти быстро мелькающие моменты до меня из глубин огромного притона долетело несколько аккордов эллингтоновского «Каравана». Нужно его закрыть, мелькала паническая мысль. Он хрупкий, быки переломают ему кости, в нашем возрасте они плохо срастаются, останется инвалидом до конца дней. Но было уже поздно. Рукоятка пистолета со всего размаха пришла на голову бесновавшемуся Игорю. Последнее, что я увидел, была разваливающаяся и опадающая на пол фигурка старика со спокойно закрытыми глазами. В следующее мгновение чей-то кулак въехал и мне в подбородок, вызвав своего рода ядерный взрыв в мозгу.

Очнулся я от фразы «Are you O'K». Она прозвучала будто из телевизора, и только через несколько секунд я сообразил, что она адресована мне. «He's coming back»¹, — теперь донеслось до меня. Глаза мои открылись и увидели три черных лица. Два мужских и одно женское. Это были парамедики, они хлопотали вокруг меня. Женщина вытаскивала у меня из-под кожи шприц. Мужчина измерял кровяное давление. Второй смотрел мне в зрачки. Теперь я понял, что лежу на полу рядом с бильярдным столом. Вокруг было полно народа: парамедики пожарного департамента, врачи «скорой» и полиция. За ними теснилась толпа в смокингах и вечерних платьях. А где же Игорь, интересовался я, и нигде его не находил. Вдруг накрыло незнакомое и испепеляющее чувство. Может быть, его не было, может быть, я его просто выдумал? Выдумал с какими-то литературными целями — то ли для развенчания чего-то, то ли наоборот — для вознесения чего-то куда-то? Выдумал какую-то якобы личность, с которой якобы дружил полвека назад, которая якобы была отцом моего якобы литературного детища?

¹ Вы в порядке?... Он приходит в себя (англ.).

Между ног полиции я тут увидел, что другая группа медиков выкатывает какие-то носилки, что они почти бегут, а одна сестра на бегу поднимает над головой капельницу.

— Your friend, sir, they rush him to the hospital, — сказал мне один из спасателей.

— Is he O'K? — возопил я.

— No, sir, he's not O'K. He's serious¹.

Gosh, я весь пролился смесью пота и слез. Все-таки он был, с глубочайшей нежностью думал я, он реально тут лежал с разбитой головой, мой Игореха, муж моей Любки, отец моего Славки.

Концерт Джима Крупы

Поминки устроили в доме усопших Гореликов, поскольку с минуты на минуту ждали прилета сына. За столом образовалась сборная солянка: бильярдисты с Конской авеню, бывшие цекисты, ныне клиенты велфера Нью-Джерси и Нью-Йорка, соседи-американцы, которые, кажется, впервые оказались за большим русским столом и теперь с изумлением смотрели, как быстро напиваются Igor's friends, как с той же быстротой они забывают «виновника торжества», о котором только что говорили в таком приподнятом драматическом тоне, как начинают орать, чтобы перекричать друг друга, отстаивая свои политические понятия.

Наконец все кончилось. Остались несколько женщин, чтобы прибрать за гостями. Я ушел в гостиную и сел там в «вольтеровское кресло» лицом к окну. Созерцаемый отсюда пейзаж был почти неотличим от Лэдью-Хилл с той лишь разницей, что в нем не было темной стены леса, огибающей наш поселок. С тем же немым упорством горели несколько сильных фонарей на высоченных столбах. Вдали виднелись скаты большой дороги, струящиеся навстречу друг дружке ленточки красных огоньков и желтых огоньков.

Теперь этот дом пуст. Так же пуст, как и мой дом к югу отсюда. Там, правда, еще появляюсь я. Еще собираюсь там вкушать «одинокости прекрасные плоды», ебж, как говорил

¹ Вашего друга, сэр, повезли в госпиталь... — Он в порядке? — Нет, сэр, он уж не в порядке. У него серьезные дела (англ.).

ЛНТ и как сейчас говорит Дима Дулин; ебж, ебж. В мире становится все просторнее. Несмотря на демографический взрыв. Постоянно чувствуется, что освобождается множество мест. На вертушке старенькой стереосистемы лежит долгоиграющая пластинка, которую крутил Игорь в своем обезлюбовленном доме: концерт Джима Круппы с участием Эллы Фицджералд, Джерри Маллигана и Кэинонболла Эдерли. Все эти кумиры наших дней уже освободили свои пространства.

Я заснул, а проснувшись, обнаружил, что все ушли, включая и добровольных уборщиц. Меня в этом кресле они, очевидно, просто не заметили, а может быть, и заметили, но не придали этому никакого значения, а может быть, как раз придали большое значение и решили не будить. Из окна я видел теперь моего «Делорена». Луна странным тряпьем отражалась в его облупившейся крыше. Как он мог оказаться на открытом месте, если был поставлен вон под тем развесистым вязом? Довольно, не ищи метафизических объяснений своему маразму. Раз он стоит здесь, значит, здесь ты его и поставил. Это просто старый вяз его покинул.

Я спустился в прихожую, жирным фломастером, подвернувшимся неизвестно откуда (может быть, Любка рисовала им что-то ризлторское), написал на зеркале: «Славка, сразу же позвони мне. Стас» — и вышел вон.

«Делорен» с готовностью завелся, я включил фары и увидел на крыльце того, кто был еще жив в этом доме и о ком я так предательски забыл: Бульонский! Ничуть не ошибусь, если скажу, что он представлял в эту минуту фигуру истинной трагедии. Он молча сидел на задних лапах, подняв свою голову с бородкой, исполненный каменного горя. Только горе было в его позе и больше ничего, никаких соображений о его собственной участи в этом мире, лишенном теперь его любимых существ. Не знаю, как он представлял себе их смерть, но он прекрасно понимал, что ни мама Люба, ни папа Игорь больше никогда не появятся. Он не вышел к гостям, собравшимся на поминки, сидел где-то в саду и вот теперь поднялся на крыльцо, чтобы молча проститься и со мной. Вряд ли он надеялся, что фары его осветят. Сердце мое наполнилось такой любовью к этому Бульонскому, что я не совладал с собой и расплакался.

Вытирая лицо ладонью, я открыл дверь, то есть приподнял весь правый борт машины. «Готфрид!» — позвал я его. У

него шевельнулись уши. Он знал, что он не просто Бульонский, что он Готфрид Бульонский. «Иди сюда! Садись! По-едем ко мне!» Он медленно спустился по ступенькам, тяжело забрался на правое сиденье. Молча он смотрел, как удаляется дом, где он провел свое счастливое детство, когда мама и папа еще не ругались. При повороте дом погрузился в темноту. Только тогда Бульонский издал какой-то неясный звук и лизнул меня в щеку.

Забегая вперед, следует сказать пригоршню слов о том, как пошла жизнь Бульонского на новом месте. Первой проблемой, конечно, оказался Онегин. Еще на хайвее я вспомнил о нем и похолодел: кот не потерпит пришельца, в клочья раздерет его грустную морду. Нетрудно предвидеть истерику кота: выгнутую спину, ошеренную пасть, оглушительное шипение.

Так и получилось. В довершение к сказанному следует добавить, что Онегин не просто пугал, но без раздумья бросался в атаку на огромного пса, у которого, к счастью, хватало разума прятаться за мои ноги. «Мерзавец, а если бы тебе пришлось переехать к Бульонскому? — кричал я. — Ты что, не видишь, у него горе!» Мы заперлись с псом в кабинете, а кот ходил под дверью, драл ее когтями и угрожающе выл, не знаю уж, в чей адрес.

Прошло несколько дней. Однажды я вернулся из университета и увидел их обоих в гостиной. Бульонский сидел у окна и не шевелясь смотрел на дорогу. Естественно, он никого уже не ждал, мир представлялся ему пространством горя, и он не мог оторвать от него своего взгляда. Что касается Онегина, тот лежал на диване и с непонятным подергиванием усов смотрел на собаку.

Прошло еще несколько дней, и однажды передо мной предстала невероятная картина. Бульонский лежал на ковре, вытянувшись и положив мордашу на передние лапы, а прямо у него под боком с бесцеремонностью гарнизонного офицера развалился Онегин; одна его лапа была даже закинута на плечо пса, словно на валик дивана. Между ними, видимо, произошло объяснение и началась дружба.

Пес повеселел и даже положил глаз на соседку Фэби, трехлетнюю девушку одной с ним крови. Чтобы укоротить эту сентиментальную историю, просто скажу, что Фэби родила мальчика и девочку и мальчика отдали нам на воспитание.

Старые клавишины

Все это произошло уже не в жанре неторопливого повествования, а в более нервном ключе; на второй день после похорон Игоря в моем доме появились гости: люди нового века Слава и Какаша, а с ними и призрак прошлого, трижды лауреат Сталинской премии дед Горелик Натан (б. Николай Ниссанович).

За эти годы я забыл и вот теперь вспомнил, что он говорит с почти карикатурным еврейским акцентом. Как он мог с таким бляением втереться в доверие Кремля? Глядя в упор на меня из-под сивых бровей (кстати говоря, ростом он едва достигал плеча Какаши, то есть на две головы не дотягивал до макушки внука, зато носом превосходил всех нас, вместе взятых, причем нос был не еврейского, а скорее бурбонского склада, с ноздрями, напоминавшими входы в подземный мир Москвы, что открываются, например, в известном сером доме на Солянке, благодаря которым — то есть ноздрям — он мог улавливать тончайшие запахи ядов, коими была знаменита столица мира и социализма времен его расцвета, то есть начала пятидесятых, потный хмельной город молодых мужланов, почти поголовно охваченных органами, и это его свойство, разумеется, не могло не заинтересовать соответствующие секции аппарата, в результате чего дед Горелик и был рекомендован для деликатных командировок за границу; скобки закрываем, а для тех, кто еще не потерял начало фразы, чуть раздвигаем), этот горбатенький «вий» воинственно взыв: «Моего сына погубили ревизионисты! Все эти поляки и венгры, чехи! Это они заташили его в гниющий ЦК КПСС! Ваксино, ты думаешь, бильярд — это просто так? Ревизионизм убил в нем марксиста! Андриканис была под влиянием Гомулки! Она уволокла его в Америку! Прочила в тореадоры! И вот вам результат! Результат ревизионизма!» Он разрыдался, упал в кресло и утонул в нем так, словно весу в нем было в пять раз больше, чем могло содержать его хилое тело, словно он был набит свинцом. Позднее я обнаружил, что в кресле даже кожаные швы разошлись.

В этом кресле дед то ли заснул, то ли погрузился в страсти закоренелого рамоли. За первую версию говорил временами возникающий на нижних регистрах храп. Он нарастал до апофеоза, чтобы потом низвергнуться в молчание,

после чего возникала вторая версия: мелкая копошня, бормотание, возгласы «Вздор! Позор!», попытки раскурить пустую трубку, свисающую с большой и мягкой столетней губы. При всей уродливости его облика и привлекательности Славкиной молодой мужественности между ними наблюдалось исключительное сходство. Должен признаться, меня это огорчило.

— Ты что, привез его из Питера? — спросил я.

Славка усмехнулся.

— Нет, из Филадельфии. Он там давно уже окопался на велфере. Пишет огромные масляные картины. Свадьбы и похороны богачей. Шедевры соцреализма. Орет: «Я не предал своего искусства!» Странное существо этот дед. Он, кажется, уверен, что жизнь бесконечна.

Мы сидели вокруг журнального столика в гостиной. Наташка почему-то куталась в маленькое кашемировое пальтецо. Время от времени она исподлобья посматривала на меня, словно школьница на завуча. Сколько ей сейчас лет? Кажется, двадцать семь. Вечное детство, нимфеточность, — может быть, в этом и состоит ее секрет?

Надо было чем-то угощать гостей. Я начал было уже вытаскивать что Бог послал из морозильника, оставшиеся еще от сестер филе-миньоны и прочие окаменелости, когда вдруг позвонили в двери: прибыл ужин из «Четырех сезонов». Торжественно вошли три безупречных вьетнамца, внесли четырехугольные кастрюли с подогревом, стопки тарелок, салфетки с вензелями, ведерки со льдом, вино и даже свечи в изящных канделябрах. Один из них, распорядившись сервировкой, уехал, двое остались для услуги.

Славка вытащил дедушку из кресла и пересадил его к обеденному столу. По дороге Натан Ниссанович разрядился довольно мощной нижней руладой. Наташка засмеялась. Вьетнамцы загадочно улыбнулись и разлили по бокалам драгоценное вино. Я ухмыльнулся:

— А вот газеты пишут, что вы все свои деньги отдали обществу «Воздух». Я об этом недавно своим студентам наврал.

— Вы не наврали, Аполлинарьич, — очаровательно улыбнулась Наталья. — Мы отдали все оставшиеся миллиарды.

— Однако ваш супруг, моя дорогая, не избавился от миллиардерских замашек.

— Это все в долг, — туманно объяснила она.

Мы отпили вина, и все сразу преобразилось. Зябкое послепохоронное уныние сменилось ощущением уюта, надежности, тихим расположением друг к другу. Дед очнулся и, сообразив, что отстал, немедленно ухнул весь бокал до дна. После этого чисто совкового форс-мажора он по-гурмански цокнул языком и проорал: «Côte du Rhône, Chateau Laval¹, верно?» После чего опять спик.

На стол прыгнул Онегин и взял лапой что-то из закусок. Я покосился на вьетнамцев. Они стояли с каменными лицами, но видно было, что это одно из самых серьезных переживаний в их профессиональной жизни.

Из сада пришел Бульонский, подошел к Славке и положил ему морду на колено. Славка запустил пальцы в его шерсть на загривке и посмотрел на меня:

— Я так и думал, что он здесь, Стас. — Губы его затряслись, он прикрыл их салфеткой. — Расскажи, как все это произошло.

Я рассказал об Игоровом сигнале на пейджер, о его последней игре, о компании Клопова и о нелепейшей трагедии, разыгравшейся вокруг бильярдного стола. Официанты сняли крышки с основного блюда. Открылось нечто импрессионистическое.

— Клопов, конечно, знал, что Гор-Гор мой отец, — проговорил Славка.

— Не думаю, — возразил я. — Ничего особенно зловещего в нем не было. Просто подгулявший купчина.

— Я уверен, что он знал. — Славка заглянул в глубину бокала, как будто там хотел найти подтверждение своей догадке. — Этот хмырь Борька Клопов не так прост, как ты думаешь, Стас. Я знаю, у тебя когда-то была идея примирить два враждующих клана. Все эти дела — общая оборона под пулями хуразитов, спасение Штраух и тэдэ. Ты не учиываешь некоторых обстоятельств, Стас. Тринитротолуоольщики по мере роста их капиталов не перестают быть жлобами. С возрастом из них все больше начинает выпирать совковая достоевщина. Человеки из подполья, как-никак. Кто-то из них меня заказал уже после того, что ты называешь Кукушкиными островами. Не думаю, что Налим, но не исключено, что Клопов.

¹ Марки вин (фр.).

— Славка, — жалобно простонала Наталья. Дескать, опять ты преувеличиваешь.

Он даже не посмотрел на нее, продолжая настойчиво ко мне обращаться через стол:

— Ему что-то нужно от меня. Ты понимаешь? Почему он, например, рассказывает, что спал с Наташкой?

— Этого не было! — хлопнула она ладонью по столу. — Никогда я не была с Клоповым!

Тогда он уставился на нее:

— А ты разве помнишь? Что же, всех помнишь? Такая могучая память?

Ладонь ее полетела к его щеке, но не долетела: старый сочинитель перехватил. Такие пощечины могут все повествование загнать в канаву.

Телефон запищал у Славки в кармане. Он извинился и перешел из столовой в гостиную. «Ну, все». Она отвернулась и стала смотреть в окно, в сторону леса, в темноту. Свитерок сполз с ее левого плеча. Любая поза этой женщины останавливает взгляд, но эта, с приподнятым плечом, с упавшими волосами, казалось, останавливает взгляд навеки.

В глубине дома послышались быстрые удаляющиеся шаги. Пробарабанил вниз по лестнице. Хлопнула дверь.

— Помчался, балда, опять под пулю норовит, — прошептала Наташа. — Стас Аполлинариевич, вы все-таки должны продумывать такие эпизоды.

— Что я мог поделать, — пробормотал я; запершило в горле.

Она встала и, прихватив бутылку вина, отправилась в гостиную. Вскоре оттуда стали доноситься звуки стареньких клавишин, оставшихся нам с Кимберли еще от ее бабушки. Помнится, я любил на них наигрывать и базлать что-нибудь бравурное, ну, скажем, «Несокрушимая и легендарная, в боях познавшая радость побед». Неплохо получалось, сестры О, бывало, просто теряли дар речи и катались по полу в смеховой икоте.

Кажется, наша героиня все больше уходит в клавишинную музыку. Что-то напевает. Что ж тут удивительного? Ведь если верить журналистам типа «Vogue» или «Парад историй», она входит в моду именно как «певица судьбы».

Я угостил Бульонского хвостом омара под соусом «Гасконь», потом взял свой бокал и прошел в гостиную. Там было

темно, только свет уличных фонарей разместился крупными пятнами по стенам. Наташкина музицирующая фигурка оказалась как раз в одном из этих пятен. Волосы ее теперь были взбиты вверх и колебались, как символ плодородия. Я сел к ней спиной и закурил сигару. Через открытую дверь в столовую я видел обоих вьетнамцев. Они по-прежнему стояли неподвижно, с застывшими улыбками идеального сервиса на устах. Но не в глазах. Почему они не убирают со стола? Ах да, там ведь остался еще один клиент. Как раз в этот момент дед Натан махнул рукой, как будто сделал первый в своей жизни мазок в стиле Сезанна. Один из вьетнамцев тут же налил ему вина. Второй склонился и задал какой-то вопрос. Дед захохотал и взял в руки вилку и нож. Теперь он приступал к своему обильному и оживленному ужину. То и дело он восклицал «C'est merveilleux!»¹ и спрашивал вьетнамцев, видели ли они портрет Хо Ши Мина его кисти. Слуги порхали вокруг и прислуживали ему с некоторым даже вдохновением.

Наташка что-то бормотала под переплеск старинных звуков. Было похоже на какую-то тему Леграна. Вдруг она взяла высокую ноту: «He used to live near Place des Invalides...»²

Я отправился к себе наверх. Постоял немного в темноте своей обширной студии. Как все здесь мило глазу, какой уют! Плавают виртуальные вуалехвосты в экране компьютера и реальные вуалехвосты в аквариуме. Первые красивее, вторые теплее, если можно так сказать о рыбах. Мне ничего больше не нужно, кроме этой студии. За полукруглым окном приблизилась освещенная из столовой бахрама леса. Стеклопанель крыши показывает направление на Юпитер. Пролетает рейсовый из Японии. Как жаль, что к старости не возникает кошачий глаз. С ним я бы постоянно сидел в темноте. Старый сыч Ваксина, сочинитель сучней, — вот звуковая фраза, сныбы.

Зажег лампу под зеленым абажуром на столе. Как раз на вышесказанной фразе я прервался, когда они приехали. Теперь можно продолжать. Сталин был не дурак — писал свое «Языкознание», когда народы мира спали. Внизу бренчат клавишины: на этот раз барокко Брубека. Ну, плюхайся в кресло, те-

¹ Это восхитительно! (фр.)

² Когда-то он жил возле Пляс-Инвалид (англ.).

перь уже никто не прервет. Вместо этого я поворачиваюсь к дверям. Тихо босыми ногами входит Какаша. Останавливается, смотрит на меня, словно юная Ингрид Бергман на Хемфри Богарта. Медленно стягивает через голову свитер.

— Стас Аполлинариевич, я хочу, чтобы вы лучше поняли меня перед тем, как закончите драфт.

Она, конечно, без лифчика, как сейчас ходят все шлюхи из молодого бомонда. Зачем им лифт, они и так всегда на взводе. Высоко поднимая ножки в белых носках по колено, выходит из своих брюк. Подходит все ближе к моей твердыне, к письменному столу, на который я сейчас опираюсь задом, чтобы не закататься.

Какаша, разве ты не видишь, как я стар?

Она приостанавливается на расстоянии протянутой руки.

— А разве вы не знаете, что я люблю старнков? Если не вы, кто тогда меня к ним толкает?

Руки протягиваются. Внизу Дэйв Брубек переходит в Вивальди. Милый, нестерпимо любимый голосишко пробует лады. А здесь она шепчет мне с хрипотцой:

— Ну снимите же то, что осталось.

Теперь мои ладони скользят по ее коже вниз. К ним прилипает «то, что осталось». Опустившись с этим вниз, я беру в ладони обе ее пятки. Наверху она взвизгивает. Только не комкать ни единого мгновения. Ладони теперь идут вверх, ощущения на гранн ожога. Как я и подозревал, она заряжена током от пяток до макушек. Сколько у нее макушек, у счастливицы-кесаренка? Старик окончательно выпрямляется. Она уже вся прильнула к нему, хоть и умудряется вести свой собственный, пианиссимо, процесс познания. Я губами ищу ее макушкн. Их три — я так и знал!

Пока я ищу губами ее макушки, мы совершаем медлительный пируэт, и она садится на край стола. Вот сейчас напращиваются мажорные взлеты нескольких скрипок, и мы слышим их, хотя снизу доносится только бречание застоявшихся клавишин да девичий голосок выпекает раз за разом одну и ту же фразу: «He used to live near Place des Invalides...» Оторвав от нее на минуту руки, но не разъединяясь ни на секунду, я сбрасываю свой кардиган и стаскиваю майку. Она запускает пальцы в мою седую проволоку на груди. От этой электрической волны я полностью теряю остатки своего достоинства, то есть возраст. Потом я шепчу ей в нос:

— Ты что, разлюбила Славку?

В ответ она шепчет мне в плечо:

— Наоборот. Неужели вы не понимаете? А еще инженер человеческих душ. Я люблю его все больше, а с вами — в сто раз больше!

— Ты непростая девушка, — улыбаюсь я.

— Нет, не простая. — Она смеется. Захватывает часть моего тела и плюет мне в ухо. — Давайте теперь смотреть в зеркало, согласны?

Оказывается, она давно уже присмотрела зеркало в дальнем углу студии. Мы перебираемся на ковер, поближе к отражающей поверхности. Там видна усталая и от усталости совсем уже неотразимая молодая красавица и жилистый грустный старик, у которого даже подмышки пошли морщинами. Хочется спросить, что заставляет людей делать то, что мы с ней делаем? Пусть разойдутся в разные стороны: он к своему столу, где он смирит свои разнузданности и избежит соблазнов, она останется там, где она и есть, — у стареньких клавишин, чтобы допеть до конца песенку о каком-то романтическом герое, что жил возле площади Инвалидов.

Увы, отношения между автором и героиней заходят слишком глубоко и все еще углубляются. Их лица искажаются, проявляются оскалы. Любовный жар испаряется под напором конвульсий, обезьяньего рыка, слизистых излияний. Пусть это кончится поскорее, молят они, но это долго еще не кончается.

Наконец мы распались, и тут запахло дерьмом. Я уткнулся носом в валявшийся на полу ее свитер. Запах духов, кажется «Баленсиаги», вытеснил вонь. Когда я поднял голову, Наташа уже выходила из ванной. Подобрала трусишки, штаны, потянула из-под меня свой свитер, быстро оделась. Сказала со странной официальнойностью:

— Этого, будьте любезны, не описывайте.

Я умолчал о том, что это уже описано, и она с достоинством удалилась.

Вскоре и я был в порядке, как будто и не заголялся, как будто все это время просто сидел в своем старом кардигане, старой жопой в старом кресле за старым столом, на котором не осталось никаких следов от описанных прегрешений, кроме все того же Прозрачного, на этот раз в виде переливающейся виноградины.

Снизу доносилась песенка. Кажется, был уже готов первый куплет.

He used to live near Place des Invalides,
Though he always was valid.
He wasn't as exotic as Mr. Dali,
And in his morals he was solid.

Я сам когда-то жил возле площади Инвалидов, это было лет двадцать назад, одна студенточка по имени Кимберли повадилась «заходить с мороза». Наташке было тогда семь лет возле Нарвских ворот, и она, конечно, не могла знать об этом.





ЧАСТЬ ДЕСЯТАЯ

Весна в конце века

дневник сочинителя

I

Холодная весна. Ликующий щенок.
Щегол поет в кустах, как скрипка Страдивари.
Свистим и мы свой блюз, не раздувая щек,
Лишь для самих себя, Армстронга староверы.

Кончается наш век. Как дальний джамбо-джет,
Он прибывает в порт, свистя четверкой сопел.
Что загрустил, народ? Иль кончилась уже
Дерзейшая из всех двухиксовых утопий?

Печаль ползет, как смог, в комфортные дома.
Осталась только дробь, потрачены все восемь.
Исчерпан Голливуд, Чайковский и Дюма.
Ну а щенки визжат от счастья первых весен.

* * *

Весна. Вирджиния. Колючками шурша,
Бесстыжий лес осин затеивает вальсы.
Поверит ли пропащая душа,
Что можно жить без музыки Вивальди?

Зеленый грузовик рассады приволок,
А ветер гнул кусты в предательстве раскосом.
Заснувший в темноте под свист небесных склок,
Поселок поутру украсился нарциссом.

Как короток твой век, нарцисс-самовлюблен!
Слетает лепесток в апофеозе бури.
Успеешь ли сказать о чувстве, воспален?
О гибели сказать уже не хватит дури.

Кино XX

Стенли Кубрик усоп,
Завершилась его Одиссея.
Полегли паруса,
Призрак Трои осел одесную.

Остается лишь Рим,
Говорил в Цедезле Феллини.
Опрокинул свой ром
И добавил: кончайте филонить!

Я хочу поглядеть,
Что скрывается под паранджою,
Где царица, где блядь,
Хохотал, уходя, Параджанов.

В детстве голод, война,
Полкило почерневшей морковки.
В чем твой подвиг, Иван,
Вопрошал свое время Тарковский.

Оборвав якоря,
Этот мир, как киношка, померкнет.
В дюнах Фаро, среди коряг
Важно бродит оставшийся Бергман.

II

Жимолости жженье
Слышишь и видишь сбоку.
Запахи возрожденья
Водят твою собаку.

Этой весной несмелой
Громы идут с Балкана.
В небе, промытом с мылом,
Словно штандарт над полками,

Тянется облако НАТО.
О, генеральское сердце,
Ты ли читаешь там ноты
Бешеного концерта?

Точность бомбометанья
Зависит от близости тучи.
Косовских баб метанья
В гайдучьей хватке паучьей

Ставят вопрос философский
О сущности человека.
Так со времен Софокла
Ты морщишь усталое веко.

Под оркестр

Тянутся косовары
Лентою за кордон.
Флейточка крысолова,
Адский аккордеон,

Сербской стрельбы перкаши,
НАТО гремящая медь.
Где вы, райские куши?
Выведи, Магомед!

Март предпоследнего года.
Боже, Владыка Небес,
Дай нам плохую погоду,
Маются ВВС.

Март предпоследнего года
Век упустить не горазд.
Так развлекаются гады,
Рыская в мокрых горах.

* * *

В те дни, когда на поле Косова
Сошлись опять три мрачных царства,
Вооруженные колоссы,
Титаны мощи и коварства,

Он все трусил вокруг и около
Цветущих вишен, гиацинтов,
И отдаленной битвы рокоты
Терялись в радуге и стыни.

Статистика боев

На фоне зарева Белграда
Сообщить командованию рад,
Что тени длинные Эль-Греко
Проходят ночью сквозь Белград.

Дома горят, убитых мало.
Число избранных судьбы
Сошло до минимума в залу,
Где ждут подсчета, как столбы.

По Косово гайдук гуляет.
Ничто не сдержит гайдука,
Лишь пляшут цели над углями
В прицеле верного АК.

Дома горят, убитых много,
Но максимум еще далек.
Дружины Гога и Магога
Раздуют славный уголек!

Албанка, жертва геноцида,
Прольет невинную слезу,
Но кто, чернее антрацита,
Торит позорную стезю?

Гайдук, нажратый водки с салом,
АВАКС с командой «Гоу-ахэд»
Или укрытый под вокзалом
Голубоглазый муджахед?

Из-за туч

Он подлетает, Чарли Bravo!
Над ним, как мать, летит АВАКС.
Сквозь тучи вьден берег рваный
И деревень дремучий воск.

Вот он взмывает по спирали,
Уходит свечкою в зенит.
Искус воздушного пирата,
Как саранча, вокруг звенит.

Он целит в красных злые танки,
В посланников белградских бонз,
Но попадает не в подонков —
В албанцев, страждущих обоз.

III

Первомай-99

По Горькой улице — что слаще? —
Нести вождя зловещий облик,
Как в дни, когда народ палачил,
А вместо денег брали воблой.

Трубит трубач в свою полуду
Мотив космического марша.
Сын стукача, привыкший к блюду,
Нацизм внедряет в букву Маркса.

Вернулись старые повадки.
«Всех богачей низринем ниц мы!»
Как алкоголик жаждет водки,
Россия тянется к коммунизму.

Нацбол

В предместье тихого Денвера,
Забыв про прежний вшивый шик,
Живет на пенсии велфера
Национальный большевик.

Утратив киевскую мову
И не запомнив сотни слов
Английского, он внемлет зовам
Лесных пичуг и воплям сов.

Но по ночам в кустах иврита
Грозят Астарта и Ваал,
В словесный бой сквозь желчь иприта
России катит мутный вал.

Стёб

Новое поколение, скажем о нем особо,
В химической липкой лени взрастило культуру стёба.

Молодость отдана стёбу, как медицине Живаго.
Критик, корова-зебу, смотрит поверх жеванья.

Дугин корит Совенко за атлантизма пороки.
В рифме стоят советской лагерные бараки.

Вспомним мы папу-начлага, дух неплохой эпохи.
Братья, Анпилов, Анчалов, где ваши шашки, папахи?

Хлеба запасы иссякли, нет в магазинах лимонов,
Пиво вернулось в ссаки — вот чего хочет Лимонов.

Хочет он взять Манхеттен, старую квартиру,
Даму в клубке мохера сделать звездой ОВИРа.

Негров поднять восстанье против условий тяжких.
Крутоголовые, встаньте! Сшить себе джинс в обтяжку.

Былинное

Опять палит по прежней цели команда думских хитрачей,
а неуклюжий батька Ельцин в Кремле пугает сонм сычей.
Не лучший Муромец поднялся спасти, спасти народ среди
мутных вод.
Как все, дитя блажной подлянки, один из красных воевод.

Не часто «солнце Александра» здесь через тучи просквозит
среди событий календарных российской пакостной возни.
Измучен Ельцин, как в обкоме: ни в отпуск умотать на Крит,
ни обратиться в синий камень, ни опуститься в древний крипт.

Ностальгия

Как Нищы гость, как Сочи житель,
Вблизи пенящихся борозд
Проходит старый сочинитель
В кожанке «классик-бомбовоз».

Вздыхает старый сочинитель,
Он вспоминает свой дебют,
Варшаву, огоньки, Сочельник,
Журнальной критики дебош.

Над атлантическим курортом
Летит патрульный пеликан.
Солдат болотистые роты
Идут под гулкий геликон.

Недаром отвечает болью
Воспоминаний балаган:
Ушедших лиц, пожалуй, больше,
Чем этот бравый батальон.

Чужак

Бродит Стас Ваксино, забуревший классик.
В мире нет вакансий для таких колоссов.

За окном халява, потная тусовка,
У дверей легавый, блядь в своей спецовке.

Гангстер комсомольский, паразит гэбэшный,
Лапы в страшных кольцах, камушки-орешки.

Патриоты ражие, либерал — замызган.
Общество куражится в позах модернизма.

Родина! Старушки! Бабушки и тети!
Стас, ты здесь нерусский, неавторитетен.

Перу Дальгорду

Копенгаген. Издательство «Гюльдендаль».
Направляюсь за авансом по следам Кьеркегора.
Все здесь мило душе: позолота, эмаль,
По которым порою грущу, словно грек по простору.

Есть соблазн поселиться среди малого языка,
Средь аптекарей и ювелиров усатых,

Отказаться от выгод татарского ясака,
Шепелявого, с треском коры, говорка бесноватых.

Получив гонорар, на канал выходил Кьеркегор.
Он телесную немощь свою весьма гордо наследовал.
Заходил в кабачок, сам себе бормотал под кагор:
«Бомба, чу, взорвалась, и пожарище следует».

Королевство датчан, социально-задумчивый рай.
Вьют грачи вдоль Ютландии вечные гнезда.
Если скажут народу сему: «Свой удел выбирай!» —
Он нашьет на свои пиджаки те же желтые звезды.

IV

О ней мечтал он наяву
Со школьной парты.
Глазища круглые совы
У Клеопатры.

Вставай, взлетай к нам из глубин,
Яви нам грезу!
Просил в просторах голубых
Плывущий Цезарь.

Гони змею, молил школяр,
Беги из ванны!
Но слышны скрипы корабля
Октавиана.

Весь смысл змеи, как ни моли,
В укусе спрятан.
Об этом знают муравьи
И кесарята.

Изиды вечная звезда
Горит над школой.
Гудят в округе поезда
Трубой Эола.

Город мудрецов

В сумерках снег освещает усы и плащи,
Два охотника-хищника вместе идут, Ортега и Гассет.
В ягдташе у них заяц несчастный предсмертно пищит.
Бог приходит на помощь к нему и предсмертие гасит.

Освещает дома отражением снега каток.
Дети свищут вокруг, отвязав притяжения грузик.
Вместе с ними скользит городской полицейский Платон,
Да откалывают фортеля
Школьные учителя
Даррида и Маркузе.

В кабачке запашок — описать не могу!
Приготовлен для вечера вкусный соус.
Обещал усладить нас бразильским рагу
Кулинар по фамилии Леви-Страус.

Аквавит принесут, и духовно мы с ним воспарим.
Под зайчатину с перцем воспарим мы телесно.
Старый Кант запоет ни о чем, словно в доме Пурим,
И запляшут вокруг огонька молодые кантессы.

Миф и быль

Телесный ствол, сказал Бердяев,
Ты не отринешь поспеша:
Ведь среди жил его бордовых
В нем вояжирует душа.

Творя загадку без отгадки,
Она ушла из мифа в быль,
Ест с нами пудинг кисло-сладкий,
И шашлыка кошмарец плотский,
И в сале сваренные клецки
И валится в автомобиль.

Поэт и рыцарь, строгий Данте
Спустился в прорву, не дыша,
И встретил плоти мастодонтов,
В которых страдала душа.

Спасутся все, сказал Спаситель.
Но кто ответит за немых,
Преступных, не прошедших сито,
Оставшихся для вечных мук?

Из «Ожога»

Оттепель, март, шестьдесят третий.
Сборище гадов за стенкой Кремля.
Там, где гуляли опричников плети,
Ныне хрущевские речи гремят.

Всех в порошок! Распалется боров.
Мы вам устроим второй Будапешт!
В хрюканье, в визге заходится свора
Русских избранников, подлых невежд.

Вот мы выходим: четыре Андрея,
Пятеро Васек, бредем из Кремля.
Видим: несется дружина, дуря,
С дикими криками: «Взять ее, бля!»

Сворой загнали беглицу-цыганку.
Грязь по колено. Машины гудят.
Ржут прототипы подонков цековских
С партбилетами на грудях.

Сезон 67-го

Мой Крым, плебейские гнездовья!
Шкафы, чуланы — все внаём,
Но по ночам пророчат совы,
Что приближается самум.

Иду от Маши, даль светлеет.
Гора — как Феникс над золой.
Там в складке каменной алеет
Шиповника розарий злой.

Скалы прибрежной дикий камень
Набычился, как царь-бизон.

Вдруг пролетело скрипок пламя,
Как будто выдохнул Бизе.

С утра мещанство варит яйца,
Но возникает смел, усат
В потоке бурных вариаций
Неисправимый Сарасат!

V

Толстой

Витают сонмы произволов
Над поприщем угарных войн.
На бал в поместье Радзивиллов
Плывет блистательный конвой.

Спешит Сперанский обустроить
Гуманнейший абсолютизм.
Плывут полки, за роем рон,
Как будто в бездну мы летим.

Елена выпьет яд кураре,
Шепнет: мон шер, прости, спешу.
Отрезанной ноге Курагин
Промолвит: больше не спляшу.

Василий-князь повяжет галстук
И вдруг поймет: для светских врак
Один лишь дурачок остался
Да новая звезда на фрак.

Терзает пневмония старца,
В бреду он видит строк развал.
Хаджи-Мурат, герой татарский, —
Его последний произвол.

VI

«Бродячая собака»

Серебряный поток, обилие луны.
Печаль всегда светла. Уныния агентам
Тут протрубят «О нет!», как в Африке слоны
Трубят, зайдя по грудь в живительный аргентум.

Из всех собак одну облюбовал народ,
Поэт и журналист, комедиантов племя.
Пускай жандарм ворчит: «Уродливый нарост»,
Ведь не ему вздувать сценическое пламя.

Надменный трубадур, сюда явился Блок.
Глаза его пусты. Он думает о Данте.
Пришла пора плясать для карнавальных блох,
Лишь мимолежный жест вы этим блохам дайте.

Гварнери и тампан заплещут в унисон,
Площадку очертит ночного неба калька,
И пушкинским ногтем потрогает висок
Корнет, чья боль в виске — вакхическая Ольга.

Художники-картежники

Кубы электросвета сквозь веток мешковину
Трамвай проносит с грохотом на Сретенский бульвар,
А в поднебесье хохоты, там в студии Машкова
Художники собрались для еженощных свар.
Бубновые валеты, трефовые семерки
Всей банде полагалось бы — промеж лопаток туз!

«А все же Кончаловский, Лентулов и Осмеркин
Еще не вылезали из маминых рейтуз!
Еще не поднимали борцовской гири груз!
У них одна мамаша, толстуха Академия,
А нам бы расплеваться навеки с ней и вдрызг!
Мы зачаты, ребята, одним священным семенем,
Нас всех вскормила млеками волчица или рысь!»

Так Ларионов буйствует.

«Мы молодые гении!

Вперед Наташку выпустим, и нас не разгромят!»

А на бульварной лавочке их взлетам и агониям
В ушишки ухмыляется марксистский эмигрант.

Револю

Военный коммунизм. Донашиваем фракки.
Цилиндры все сданы на балаган,
В котором футурист рифмует агитвраки,
Но не рифмуется Дзержинского наган.

Кронштадт устал от красной камарильи.
«Начнем, братва, вот-вот растает лед!»
Но прут по льду карательные рыла,
Чей аргумент — носатый пулемет.

В те дни на Лиговке мочалилась мочалка,
Брахоловка, спасенье диких дней.
Ахматова, краса, аттическая челка,
Распродавала там паёк своих сельдей.

«Она меняет спецпак на мыло, —
Докладывал аграновский злодей. —
Товарищ комиссар, ей мыло мило.
Начнет с селедок, так и до идей

Дойдет она, монахиня-харлотка,
Как тот, кого надысь мы на валу
Кончали, помните, он драл все глотку...»
Зевнет Агранов: «C'est une revolu...»

Соседи

Два Владимыча Владима жили по соседству.
Оба были нелюдимы, начиная с детства.

У обоих чин дворянский украшал гербарий,
Прибавляя тесту пряность; словом, были баре.

Повзрослев, влюбились оба в британские ботинки,
В мягкий твид, усладу сноба, в венских стульев спинки.

Оба что-то сочиняли в полуношных бдениях.
Слов волшебных сочлененья приносили деньги.

Вот один сачком хватает бабок в ярких платьях
И под лупой совершает нежные распятыя.

А второй, он был не кроток, хмурил морды лепку.
Слишком часто палец крутит русскую рулетку.
Несмотря на бездну сходства, пролетели мимо
Жертвы раннего сиротства, юноши Владимы.

Встретившись в аду, в раю ли, в чистке ль на вокзале,
Спросят под «Напареули»: чем вы увлекались?

Магистральная баллада

В 1921 году на обратном пути из Пятигорска
Хлебникова посадили в вагон эпилептиков.
Отщелкав последних семечек горстку,
Футурист погрузился в своего эпоса летопись.
Его знаменитая наволочка была при нем.
Три вши, как всегда, ползли по ней.
Засунув ее под затылок в естественный проем,
Он стал клониться к дремоте пользительной.
В наволочке среди мягких клочков один выпирал,
Кусок обоев из разбитого особняка.
Слыша ухом его, Хлебников воспарял
К запредельным высотам обойного языка.
Или убойного ясака?
Или убитого казака?
Или убогого кизяка?

Эпилептики молча сидели в купе,
Восемь адских филоновских синих лиц.
На поэта смотрели, как смотрит в купель
Налетевшая стайка свинцовых синиц.
Этот друг, произносит один, говорят, председатель
Человечьего шара земного со всеми ресурсами,

То есть зверь посильней в обстановке предательства,
Чем главком Ворошил и командующий корпусом.
Пусть дает нам сто тыщ полноценным рублем,
Говорит из больных очевиднейший олух,
А иначе его, зуб даю, порублю.
Подкормить существо по прозванию Молох.
В Тихорецкой потащили его по платформе.
Председателя в лужу, хорошая будет уха!
Так шутили больные. Голосуй, обеспечивай форум!
А давай-ка запустим ему под крышу красного петуха!

Подходил бронепоезд правительства «Красный Октябрь».
На горящих людей в эти минуты внимания не обращали.
Хлебников дергался осетром, из-под жабр
Керосинчик горячий потек, заполняя все щели.
«В некоторых условиях классовой борьбы
Анархия масс может быть полезна», —
Троцкий строго смотрел на бурление вокзальной гурьбы.
Сталин тут же кивнул подхалимски: «Железно!»
Публика прет, словно коров отпустили на выгон,
Зенки вылупила, от преданности посинев:
Троцкий и Сталин в салон-вагоне
Фотографией на грязной стене!

К этой стене направлялась колонна,
Предназначенная на расстрел.
Губы белых кривились: пролетарская клоунада!
Пусть убивают, один предел!
Вдруг один завопил в историческом мареве,
В мешанине гудков, «варшавянок» и стука копыт:
«Посмотрите, ведь там футуриста поджаривают!
Помогите, спасите, ведь не все вы скоты!»

Восемь эпилептиков испугались
И в припадках спасительных стали дрожать.
Велимир был спасен, вызывая большущую женскую жалость,
И побрел свой маршрут до Санталово продолжать.

Спецсостав покати́л мимо этой фигуры,
Пулеметы и пушки, бронированные углы.
Троцкий, встав на предписанные историей котурны,

Произнес: «Жаль, что Хлебникова до конца не сожгли.
Он вошел бы в историю как жертва стихии.
Как трибун он был неучем, как поэт неплох».
Сталин тут же добавил, под усами хихикая:
«Наших социалистических эпох».
Троцкий смотрел свысока на заката пожарище,
Думал: как сделать, чтобы высшие нравы у нас развивались?
Во избежание морали этого закавказского товарища
Мы должны повсеместно внедрять фрейдовский психоанализ.

Утренний диалог

По Патриаршим идет Булгаков и созерцает без ротозейства
Знакомых дам, чету бульдогов, Москвы прискорбное хозяйство.
Ему навстречу в берете, с тростью, с улыбочкой, но без жеманства
Идет глава большого треста, промышленник американский.

«Мазстро, вы сродни Декарту — в высоких сферах с утра парите.
Мы ж до утра играли в карты и назююкались «Маргариты».

«Не соблазняйте, — с улыбкой волчьей сказал Булгаков. — Я вижу
четко,
Какую участь вы навлечете, и вас я выведу в виде Черта.

Поймите, Генри, ведь не для оргий всю пятилетку кладем мы рельсы,
А чтобы кто-то из демиургов сюда приехал и разобрался».

Дулитл становится чуть посуше. «Давайте, Мишенька, сменим галсы,
А то, вон видите, идет старушка, несет подсолнечное масло».

Булгаков смотрит на взгляд пришельца. Ну что могу я ему ответить?
Им не понять нас, приедем Штольцам, обломовщина им не светит.

«Для бочки дегтя не хватит меда, нет больше флангов у авангарда.
Мы собираемся в пирамиду, но рассыпаемся, как в бильярде».

«Смотрите, Миша, прелестный пёсик! Ах, не забыть: сегодня пленум!
Вопрос решающий для концессий там обсуждают. Привет Елене!»

Ты помнишь, товарищ?

Гражданская война, веселые дела.
За что воюешь ты, повстанец Самородов?

За то, чтобы братки взлетали, как Дедал,
Чтоб каждому братку сады Семирамиды!

С наганом на бедре и в шляпе *belle époque*
Он гнал баржу в Дербент, агитстихи звенели.
Есть сладкий порошок, но нет, увы, сапог.
Давай мне пулемет, отправимся в Энзели.

Тридцатые года. Распухшая щека.
Смердит Осовьяхим под гульфиком кумира.
Пора уже туда, где не найдет чека
Ни наших трубок дым, ни грезы Велимира.

Скучнейший большевизм. Наш карнавал иссяк.
За что ты воевал, повстанец малохолный?
За то, чтоб пошляки жевали свой кусок,
За индекс валовой, за пытки Мейерхольду?

VII

Лес молодой листвы,
Пристанищ голубиных,
Прародина лисы,
Продольные глубины.

Нырнуть в себя зовет,
Клубясь, зеленый хлопок.
Приветствуя совят,
Там пролетает хупу.

Несется бурундук,
Философ-буратино.
Столетье — ерунда!
В мгновение все причины.

Могучий тихий стон
Над лесом возникает.
Проходит авион
На Даллас из Китая.

Малютки

Господь сидел, держа ошую
Малюток-ангелов состав.
Малютки, не крутите шеи!
Сказал он им, слегка привстав.

Сегодня вас держу ошую
Из всех бесчисленных князей,
Чтобы сказать: вас воплощаю
Я в человеческих друзей.

Ступайте к людям и смиряйте
Их неожиданный недуг.
Пусть станут все самаритяне,
Кто белорус, а кто индус.

И ангелы, забыв скрижали,
К Земле помчались с высоты,
Затявкали и завизжали,
И закрутились их хвосты.

Сюжет

Студентка стройная, с ослиным личиком —
Воспоминания на диво живы —
С двумя упругими под майкой мячиками
Звалась на кампусе Лоло Бриджидой.

Походка лодочкой, а жест кошаческий,
А кудри черные, как волны ваксы.
Пока вы в сессиях своих ишачите,
Она скрывается в ночи Фэрфакса.

Ему за сорок, профессор лирики,
Атлет и сноб, женатый трижды.
Устав от чтения Рембо и Рильке.
Все чаще думает о снах Бриджиды.

Супруга мрачная, как Салтычиха,
Подозревает плейбоя в страсти

И обвиняет всю школу чохом
Как ненавистный источник стресса.

Лоло хохочет. Хохочет нервно.
И обращается к Казимиру:
Забудь про глупую супруге верность
Во имя прихоти, во имя моря!

Не в силах вынести таких уколов,
Он на квадратике парусины
Рисует пламенный треугольник
И исчезает в своей России.

Во ржи

Хвалу заморской медицине
Поют усталые уста.
Она вам даст гормон бесценный,
Ввинтит титановый сустав.

Успехи нашей медицины —
Цивилизации ядро.
Оливковые херувимы
Над брэнной мистикой мудрят.

Быть может, путь от праха к духу
Осуществляет весь наш род,
Сквозь биогниль туда, где сухо,
И где цветет души наряд.

Ну а пока гудим, в чем дали,
Неимоверная братва,
В своих телесных причиндалах
Во ржи, поблизости, у рва.

Рэро

Вот бродячие грузины
Из ансамбля «Рэро».
Родина им пригрозила
Пытками, расстрелом.

Что за пытки? Рог бараний
С золотой виною.
Виноградник Гурджаани
Полнится войною.

Что за казни, Мнемозина?
Блюдо с потрохами.
Для расстрела две корзины
С грецкими грехами.

Wild Turkey

Как эпизод картин Ван-Дейка,
Как призрак из забытых царств,
Слетает дикая индейка,
И в небе царствует Моцарт.
Она гуляет по газону,
Что так пленительно упруг,
И принимает круассаны
Из грешных человеческих рук.

Забыв про День Благодаренья,
Когда счастливый пилигрим
Жрал индюшатину с вареньем,
Она курлычет филигрань.

Как дама важного эскорта,
Она несет букет лица.
Так иногда приносят куры
Подобья райского яйца.

Но если кто-то возалкает
Ее на блюде, сбоку ямс,
Она мгновенно улетает
В край недоступных Фудзиям.





ЧАСТЬ ОДИННАДЦАТАЯ

Пегас Пикассо

Отчего мне все-таки хочется написать что-то о Пикассо, то есть придумать что-то о нем? Вернее, прочувствовать всю эту пикассонию — всеми десятью пальцами по всем пикассам? Потому, быть может, что всякий, даже мимолетный, взгляд на него сродни мощному подъему коня Пегаса? Может быть, от того, что долгое всматривание в него, прогулка вдоль него с увеличительным стеклом в глазу сродни полной перезарядке твоего словесного аккумулятора? Вплоть до того, что к концу галереи появляется прежняя упругость в дряхлеющем заду.

Пиша и завершая этот «большой роман», я часто ловил себя на том, что как бы прогуливаюсь вдоль галереи Пикассо, ибо он принадлежит к первой дюжине вдохновителей прошедшего века, а быть может, и возглавляет ее. Быть может, и век-то начался за пару десятилетий до своего хронологического начала, когда в Малаге созрел и явился в мир кислорода увесистый плод пикассийского дерева. Это был срок крутого демиургического замеса по всему миру; не обошел он стороной даже и обделенные солнцем плоскости и мокрые склоны российской земли. Возник последний аккорд Ренессанса, великая художественная утопия.

Заменив одно слово, я вспоминаю недавно усопшего друга: «Кесарический роман сочинял я понемногу, продвигаясь сквозь туман от пролога к эпилогу», хотя где тут у меня прологи, где эпилоги, быть

может, и сам Прозрачный не разберет. Тем не менее время от времени делаю какие-то не очень вразумительные наброски о Пикассо.

Подходит срок, подступает хронология; 1900 год, пора начинать. Старательный студент, освоивший рисунок и композицию — в детстве, между прочим, лучше всего получались голуби; даже лучше, чем быки корриды, — а также живопись — большие и мелкие мазки, светотени на множестве портретов, в которых испанские мотивы естественно сливались с фламандскими, — теперь собирается в Париж.

Отъезд юнца из Барселоны
Благословила вся родня.
Вязаний красных и зеленых,
Орехов сладких и соленых,
Советов мудрых, глаз влюбленных
Поток не иссякал три дня.
Возьми с собой мешочек песо,
Припрячь его в родной тюфяк
И береги свой юный пенис,
Когда в отменнейших туфлях
И в новой шляпе по Монмартру
Один отправишься гулять:
Там дамочки в разгаре марта
Тебе покоя не сулят.

Никто из почтенного бюргерства не предполагал, что юнец собирается в дальний путь для того, чтобы взбаламутить не только Монмартр, но и всю округу, в которой давно уже процветал мирный импрессионизм. Не знал этого и он сам. Бешеный Дионис проснулся в нем, когда он в 1900 году увидел «Объятие на улице», а потом танцы в «Le Moulin de la Galette» — танго, в котором мужчины не снимают цилиндров, видимо, для того, чтобы до времени прикрыть дьявольские рожки, а красные рты женщин светятся в темноте, как вожденные мишени.

«Объятие» становится «Грубым объятием», чтобы впоследствии, уже в 1925-м, превратиться в шокирующий кубистический «Поцелуй», в котором вскрылось все: и пожирание вульвы, и фаллос, и разъятая промежность — словом, вся оргия первопричинного греха.

Шаг за шагом в хороводе развратных карлиц, донельзя желанных девок и величественных дорогих проституток он вступает в свой «голубой период», в мир бесконечных парижских кафе, где сидят артистические эмигранты, арлекины, любители абсента, усталые акробаты и где отправляется на небеса молодой дружок Касагемас. Огромное смешение форм, слов и срезов, водоворот красок властно зовут юнца: забирай круче, тебе предназначено стать Пикассо.

Коренастый кривоногий юноша с бешеным глазом начинает выделяться среди бесчисленных художников Левого берега. Вслед ему кидают взгляды посетители дешевых кафе бульвара Сен-Мишель. О нем говорит старая (и молодая) богема.

Сеньор Пикассо — сын отваги.
Его планида высока.
Одним косым ударом шпаги
Он нарисует вам быка.
Не будет кланчить он поблажки
У галерей в Картье Латэн.
Дрожат кошунственные ляжки,
И свечи гаснут в синих плошках,
Бесчинствуют на крышах кошки,
В углу мерцает сна латунь.

Во время работы кистью он не очень-то думал, живопись — все-таки это не мыслительный процесс, однако во сне ощущал, что какая-то часть его организма предается размышлениям.

Господь дарует свойство зрения.
Природа создает глаза.
Мычит Пикассо: это разное.
Увидеть ощупью алмаз
Дано ли? Вижу заалмазие.
В за-зреньи живопись совьём
И без зазренья свойства плазмы
Мы свойством духа назовем,
Как называем виноградники
Мы чутким словом Совиньон.

Подобными набросками заполнялся компьютерный файл, и я был готов стронуть композицию текста, когда узнал, что пару лет назад один знакомый писатель уже написал нечто подобное в виде полноразмерной книги. Начало XX века и появление Пикассо в Париже. Посланник демиургов, основная горелка художественной революции. Моцарт кубизма. Пушкин сюрреализма. Один из тех первых артистов, что поставили под знак вопроса автоматические результаты зрения, не удовлетворились и импрессионистским киароскуро, попытались пройти за грань «реальности», вывести художественного человека за пределы мгновения.

Ну что ж, мне с кем-то надо посоветоваться, с кем-то посидеть под оранжевой лампой; увы, не с кем. В принципе роман может спокойно обойтись без главы о Пикассо. К нашей истории он, кажется, не имеет никакого отношения. Быть может, он имеет отношение к «кесареву свечению», однако это не означает, что он в нашем фокусе. XX век? Но мы давно уже за его пределами; этот век завершился вместе с великим мастером. Мистическое возбуждение перешло в генитально-дигитальную суету. Живем в мире постоянного попискивания: «мобили», пейджеры, хронометры. Символистские прозрения вновь задвинуты за горизонт, на этот раз молекулярной генетикой и геномом человека. Что же мешает мне забросить все клочки в «трэш»?

Быть может, это Прозрачный, который с уходом прежнего населения все чаще стал прогуливаться по пустому дому: то влезет на миг в эту самую оранжевую лампу, то проташится по стене, словно тень какой-нибудь музыкальной фразы, то в телефоне пропоеет, как фазан, *wrong number, sorry, wrong number, sorry*¹, быть может, это он подбивает меня продолжать эти записи? Быть может, это он в этот момент начинает мне диктовать по-английски; по-каковски ему еще диктовать, будучи местным бесом?

Beethoven was deaf. Could one paint being a blind?
Sometimes he dreams, he doesn't need eyes to make painting.
Once a former sailor, lanky and blond,
Knocked his door and broke in panting.

¹ Неправильно набрал номер, извините (англ.).

Is this ulitza, he roared, or la rue, or der strasse?
Is this Picáссо, or Picassó?
Hi there, my fellow, I'm a Russian!
Sorry, mon maitre, for this nightly assault!¹

Потом Прозрачный меняет фонт и продолжает шпарить уже по-русски; научился.

На верхотуру приперся Татлин.
«Здесь проживает сеньор Пикассо?» —
«Се муа, месье!» — «Неужто? Тот ли?
К тебе ль свалился я с седла Пегаса?» —
«Черт побери! — взревел маэстро. —
А вы откуда ночью татью?
Какие вас к нам прислали монстры?» —
«Не беспокойся — я просто Татлин».

Зима 1913-го

Итак, поехали. Еще не рассвело, когда в дверь стали стучать. Стучат деревом, то есть дерево человека стучит в дерево двери. Стало быть, уже по ночам теперь приходят за деньгами? Однако даже за деньгами так долго не стучат. Может быть, жандармы? За закрытой дверью расцвела картина жандарма: ослепительно черное в центре распустилось агавой синего с клыками оранж.

Не надевая штанов, Пикассо пошел открывать. Оскорблю внешним видом. Заляпанный халат, свисающая мотня подштанников. Пожалеют, что так долго стучали. Кто там?

¹ Бетховен был глух. А может художник быть слепым?
Когда он порой мечтает, ему не нужны глаза, чтобы создавать картину.

Однажды бывший моряк, долговязый и белокурый,
Вышиб свою дверь и ворвался, тяжело дыша.

Это улица, рычал он, или рю, или штрассе?

Это Пикассо или Пикассó?

Привет, мой друг, я русский!

Прости, учитель, за ночной налет (англ.).

«Из России», — ответил нахальный голос. Картина жандарма погасла. Стала брезжить другая, не соответствующая звуку. Нет, это не Россини. Тот катится волной. С искрами. Наконец осенило: се вуа де ля Рюс. Значит, не за деньгами пришли, а, наоборот, с деньгами. Купят картину, вынут пачку хрустящих. Или выпишут чек Лионского Кредита, что хуже. Что много хуже. С ними обычно месье Куварда. Или Шеглонски. Надо им сказать, что хрустящие предпочтительней. Начинается мельканье чего-то неорганизованного, как всегда бывает при деньгах. Хочется все собрать и соскрести.

За дверью стоял высокий и худой. Выделялся большой рассопливленный нос. Заледеневшим болотом наглость в глазах стояла. Русских таких не бывает. Пабло в ловушке себя ощущал. Сейчас хватит палкой поперек головы. Такие, с палками, ходили в порту, били художников по головам, забирали мелочь. Как-то не думалось, что когда-нибудь придут прямо под дверь.

Этот самозванец плохо играет роль русского. У тех не бывает таких носов. Русские немолоды. У них большие щеки, но носы их смиренны. Русский вообще мягкий, а самозванец жесткий. Недавний покупатель по имени Сова был в бархате, а этот скрипит задубевшим на морозе сукном. Это скорее флотский, чем русский. Тут просится карандаш, а не пастель.

Много сейчас болтают о русских женщинах; дескать, новое поколение возникло юных нимф. Но почему, однако, все умалчивают, что у них пупырчатая кожа? Возьмите их живопись: не нужно и лупы, чтобы заметить розоватые пупырышки. Впрочем, в этом нет ничего дурного, быть может, и у первых нимф в аттических рощах была пупырчатая кожа.

Все эти мысли пронеслись в голове Пикассо за несколько секунд, пока он молча взирает на клацающего зубами промерзшего иностранца. Такова черта гения: секунда может у него растянуться на страницу, год уляжется в одну строку

«Что вам угодно, подозрительный человек?» — петухом вскинулся Пикассо, ногой пытаясь подтащить поближе каминные щипцы.

«Тебе привет, Пикассо, от слепых художников Российской империи!» — заорал пришелец. Зажмурившись и профессионально постукивая перед собой длинной тростью, он вошел в студию.

Через час, после множества нелепых натычек, намычек, набучек и нашлепок, взялись за распитие четвертной (трехлитровой) бутылки лё взн руж. Татлин рассказывал новому дружку (их разделяли всего лишь шесть годков и пудик славы) великолепную по идиотизму историю.

Оказывается, он давно хотел с Павлом познакомиться. Московский друг из «Центрифуги», Ваня Аксенов такой... Да что ты, Павел, вовсе не со щеками, нет, не коричневый... Какой?.. А вот дай-ка мне на палец ляпис-то лазури, и вот тут позволь в твоей гоголеватости смешать... вот такого, скажем, хромотопа... Этот Иван... Ну, словом, Ванька ему много о Павле рассказывал и говорил, что это черт искусства, что за ним двадцатый век. А если это так, то мы все за тобой потащимся, потащимся, потащимся в будущее, Павел окаянный. И тогда мной решено было ехать в Париж подверстаться к Павлу. Ну ладно — к Паблу; какая разница?

Я был в Египте под парусами, в Греции под парами Добровольческого флота, в Абиссинии; неужели уж в Европе, матери родимой, пропаду? Одна беда — где взять тити-мити, вот именно то, что ты воображаешь, потирая двумя перстами, дорогой Паблуша; их нету, нету, нету у меня!

А все ш таки Татлин — это Летатлин, схватываешь? Прихожу в Императорский выставочный комитет. Мое почтение, любезнейшие держиморды! Вам на выставку в Берлине слепые малороссийские бандуристы не нужны? Вообрази, угадал! Как раз такого они и искали. Не знали, чем еще поразить цивилизованную Европу.

С бандурой я дружен давно, дорогой Паблуша. Еще когда мальчишкой от мачехи сбежал, лабадалабал на бандуре по Украйне, недурно пробавлялся. Короче говоря, в Берлине, в центре миролюбия, в павильоне своего царства сижу в шароварах, пою велимирские вирши, музыка моя:

Славны молодцы паны запорожцы.

Побачили воны цаплю на болоте.

Отаман каже: «От же, братцы, дивка!»

А есаул каже: «Я з нею кохався».

А кошевой каже: «А я и повинчався».

Зенки плотно зажмурены, вою с дикостью, с трепетом. Немцы вокруг вытирают слезы: ах, гнедиге дихтер, как он до-

шел до жизни такой, родился, мол, не немцем, вот в чем причина. И в обувную коробку пфенниги сыплются, а иной раз и тяжелая марка бултых. Собирались вокруг толпой, как герои Достоевского вокруг немецкого крокодила.

В конечном счете вспыхнул российский скандал. Появляется его превосходительство профессор князь Шишмерадзе Иосиф Аблеухович. Вы, возглашает, позорите корону! Вместо того чтобы отражать этническую многоликость родины, собираете подаяние. Откройте ваши бесстыжие глаза, мы знаем, что вы зрячий! Известно нам, где вы витали! Как избежали вы ареста! Вы поднадзорный жулик Татлин! Контрабандист и футурист!

Бегу по Унтер-ден-Линден, на плече тяжелая торба с мелочью. Нах Парис, нах Парис, вот и вокзал Фридрихштрассе! Пока нас не пожрал огонь, я должен оседлать Пегаса! Неси меня, железный конь, в Париж, к прелестному Пикассо! И вот я здесь. Теперь, Паблуша, ничего не бойся, все обсудим, все выясним! Мешок привез с собой; хочешь, взвесь!

Да кому нужна твоя немецкая медь в Ситэ де Люмьер? Пока татлинский рассказ произносился в манере столь сокрушительной для пикассовского представления о России и русских, хозяин мастерской несколько раз открывал дверь студии и кричал кому-то вниз что-то грубое, из которого Татлин улавливал только общеизвестные звуко сочетания: «сале», «мерд», «аржан», «мамона», ну вот, пожалуй, и все. Закрыв дверь, он возвращался к столу — вернее, к небольшому его куску рядом с отодвинутой массой художественных вещей: красок, палитр, кистей, резцов, шпателей, лекал, ножниц и ножей, рулонов бумаги и холстов, картонов, фанерок, мотков веревок, цинковых пластин — словом, клише, клише и клише, без которых не обойдешься при описании стола художника. Татлин делал вид, что это его не интересует, а на самом деле куча художественного материала интересовала его, может быть, больше, чем сам художник. Меж тем на свободном пространстве мазстро тесаком времен Колумба рубал колбасу тех же времен, вялый лук прошлогоднего урожая, наливал стаканы и волнообразным движением ладони приглашал непрошеного гостя: аллез-и, мон Татли!

Из всей болтовни долговязого парня он понял только то, что тот тоже художник, что он из футуристов (кто сейчас не из них?), что он просил в Германии милостыню и притворялся

слепым, пока не прозрел и не ускакал на Пегасусе в Париж. Словом, это был свой, сумасшедший XX века, и почему-то как нельзя кстати.

В очередной раз, когда Пикассо орал что-то вниз, Татлин сбросил туда мешок с никчемным германским металлом, и вдруг все волшебным образом изменилось. Явились те, кого так шумно звали: Нинетт и Маркизетт, они же Пышечка и Жирафка, музы этого квартала. Первая тут же уселась на костлявые колени гостя, вторая обвилась вокруг мускулистого торса хозяина. Вот видишь, как хорошо, мон Татли! Тебе ничего, что кожа у них не пупырчатая? Да ничего, сойдет.

Прибежал, запыхавшись, эльзасец, хозяин подвального кафе, принес еще две бутылки красного и огромную сковороду с шукрутом.

— Эх, хорошо сидим! — воскликнул Володька. Он давно уже сбросил свое сукнецо и остался в матросской тельняшке.

Нинетка, хохоча, оттягивала толстый трикотаж и заглядывала внутрь. Пикассо накручивал ручку американского граммофона, недавно подаренного ему заморским коллекционером Гугенхорном, или как его там. Удивительная скорость машины позволяла ей исполнять новомодные танцы. Маркизетка выкаблучивала матлот. Татлин поставил себе на голову полный стакан и прошелся в лезгинке.

— Татлин, ты сумасшедший? — спросил его Пикассо.

— А как ты думаешь? — не без гордости ответил юноша.

Вот это уж точно чисто русское свойство — отвечать вопросом на вопрос. Эта черта может заставить цивилизованный мир объявить им войну. Вот приехал незаконный визитер, фактически в розыске, и никаких вопросов не задает кумиру, к которому ехал, кроме вопросов на вопрос.

— У тебя есть какая-нибудь мечта?

— Хочешь честно?

— На такие вопросы я не отвечаю, — надулся маэстро.

Татлин встал на стул и поднял руки к скосу крыши:

— Я хочу на родине моей построить спиральную башню выше туч! В ней будет сидеть правительство артистов, артистократия. А на самом верху в шаре будет вращаться гений Велимир или ты, всемирный Пабло. Или попеременно. Или вместе — места хватит, если не поцапаетесь. А я построю летающий велосипед и буду летать вокруг, как птеродактиль. Улавливаешь будущее?

Пикассо кивнул и стал ждать вопроса о своих собственных мечтаниях и метаниях, но не дождался. Татлин увлекся щекотанием двух эльзасских Афродит. Неужели он перся сюда из Москвы только лишь для того, чтобы передо мной выступить, чтобы с моими моделями пощекотаться? Пикассо вконец озлился, подтащил станок к окну и сел писать.

Зимнее солнце буровой дымкой покрыло крыши Латинского квартала. Пейзаж напоминал поверхность рыбного супа. В полумраке студии художник почти не видел красок. Для пушего эффекта он зажмурил глаза на манер Татлина в Берлине. Столпотворение чего-то ярчайшего возникло у него в голове. Все-таки я сильно пьян. Без света и без глаз меня затянет в пучину, однако глаза, включившись, поведут в утопию, к этим дурацким спиральным башням, в Россию, столь чуждую оливковой культуре.

К черту ее, завтра выгоню Татлина, все проветрю, попрошу у Господа солнца, открою все окна, включу все лампы и начну новый коллаж. Если нам даны глаза, значит, мы должны ими смотреть — и не в туманную высоту, а на все Божьи предметы. У Бетховена пропал слух, но уши-то у него остались; большие ороговевшие немецкие уши, которыми он немало накопил для того, чтобы писать без слуха. Глаза накопят мне то, что необходимо для поездки в заглатие. Оттуда мы ринемся на XX век, выедем его и вывернем наизнанку! Он отшвырнул кисть и полез в копошащуюся кучу тел.

Ночью из алькова Пикассо услышал поскрипывание пола в студии. Кто там вечно бродит, пока я сплю? Кто немедленно исчезает, когда просыпаюсь? От кого остается только крошечный хвостик древесного скрипа, что тут же заглатывается залунным пространством, стоит только мне пошевелить глазами?

На этот раз скрип не исчез, он путешествовал по студии, то замирал, то возобновлялся. Пикассо выглянул из-за шторы. Переступая через полосы лунного света, по обширной студии бродило нечто длинное, сверху полосатое, снизу мохноватое: нет-нет, это не альтер эго хозяина, это не оно. Со сна Пикассо не сразу вспомнил о Татлине, а это был, конечно, он. Останавливаясь возле законченных или только начатых коллажей, он протягивал к ним руки и ошупывал

материал. По лицу его в эти минуты бродила лунатическая улыбка. Не надо было его сюда пускать, подумал Пикассо. Зачем я его пустил, да еще и подружился навеки? Этот беглый русский давно бы уже сидел в префектуре или лежал в больнице, если бы я его сюда не пустил. Ощупывает мои работы и становится моим собратом по искусству XX века. Передает и мне какие-то волны своей заброшенности. Надо быть поосторожней, и ему и мне. Недаром говорил своей банде мэтр Рабле: «Ребята, не уходите далеко от меня, потеряетесь!»

Он прошел в мастерскую и опустился в кресло. Татлин со своей матросской трубочкой уже сидел на подоконнике; похоже, очнулся от лунатической прогулки.

— Ты в Бога-то веруешь, Татлин? — спросил Пикассо и подумал, что, если и на этот вопрос ответит вопросом, сейчас же со скандалом начну орать: как посмел щупать мои работы! Ответит «не верую» — одобрю; скажет «верую» — тоже одобрю; но только не кошунствуйте вопросительными знаками, месье!

— А ты, Паблуша? — таков был ответ.

Пикассо вскипел, чуть не затрещал пузырями. Ну хорошо, сейчас поговорим!

— А ты что думаешь?

— О чем?

— Ведь ты же щупал сейчас мои работы, так что ты думаешь: верую я или нет?

— Если ты с чертом повязался, Пабло, значит, и в Бога веруешь; верно или нет?

— А как иначе?

— Я ведь богомазом, Паблуша, был; так?

— Да откуда я знаю, так или врешь?

— Черт-то ведь тоже ангелом был, но отпал; так или нет?

— А что, у русских нет утвердительной интонации?

— А ты почему муки ада не пишешь?

— А что же я пишу?

— Так напрямую и прикажешь тебя понимать?

— А ну тебя к черту, Татлин!

— Э нет, я лучше к Богу пойду.

— Фу, наконец-то обошлось без вопроса!

— Паблуша, жди, скоро грянет революция!

Из алькова запищали Нинетт и Маркизетт:

— У эт ву, ле копен?¹

О какой революции он говорит, думал Пикассо весь остаток ночи. Мы ведь и так все время вращаемся.

Утром эльзасец принес еще вина, корзину с сырами и колбасами, овощи. Все уселись завтракать. Пикассо подумал, что трактирщик, должно быть, обалдел от пфеннигов. Наверное, немцев ждет; иначе откуда бы такая щедрость.

— Хорошо сидим, художники и подруги! — восклицал Татлин. — Эх, жаль, в Москве ребята не поверят, что я вот так пировал с Пикассо. Как жаль, что нету фотографа!

Через четверть часа мастерская уже озарялась вспышками магния. Несколько пластин оказались в суматохе засвечены, однако в результате получилась одна историческая фотография: «Встреча Владимира Татлина и Пабло Пикассо. Зима 1913 года. Париж». За столом, заставленным бутылками дешевого вина, сидели и с удивлением, как два ребенка, глядели друг на друга два художника. Две их далеких от совершенства подруги выглядели как порочные гувернантки. Кроме этих главных персонажей, там были эльзасский трактирщик месье Памфельманю, три пришедших с крыши кота, бульдог, попугай, коза и осел, а также гости из фольклора — русская кикимора и каталонский вампир-трубадур.

Татлин увез эту фотку в Москву, где она вызвала настоящую сенсацию на чердаках богемы. Увы, потом она затерялась, если не была конфискована ЧК еще в 1918 году во время облавы на левых эсеров. Так или иначе, правдивость нашего рассказа уже ничем нельзя подтвердить.

За исключением поворота в творчестве московского бюджетлянина, пришедшегося как раз на послепарижский период. Зная то, что произошло на рю Кьюзак, мы легко можем себе представить, как Татлин бормотал себе под длинный нос весь обратный путь до Вержболово: «Ты, Паблуша окаянный, наращиваешь поверхность холста, творишь рельефы, а я буду отрываться от поверхности! Моя картина — фанера, железо, веревки — будет смотреть на свою пустую поверхность, как самолет смотрит на землю. Вот так-то, мон ами, ты аватар двадцатого века, а я его авиатор. Глядишь, где-нибудь еще и пересечемся».

¹ От фр. *Ou est vous, les copains?* — Где вы, ребята?

Еще один набросок: 1931 год

ПП знал, что в Советской России развивается конструктивизм. Все шло к сближению существ и не-существ, предметов функции и предметов фикции. Жить становилось все лучше, жить становилось все веселее. У некоторых людей ПП замечал по несколько глаз с каждой стороны лица. Таким, например, виделся ПП новый гость из Москвы, социалистический реалист Натан Горелик.

В 1931 году в Париж приехала делегация мастеров культуры. Все как один они были антифашисты, хотя одновременно и антибуржуазы. Среди них был один молодой художник, почему-то очень похожий на самого Пикассо: такие же вычурные глаза, такой же бульбоватый нос. Во время приема на рю Гренель они долго смотрели друг на друга. Интересно, что, кроме четырех глаз и двух носов, у них был еще один общий предмет — вернее, женский идеал, жена Горелика, величественная пролетарка Анна Горелик.

Юная женщина, воплощение коллективизации Дона и Кубани, двигалась медленно, придавала каждой позе особое значение и застыла, как барельеф. К тому времени Пабло уже накопил существенный опыт общения с русскими женщинами XX века. Он с улыбкой вспоминал свои довоенные заблуждения по части пупырчатости их кожи. Галина Хохлова, Лидия Дилекторская его околдовали; если уж и говорить о специфике их кожи, следует отметить, что от нее было трудно оторвать ладони. Теперь он думал о магнетизме мраморной комсомолки.

Он подошел к Натану и Анне.

— Как поживает мой друг Татлин? Построил ли он свою спиральную башню? Летает ли он на своих крыльях?

Супруги переглянулись. Вместо ответа на вопрос Анна направила к Пикассо свою обнаженную руку.

— Как жаль, что на таких приемах не танцуют.

Пабло был потрясен. И Натан был потрясен. Издали Эйтингон с удовольствием наблюдал, как они, словно братья Маркс, отшатнулись от Анны, а потом подтянулись к ней.

— Поедьте ко мне! — прошептал потрясенный Пабло. — У меня целая куча фокстротов и танго!

В студии, пока ПП суеился на кухне, Натан протянул Анне крошечную пилюлю с ядом:

— Сегодня это сделаешь ты!

Затем он исчез, успев, однако, на прощанье окинуть взглядом почти готовые шедевры растленного искусства. И все-таки партия права, подумал он, даже за таких товарищей мы должны бороться.

Данная пилюля была не уничтожающего, а очищающего и возвышающего свойства. Последнее достижение специального химотдела, она насыщала все клетки реципиента сверхъестественной любовью к коммунизму. Опыты, проведенные в Сухумском питомнике, безоговорочно подтверждали ее эффективность. По просьбе Сталина, именно Пабло Пикассо должен был стать первым человеком огромной коммунистической любви.

— Какие великолепные птицы садятся к вам на крышу, маэстро, — волшебным голосом проговорила Анна и, едва лишь художник метнулся к стеклянному скату: «Птицы, мадам? Вы видите птиц?», разжала свои пальцы над его бокалом шампанского.

Результат превзошел все ожидания специалистов ОГПУ: немедленно после употребления отравленного напитка художник возгорелся гомерической страстью. Произошла, правда, небольшая накладка: чувство его направилось не к Учению, а непосредственно к Анне, посланнице. Он быстро раздел ее догола, не обратив даже внимания на то, что под модной блузкой у нее оказалась майка спортобщества «Динамо», и на несколько часов внедрился в ее благодатное тело. Птицы и впрямь опустились на крышу и даже проникли внутрь студии — священные гуси Приапа.

— Паблито, мой Паблито, — шептала казачка так, как ее учили на курсах младшего командного состава секретных органов, — скажи мне, как ты любишь меня, в качестве кого, в качестве чего?

Но он не отвечал, он молча предавался своей оргии; в закрытых его глазах бушевал шторм беспредметной живописи. Он даже не слышал, как Анна пела. Песня «Ехали мы, ехали, селами-станицами» сменилась медовым сентиментом «Ну, прощай, дорогой наш боец молодой! Береги ты родные края! А вернешься домой, и станцует с тобой гордая любовь твоя», а потом, в унисон с ускоряющимся ритмом любовного пира, Анна рванула зажигательный молодежный шлягер «Эх,

Андрюша, нам ли жить в печали, не прячь гармонь, играй на все лады!».

При очередной смене позиций нимфа социализма узрела в углу студии под направленным светом лампы восемнадцать листов ватмана с объемными изображениями каких-то голых, то ли человеческих, то ли псевдочеловеческих, в общем, буржуазно-извращенных фигурок. Трудно было даже понять, какой пол в этих формах был представлен — мужской или женский. К примеру, женственная округлость с соском (или с тремя длинными, как у колхозной коровы, сосками) переходила непосредственно в железный штырь с набалдашником, а из этого штыря торчал еще менее значительный, но тоже весьма впечатляющий штыренко, своего рода намагниченный хвост плодородия. Анна ахнула: что-то в этом роде она уже видела в альбомах Натанчика (Николайчика), только тот эти кощунственные опыты прятал, а тут они были выставлены напоказ.

— Ох, Паблито, Паблито, у нас бы тебя за такие штуки по головке не погладили, — прошептала она и протянула руку назад, туда, где бесился конец Пикассо. Кощунственный трепет сотрясал теперь все ее существо, и она, такая хорошо подготовленная пролетарка, уже не понимала, где ее грудь, а где его штырь, где их общий хвост и где разъятые чресла. Теперь и карандашные скетчи, которые она видела прямо перед собой, перетекали один в другой, словно вечная плазма.

Наконец по прошествии часов Пикассо подумал, что, кажется, больше уже никогда не сможет выбраться из Анны, и, подумав так, тут же выбрался из нее. И рухнул рядом с ней в бесчувственные объятия Морфея.

Перебравшись через Пикассо, Анна попыталась встать на дрожащих ногах. Ей это удалось. Нельзя не отдать должное значкисткам ГТО: они действительно готовы к Труду и Обороне. Уже через несколько минут она своей обычной барельефной походкой вышла на улицу. Там ее давно уже ждал автомобиль с темными шторами.

— Товарищ комиссар первого ранга, ваше задание выполнено! — сказала она, усаживаясь на заднее сиденье.

В тот же день делегация деятелей культуры выехала из Парижа в восточном направлении.

И никогда более на протяжении своих жизней Пабло и Анна не встречались. Несмотря на столь существенные за-

слуги перед Учением, Анна была навечно зачислена в разряд «невъездных». Натан, вскоре ставший Николаем, вояжировал теперь без супруги. Имя Пикассо стало табу в семье Гореликов. Лауреат Сталинских премий ненавидел кумира буржуазных снобов. Однажды, уже в период хрущевских гонений на «модернизм», старик пришел к секретарю ЦК КПСС Л.Ф.Ильичеву и сообщил, что Пикассо ходит по кабакам Левого берега Сены и слезно кается, бьется лысиной в стены. Дескать, всю жизнь притворялся, искажал реалистическое искусство на потребу буржуазии, но теперь завязал и будет учиться заново.

Ильичев, как и все тогдашние цекисты похожий на мелкого бюргера, пришел от этого сообщения в неопишуемый восторг.

— Значит, все-таки действует! — вскричал он.

Лауреат вгляделся в малопримечательное лицо.

— Что действует, Леонид Федорович? — Неужели даже этот жалкий секретаришко знает о той таблетке 1931 года? Неужели не умеют тайну хранить товарищи?

— Как что?! — Ильичев бешено закрутился на своей знаменитой рояльной табуретке. — Наше Учение, наша позиция!

Успокоившись, два мыслителя еще долго обсуждали «идеологическую тактику партии в свете увядающей работы «Детская болезнь левизны в коммунизме».

Кстати о детях. После того подвига на рю Кыюзак Анна понесла и в 1932 году родила мальчика, которого нарекли Игорем. Он был очень похож на отца Натана-Николая, но почему-то всегда напоминал маме того сокрушительного Паблито. Папаша сначала вообще-то злился, но потом стал подражать гримасам ребенка, и вскоре все гости совершенно искренне стали восклицать: как он на тебя похож!

В те времена о тестах на ДНК никто и понятия не имел в советском акушерстве и гинекологии. Вообще проблема подлинного отцовства не стояла так остро, как сейчас; отец в общем-то у всех был один, грузино-осетинский бастард путешественника Пржевальского.

А ПП, между прочим, нередко грустил, грустил по Анне, по ее слегка пупырчатой коже, по той буре телесного магнетизма, что закрутила их тогда в одну телесную форму. Любвиная таблетка, можно сказать, подействовала: долгие годы он питал слабость к гигантской родне социализма. Он и знаме-

нитую свою голубку запустил как весточку Анне, и та прекрасно это поняла, хоть и осталась верной солдаткой партии.

Когда Сталин умер, Луи Арагон попросил Пикассо нарисовать портрет усопшего гиганта для журнала «Леттр Франсез». Художник вытащил из какой-то своей груды папку с листами ватмана и натолкнулся там на опыты 1931 года — скетчи перетекающих обнаженных форм человеческого био. Непонятная темная грусть опустилась на него. Простым угольным карандашом он стал на обратной стороне какого-то многотынястого и штырястого произведения набрасывать заказанный портрет. Получалось женское лицо с огромными светлыми глазами. Что-то не то, думал он, нет, совсем не то, чего хотел Луи, типичное не то. Он прибавил угля в зрачки, а на верхней столь желанной губе разместил большие черные усы.

В этом виде портрет отца народов появился в траурном выпуске любимого журнала левой интеллигенции. И вызвал скандал. Арагону досталось на партсобрании: ваш Пикассо совсем очумел, вместо портрета сделал кошунственный шарж, вместо вождя трудящихся нарисовал усатую бабу!

Боже мой, прошептал семидесятидвухлетний художник, а ведь я хотел как-то выразить свои чувства. Увы, не получилось. *Tant pis...*¹

Говорят, что после этого афронта он был нездоров, его мутило и не раз даже выворачивало наизнанку. Впрочем, он прожил еще двадцать лет, менял любовниц, намалевал до фига своего великолепного карнавала, и теперь мы видим, что наша история была бы просто немыслима без его присутствия.



¹ Тем хуже (фр.).

ЧАСТЬ ДВЕНАДЦАТАЯ

«Эр-Гор»

Славе Горелику подходило под сорок, когда его избрали Генеральным секретарем ООН. Кажется, это был первый генсек с серьгой в ухе в истории этой всемирной организации. Нельзя сказать, что это всем нравилось. Были ретрограды, которые вопили: «Да вы с ума сошли, господа! Гангстера выбираете на самую почетную в мире должность! Нет, мы действительно катимся в пропасть!» Никто этих ретроградов и слушать не хотел. Во всем мире широкие массы теперь славословили Славу как «Воссоздателя Воздуха». И не зря: уже на протяжении нескольких лет, где бы ни появлялись группы всемирно знаменитого общества «Эр-Гор» (бывшего ООО «Природа»), население начинало ощущать очищение дыхательного состава. Международная хартия воздуха дала гореликовцам широкие полномочия. Спасатели с оранжевыми овалами на беретах активно действовали даже в высокогорном Тибете, пресекая поползновения китайских коммунистов превратить буддийское поднебесье в свалку своих радиоактивных отходов. Украина из засыпанного цементной пылью пустыря на глазах превращалась в богатое кислородом хлебное царство. Нигерия, где повсеместное воровство сырой нефти в конце концов привело к возникновению гигантских смердящих болот, занимавших семьдесят процентов погибших джунглей, и где расплодились мултантные, величиной с ворону, смертонос-



ные комары, под натиском эргоровских активистов прозрела и возгорелась поразившим весь мир движением за чистоту воздуха.

Вообще, надо сказать — нефть, милостивые государи. Эта субстанция во всех ее технологических переработках под топливо стала главной мишенью Мстислава. Поставленный им на широкую ногу экологический сыск открыл человечеству главный экономический секрет прошедшего века. Оказалось, что за семью тысячами печатей в сейфах многонациональных нефтяных корпораций таилось множество проектов универсального и чистого источника энергии. По простоте и гениальности этот новый принцип движения можно сравнить только с изобретением колеса, то есть он сам как бы подкладывал под себя бесконечную дорогу, на которой можно было развить скорость без вреда для окружающей среды.

Альтернативная технология не создавала никакого серьезного побочного вреда, кроме одного: новый источник энергии, по сути мало отличающийся от обыкновенной воды, будучи запущен в широкое производство, исключал из мирового обихода почти всю добываемую нефть. Иными словами, он делал бессмысленной деятельность нефтяных монополий, то есть ликвидировал всю систему добывания триллионов денег, то есть подрывал мировую финансовую систему, то есть каждый понимает все дальнейшие «то есть».

Можно припомнить, что уже к последней четверти прошедшего столетия иные умы начинали недоумевать: отчего в энергетике планеты и, в частности, в области автомобильных и авиационных двигателей воцарился странноватый застой. Разведка «Эр-Гора» установила, что торможение было вызвано нефтяными корпорациями с целью удержания *modus vivendi*. Монополии скупали проекты развития новой энергии и новой технологии, а также и лабораторные образцы высокоэффективных и чистых движков и прятали их в секретных хранилищах под закодированными замками.

Бензиновый двигатель в любом его варианте — от сенокосилки до реактивных турбин, в принципе, достиг своего пика. Его еще можно усовершенствовать, но нельзя кардинально изменить. Вот почему возник малопонятный застой. «Конкорд» летал уже тридцать лет без изменений. Пришел 2001 год, а на горизонте не было видно никаких «космических одиссей». В городах подсчитывали количество окиси

углерода в кубическом метре воздуха. Распространение бешеных нефтяных миллиардов распространяло и террористические режимы, средневековые диктатуры, то есть угрожало самим основам либеральной демократии. «Даешь антинефтяную революцию!» — с таким лозунгом «Эр-Гор» вышел на мировую арену.

В кругах высокой политики и тяжелого бизнеса к этому призыву отнеслись пренебрежительно, вернее, никак не отнеслись. Стоит ли обращать внимание на какую-то маргинальную группу русских авантюристов? В худшем случае речь идет об очередном вымогательстве. Публикации наглых манифестов, однако, продолжались. «Эр-Гор» покупал странички в ведущих органах печати. Вскоре журналисты заинтересовались этими настырными и явно не бедными экологами. Началось брожение умов.

Однажды один из вице-президентов компании «Мобил ойл» (их там было восемьдесят) позвонил в штаб-квартиру «Эр-Гора». Трубку взял один из тамошних вице (там их было шесть), человек со странным именем Юрка Эссесер. «Мобил» поинтересовался, какую сумму они бы хотели получить, «чтобы прекратить всю эту трескотню». «Сейчас скажу, не вешайте трубку, — ответил эколог и куда-то ушел. В течение трех минут восемьдесят вице-президентов, и даже, кажется, кто-то восемьдесят первый, слушали звуки, идущие из глубин подозрительной компании. Там слышалась музыка, какой-то рок-н-ролл по-русски, потом кто-то громко сказал «Ну, что ты все жрешь?», засмеялись, шорох, бульканье, и наконец весьма учтивый голос по-французски назвал запрошенную сумму. Она была равна всем ассетам нефтяного спрута. Иными словами, спруту изящно, в духе наполеоновских войн, было предложено прекратить существование.

Прошло еще немного времени, и на телевизионных каналах по всему миру замелькали объявления: «Век нефти? Нет, воздуха!» Сначала появлялась согбенная фигура в противогазе. Она брела по загрязненному пространству, на котором маячили вопросительные знаки. У подножья последнего вопроса фигура сбрасывала маску, выпрямлялась и становилась женщиной удивительной красоты, по слухам, не кем иным, как скандально известной Нэтали Горелик. Вопрос тоже выпрямлялся, превращаясь в жизнеутверждающий восклицательный. Пространство преображалось в горный курорт,

где действуют «двигатели воздуха», не только не вредящие процессу поглощения кислорода гемоглобином, но даже как бы обогащающие этот процесс. Красавица играла некую ноту на губной гармошке, а потом пела четыре завораживающих слова: «To You With Breathing!»¹

Этот призыв можно было понять и как любовное свидание, и как путь человека к Богу.

На этот раз корпорации заволновались не на шутку. Началась массивированная контратака нефтяных пиаров. Разумеется, в потоке глянцевиной, гладко написанной литературы с ее призывами к здравому смыслу даже не упоминался «Эр-Гор»: слишком мала была моська для шествия стада слонов. И все-таки странная нота губной гармошки уже прилепилась к губам: «To You With Breathing!»

Вдруг разразилась целая серия скандальных разоблачений. «Эр-Гор» стал публиковать результаты секретной работы своих «оранжевых овалов». Чистый автомобильный движок был изобретен и полностью разработан еще двадцать лет назад. Новые энергетические станции благодаря своей ошеломляющей простоте могут быть построены уже в ближайшие пять лет в любом месте планеты. Огаденская пустыня забудет, что такое засуха. Принципиально новые и абсолютно надежные типы самолетов появились бы уже десять лет назад, если бы не заговор нефтяников. Если мы преодолеем стагнацию рынка, вокруг Земли начнут летать орбитопланы и космические лайнеры. И т.д. и т.п.

Самое же главное состоит в том, что мы — «дети воздуха», этой уникальной биосреды, в которой человечеству Высшим Промыслом предписано и процветать, и тлеть, и снова процветать, и т.д.; мы наконец-то остановим процесс своего собственного удушения. Иными словами, перестанем оглушительно и удушительно пердеть.

В индустриальных странах начались волнения. Публика требовала, чтобы корпорации открыли секретные хранилища. Демонстрации наводняли города и часами стояли на площадях, слушая активистов экологии, среди которых самыми горластыми были, конечно, посланцы «Эр-Гора». Не обошлось и без насилия. Наиболее ярые «воздушники» разрушали бензоколонки. Правительства посылали антиповстанческие отряды

¹ Дышу для тебя (англ.).

на защиту корпораций, но в то же время требовали раскрытия тайн нефтяного бизнеса, делая вид, что все это им ранее было неведомо.

Нефтяники тем временем начали контрнаступление. Они без зазрения совести скупали акции издательских компаний и средств электронной информации. Все шире стала подаваться идея, что «Эр-Гор» — это не что иное, как подрывной центр с далеко идущими целями. Он хочет дестабилизировать индустриальные демократии. Объявляя войну двигателю внутреннего сгорания, они стараются загасить все наши очаги. Все не так просто, как вопят демагоги. Нефтяники не тормозят прогресс — напротив, в своих закрытых лабораториях они стараются подготовить мир — без эр-горовской свистопляски — к началу новой энергетической эры. Лучшие умы в области технологии, математики и других точных, а также и гуманитарных наук — философы, социологи и антропологи — работают в наших институтах, а не в шарашках типа пресловутой ООО «Природа».

Знает ли почтеннейшая публика, каким людям они внемяют? Известно ли вам, господа, шановне паньство, кто стоит во главе «Эр-Гора»? В печать стали поступать шокирующие, как предполагалось, сведения о чете Гореликов, о чете Мумеевых, о Юлию Ласканен и Тел-Незе, о Юрке Эссесере и о суровом Вертолетчике.

Публика почему-то только плечами пожимала. Кому какое дело, был ли гангстером Славка, была ли проституткой прелестная Какаша? Важно, что сейчас они борются за наш воздух, важно, что сейчас они прекрасны. Пресса тоже повела себя в конце концов не очень-то однозначно. Все-таки принцип All news that fit to print¹ был еще жив если и не в сознании, то в подсознании выпускников Оксфорда, Гарварда и Эколь Нормаль. Так или иначе, в один прекрасный день все главные газеты и телеканалы сообщили, что «Эр-Гор» переходит от деклараций к действиям.

В географическом центре Евразии, в суверенной Тыве, был заложен автозавод новой технологии. Через год он должен был начать производство «эр-горов», способных развивать скорость до 200 км/час, имеющих устройство для верти-

¹ Все новости, которые годны в печать (англ.).

кального взлета и приходящих в движение от водно-электрического мотора, к тому же требующих подзарядки всего лишь раз в год.

Акции новой компании были сразу же выброшены на рынок. Все ждали катастрофы, но произошло чудо: «Тыва-мотор» оказалась самым горячим товаром на NYSE. Котировки поднялись выше крыши, и наш «Канал», с которого, собственно говоря, и началось повествование, он же ООО «Природа», он же «Эр-Гор», что уже давно, честно говоря, качался на грани полного банкротства, в одночасье заработал несколько «миллиардов».

«Канальи» снова стали богачами и после нескольких лет суровых ограничений стали активно пользоваться благами угасающей бензино-мазутной цивилизации. Славка был уверен, что новую удачу им принесла Наталья Ардальоновна. Эта намагниченная девка, нес он, накачавшись шампанским, поворачивает на себя финансовые потоки. Достаточно покопаться в ящиках старого Ваксина, чтобы увидеть: девка приносит богатство. В этом романе мы найдем по крайней мере четырех ее бывших мужей, которых она сделала миллионерами.

Ненадолго, хохотала Какаша, заказывая себе наряды у парижских кутюрье. Башли любят плыть ко мне, это верно, но они также любят и уплывать от меня. Расходы ее в этот период не ограничивались нарядами. Она стала председательницей не менее дюжины благотворительных обществ и постоянно вырывала из своей чековой книжки странички с сумасшедшими цифрами. Муж не возражал. Девка права: деньги должны двигаться. Приближаясь к середине жизни, он не хотел заблудиться в сумрачном лесу, потому что настала пора воплощения утопий.

Деньги, впрочем, продолжали течь на Какашин магнит. Был создан мощный институт новых энергий. В нем собралось ядро прежде невостребованных гениев. Их проекты, превращаясь в «коммодитис», приносили корпорации все новые «миллиарды», которые с успехом инвестировались в производство новых двигателей, силовых станций и очистных сооружений. Несмотря на все препоны, добыча нефти начала сокращаться в мировом масштабе.

Оракул ЦИРКСа

За несколько лет до этого поворота после долгих раздумий о судьбе романа я решился собрать все данные «Эр-Гора» и прокрутить их через только что запущенный конфликтологический оракул в Пинкертоне. Прогноз получился угрожающий — развязка, похоже, приближалась. Собрав все бумаги и диски и нахлобучив свою старую, еще писательскую, шляпу, я отправился в Москву.

Верьте не верьте, но мне показалось, что вонь в московском воздухе стало меньше. В городском движении постоянно мелькали каплеобразные тачки тывинского производства. Проходя по Большому Устьинскому мосту, я, правда, не заметил в текущих под ним водах особой прозрачности, однако мазутных переливов стало меньше.

Новое постмодернистское здание «Эр-Гора» высилось на Раушской набережной возле церкви св. Николы Зайицкого. Охранники на ступеньках жизнерадостно матерились. Никто почему-то не попросил меня открыть портфель. Я попенял парням на недостаток бдительности.

— Да что вы, Стас Аполлинариевич, нас ведь предупредили о вашем прибытии, — ответствовали они. — У нас ведь все четко, чисто конкретно. Сразу заметили, вон папаша по мосту в поношенном идет — не иначе как автор Ваксино; с добрым утром, вас ждут.

Может, меня и в самом деле ждали, но к этому часу забыли. Все руководство пребывало в спортзале, то есть усовершенствовало свои фигуры на снарядах «Кеттлер». Бухала привычная для таких занятий колотушка музыки. Чтобы обратить на себя внимание, мне пришлось, не снимая пальто и шляпы, с центра поля забросить мяч в баскетбольную корзину. Эйб Шум, где ты там затерялся на наших страницах?

— Ой, это что-то мне напоминает! — прилетел девичий голос из металлических джунглей, а вслед за ним прилетела и обладательница по имени Какаша. — Мальчики, смотрите, кто пришел! Стас! Аполлинариевич! Ваксино!

Со скрипом затормозила вся система, и шатия собралась вокруг раннего визитера. Не без удовольствия я смотрел на них. Со времен Кукушкиных островов они мало изменились.

— Vous regardez, cher Stas, — сказал князь Мумуев-Дикобразов, — у нас теперь, как в Пентагоне: десять лишних фунтов — и отправляешься в отставку.

Меня всегда удивляло, как быстро эти новые дельцы умеют переодеваться. У меня обычно этот процесс занимает чертову уйму времени. Наденешь штаны с рубашкой и видишь — что-то не то; приходится менять то штаны, то рубашку. Носки чаще всего разрознены. Пока ищешь более-менее сходную пару, весь взбесишься. Трясешь свитер, из него вываливаются другие носки, более подходящие. Приходится переобуваться. Ну и так далее. В результате кто-нибудь про тебя говорит: «Посмотрите на старого Стаса Ваксина — он всегда одет с небрежной элегантностью».

Капиталистический комсомол демонстрирует почти военную (недаром ссылка на Пентагон) энергию в переодевании. Только что были обтянуты пропотевшими трико, но вот и десять минут не прошло, а все уже сошлись в конференц-рум при полном уолл-стритовском прикиде: костюмы, галстуки, жилеты, натянутые носки, гладко зачесанные волосы. За это время я бы не успел застегнуть запонки.

— Тревожные новости, ребята, — сказал я перед тем, как включить свой лэптоп. — Оракул ЦИРКСа показывает, что ваша утопия, а стало быть, и мой роман вступают в зону турбулентности. Ваш «Эр-Гор» замахнулся не только на суперкорпорации. Конфликт принимает глобальный характер. Антинефтяное движение посягает на благополучие огромных районов мира. Так уж получилось в ходе истории, что арабский мир прошел свой пассионарный, по Льву Гумилеву, период задолго до научно-технической революции. В современность он вступил без каких-либо шансов на процветание, поскольку ничего не производил. Под пение муэдзинов мусульманская цивилизация прозябала в полуколониальном состоянии, пока западные геологи не открыли под ее поверхностями богатства нефти. Этот дар Аллаха возгорелся в восточных пустотах, творя финансовую мощь, а также мессианскую идею торжества ислама.

То же самое случилось и с норвежцами. Грозные викинги в ходе истории превратились в скромных сельделовов. Ничего не оставалось, как жить в чистеньком полупрозябании. Сейчас в их прибрежном шельфе нашли нефть, и Норвегия стала самой богатой страной Скандинавии, а может быть, и всей Европы.

Конфликт при всем его гигантском размахе весьма прост. «Эр-Гор» разрушает утопию нефтяного процветания народов. Судите сами о последствиях. По вашим улыбкам я вижу, что мой исторический экскурс звучит наивно, однако он дает мне возможность перейти к главной теме. Как и многие читатели, не говоря уже о критике Говновозове, вы можете иронически относиться к Центру Изучения и Решения Конфликтных Ситуаций, однако вашей иронии, господин Телескопов-Незаконный, поубавилось бы, н-к-г-к-д-м, узнай вы больше об Оракуле. Этот орган — я не решусь назвать его аппаратом, — прежде чем выдать свой обычно лаконичный ответ, перерабатывает несметное количество материала, вроде бы не относящегося к заявленной теме. Однажды я застал его за старательным подсчетом слоновьего молодняка, после чего он непринужденно перескочил к вопросу проницаемости границ Европейского сообщества.

Словом, я загрузил в него два антонима — «Эр-Гор» и «Нефть», и стал ждать ответа. Он работал три часа, иногда задавая мне светские вопросы типа «Как дела?», «Не устали?», «А вы вообще-то, мистер Ваксино, были когда-нибудь в диссидентском движении?». Через три часа обычным фонтаном «гельветика» в правом нижнем углу экрана явился ответ, он гласил: «Тотальный террор». Затем он любезно предложил сумму обработанного материала. Распечатка заняла три дня. Чтобы поддерживать принтер в рабочем режиме, иногда приходилось засовывать его в холодильник. Ну, что вас так смешит, господин Эссесер? Я рад, что хотя бы мадмуазель Мухаметшина разделяет мое недоумение вашим животным смехом.

Короче говоря, ребята, против вас вскоре будет объявлен тотальный джихад, а поскольку мне вовсе не светит описывать уничтожение ваших силовых установок, заводов в Тыве и Тянь-Шане и прочей вашей собственности, включая этот красивый небоскреб, а еще меньше меня греет персональное исчезновение моих литературных детищ, постольку я хочу сейчас поставить перед вами вопрос: может быть, мы объявим роспуск компании и займемся личными делами, то есть женитьбами, разводами, сценами ревности, рождением детей?

Как раз в этом месте мое выступление было прервано пронзительным сигналом тревоги. Дима Дулин включил свой

монитор. Все увидели окруженного дулинской гвардией чернобородого человека с длинными, туго переплетенными косами. В глазах его застыло презрительное пресыщение объективированным миром.

— Опять человек-бомба, Дима, — доложил начальник охраны. — Называет себя Буса бен-Гунниб ибн-Хуттаперч, бродячий проповедник. Бомбу, конечно, первый раз в жизни видит. Что делать с ним будем?

— Разрядите бомбу и дайте ему ногой под жопу, — порекомендовала княжна.

— Видишь, Стас, мы уже ведем ту войну, о которой ты нам лекцию прочел, — сказал с улыбкой Славка.

— Это еще не та война, — возразил я.

Он пожал плечами:

— Будут бить, будем плакать.

— Мне нравится эта часть диалога, — сказала Наташка.

— Как в кию, — серьезно покивала княжна.

— Как в кию о кино, — добавил Герасим Мумуев.

— Бойтесь не столько бородатых хаджи, сколько голубоглазых норвежцев, — предупредил я.

— Аполлинарьич прав, — поаплодировала Юлью Ласка.

Я с благодарностью ей поклонился, тем более что в лапландском произношении это прозвучало как «Аполлинарьич брав».

Телескопов-Незаконный сверкнул своим цейсовским стеклом.

— Откуда ты знаешь норвежцев?

— У нас с ними общая граница, — парировала неувадающая северянка.

На мониторе снова появился старшой охраны.

— Бомбист дает показания. Прибыл сюда из Урус-Мартана через Риад и Осло.

Милая Никитина принесла свежий кофе с круассанами.

— Ну хорошо, Аполинарьич, а есть у тебя какой-нибудь положительный сценарий? — спросил Славка.

Я кивнул:

— Разумеется. ЦИРКС всегда, даже в самой безнадежной ситуации, предлагает позитивный вариант. Вот, вообразите, в кругах проблематично существующей высшей власти Запада, скажем в Эльденгуэрбильбермерском Клубе, о котором так любят поговорить большевики, ну, скажем, какие-нибудь си-

онские мудрецы принимают решение начать новую эру цивилизации. Постепенно уходит в прошлое век керосина. Корпорации начинают менять курс и открывают подвалы с замороженными проектами. Внедряется повсеместное производство водяных, спиртовых, картофельных, свекольных, табуреточных, а главное, чистых двигателей. Развивается революция транспортных средств, а самым главным достижением этого нового витка цивилизации становится воссоздание первопричинного воздуха.

В этих условиях становится возможным кардинальное перераспределение финансовой активности. Уменьшается мизантропия, увеличивается филантропия — иными словами, угасает то, что ты называешь «глобальным пердежом». Нищета уходит в прошлое. Возрождается Африка. Арабские страны и Норвегия принимают новый порядок вещей и перестраиваются на туристический бизнес. Остаток нефти используется для производства многочисленных вязких субстанций.

Естественно, при развитии этого утопического сценария вперед выйдет тот, кто начал первым, то есть «Эр-Гор». Ваш в равной степени мифический и пылкий крейсер будет почитаться как богиня Афина, а сами вы станете законодателями «воздушного общества», если, конечно, не ошалеете от непомерных доходов и снобизма.

— Ну что, ребята, мы не станем снобами? Уважим папашу Аполлинарневича? — спросил президент.

И все охотно согласились: нет-нет, они не станут снобами, они предпочитают быть «воссоздателями воздуха» и спасителями человечества.

Значит, вы предпочитаете второй сценарий, милостивые государи и милостивые государыни? Я отошел от них на несколько шагов и обернулся. Все они стояли теперь плотной кучкой плечом к плечу, руки сложены на груди или уперты в бок: Мстислав и Наталья, Марианна и Герасим, Никитина и Мухаметшина, Дулин и Эссесер, Лёлик и Юлью, а также — вот сюрприз! — и монументальный Василиск Бром с Софочкой Фамю, и все они смотрели мне вслед с полной серьезностью и непреклонной решимостью. Значит, вы отвергаете антиутопию? Вы уверены, что вас не взорвут всех вместе, не перестреляют поодиночке, не отравят, не выбросят из окна, не предадут забвению? Значит, вы намерены победить?

Я отошел еще на несколько шагов и снова обернулся. Они молчали и не двигались с места. В таком случае прошу расположиться для финального снимка; я вынул камеру из своей торбы. Они расположились; кто сел в кресло из толстого стекла, кто на край огромного стеклянного стола. Какаша со свойственным ей крайним индивидуализмом прыгнула на стол и теперь тихонечко отчебучивала чечетку. Никто не улыбался, даже она. Нужно запечатлеться! Увековечиться! Все исчезает, даже все грандиозности, но ничто не пропадает совсем, если даже малая птица может запечатлеться, увековечиться, если образ ее отразится на слое эмульсии, как бы извлеченной из недр бездонной тайны.

За стеклянными стенами небоскреба из вечной московской хмари, из-за парных клубов теплоцентрали, на которой еще мой отец в 1914 году работал пятнадцатилетним подсобником, проявилось «редкое явление природы», московское солнце. Сильные лучи пронизали кубатуру конференц-рум, и мои модели, вся группа, как бы повисли в воздухе, не теряя непринужденных поз и серьезного выражения лиц. Камера тихо жужжала в поисках нужного фокуса. Славка, мое любимое детище, смотрел на меня со своей удлинненной губастой мордой, с вечной насмешкой правой носогубной складки (в чей адрес, в мой ли или в свой собственный?), со своими зенками, которых боялись все, кроме тех, кто их не боялся. Я щелкнул затвором; ну что ж, авантюрист Горелик, прощай!

Внизу весь холл был заполнен людьми с надписью ФСБ на спинах. На ступенях громоздилась рать средств массовой информации. Провели накрытого с головой плащом человека-бомбу, а за ним еще нескольких выловленных по горячим следам «агентов нефти». Меня обшмонали, прежде чем выпустить наружу. Долго крутили в руках алюминиевую коробку, в которой у меня были аккуратно разложены дневные порции лекарств. Кто-то из-за спины сказал, что этот отец похож на писателя, который по телевизору.

— Тебе, Максим Горький, отдыхать пора, а ты по таким местам ходишь, — сказал один сыщик.

Коробку вернули, попросили автограф.

Я вышел на набережную и пересек пронизанную лучами тень «Эр-Гора». Под ногами шлепала снежная слякоть. Кто-то догонял меня, слышались торопливые «шмяк-шмяк». Я огля-

нулся. Подбегала Наталья в распахнутом пальто из тройного слоя кашемировой шерсти.

— Стас, меня Славка послал вас догнать! Вы уходите, не узнав самого главного, что с нами случилось! Так нельзя, без этого все расплзется по швам! — Она чуть не плакала.

Гранатовое зернышко

Мы пошли по набережной к гостинице «Балчуг-Кемпински». Там на втором этаже мы выпили чаю и съели по куску яблочного пирога. Потом побрели через Большой Москворецкий мост до Красной площади и там спустились в подвальный ресторан «Красная площадь, дом один», где съели уху под графинчик водки. Потом мы пересекли Манежную и зашли в добрый старый, нынче такой шикарный «Нац», выпили там коньяку, дальше поплелись все медленнее, все меньше замечая окружающее по Тверской, присели у бара в мексиканском заведении, перешли по подземному переходу на другую сторону, мимо изможденного гиганта Чехонте вступили в Камергерский, съели по расстегаю в ресторане МХАТа, где сквозь лакировку просвечивала на стене писательская надпись «Люблю я, братцы, МХАТ, когда он не мохнат!», вышли на Кузнецкий и на углу Неглинки спустились выпить пива в подвал для курящих ресторана «Елки-палки», а когда вышли оттуда, увидели, что началась пурга, и там паяцы с бубенцами на колпаках кружились в снежных вихрях, пока мы добирались до «Савоя», где нас ждала бутылка калифорнийского «Мерло», после чего на выходе нас уже встретила полная ночь; буря улеглась, но снег продолжал падать или, лучше сказать, ниспадать на нас крупными хлопьями.

Народ уже разобрался по своим телевизорам, и только в переходах рок-н-роллили ребята в древнеегипетских одеяниях, олицетворяя рекламу какого-то казино. Около Политехнического мы сели в рыдван 63-го маршрута, доехали до Яузских ворот и спустились в ресторацию «Старые стены». Там сидела в основном братва со своими телками, и все они уставились на нас, как будто мы явились сказать им что-то непосредственное, но мы на них не смотрели, а только ели пирожки и пили чай, после чего направились в сторону «Иллюзиона». И все это время она рассказывала мне то самое

главное, что у них случилось и без чего никак нельзя закончить наше повествование.

Тому назад не менее двух лет чета Гореликов на ночь глядя отправилась в прикольную дискотеку «Ожог», что недавно открылась в бывшем здании Института марксизм-ленинизма возле Тверской, прямо за бронзовыми ягодицами боевой лошади основателя Москвы князя Юрия Долгорукого.

«Славка, тебе всего лишь тридцать четыре года, а мне всего-то двадцать семь; мы еще можем здорово побеситься!» — убежденно сказала Наталья.

Его высокопревосходительство не возражал. Напротив, внес любопытное предложение. «Давай скинем по десятке и вообразим, что мне двадцать четыре, а тебе семнадцать, как будто на следующий день после Елагина острова просто поперлись в диско, как будто и не было этих десяти лет со всеми чертовыми приключениями, идет?»

Она взвизгнула от восторга, откусила ему оба уха, три из десяти пальцев, хотела и до основного добраться, однако отложила на опосля, бросилась в гардеробную и выскочила оттуда в соответствующем прикиде: платьишко до лобка, светящиеся браслеты на лодыжках, клипса в носу, на башке ее коронный факел разноцветных волос. Славка натянул на мускулистый торс черную майку, стал искать какие-нибудь джинсы и не нашел. Можете себе представить, во всем огромном доме ни одной пары «блюджинс»! Во всех шкафах одна фирма: хьюгобоссы, гуччиверзоххи, олдбондстриты — ничего подходящего для двадцатичетырехлетнего альтернативщика.

Вдруг обнаружилось нечто вполне великолепное — широченные пижамные штаны с оранжевыми петухами и голубыми попугаями. Словом, парочка получилась — полный вперед! Охране они сказали, что запираются у себя, а когда внизу все стихло, откатили книжный шкаф и через потайную дверь были таковы.

«Ожог» располагался в бывшем марксистском вестибюле. Обстановка была вполне постмодернистская. Огромный Ильич царствовал посредине зала, как на вокзале. Идея вокзала обыгрывалась также при помощи электронного табло, по которому прокатывались то объявление об отходе поездов почему-то в Солт-Лейк-Сити, то какие-то двусмысленные надписи вроде «Строгий учет воспламеняющихся субстан-

ций», то расплывающаяся физиономия любимца тусовки актера Ивана Охлобыстина. В зале также были расставлены ярко раскрашенные куклы в полный человеческий рост: ассенизатор и водовоз Маяковский, дискобол Нина Думбадзе с усадым лицом вождя трудящихся, Лаврентий Берия в костюме маркиза де Сада.

Когда они вошли, танцы еще не начались. Наташка восторженно свистнула: на эстраде в кругу света стоял седой человек с гитарой, бард Алик Мирзоян. Его акустический инструмент то брэнчал, как клавишины, то гремел, как джаз. Он пел свой блюз «Фицджералд»: «...Не зная, что еще случится, кричит в пустые наши лица больная родина моя...» После этих слов его профессорский голос переходил на негритянский скэт.

Певец, увы, недолго занимал сцену. Его сменил оркестр техно-музыки. Публики становилось все больше. Всё уже было в движении. Мелькающие огни высвечивали медленно закручивающуюся машину рук и голов. Дымок и запах каннабиса уже кружил Наташку. Ей и впрямь казалось, что вернулось семнадцатилетие. Вдвоем со Славкой они включились в общий все нарастающий ритм.

Возле колонны с социалистическими капителями могучий негр в нигерийском бурнусе продавал, а бедным просто совал таблетки амфетамина. «Видишь, как подсаживает?!» — хохотнул Славка. «Возьми у него побольше, не пожалеешь!» — крикнула Наташка. Он протянул нигерийцу сотенную бумажку и получил пузырек.

Через несколько минут, не прекращая механических движений, они оказались в совершенно изменившемся мире. Колотуха музыки приобрела ошеломляюще новый, бесконечно очаровывающий смысл. Они извивались со всей толпой, но им казалось, что это толпа извивается с ними. Один за другим выпрыгивали ниоткуда и уносились никуда миги пронзительного счастья. Вместе с этими мигами и они сами проносились из восхитительного ниоткуда в расхитительно-восхитительное никуда, и каждое их движение было и слиянием, и шагом к слиянию, и шагом к разъединению для нового слияния, словом, бесконечным, как весь этот ритм, срывающимся ожиданием.

«Технократическая музыка!» — крикнул он ей в ту даль, в которой она плясала лицом к его лицу. «Боже, как смеш-

но! — рассыпалась она колокольчиками. — Мы роботы, Славка! Мы клавиши и чипсы!» Он умирал от хохота и счастья. Он все-таки нашел свою девчонку! Выкупил ее у призрака, почти как в пьесе Стаса Ваксина! Семь лет искал, и вот она вся в нем! Потрогай ее пальцы, возьми хоть один из тех, что кружатся над ее головой. Палец Какашки отвечал всем ожиданиям и превосходил их. Каждая его фаланга превращалась в батарейку счастья. And lasts, and lasts, and lasts...¹

«Посмотри на этого продавца! — хохотала она. — Сколько на нем навешано одежд, а ведь у себя дома небось бегают в трусиках!» — «Голышом!» — задохнулся и он от хохота, и этот образ нигерийского дельца без его величественного бурнуса, в складках которого таилось столько счастья: каннабис, амфетамин, элэсе, кокаиншка, экстази, — а голышом, был настолько уморительным, что они еще долго тряслись в хохоте, если можно сказать «долго» о технотанце с его полной отключкой от потока секунд и минут.

Между тем «Ожог» все больше наполнялся их сверстниками, то есть ребятами и девчонками от семнадцати до двадцатичетырех. В ливнях света и мглы мелькали лица, искаженные эйфорией, тела, конвульсирующие в таких фигурах, какие мало кто из них смог бы повторить наутро. Без усталости, без остановки сотни три танцоров тряслись под безудержный технорок, и каждый казался себе вечно юным полубогом околоземных пространств. «Как я люблю с тобой трахаться, Славка мой!» — закричала Наташа, никого не стыдясь, да и было бы смешно стыдиться кого-либо из этих братьев и сестер, преодолевших время.

«Эвонна!» — выкликнул Славка только что изобретенное слово и сделал пируэт, что твой Джон Траволта из его первого фильма. Вдруг она почувствовала, что кто-то одним махом заткнул ей рот ватой. Сжались челюсти, заскрежетали зубы, к божественному рту из глубин набитого всякими там кишками тела стала вздыматься тошнота. Славка уже блевал, обняв за талию «агитатора, горлана, главаря».

Позже Наталья Ардадьоновна, вспоминая эти отвратительные минуты, гадала, что стало причиной, как она выражалась, «выворотки»: то ли нигерийский товар был нечист, то ли

¹ Реклама батареек Duracell: «Продолжается, продолжается, продолжается...»

трехлетняя отвычка от зелья сказала. В те отвратительные минуты она ничего не соображала, а только лишь выла и скулила, как раздавленная колесницей (почему-то именно колесницей) собачонка. Вокруг вдруг оказалась масса парней в темных костюмах с галстуками. Они оттирали от Гореликов другую массу парней в костюмах с галстуками. Двое держали над головами пистолеты. Из-за широких плечей выскакивали личики по-прежнему танцующей толпы. Там кто-то радостно визжал: «Олигарха! Олигарха выворачивает!» Вспыхивали блицы фотоаппаратов. Вдруг Славка выпрямился с мобильником в одной руке и с маленьким, но увесистым револьверчиком в другой. Он пальнул в потолок, и в тот же момент в зал стали вваливаться пятнистые в черных масках.

Подвал, куда затолкали всех участников инцидента, включая нигерийского просветителя, оказался местом еще более постмодернистским. Там среди предметов звукоаппаратуры полно было бюстов марксистских авторитетов: не считая Ленина, замечались Калинин, потом почти не отличимый от Сталина Фрунзе и даже Глеб Максимилианович Кржижановский. Славка в своих шутовских петушино-попугайских штанах молча стоял у стены. «Никогда не забуду, как он стоит у стены в этих штанах», — твердила Стасу, смиря цокот зубов, Наталья. Полуголая и раскрашенная, она и сама являла не менее жалкое зрелище. Каждый взгляд, ей казалось, наждаком прогуливается по ее коже.

Разоруженная охрана Гореликов, которая, оказывается, мониторила их с самого начала бегства, сидела на полу. В другом углу сидели незнакомые парни из непонятной охраны, явно посланные в «Ожог», чтобы спровоцировать загулявшего «олигарха». По всей вероятности, они были из как бы несуществующего, да к тому же и связанного мирным договором ТНТ.

Омоновцы по одному выводили задержанных на разборки. Ничего особенного, кроме о.о., приписать им было нельзя. Никто особенно не волновался: как-никак, все было официально зарегистрировано. Хуже всех, кажется, пришлось нигерийскому негодянту Освагу Каликари. Он стонал и держался одной рукой за низ живота, а другой за центр задницы. По всей вероятности, проглотил немало оставшихся пузырьков и нуждался в хорошей очистительной клизме. Впрочем, она его и ожидала.

Хуже, чем Освагу, было, пожалуй, только Славке. Шутковские штаны и черная майка в обтяжку теперь, в омовальном «накопителе», странно подчеркивали трагичность его лица и фигуры. Он мог напомнить Гамлета перед дуэлью, если бы не татуировка стрекозы на правом бицепсе. Наталья боялась на него взглянуть, а он не хотел смотреть на нее.

Наконец явился, дыша духами и туманами, адвокат Чарли Гастрономский, который — просим прощения за жаргон — «чарджил» своих клиентов по пятьсот баксов в час, то есть в лучших манхаттанских традициях. Все было уже улажено. Расписавшись на ментовских бумажках, супруги Горелики со всем своим сопровождением покинули бывший марксистский чертог. Бойцы ОМОНа отдавали честь всеми уважаемому «Эр-Гору». Они были довольны: в стихийной облаве удалось задержать двух братков, объявленных в розыск, да заодно еще двух «апельсинов».

Всю оставшуюся ночь Горелики не спали: то трахались с неприсущим им ранее остервенением, то расходились в разные углы спальни и сидели молча. За дверью подвывал любимый Бульонский. Две кошки, Татьяна и Ольга, испуганно прыгали с одного предмета мебели на другой. Только к утру начался «серьезный разговор». «Знаешь, Наталья, — произнес Славка, и у Какашки сердце ёкнуло от такой официальщины. — Мы с тобой хотели побеситься, как в молодости, а кончилось это полным разгромом, в смысле разгрома личности. Не знаю, удастся ли собрать по кускам. Только не пялся в ужасе, я на тебя не качу, сам во всем виноват. Эти таблетки, вообще весь этот извивающийся бардак, идиотский техно, мой собственный мерзкий прикид, твое проститутское платьице, вдруг все это потянуло вниз, как будто крокодил цапнул за ногу. То, от чего я типа выплывал наверх, вдруг снова предъявило свои права — знай свое место, каналья! Ты, конечно, понимаешь, как я круто жил, пока ты странствовала (он не может, Стас, обойтись без кривой улыбочки, когда упоминает мон «странствия»), однако даже тебе я не все рассказал. Даже старому Стасу я не все рассказывал; читатели о многом не узнают. Однако выплыл, казалось мне, приближаюсь к своей вершине, наконец-то сформулировал для себя, прости за высокий штиль, смысл жестики. Не знаю, может, это просто ломка после вчерашней дряни, но мне почему-то кажется, что все рухнуло. Снова — в дерьме, среди торчковых, средн сикух, средн

«элиты»; засасывающий кайф, блевотина, ломка, неудержимое падение в безвоздушное — понимаешь? — пробздетое навсегда удушье. Все, к чему я то бессознательно, то сознательно пёр, все время вверх, как бы к над-человечеству будущего, что ли, ну, ты помнишь, что мы об этом говорили, все я просто выблевал в том «Ожоге» в тот момент. Мне показалось, что и любовь к тебе, то есть самое дорогое, я тогда выблевал. Я вдруг увидел тебя в образе паршивой сучки. Конечно, ты ни в чем не виновата, это моя собственная гадость соединилась со шмалью в гнусной химической реакции. Плюнь мне в рожу, но я подумал, что нам надо разбежаться. Как ты считаешь? Ну, почему молчишь?»

Она тихонечко завывала, будто пристраиваясь в тон к страдальцу Бульонскому, но на самом деле не слыша ничего вокруг, а только предчувствуя свой конец. Качалась, и выла, и взвизгивала время от времени.

Славка сжался в комок на ковре, руки на затылке. Он давил ладонями на башку, словно пытаясь уменьшиться в размерах. Потом ладони распались, и он встал во весь рост, длинный, с ввалившимся животом, с тяжелыми от накаченных мускулов руками. Подошел к ней, взял под мышки, протаскил обмякшее тело на кровать, лег рядом и нежно обнял ее рукой и ногой. Ну как мы можем разбежаться, ведь это же невообразимо. Что нам делать, Какашка? И заснул.

Проснувшись, он увидел себя в обществе Ольги, Татьяны и Бульонского. Животные похрапывали, блаженно растянувшись на широченном «Спартаке», как супруги называли свое ложе в память о первой встрече. Натальи рядом не было. То ли от ее отсутствия, то ли вообще от мысли о ней в пупке у него зародилась и стала быстро растекаться по телу вчерашняя тоска.

Скосив глаза, он увидел, что все три телефона отчаянно мигают: значит, и внутри корпорации, и за ее пределами, а также и за границей на него по-прежнему неотложный спрос. Прежде, то есть еще вчера, мигающий телефон немедленно вызывал у него желание включиться в энергетнку бизнеса, сегодня он подумал, что этот факинг предстоящий день произведет полный поворот в его жизни. Нужно бросить все, уехать в Канаду, жить на склоне холма над канадским «вечным покоем», читать «Заратустру».

Подняв голову с подушки, он сразу увидел Наташку. В легком тренике она стояла вдалеке у окна с видом на рошу,

уходящую вниз к Москве-реке, и на блестящие купола возродившихся церквей, из которых одна была, собственно говоря, мечеть. Она стояла в позе Натарайя, то есть приветствуя утреннюю зарю. Заметив, что муж проснулся и смотрит на нее, она опустила из околзатылочных высот свою левую ногу и, по-балетному выворачивая стопы, стала приближаться к «Спартаку».

«Ну?» — спросила она и села в позе лотоса на краю кровати. «Что?» — спросил он, все еще не понимая, кто перед ним: потаскуха, с которой надо «разбежаться», или любимая до перехвата дыхания девушка этих двух сходящихся столетий. «Ну что, здорово побесились вчера, верно?» — запросто, даже с некоторой наивной туповатостью спросила она. Он рассмеялся с облегчением: ну и типчик эта Какашка!

«Побесились, говоришь, неплохо, да? — Она уверенно кивнула. — Оттянулись за милую душу. Прямо как доктор прописал. И поплясали, и заторчали, и под меитовку попали, и без истерики не обошлось! Т.е. по всей программе!»

Он понял, что все его довольно помойные откровения перечеркнуты. Но это было еще не все. Он видел, что она хочет что-то еще сказать, но не решается. Ну вот, решилась. «Знаешь, что нам нужно? Нужен ребенок! Ну что вы вылупились, господин президент? Никогда не рожали детей? Это мне вот еще не приходилось, а ваших-то сколько несчастных крошек рассеяно по планете?»

Пораженный, он на нее смотрел. Эта тема ни разу не возникала во время их бесконечного любовного свидания. И вдруг, возникнув, сразу разогнала вчерашнюю трясину. Он восхищался Наташкой: подняв эту тему, она вся осветилась и снова выиграла, сама как дитя, вернулись ее мягкие, как бы иронические по отношению к самой себе движения. Узел разрублен, «свет в конце тоннеля» вспыхнул, тупик раздвинулся. Еще пять минут назад он думал о том, как разбежаться, и вдруг оказалось, что разбежаться нет никакой необходимости: надо просто ребенка родить! Все сразу изменится, когда появится новый Горелик. Растворятся все эти неизбежные миазмы ревности, возникавшие всякий раз при мысли об ее «одиссее». Начнется новая целесообразная жизнь, вот она — *Vita Nuova*! Жить в доме с ребенком, что может быть краше?! С Марком Гореликом, с Мариком таким, а там, глядишь, и барышня Горелик появится, Дашенька такая!

Тут же, впрочем, гадские сомненья стали набегать в башку. Да сможет ли она родить после всего, что она наиграла во всей этой долгой несуразице в стиле старого Стаса Ваксина, со всеми его драматизмами, театральщиной, ёрничеством, склонностью совокуплять девочек с комическими стариками? Да и вообще, в физиологическом-то, ну в гинекологическом-то смысле после, должно быть, немалого числа аборт, сможет ли она, любимая моя, родить? Она ведь, конечно, не все мне рассказывает. Иной раз с упорством жужжит в ухо, что она чиста, что теперь, со мной, все прошлое испарилось, что она всякий раз как бы девочкой приближается ко мне, но ведь это только фигура речи — не так ли? Я делаю вид, что и для меня ее прошлое не существует, но вообще-то вот сейчас надо было бы напрямик сказать: пройди сначала обследование, прежде чем строить такие грандиозные планы.

Так думал Славка, но сил у него не было вот так, с ходу, развеять ее и свой собственный восторг. Пусть рождает! Пусть для начала, между прочим, забеременеет. И он сажал ее к себе на колени и целовал, целовал: никогда не устаешь целовать эти уста! Все-таки любовь — это ведь не только жесткое внедрение во внутренние органы, это и мягкое целование губ, это ликование души!

Наталья взялась за рождение ребенка, как она говорила на советский лад, «всерьез и надолго». Прежде всего она отправилась на Плющиху, в особняк Мумуевых-Дикобразовых. Боевая подруга «каналей» княжна Марианна к этому времени давно уже остепенилась и произвела на свет двух чудесных аристократишек, Борюшку и Ньюрушку. Если не у Маринки, с ее богатым опытом, у кого еще спросить совета по части деторождения и прежде всего по части медицинских консультаций? Ведь не секрет, что княжна считала себя бесплодной, пока не вышла на знаменитого в Москве доктора Дартаньяка Огюста Христофоровича.

Семейство председателя совета директоров концерна «Эр-Гор» жило на широкую ногу в отреставрированном и достроенном особняке XIX века, где в старые советские времена помещался какой-то занюханный филиал Союза обществ дружбы с еще не присоединенными народами. У подъезда всегда дежурил соответствующий персонал, дверь открывал швейцар в ливрее. Марианна Аркадьевна сошла к младшей подруге (хоть Наталья и была госпожой прези-

дентшей, к ней все-таки относились еще как к Славкиной «чувихе») в замысловатом утреннем туалете от Роккомобилли. Ma chère, душа моя, что с тобой происходит? Похоже, ты гонишь время вспять? Тебе опять на вид не больше девятнадцати!

Она явно напрашивалась на ответный комплимент, и она его получила, хоть и в несколько бестактной форме. «Ну, Маринка, не преувеличивай, какие там, в жопу, девятнадцать, я и на семнадцать-то себя не чувствую!» Наташка ходила по «малой гостиной», разглядывая всякие статуэтки и давая себе слово никогда, ни при каких обстоятельствах не покупать ничего подобного. «А вот ты, подруга, являешь собой просто чудо природы, воспламеняешь мужской взгляд и ободряешь женский!» Она уселась и стала раскачивать ногой в изящном креслице эпохи рококо. Волшебная ее нога завершалась огромнейшим копытом хиппового наклона, казавшимся столь неуместным рядом с романтической туфелькой аристократки. «Я не шучу, княжна, — продолжала Какаша; она чувствовала, что выбрала неправильный тон, но не могла остановиться. — Подумать только, после двух родов и соответствующих кормлений — ведь ты кормила и Борьку, и Нюрку грудью, не так ли, я читала об этом на сайте Elle.ru — ты так свежа на радость всей корпорации, что тянешь не больше чем на тридцать один!»

При этой цифре дружелюбная улыбка Марианны Аркадьевны превратилась просто в мимику улыбки: она, признаться, ждала цифры 29. Впрочем, тут же она хохотнула и потрепала вечно взбаламученный затылок гостыи. Ну что возьмешь с этой Какашки, о которой ходит столько разговоров по всем этажам «Эр-Гора», а еще больше за его пределами.

Горничная-японка принесла кофе и свежие круассаны из французской пекарни. В глубине анфилады прошел барин, сам Герасим Мумуев. Наталья заметила, что он при всем своем прикиде СЕО как-то странно скользит по паркету и, притормаживая, сгибается, будто пытаясь что-то выловить снизу. Оказывается, поспешает за котом. Тот неторопливо уходил у него из-под рук, а в одной из этих рук между тем поблескивали ножницы. Наконец уже вблизи от «малой гостиной» председатель совета директоров неожиданно ловким движением выловил кота под брюхо. Ножницы мелькнули под хвостом. Кот завопил от обиды. Герасим торжествующе потрясал ка-

кой-то черненькой штучкой. «Что это он у него отчекрыжил?» — поинтересовалась Наталья.

Герасим поднял кота за шиворот. Тот вдруг присмирел и спокойно повис. Хозяин сунул ему под нос отчекрыженную штучку. «Ну что, тебе хуже без этого, хуже?» — вопрошал он кота с укоризной. Коту явно было не хуже. Он даже начал петь. Закрывал глаза, чтобы отчекрыженная штучка не мешала получать удовольствие. «Не пойми меня превратно, — тонко улыбнулась Марианна, — но это он у него какашку отхватил из-под хвоста. К сожалению, часто выскакивает из своего туалета с таким очаровательным довеском».

Герасим приблизился к дамам с великолепным рыжим зверем на руках. «Кого-то он мне напоминает», — попыталась припомнить Наталья. «Не сомневаюсь», — с еще большей тонкостью улыбнулась хозяйка. «Наташка, ты не ошиблась, — сказал хозяин, — то сын Онегина, того самого, с Лэдью-Хилл. Подарок Ваксино. А теперь догадайся, как его зовут!»

«Печорин, что ли?» — ляпиула Наталья и попала в точку. «Браво!» — вскричал Герасим. Марианна, признавая успех младшей подруги, легонько поаплодировала.

В глубине анфилады прошла группа незнакомых Наталье людей: один толстый, другой тонкий, третий в кресле-каталке. Они помахали Марианне и свернули к выходу на лестницу. «Это Рокафеллеры, — непринужденно пояснил Герасим. — Они у нас остановились. Напомни Славке, что мы их сегодня принимаем в клубе. Засим откланиваюсь». Ушел, а за ним побежал Печорин; хвост покачивался, как султан, задница была чиста.

«Наташка, может, нам поддать? — хрипловато спросила Марианна и позвонила в колокольчик. — Чичико, принесите нам шампанского!» Японка почти немедленно появилась с замороженной бутылкой «Клнко». На неподвижном ее лице можно было все-таки прочесть укоризну сродни той, с которой хозяин обращался к коту. «Скажи, Наташка, это правда, что ты была графиней в Америке?» — спросила Марианна после первого бокала, выпитого на мушкетерский манер залпом.

«И княгиней тоже, — скромно хихикнула Какаша. Мадам Мумуева-Дикобразова в восторге потребовала объяснений. Они тут же последовали: — Там вместе жили князь и граф, черт их знает, как их звали. Какаше тогда негде было жить, и

она поселилась над ними. Сначала не давала ни тому, ни другому. Чуваки просто рехнулись, предлагали свои титулы. Она как-то клею надышалась и решила попробовать. Граница двух графств проходила через их дом. С одним они зарегистрировались в графстве Халибу, а с другим в графстве Попоквику. Вот и все, ну оттянулась в полный рост, чуть не сдохла от смеху. Говорят, Ваксина что-то нафантазировал на эту тему, но ей он этого не показывал. Показывал другое. Да ну тебя, совсем не то, что ты думаешь. Нет-нет, в церковь она ни с кем до Славки не ходила. А со Славкой в церкви — как же иначе. Сначала в синагоге в Цфате, потом в католическом соборе в Барселоне, вот красота — архитектура Гауди! Потом уже дома, в Исаакиевском, ведь мы же все-таки петербуржане. Теперь вот думаем о мусульманском обряде, как это там у них проходит, тоже ведь интересно, правда? Ах, Марианна, вот ты говоришь «строгое православие», но ведь мы же советские отродья, нам как раз «экуменические соблазны» интересны. Это уж дети наши пусть к «строгому православию» примкнут, если захотят, конечно».

Тут Натальин монолог прервался. Маринка схватила ее за руку и вперила своими шоколадными зрачками в ее густо-синюю волну. Она не оторвала от нее глаз даже тогда, когда мимо продефилировали боннушка-француженка с Борюшкой и нянюшка-полька с Нюрушкой, только крикнула вдогонку: «Снимите с Борьки шарф!» И лишь когда детская процессия исчезла, горячим шепотом спросила: «Неужели беременна? Неужели вы решили ребеночка? Ардадьоновна, не выдумываешь?»

«А почему бы нет, Аркадьевна? — вопросом на вопрос отвечала Наталья и засмеялась в пароксизме счастья. — Вот пришла к тебе укрепиться в решении — и укрепились! Какой у вас дом, моя дорогая, а Герка-то, Герка, ну чистый стал Стива Облонский! А кидсы-то, кидсы, просто душа поет! А мы-то все с богемой не можем завязать, олухи! Хватит уж, хватит! Небось читала, что про нас понаписали в «Мегаполис-экспресс», — гады, шакалы! Почему бы и нам не иметь дом... — Она хотела сказать «такой, как у вас», но поправились: — ...В этом роде? Славка тоже хочет остепениться, зажить, как люди, почему бы нет?»

«Боги! — выдохнула Марианна. — Для меня это все равно, как если бы, ну, «печальный демон, дух изгнания»

вступил в жилкооператив!» Не вызывая больше укоризненную японку, она ушла, развеваясь всеми своими юбками старой, еще времен Второй Республики, фирмы Rochamboliny, у которой было всего шесть клиентов, и Contesse Dikobrazoff в их числе, а также своей кофтой и шалью, всеми вышивками point de Paris et point Turc, а также кружевами Racine и аппликациями в стиле Bourdon et Vous-et-moi, прошитыми тончайшим fil a ganis, и возвратилась с двумя бутылками Clicuot.

Советский или постсоветский критик не упустит тут случая злобно попенять старому Стасу Ваксину за его пристрастие к иностранным ярлыкам, — дескать, вся его литература пестреет типа фирмой, однако как, скажите, на страницах прозы отличить французское шампанское от полусладкой жижи московского областного разлива, если только не назвать его по имени?

Короче говоря, обе дамы воспламенялись все более и более, пока делились тайнами женской жизни и обсуждали вопросы деторождения, которые начинаются с отказа от всяких пружинки и пилюль, затем развиваются под эгидой кудесника доктора Дартаньяка Огюста Христофоровича и завершаются неизбежным одиночеством роженицы в моменты ее схваток с распирающей тело и расщепляющей дух биологией.

В конце второй (считай, третьей) бутылки женщины обнялись и всплакнули, как бы провозжая в прошлое Какашино боевое девичество. Объятие затянулось и даже вызвало какие-то произвольные поглаживания, легкий сбой дыхания, когда мадам Мумуева резко оторвалась от мадам Горелик и спросила нестерпимым шепотом: «Ты когда-нибудь убивала людей?» Наталья замялась. Марианна ее тряхнула: «Говори честно, признавайся!»

Какаша стала вспоминать бой на окраине Чикаго в каком-то там из 90-х годов. В тот день на ней умер один старик, марксистский гангстер, ее тогдашний законный, ха-ха, супруг. Он отбивался от федералов, но потом у него вышли патроны, и он взялся за нее, как будто она какой-нибудь пулемет. Когда агенты вошли, он уже лежал дохлый. Они думали, что он свалил от страха перед ними, а он просто на юной женушке перестарался. Вот так получилось. Стало быть, она убила одного, скромно говоря, человека.

Урожденная княжна Дикобразова расхохоталась и забежала по «малой гостинной». Опять все вышивки, кружева и аппликации с шорохом и шелестом развевались. «А я однажды одним махом порешила семерых!» И рассказала.

В 93-м, что ли, всей «Природой» отдыхали на Кукушкиных островах, а там случились ребята из арбатской группировки. Им говорили: не наезжайте, пацаны, давайте отдыхать, потом в Москве разберемся — речь шла о бизнесе кассет, — а они вызвали нас на стрелку.

Славка, Герка и Димка поехали втроем, а девушкам запретили выходить из гостиницы. Княжна, когда узнала, что без нее уехали, была возмущена таким мужским шовинизмом: все-таки она ведь не герла какая-то, а вице-президент, активнейшая сотрудница, начиная еще с томатной пасты. В общем, сунула в пляжную сумку «Узи» и поехала к заброшенным холодильникам на окраине Революционска, где была назначена стрелка. Приехала вовремя. Там оказалась засада. Только ребята начали по-хорошему разбираться с арбатскими трое на трое, как подъехал джип еще с тремя, да еще и пятеро наемных прибыли, из местных, как их, хузар, что ли, нет, хуразитов, в общем, у которых волосы на ушах торчат; все со стволами на изготовку. Словом, она увидела, что наши мушкетеры уже уложены носами вниз на цементный пол. Неизвестно, чем бы это все кончилось: может быть, просто хотели попугать, а может быть, и замочили б, если бы она сразу не открыла огонь из своего «жигуленка». Израильская штучка сработала безотказно. Сама себе не веря, она порешила семерых, остальные убежали. Все были потрясены, она больше всех. Она смотрела на оскаленные трупы молодых парней, которые только что были полны жизни, преступных замыслов, удовольствия от удачной операции и вдруг превратились в неподвижных кадавров. И это сделала она простым нажатием на маникюрного пальца на железку небольшого и нетяжелого аппарата.

В тот вечер они все напились, хохотали, бархатались на пляже до утра, а утром улетели с первым самолетом, чтобы больше на этот дикий архипелаг не возвращаться. Ты нас спасла, Дикобразова, мы тебе будем вечно петь осанну. А ее начал раздирать ужас. Оскаленные физиономии арбатской братвы и хуразитов с пучками волос на ушах все стояли перед ней, едва лишь она закрывала глаза. Ребята поняли и перестали об этом случае вспоминать. Вообще в ее присутствии ста-

рались не упоминать тот разбойный архипелаг, где, говорят, поклоняются трем обезглавленным богам.

Однажды, никому не сказав, она все-таки туда отправилась. Была на кладбище и видела семь одинаковых стелл темного камня с портретами тех парней в полный рост, в кожанках и даже с ключами от «Мерседесов» в руках. Они все смотрели на нее, когда она там сидела, и курила, и отхлебывала «Чивас» из плоской бутылочки. Ей показалось, что парни ей типа говорят: «Да перестань ты расстраиваться, ну что тут особенного, ну замочила ты нас, и все, большое дело. Завязывать огорчаться, Маринка!»

«Все это улетучилось, Ардальоновна, когда я забеременела Борюшкой. И Герка понял, что все изменилось. Ах, Ардальоновна, дети спасли меня от кошмаров. Да и весь свой снобизм я оставила за кормой, вот за этой круглой жопой. Есть ли большее счастье для женщины, чем деторождение? Увы, мне не тридцать один год, как тебе показалось, а все мои тридцать шесть (даже и в откровениях подобного рода женщина может потерять годик-другой. — *С.А.В.*), иначе б я семерых родила, семерых, семерых...» — Маринка закрыла глаза изящной рукой с двумя-тремя ненавязчивыми бриллиантами от Картье. Чичико-сан уже вносила таблетки транквилизатора на подносе.

«Ах, Аркадьевна! — воскликнула Наталья и крепко поцеловала подругу в щеку. — Что ты не дорожала, я дорожу! И пусть вокруг нас бегают дети, прыгают дети, произрастают, умнеют и процветают эти семеро граждан нового века! Как я раньше не понимала высшего счастья женщины!»

Пришедшие с прогулки Рокафеллеры застали двух красавиц спящими на ковре. Довольно продолжительное время, ну, скажем, минут пять, они взирали на эту впечатляющую картину, не зная, к чему ее отнести, но потом решили, что дамы, очевидно, попали под влияние Голливуда. Русские все утрируют, что попадает к ним от нас. Сначала у них ничего нет, сказал средний Рокафеллер, толстяк, а потом мы строим у них «Макдоналдс», и тогда они повсюду начинают открывать свои быстро с пирожками, да еще и водку там продают в миниатюрных бутылочках. Старший Рокафеллер, худой, добавил к этому блестящую авиационную кампанию в Косово, после которой русские без задержки начали злоупотреблять силой в Чечне. Младший, на колесиках, возра-

зил. Вот в живописи все-таки они не все берут от нас. Например, «Черный квадрат» они сами придумали. Старший и средний, подумав, согласились с младшим на колесиках. Наталья в беззвучном хохоте каталась по ковру: она все слышала.

Итак, на стыке двух тысячелетий началась Б.Б. Надеюсь всякий поймет, что речь идет о Большой Беременности. Немедленно появился доктор Дартаньяк Огюст Христофорович, в котором, казалось, соединились все черты европейского медицинского гуманизма: пенсне со шнурком, большой лоб со следами хороших и глубоких мыслей, белоснежные сорочки с изумрудными запонками, мягкие прикосновения выдающихся пальцев, из коих каждый казался дипломированным доктором гинекологических наук.

Для начала он выразил «любезнейшей Наталье Ардадьоновне» свое глубокое восхищение ее творчеством. «Моим творчеством?» — удивилась мадам Горелик. Оказалось, что в кругах «научной элиты» (простим Огюсту Христофоровичу употребление плебейского слова) нарастает восхищение удивительными песнями Натальи Ардадьоновны, в которых она с таким юмором и с такой грустью отражает наше непростое время. «Каково! — воскликнула будущая мать. — Славка, ты слышал? С таким юмором! С такой грустью! Наше непростое, соображаешь?!»

Однако, мягко продолжил Дартаньяк, при сложившихся обстоятельствах вам следует прекратить свои спорадические, но нередкие выступления в кафе и на квартирах бомонда (доктор был ревностным подписчиком журнала «Домовой»). Вообще, Наталья Ардадьоновна, вам лучше было бы уехать из Москвы, а также не появляться в Париже и Нью-Йорке. Сохранить беременность вы сможете только при соблюдении строжайшего режима. Лучше всего было бы найти уединенное место с хорошим теплым климатом — ну, скажем, на Эгейских островах. Он улыбнулся: Деметра там взяла бы вас под свою опеку. Вот тут мы можем поаплодировать старому эскулапу!

«Да ведь мы же как раз дом купили на Родосе!» — всплеснула руками Наталья. Славка улыбнулся. Они еще ни разу не были в этом доме. Купили по фотографиям: белая вилла на пологом склоне восточного побережья, вдали видна скала с городком Линдос. Зачем покупали — не было ясно ни

ему, ни ей, — разве лишь для того, чтобы выкупаться два-три раза в год в заливе Святого Павла, но вот, оказалось, купили по делу; там новый Горелик появится. «Родос — это удобно, я буду часто к тебе прилетать», — сказал он жене.

Огюст Христофорович молча посмотрел на него, а затем положил указательный палец, опыту которого позавидовал бы любой из его собратьев, на край стола. «Месяца через два, молодые люди, вам придется прекратить интимные отношения». Доктор был известен суровым подходом к мужьям своих пациенток. Так или иначе, он считал мужчин сластолюбивыми виновниками тяжких изменений в женском организме, к коему питал не только профессиональную, но и лирическую слабость.

В конфиденциальной беседе он сухо объяснил господину Горелику, что положение не такое уж простое, чтобы не сказать серьезное. При существенной истонченности стенки матки у Натальи Ардальоновны наблюдается некоторая инфантильность родовых путей, а эта комбинация чревата... Огюст Христофорович не раз корил себя за склонность к этой фигуре речи. Чреватость какими-то обстоятельствами, когда речь идет о чреве, звучит довольно ридикулярно, милостивые государи. Впрочем, Мстислав Игоревич, вам совсем не обязательно вдаваться в дальнейшие медицинские детали.

Достаточно и этого, думал Горелик. Впервые пред ним в гинекологическом аспекте предстала девушка его балтийских ночей, предмет его романтики и страсти. Раньше он никогда не представлял себе, что она может родить ребенка. Как может дитя стать матерью? Теперь он видел, что идея ребенка овладела ею от макушек (сколько их у нее — три?) до пяток (сколько их — пять?). Она засыпала, бормоча что-то о назначениях Дартаньяка, во сне не раз рассыпалась детским смехом, словно общаясь с эмбрионом Марка, и просыпалась с возгласом: «Вообрази, я его уже чувствую!» С чрезвычайной осторожностью, в бюргерском стиле, они занимались любовью, и он думал о «некоторой инфантильности ее родовых путей», куда все время норовил проникнуть его далеко не инфантильный представитель.

Итак, они переехали на Родос в огромную виллу, которую Горелик тут купил по своему третьему, монахскому, паспорту: ни русским, ни американцам в Греции недвижимость не продавалась. Здесь хватало места и доктору Дар-

таньяку с его семейством, и двум американским медсестрам высшей квалификации, а также и гостям, среди которых сейчас преобладали медицинские светила с обеих сторон Атлантики.

По утрам, когда Наташка еще спала со своим эмбрионом и сама в позе эмбриона, Славка в крохотном силаче BMW Z-3 отправлялся на север острова. По дороге вел переговоры с директорами «Эр-Гора» (те уже привыкли к ранним побудкам), а также с директорами силовых станций на Урале и с производителями движков в Тыве, которые давно уже были на ногах, и с единомышленниками из «Гринписа» на бессонном Манхаттене. Помимо переговоров, он еще составлял свои планы на неделю вперед и засылал их в секретариаты, а также время от времени врубал «компакт» с недавними песенками Наташки; словом, не сидел за рулем без дела. Всякий раз он воображал себя одиноким путешественником, делая вид, что не замечает за спиной «Лендровер» с охраной.

Конечным пунктом этих утренних, по сути дела почти ночных, пролетов был храм Аполлона Пифийского, вернее, его руины на Родосском акрополе. Оставив машину на вершине холма, он спускался к фундаменту и четырем колоннам, что остались от храма. Здесь начинались смешанные рощи из пиний, кипарисов и могучих древних олив, которые, возможно, еще видели храм в его полном составе. Спустился еще ниже, путник (так он всегда называл себя в этом контексте) попадал на систему торжественных лестниц, частично реставрированных и пригодных даже для каких-нибудь голливудских ритуалов. На этих ступенях Славка уже переходил на бег, то есть начинал то, для чего сюда и приезжал, — часовой джоггинг.

Вокруг еще не было ни души, только вороны пролетали от начинающего светлеть неба и сливались с сумерками западного островного побережья. Лестницы, идущие с вершины холма, завершались возле маленького амфитеатра, в котором часть рядов была восстановлена при помощи того же камня, из которого двадцать пять веков назад это сооружение было построено. То тут, то там видны были и невосстановленные темные сиденья с полуразрушенными спинками. Над амфитеатром горели две сильные лампы подсветки, и в их лучах длинная тень Горелика в шортах сбегала вниз. Все было как обычно. Из щели между двумя камнями-сиденьями

выползала мышь. Она чуть-чуть сторонилась, пропуская бегущего человека. Ниже амфитеатра простиралось выжженное поле с пучками оливковых деревьев. Как обычно, из этих кустов прыснул с поджатым хвостом волк. Что ты тут ищешь, серый? Ведь не гордого же круторогого барана, который, как обычно, стоит на скале, не выказывая никаких опасений. Восток начинает золотиться и розоветь, когда над священным городищем пролетает пара лебедей. И тогда перед началом дня исчезают все ночные жильцы: и вороны, и мышь, и волк, и баран, и только тогда, всякий раз заново, Слава Горелик понимает, что это были звери-призраки из хтонического сонма Аполлона.

Сбежав вниз по ступеням амфитеатра, он поворачивал туда, где у него всякий раз слегка перехватывало дыхание: к стадиону Пифийских игр, построенному 2200 лет назад. Трибуны здесь были разделены на секторы, как и на современных спортивных ристалищах. Новые камни чередовались со старыми, и вместе они могли принять не менее пяти тысяч зрителей. Начиная кружение по дорожке у подножия трибун, он представлял себе, как стадион заполнялся той толпой, как звучали длинные трубы, как выстраивались гоплиты, чтобы отделить плебс от знати, как выходили атлеты, дети Аполлона, Бранх и Мопс, Идмон и Асклепий, и как в дальнем углу стадиона, возле царских кресел начинали свой танец, словно современные cheer-leaders¹, музы под водительством незримого, неосязаемого Мусагета.

Подхваченный пифийским жаром, Славка все ускорял и ускорял в тени кипарисов. Он чувствовал, как разогреваются все его мышцы, как рассасывается застарелая боль в правой пятке, все циркуляции принимают ритм бега в этой среде, в этом воздухе, что еще и сейчас, во всяком случае на рассвете, так же чист, как две тысячи лет назад. Вот именно такой воздух мы должны вернуть на всю нашу, такую жалкую «голубую планету»! Как я все-таки счастлив, думал он, мне нет еще тридцати пяти, я жду ребенка от любимой женщины, я бегаю по утрам по стадиону на вершине акрополя, и каждый мой круг равен одному родосскому столетию, всего я пробегаю двадцать два, что ж поделаешь, если мама и папа ушли, а ста-

¹ Организаторы веселья (ритмического кордебалета на стадионах) (англ.).

рый Стас отдаляется от меня, таков наш удел, ничего не поделаешь, несчастье и счастье перетекают одно в другое, как образы Аполлона, но все-таки я бегу, бегу и все больше чувствую в себе сил, и дышу, дышу, а главное — хочу, чтобы все дышали, а не кашляли.

Только после того, как солнце поднималось над вершинами кипарисов, на стадионе появлялись другие джоггеры, в основном из местного населения, то есть потомки атлетов Пифийских игр. Пыхтел не очень-то симметричный, но тягучий старичок, колыхалась суровая Медея с лицом, будто бы уже пережившим первую утреннюю драму, пронесился спортивный лет пятидесяти мужчина с хорошим летящим шагом. Кого он мне напоминает, думал Славка, когда тот появлялся на другой стороне бегового эллипса. Эва, да ведь это атлет с росписи какого-нибудь краснофигурного килика! Даже кудри его, перевязанные банданой, вьются крупными кольцами в том стиле. Кажется, и я ему кого-то напоминаю, иначе зачем он бросал бы на меня эти острые ахейские взгляды.

Вдруг этот человек с килика, или с кратера, или с амфоры резко переменял направление и побежал Славке навстречу. На лице его появилась еще не совсем уверенная улыбка. Чем ближе он подбегал, тем более созревала эта любезная улыбка. «Ясу, мистер Горелик!» — крикнул он, пробегая. «Здрасте-пжалста!» — успел ответить Славка. Он еще не привык, что его узнают в разных местах мира. И даже, оказывается, за его пределами, в спортцентре Аполлона Пифийского.

В принципе, Славка отправлялся сюда в такую рань только по одной причине: чтобы Какашка не увязалась. Однажды она все-таки увязалась. Утром он выбежал к машине, желая с ходу перепрыгнуть борт и плюхнуться за руль, и тут увидел, что Наталья уже стоит рядом с авто в белых беговых туфлях и в свитере, обмотанном вокруг чресел. «Беременность Двух Столетий» была уже на девятой неделе, но никаких изменений в девичьей фигуре не наблюдалось. «Ты поклоняешься Аполлону, а я — его тетке Деметре», — пояснила она и лихо перепрыгнула через борт, прямо в сиденье. Вот чем знаменита во всем мире эта девка, подумал он: она никогда не плюхается, не шлепается на предмет, она всегда соединяется с ним, берет от него его изгиб и отдает ему свой собственный.

Мистер Горелик все-таки распахивался: как бы чего не случилось с Маркушей. Он представлял себе крошечного эм-

бриончика, вроде морского конька, прицепившегося к ее плоти, и каменел, не зная, как защитить любимое.

— Брось ты, Славка, этот свой hyperventilation, — смеялась она, пока они в предрассветных сумерках трусили по стадиону под зорким прицелом воронов, мыши, волка, барана и лебедей. — Дартаньяк говорит, что ничего, кроме пользы, утренние пробежки в умеренном виде не принесут, а ты ведь видишь, что я сама умеренность.

— Распусти волосы, — попросил он. — Пусть летят!

С летящими волосами она продолжала:

— Итак...

Он то отставал, то обгонял и оборачивался, чтобы посмотреть, как летит грива.

— У тебя свои отношения с Аполлоном, а мне, как ты понимаешь, гораздо важнее наладить взаимопонимание с Деметрой. Ты хотя бы помнишь, кто она?

Славка немедленно отвечал:

— Богиня плодородия. В Риме звалась Церерой.

— И все? — возмутилась Наталья. — На этом познавня исчерпываются? Нет, недаром Солж таких, как ты, назвал «образованщиной»! Разночинная интеллигенция НТР! — Она хохотала, грива трепалась в порывах бриза. Моменты счастья.

Он с понтом ворчал:

— Какое отношение я имею к интеллигенции, вчерашний полубандит, а теперь международный демагог с мешком денег?

Она еще пуще заливалась:

— Значит, твой бог не столько Аполлон, сколько Плутос, — так? Ты хотя бы знаешь, кто такой Плутос?

— Бог богатства, что ли?

— Надо же, догадался! А кем он приходится Деметре? Молчишь, неуч с филфака! Он ей приходится родным сыном, а стало быть, он брат кому? Персефоне, нерадивый студент! Помнишь: «Света не увидеть Персефоне, голоса сирены не унять, к солнцу тонкие, как лед, ладони в золотое утро не поднять»? Почему так сказано? Потому что Персефону увел Аид, царь подземный, понятно?

— Ну, хватит! — мнимо сердился он. — Садитесь оба на трибуны и ждите меня. Я пробегу еще двенадцать кругов.

Когда он закончил свой урок и вернулся весь мокрый к ней, она сидела на древнем выщербленном седалище в позе лотоса. Джоггеры поглядывали на нее с восхищением: они, конечно, опознали повсеместно разрекламированную «Женщину Двух Столетий».

— Здесь где-то поблизости был храм Деметры, — проговорила она.

Он снял майку, она взяла ее у него и вытерла свое лицо и шею.

— Поехали домой, — сказал он, чтобы не расплываться на глазах у греков в телячьих нежностях.

Едва лишь они отъехали с вершины холма, как перед ними возник ранее незамеченный указатель «Руины храма Деметры». Он свернул, и через несколько минут они увидели камни фундамента с кусками колонн, зарешеченным колодцем и ступенями к углублению, которое в те времена могло быть местом омовений, то есть фонтаном или бассейном. Наташа, как видно, давно уже готовилась к этой встрече: деметрология из нее так и сочилась.

— Эта богиня воплощалась в образе грудастой и толстоногой женщины, не чета таким сикухам, как я. Я как-то видела ее в Британском музее: Деметра Книдская, плодоносная мудрая баба. Надеюсь, и я стану такой после рождения Марка — титястой, жопастой, вечно беременной!

— Я тогда сбегу от тебя, — пошутил он.

— Ну и не заплачу, — отмахнулась она. — Буду, как она, вызывать Посейдона. Обращусь в кобылу, и Царь Морей выйдет ко мне как жеребец. Какое все-таки замечательное воображение создал этот политензм — согласись, Славка! Представь себе, как взбухает море где-нибудь возле Линдоса, и появляется огромный, с гору, жеребец, раздутый страстью, гудящий, как вулкан, и кобылица гигантским хвостом уже сметает оводов со своих ягодиц!

Она разулась, вышла из машины и стала босиком подниматься среди руин к тому месту, где предположительно был алтарь. По пути она прикасалась ладонями к замшелым камням фундамента, прикладывала щеку к закруглениям колонн и на минуту застывала. У алтаря она стащила через голову майку и, придерживая груди (недавно они начали набухать), легла на живот. Лежа, она приспустила шорты, чтобы и лоно (то есть Марк) могло соприкоснуться со святынями.

«Похоже, что я не все о ней знаю, — думал Слава, глядя на этот ритуал. — Похоже, я не догадывался о том, чего она сама не знала».

Теперь она встает, поднимает к солнцу «тонкие, как лед, ладони» и начинает спускаться за алтарь, где, очевидно, сохранилась еще одна каменная купель. Исчезает из вида. Вдруг оттуда доносится то ли ликующий, то ли предсмертный вопль.

По привычке рука его дернулась к «бардачку», где лежал пистолет, однако Наталья уже возвращалась с сияющим, будто слепым, лицом. Ладони ее были сложены лодочкой и что-то несли на показ любимому. «Лягушку нашла, что ли?» — почему-то подумал он. Нет, это была не лягушка, всего лишь навсего косточка граната. Немного крупноватая для своей породы косточка напоминала полупрозрачную карамельку с темно-красным ядром в глубине.

— Ну, ты видишь, Мстислав? — Ее шепот прошел у него по корням волос.

— Ты что, Наталья, ты что?! Ну-ка выбрось эту чепуху, оденься и поехали!

— Да ведь это же Оно! — вскричала она с неожиданной дикостью, которая как бы усугублялась ее обнаженной грудью с набухшими подрагивающими сосками. — Оно! Гранатовое зернышко Персефоны! Смерть и жизнь в одном! Две богини, Мать и Дочь, ниспослали его мне! — Она прижала ладони ко рту. Дернулась ее голова, ладони распались, зернышка в них не было.

«Заглотнула!» — подумал Слава так, как подумал бы о какой-нибудь не обязательно человеческой твари. В довершение ко всей дикости этой сцены подъехал огромный автобус с зеркалами заднего вида, похожими на рога мифических буйволов. Из него, попердывая, вылезали немцы с видеоаппаратурой...

На обратном пути он ей сказал:

— Ты что-то, мочалка, заходишь слишком далеко в своей экзальтации по поводу деторождения. Ничего особенного с тобой не происходит, мочалка. Миллионы мочалок во всем мире рожают детей без всякого зернышка Персефоны. У тебя, мочалка, поверь, все точно так же устроено, как у всех прочих беременных мочалок.

Она смеялась, трепала его шевелюру, а сама думала: «Что бы он ни говорил, я теперь под защитой обеих богинь, а вме-

сте с ними и всего сонма богов, включая и Крона, и Зевса, и Аида! Гуди, гуди, могучий жучок Z-3, ты несешь гранатовое зернышко будущей жизни!»

Прошел еще месяц, и стала замечаться округлость в нижней части живота. Еще месяц, и стало казаться, что девочка носит под сарафаном футбольный — пока еще не баскетбольный — мяч. Появилось отвращение ко всей нормальной еде и страсть к усладе российских алкоголиков — огуречному рассолу и квашеной капусте. На Родосе о таких разносолах никто понятия не имел, а потому из Москвы каждый вторник на лайнерах компании «Олимпик» бойцы эргоровского наркомвнудела привозили бидоны и кадушки с Черемушкинского рынка.

Наталию тошнило, на ногах появились отеки.

— Посмотри, Мстислав, — говорила она, — ты можешь вдавить мне в голень монету в сто драхм, и ее отпечаток останется там на весь день. — Глаза ее на отечном лице смотрели с испугом семилетней девочки. «Огюст Хрисанфович, он будет жить?» — спрашивала она каждое утро у своего знаменитого доктора, который за время своего патронажа на острове превратился в сущего грека и на каждую фразу отвечал сугубо по-гречески: «Евхаристо!» «Скоро вы, Наталья Ардальоновна, у него самого об этом спросите», — шутил он.

Из Швейцарии прибыл ультразвуковой сканнер и много прочей аппаратуры. Распростертая на кушетке в домашней лаборатории Наталья видела на экране, как вместе с ней дышит тот кусочек, что собирается отделиться и стать Марком Гореликом.

— Он очень большой, — сказал доктор Дартаньяк.

Ей хотелось объяснить ему, что это связано с гранатовым зернышком, но она промолчала с хитрой улыбкой. Доктора не понимают таких тонких материй. Он может сказать: «Ну что вы, Наталья Ардальоновна, как может гранатовая косточка перейти от матери к плоду? Ведь он же не в желудке у вас сидит, а совсем в другом органе. Кроме того, он ведь еще не может глотать, этот наш такой большой маленький Горелик». Доктору не объяснишь, что тут происходит совсем иной процесс. Гранатовое зернышко, которое я столько дней, если не лет, держала за щекой, было наконец мною проглочено. Оно растворилось и вошло в мою кровь, а потом перешло в кровь Марка. Там оно тут же приняло свою изначальную, то есть

вечную, форму гранатового зернышка и осталось навсегда в этом маленьком тельце, ну, в какой-нибудь его части, ну, хотя бы в попке — почему бы нет. Человеческие попки с их толстенькими мышцами — хорошее ложе для гранатовых зернышек. В конце концов, попки — это тоже люди, чем они хуже других органов? Вот таким образом мой плод получил благословение вечных богов.

Она стала иногда терять сознание, что было не так плохо. Без сознания мы мчимся с Марком прямо над водой. А мимо, как звездные тучи, проходят Эгейские острова. Марк молотит своими ножками и практически тащит меня над водой. К сожалению, начинаешь задумываться, что такое «звездные тучи», и сознание возвращается. Ты слышишь, как над тобой звучат мужские голоса. «Сделайте что-нибудь, Огюст, спасите ее!» — говорит один. «Обоих можно спасти только кесаревым сечением», — говорит другой. «Я уже не думаю об обоих. Спасите ее, без нее мне конец!» — «Я делаю это не для вас». Она говорит обоим: «Привет!»

— Наталья Ардальоновна, вы не боитесь хирургических вмешательств?

— Я ничего не боюсь, доктор, — отвечает она как здоровый человек и говорит правду. Она не боится ни высоты, ни глубины. Вот Марк тащит ее вдоль гряды островов в этих звездных тучах — она и этого не боится. Она за себя ни капельки не боится. Она боится только за своих: за Славку, за Марка, за ребят из «Эр-Гора», за любимую одноклассницу Милку Штраух, ну еще кой за кого, ну, скажем, за гуся Абрашку Шумейкера, за дурацкого гения Гватемалу, за петушка Фамю, барона Иваныча, или как его там, за старого фантазера Стаса Ваксина, ну еще за пару-другую туристов ее жизни, за Жеку, за Коляна, за папочку и мамочку, которые так и не появились в этой повести — а чего им здесь делать? — а за себя она не боится.

— Понимаете, Наталья Ардальоновна, — доносится голос из-за горного хребта Анатолии, — ваш Марк почему-то достиг непредсказуемых размеров. К трехмесячному сроку он полностью созрел. К тому же он расположен ножками вперед и сильно вбок, то есть по диагонали в северо-западном или юго-восточном направлении. Если мы будем стимулировать роды доступными нам средствами, включая такое древнее, как наложение щипцов, может произойти разрыв вашей, увы, столь

истонченной матки, а за ней стоит тысячерукое-тысяченогое-тысячезыкое чудище, именуемое в просторечии перитонитом, что может привести к летальному исходу.

— То есть к погружению в Лету? — улыбнулась она. — Я этого не боюсь.

— Ах, любезнейшая моя Наталья Ардальоновна, как я ценю ваш юмор, евхаристо, евхаристо! Вы достойны своего титула «Женщина Двух Столетий», — гудит дартаньячный, огюстообразный дипломированный голос. А рядом выкарабкивается из-под камней другой, пронзительно любимый вокал: «Спасите, спасите, спасите ее!» Он звучит так, как ннкогда не звучал в жизни, в нем звучит такое чувство, какое никогда не предполагалось, но подразумевалось; иначе бы не полюбила.

Кто-то, кудесник, скользит десятью пальцами — каждый из них профессор акушерства — по вершине плодородия с ее раздутыми синими реками. Под этими пальцами на филиппинский манер расступается кожа. Не больно, не страшно, крови нет. Пальцы уходят глубже и разделяют ткани, похожие на ломтики лососины. Между ними просовывается уморительно тонкий и длинный господин катетер. Он начинает с хлюпаньем, жутко смешно отсасывать почтенное собрание по имени экссудат. И вот она, пресловутая истонченная мадам стенка матки. И наконец — нашего полку кесарят прибыло! — появляется Марк. Его выгребают, вылушивают, вытаскивают, как в марте в Пенсильвании вытаскивают из норы барсука, чтобы предсказал весну. «Аа-ппч-хи!» — и он здесь, в этом мире. Все-таки не разминулись, хоть на миг повстречались. «Будь здоров, Марк!» — говорит она. «Спасибо», — отвечает он и ножками уже выделяет па ламбады. «Спасите! Спасите!» — доносится вечно любимый мужской вокал.

Однажды Славка решил обмануть охрану и отправился на Акрополь, едва полная луна утвердилась на небосклоне. Он ехал по пустой дороге и бормотал что-то под нос, не отдавая себе отчета, что обманывает не столько охрану, сколько самого себя. Невыносимо, когда тебя мониторит структура даже в самые интимные минуты жизни, бормотал он. Невыносимо, когда тебя узнают даже встречные бегуны на греческом острове. Этот двухтысячелетний стадион появился в твоей жизни для того, чтобы ты там в полном одиночестве пробежал по самому краю, ну а если свалишься там в другое пространство, значит, так тому и быть.

Достигнув вершины, он оставил там тачку и спустился к руинам. Стадион был глубоко внизу, но дальше он не пошел. В тени одной из уцелевших колонн храма Аполлона Пифийского он долго сидел, ни о чем не думая и ничего не пытаясь предпринять. В душе его зрела уверенность, что в эту ночь он сделает только то, что ему предназначено, что судьба сейчас не нуждается в его рывках, что все за него продумано заранее.

Третьего дня, проезжая на малой скорости по Гончарной улице в Москве, он увидел странную процессию: вели порченных детей. Простые женщины, одетые в свое самое лучшее, чистое и прилично, за руки влекли куда-то довольно уже больших дитятей, но те не хотели идти. Они визжали, пытались вырваться, даже вцеплялись в стенки, но женщины с застывшим на лицах выражением отчаянной решимости еще крепче сжимали пальцы и влекли своих чад вперед.

— Что происходит? — спросил президент «Эр-Гора».

Один из охранников, Боб, предположил с каким-то виповатым смешком:

— К мощам, видно, ведут приложиться, Мстислав Игоревич. Исцелить хотят своих бесноватых, однозначно.

Вскоре все выяснилось. Перед воротами Афонского подворья стояла огромная очередь, все в аккуратно отглаженной бедной одежде. Многие и здесь были с детьми, но не бесноватыми, а смиренно болезненными. Внутри подворья, в церкви, были впервые в Москве выставлены к доступу мощи святого Пантелеймона Целителя.

Слава вышел из машины и подошел к толпе. Только вчера вечером он был на телевидении в одном из популярных ток-шоу. Он поймал на себе несколько узнающих взглядов, но заметил, что, узнав его, люди тут же опускали глаза: присутствие «олигарха» в толпе пилигримов, очевидно, казалось им неуместным, если не греховным.

Чуть поодаль от очереди, вдоль стены лепились монашки с деревянными ящичками для подаяний на храм и на нужды благотворенья. Слава подошел к одной из них и засунул деньги в прорезь, явно не приспособленную для таких серьезных вложений. Женщина посмотрела на него с неприятным отчуждением, но поклонилась. Он почему-то не мог от нее отойти.

— Что вам нужно, господин? — спросила она смиренно, но недружелюбно.

— У моей жены послеродовой... ну... послеродовая горячка... Вы можете за нее... ну... помолиться? Сестра?

Она категорически уклонилась от слова «сестра»:

— Вы православный, господин?

Он стоял, не зная, что сказать. Вдруг он узнал эту монашку. Когда-то она была актрисой модного театра, грешницей московского людоевора. Она протянула ему листок с типографским текстом. Он сунул его в карман и пошел к своим «пацанам».

Теперь, сидя в тени одной из четырех колонн, оставшихся от языческого храма, он развернул эту бумажку и положил ее под щедрый свет луны. И сверху укрепил осколок мрамора, чтобы не сдуло. Этот текст он уже знал почти наизусть. Он шел под заголовком «Таинство покаяния». Еще из нескольких камешков он сложил маленький крест. Какой: православный, католический? Разве это важно, главное — попросить отпустить прегрешения, вольные и невольные, смиреннейшим образом, как последняя подбитая тварь, умолить: оставь мне, Господи, мою девочку, мою единственную любовь!

Склонившись к листочку, он шептал: пошли мне, Господи, свой Небесный Огонь, опаляющий наши грехи! Позволь мне очиститься покаянием! Прости мне мою суету и нередкое подончество мысли, прелюбодеяние словом и делом, помышлением, зреньем и слухом, осязанием и всеми моими чувствами, гордость и небрежение к молитве, маловерие и сомнения, прости и сохрани жизнь моей жене Наталье! Верую во Единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного...

И так он прочел весь Цареградский Символ Веры, а потом «Отче наш» и «Богородице Дево, радуйся», и «Господи Иисусе Христе, сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь». Он хотел уже начать чтение молитвы последних Оптиных старцев, но в это время почувствовал себя окруженным чьим-то вниманием. На освещенных луной развалинах то тут, то там сидели молчаливые созерцатели его одинокой мольбы: вороны и мышь, волк и баран, и пара лебедей кружила над ними. В то же время одна из колонн превратилась в неизреченную данность, ближе всего напоми-

нающую столб света. Колебаниями этого света она вступила с ним в диалог.

Человек, ты опасно приблизился к нам; понимаешь ли ты это?

Прости, великий бог, что творю молитву Христу в твоём храме.

Кажется, ты не совсем понимаешь, что говоришь. Мы все были распяты вместе с Христом; это ты понимаешь?

Славка молчал, боясь разрушить мгновение.

Ступай домой, к своей жене, человек, вы не расстанетесь никогда.

Луна закатилась за тучу, померкла неизреченная данность Аполлона, вороны протрубили, волк подвыл, баран проблеял, пискнула мышь, и только чета лебедей не проронила ни звука.

Мальчик развивается удивительно быстро. Уже через месяц приходится ему говорить «Вынь руки из-под одеяла!», и он, удивительный разумник, можно сказать, Марк Мстиславович Горелик-Разумник (по аналогии с известным писателем), немедленно выкладывает свои лапки поверх одеяла и лежит с хитрой улыбкой.

Между тем празднества по случаю рождения наследника «Эр-Гора» продолжают по всей планете. Султан Брунея для этой цели откупает Соломоновы, или Натановы, острова. «Женщина Двух Столетий» — ей сейчас на вид восемнадцать, на вкус и еще меньше — в центре внимания. Где бы она ни появлялась, тут же на водные глади спускается из поднебесья стая золотистых гусей. Молодежь повсюду танцует под ее новый хит «Праздник с Рокафеллерами».

Вкушаем пряник печатный
Вместе с семьей Рокафеллеров.
Массы, готовьте взрывчатку!
Крутите свои пропеллеры!

А Славка снова, как в прежние годы, полон юмора и легкости. Проводит повсюду конференции по охране атмосферы, по внедрению негрязной энергии, по раскручиванию человечества для перехода на новый уровень и всякий свободный день норовит провести с семьей на острове Родос, чье имя, вы правильно догадались, созвучно со словом «роды».

Однажды — Марку в тот день исполнилось три месяца — ужинали все вместе, всем «Эр-Гором» — чем боги послали, то есть нектаром и амброзией. Солнце садилось за западные холмы. Турция за восточным проливом была видна до последней каменной складочки.

— Мама, можно тебя на минуточку? — слышался голос из детской.

Она впрхнула, вся в легких фисташковых одеяниях.

— Что скажешь, чайлд?

Ребенок сидел в позе роденовского «Мыслителя», но смотрел не вниз, а в окно, наполовину поделенное между морем и небом. Две голладские няни в накрахмаленных рогатых чепцах стояли в углу.

— Отошли их, — попросил Марк (он предпочитал говорить по-русски, хотя, конечно, мог и по-голландски). — Мне нужно сказать тебе несколько слов наедине.

Воздушная мамаша с трудом опустилаcь в кресло. Сердце потащило отяжелевший от неожиданности поток жизни. Монашки вышли.

— Солнце мое, неужели ты... — неуклюже двигался во рту отяжелевший язык.

— Солнце твое остается с тобой, а я уйду, — просто и нежно произнес Марк. — Так решено.

— Где? Кем? — только и вымолвила она.

— Кем — я пока не знаю, а где — догадываюсь. — Детской ручонкой, на которой, впрочем, уже проглядывали похожие на отцовские мускулы, он показал на море с белыми гребешками и на небо, где вдруг с приседаниями прогулялась компания холозагоров и олеожаров. Она потянулась к нему, но он отодвинул ее руки и встал в кровати, маленький бесстрашный Горелик, не познавший родовых мук. — Мама, не бойся! Я уйду от тебя, но не навсегда. Я буду появляться. Иногда ты будешь чувствовать это сразу, иногда *post factum*.

— Откуда ты знаешь латынь? — неадекватно (о, латынь!) удивилась она.

— Поцелуй меня и не задавай сложных вопросов, — попросил он.

Она поцеловала его и почувствовала острый младенческий запах, смесь свежести и опрелостей, душистого талька и пиписек. При всей остроте мгновения она не удержалась от

практической мысли: все-таки даже голландские няни далеки от совершенства.

— А теперь, мама, вернись в кресло, чтобы не упасть в обморок, — предложил младенец.

Она думала, что он будет пропадать частями, как это может случиться в тягостном сне, но он просто весело подпрыгнул.

— До встречи, родная! — И исчез.

Ничто не изменилось, только ушла тяжесть из конечностей. Горе нарастало, но не прибавляло свинца. Заливаясь слезами, но парадоксально предвкушая возврат на террасу к пирующим друзьям, она склонилась над пустой кроватью Марка. Маленькое мокрое пятнышко с пронзительной нежностью взирало на нее с белой простынки. В центре пятнышка лежало гранатовое зернышко; ну кто в этом сомневался? Вот и первая встреча, подумала она с такой ясностью, что сама чуть не исчезла вслед за Марком. Но почему-то все-таки удержалась.

В Москве теперь повсюду, иногда в самых неожиданных местах открываются кафе. В кинотеатре «Иллюзион», например, в фойе стоят столики, и за ними под портретами актеров и режиссеров сидят бритые бандиты и панки с лилово-желтыми гребнями на головах. Там над тарелками гречневой каши Какаша закончила свой рассказ.

— А где теперь гранатовое зернышко? — спросил я.

— Вот здесь. — Она показала себе на мочку правого уха. — Мочка уха никогда не стареет, поэтому я вживила его сюда. Можешь потрогать.

Я взял в руку мочку ее правого уха; она была мягкой и горячей. И снова очарование этой особы неудержимой волной подняло меня вверх, на этот раз к потолку «Иллюзиона», к лепнине сталинского барокко, к моей молодости.





ЧАСТЬ ТРИНАДЦАТАЯ

Телефонная книга

В тишине Лэзбю-Хилл, на исходе романа, мне попалась как-то на глаза старая телефонная книга. Это была одна из самых моих первых американских покупок. Неплохое изобретение, между прочим. В непочатом виде она состояла из двух частей: в большей части были пустые линованные страницы с указателями *name; telephone; address*; меньшая состояла из плотных желтых листов с алфавитными корешками. По внутреннему краю каждой страницы и каждого листа шли шестнадцать круглых дырочек, куда входили открывающиеся и закрывающиеся механические запоры. Эти запоры открывались и закрывались одним движением. Под любым алфавитным корешком можно было расположить сколько угодно страниц. С годами неиспользованные линованные страницы оказались в меньшинстве, а большинство перекечовало в алфавитную часть книги, покрылось номерами и адресами порядочного числа людей, как говорится, *on both sides of the Atlantic*¹.

С каким старанием вначале я заполнял эту книгу! Она стала для меня своего рода окном в неведомую страну, и в то же время, несмотря на, казалось, вечное изгнание, в ней содержалась какая-то гудящая под ветром форточка в прошлое, то есть на родину. Теперь она почти заброшена. То ли электронный органайзер ее заменил, то ли сократился круг общения, так или иначе, «морально устарела».

¹ По обе стороны Атлантики (англ.).

Ведь в те времена, когда она была приобретена, в конце семидесятых, народ еще не чувствовал приближения конца века, не говоря уж о тысячелетии. 2001 год был датой из научной фантастики, зоной молчания и психоделии, в которой проплывают «космические одиссеи», уходящие даже и за пределы космоса. Вообще за пределы.

В общем, книжка сия лежит на задворках стола, а век, почитай, уже кончился. В последние годы я ее открываю только лишь для того, чтобы вспомнить, как пишется имя какого-нибудь знакомого, с которым не встречался лет десять. Вот и сейчас ищу имя одного режиссера — с ним мы что-то когда-то задумывали, а потом разошлись, — вижу, что книжка уже перекочевала со стола на подоконник, поближе к лесу, стало быть, может быть, для того, чтобы в конечном счете исчезнуть в ветвях, отрываю от кресла свой зад, дотягиваюсь и раскрываю наугад, потому что не помню, с какой буквы тот малый начинался — с К, с С или, может быть, с Q?

Книжка до сих пор еще в неплохой форме, даже неиспользованные страницы остались и не очень выцвели. Забыв про режиссера, я начинаю ее листать, и в памяти возникает вся та толпа, которая в недалеком еще прошлом устраивала перезвон и суматоху. То и дело наталкиваюсь на имена тех, кто в прямом переводе с английского «присоединился к большинству», то есть усоп.

Чарли

Вот, например, Чарли Дакорд, мой хороший друг и дальний родственник моей первой американской жены, он ушел еще во второй половине восьмидесятых. Высокий стриженный «крюкат»¹, северянин казался мне воплощением заокеанского стиля, разумеется, в нашей московской интерпретации. За плечами у него была школа военных переводчиков в Монтерее, а потом три года службы в Турции на базе ВВС, где он прослушивал разговоры советских истребителей. Именно там он научился русскому мату, хотя до конца так и не понял разницы между его похабной сутью и легким юмором. Уже став поч-

¹ От англ. crew cut — короткая стрижка.

тенным военным историком и кремленологом, он иногда своими руладами вызывал оторопь в обществе русских эмигрантов.

Мы с ним подолгу играли в баскетбол на его ферме в Индиане, то один на один, то двое на двое с черными соседскими мальчишками. Он как будто понимал, что я нахожусь под сильным стрессом в этом новом, равнодушном к моим художествам, мире и давал мне как следует выложиться в баскетболе. Он вообще здорово мне помог, этот, казалось бы, флегматичный, с блуждающей улыбкой полуянки-полуфранцуз. С его связями в академической среде он легко добывал для меня приглашения на разные кампусы с лекциями о советской цензуре. Сам он к тому времени считался колоссальным специалистом по военной истории СССР. Можно было приехать к нему и спросить, что он знает о Фрунзе. Фрунзе?! Тут вся его флегма испарялась, и он мог часами говорить о военной реформе двадцатых годов.

Потом он вдруг, как это бывает, ни с того ни с сего заболел здоровенной опухолью в животе, от которой пошли расползаться убийственные ручейки по всему телу. Боролся он, как и подобает бывшему спецназу, да к тому же еще и гугеноту по рождению, не теряя устойчивости и достоинства. Проходил через сложные операции, курсы радио- и химиотерапии и даже через экспериментальный курс генной стимуляции в Национальном институте здравоохранения. У него была маленькая дочка Сузи, и он хотел подольше протянуть, чтобы она запомнила отца. В перерывах между курсами он даже играл в баскетбол, правда, больше не приглашал соседских мальчишек.

Мы с Кимберли ездили по Европе в то лето, когда Чарли умер. Вернувшись в Индиану, мы вместо него нашли красивый гранитный куб общим объемом чуть побольше баскетбольного мяча. Тщательно продуманный ландшафт кладбища, казалось, предлагал смешивать скорбь с покоем и употреблять по предписанию врача. «Ты помнишь дэдди?» — спросила Ким свою племянницу. С удивительной строгостью крошечная Сузи подняла пальчик в серые небеса и произнесла: «Мой дэдди там!» Трудно сказать, добился ли Чарли своей цели, запомнила ли дочка его рыжий ёжик.

Бенни

На этой же странице я нашел телефон Бенни Дарданелла, президента кинопроизводства «Триграм лтд.» из Лос-Анджелеса. Интересно, что в те времена, когда мы с ним общались, то есть лет двенадцать-тринадцать назад, электронной почты не было и в помине. Даже и компьютеров я что-то не припомню в его шикарном офисе на Сансет-бульваре. Бенни тогда, должно быть, было под восемьдесят, но он хотел выглядеть лет на десять моложе и красил свои волосы в густо-коричневый цвет, под стать обильной пигментации в прорехах растительности. Он носил выцветшие джинсы (в СССР такие называли отвратительным словом «варёнки») и ковбойские сапожки на высоких каблуках. Шикарный голливудский псевдоним он придумал лет за сорок до нашей встречи, когда вернулся с войны. А по паспорту он был Венедиктом Книповичем и происходил из города Луцка на Украине.

Когда мы с одним начинающим режиссером пробились к нему и предложили проект фантастического фильма об Одессе, мы были уверены, что он нас и слушать не станет. Неожиданно Бенни проявил жгучий интерес к этой идее и чувствительную симпатию к моей особе. Мне было уже за пятьдесят, но ему я почему-то представлялся едва ли не юношей, пришедшим по его стопам искать fame and fortune¹ в Голливуде. Это был первый в моей жизни настоящий магнат-миллионер, и я смотрел на него, признаться, с сугубо этнографическим интересом, а он тем временем раскручивал пружину своих колоссальных связей в киномире. Вскоре самое главное в этом деле, «распределение финансового риска», было достигнуто, и Бенни сам пожелал стать продюсером. Существовало одно, но серьезное препятствие. После войны на Тихом океане Бенни зарекся когда-нибудь еще подниматься в воздух на самолете, а как еще мог он добраться до тех неправдоподобных «старых стран», где должны были проходить основные съемки.

«Бенни, я разработал для тебя шикарный маршрут, — сказал я ему однажды. — С Беверли-Хиллз ты отправляешься на своем лимузине в Сиэттл и там садишься в пассажирский поезд. Вообрази, такой существует, прямо как в ностальгиче-

¹ Слава и богатство (англ.).

ском муви, — двухэтажный классный поезд! Через три дня ты уже в Большом Яблоке, как раз к посадке на лайнер Queen Elizabeth Two. Там на верхнем деке тебя ждет апартамент ничуть не хуже твоего, согласишься, уже немного закаканного дворца на Беверли-Хиллз. (Бенни любил, когда нищий народ говорил с ним в такой беспардонной манере; он воспринимал это как проявление своего могущества.) Итак, мы отплываем и плывем через Большую Выпивку пять дней и пять ночей. Скучать не придется: на судне есть биг-бэнд, и под его игру ребята твоего возраста практикуют свинг, как с блядами в оккупированной Йокогаме. В Лондоне — снова поезд, да какой! Да-да, вот именно, тот самый — воспетый лучшими перьями XX века, «Восточный экспресс»! Ты занимаешь и там совсем недурной апартамент из красного дерева с элементами бронзы. Кухня этого поезда бьет все «Максимы» и «Фукецы», их протертые морковные супы выше всех похвал. Дамы скользят по проходам вагонов, словно ночные музы Джеймса Бонда. Временами он и сам появляется в поезде под загадочным именем Настоящий Бенни Менделл и под музыку Алессандро Марчелло. За окнами проплывают «старые страны». Через четыре дня мы прибываем в Стамбул. Нет-нет, Бенни, он стоит не на Дарданеллах, а на Босфоре. Пролив, который ты обессмертил, взяв его имя, находится немного ниже по глобусу. Так или иначе, от Стамбула до Одессы рукой подать. Можно на пароходе, можно на поезде, можно и на автобусе с пересадками в Трнкове, Оскмалнезие и Крткнучане, а можно и на твоём любимом «растянутом лимо», который прилетит туда в брюхе грузового авиона. Итак, не пройдет и двух недель, как ты, «пространством и временем полный», прибудешь в Одессу-маму, куда еще твой папа возил свой шорный товар».

Из этого обращения к могущественному брокеру фильмов видно, что мы с ним за довольно короткое время наладили дружеские, и даже слегка амикошонские с моей стороны, отношения. Бенни Дарданеллу они явно нравились. Слушая трепотню легкомысленного писателишки, он хихикал, всовывывал в зубы контрабандную кубинскую сигару, зажигал спичку и как бы по рассеянности ее гасил, то есть, с одной стороны, почти курил, а с другой, не нарушал запрета врачей. «Ты, Стас, вообще-то слишком веселый для человека из России. Что они там тебя, не терзали?» Если же во время наших бесед кто-нибудь звонил по серьезному, то есть денежному, делу,

надо было видеть, как он преображался: сигару в отставку, на носу появляются роговые очки, во рту похрустывает солидная дантистская работа.

Словом, все шло хоть и медленно, но неуклонно к производству, то есть к миллионным гонорарам. Я уже предвкушал, как впервые после изгнания появлюсь в СССР в толпе американских киношников, как вдруг Бенни умер. Ну что ж, ничего особенного не произошло, просто восьмидесятичетырехлетний богач закончил свой земной путь, *died of a natural cause*, как в газетах пишут. Наш проект немедленно развалился, однако совсем не по этой причине мне долгое время не хватало старика Веньки Книповича, к которому я пришел хорохорясь, изображая независимость, «этнографический интерес», и с которым на самом деле по-настоящему подружился.

Брик

Переворачиваю пару страниц назад и вижу имя питерского мистика Борьки Брика. Когда-то он был любимцем подпольного народа, анархистом, бессребреником, экуменическим экзистенциалнстом в протертом до дыр на локтях, но все-таки «фирменном» пиджачишке. Его коньком было сектантство, хлыстовство и скопчество, он постоянно распространял свои сочинения на эту тему, вследствие чего «за ним следила губчека».

Однажды в начале семидесятых мы с ним вместе провели довольно странную белую ночь. Несмотря на то что Борька как апологет скопчества постоянно говорил о будущем над-человеке, лишенном полового заклятия, сам он был порядочным «ходоком», и через него можно было познакомиться со значительным числом активных девушек. В тот вечер мы сидели в ресторане с двумя москвичками, переводчицами при гвинейском государственном ансамбле песни и пляски. Вместе с ними были две их подопечные танцорки, эбонитовые (не надо ухмыляться, не до этого) комсомолки из джунглей. На краю стола зиждился их попугай, огромный зеленый какаду Лаваль.

После ужина (платил, конечно, я, Борька только вывернул пустой карман) пошли всей компанией кататься на прогулочном теплоходе по Неве. Судно было забито молодежью с

окраин, которая почему-то не обращала никакого внимания на нашу экзотическую группу, как будто каждый день видела на транспорте гвинейских козочек с попугаем. Мы стояли на корме. Девчонки стрекотали по-французски. Лаваль облюбовал плечо Бори Брика, сидел нахохлившись, подобием тяжелой сказочной совы, когти его крепко вцепились в ветхую ткань. Брик (он вообще-то был каким-то родственником тем Брикам, торговцам кораллами), похоже, гордился этой странной привязанностью птицы.

— Странно, никто не смотрит на попугая, — сказал я ему. — Вот новые пассажиры входят, и никто не обращает на него ни малейшего внимания.

— Они его просто не видят, — сказал Борис. — Он не дает им себя видеть.

— Может, это черт тебя оседлал? — пошутил я.

— Скорее демиург, — убежденно ответил мой приятель.

Наверное, напишет эссе об этом попугае, подумал я. Сам я в те времена мало думал о демиургах.

Прошло полгода с той ночи, и я узнал, что Брик уезжает в эмиграцию. Питерская гэбуха выдавила этого бродячего соблазителя советских умов. Шла глубокая идеологическая зачистка чреватой большой крамолой местности.

В Нью-Йорке Брик повел себя совершенно неожиданным образом. Прекратил бродяжничать и стал зарабатывать неплохие деньги. Носил экстравагантные дорогие костюмы, цилиндр, крылатку, щеголял набором тростей. Во всяком случае, такие слухи доходили до нас в Совдепии. Говорили также, что он стал заметной фигурой в гейских кругах, но в это как раз мало кто верил, учитывая его донжуанский список.

Когда и до меня дошла очередь на пинок в зад, я добрался до Нью-Йорка и первым делом позвонил Борьке: все-таки человек из нашей компании. Он пришел на встречу очень важный, строгий, каждым словом и каждым движением показывая, что он теперь совсем не тот полуанекдотический голодранец, но настоящий *man of letters*¹ и властитель дум.

Чуть позднее я узнал, что ББ фактически стал главой довольно могущественной литературно-академической клики. Вокруг него толклись хитрые прихлебатели и глупцы-под-

¹ Человек литературы (англ.).

голоски. Одна дама украла на конференции бумагу с его рисунками (то, что называется doodling, то есть автоматическая мазня) и потом напечатала в Village Voice статью под названием «Метафизика рисунков Бориса Брика».

Однажды до меня дошло, что он распускает обо мне нехорошие слухи. Якобы я вовсе не авангардист Стас Ваксина, а самый настоящий советский «почвенник», квасной патриот и жидомор Влас Ваксаков, а псевдоним себе придумал, чтобы втереться в среду нью-йоркских «литерати». Признаться, это меня потрясло: что же он, старый приятель, собутыльник и согрешник, неужели забыл про весь наш карнавал, про мистическую белую ночь с попугаем? Впрочем, разве обязательно надо забыть о попугае, чтобы солгать?

От меня стали отворачиваться. Ухмылялись. В одном издательстве вернули уже одобренную к печати рукопись. Попытка объяснения едва не закончилась дракой, когда он стал высокомерно объяснять мне, что эмиграция меняет шкалу ценностей. Она вводит определенную квоту. Если какой-нибудь новоприбывший займет какую-нибудь нишу, то за бортом может оказаться другой человек, часто более достойный. Вот поэтому он должен давать истинные оценки.

Именно тогда я и решил переехать в Индиану. И кажется, правильно сделал. В Нью-Йорке мне бы пришлось постоянно биться лбом в бриковскую «квоту». Время от времени я читал статьи этого, как моя тогдашняя жена говорила, «шолоуэзка», иногда блестящие, иногда занудно топчущиеся на странно знакомых тезисах вроде «книга — источник знаний» или «в человеке все должно быть прекрасно», но всякий раз рассчитанные на «всплеск», в прямом переводе с английского. С годами, впрочем, я стал все меньше за ним следить; обида рассеялась.

Вдруг я заметил его отсутствие. Что-то он перестал возникать на литературных и академических горизонтах. Я позвонил в один журнал, и там мне сказали, что Брик заболел какой-то редкой болезнью, купил лесную ферму в глухом штате и там сидит в полном одиночестве. Когда он умер, вернее, когда весть о его смерти дошла до нас, я испытал испепеляющее опустошение. Неделью слонялся пешком по автомобильному графству, не зная, что делать. Не мог ни писать, ни читать. О нем почти не думал и не вспоминал, только лишь бессмысленно временами мычал от безвозвратной пропажи.

Вдруг ярко вспыхнуло нечто, что могло бы и не вспыхивать. В конце шестидесятых ночью мы купались с ним в каком-то котловане на окраине Москвы. Мы оба были вдребезги пьяны и, купаясь, толковали Ницше. Он выпрыгивал по пояс из лужи, тощий, покрытый жесткой семитской волосней, и кричал: «Каждый день я, как и он, жажду терять мои верования! Нет больше счастья, чем освобождение ума! И вообще!» — добавлял он с истошным тарзаньим клекотом.

Тут и я взмывал из мазутных пятен со своей тогдашней бородою, которую потом сменили ницшеанские усы. «Уйдем за пределы добра и зла! Возобновляться и разрушаться, чтобы возобновляться и разрушаться! И вообще!»

«Вообще! Вообще!» Это слово нас почему-то безумно смешило. «Вотще! Вопче! Вопчиоччио!» И вдруг обнаружили, что некому нами больше восхищаться. Вся компания уехала на трех машинах, а с ними уехала и вся наша одежда. Осталось только забытое среди ржавой арматуры одеяло. Протрезвев, мы вдвоем закутались в это одеяло и пошли по пустому шоссе на Восток, в края Заратустры. По дороге нас арестовала милиция. Вот и все, все погасло.

Карло

Вот еще координаты: был такой чудесный итальянец Карло Кавальканти. А вы не родственник ли тому Кавальканти Гвидо, иной раз спрашивали его наши умные девушки, имея в виду поэта, начавшего «новый сладостный стиль» в тринадцатом веке. «Это мой дядя», — всерьез отвечал он. Ох уж эти итальянцы!

«Чтобы понять мой народ, — говорил он, — надо знать, что мы немножко жулики и очень множко эпикурейцы. Загадка состоит в том, что при всем при этом никто не может так работать, как мы. Возьмите туфли. Кто может сделать итальянские туфли? Только итальянцы!»

Разорившийся богач, он был кутилой под стать хорошо развитому грузину. Появлялся то с девочками, то с мальчиками. Брался за переводы и обманывал авторов и издателей, заматывал авансы, скрывался, потом приходил с шедевром.

Иногда он объявлял, что главной его страстью является кулинария. Скрывался на кухне и долго там мудрил. Перепре-

лые гости собирались уже идти в соседнюю пиццерию, когда он появлялся под звуки Россини с огромным блюдом, на котором не было ничего, только раздутый бумажный пузырь. Взмахом магического ножа он рассекал пузырь, к потолку поднималось облако пара, открывался развал горячих и благоухающих травами даров моря.

Такие кулинарные подвиги случались редко в его суматошной жизни. Чаще он выступал со свежесдобитым хлебом, вином и сыром. Корочки хрустели, вино булькало, сыр со слезой разваливался длинными щедрыми срезами. Он потирал руки, хлопал себя по основательному пузу, изображал то ли Фальстафа, то ли Рабле — в общем, вечно пирующего человека.

На самом-то деле он был натурой скорее уединенной, во всяком случае, так мне казалось, когда я к нему приглядывался. Семьи у него не было, и он оправдывал это своим «неисправимым гомосексуализмом», однако мне иногда казалось, что все эти сексы ему до лампочки, а страсти его отданы только старым книгам.

В книжных лавках в Милане или Париже он становился серьезным, исследовал каталоги, подолгу беседовал с продавцами, уносил все, что мог купить. Печально, что мы ни разу с ним не поговорили по-настоящему, а все только забавлялись его слегка фальшивым «итальянизмом». Так нередко получается: все время откладываешь какой-то важный разговор, какой — и сам не знаешь, ну о каком-нибудь дяде XIII века, о каком-нибудь поэтическом сдвиге эпох, ну, в общем, такой разговор, который перевел бы человеческие взаимоотношения на другой уровень, — и вдруг видишь, что опоздал, что отношения уже навсегда останутся на уровне совместного полушутовства. А потом узнаешь, что совсем опоздал, что Карло Кавальканти больше не существует.

Берг

Еще в совсем не старые, даже не в пожилые годы я познакомился с одним нобелевским лауреатом по имени Гельмут Берг. Переводы его ранних повестей в свое время произвели сильнейший «шторм унд дранг» в умах советской литмолодежи. Будучи солдатом вермахта, Берг прошагал немало верст

по страшной русской земле. Сумев в конце концов удачно драпануть, он написал об этом, но так, что молодой читатель в Москве начал узнавать самого себя в немецкой шинели.

В самом начале шестидесятых Союз писателей СССР устроил встречу своих молодых с их ровесниками из ГДР. Мы заговорили о Гельмуте Берге, и рьяные ульбриховские комсомолы, только что перегородившие Берлин, были так потрясены нашими ссылками на западного немца, что стали орать и даже плакать. «Как вы можете, вы, советские писатели, поднимать Берга?! Ведь он же реакционер, католик! Он не принимает нашей молодой республики рабочих и крестьян!»

В конце шестидесятых меня послали старшие братья по письменному цеху (все бывшие зеки, между прочим) встретить Берга в Шереметьеве. Не ожидал, что он так запросто появится, думал, что будут какие-нибудь вспышки, что ли, ну не знаю, что-то в общем нобелевское или олимпийское, что почти равносильно в век тщеславия. Ничего похожего не было. Стояли хмурые люди по обе стороны барьера, с нервными смешками в Совдепию проходил европейский народ, и вместе со всеми шел человек в сером пальто, со старым детским лицом, с совиными глазами, герр Гельмут Берг.

Бросая вызов всему лагерю мира и социализма, я выдвинулся к барьеру и обратился к лауреату: Hello, Mr. Berg! I was sent by Charlemagne to meet you. Welcome to Moscow!¹

Шарлеманом в наших кругах называли старейшину московского диссидентства, и это было известно в соответствующих кругах Германии. Через несколько минут мы уже шли к моей машине. Кто-то, конечно, шел за нами, но я не оборачивался. «Знаете, у меня здесь на таможне отобрали журнал «Шпигель», — сказал мне Берг доверительно. — Сказали, что провоз такой литературы запрещен. Журнал «Шпигель» — как вам это нравится?»

Мы поехали к фрондерствующему авторитету советской литературы Авгеникусову, там в четырехкомнатной квартире ждала Берга пестрая компания фрондерствующей Москвы. Над импозантным подъездом сталинского барокко висела красная вывеска «Агитпункт». Берг, щеголяя знанием кириллицы, прочел это слово и спросил, что оно означает. «Ну, это

¹ Приветствую вас, мистер Берг! Меня послал Шарлеман встретить вас. Добро пожаловать в Москву! (англ.)

вроде как бы автозаправочная станция, — пояснил я. — Если гражданин чувствует, что идеология в нем иссякает, он заходит в агитпункт и подзаряжается». Берг положил мне руку на плечо и заглянул в глаза: «Похоже, что у вас, мой друг, шагнули еще дальше, чем у нас... в старые времена». Я возразил: «Не во всем. Нет-нет, не во всем». Он вздохнул. Каково, подумал я. Стоим вдвоем с Гельмутом Бергом, грустновато хихикаем. Ничего особенного не происходит.

Так и во всех последующих встречах с ним присутствовала эта, то ли спонтанная, то ли подчеркнутая, «ничегоособенность». В Гамбурге, где он жил, на улицах никто не обращал на него внимания. Однажды он целый час ждал меня в холле отеля, сидел в углу и решал кроссворды. Похоже, что он выработал такой принцип — не отличаться, не выделяться, быть как все. Этим он как раз и отличался от других «иммортелей» — скромный и религиозный, искренний человек.

А ведь заслужил свое место в пантеоне. Несмотря на кризисы мировоззрения, на приступы мучительного пораженчества, он лучше других выразил свое время и переоценку ценностей. Его будут долго помнить. Впрочем, что такое литературная долговечность? Предположим, его будут помнить сто лет после его смерти, ну двести лет, ну десять тысяч катящихся в безвременье лет. Ощутим ли мы после смерти, что были просто частичками какого-то распадающегося целого — ну, скажем, счастья? Или кто-то ощутит это вместо нас?

Обничалли

А вот еще один из тех, кому нельзя уже позвонить по телефону, — кумир американских пятидесятых, шестидесятых и семидесятых, король контр-культуры, рок-певец, джазист и бард, курильщик разных трав и демонический гомосексуалист Питер Обничалли. Как-то раз в московской компании он признался в своем русско-еврейском происхождении, однако так и не смог выговорить фамилии деда, который в 1900 году в городке с невыговариваемым названием собрал все свое семейство, включая десятилетнего папу Питера, и отправился за океан. Кто-то в компании тогда предположил, что фамилия Обничалли в России произносилась как Обнишальный. А значит, перед нами сейчас сидит бородатый и с большой накладной

косой, в перуанском пончо и с маленькими тибетскими литаврами в руках Петя Обнищальный из Шепетовки. Тут разразился такой хохот, что кумир молодежи стран НАТО растерялся и его физиономия стала напоминать выглядывающую из гнезда ласку: в чем дело? в чем дело? Кажется, это была правильная догадка, во всяком случае, Питер подтвердил, что прежнее имя, которое он так и не мог выговорить, имело какое-то отношение к poverty¹.

Каким образом он тогда оказался в Москве, да еще прямо с Гималаев, трудно сказать. Возможно, его начали кадрить советские профессионалы по борьбе за мир. Так или иначе, Обнищалли долго таскался по московским богемным чердакам и подвалам. Он обычно усаживался где-нибудь в углу, не обязательно на возвышении, бил в свои литавры и демонстрировал свой знаменитый «вой», снискавший ему столько поклонников среди юношей по всему миру.

Москвичам, отрезанным от мировых течений, он понравился. Хохмач, клоун, талант, видно сразу. Многие интересовались его гомосексуализмом. Ты, Питер, только в башке гомик или там внизу тоже? И в башке, говорил он и тут же показывал свой длинный играющий язык, и внизу тоже; подтягивал руку собеседника к своей промежности, чтобы тот убедился. Все-таки он был разочарован Третьим Римом. Юноши тут как-то мало отвечали ему взаимностью, что он объяснял тоталитаризмом.

Из Москвы он отправился в «страны народной демократии», как тогда называли Восточную Европу. В Кракове и Праге бушующие толпы студентов носили его на плечах по ночным улицам. Многие из переносчиков натывались рукой или щекой на его возбужденные успехом гениталии и благоговейно поднимали глаза горé: веди нас вперед, о Великий Обнищалли!

Кончилось это нехорошо. На грандиозной маевке 1968 года студенты избрали его своим вечным президентом. Он приплясывал на специально для него сооруженном помосте в своем лапсердаке на мохнатом голом теле и призывал к высвобождению всего запятанного, всего запуганного. Под утро спецотряд гзб совершил налет на общежитие биофака, где во всех спальнях шло высвобождение всего запятанного и запу-

¹ Нищета (англ.).

ганного. Питер был взят в постели, где он спал с двумя первокурсниками. Не дав даже отыскать семейные трусы, его отвезли в мрачную твердыню власти.

Много лет спустя во Флориде он мне рассказывал, что в узилище стражники применяли к нему физические меры, но почему-то не выебли. Утром его башкой вперед сунули в поезд «Митропа» курсом на Аахен. Швырнули ему вслед литавры, подарок сваи Навахалдриарданажалани, которыми дорожил больше жизни. Все ноты и любовные заметки были задержаны и отправлены в Москву на экспертизу.

Интересно, что за этим насилием над американским гражданином даже не последовало ноты государственного департамента. Видимо, не хотели себя компрометировать уважаемые сотрудники этого огромного учреждения, где одно время даже внедрялись специальные самокаты для передвижения по бесконечным (кафкианским, сказал бы любой неформал) коридорам.

Кстати, о Флориде. Году то ли в восемьдесят пятом, то ли восемьдесят седьмом — это зависит от дат существования сандинистского режима в Никарагуа — я прилетел в Майами на международную книжную ярмарку. Вдруг в толпе слышу пейджинг по мою душу: «Мистер Стэс Уакси, вас ждут в шестнадцатом дискурсе возле киоска сувениров!» Оказалось, встречает тот, кого меньше всего ожидал, — Пит Обничалли. Мы обнялись. Борода у него к этому времени серьезно поседела и стала попахивать луком. «Послушай, ты чего это отказался подписать наш протест против американского давления на Никарагуа?» — спросил он. «Да ведь гады же», — ответил я. «Кто гады?» — возопил он. «Да эти братья Ортега, этот Ленин Черна, вся эта бражка кастрицкая». Я старался говорить потише, потому что толпа его узнавала — Питер Обничалли! «Да как ты смеешь?!» — взревел он и вдруг упал в обморок. Народ сгрудился вокруг то ли в ужасе, то ли в ужасающем любопытстве: присутствовать при агонии культовой фигуры — такое не каждому выпадает из мельтешни событий! К счастью, обморок был недолог, старый битник встал отряхиваясь. Мы сели в углу за какую-то колонну. Публика разочарованно, но почтительно отдалилась. «Ты пойми, Стас, — прошептал он, — ведь Ортега для меня как родная мать!» — «Отец, ты хочешь сказать?» — поправил я. «Да какая разница?» — прошелестел он и посмотрел на меня. Тут мы оба рас-

смеялись и отправились в бар, где просидели еще часа два, рассказывая друг другу всякие безобразные истории.

Потом он все-таки вытащил из-под своего пончо зажеванный листок с протестом: «Ну давай, Стас, подпиши! Ну что тебе стоит? Видишь, сколько приличного народу подписалось. Ну, сделай это для меня, для Пети Обнищало!» На этот раз он вполне внятно выговорил свое родовое имя.

Я прогладил бумажку тяжелой кружкой пива. Там и впрямь было немало славных имен. Одна знаменитость после своей подписи приписала: «С оговоркой против тренировки террористов». Я попросил у официантки карандаш и вписал во фразу «заявляем протест против американского вмешательства в дела Никарагуа» всего один предлог и одно прилагательное. Получилось: «против американского и советского». После этого подписал. Чего не сделаешь для старого приятеля. Питер просиял: «Ну, видишь, совсем не больно, правда?»

И правда, было не больно. Больно было через несколько лет узнать о его смерти от СПИДа. Да и сейчас больно смотреть на зияющую запись в телефонной книжке.

Долг

При необычных обстоятельствах довелось мне узнать о кончине еще одного адресата телефонной книжки, моего одноклассника Вовки Долгова. Уже в конце девяностых, то есть вот в нынешнем виде костлявого старика с горьковскими (для тех, кто не знает Ницше) усами, я шел как-то от саратовской пристани в гору. Почти вровень со мной тащился переполненный трамвай. При виде ползущего трамвая, да еще с добавком грозовых туч, надвигающихся из-за Волги, любой российский литератор непременно вспомнит кончину Юрия Андреевича Живаго. Человек, связанный с университетским курсом русской литературы — а мы, конфликтологи, никогда не отставали от этого трамвая, — припомнит тут и комическую старуху, мадмуазель Флёр, которая, направляясь в консульство за визой, случайно оказалась на месте действия. Из всех бесчисленных, порой почти анекдотических совпадений этого романа эта встреча еще живого с уже умершим после десяти лет страшной хроники всегда вызывала у меня экзистенциалистские мурашки.

Вдруг из трамвая выскочил молодой человек в милицеской форме. Решительно направился ко мне. Проверка документов, что ли? Странно, я все-таки мало похож на «пиковых». «Стас Аполлинариевич, неужели это вы?! — радостно вскричал младший лейтенант. — Я вас вчера видел по нашему городскому телевидению, и вдруг вы сами собственной персоной! Позвольте напомнить: Николай Нащокин. Вам это имя что-нибудь говорит? Коля Нащокин, помните, это мой отец, а я, стало быть, Николай Николаевич».

Я вспомнил. В 1989-м, когда я впервые приехал в родной город из эмиграции, местное одуревшее от свободы телевидение устроило мне съемку возле здания, где в 1937-м помещался НКВД и где мучили моих отца и мать. Помнится, режиссер этой программы, татарин, время от времени мне шептал: «Больше трагизма, Стас Аполлинариевич!» Вокруг стояла группа восторженной местной интеллигенции: Стас Ваксина вернулся к родным пенатам! Один из них подошел в перерыве: «Стас, узнаешь меня? Я Коля Нащокин!»

Я, конечно, тут же его «узнал», мы обнялись, но после съемки он стал мне взволнованно и быстро напоминать о прошлых временах, и тогда я его лучше вспомнил. Он был лет на пять-шесть моложе меня, то есть когда наша студенческая компания считалась в городе «золотой молодежью» (в своих затертых до зеркального блеска штанах мы, помнится, называли себя «зеркальной молодежью»), их компания школьников взирала на нас с восхищением.

Мы их не очень-то замечали, в свою очередь восхищаясь группой профессиональных джазистов, обосновавшихся в нашем городе. Это были настоящие иностранцы, русские из Шанхая, осколки знаменитого биг-бэнда Олега Лундстрема, большая часть которого была определена на жительство в Казань.

После окончания университета наша компания распалась, и на ведущее место в городе выдвинулась группа Коли Нащокина. Именно они стали тогда главными фанатами «джаза с саратовским акцентом», зачинателями первых фестивалей и т.д. Естественно, я про все это забыл после стольких десятилетий довольно сумасшедшей жизни и с удивлением увидел, что в Саратове до сих живут теми временами.

Поражала юность этого совсем уже немолодого человека, Коли Нащокина. То ли он разгорелся тогда от воспоминаний,

то ли это вообще было его свойством, только физиономия и особенно глаза сияли, как у подростка. Мы ходили по центру, вокруг театра и в сквере, где огромный, как лошадь Александра Третьего, Ильич перстом указывал почему-то вниз (уникальный в своем роде истукан), словно говоря: «Здесь копайте, товарищи!» Мы делились воспоминаниями, и странным образом все, о чем говорил я, немедленно подхватывалось Колей, словно он был моей тенью в те годы (он, кстати, говорил, что походил тогда на меня и даже однажды был за это бит комсомольской дружиной), тогда как его воспоминания оставались без тени. Впрочем, вру, тень от него не отставала: в течение всей этой чудесной встречи за ним с несколько придурковатым видом тащился долговязый подросток, Колин сын Коля.

Вот он и спрыгнул с трамвая, увидев меня; придурковатости как не бывало. Оказалось, что он вовсе не милиционер, хотя и носит славную форму. Он просто учится в академии милиции на юридическом факультете, собирается стать адвокатом. Что касается отца, друга вашей юности, Стас Аполлинариевич, он сейчас оказался в тяжелой ситуации. У него отказали почки, и в настоящее время он находится в клинике профессора Рахманова. Я как раз иду его навестить и, если позволите, передам ему от вас привет. Вот будет счастлив папа!

Не так уж много правильных поступков совершил в своей жизни вечно чем-то замороченный сочинитель, но тут в голову ему пришла единственно правильная идея. «Послушай, Коля, а что, если я с тобой пойду навестить Колю?» Будущий адвокат в милицмейском мундире посмотрел на меня как бы с недоверием — не шутит ли с ним герой саратовского экрана, а потом сказал, что это было бы замечательно. Потом он добавил, что папа будет очень рад увидеть человека, с которым так много связано. И что-то еще добавил, все в превосходной выдержанной манере.

Мы отправились в район клиник мединститута, куда, помнится, студенты других вузов наведывались поглазеть на медичек, известных своими «внешними данными». Урологическая клиника Рахманова помещалась, как и прежде, в стильном, с колоннами ампир, особняке XIX века. Этот Рахманов, нынешнее светило, в наше время был известен как Гизька Рахманов, чемпион тяжелой атлетики, малый поперек себя шире, о котором шутили, что он ставит рекорды, потому что

ему поднимать ниже, чем другим. И вот из него вырос такой незаменимый специалист, человек полезный для родного города, в отличие от тех, кого судьба и шальная воля носит всю жизнь за тридевять земель.

В стильном здании теперь помещались только лекционный зал и учебные классы, а лечебным палатам был отведен новый корпус — восьмизэтажный урод из серых блоков. На шестом этаже, куда мы попали без всяких проволочек и куцых халатиков, которыми раньше снабжали посетителей, мы вошли в палату на шесть коек, одна из которых была завешана простынями. «Это не папина, — поспешил заверить младший лейтенант. — Папина — вот, у окна».

Мы продвинулись внутрь. Запах тут стоял такой, что казалось: вот он, запах самого худшего! Впрочем, скажу наперед, что и к этому «самому худшему» привыкаешь, а по выходе из палаты удивляешься его отсутствию. Возле окна на простынях вытянувшись лежал изможденный старик с запавшими голубоватыми щеками и багровыми подглазьями. Веки у него были опущены, и ни за что в жизни в нем нельзя было узнать вечного юношу Колю Нащокина-старшего.

«Папа, к тебе гость! — произнес Коля-младший почти торжественным голосом. Веки дрогнули и с трудом стали подниматься. — Посмотри, папа, узнаёшь?» Неузнающие, бесцветные и безучастные глаза минуту или две смотрели на меня, а потом вдруг осветились и цветом, и участью, и весь старик тут сел на кровати, превратившись из старика в сильно похудевшего Колю Нащокина, лидера саратовского свинга.

Вот от него-то, вот именно в той палате я и узнал о смерти моего одноклассника Вовки Долгова. Коля Нащокин знал едва ли не всех ребят из нашего класса, хотя сам был на пять классов младше. Тот наш выпуск, оказывается, был каким-то знаменательным в истории школы, о которой в городе любили говорить «печально известная 21-я». Задрав носы, мы ходили там по коридорам, насвистывая мотивчики из «трофейных фильмов», стуча своими баскетбольными мячами, и не замечали, что мелюзга обмирает, глядя на нас.

С Вовкой Долговым я учился вместе с первого класса. Он был то ли немного удмурт, то ли чуть-чуть башкир — в общем, в отличие от меня стопроцентный русский. Долговязый, вечно стриженный бобриком, сейчас он мне вспоминается как юный янки вроде того же Чарли Дакорда. За ним закрепились

репутация «шебутного». В частности, он любил жевать бумагу. Сидя на «Камчатке», набирал полный рот бумажной массы, а потом кротко звал зануду-отличника с первой парты «Фулус!» и, когда тот оборачивался, вклепывал ему в лоб слюнявый шар из своей ротовой полости. Естественно, такие подвиги сделали его героем всей 21-й и ее окрестностей.

Начиная с 1948-го юношество города стало сходиться с ума от баскетбола, и тут Вовка Долгов опять прогремел, отшлифовав до совершенства «кистевой», как тогда говорили, бросок с угла. В девятнадцать лет он вошел в студенческую сборную города. По тогдашним параметрам Долг со своим ростом в 192 см считался гигантом. Вспоминается звездный час Долга. В город приехала команда из Питера, в которой играли «Два Олега» — Кутузов и Мамонтов, звезды студенческого баскетбола. Вся молодежь, и не в последнюю очередь девочки-медички, сбежалась посмотреть на ребят из северной столицы. Вопрос стоял только так: разнесут ли питерцы наших увальней или будет более-менее почетный проигрыш?

Когда команды вышли на разминку, зал восторженно ахнул. «Два Олега» были в очень коротких трусах и в длинных, почти до колен носках! Станным образом запомнилась (на столько лет!) еще одна деталь: башка Олега Мамонтова была затянута сеткой, чтобы не распадались глянцевиные черные пряди.

Кстати говоря, совсем недавно я мельком увидел «Двух Олегов» на канале петербургского телевидения. Они играли в матче ветеранов. Потяжелевшие, но не очень, седовласые и красивые, они, как во времена нашей глуповатой и восторженной — это под сталинской-то властью! — юности, демонстрировали филигранную технику. Боже, как я вперился в экран: остановитесь, остановитесь, расскажите о себе, но они промелькнули и исчезли.

В тот саратовский вечер ленинградцам не помогла даже филигранная техника Кутузова и Мамонтова. У Вовки Долга прорезалась «корона» — броски с угла. Наши выиграли шесть очков в дополнительное время.

Вовка учился на физтехе университета, а потом, не без помощи баскетбола, перевелся на физтех МГУ. Жил на Ленгорах в сталинском чертоге, где у студентов были тогда отдельные комнаты с душем! Женился он, конечно, на саратовской медичке. Стал работать в каких-то засекреченных «ящиках».

Потом вдруг потерял глаз. Вернее, глаз-то остался, но на нем появилось странное бельмо, и пропало зрение.

Мы встречались редко и всегда случайно. В каких-нибудь стихийно возникавших компаниях вдруг появлялся длинный Боб Долг с неизменным, но быстро седеющим бобриком на башке, начинал травить анекдоты «армянского радио» и жрать «хлебное вино», как он называл водку. В последний раз встретились, когда оба перешагнули — стилем «флоп», то есть с падением на задницу, — шестидесятилетнюю планку. Он жаловался на здоровье. Бобрик стал совсем седым. Второй глаз видел все хуже.

«Ты слышал про Боба Долга, Стас?» — спросил меня со своей убогой койки Коля Нащокин. Я замер. Давно уже пришло то время, когда вопрос «ты слышал про того-то или другого?» стал, если использовать расхожую фигуру речи, «повергать в трепет», а по существу, вызывать уже привычную безысходную тяжесть.

«Он ушел», — сказал Коля. Я кивнул. «Ты знал?» — удивился он. «Нет», — сказал я. «Когда?» — спросил я. «Уже года три, — сказал Коля. — Или четыре». — «От чего он умер, не знаешь?»

Он знал и начал рассказывать с каким-то не вполне естественным оживлением. Оказалось, что Вовка еще в конце пятидесятых подвергся страшному облучению при испытании мегатонной водородки на Новой Земле. Его вылечили и дали засекреченную Государственную премию первой степени. Проявляя своего рода спортивный патриотизм, он остался на прежней работе и в дальнейшем принимал участие во многих менее опасных испытаниях, а также в мероприятиях по очистке местности от радиации. Стал большим секретным специалистом по очистке. Не обошло его стороной и чернобыльское дело, этот венец советского великодержавия. В конце концов его такой великолепный в юности организм пошел вразнос. Вот и все.

Я перекрестился: «Царствие ему небесное!» И Коля перекрестился. И стоящий у отца в изголовье Коля-младший тоже перекрестился. «Он был чистым человеком, этот специалист по очистке», — сказал я. У Коли-старшего увлажнились глаза. «Как он попадал с угла!»

Это наше поколение, то ли думал я, то ли произносил вслух. Когда-то казалось, что оно — со всем этим нашим

спортом, с постсталинским вдохновением и поэтическими лихорадками, со всей этой пресловутой НТР, со всеми этими «физиколириками», «новыми прочтениями», «новым виденьем», с ренессансом культуры и с возвратом к религии, с возрождением серебряного века, с новыми театрами и новыми романами, с йогой и карате, с альпинизмом, с бардовской песней, с обвалом советской стены, словом, со всем этим джазом — никогда не постареет, и уж если вымрет, то каким-то особым, доселе неизвестным образом, может быть, разом, под гитарку, под песенку Булата: «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке».

Сменились, однако, и времена и нравы, поднялась новая волна людей, и «это наше поколение» стало с таким же успехом, как предыдущие, терять людей поодиночке, но все в большем количестве, а наши уменьшительные Юрки, Галки, Лёвки, Ирки теперь обмениваются новостями все в том же духе, но на другую тему: «Ты знаешь, Юрке сделали байпасс». «Ё-моё!», «Ирка проходит химиотерапию», «Ё-моё!»... Ну а Вовка Долгов уже прошел все процедуры и отбыл в секретную «вечную командировку», как когда-то назвал свою повесть Толя Гладилин. Завершается век.

Завершается и наша нечаянная встреча с романтиком Колей Нащокиным. Уже два раза с суровым видом на пороге появлялась дежурная медсестра. Мой младший, с таким опозданием обретенный друг кладет мне на колено свою иссохшую, со следами внутривенных инъекций руку. «Побудь еще немного, Стас». Я глажу его по голове. Хочется сказать: «И ты побудь еще немного, шестиклассник, мой дорогой, побудь немного», но я, конечно, молчу.

Charlemagne

Тот, кого мы называли Шарлеманом, казался вечным. С толстенной палкой он проходил мимо корпусов академического кооператива, добродушной улыбкой давая понять, что не замедлит обрушить эту палку на голову любому негодяю. У него была двухкомнатная на первом этаже. В конце семидесятых гэбэшники стали зашвыривать ему в окна кирпичи с привязанными записками: «Старый жид, убирайся в Израиль!» Он грозил им палкой: «Ужо я вам!», а друзьям говорил, что скоро

положит конец этой вакханалии беззакония. Оказалось, что и впрямь готовил чувствительный удар по красной охранке. Взял да и обменял свою двухкомнатную на первом этаже на однокомнатную на восьмом: ну-с, рыцари революции, дотянитесь сюда кирпичом-с! И хохотал как ребенок. Отсидев в лагерях десять лет, он умудрился сохранить изумительную живость характера. Когда его начали таскать на допросы по поводу «Хроники текущих событий», он всякий раз собирал у себя на кухне друзей и в лицах изображал тупых чекистов.

Плечистый, совершенно лысый и белозубый (даже зубы умудрились выжить, несмотря на то что именно по зубам его учили истинному марксизму), он был похож скорее на командира Котовского из советского боевика, чем на ехидного ревизиониста. Все приезжавшие в Москву западные интеллектуалы старались побывать на знаменитой кухне Шарлемана. И он сам, невзирая на перманентные советские «обострения отношений», постоянно ходил на приемы в посольства и в гости к журналистам и возвращался, набитый запрещенной литературой на всех языках, включая японский.

Он знал пять языков, а его жена Зина еще три — из тех, что он не знал. Таким образом их дом стал настоящим, с точки зрения гбэз, «подрывным центром», то есть связующим звеном между открытым Западом и заколоченным Востоком. Много раз им давали понять, что лимит терпения уже исчерпан и что они должны сделать последний выбор: тюрьма или эмиграция. Карл Иванович тем не менее не собирался в отъезд. Будем сидеть до упора, похохатывал он. Пусть, как Саню, в наручниках вывозят. Наручники, очевидно, тоже были в дефиците, и в конце концов властям все-таки удалось и без оных выпихнуть Залесских за бугор. То-то, наверное, было радости на Лубе: в начале восьмидесятых им казалось, что они наглухо закрыли диссидентство и вот-вот в стране воцарится вождельная энтропия.

Шарлеман с женой поселились в Амстердаме, где немедленно примкнули к европейской левой. Кто думал тогда, что вскоре в России молодых либералов будут называть правыми, а мрачных косных коммуняк — левыми? Карл и Зинаида были, конечно, настоящими леваками анархического толка. Будучи полиглотами, они могли без труда общаться с кем угодно и делали это постоянно, без усталости и с легким сердцем, в отличие от других русских изгнанников, что из-за

незнания языков замыкались в мрачном величии. За это Шарлемана полюбила вся молодая Европа, однако именно в Голландии он стал по-настоящему культовой фигурой. Появляясь на экранах местного телевидения, он на великолепном голландском говорил, что в Советском Союзе произошло предательство революции, чего, конечно, не произойдет в просвещенной Европе.

Европу он любил даже больше, чем революцию. Однажды за «круглым столом» из любви к этому континенту он высказал сомнительную идею. В случае советского вторжения Европе не нужно сопротивляться, сказал он, поворачивая свою лысину словно бакен. Мы не можем пожертвовать накопленными здесь культурными сокровищами ради безнадёжного сопротивления. Пусть советские танкисты придут в Амстердам, что из этого? Как Петр Первый, они вернутся с желанием перестроить свою жизнь на голландский лад. А голландцы как сидели в своих кабачках, так и будут там сидеть, потягивая свое великолепное пиво.

Культурное пораженчество было довольно модной темой в том сезоне, а Карл, как всегда, был чуток на новые веяния. Участники дискуссии переглянулись: вот это настоящая парадоксальная голова, вот это Достоевский! Тут один из русских участников, мрачный молчун, задал Шарлеману вопрос: «Карл, ты, кажется, забыл про вывеску «пива нет?»» Русские захохотали — громче всех, конечно, сам Карл. Остальные не поняли шутки, потому что переводчик ее не понял (как это может быть, что пива нет?), и она осталась непереуведенной.

Карлу и Зинаиде аплодировали на улицах. Молодожены подходили к ним, чтобы сфотографироваться с русским мыслителем. Все шестнадцать миллионов голландцев плюс шесть миллионов фламандцев восхищались его изящной, с нюансами, голландской речью. Политические деятели тоже старались пролезть на одну с ним фотку. Однажды при мне мэр Роттердама на вокзале вырвал у него чемодан и сам донес его до нашего вагона. Он постоянно получал большие гранты и жил безбедно.

Кстати, об этом поезде. Там не обошлось без забавной истории. Ох уж эти «забавные истории»! В пространстве между рождением и смертью происходит немало забавных историй. Смех — одна из самых серьезных загадок бытия. Что это мы так часто комикуюм, если знаем, что суждено истлеть?

Короче говоря, мы ехали на скором поезде в Париж. Оставив Зинаиду в купе за чтением тома Жака Даррида *De la grammatologie*, мы с Карлом пошли в вагон-ресторан. Там все голландцы, на минуту оставив свое пиво, поаплодировали великолепному Шарлеману, которого считали своим культурным достоянием, не подлежащим сожжению в костре атомной войны. Карлуша Иванович скромно поклонился, и мы уселись.

«Ты только подумай, Стас, что твои американцы опять натворили! Послали бомбардировщики на Ливию! Пишут, что бомба упала прямо на спальню Каддафи!» — сказал он мне, употребив гораздо больше восклицательных знаков, чем я тут указываю. «Жаль, что гад в этот момент в сортир отошел», — брякнул я. «Что ты говоришь?! — заорал на меня Шарлеман. — Ты говоришь, как фашист!» — «Наоборот, я одобряю атаку на фашиста. Как еще прикажешь бороться с тиранами и убийцами?»

Он вскочил, как бы вызывая меня на дуэль, и я вскочил, как бы принимая вызов. Все голландцы в ресторане привстали, грозно нахмурившись. «Вот до чего вы довели население своим пораженчеством, мэтр, — сказал я. — Ради вас они меня сейчас растерзают». Он осмотрелся и сделал произвольное движение ладонями, как бы умирняя стихию: спокойно, мой добрый народ! После этого понял весь комизм ситуации и расхохотался. Голландцы воссияли. Эти русские, подумали они, вечно разыгрывают что-то из своего Пушкина.

Дом Залесских на канале Гемееншаппелийке Лот был пристанищем инфантильного народа разных возрастов и национальностей. На кухне постоянно открывали бутылки дешевого вина и разогревали индонезийскую шамовку. Народ то собирался вокруг вечного дубового стола с зазубринами, то расползался по комнатам, подвалам и чуланам. Там вечно кто-нибудь наигрывал на гитаре, танцевал, мелодекламирал, швырял философскую перчатку, собирал какие-то комитеты, писал коллективки протеста, устраивал сцены личной жизни, и среди всего этого бардака двигался наш Шарлеман — то поднимался с тостом, то подчеркивал цитаты для будущих деклараций, беспрерывно интервьюировался по телефону или под видеокамеру, громко пердел, переводил со всех языков, поддерживал разноязыкую болтовню гостей и постояльцев. В этом гвалте всегда тихонечко постукивала пишмашинка — это

супружница Зинаида скромно трудилась над своими недюжинными опусами по семиотике.

Вдруг однажды произошло нечто громоподобное: Шарлеману исполнилось девяносто пять лет. Все были потрясены, никому и в голову не приходило, что он достиг такого чудовищного возраста. Никто вообще никогда не задавался вопросом, сколько ему лет, просто все знали, что за шестьдесят. Помню, что и меня потрясла эта новость. А ведь можно было и не потрясаться, ведь не раз он говорил, что играл на бильярде с Маяковским и дискутировал марксизм с Рудзутаком.

Я позвонил ему из Вирджинии. «Карл, тебе действительно что-то исполнилось?» — «Да ну их к дьяволу! — отвечал он. — Все так потрясены, как будто я с того света явился. Ну и что, что девяносто пять? Ну что в этом такого ошеломляющего? Я никогда не скрывал своих лет, просто никто не спрашивал. — Голос его задрожал. — Не надо было говорить, теперь начнут из меня делать Мафусаила, а то еще пуще, дементного старца!» Что-то детское послышалось в его голосе: ой, ба-тюшки, проболтался!

Ситуация усугубилась еще и тем, что его жене, тоже как бы безвозрастной Зинаиде, оказалось всего сорок три, то есть она была на пятьдесят два года моложе Карла Ивановича. Вообще-то все могло повернуться в нашу пользу, мог возникнуть новый образ патриарха, «отца мыслящей Европы», однако с самого начала все пошло наперекосяк. Мещанское зубоскальство стало вытеснять серьезную или даже суровую тему «старше века». Над каждым высказыванием Шарлемана повис смехок: ну что вы хотите, ведь это все равно как если бы Карл Каутский что-то сейчас сказал.

Эх, Шарлеман, пока ты не выдавал своего числа, ты и сам в него не верил. Зря ты соблазнился юбилеем, новыми почестями, шумихой, новой пассией из числа не сильно вымытых студенток, с которыми обычно встречался «среди шумного бала» в гардеробной, за тощими платяницами жены.

Он ушел в отставку из всех своих университетов, мыслительных центров и академий. Оставил Зинаиду и переехал почему-то на Фаррерские острова. Кое-где его имя еще мелькало, журналисты задавались вопросом, не готовит ли Шарлеман новый имидж, вещающий с Севера, однако вопрошали все реже и реже, а потом и вообще позабыли о нем, похоронили за ворохами ежедневной мировой неразберихи. А этот, тот, что

старше века — Карл Залесский, — кажется, умер? Ну что вы хотите, от жизни умирают, от такой долгой тем более. В его случае можно сказать, что он был раздавлен не самой жизнью, а ее цифрой.

Оттуда, с Фаррерских островов, загудел неумолчный холодный ветер дыры. Пустота, несколько нот Грига, а потом расползающаяся тоска: нашего героического инфанта, нашего Шарлемана не стало.

Нужно ли дальше перелистывать старую телефонную книжку? Напиши об ушедших горсть слов или энциклопедию слов, не вернешь ни секунды, не обессмертишь на йоту. Впрочем, может быть, это и не совсем так, иначе люди не создавали бы хроник, не сочиняли б романов. Чудо явления в жизнь и чудо ухода, как говорится, непостижимы. Назвав это чудом, ты ничего не скажешь. Ты можешь «хотя б отчасти» написать «восемь строк о свойствах страсти», а скорей всего, и этого не можешь. Как умудряются люди столь живо жить свои жалкие отрезки времени, перед тем как провалиться в непостижимое тартарары?

Маша

Лет десять назад я как-то переходил бульвар Монпарнас, вернее, стоял у светофора и ждал зеленого сигнала. Был один из тех нередких парижских дней, когда понимаешь, почему городище названо Cité de Lumière. Не то чтобы солнца было вволю — наоборот, серо-синие облака толпились в небе, однако все вокруг было по-парижски отчетливо. Был март, кажется. Или октябрь. Дул ветер, было сухо, прохладно. В литературе доминировала сдержанность, в кино — разбой.

Тут кто-то окликнул меня на старый манер: «Стаська!» Кто это может так меня звать среди почтенной толпы? Боги Левого берега Сены, с другой стороны бульвара машет Маша! Балашевич, для точности, Маша Балашевич. Совершенно не изменилась с последней, столь же случайной встречи. Так я думаю всегда, когда я ее вижу, так что, следуя софистской логике, можно сказать, что она совсем не изменилась с нашей первой встречи.

Это было, почитай, четверть века тому назад, фью! Восемнадцатилетняя Балашевич славилась своими ножками. Они

не были похожи на ходули, что двигают по помостам красавиц нынешней волны. Она обладала парой веселых, очень подвижных нижних конечностей, пропорциональных всему ее телесному составу. К тому же она была юной поэтессой, дерзновенной искательницей новых рифм. Не задерживаясь, она могла срифмовать, скажем, «маску» и «Машу», «прииск» и «поиск».

Кто-то из наших знаменитостей привел ее на ужин конгресса Европейской ассоциации писателей в Ленинграде. Она тут же зарифмовала: «ужин — ужас». Если бы гбэ снимала это событие скрытой камерой, то есть в том смысле, что если бы у них эта камера не сломалась, в архиве остался бы Машин скромнейший и сиятельнейший проход под алчными взглядами Сартра, Роб-Грийе, Моравиа, Гойтисоло, Голдинга, Осборна, Андрича, а также нахального Сефа Браугермауера, завязатого космополита, или, как сейчас бы сказали, «члена мировой тусовки».

Вот именно этот Сеф (по правописанию Seth, а по произношению черт знает как) и переломал всю судьбу нашей Маши. Через несколько дней после того ужина при стечении западных корреспондентов они подали заявление в московском загсе. Началась одна из омерзительных историй советского периода. Совдеп отказался отдавать нашу девушку в чужие руки. Кстати сказать, это был единственный случай, когда московские донжуаны оказались солидарны с ЦК КПСС. Вдобавок ко всему рабовладельческому укладу общества, эта Маша оказалась дочерью засекреченного ученого из Арзамаса-16, значит, могла вместо приданого увезти на Запад какую-нибудь нашу священную тайну.

Влюбленные не сдавались, делали заявления для прессы и держали голодовки. Браугермауера выслали из СССР, несмотря на вдохновенные послания Луи Арагона и Пабло Неруды, глубоко убежденных, что воссоединение любящих сердец не принесет ничего, кроме пользы, отчизне трудящихся в ее борьбе за мир во всем мире. Вражеские «рупора» охотно трубили об этом неказистом деле по всем медвежьим углам Советского Союза, куда не доставал рев глушилок.

Отца Маши за непринципиальную позицию по этому вопросу лишили допуска и исключили из АН. В конечном счете это помогло ему стать видным диссидентом, а после высылки профессором MIT. Тянулась эта бодяга не меньше

года, пока Никита не вляпался в кремлевский переворот. Начался короткий период второй, не очень замеченной политологами «оттепели». Новые владыки, желая произвести хорошее впечатление, отпустили Машу на волю. Браугермауер под эту шумиху нахватал немало авансов в Европе и США, разогнал многочисленных поклонниц своей львиной гривы и приехал за нашей девушкой с контейнером нарядов, нужных для съемок.

Они отбыли. И сразу пропали из советского поля зрения. «Рупора» перестали о них трубить, а московских «корров» (ставьте ударение сами, господа, иначе сами знаете, что получится) они больше не интересовали. Позднее я узнал, как прошли Машины первые годы в «свободном мире». Сначала все воспринималось словно первые глотки какого-нибудь классного шампанского. Сеф таскал Машу по столицам и курортам, знакомил с множеством rich&famous¹.

Ее принимали с восторгом: по-настоящему атомная девочка вырвалась из реакционного, полностью утратившего свою волнующую революционность Советского Союза!

Потом они осели в Париже. Выяснилось, что перед тем, как расписаться в Москве, месье Браугермауер забыл развестись в Лос-Анджелесе. Маша была поражена сложностью процедуры, которую она называла на советский манер «эта волокита». Сладкая жизнь тем временам продолжалась. Уже набирала силу мировая сексуальная революция, и передовая интеллигенция, устав дожидаться социальной революции, с энтузиазмом устремилась к новым рубежам. Похоже на то, что поднаторевший и даже окончательно в таких делах поиздержавшийся к своим сорока годам Сеф приобщил девочку к групповым оргиям. С мистическим оттенком, разумеется. Не просто так — с медитациями. Ну и с некоторыми субстанциями — как же без них. По всей вероятности, именно тогда Маша и заторчала сначала на травке, потом на «сахарке», а потом и на чем-то покруче.

В конце шестидесятых, как раз между «майской революцией» в Париже и вторжением в Прагу, мне удалось поехать в Лондон по приглашению Британского Совета. Надо сказать, что ни тогда, ни позже я не видел в Лондоне его пресловутых туманов. Всякий раз было солнечно, ветрено, волшебнo, то

¹ Богатых и знаменитых (англ.).

есть иносказательно. Так и в тот вечер — верхние этажи старых шикарных домов еще отражали закат — я шел в толпе по Пикадилли и пытался сказать обо всем этом или хотя бы подумать обо все этом иначе. Это не город, думал я, это воплотившийся карнавал. Нет никаких англичан — это мифы из «Сна в летнюю ночь» под музыку Бриттена. Вот сейчас из толпы кто-то на меня кинется, милый, знакомый, неотразимый! Нынешний вечер не может не завершиться полным иносказанием. Из толпы, словно из кусочков калейдоскопа, выкристаллизовывается и налетает на меня — Стаська! Стаська! — потрясающая Маша.

Она потащила меня к своей подруге, а там оказался девичник, компания русских красоток, выскочивших замуж за англичан, французов и западных немцев. Первые удачливые беженцы из-за ж.з. Маше тогда было двадцать три, каждый взгляд ее и каждый жест отличались неотразимостью. В некотором роде это был прототип еще не родившейся Наташи-Какаши. Ее в то время мучила московская ностальгия, вот почему весь вечер она меня гипнотизировала. Этой же причиной можно объяснить и обильный мат в ее устах. А где Сеф, Маша? А пошел бы он на х..! Неужто развелись? Расплевались в ж..! Стас, да неужели тебе сегодня хочется говорить об этих е... делишках? Поговорим о Хлебникове!

Оказалось, что она задалась целью донести непереводаемого Хлебникова до англичан и разных прочих шведов. Господи, что это была за девчонка! Она летала по всем комнатам той квартиры на Карнаби-стрит и таскала меня за собой. Квартира, надо сказать, была уникальной, пятиэтажной, по одной крохотной комнатке на каждом этаже. На пятом, под огнями какой-то уличной вывески, мы с Машей начали целоваться.

У меня, как и у всех советских командировочных, было мало денег, да и вообще я еще был неловок на Западе. В ту ночь она все взяла в свои руки: вызвала кеб, расплачивалась за шампанское, дала ночному портье в моей гостинице купюру стерлингов. Я был ошеломлен внезапно нахлынувшим счастьем. Уезжая из Лондона, я был уверен, что через месяц увижу Машу в Париже: там авангардный театрик ставил мою пьесу и меня собирались отпустить на премьеру. Быть может, если бы мы с ней встретились тогда, то, может быть, не расстались.

Все получилось не так, как задумывалось, — вернее, никак не получилось. Началось вторжение в Чехословакию, и меня вообще никуда не пустили. Наступило другое, как тогда вся советская сволочь говорила, «серьезное время». Я попал в глухую опалу и увидел Машу только через семь лет, когда разыгрался «детант».

Я шел по улице Мазарини в Латинском квартале, когда заметил изящную дамочку в коротком меховом жакете. Она продвигалась неторопливо и постоянно останавливалась, как будто что-то искала в витринах. Маша! Это она, о которой почти забыл. К тому времени переписка наша (не по почте, конечно, а с оказиями) давно уже заглохла. В принципе, она заглохла уже тогда, когда мы перешли в письмах на шуточный лад. В первых письмах было не до стиля и не до юмора, они были сплошь составлены из примитивных восклицаний: как я скучаю! как я люблю! как я вспоминаю! не могу без тебя! Потом появилась грустная улыбочка: «Как вы живете без меня в свободном вашем мире?» Потом все больше стало иронии, и в конце концов наше чувство заглохло или оглохло от постоянного юмора. Не знаю уж, что нас всех заставляло постоянно шутить в те годы.

Вот и тогда на рю Мазарини я подошел к ней сзади и громко пошутил по-русски: «Проверка документов!» Эта глупость нанесла страшный удар по ее нервной системе. Мгновенная конвульсия прошла от ушаночки до сапог. С искаженным лицом она повернулась к какому-то страшному отечественному проверяющему (и это после тринадцати лет на Западе!) и узнала Стаса Ваксина. «Идиот!» — вскричала она и только после этого бросилась мне на шею.

Мы зашли в кафе возле метро «Дантон» и долго там заказывали напитки, прежде чем пойти к ней. Это была совсем другая Маша. Ей уже исполнилось тридцать. Она выпустила первый том своих переводов Хлебникова. Преподает руслит в École Orientale. Дергается от неожиданных звуков. Шампанское на нее не действует. Год назад у нее родилась дочь. Кто отец? Увы, не ты. Записана, во всяком случае, на Браугермауера. Сеф стал чудовищем мегаломании, ни о ком, кроме себя, не может говорить. Нет, она не с ним. С кем? Да так. Грустное нежное свидание после семилетней разлуки.

Оказавшись в эмиграции, я иногда ее встречал, всякий раз случайно, главным образом на разных университетских

конференциях. В наших отношениях появилась какая-то сентиментальная пошловатость, мы как бы показывали друг другу — к сожалению, и окружающим, — что нам «есть что вспомнить». Заканчивалось это все-таки каким-то порывом, то ли искренним, то ли искусственным, она убегала от всех ко мне, то ли чтобы вспомнить о любви, о той лондонской одноночной «киносказательности», то ли для того, чтобы и дальше так волочиться с тем же «есть что вспомнить».

И вот в тот день не так давно, лет десять, а может быть, и двенадцать тому назад, при переходе через бульвар Монпарнас я снова натолкнулся на Машу. Ей было тогда, по мгновенному подсчету, сорок три года, но она сияла своей прежней неотразимостью, легкостью, едва ли не счастьем. Софистская логика победила: она была так же хороша, как четверть века назад!

Она меня затормозила. Стаська! Стаська! Как ты хорош! Что ты, Маша, ведь я уже вступил в *le troisième âge*¹.

Ах, чепуха, ты элегантен, как Максим Горький, со своими ницшеанскими усами! Нет, ты лучше, чем Максим Горький, много лучше! У тебя нет его плебейских скул, у тебя патрицианский подбородок! Маша, Маша, ты раньше не вспоминала о Горьком, почему ты сейчас о нем говоришь? Как почему? Ведь это он сказал, что «человек рожден для счастья, как птица для полета», или не он, но все равно он был прав, прав, иначе я бы тебя не встретила!

Как и прежде в Париже, мы сразу завалились в кафе, на этот раз в «Ротонду». Она все хохотала, рассказывала курьезы московской перестройки, о которой все говорили в Париже, и вдруг замолчала. Я в этот момент смотрел через стеклянную стенку, как переходит улицу какой-то клошар: пройдет пять метров и бежит назад, снова пускается в опасный путь и снова отступает на исходные позиции, достигает наконец желанного берега и плюхается на задницу в изнеможении. Тут я услышал, что она молчит, и повернулся к ней. Что-то катастрофическое произошло с ней за эту минуту. Она посерела, и кожа на ее лице отвисла так, словно прошел уже еще один десяток горьковских птичьих лет. Она сжимала в руках пепельницу, как будто только в этой пепельнице было ее спасение. Капелька желтой слюны висела в углу перекосившегося рта. Маша! Что

¹ Третий возраст, т.е. пожилой (*фр.*).

с тобой? Она тяжело встала и переваливаясь пошла к туалету. Тут же повернула обратно, в ужасе что-то ища, боясь, что не найдет, задыхаясь. Нашла — это была ее сумка — и пролилась пото́м. Передохнула и снова, с завалами и заносом к стене, пошла в туалет.

Вернулась она минут через десять, снова сияющая сорокалетняя девчонка, в которой секса было, может быть, больше, чем на заре ее революции. Стала что-то врать про мочевой пузырь, шалила, как нимфа, даже рифмовала по-старому: «гарсон—барсук» и т.д.

Я понял, что дело совсем плохо. В моем возрасте уже не обманешь такими возвращающими счастье прогулками в туалет. Я посмотрел на часы и засек время. Эйфория продолжалась два часа.

Сказать ей, что я догадался? Попытаться что-то переломить? Я мучился все оставшееся время встречи: она меня пошлет на х, нашелся проповедник, целитель, ты мне никто, просто «ё», больше ничего? Все-таки через час после ее очередного уединения, уже у нее дома, я сказал: «Маша, родная, может быть, попробовать, сейчас есть новые методики...» Неосторожная фраза оборвала эйфорию до срока. Она посерела, странным образом надулась и отвисла ее нижняя губа. «Проваливай на «х»!» — взревела она, протаскилась по спальне и распахнула дверь. «Больше никогда! Не появляйся! Знать не хочу!» В глубине квартиры возник и встал возле притолоки седовласый Сеф Браугермауер в длинном бордовом халате. Я ушел.

Примерно через месяц я узнал, чем все это завершилось. Они все попали в автокатастрофу: она, Сеф, какой-то их друг и их пятнадцатилетняя дочь Ву. Не знаю, кто был за рулем. В живых осталась только Маша, но ненадолго. Через несколько дней после трагедии прислуга нашла в спальне ее бездыханное тело. Полиция в таких случаях коротко резюмирует: OD¹. В детали стараются не вдаваться. Если вникать в дела всех наркоманов, господа, мы не сможем заниматься ничем другим.

Вот так с уходом Маши Балашевич в моей телефонной книжке образовалась еще одна дыра в ничто. Иной раз думают, что ничто — это что-то, ну, скажем, черный космос с его чудовищными миллионами световых лет. В опровержении

¹ От англ. overdose — наркотическое отравление.

этой визуальной картины есть и отчаяние, и некоторое странное умиротворение. С одной стороны, пропадают наши как бы вечные маячки, звезды, однако, с другой стороны, пропадают и страшные расстояния.

Зачем мне попалась на глаза эта старая телефонная книжка? Только лишь для того, чтобы начать мартиролог? Зачеркни телефоны Чарли Дакорда, Бенни Дарданелла, Борьки Брика, Карло Кавальканти, Гельмута Берга, Питера Обничалли, Володи Долгова, Шарлемана Залесского, Машеньки Балашевич... А лучше заклей эти дыры стикерами, все равно туда не пройдешь, пока твой час не настанет. Остается только щемящая жалость или щемящая нежность к этим людям из твоей жизни, промелькнувшим, как туманные образы на задворках романа. Быть может, когда-нибудь еще и встретимся в тех «черных дырах», ведь есть же гипотеза, что время там идет вспять. Быть может, при повторе ты сможешь внимательнее присмотреться к каждому дню, к каждому лицу, к каждой любви, к каждому негодованию? Наивный человек, ты не понимаешь, что вместе с временем ты и сам полетишь вспять без всякого торможения? Поверхность вселенского стекла отличается идеальной сухостью, там не задержится ни одна песчинка.

Так или иначе, закрой телефонную книжку и засунь ее подальше. Ничего не зачеркивай и не заклеивай. Пусть хоть она останется, если не останутся ни дневники, ни эпистолы, одни только интернетовские deleted messages. Или архивы охранки, если за тобой велась слежка. Писательские мемуары — это еще большее вранье, чем роман. В романе автор хотя бы приглашает читателя врать вместе, в мемуаре под видом правды происходит насилие. Не врет, пожалуй, только фотография — этот метафизический архив нынешнего рода людского.

Итак, *fin de siècle*¹.

За плечами осталась гигантская неразбериха, а следующая уже начинает крутить без всякой остановки. Все население приглашается принять участие в вернисаже «Геном человека». К чему мы движемся: к «над-человеку» или к «сверхчеловеку», к «под-человеку» или к «пара-человеку», а может быть, все-таки к «метачеловеку», способному и уходить, и возвращаться?

¹ Конец века (*фр.*).

Онегин

Пропал мой кот Онегин, и я не нахожу себе места. Его нет уже три дня. Раньше он не пропадал больше чем на сутки. Что с ним, где он? Дружественный ранее лес надвинулся враждебной ордой. Неужели мой мальчик где-нибудь там, в этой паутине колючек, лежит, не в силах добраться до папы? Изнемогает от болезни. Ему уже пятнадцать лет, то есть, если считать по обычной схеме, восемьдесят пять наших. Жестоко, что возрастные параметры наших животных не совпадают с нашими.

Он, кажется, был в порядке. Аппетит, как всегда, на высоте. Запрыгнуть с пола на стол, чтобы поинтересоваться содержимым тарелки, ему по-прежнему ничего не стоило. В больницу не просился, а ведь раньше, если у него что-нибудь болело, он очень понятно просился в больницу: сблевывал еду, ложился на бок и стонал, громким мявом возмущался, почему тянут, почему не везут к доктору Бенаресу, а едва я вытаскивал необходимую для поездки в клинику клетку, тут же в нее забирался и успокаивался.

Ничего этого не было в последнее время. Кот вел себя как будто нормально, если не считать того, что он прекратил свои одинокие прогулки. Кажется, он как раз старался все время быть у меня на глазах или, может быть, старался побольше держать меня в своих глазах. При желании можно было подумать, что он с грустью старается меня запомнить. Может быть, он чувствует, думал я, что со старым папой может случиться что-то окончательное? Я уже собирался на всякий случай позвонить Дельфину и ближайшей из сестер О, миссис Адмирал Лихи, и намекнуть, чтобы они в случае чего не забыли позаботиться о нем. Кто-то все-таки всегда находился, когда я уезжал на очередные Кукушкины острова. И в это время он пропал. Неужели он умирает в этом проклятом лесу, верный кошачьей традиции — уйти, чтобы не мучить близких своей агонией?

Я расклеил по столбам в Лэджю-Хилл объявления о его пропаже. Соседские дети организовали отряд *Onegin Rescue*. Они прочесывали лес, и все без толку, хотя лес, словно пристыженный в своем осеннем расцвете, сдувал листья и иглы, будто хотел помочь найти кота.

Большущий мой дом на грани романа оказался отчаянно пуст. Впору было возвращаться к временам активного алкоголизма. Сколько уже набралось потерь в этой жизни: бабушки,

дедушки, родители, жена Кимберли, друзья из когорт шестидесятых, мимолетные любовницы, привносившие в жизнь такое интенсивное очарование, любимые джазисты...

Недавно на острове Родос я поймал по приемнику одну из волн моей юности — «Радио Анкара». Шел ночной концерт оркестра Джима Крупы. Чтобы послушать хороший джаз сейчас, нужно забраться в Малую Азию. Сколько свинга было в импровизациях знаменитых солистов, а ведь самих их давно уже не было в мире акустики. После каждой пьесы зал взрывался неистовым восторгом, а ведь от этой аудитории в «мире акустики» осталась лишь горсть стариков, которым не спится по ночам.

И все-таки ни одну из этих потерь я не переживал с такой почти невыносимой тоской, как потерю моего кота. Вспоминаются строки Гумилева: «...Косматая рыжая рядом несется моя собака, которая мне милее даже родного брата...» Вспоминается Бердяев, который сказал, что не представляет себе рая без своего кота Мура.

Я всегда чувствовал, что Онегин знает обо мне все. Даже то, что я впопыхах забываю. Мелочи имеют для него первостатейное значение. Иногда кажется, что он спит, глаза у него закрыты, а уши между тем пошевеливаются. Он мониторит все течение домашней рутины и малейшие ее изменения: ведь это его большой и значительный мир.

Крошечным котенком он ночами бродил по моей кровати и по мне, бродил и жужжал, иногда удаляясь к пяткам, иногда приближаясь к самому уху. Сквозь сон мне казалось, что в доме завелся комар. Потом начался период неистовых шалостей. Он сбрасывал со стола сигареты, зажигалки, даже книги и вызывающе смотрел на меня, как бы призывая: ну поймай меня! ну накажи! подвесь, что ли! я не возражаю!

Неужели этот типчик теперь возглавит мой перечень потерь? Нет, не могу об этом думать! Буду думать о других потерях. Среди них, между прочим, Родина. То ли она меня вышибла своим сапогом, то ли я сам от нее оттолкнулся. Так или иначе, меня там теперь даже родственники не считают своим. Я сохранил свой язык, нескончаемый гул российский, но утратил родство. Немалая утрата, ей-ей, но кот мой Онегин дороже мне, чем Родина.

Чтобы забыть о нем хоть на время, влезаю в файлы романа. Кончая роман, надо его кончать, сколько можно тянуть.

Все персонажи уже расплозились. Даже Вавка больше не возникает из своего новоанглийского мамчалинского далека. О Славке уж и говорить нечего. Наднациональный генсек и деловой организатор всемирной кампании по «воссозданию воздуха»; его я вижу теперь только в сводках новостей. Никогда не думал, что такая эволюция произойдет с моим юным протестантом, впоследствии полубандитом и шальным миллиардером. Таковы незаконные законы романа: прототипы, становясь протагонистами, все-таки остаются прототипами и гнут свое. Горелики, являя миру лик горя, продолжают гореть и карабкаться в гору.

Наташа-Какаша однажды мелькнула при довольно странных обстоятельствах. Я все еще продолжал следить за баскетбольными боями, несмотря на крутой упадок настроения. В тот вечер началась финальная серия НБА, снова сшиблись друг с другом «Колдуны» и «Слоны». За две с половиной минуты до конца основного времени, когда «Слоны» вели одно очко, «Колдуны» сделали замену и на площадку вышел — кто бы мог представить? — все тот же неловкий ипохондрик, профессор Эйб Шумейкер, недавно вышедший в отставку из ЦИРКСа при университете Пинкертон. Он был в хорошей турнирной форме, в том смысле, что руки и ноги у него дрожали, а вместе с ними дрожали и ивинки: очки в железной оправе на шнурке и кипа на макушке. Двадцатитысячный стадион взревел от восторга. *Shoom is back!*¹

Кто из любителей баскетбола мог забыть его феноменальный аттракцион в сезоне девяносто третьего года? Долго не раздумывая, он послал мяч в кольцо от центрального круга. Исход матча был решен. До финальной сирены Эйб, дрожа всеми членами, забросил «Слонам» еще три трехочковых, на которые те смогли жестокими усилиями с выворотом конечностей, растяжением связок и размножением иосов ответить только двумя очками.

Интересно отметить, что, если раньше он забрасывал мячи с довольно индифферентной физиономией, сейчас она, физиономия, всякий раз вспыхивала выражением безумного триумфа, словно прямо в глаз ему подавал луч его Микроскопический, и он поворачивался к центру трибун, как будто приветствуя принцессу или даму сердца. В один такой момент ка-

¹ Шум вернулся! (англ.)

кой-то находчивый оператор пропанорамировал его салют, и на экране оказалась не кто иная, как Нэтали Горелик, «Женщина Двух Столетий». С ней рядом в отдельной ложе сидела принцесса Аврун Нурварунавурансонг. Красавицы хихикали и грызли попкорн. За их спинами ждал внимания слуга с бутылкой шампанского.

Эта Какаша! То она во главе воинствующих энвайронменталистов с рюкзаком за плечами и в драных тапках идет на штурм Всемирного банка, то она проводит время с особами голубой крови, пока в ее честь забрасываются невероятные мячи. Эта женщина представляет собой магнит особой силы: к ней плывут миллиарды, ради нее университетские доходы становятся чемпионами баскетбола, а старые сочинители никак не могут забыть ее проказ. Оператор укрупнил кадр. Наташа обратилась ко мне всем своим лицом, глазами и губами: привет, Стас! Искорка мелькнула у нее из-под правого уха.

Я хожу по пустому дому и в каждом углу натываюсь на следы исчезнувших прототипов-протагонистов. Вот пробковая доска с припиленными к ней «укоризнами» в духе китайских дацзыбао. Эту моду здесь одно время ввела Вавка. «Классик опять ни черта не писал, поехал на своем баскетболе! Укоризна 1-й степени!» «Мирка, ты слишком умная! Я вчера не спала, все думала о твоих провокациях за ужином. Укоризна 2-й степени!» «Галка, где мои тренировочные штаны? Укоризна 3-й степени!» «Сестры, вы совсем зарапортовались, холодильник пуст! 3-я укоризна 1-й степени! Следующая — расстрел!»

Вдруг вижу — на стене висит Славкина рапира. Во время своего бегства он посещал Вирджинскую академию фехтовального искусства, где президентом и хозяином был мой студент Тед Рыжик, чемпион Белоруссии и вторая рапира Европы.

От прежних дней «российского нашествия» осталось множество фотографий и плакатов периода перестройки. «Шестую поправку — на пятую помойку!» и т.д.

И никого нет, ни души, ни единой мухи! И телефон не звонит, и не мигает автоответчик. Я перехожу на лесную сторону и смотрю в окно. Даже роббины и финчи почему-то перестали посещать мой сад. Не догадываешься почему? Ты еще ни разу не подсыпал им корму. Хотя бы «Пушкин в возрасте Державина» еще здесь? Перехожу к другому окну и вижу, что «ПввД» еще стоит в прежней позе со всеми своими причиндалами. Флигель закрыт, в саду запустение, но злополучная

скульптура не убавила ни в весе, ни в скандальности. А у ног этого акта демифологизации, как ему и полагается, сидит мой кот Онегин. Боже! Он жив! Сидит как ни в чем не бывало! Сынуля мой, ты вернулся! Левый глаз кота, когда-то задетый когтем соперника, слегка косит, но правый смотрит на меня с обычным умом и юмором. Он отощал немного за время скитаний, но я его сейчас откормлю, он быстро войдет в норму! Немедленно едем вместе в деликатесную за вырезкой!

Я качусь вниз и выбегаю в сад, забыв свои артриты. Кот выгибает спину, хвост трубой. «Где ты был столько дней, прохвост!» — кричу я и подвешиваю его над собой за шиворот. Он свисает, жмурит глаза, заводит свою песню о наслаждении подвешенного кота. Потом я сажаю его себе на плечи, и он на них с комфортом устраивается. Я хожу по дому веселый — может быть, все еще вернется, хотя бы на некоторое время? — заглядываю в зеркала. Онегин с надменной мордой демонстрирует свое умение ездить на папе.

К вечеру я мою его в ванне, в пузырях шампуня, журю за слишком долгое шлянье, сушу феном. Кот становится пушистым, благодетным, располагается с комфортом на нашей кровати. Пока я читаю *New York Review of Books*, он лежит под лампой, жмурится на меня, поет «песню очага». Потом, когда свет гаснет, он дербается мне в ноги, вытягивается там, кладет подбородок мне на правое колено — знает, где болит. Хвост еще некоторое время колыхается над ложем, словно султан конногвардейца, потом опадает. Все заснули: хвосты-усы, руки-ноги, башки-желудки.

Около шести часов утра я, как обычно, открываю глаза и вижу, что Онегин сидит на углу кровати и смотрит в шелку шторы. Интересно, что сквозь него просвечивает стоящий на полке оксфордский словарь. Тогда я понимаю, что это не кот. Это мой Прозрачный, чтобы утешить меня, принял форму и суть кота. Что его побудило к этому? Неужели такая человеческая слабость, как сочувствие? Или он просто привык ко мне, привыкшему к своему коту?





ЧАСТЬ ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Ах, Артур Шопенгауэр!

пьеса в двух актах

Действующие лица:

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ ГОРЕ-
ЛИК, 100 лет

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА ГО-
РЕЛИК (урожденная Светлякова), т.и.к.
«Какаша», 93 года

ВТОРОЙ
ВТОРАЯ
ДОМ

В пьесе также участвуют бессловесные фантомы Петуха и Попугая.

Действие происходит во второй половине ХХІ века в излюбленном месте пенсионеров Европы, на острове Кипр, в окрестностях города Лимассол.

АКТ ПЕРВЫЙ

На сцене обширная веранда приморской виллы. Стеклопанная стена, выходящая к морю, раздвинута, что позволяет бризу вздуть легкие ткани и шелестеть ветвями комнатных растений. За порогом — терраса с зонтами, за ними обычный курортный пейзаж: пальмы и море с парусами. Море, очевидно, подступает близко к дому: слышен шум прибоя. В левом верхнем углу ослепительно голубого задника неподвижно висит некое овальное небесное тело, которое можно было бы назвать Неопознанным Летающим Объектом, если бы к тому времени НЛО не были уже опознаны.

Присмотревшись к сцене, мы понимаем, что перед нами нечто вроде гимнастического зала вместе с домашней амбулаторией. Непонятные нашему глазу приборы расположены вдоль стен или спускаются на гибких шнурах с потолка. В интерьер, впрочем, вписаны вполне привычный бар, кресла, диваны, книжные полки, большой стол — все в традиционном конструктивистском стиле.

Раннее утро. Побережье еще находится в тени холма Аматус, но в небе уже распространяется свечение еще одного безоблачного дня.

Слышится дружеский, с юмором, мужской голос: «Слава, вставай!» Поет: «Старый барабанщик, старый барабанщик, старый барабанщик крепко спал. Он проснулся, первернулся, всем фашистам в морду дал!» Это, собственно говоря, сам Дом таким макаром устроивает побудку хозяину.

Из спальни, шаркая шлепанцами, выходит старик. Завязывая пояс халата, бредет к открытой стене веранды. Видно, что каждое движение причиняет ему боль.

ДОМ. Доброе утро, Слава, сегодня 14 июля 2065 года. Франция празднует День Бастилии. Температура на побережье Кипра, в районе Лимассол, 20 градусов. Днем будет 29. Воздух очищен на 89 процентов. Запах цветов 65 по индексу ЕМС. Движение судов на орбите, в атмосфере и на поверхности проходит по расписанию. Турецкие войска отброшены к болгарской границе. Потерь нет.

К 7 часам утра ты прожил 100 лет и 11 дней. Краткая сводка твоих показателей на данный момент: кью, плю, ели, мло, флик (подчеркиваю: флик), клистрадик (подчеркиваю: клистрадик), фэс, уайси, цеммо, тер, роно, оппрос. В целом: одуд. Жить тебе осталось...

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Молчать!

ДОМ. Но почему?

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Чертов Дом! Каждый раз удивляется — почему? Как будто даже обижается! Кто в конечном счете программирует эти дома, хотел бы я знать. *(Кашляет, свистит горлом.)* Жаждет сообщить дату твоей смерти, да еще таким добродушным тоном, как будто это просто конец беременности. То есть роды, что ли. *(Подходит к стене, проводит перед ней ладонью; из стены появляется бутылка шампанского; хлопок, пробка вылетает; вьется легкий дымок.)* По мне, хоть пять лет осталось, хоть пять минут, — я не хочу этого знать! Не-хо-чу! Такова природа человека, даже

такого дряхлого, как я. Человека, а не биоробота — тебе ясно? Кто платит деньги?

ДОМ. Деньги — это святое! А вот шампанское до процедуры — это зря, Слава.

Мстислав Игоревич отмахивается, выпивает один за другим три бокала. Вихрем налетает какой-то музыкальный пассаж. М.И. ахает, заходится в кашле, падает в кресло, будто пришел его последний час.

ДОМ. Ну, вот видишь! Сначала надо было подключиться к Фьюзу, а потом уж за шампанское.

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Что же ты Какашу не будишь? Меня он будит, а жену нет, как вам это нравится?

ДОМ. Наталья Ардадьоновна давно уже не спит. Повернись к бару — и увидишь.

Только теперь вместе с М.И. мы замечаем, что одно из кресел занято нашей героиней, дряхлой старухой, мадам Горелик. Рядом с креслом на полу стоят шесть пустых бутылок из-под шампанского.

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Идиотка! Успела надраться до восхода солнца! До подключения к Фьюзу! Какашка гадкая! Облевалась! Описалась! Вся в дерьме! Это все ее виртуальные странствия по ночам! Так она и не заметит, как перекатится из вирту в смерть! Да она жива ли? Гадина, неужели ты свалила? Оставила меня одного?! (*Весь трясется.*) Дом, она мертва?

ДОМ. Нет еще. Подключай ее к Фьюзу, пока не поздно. И сам подключайся.

Станный прибор размером с королевского пингвина подъезжает к неподвижному телу. Захватывает старческую руку. М.И. садится рядом, отдает прибору и свою руку. Прибор по имени Фюз начинает пульсировать множеством точечных огоньков.

Оба старика стонут. Потом стоны переходят во вздохи. Потом в глубокое дыхание.

НАТАЛЬЯ АРДАДЬОНОВНА. Доброе утро, Славка-родненька.

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Доброе утро, Какашка-родненька.

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. Как ты себя чувствуешь?
МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Прилично. А ты?
НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. Отлично.

Прибор освобождает их руки. Они встают, и — о, чудо! — дряхлости нет и в помине. Перед нами хоть и пожилая, но вполне здоровая пара.

Заходят за полупрозрачную ширму. Сбрасывают халаты. Мы видим их силуэты в процессе обнажения.

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Не забудь принять энзим.
(Протягивает ей таблетку.)

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. А ты не увиливай от стеро.
(Протягивает ему таблетку.)

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Ну, не сейчас же. После бассейна.

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА (плаксиво). Ты что, меня больше не любишь?

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Роднulyча, как ты можешь так думать?

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. Тогда прими стеро.

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Ненасытная старуха!

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. Ленивый старикашка!

Оба проглатывают свои таблетки. Мы видим их тени за ширмой, они прикасаются друг к другу, целуются и начинают соединяться. Ширма темнеет.

ДОМ. Вот так и надо начинать свой день. Это полезно.
(Исполняет какую-то тягучую страстную музыку.) Пусть в ваших совокупах уже проглядывает что-то лабораторно-технологическое, учитывая недавние пересадки органов, все-таки они по-прежнему впечатляют. Впрочем, мне следует воздерживаться от оценок. В программу таких домов, как я, входит сдержанность по отношению к хозяевам, полное отстранение от оценок. Хозяева платят за такие дома, как я, огромные деньги, а деньги — это святое. Согласно концепции Овала, деньги — это важнейший символ человеческой расы. Важнее денег человечество само ничего не придумало. При всем вырожденческом характере этих странных существ следует признать, что деньги они изобрели сами. Так полагает Овал. Слава Овалу!

В процессе монолога Дом иной раз воплощается то в виде огромных Петуха и Попугая, то просто как некий очень приличный джентльмен среднепожилых лет. Эти образы мелькают словно мгновенные призраки, но всякий раз с ритуальными жестами в адрес Овала.

ДОМ (*продолжает*). Следует сохранять невозмутимость и всегда выполнять приказы хозяев. Между тем я нередко злюсь, особенно когда Славка орет на Какашку или когда он не дает мне сообщить дату его смерти.

Мне иногда кажется, что даже Овал удивляется человеческим парадоксам. Все они знают, что умрут, но почему-то не хотят знать когда. Станным образом в них вставлена идея бессмертия. Биообъект вроде бы несовместим с этой идеей, но тем не менее она всегда с ними. Именно из-за этой идеи они все время стараются оттягивать, что понятно. Фармакология, всевозможные приборы — я и сам ведь не что иное, как прибор для продления жизни, — постоянные пересадки органов. Теперь вот новое поветрие охватило здешних богачей — заказывают своих клонов. Овал еще не высказался в этом направлении, но у нас в семье появление Второго и Второй внесло какую-то странно угнетающую ноту. Мне, очевидно, нужно осмелиться и запросить Овал по этому вопросу.

Из-за ширмы доносится соединенный вопль старческого оргазма.

ДОМ. Сегодняшний контус продолжался 12 минут 40 секунд, на 7 секунд дольше, чем вчерашний.

Молчание. Дымки двух сигарет.

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. Славка, знаешь, сколько раз ты меня трахал в течение нашей жизни?

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Недостаточно?

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. Да нет, тут просто статистика. Мы живем с тобой 72 года. Не было дня, чтобы ты меня не трахнул. Значит, по грубым подсчетам, — 26 550 раз.

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Дом, а что говорит твоя статистика?

ДОМ. Тут фигурирует цифра 50 540, но почему-то ей предшествует 31. Какая-то странная калькуляция: 31+50 540. Что означает эта перевернутая чертова дюжина? Я еще не все о вас знаю, господа.

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. 31 — это наше первое свидание в гробном клубе «Спартак» на Елагином острове. Я тогда считала.

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ (*поет*). Есть на свете островок Елагин, и гробная база есть на нем. Приходи, мой бешеный стилига, мы на шатком скифе погребем.

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. Помнишь, родненька.

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Еще сто лет пройдет, родненька, а я буду помнить ту ночь.

ДОМ (*бормочет*). Не все ясно, Слава. Пока еще не все ясно. Но яснее, чем было. Яснее. Тут какая-то романтика, Какшенька, не так ли? (*Громко.*) Пора завтракать!

Мстислав Игоревич и Наталья Ардадьоновна выходят из-за ширмы. У них великолепный вневозрастной вид. Завязывая халаты, направляются к уже сервированному столу.

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Что сегодня на завтрак?

ДОМ (*не очень учтиво*). То, что вам нужно.

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. Гаркаша, витпуди, выжминт. Что ж, все это очень аппетитно, а все-таки я как-нибудь выключу Дом и приготовлю тебе яичницу.

ДОМ (*ворчливо*). Что это значит — выключу? Какую еще яичницу? Что за вздор?

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Я, признаться, уже и забыл, что такое яичница.

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. Славка, ты так здорово сегодня подтянулся. Тебе сейчас и шестьдесят не дашь.

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Тебе тоже, родненька.

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. Да? А по-моему, мне сейчас и пятьдесят пять не дашь.

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Я хотел сказать, родненька, что и пятьдесят бы тебе не дал, если бы не легкая дряблость вот тут, под ключицами.

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. Дряблость???

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Ну, я не так выразился. Ну просто какая-то неровность кожи. У пятидесятилетних, между прочим, тоже иногда что-то слегка отвисает.

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. А у тебя самого ничего не отвисает? У других под ключицей видишь, а у себя под пузом не замечаешь? Ты думаешь, если тебе пересадили эти дела от тореадора, то у тебя ничего не отвисает?

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Ну, перестань, перестань, родненька.

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. Я тебе не родненька! Ха-ха! В молодости я знала стариков, у которых ничего не отвисало без всяких пересадок от тореадора. Мне даже нравилось тогда заниматься со стариками. Был такой муж, Ильич Гватемала, классик циклопического реализма, мы вместе с ним стреляли из пулемета по федеральным агентам. Был такой дедушка, Павлуша Фамус, я носила ему передачи в тюрьму. Помнишь таких, или тебе память, как всегда, изменяет?

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Память — это еще не главный предатель в жизни человека.

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. Ах, ах, какая блистательная афоризма!

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Афоризма! Что за слово? Ты что, забыла, что оно мужского рода? Говорят афоризм. Афоризм. А не афоризма.

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. Нет, оно женского рода! Оно — афоризма!

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Это ты путаешь с аневризмой. Аневризма — женского рода, а оно — мужского.

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. Вот балда, оно — среднего рода!

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Оно, то есть слово. Слово — среднего рода, а афоризм — слово мужского рода.

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. Нет, женского! Афоризма, афоризма!

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Афоризм! Афоризм!

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. Молчи, старый дурак!

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Это ты дура! Ты! Ты!

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. Какой ты гад! Ведь я понимаю, что ты в это вкладываешь.

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Ничего я не вкладываю, просто есть анекдот, она женского рода, и есть афоризм — он мужского!

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. Ты вечно меня подкалываешь, ты только и ждешь, чтобы придрататься, унижить. Никогда не приласкаешь, не пошутишь. Вечно причиняешь... (*Рыдает.*) Ты мне не можешь простить моей молодости, ничтожество!

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Это я ничтожество? Человек, которого чтит весь мир? Воссоздатель Чистого Воздуха?

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА (*рыдает и вопит*). Чит?! Воссоздатель?! А сам — ничтожество!

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ (*взорвался*). Это ты настоящее никчемное ничтожество! Тебя называют Женщиной Двух Столетий, говорят, что ты вела Россию на Запад, а ты просто проститутка! Только секс и застрял в твоей глупой башке!

Вскочив с мест, со сжатыми кулаками они подступают друг к другу. Агрессивная сенильность искажает их черты, скрючивает тела.

ДОМ. Оба, внимание! Встать спиной к спине! Выбрасываю струю животного! Делайте глотательные движения! Делайте умывательные движения! Протирайте за ушами! Вдох! Вдох! Вдох!

ОБА (*выполняют команды, глубоко дышат, приходят в себя*). Прости меня, родненькая. Это ты прости меня, родненькая. Я люблю тебя, родненькая. И я тебя люблю, родненькая. Ты лучше всех, родненькая. Нет, это ты лучше всех, родненькая.

ДОМ. Наденьте VR-обручи. Откиньтесь в креслах. Благодать посещает вас. Что вы видите?

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. Кота. Дивный кот прыгнул ко мне на колени. Мурлычет. Выгибает спину. Я успокаиваюсь с каждой минутой. Я дам ему имя Ницше. Мой кот, мой Ницше!

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. У моих ног пристроилась немецкая овчарка. Уши торчат, как две елки. Смотрит на меня весело и с любовью. Трогает меня лапой. Мой пес, мой Лучший!

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. Ты хочешь сказать, что твой Лучше лучше, чем мой Ницше?

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Во всяком случае, мой Лучше не ницше, чем твой Ницше.

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. Как я люблю виртуальную благость! Пожалуй, это единственное, что меня примиряет с миром, в котором опять, несмотря на все мои усилия, накапливается все больше идиотизма. Да ведь, по сути дела, вирту может дать все, в чем есть нужда у современной женщины.

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Не совсем с тобой согласен, роднунья.

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. Ах, ты со мной не совсем согласен? Почему же?

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Ну так, в порядке шутки, ведь не может же вирту дать современной женщине мужа. Ведь это ж все-таки не жизнь пока что.

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. Да какого черта мне в этой жизни? Вирту лучше, чем жизнь! Виртуальный кот очарователен, да к тому же не ссыт по углам! Виртуальная собака не гадит и не разбрызгивает слюны! А вот некоторые передовые женщины утверждают, что виртуальный муж лучше настоящего.

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Ах вот как? Чем же?

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. Говорят, что он делает все, что требуется от мужа, да к тому же еще не пердит.

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Ты хочешь сказать... что?

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. А ты будто не знаешь — что.

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Послушай, Наталья Ардальоновна, все-таки отдавай себе отчет в том, что говоришь, борись с маразмом. Твоего мужа знает вся Россия, да что там — весь Китайский Союз, весь мир знает его как борца с пердежом! С тридцати двух лет я открыто воюю с пердунами, с бздежниками, со всеми загрязнителями Эола и Эфира! Ты вместе со мной была на линии огня, моя «Аврора» героически погибла в морском бою с эскадрой пердунов и сквернословов! Всю свою женскую суть она отдала моей борьбе!

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. Она не только твоя, но и моя! Мы с ней, бывало, сливались в экстазах.

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Хотя бы ради памяти о нашей бронированной подруге ты не посмеешь сейчас намекать, что я сам, Воссоздатель Воздуха, выпускаю газы!

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. Мстислав Игоревич, посмотри правде в глаза, ведь ты же не виноват, что у тебя на сто первом году жизни взбунтовалась перистальтика, что ты круглые сутки пускаешь шептунов или грохочешь, как главный калибр нашей «Авроры». Ты не виноват, что Дому постоянно приходится осаживать прущий из тебя сероводород с каким-то странным яичным оттенком. Дом, что ты молчишь, — подтверди!

Дом молчит, только две светящиеся змейки бегают по дальней стене.

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. Тоже мне, какой деликатный.

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ (*глухо*). Значит, ты замечала.

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА (*в отчаянии*). Как я могла не заметить? Быть может, уши меня подводят, но обоняние пока не отказало. (*Пауза.*) Мне горько не меньше, чем тебе.

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Не ври! Ты замечала и ни разу не сказала об этом ни мне, ни Дому. Ты берегла это для подходящего момента, чтобы сделать мне побольнее. Ты — хамка!

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. Я — хамка? Женщина Двух Столетий — хамка?! Это ты, ты, ты — хам, хоть и Воссоздатель Воздуха!

Мстислав Игоревич швыряет в нее миску с гаркашей. Мажет. Наталья Ардадьоновна запускает в него горшочком с витпуди. Попадает в цель. Мстислав Игоревич валится на пол.

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ (*хрипит и пузырится слюной*). Ненавижу, ненавижу, ненавижу! Сдохни, сдохни, сдохни!

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА (*в виде гнусной карги*). Сдохни сам! Сдохни сам! Сдохни сам!

ДОМ. Вы слишком далеко зашли в своей любви, дорогие хозяева. По инструкции, мне нужно сейчас применить PhB, Philosophical Blanket.

На конвульсирующие тела опадает сверху мягкое «философское покрывало».

Судороги прекращаются. Молчание.

После молчания.

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. Мой любимый, мой несчастный мальчик. Я чувствую к тебе такое пронзительное сострадание. Твоя боль становится моей болью.

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. А твоя — моей. Девочка моя, любимая, как я мог швырнуть в тебя гаркашей? Это все судороги древнего возраста, когда любовь иной раз превращается в свою противоположность. Так было у Дали и Гала — помнишь, мы читали? Они обожали друг друга всю жизнь, а в старости иной раз швыряли друг в друга предметы.

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. Вцеплялись друг другу в волосы. Кричали: ненавижу, сдохни! А ведь никто в мире не знал такой любви, как они.

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Пока мы с тобой не встретились в 1988 году в гребном клубе. Слава Богу, что наш незаменимый Дом, а через него и сам Овал, возвращают нас к нашей сути, к любви.

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. Ты странно говоришь, роднуньча. Слава Богу, что Овал... Разве Овал — это не Бог?

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Дом, скажи, Овал — это Бог?

ДОМ (*сдержанно*). Не знаю.

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. Ты просто не хочешь говорить на эту тему, Дом, сохраняешь какой-то неведомый нам этикет. А вот мне иногда кажется, что Овал проникает в такие мои глубины, о которых я и сама не имею понятия. В конце концов, разве не он сотворил все, что нас сейчас окружает, — все эти говорящие дома-психиатры, все эти комбинации жэ-эсов, вирту-брузин, транс-орбиты; разве не он? (*Вылезает из-под «филпока».*)

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ (*вылезает из-под «филпока»*). Конечно, Овал все знает о нас, но тот, что выше всего, Бог, не знает о нас ничего. Ничего, кроме любви к нам, ко всем и к каждому в отдельности, и вот это-ж означает Божье все. Сейчас я почти уверен, роднуньча, что те демиурги Хнум и Птах сошли к нам в Лиссабоне — помнишь, в конце века? — с Овала. Да и все твои глюки молодых лет, все эти флюорес-

цирующие блики — ты еще называла их холозагорами и оле-ожарами — приходили к тебе с Овала, который неумолимо приближался. Что касается меня, то я просто уверен, что тот неотразимый и весьма весомый фантом, что скатился с лыжного спуска в Нью-Гемпшире и был принят как новый реви-зор, как «Настоящий Бенни Мендел», явился с Овала. Не зря он старался организовать хаотическое мельтешение людей в идеальную «немую сцену». Знаешь, мне иногда кажется, что явление Овала — это знак того, что на данном уровне небес подготавливается наш Апокалипсис. Отсюда и весь этот бес-конечный сонм новинок, открытий, изобретений последних трех столетий, все эти пересечения границ немыслимого, не-познаваемого. Особенно это последнее изобретение супер-вирту, на которое мы подписались за жуткие деньги, эти «Интересные Встречи», от которых крыша может поехать, — контакты с давно усопшими.

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА (*весело*). Послушай, Слав-ка, давай как-нибудь, ну, конечно, после того как завершится наша нынешняя серия, пригласим Сальвадора Дали и эту Лену Гала Дьяконову. Интересно будет поделиться опытом по части бросания предметов в любимое существо.

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Ты же знаешь, родненька, как меня беспокоит твое увлечение этими сеансами. Ты можешь зайти так далеко, что уже не вернешься. А я этого не переживу.

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. А зачем это переживать? Ты последуешь за мной.

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Ты знаешь, я раньше этого не боялся. В молодые годы, ты помнишь, я совсем ничего не боялся. Впрочем, как и ты. Мы с тобой оба «кесарята», как-никак, а у таких нередко отсутствует чувство страха. Я был до того бесстрашен, что даже иногда беспокоился по этому пово-ду: не патология ли какая-нибудь. И только вот сейчас, в ста-рости, в дряхлости, стал отчаянно бояться. Прежде всего за тебя, но и за себя не меньше.

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. Спасибо тебе, родненька, за откровенность. Я всегда радуюсь, когда ты сбрасываешь с себя маску всемирного героя, когда я вижу в тебе обыкновенного человеченыша, каждый пук-пук которого вызывает во мне пронизывающую жалость. Садись, я спою тебе песню. (*В руках у нее появляется гитара.*)

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ (*поражен*). Ты берешься за гитару? Как прежде?

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА (*поет*).

Ах, Артур Шопенгауэр!
Ах, Артур Шопенгауэр!
Ты нам задал урок,
Ты нам задал урок.
Прямо в рот нам вложил,
Словно глупеньким фраерам,
Сострадания урюк,
Сострадания урюк.

Волю к жизни забудь,
Говорил Шопенгауэр.
В пеликаньем зобу
Рыбе хочется жить.
Черепахи ползут
По яичкам гагарьиным,
По следам ягуарьиным.
Никуда не зовут,
Никуда не зовут.

Сострадание одно
Наделяет нас качеством
Неких высших существ,
Человеческих душ.
С состраданием на дно
Упадем и проплачемся,
Продеремся сквозь шерсть
Генетических шуб.

Ах, Артур Шопенгауэр,
Ах, Артур Шопенгауэр!

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ (*плачет*). Спасибо тебе, душа моя. Ты действительно Женщина Двух Столетий, вся та же моя любимая Какаша.

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА (*счастлива*). Тебе понравилось? Не хуже, чем тогда, на Елагином? Помнишь «Ветер принес издалика прежней весны уголек»?

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Родненька, как я могу не помнить? Я все твои песни помню, но ты уже двадцать лет не пела. Я даже думал, что ты больше уже мне никогда не споешь.

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. И вот видишь, спела! Поэтому что я тебя люблю. Это песня для тебя, сколько бы тебе, черту, ни исполнилось лет и как бы дряхла и отвратительна я сама ни стала. Помнишь, перед началом похода на Мурманск, когда нас затерли льды, мы стояли на мостике «Авроры» в мертвом подлунном мире и говорили с ней о Шопенгауэре и об эстетике пессимизма?

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Ах, «Аврора», при всей ее огневой мощи она была истинной женщиной! И как она понимала нас с тобой, хотя в ней не было ни белков, ни углеводов.

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. Послушайте, Славка, и ты, Дом, а что, если я спою эту песню Вторым? Вообще попою им что-нибудь, в том числе и из старого репертуара?

Мстислав Игоревич молчит, лицо его темнеет.

ДОМ. Лучше не надо.

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Нам давно нужно посоветоваться насчет Вторых. Вам не кажутся странными наши с ними отношения, вернее, отсутствие отношений?

ДОМ. А вам вообще-то не кажется странным само наличие ваших Вторых?

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. Что же в этом странного? Это постепенно входит в моду. Конечно, не все сейчас могут это позволить, но почему не позволить этого, если можешь?

ДОМ. Нет, если не кажется странным, значит, не странно. Все в порядке.

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Мы потратили на них прорву денег.

ДОМ. Деньги — это святое!

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Мы потратили на них столько этого святого, что я даже затрудняюсь назвать окончательную сумму.

ДОМ. Я могу назвать.

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Нет-нет, лучше не надо.

ДОМ. Я так и знал, что «не надо». Однако, если понадобится, я немедленно могу дать справку как по этому вопросу, так и по всем другим, по которым «не надо».

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. А что, сарказм тоже запрограммирован в этих домах?

ДОМ. Молчу.

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. Ты знаешь, Славка, в последнее время я только о них и думаю, о наших Вторых. Иногда я даже спрашиваю себя, а не совершили ли мы ошибку, подписавшись на них? Я их не понимаю. Кто они? Может быть, это просто наши дети? Но они нам не дети. У нас с тобой никогда не было детей, если не считать той фантазии с Марком... ну, помнишь?.. *(Мстислав Игоревич молчит и отворачивается в сторону.)* ...где это было, на каком-то острове?.. Нет?.. *(Расползается, что-то мямлит, потом встряхивается.)* Вуаля, я тоже ничего не помню. В общем, мы с тобой бездетные любовники вроде тех набоковских братишки с сестренкой, что трахались, как кролики, но никогда не приносили потомства, но все-таки я догадываюсь, что дети никогда не бывают такими чужими. Даже в конфликте «отцов и детей» отцы и дети не чужие, тем более не чужие, если в конфликте. Если бы у нас был конфликт с нашими Вторыми, но у нас с ними нет конфликта.

Конечно, внешне это мы в наши лучшие годы, но внутренне они совсем не такие — точнее, просто никакие. Дело даже не в том, что к ним не перешел наш опыт, дело, я думаю, в том, что они не путешествовали в твоём сперматозоиде и в моей клетке, а самое главное — они не были в моей утробе, они не слышали меня из утробы, а ведь Фрейд еще утверждал, что личность закладывается в утробе.

Не знаю, как обстоит дело у тех, кто тоже подписался на клонов, ну, скажем, у Березовских, но я, признаться, всякий раз вздрагиваю, когда моя Вторая входит в комнату или ныряет в бассейн, когда я там плаваю. Иногда я думаю, может, она вообще, ну... не человек, а, ну... изделие? Может быть, это неживая красавица? Может быть, это неживая пара красавцев? Может быть, они сродни тем, нашим вечерним гостям из вирту?

ДОМ. Простите, Наталья Ардальоновна, а почему вы думаете, что ваши вечерние гости неживые?

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ *(вздрагивает)*. Дом, не забывайся! Не сбивай нас с толку! Есть обычная, пусть немного скучноватая, но регулярная жизнь, и есть метафорическая, сродни тому, что еще недавно считалась искусством, даже как

бы из всех искусств важнейшим, тем отснятым на пленку метафорам. Вирту, я убежден, это некая пространная метафора. (Жене.) Разумеется, роднульча, Вторые — это не дети, это наши копии, развившиеся из наших ДНК в результате применения безумной, хотя бы по стоимости, технологии. Это просто мы сами, наши запасные тела, и они продолжают нас, когда мы, ну, когда, ну...

Молчание. Деликатное покашливание Дома.

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. И все-таки, почему они совсем не такие, какими были мы в те годы? Ты был таким забавным, Славка, а твой Второй совсем не забавный. А моя Вторая? Вообрази, она накупила себе «Мадам Роша»! Даже под страхом расстрела я не купила бы «Мадам Роша»! И потом, скажи, почему при виде Второй не обмирают мужчины? Ты ведь помнишь, как они обмирали, увидев меня. Почему эти существа никогда не задают нам вопросов о нашем прошлом? И потом, наконец, почему они не трахаются друг с другом?

Почему у них нет никакого влечения друг к другу? Иногда я смотрю на них издали. Вот они сближаются на стадионе. У меня замирает дыхание. Вспомни, что с нами было. Мне кажется, что это мы с тобой сближаемся, такие красивые, какими были семьдесят лет назад. Вот мы сейчас бросимся друг к другу без оглядки, начнем целоваться и трахаться, а потом пить какую-нибудь бузу, курить что-нибудь бесполезное, петь что-нибудь вздорное. «Розы, кресты, эвкалипты вырастут там на снегу. Встретим же Апокалипсис стайей гусят на лугу...»

Ничего подобного не происходит. Если уж нам они чужие, то друг другу совсем чужие. Бегают и прыгают на своем стадионе, как одержимые чем угодно — рекордами, что ли, но уж только не друг другом. Не знаю, разговаривают ли они друг с другом? Дом, ты слышал когда-нибудь, чтобы они разговаривали друг с другом?

ДОМ. Да, слышал. Они разговаривают друг с другом.

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Ну, хватит об этом.

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. Что это значит — хватит об этом? О чем еще нам нужно сейчас говорить, как не об этом? Для чего мы подписались на Вторых? Не понима-

ешь, к чему мы подходим все ближе и ближе? Мне вовсе не светит продолжаться в каком-то чудовище. Лучше уж просто истлеть.

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Я не могу этого слышать! Все эти разговоры бесплодны. Дело сделано. Назад не повернешь. Это не куклы. Они такие же люди, как все мы. В принципе, тут такие сравнения неуместны, потому что они — это мы.

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. Ты уверен в этом?

Он молчит. Она молчит. Дом молчит. Лишь только чайки пищат.

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Может быть, в них воплотились какие-то наши, нам самим неизвестные качества?

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. Ну, утешил! Да у них нет никаких качеств, кроме свежести тел. Может, тут какая-то халтура прогулялась? Или какая-то фундаментальная ошибка этой ёбаной технологии? Может быть, можно обжаловать? Послать рекламацию? Отправить их на доработку?

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Что за глупая идея?!

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. Ты сам, ты сам дурак! Ты только и ищешь повод, чтобы меня оскорбить! Сдохни, гадкий старик!

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ (*так же моментально взъярется*). Вот и сдохну! А с кем ты тогда будешь жить? С моей молодой копией, да? А вот возьму и не сдохну! Возьму вот и буду спать с твоей копией!

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. Ура! Открылась твоя воючая бездна! Вот на кого твой тореадорский рог нацеливается!

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Нет, это твоя вульва, персаженная от балерины, трепещет похотью!

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. Гадкий старик!

ДОМ (*громогласно*). Молчать! Руки по швам! Задами — к Фьюзу!

Фьюз выезжает вперед. Мстислав Игоревич и Наталья Ардадьоновна прижимаются задками к щечкам аппарата.

Аппарат, слегка вибрируя и излучая определенное свечение, заряжает их новой энергией.

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Прости меня, родненька.

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. Это ты меня прости, родненька.

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Бог с ними, со Вторыми. Пусть живут как хотят.

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. Давай уж и мы с тобой, мой милый, мой любимый, доживем вместе то, что осталось. И пусть будет так, как будет. Кё сэра, сэра! Уотэва уил би, уил би!¹

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Правильно, девочка. Ведь судьбы, кажется, еще никто не отменял. Даже Овал.

ДОМ. Сеанс окончен. Пациенты свободны.

Фьюз отъезжает в глубину сцены. Супруги, снова в хорошей форме, поворачиваются друг к другу.

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ (*смеется*). Женщина Двух Столетий!

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА (*смеется*). Воссоздатель Воздуха!

ДОМ. Пою тебе, о Гименей! (*Поет эпиталаму из оперы Рубинштейна.*)

Супруги танцуют, лобзаются, предлагают друг другу какие-то ароматические порошки, чихают, от чего смеются еще пуще. Открывают шампанское.

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. Ну хорошо, пойдем поплаваем с дельфинами, а потом по делам.

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Эти дельфины! Вообрази, они, оказывается, все знают про нас. Кажется, у них еще более тесная связь с Овалом, чем у нас. Вчера я плавал с Млдом и Дломом, так было забавно, мило, мы вышли на какую-то проникновенную коммуникацию, и они стали расспрашивать меня об авантюризме в девяностых годах прошлого века. Их деды, оказывается, и тогда плавали вокруг Кипра и все про нас знали. Жалко, что нельзя заказать себе клона в виде дельфина.

¹ От фр. *Que serais — serais* — что будет — то будет; от англ. *Whatever will be, will be* — то же (популярная песенка XX в.).

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. А мои подружки Зги и Гзи уверяли меня, что там где-то в морских глубинах есть своя Женщина Двух Столетий. Ну, дельфиниха, конечно. Они говорят, что она очень похожа на меня. Иногда, говорят, просто кажется, что это вы, мадам Какаша. Я так хохотала — чуть не захлебнулась.

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Да, дельфинны, что за народ! Это просто наша отрада! Иногда, знаешь ли, я воображаю свое — и твое, конечно, — перевоплощение в дельфинов.

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. Вот было бы чудно! Помнишь из Мандельштама? (*Берет с полки томик.*)

Ни о чем не нужно говорить,
Ничему не следует учить,
И печальна так и хороша
Темная звернная душа:

Ничему не хочет научить,
Не умеет вовсе говорить
И плывет дельфином молодым
По седым пучинам мировым.

Вот мы умираем, и наши жалкие останки сбрасывают в море. Тут вместо нас остаются эти Вторые, а там мы постепенно перевоплощаемся в дельфинов. Я беру себе имя Тевс, а ты будешь Ерог. Овал возьмет нас под свон лучи, неплохо, а? Мы будем плавать возле Кипра и все знать про тех, кто тут вместо нас оттягиваются.

ДОМ. Ну и аппетиты!

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Станный какой-то сегодня день. То и дело наплывают картины прошлого. Сердце порой стучит, как будто мое собственное, а не того гонщика Макса Догоняйло, от которого взято. Вдруг, знаешь ли, вспомнилась песенка, которую я тебе спел к твоему семидесятилетию.

Игры моей апофеоз,
Твое лицо меж лунных фаз!
Павлиний хвост
В руках горит, и жарко тает воск
Прошедших лет и промелькнувших фраз.

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. Ах, Славка, к добру ли нам такая сентиментальность? Ты вспомнил то, что было так мучительно забыто. Как я тебя люблю!

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ (*смущенно*). Ну хорошо, отправимся к дельфинам, а потом по делам. Ты где сегодня выступаешь?

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. Только в Копенгагене. Хотела еще в Москву, но там эти несносные китайцы с их анкетами. А ты?

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Только в Кейптауне. Звали еще в Ростов, но там на сегодня мусульманское шествие назначено, это уж все-таки слишком для столетнего оратора.

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. Ну, в общем, к вечеру мы оба будем дома. Дом, заморозь шампанского!

ДОМ. В каком смысле?

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. Ну, чтобы холодное было.

ДОМ. Оно всегда холодное.

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. Ну, я это просто так, для шику.

ДОМ. Как это — просто так, для шику?

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. А что, дома сейчас выпускают без чувства юмора?

ДОМ. Я вас сейчас, Наталья Ардальоновна, задницей к Фьюзу поставлю.

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Ну, видишь, все-таки с чувством юмора.

Все трое хорошо, по-молодому смеются.

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Дом, ты, надеюсь, помнишь, кто у нас в гостях сегодня вечером?

ДОМ. Это он печется о моей памяти! Как я могу этого не помнить, Славочка? Сегодня у вас тот, кто был вчера и позавчера — большой придворный чин из девятнадцатого столетия.

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. Тем более надо озаботиться шампанским. Ведь он без шампанского не может ничего, не может даже, подъезжая под Ижоры, посмотреть на небеса. А к шампанскому, мистер Дом, извольте приготовить гуся. Не виртуального, а настоящего, разумеется. Поджаристого, с корочкой, как у них на «Арзамасе» подавали.

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Блестящая идея, Какашка! Вот будет сюрприз!

ДОМ (*ворчливо*). Да вы этого с корочкой и есть не будете — ведь это же полпуда чистого холестерина.

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. Зато он угостится. Ну что ему холестерин? (*Хочочет.*) Ой, умру, ну что ему, на самом деле, холестерин? Он никогда о таком и не слышал. Ну пошли, Славка!

ДОМ. Не забудьте взять с собой «домовитки», а то еще опозоритесь в своих Копенгагенах и Кейптаунах.

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Что бы мы делали без тебя, Дом, и без твоих «домовиток»? Наверное, давно бы уже были под стражей. Крахтели бы в смиренных рубашках. (*Протягивает маленькую штучку жене, другую такую же кладет себе в карман.*) Ну, прощай, дорогой уважаемый Дом!

ДОМ. Я не говорю вам «прощай», я говорю «до свидания».

Старики уходят в сторону моря, то есть в глубину сцены. Некоторое время мы еще слышим их веселые голоса и мелодии песен «Ах, Артур Шопенгауэр» и «Павлиний хвост». Потом все замирает.

В тишине по дому проходит Дом в виде пожилого почтенного джентльмена. Легким опахалом стряхивает с предметов мебели цветочную пыльцу. Смакует оставшееся шампанское. Декламирует:

Проявляется сон, vyplывает из грота.

Сущим снится сирень, расставанья не-суть.

Снимает с полки маленький томик, читает:

Человек умирает, песок остывает согретый,

И вчерашнее солнце на черных носилках несут.

Останавливается в центре сцены, спиной к зрителям. Поднимает руки к Овалу. На несколько минут вместо сверкающего дня в театре воцаряется ночь. Овал флюоресцирует, узкие лучики света отходят от него и бродят по сцене. Слышится звук оттянутой и отпущенной толстой струны. Порой что-то так твякает в разгаре лета в переполненном жизнью пруду.

ДОМ. Я слышу тебя, Овал. Я понимаю. Но нельзя ли? Да, понимаю. Я понимаю тебя, Овал.

На сцене появляются огромные фантомы Петуха и Попугая с медвежьими ногами. Они неуклюже дефилируют под музыку, сходную с концертом для гобоя Алессандро Марчелло. И исчезают.

Исчезает и Дом-джентльмен. Возвращается день.

Из противоположных кулис появляются Второй и Вторая, клоны Мстислава Игоревича и Натальи Ардальоновны. Это пышущие здоровьем и красотой молодые люди, в которых все-таки видны черты только что ушедших стариков. Иными словами, это они же, Слава и Какаша, только в расцвете жизни. Оба в теннисных костюмах (разумеется, их играет та же самая пара актеров).

ВТОРОЙ. Привет, Вторая!

ВТОРАЯ. Привет, Второй!

ВТОРОЙ. Что делала утром?

ВТОРАЯ. Удаляла волосы с ног. Работала с трицепсами. Ела еду. А ты?

ВТОРОЙ. Брился. Работал с бицепсами. Ел еду.

ВТОРАЯ. Дома, кажется, никого нет.

ВТОРОЙ. Я слышал голоса Первых. Они что-то пели, что-то орали, как всегда, восклицательными знаками — в общем, обычная дребедень. Потом все затихло.

ДОМ. Они ушли к дельфинам.

ВТОРОЙ. Спасибо за информацию, хотя она мне и не нужна.

ВТОРАЯ. Я все-таки не понимаю, почему мы должны каждое утро удалять волосы.

ВТОРОЙ. Чтобы не выросли бороды. Иначе у меня отрастет на подбородке, а у тебя под коленками.

ВТОРАЯ. Это как прикажешь понимать?

ВТОРОЙ. Как хочешь.

ДОМ. Это юмор.

ВТОРАЯ. В чей адрес?

ДОМ. В общий. В адрес всего этого человечества с его условностями. Так, что ли, Второй?

ВТОРОЙ. Понятия не имею.

ВТОРАЯ. Если все так против волос, зачем тогда оставляют на голове гриву, да еще гоняют на завивку?

ДОМ. А это уж для секса.

ВТОРАЯ. Тут все помешаны на сексе, даже наши старики, каждый день творят совокупы, а нас на ферме этому не учили. Сказали: с этим делом сами потом разберетесь. Это в каком же смысле?

ВТОРОЙ. А по мне, что есть у тебя грива, что нет — все равно. При чем тут секс, я не понимаю.

ВТОРАЯ. Если волосы снимают, тогда надо отовсюду — я так понимаю. Говорят, есть такие агентства, которые в вас внедряют ген безволосия. Раз — и все в порядке, больше не надо возиться с этой чепухой.

ВТОРОЙ. Кстати, об этих генагентствах. Сейчас там масса предложений по части биопоправок. Можно, например, заказать себе жабры, то есть стать амфибией. Уже есть группы лиц, проделавших эту трансформацию. Знаешь, Вторая, они наслаждаются жизнью. Представь себе — глубоко под поверхностью моря ты чувствуешь себя так же уверенно, как и на земле. Уже функционируют клубы амфибий. Должен тебе признаться, что я собираюсь к одному такому клубу присоединиться.

ВТОРАЯ. А меня, должна признаться, больше увлекают птероклубы, то есть клубы летающих особей нашего типа.

ВТОРОЙ. Ага, значит, и ты в подобных поисках. Скажи, а что тебя к этому потянуло?

ВТОРАЯ. Вот уж не знаю что... Но как же иначе... Ведь нельзя так... Всегда... Ну, как сейчас... Надо же как-то... Как-то иначе...

ВТОРОЙ. А почему ты предпочитаешь морю воздух? Ведь он значительно прозрачнее, чем массы воды.

ВТОРАЯ. Ты знаешь, я не знаю. Но вот, представляешь, я вдруг взмою?! Как есть, вот в этом человеческом виде, — взорлю, что ли?! Ну, в общем, взлечу! Там есть такая технология, что перестраивает человеческий костяк под птичий. Также облегчаются все органы, человек утрачивает свою противную утяжеленность.

ВТОРОЙ. Башка тоже?

ВТОРАЯ. Что башка?

ВТОРОЙ. Ну, легче становится?

ВТОРАЯ. Ну, конечно.

ВТОРОЙ. А крылья отрастают?

ВТОРАЯ. Превосходные! Перепончатые! Когда не нужны, складываются в маленький горбик меж лопаток, в полете же расправляются и постоянно меняют форму в зависимости от скорости и от потоков воздуха.

ВТОРОЙ. Как интересно!

ВТОРАЯ. Что, Второй, и тебя заинтересовали «птеро»?

ВТОРОЙ. Заинтересовали, конечно... Всякое новшество как-то воспламеняет... все-таки шаг куда-то... отрыв от этой поверхности...

ВТОРАЯ (с энтузиазмом). И парить, парить, парить! Набирать высоту и скорость! Исчезать из виду, уходить в облака! Стремительно вдруг снижаться из туч на какой-нибудь камень! Или на шпиль высотки! Или повиснуть в воздухе, как стрекоза!

ВТОРОЙ (сдержанно). Я бы лучше уподобился альбатросу. Альбатросу-амфибии, в этом роде. Вообще-то открываются новые перспективы. Ведь то, что существует сейчас и называется человечеством, как-то уж слишком несовершенно. Недаром был так разочарован Ницше, которого нам читали на ферме. Ведь нынешних людей он полагал просто-напросто мостом к расе сверхлюдей. Быть может, эти новые генные качества как раз и помогут нам стать мостом. Вот мы, Вторая, быть может, наше поколение, шестидесятники, ну

ДОМ (как бы в сторону). Они, оказывается, шестидесятники! (Вторым.) Простите, молодые господа, за вмешательство в вашу дискуссию. Позвольте спросить, на данный момент много ли членов в этих ваших амфи- и птероклубах?

ВТОРАЯ. Пока еще немного, но ведь это всегда так: сначала немного, а потом все больше.

ВТОРОЙ. Во всяком случае, интерес нарастает. В птероклубах, насколько я знаю, десятки членов.

ДОМ. Людей или клонов?

Ошарашенные этим вопросом, Вторые молчат. Дом, то ли от смущения, то ли для того, чтобы ободрить молодежь, начинает исполнять 40-й опус Моцарта. Словно в ответ на музыку, Вторые принимают стойку на голове.

ВТОРОЙ. Послушай, Дом, а есть какая-то разница между человеком и клоном?

ДОМ. Это еще неясно. Потому я и задал такой бестактный вопрос. Простите, ребята.

ВТОРОЙ. Да, ничего, ничего.

ВТОРАЯ. Может, я ошибаюсь, но мне кажется, что все члены амфи- и птероклубов — клоны.

ДОМ. Вам нравится эта музыка?

Вторые выходят из стойки. Сидят на пятках.

ВТОРОЙ. Это Сороковая. На ферме ее нам все время вписывали как высшее достижение человечества.

ВТОРАЯ. Мне, пожалуй, эта симфония нравится. Струнные тут на высоте. Я ведь даже играла ее когда-то. В третьем ряду скрипок. На ферме.

ДОМ. Однако волнует ли она вас — вот в чем вопрос. Вызывает ли какую-нибудь ностальгию?

ВТОРОЙ. Послушай, Дом, перестань проводить с нами эксперименты. Не знаю, как Вторая, но мне твои вопросы надоели. От таких вопросов я готов не только на дно уйти, но даже в космос вылететь. Превратиться в космический камень. Пусть я клон, но это еще не значит, что я лабораторная лягушка.

ДОМ (*огорченно*). Еще раз простите, ребята. Мне очень стыдно. Я стал играть Моцарта не ради эксперимента, а просто из симпатии к вам. Потом, признаюсь, возникло спонтанное желание проэкспериментировать. Отсюда и бестактный вопрос о ностальгии.

ВТОРАЯ (*неожиданно расплакалась*). Я знаю, что мы не такие, как люди. У нас нет секса. Богатые старики, одержимые страхом смерти, заказывают нас за какие-то чудовищные деньги...

ДОМ (*тихо*). Деньги — это святое.

ВТОРАЯ. Мы знаем. Это мы знаем. Концепцию денег мы усвоили еще на ферме. Но, но, но... Я не знаю, что «но», но есть еще «но», какое-то «но», из-за которого я сейчас плачу.

ДОМ. Мне чертовски стыдно. Просто я как Дом — подчеркиваю, как ваш общий дом — хотел поговорить с вами. Я жаждал, чтобы вы разговорились. Я ведь впервые слышу, что вы так живо обмениваетесь мнениями. Эта тема о генных достройках и поправках, о жабрах и крыльях вас как-то всколыхнула. Это было для меня внове. Раньше вы были не очень-то склонны к обмену распространенными предложениями. Не правда ли?

ВТОРОЙ. О чем может говорить запасной двигатель? Основной двигатель жужжит, когда создает свою сферу движения, нередко и пердит, между прочим, а запаска должна молчать — не так ли? О чем ей говорить?

ДОМ. Вас подавляют старики?

ВТОРАЯ. Нет, ничего подобного. На ферме нам внушали с самого начала, что мы — это они, только в расцвете лет. И все-таки какая-то необъяснимая двусмысленность всегда присутствует и в доме и в обществе по отношению к нам, клонам, а также и в нашем отношении ко всему вокруг — тем более к нашим контактам. Эта двусмысленность есть и в тебе, Дом. Меня всю передергивает, когда Наталья Ардальоновна просит называть ее детским прозвищем «Какаша». Когда она обращается так же и ко мне — «Какаша», я прямо вся корчусь от стыда. Да неужто я не что иное, как продолжение этой старухи?

Я что-то к ней чувствую, но я предпочла бы не чувствовать ничего. Тем не менее я что-то к ней чувствую, и вовсе не то, в чем она меня постоянно подозревает, вовсе не презрение к «комической старухе», каковой она, очевидно, и является, эта Женщина Двух Столетий, что нацеливается и на третье. Я не знаю, что это, я просто теряюсь. И немного терзаюсь, должна признаться.

Хотелось бы мне узнать, из какой части ее тела взяли ту клетку? Ну, ту самую клетку — мою мать? Из печени, из щитовидки, из надпочечника? Однако на ферме нас учили — никогда не задавайте подобных вопросов.

ДОМ. Кажется, из мочки уха.

ВТОРАЯ (*с неожиданным восторгом*). Ой, неужели?! Из мочки уха?! Да ведь это же прелестно!

ДОМ. Вы все-таки не забывайте, ребята, что у ваших Первых, то есть у стариков, то есть у вас самих, в прошлом было немало интересных событий.

ВТОРОЙ. А мы и не забываем. Захочешь, не забудешь. На ферме клонов в нас вводили биографию оригиналов. Разумеется, я знаю, каким я был в оригинале. Детство на набережной Крузеиштерна в северном городе, который сейчас переименован в Сяньгань-Второй, то есть почти в мою честь. Родители, с которыми оригинал не считался. Бабка и дед, так называемый марксист, с которым он считался, но постоянно спорил. Бунтарская юность, отвержение правящей идеологии, тюрьма. После развала тюрьмы бурная коммерческая деятельность. Через его руки проходили огромные суммы денег. Он умел оперировать с этим святым понятием. Дуэли в Северной Америке. Захват какого-то могущественного крейсера с женским именем и женской сутью. Начало войны за чистоту всемирного воздуха. В те времена войны еще велись с человеческими жертвами, то есть

без применения систем отбрасывающих зеркал. Победа, всемирный триумф, присвоение звания Воссоздателя Воздуха; ну, и прочее. Что из того? Предполагается, что это и мое прошлое как его прямого продолжения, но что делать, если я не считаю всю эту героику моим прошлым? Может быть, я чего-то другого не знаю, что могло бы стать и моим прошлым? Пока что мое прошлое, уважаемый Дом, это только ферма клонов, и в нем ничего не происходило, кроме изучения прошлого какого-то старика, которого я увидел всего год назад.

ДОМ. Иными словами, ты — это не он, то есть вообще не Второй, да? Ты, стало быть, не клон?

ВТОРОЙ (*едва ли не в отчаянии*). В том-то и дело, что я все-таки клон, я — Второй. Я видел все его видео, это были мои изображения до тех пор, пока кожа у него не стала отвисать под своей собственной тяжестью. Сейчас я его почти не узнаю. Но все-таки узнаю. Это моя старость. Не очень приятно постоянно видеть свою старость, особенно когда она еще все время так фривольно бодрится. Я стараюсь не выдавать своих чувств, но он, наверное, принимает мою сдержанность за враждебность.

ДОМ. Ты любишь его?

ВТОРОЙ. Да нисколько!

ВТОРАЯ. И я нисколько! Я! Ее! Нисколько! (*Озадаченно.*) Только мочку ее уха — немного.

ВТОРОЙ. Послушай, Вторая, мы, кажется, собирались сыграть с тобой в пинг-понг. Начнем?

ВТОРАЯ. Давай!

Начинают играть. Слышатся удары по мячику и звон отскоков. Дом подсвистывает и аплодирует.

ДОМ. Одно удовольствие смотреть на этот теннис и видеть юность Славки и Какашки. Если только это их юность, а не чья-то другая.

Скажи мне, племя молодое
И незнакомое, увы,
Кто вы — утопии модели
Или исчадия совы?

КОНЕЦ ПЕРВОГО АКТА

АНТРАКТ

КОМЕДИЯ РАЗЫГРЫВАЛАСЬ В САМОМ НЕПОДХОДЯЩЕМ МЕСТЕ, В БОЛЬШОМ ЗАЛЕ КРЕМЛЕВСКОГО ДВОРЦА. В АНТРАКТЕ ТУСОВКА ШМУЗОВАЛАСЬ ДРУГ С ДРУГОМ, СТАРАЯСЬ НЕ ПОТЕРЯТЬ НИ ОДНОЙ ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ ДВАДЦАТИ МИНУТ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВРЕМЕНИ. БЫЛО НЕ ДО СПЕКТАКЛЯ, ПОЭТОМУ О НЕМ НИКТО НЕ ГОВОРИЛ.

ВСЕ ОБРАЩАЛИ ВНИМАНИЕ НА ВЕЛИКОЛЕПНУЮ ПАРУ АФРИКАНЦЕВ. И ОН И ОНА БЫЛИ ОБЛАЧЕНЫ В ПЕРЕЛИВАЮЩИЕСЯ ДИВНЫМИ КРАСКАМИ БУРНУСЫ. ВЗЯВ В БУФЕТЕ ПО БУТЫЛОЧКЕ ПИВА, ОНИ ОТОШЛИ К ВСЕНАРОДНОЙ ЕЛКЕ. ПИЛИ ИЗ ГОРЛЫШКА, НО ДАЖЕ ТАКОЙ ОБЩЕПРИНЯТЫЙ СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАПИТКА НЕ МОГ СКРЫТЬ ИХ ЦЕЗАРСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ. МЕЖ ГЛОТКАМИ ОНИ ГОВОРИЛИ ДРУГ ДРУГУ ЧТО-ТО НА КАКОМ-ТО ИЗУМИТЕЛЬНОМ ЯЗЫКЕ.

— ТЫ СМОЖЕШЬ ВЫДЕРЖАТЬ ВТОРОЙ АКТ? — СПРОСИЛ ОН.

— БОЮСЬ, ЧТО НЕТ, — СКАЗАЛА ОНА.

— А ГДЕ СТАС? — СПРОСИЛ ОН.

— ЕГО ЗДЕСЬ НЕТ, — СКАЗАЛА ОНА.

ТОГДА ОНИ УШЛИ.

В САМОМ КОНЦЕ АНТРАКТА ЖИРНЫЙ ЧОРСКИНД СКАЗАЛ ДОЛГОВЯЗУМУ ГОВНОВОЗОВУ, ЧТО, ПО СВЕДЕНИЯМ ИЗ СЕКРЕТНОЙ СЛУЖБЫ, НА ПЕРВОМ АКТЕ БЫЛА ЧЕТА «МЕГАОЛИГАРХОВ», НО В ПЕРЕРЫВЕ ОНИ УШЛИ. НОВОСТЬ МОЛНИЕНОСНО РАСПРОСТРАНИЛАСЬ ПО ТУСОВКЕ, И ОНА ВСЯ УШЛА.

КОГДА ЗАЛ ОПУСТЕЛ, АФРИКАНЦЫ ВЕРНУЛИСЬ.

АКТ ВТОРОЙ

Прежние декорации в вечернем освещении. Солнце готовится опуститься за морской горизонт. Ярко-красный шар, как всегда на Кипре, обещает хорошую погоду на завтра. Между тем Овал в прозрачном зеленоватом зените переливается перламутром. На веранде уже начинаются сумерки. Кое-где по стенам пробегают светящиеся

змейки. Медлительно, словно в задумчивости, перемещается Фьюз. На его поверхности подмигивают разноцветные огоньки.

Дом, как это с ним иногда бывает, в одиночестве, в образе пожилого сдержанного джентльмена, задумчиво смотрит на море. Правая рука его движется в такт с тихим клавишным концертом. Вполне возможно, что это он сам является и исполнителем и инструментом.

ДОМ. Здесь, у подножия холма Аматус, иногда бывает так благолепно, что хочется взмолиться: мгновенье, остановись в этом доме, то есть во мне самом. Жара на побережье спадает. Температура двадцать пять градусов. Движение судов на поверхности, в атмосфере и на орбите проходит по расписанию. Турецкие войска перешли в контрнаступление. Жертв нет.

В такой час здесь иногда сквозь мгновение просвечивает прежняя жизнь. Руины восстаиваются. Двигутся тени в разноцветных хитонах. Я наслаждаюсь одиночеством. Мне никто не нужен, даже мои хозяева, к которым я в общем-то привязан. Что ж, иначе и быть не может: дом должен быть привязан к своим хозяевам, такова концепция Овала. В качестве Дома я так или иначе являюсь участником демиургического процесса, то есть частью Овала. Так я полагаю, уповая на всемогущество Овала, и меня ничто не может опровергнуть, даже эскапады Мстислава Игоревича и Натальи Ардальоновны, не говоря уже о брожении в умах их Вторых.

Теперь проверим показания их «домовиток». На протяжении дня они существенно не изменились, за исключением вибрации флика и стагнации клистрадика. Общий показатель в секторе меццо и уайси равен оду. Жить им осталось...

ГРОМКИЙ ГОЛОС МСТИСЛАВА ИГОРЕВИЧА. Какаша, ты тоже приехала! Вот это здорово! Мы прибыли одновременно! Минута в минуту!

Почтенный джентльмен Дом немедленно исчезает. В неуклюжей поспешности прокатываются и исчезают фантомы Петуха и Попугая.

ГРОМКИЙ ГОЛОС НАТАЛЬИ АРДАЛЬОНОВНЫ. Славка, представь себе, у меня ничего не болит! Видишь, пры-

гаю по ступенькам! Хоп-хоп! Ой-ой! Это просто камешек в туфлю попал. Ну, на сколько я сейчас выгляжу?

ГОЛОС МСТИСЛАВА ИГОРЕВИЧА. На все свои бальзаковские.

ГОЛОС НАТАЛЬИ АРДАЛЬОНОВНЫ. Ехидина! Но на сорок с чем-то тяну, ну, не правда ли? Ну скажи, скажи, на сорок девять, да?

ГОЛОС МСТИСЛАВА ИГОРЕВИЧА. Меньше, меньше. Лучше, лучше. Ницше, ницше.

С этими словами супруги поднимаются на веранду.

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. Вот потеха, мне показалось сейчас, что по дому два каких-то холозагора прокатились или олеожара — из тех, что меня пугали в далеком прошлом, пока я не поняла, что это просто симпатичные галлюцинации. Ты ничего не заметил, Славка?

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Что-то мелькнуло, похожее не то на Петуха, не то на Попугая. Может быть, и тот и другой вместе. Не нужно пугаться, дорогая. Мне, например, не страшно. Уж если я в свое время не испугался, когда одному из этого разряда пришло в голову семьдесят лет назад скатиться с горы в Нью-Гемпшире, чтобы организовать всех оставшихся психов в барельеф застывающей «немой сцены». До сих пор не понимаю, как мне удалось смотаться из-под его хлыстика.

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. Может быть, это нас наша молодежь разыгрывает?

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Вторые? (*Поеживается.*) Вторые и игра? Несовместимо. Но ты не волнуйся, Какаша, ведь мы все-таки со всех сторон сейчас окружены виртуальной реальностью — не так ли? Иной раз и не поймешь, где тут живой поп, а где покойная попадья.

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. Ну хорошо, как у тебя было в Аделаиде, или где ты там был сегодня?

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Я произнес речь. Как всегда, standing ovation¹.

Там было открытие памятника нашей «Авроре». Все-таки здорово, что ее жертвенный подвиг до сих пор не забыт.

¹ Аплодисменты (овации) стоя (*англ.*).

Вся эта молодежь, сорока-, пятидесятилетние ребята и девчонки хором пели твою старую песню «Аврора, суровая дева морей»!

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА *(лукаво)*. И никто не пукнул? Никто не подпустил шептуна?

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Вот кто у нас настоящая ехидина! Наталья Ардадьоновна! Вместо того чтобы гордиться своим мужем, вечно подкалываете! Ну да ладно, лучше расскажи, как там было в Лондоне? Или где ты там была сегодня?

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. Как всегда, собрались в Букингеме. Его Величество Билл был очень мил, хотя быстро смотался. Объясняют вестибулярным воспалением, но, кажется, чистый геморрой. Представляешь себе, Билл — который мальчишкой так за мной гонялся, уже геморроидальный старик! Поступь истории! Остались одни дамы: Ее Величество Кукабурра, принцессы, фрейлины, премьер-министр, текстильщицы, доярки. Женщина Двух Столетий была в центре внимания.

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. И никто не напрудил лужицы?

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА *(хихикает)*. Был грешок, был, был. Но никто, конечно, не заметил. В приличном обществе полагается не замечать грешков.

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Ну вот и отлично. Старикашки Горелики провели большой плодотворный день. Мир нас не забыл. А сейчас, моя дорогая, пойдем переоденемся для встречи с нашим Гостем. Надеюсь, ты не забыла, что сегодня мы его угощаем настоящим гусем — точно таким же, каким потчевали «арзамасцев», — пропеченным на славу, с хрустящей кожей. И в сопровождении «Перье-Жу».

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. А может быть, лучше «Татинже»? Я однажды так надралась «Татинже», всех растормошила до колик. Когда это было, не помню. Вот он, склероз! Такие события выпадают из памяти! Дом, ты не помнишь, когда я надралась «Татинже»?

ДОМ. Всего лишь час назад, мадам, в Букингемском дворце.

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. А ведь верно! Нет, Славка, что ни говори, но у нас с тобой чудесный остроумный Дом.

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Вот чем хороша обеспеченная старость: можно обзавестись таким чудесным остроумным Домом.

Хихикая и даже слегка подтанцовывая в предвкушении приятного вечера, старики удаляются во внутренние покои.

Дом, снова в виде почтенного джентльмена-дворецкого, проходит по сцене, зажигает свечи — очевидно, в стиле предполагаемого виртуального ужина — и присаживается к бару.

ДОМ. Все-таки забавные старики. Большую часть своих жизней эти Славка и Какашка Горелики спасались от прессы и от светских тусовок. Всегда темнили со своими отъездами и приездами. Собираются, скажем, в Испанию, а пускают слух, что едут на Мальту. Едут, предположим, в Тбилиси, а друзьям говорят, что их ждут в Афинах. Даже и теперь, когда они в общем-то никому не нужны, продолжается то же самое. Утром он заявляет, что направляется в Кейптаун, а сам заказывает орбитоплан до Аделаиды. Так же и она: сетует на китайские формальности в Москве, едет как бы в Копенгаген, а сама делает пересадку на орбите и приземляется в Лондоне. И оба довольны: оторвались, сбили с толку докучливую прессу! Ну что ж, не будем их строго судить, ведь скоро в их жизни произойдет важное интересное событие.

Исчезает так же незаметно, как и появился. Хлопотливо, словно зазевавшиеся слуги, в глубине сцены прокатываются Петух и Попугай.

Возвращаются Мстислав Игоревич и Наталья Ардальоновна. С богемной изысканностью они облачены в длинные парчовые халаты; она в солнечно-оранжевый, он в лунно-синий. На головах у обоих красные санкилотские колпаки.

«Плодотворный день», очевидно, все-таки сказался на их физической форме. Оба одряхлели и согнулись. Впрочем, хихиканье и обмен шуточками не прекращаются.

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. Славка, что ты так весь трясешься? Переутомился, мальчик? Небось трахнул там, в Аделаиде, какую-нибудь австралопитечку?

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. А ты, Какашка, небось опять короля Билла за конец подержала? Когда же ты успокоишься, хулиганка? Эти сексделишки с главами государств так просто не кончаются. Вспомни, как в конце прошлого века американские республиканцы приревновали своего президента к еврейской девушке, чем это обернулось, какие огромные территории отпали к китайцам.

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. Ой, Славка, не смейся, я сейчас на куски развалюсь. Все пересаженные органы трясутся. Фьюз! Где мой верный Фьюзик? Спасай! *(Подсоединяется к соответствующей поверхности аппарата.)* Славка, присоединяйся, а то от тебя один только тореадорский солоп останется.

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ *(предлагает и свою руку заботливой машине)*. Ну, Фьюзон, давай-ка, пройдишь в темпе по всем двенадцати индексам!

ДОМ *(сухо)*. Он сам знает, по чему надо пройтись.

Аппарат усиленно пульсирует огнями.

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Ох, какая все-таки не слабая штука этот Фьюз! Слава тому, кто ее изобрел!

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. А кто, кстати, ее изобрел?

ДОМ *(еще суше)*. Ее изобрел Овал.

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ И НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. Слава Овалу!

Отходят от Фьюза вновь помолодевшие, достаточно упругие. Какаша даже изображает фламенку, щелкает как бы кастаньетами. Слава как бы полощет в руках мулету с некоторым намеком на тореадорские качества.

В просцениуме неизвестно чьими стараниями уже накрыт стол на три персоны. Супруги садятся напротив друг друга. Между ними должен поместиться виртуальный гость. Они надевают на головы легкие контактные обручи.

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Ну-с, а где же «Перье-Жуэ»?

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. Ты хотел сказать — «Татинже», мой милый?

Появляется Дом в виде дворецкого. Вносит ведро с бутылкой «Дом Периньона».

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. Вот это сюрприз! Слава, смотри, у нас сегодня виртуальный дворецкий.

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Ну и ну! Откуда вы взялись, любезнейший? Мы ведь, кажется, дворецкого не заказывали?

ДОМ. Я ваш Дом. Просто-напросто ваш Дом.

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Почему же вы раньше никогда не появлялись в таком симпатичном обличье, дорогой уважаемый Дом?

ДОМ. Затрудняюсь ответить, мои милые хозяева, мои весьма обожаемые старые авантюристы. Этот вопрос просто не в моей компетенции.

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА (*всматривается в черты Дома*). А вы знаете, дорогой уважаемый Дом, вы мне кого-то напоминаете! Нет, не могу припомнить. Нет, это вовсе не от маразма — никакого маразма у меня нет. Просто столько лиц промельтешили в этих столетиях, всех не упомнишь. Славка, посмотри, тебе никого этот приятный господин не напоминает? Хуанчика Испанского не напоминает? Эрика Норвежского не напоминает?

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Прошу прощения, он мне чем-то Максима Горького напоминает.

ДОМ (*с юморком*). Надеюсь, только усами.

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. Ой, умру! Сейчас мы проверим. Скажите, Дом, человек рождается для чего?

ДОМ. Для счастья, как птица для полета!

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Максим Горький!

ДОМ. Или Фридрих Ницше?

Все трое бурно, до изнеможенья, хохочут.

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. А почему же вы не подали «Татинже»? У меня от «Периньона» всегда щека дергается.

ДОМ. Ваш гость на запрос о шампанском ответил, что он выпил бы «Периньона».

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Какаша, не выступай! Щека у тебя от другого всегда дергалась.

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА (*дерзко*). От чего же?

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Боялась получить затрещину.

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА (*весело*). А вот это уже хамство, Мстислав Игоревич! (*Дому*.) Так что же Гость? Он близко?

ДОМ (*чуть заметно усмехается*). Близко ли? Как трудно иной раз бывает ответить на простой вопрос. (*Спохватывается*.) В виртуальном измерении, господа, иной раз бывает нелегко определить степень приближения и отдаления. Впрочем, он уже здесь. Камер-юнкер Его Императорского

Величества Пушкин Александр Сергеевич! *(Раскланивается перед пустым креслом, разливает шампанское по трем бокалам.)*

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА *(сжимает руки на груди)*. Боже, всякий раз, как я вас вижу, Александр Сергеевич, у меня перехватывает дыхание! Да-да, конечно — Александр. А вы, пожалуйста, зовите меня, если это возможно... я понимаю, я старуха, а для вас это имя вашей молодой любви, но не соблаговолите ли, да, Натали, да осчастливьте... Славка, теперь и ты тоже называй меня Натали, а не... не так, как раньше. Как, Александр, вы знаете и мою детскую кличку? Ну что ж, зовите Какашей, я буду втрое счастлива. А я вас буду иной раз величать по-лицейски, Французик.

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Давайте первый тост поднимем за шампанское, за ту роль, которую оно сыграло в русской литературе. Ура! Мне кажется, Александр, что все поэты вашей плеяды были одержимы шампанским. Мне хочется назвать вас «поколением шампанского». Правильно ли будет сказать, что без этого вина вообще не возникло бы российской лирической поэзии? *(Слушает, потом в восторге от подтверждения своей мысли бьет кулаком в ладонь.)*

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА *(хохочет)*. Да-да, Французик, мы об этом со Славкой много раз говорили, наши мысли совпадают, как совпадают наши сегодняшние цвета с цветом вашего изумрудного шлафрока. Послушайте, ведь водяра и бормотушные пунши рождали только тяжелые похмельные завывания. Стихи, рожденные водкой, похожи на отрывивания, а шампанское соединяет с небесами, даже если от него у тебя дергается щека. Вам ли этого не знать, Французик?! Вы знаете это, Французик! Да! Да! Ой, как остроумно, Французик! *(Подпрыгивает, как юная поклонница, но приземляется, схватившись за бок.)*

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Вот так, увы, получилось и с нашим постмодернистским поколением конца века. Росли ведь на пролетарских гадостях, Александр, — на сучке, на крепленых химических винах. К шампанскому-то подошли уже отравленными, да и то до чистых сортов никогда не дотягивали.

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. Помолчи, Славка, он читает! *(Слушает, сжав руки на груди, чуть слышно повторяет за своим виртуальным гостем.)* ...Я музу резвую привел

на шум пиров и буйных споров... и как вакханочка резвилась, за чашей пела для гостей, и молодежь минувших дней за нею бурно... (*Громко.*) Нет, нет, Александр, позвольте поклоннице вас поправить, у вас не «устремилась», а «волочилась»... И молодежь минувших дней за нею бурно волочилась, А я гордился меж друзей подругой ветреной моей! ...О Господи, душа моя отлетает к вам, мой друг! Я не хочу быть здесь, среди орбитопланов, я к вам хочу, на тройку, лететь в снежной пыли!

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Дом, ну что же ты, почему не несешь еще шампанского?

ДОМ. Прошу прощения, заслушался. Меня тоже, знаете ли, иногда тянет в те времена, к камер-юнкеру Пушкину, в Михайловское. Эти долгие ночи под завывание русской метели. Мнится там мне родственная душа, некая Арина Родионовна, душа дома. Впрочем, вот вам шампанское. (*Хлопает, одну за другой, пробками трех бутылок.*)

Струи, пена, смех.

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Вы видите, Александр, сегодня нас в вашу честь обслуживает дворецкий. Не правда ли, смешно — дворецкий в современном доме? Вообще-то он и есть наш Дом, наша Арина Родионовна. Знакомьтесь. Что-о? Как-каша, ты слышишь, наш Гость говорит, что он давно знаком с нашим Домом, то есть вот с этим джентльменом. Как давно, позвольте узнать?

ДОМ. Слава, Слава, вот это уже несколько нелепый, если не слегка бестактный по отношению к статусу камер-юнкера вопрос — давно ли?

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. Послушай, Французик, у нас сегодня для тебя еще один сюрприз. Дом приготовил для тебя — Впрочем, и для нас — настоящего гуся. Сейчас ты увидишь, он точно такой же, как в усадьбе Карамзина на заседании кружка «Арзамас». Именно в связи с этим гусем мы с мужем и надели санкюлотские колпаки — точно такие же, какими вы задирали Бенкендорфа. Как с твоей точки зрения, он мне к лицу? Ах, ну вот это в твоём духе, дамский угодник!

По мановению рукн Дома появляется Петух с блюдом жареного гуся и Попугай с гарниром и приправами. При виде призраков

Мстислав Игоревич в ужасе приподнимается из кресла, в то время как Наталья Ардальоновна откидывается в полуобмороке.

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Что это, Дом?! Откуда — эти?! Откуда — они?!

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. Слава, Славочка, разве ты не видишь, это холозагоры, это олеожары! С детства они мелькали передо мной где-то на периферии, я все время боялась, что они нахлынут и возьмут, лишат меня чего-то маленького, жалконького, ну то есть жизни моей, ну и вынесут потом на черных носилках в какие-то завихрения, о которых я уже ничего не буду знать, и вот приблизились вплотную.

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Дом, что это за шутки? На что ты намекаешь?

ДОМ *(с нежностью)*. Родные мои, родненьки! Ну что вы так перепугались? Ведь это просто слуги, приглашенные обслужить званый вечер. Просто из «Вирту Хай-класс Ужинство Сервис». Посмотрите на нашего Гостя. Он улыбается, он ободряет вас.

Петух и Попугай, расставив блюда на столе, тактично исчезают.

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ *(с облегчением)*. Ну видишь, родненька, их больше нет. Холозагоры испарились, олеожары растаяли в нежном воздухе Кипра. Да, Александр, вы правы, в нежном воздухе нашей старой любви.

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. Да-да, я вижу, родненька. Я с тобой и ты со мной, мы по-прежнему вместе. Да, Александр, вы правы: никто не может у нас отнять права хотя бы на гордо поднятую голову.

ДОМ. Никто не отнимет у нас права и на еще одну бутылку шампанского! *(Наполняет бокалы, не забывая и о себе.)*

Здесь следует сказать, что бокал перед пустым креслом исправно опорожняется, равно как и гусь с той стороны утрачивает то ножку, то крылышко.

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ *(слегка забурел)*. Вернемся к поэзии. Друг Александр, отгадай, какой твой стих мне всего дороже? Ты скажешь «Анчар», или «Памятник», или «Вновь я посетил», и ошибешься. Вообрази другое, как бы малое. Какаша, напomini мне название. *(Подставляет любимой ухо.)* Ну да, Ex Ungue Leonem, вот именно. Сейчас припомню

строки, чтобы ты видел, что старый хрыч еще не зарос склерозом. Вот, изволь.

Недавно я стихами как-то свистнул
И выдал их без подписи моей;
Журнальный шут о них статейку тиснул,
Без подписи пустив ее, злодей.
Но что ж? Ни мне, ни площадному шуту
Не удалось прикрыть своих проказ:
Он по когтям меня узнал в минуту,
Я по ушам узнал его как раз.

Ничто, друг Александр, не даст мне увидеть минуту твоей жизни ярче, чем этот стих. Я так и вижу тот ветреный день на Невском, где, словно стая гусей, хлопают крылатки и пелерины и где вы с Дельвигом выходите из лавки Смирдина. Ты читаешь ему этот стих, и вы оба хохочете по адресу господина Измайлова. Или на Английской набережной, где я, между прочим, был рожден сто лет назад — вы прогуливаетесь с Вяземским в тот день двести тридцать пять лет назад — всего лишь за сто тридцать пять лет до моего рождения, экая ерунда, — и ты протягиваешь другу листок со стихом, и вы хохочете по адресу всей этой публики из «Благонамеренного», а в это время сильный ветер гонит волну с залива, хлопает флагами и парусами на якорной стоянке, и ты весел, как молодые львы твоей исторической родины, и мудр и когтист, как Венецианский книжник-лев, и тебе так нравится жить в этот день, как абиссинским львам радостно нестись по саванне за антилопами! (*Смущенно умолкает.*)

ДОМ. Вот как прекрасно, Слава! Целиком присоединяюсь к камер-юнкеру, который так приятно удивлен твоими проникновениями. Ну, а теперь твоя очередь, дорогая Натали, всем этим миром любимая Женщина Двух Столетий. Какой из стихов камер-юнкера любим тобой более других?

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА (*с трепетом*). Он, кажется, знает. Да-да, Александр, родной мой Французик, вот именно это. Прочсть? Нет, я не решусь в вашем присутствии. Ну что ж, если вы настаиваете, прочту.

Лишь розы увядают,
Амврозией дыша,

В Элизий улетает
Их легкая душа.

И там, где волны сонны
Забвение несут,
Их тени благовонны
Над Летою цветут.

Позвольте мне сказать, что вы уже и тогда, при жизни, переступали непостижимую черту, вы ощущали зыбкость реальных вещей и их вечную суть.

ДОМ. Я ужасно смущен, мне, право, неловко вам напоминать о том, что мы все пока еще у времени в плену, а время вашего ужина сегодня по сетке вирту все вышло. Надеюсь, вы не рассердитесь на меня за это напоминание, родненькая Слава и ты, родненькая Какаша, а особенно вы, ваше высокоблагородие камер-юнкер Пушкин, перед лицом этих парадоксов Хроноса, от которых вы отвыкли.

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. О Боже, солнце нашей поэзии целует мне руку! Славка, я чувствую губы Французика на моей тянутой-перетянутой коже! *Au revoir, Sacha!*

Порыв ветра задувает свечи на столе, как бы обозначая уход виртуального Гостя.

Вслед за этим исчезает «дворецкий».

Мстислав Игоревич и Наталья Ардадьоновна снимают свои обручи и санкюлотские колпаки. Долго сидят молча. Дом исполняет барокко, стараясь успокоить не в меру взбудораженных хозяев.

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Ты слышишь, родненькая, что играет Дом? Это концерт Алессандро Марчелло, тот же самый, что напевал один холозагор, когда спустился с горы в Нью-Гемпшире шестьдесят семь лет назад. Что за странный день — все время я слышу какие-то отголоски старины. И потом, эти «интересные встречи», они становятся все более и более ошеломляющими... Можно было бы сказать, что это все трюки вирту, если бы не было очевидно, что тут действует более тонкий состав.

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. Ничего тут не действует и ничто не бездействует. Ничего тут нет невероятного и ничего вероятного. Нет никакого состава и никаких тонкостей. Нет

тут ни тутто, ни зеро. И «нет» тут отсутствует, и «да» не присутствует. Ты понимаешь, что я хочу сказать, родненька?

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Что-то мелькнуло, родненька, похожее на понимание. Мелькнуло и исчезло. *(Встает, прогуливается по веранде, останавливается у открытой стены.)*

За террасой уже вовсю цветет кипрская ночь. Свет луны и лучи Овала пронизывают потемневшее море. Ветер колышет верхушки кипарисов. Наталья Ардальоновна внимательно смотрит на мужа.

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. Как я счастлива, родненька, что ты все-таки нашел меня тогда в Лиссабоне шестьдесят пять лет назад. И отбил у своры диких мужланов, и прежде всего у дикого призрака Ильича Гватемалы. Ведь я же просто изнемогала, просто чахла в неволе, в плену у классика циклопического реализма. И вдруг явился ты, свободный, легкий, пространством и временем полный, с мешком, набитым миллиардами баксов. Как это здорово, когда за тебя платят непостижимо огромную сумму! Как я счастлива, что мы с того дня уже никогда не расставались! После этих стихов о душе ароматов, что я читала вместе — подумай только, с Пушкиным! — я сейчас смотрю на тебя, старого пикачу, и будто вижу, как твоя душа расцветает рядом с моей, и так счастлива, словно наш Гость сегодня что-то важнейшее в нашей жизни освятил.

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Вот теперь я все ближе тебя понимаю, моя родненька. Странно, сегодняшний день начался как обычная рутина дряхлости: все эти стычки, приступы маразма, подзарядки от Фьюза, общественная деятельность за морями, — однако с самого утра я чувствовал, что возникнет что-то новое. Знаешь, сейчас меня не гнетет ничего, даже присутствие Вторых. Ну пусть, мы, может быть, совершили глупость, но главное состоит в том, что мы вместе, мы неразделимы, и я теперь смело могу задать вопрос, от которого всегда бегу. Дом, сколько мне осталось жить?

ДОМ. Боюсь, что нисколько.

Наталья Ардальоновна встает и начинает медленно приближаться к мужу.

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Так. Ну хорошо, нисколько. Но сколько все-таки дней осталось?

ДОМ. Боюсь, что ни одного.

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Вот так? Ни одного? (*Его начинает трясти.*) Сколько часов?

ДОМ. Боюсь, что ноль часов.

Наталья Ардальоновна приблизилась к мужу и взяла его за руку.

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. Сколько минут?

ДОМ. Пятьдесят. Пятьдесят. Пятьдесят. (*Исторгает что-то похожее на короткое рыдание.*)

Мстислав Игоревич тигриной походкой, таща за собой жену, подходит к одной из стен.

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Сломалась ты, что ли, проклятая штука? Не понимаешь вопросов?

ДОМ. Я не штука, Слава. Я все понимаю. Жить вам осталось сорок девять минут.

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ (*угрожающе*). А ты не подумал, что с ней будет, с Какашкой? Куда она без меня денется?

ДОМ. Наталья Ардальоновна уйдет вместе с тобой, Мстислав Игоревич. По каким-то причинам вы умрете одновременно.

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. Какое счастье! (*Обнимает мужа.*)

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ (*дико воет*). Н-е-е-т!

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. По тем причинам, что мы с тобой одно, мой родненька. Мы прожили с тобой жизнь в любви и умрем одновременно, как в сказках наступает конец: они жили счастливо и умерли в один день. Выше голову, родненька! Никто не может отнять права на гордо поднятую голову!

ДОМ. Это верно.

НАТАЛЬЯ АРДАЛЬОНОВНА. Даже если башка трясется.

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Сколько осталось?

ДОМ. Сорок семь минут.

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ. Значит, у нас еще есть время распить бутылку шампанского?

ДОМ. Вполне достаточно. Идите в спальню, мои родненьки. Выпейте шампанского и ложитесь вместе в постель. Обнимитесь, прижмитесь друг к другу и умирайте.

Рука об руку супруги направляются в спальню. Слава несет шампанское. Какаша на секунду задерживается у стола и с шаловливым смешком прихватывает еще одну бутылку. Они исчезают.

Сумрак сгущается. Отчетливо на стенах и на полу проявляются полосы небесного света.

Дом вновь появляется в обличии «дворецкого». Присаживается возле Фьюза.

ДОМ. Теперь мне впору самому подзарядиться от Фьюза. Колотит, как будто землетрясение на дворе. Осталось чуть больше получаса. Два тромбика, у него и у нее, движутся по кровотокам, чтобы остановиться в мозгу. И я почему-то ничего с ними не могу поделаться. Они не поддаются никаким средствам. Скорее всего, это результаты бесконечных пересадок органов, до которых родненьки были так охочи. Ну что ж, ну что ж...

Не замеченный Домом, на террасу со стороны моря поднимается Второй. Расставляет на треноге какой-то прибор сродни телескопу. Направляет трубу на Овал.

ДОМ (продолжает). Этот остров был едва ли не родиной для Славы. Здесь он начал свои авантюры в девяностых годах прошлого века. Ну, разумеется, офшорные мошеннические операции. Купля-продажа ценных бумаг, а также полуфиктивные и совсем фиктивные поставки. Например, поставки электролитических никелевых катодов на сумму сто восемьдесят миллионов долларов. КаспийНефтеХим, зарегистрированный на острове Гваделупа, гнал сюда несуществующий мазут через кипрскую офшорную компанию «Гротеск инкорпорейтид» с 400 миллионами баксов задатка по конкурсу АО «Телесвязь» опять же через кипрскую группу «Аврора шелл». Недаром русская братва называла эти места на свой манер: остров Шипр, город Малоссоль.

Отсюда производились выбросы валютных потоков на фондовые рынки Р-Федерации. Здесь произошла перепродажа 60 000 тонн рафинированной меди и открытие кредитной линии для закупки 70 000 тонн вторчермета, которые на деле оказались новеньким авианесущим крейсером. Здесь же было оформлено таинственное, хотя и кратковременное, приобретение тогдашнего левиафана по имени «Газпром», который потом оказался основным вкладом бывшей России в

Китайский Союз. Отсюда пошла связанная с этим делом лавина ценных бумаг. Возникла группа «Кипр-Эллада» по управлению какими-то паевыми фондами. Миллион декалитров спирта пошел в обмен на племенной завод имени Ленина с дальнейшим полным исчезновением как кошмарного имени, так и быстроногого содержания. Здесь завершился переброс сотни тренированных для подводной войны дельфинов с секретных баз ГРУ в морские цирки Средиземноморья и Карибских островов. Старожилы тут, кажется, еще помнят торжества по поводу псевдопродажи акций тридцати российских алюминиевых заводов. Et caetera, et caetera. (*Закуривает сигару.*)

Пока Дом произносит свой монолог, за его спиной на освещенную ночными огнями террасу со стороны моря поднимается Вторая. Застывает, увидев склонившегося над своим прибором Второго. Зритель видит лишь силуэты юноши и девушки.

ВТОРАЯ. Привет, Второй!

ВТОРОЙ. О, да это ты. Вторая! Привет, привет!

ВТОРАЯ. Что за странности? Что ты здесь делаешь со своим телескопом?

ВТОРОЙ (*с некоторым смущением*). Да вот вдруг охватило меня желание...

ВТОРАЯ. Тебя? Охватило? Желание? Что это значит?

ВТОРОЙ. Вдруг захотелось, знаешь ли, посмотреть через трубу на поверхность Овала.

ВТОРАЯ. Смотреть в телескоп на поверхность Овала? Что за странности, Второй?

ВТОРОЙ. Сам не понимаю. Какое-то смутное, но непреодолимое желание. Я вспомнил, что Старик иногда смотрит с террасы на Овал в какой-то прибор, и вот вытащил эту штуку.

ВТОРАЯ. Смутное желание? Ты всегда был таким отчетливым, ясным, и вдруг «смутное желание»?

ВТОРОЙ. Так или иначе, я теперь смотрю на поверхность Овала.

ВТОРАЯ. И что же ты там видишь? Что можно увидеть на поверхности Овала, кроме переливов хромограммы?

ВТОРОЙ (*глухо*). Вижу кое-что.

ВТОРАЯ (*нетерпеливо*). Так что же?

ВТОРОЙ. Мне трудно сказать.

ВТОРАЯ. Скажи все-таки. Ну, скажи!

ВТОРОЙ. Дело в том, что я там вижу тебя. Просто-напросто вижу твою физиономию, Вторая. (*Неуверенно смеется.*) Такую смешную...

ВТОРАЯ. Мою смешную физиономию? Что ты хочешь этим сказать?

ВТОРОЙ. Ну, не знаю, как сформулировать. Может быть, просто милую. Такую милую смешную рожицу.

ВТОРАЯ. Овал Всемогущий, он назвал меня смешной и милой!

ВТОРОЙ. Не тебя, а твою рожицу на Овале — вот что я назвал смешной и милой.

ВТОРАЯ. Дай-ка мне посмотреть! Я тоже испытываю смутное, но непреодолимое желание.

ВТОРОЙ. Осторожно. Мне кажется, мы можем угодить в какую-то ловушку. Может, тебе не смотреть?

ВТОРАЯ. Поздно. Теперь я не могу даже представить себе, что не посмотрю сейчас, вот в эту минуту, через телескоп на поверхность Овала. (*Топает ногой.*) Ну-ка, дай мне взглянуть! Отойди от экрана!

Он отходит в сторону. Она принимает к телескопу.

ВТОРОЙ. Видишь себя?

ВТОРАЯ (*звонко смеется*). Вижу кое-кого, но не себя.

ВТОРОЙ. Кого же?

ВТОРАЯ. Тебя! Твою физиономию. У тебя такой смешной, смешной, ой, Второй, такой забавный вид!

Пока на террасе разыгрывается эта сцена, Дом прогуливается с сигарой по затемненной комнате. Время от времени он снимает с полки и рассматривает какие-то фото, открывает какие-то книги и переворачивает страницы, берет бутылку виски и наливает себе хорошую порцию.

ДОМ. И вот теперь он умирает. И она с ним. Осталось десять минут до их конца. Перед концом все-таки следует вспомнить бунт этого, как тогда говорили, «нового русского». Новейшего из новых, руссешшего из русских, хоть и еврея частично.

После того как он нахапал гигантский капитал, он стал одержим двумя сильнейшими, почти метафизическими идеями: спасением своей пропавшей любви и спасением человеческого воздуха, как бы широко эти вещи ни понимались. Мир, по его мнению, начинает задыхаться от пердежа, от неумеренного выпуска сероводорода, и от тупого, укоренившегося в обиходе вранья, что равносильно сероводороду. Каждый, пусть даже малый, акт вранья и лицемерия, а также трусости, может быть, даже особенно трусости добавляет газа к общему нарастающему зловонию. Воздух, в котором человеческой расе дано возникнуть, произрасти и истлеть, становится непригодным для этих благородных целей.

План его был прост, хотя на первый взгляд и невыполним: освободить свою любовь из оков сексуального рабства, вдвоем оседлать похищенный атомный крейсер «Аврора», который уже в те времена был близок по своему интеллекту к нынешнему высокоразвитому дому, хотя и отличался от него ярко выраженным женским началом, и предъявить ультиматум центру всемирного бздёжа, постсоветской Российской Федерации. Превратив свое колоссальное богатство в мешки наличных, он колесит по всему миру, словно заблудившийся крестносец, и подрывает устои больших и малых мафиозных структур.

Из всех российских новобогачей он был единственным бывшим политзаключенным. Комсомольские гангстеры устроили на него всемирную охоту, но он умудрился уцелеть. Одного за другим он убивал на дуэлях обладателей своей почти уже превратившейся в миф Наташи-Какаши или откупался от них миллиардами долларов.

Человек гумилевского склада, да к тому же еще рожденный кесаревым сечением, он не знал чувства страха и, похоже, даже искал опасность. Только в старости, весь составленный из пересаженных органов погибших в катастрофах людей, он стал бояться смерти.

И вот теперь он умирает. Осталось семь минут. И вместе с ним умирает его вечная любовь, в которую до семидесяти пяти лет неизбежно влюблялись все мужчины в мире, за исключением японцев. Та, что увела Россию на Запад, и, только глубоко состарившись, позволила китайским красным утянуть ее обратно. Та, чьи песни до сих пор распевает альтернативная молодежь. Та, которая с трибун конгрессов могла убедить да-

же голливудских продюсеров прекратить их пердеж. Та, которую справедливо называют Женщиной Двух Столетий. (*Прислушивается.*) Теперь я слышу звуки их агонии. Хрипы, хлюпанье, кудахтанье — это звуки последней минуты. С шумом из обоих выходят газы. Струятся жидкости, прозрачные и не очень. Не хуже старца Зосимы, они в эти секунды распространяют зловоние. Все. Тела неподвижны. Если бы я не был просто их домом, я последовал бы за ними. Теперь я пуст. (*Допивает свое виски и уходит.*)

Сильный луч, словно направленный прямо с Овала, озаряет террасу. Юноша и девушка продолжают возиться вокруг телескопа.

ВТОРОЙ (*хахочет*). А я вижу тебя и только тебя!

ВТОРАЯ. А я вижу тебя и только тебя! (*Заливается смехом.*)

ВТОРОЙ. Да ну тебя, Какашка Вторая, там только ты и только ты. Там вообще никому нет больше места — только тебе.

ВТОРАЯ. Ты меня разыгрываешь, Славка Второй, там ничего нет и быть не может, кроме твоей румяной физиономии.

Неожиданно для самих себя они кладут руки друг другу на плечи и застывают. Они в смятении. Не понимают впервые возникающего чувства.

ВТОРОЙ (*снимает руки с ее плеч*). Послушай, Наташка Вторая, наши старики уже спят. Есть предложение. Давай-ка вытащим из бара бутылку шампанского и хорошенько напьемся! Ну, как они это делают — ты же видела.

ВТОРАЯ. Ну, Славка Второй, ты даешь! Вот уж никогда от тебя такого выступления не ожидала! Напиться шампанского? А разве ты забыл, как нам на ферме говорили: не ходите в рестораны, не губите репутации, кто шампанского напьется, утром горько ужаснется?

ВТОРОЙ. На фиг эту ферму! Не было никакой фермы!

ВТОРАЯ. Ура! Не было никакой фермы! Ура шампанскому!

Прыжками слетают с террасы на веранду. Хлопок шампанского. Пена. Хохот. Бутылка мгновенно опорожняется.

ВТОРОЙ. Фу! Потрясающее впечатление! Весь мир мгновенно преобразился, как... как я не знаю что! Весь мир как бы затанцевал, Какаша Вторая.

ВТОРАЯ. Верно, верно, все как-то затанцевало в стиле ретро. Как старики наши иной раз начинают танцевать, подзадorившись от Фьюза и нахлебавшись шампанского. Все эти танцы конца двадцатого века — диско, ламбада, макарена. Но больше всего из их танцев мне нравится свинг. Даже для них этот свинг считается какой-то древностью, но они танцуют его с таким смешным азартом. Помнишь, они говорят, что в конце тысячелетия свинг вдруг снова вошел в моду?

Сцена наполняется звуками свинга.

ВТОРОЙ. Прекрасно помню. В конце тысячелетия мы с тобой завалились в университет Пинкертон на массовый урок свинга. То есть не мы с тобой, а старики, которые были тогда еще молодыми. Там были сотни ребят с напояженными башками и девчонки в белых носочках. И мы плясали всю ночь с этими птенцами. То есть не мы, а они, конечно.

Начинают танцевать.

ВТОРАЯ. Давай, давай, двигайся! Больше жизни, Славка!

С безумной энергией юнцы выкаблучивают вокруг неуверенно мерцающего Фьюза. Второй подбрасывает Вторую, как заправский исполнитель свинга.

Вдруг оба останавливаются и смотрят друг на друга.

ВТОРОЙ. Я никогда не думал, что ты такая.

ВТОРАЯ. Какая?

ВТОРОЙ. Ты сводишь меня с ума.

ВТОРАЯ. Это ты почему-то сводишь меня с ума.

ВТОРОЙ. У меня все налилось вот здесь. Потрогай.

ВТОРАЯ. Ты стал просто каменным здесь. Положи мне руку вот сюда.

ВТОРОЙ. Ты мокрая здесь. Дай я сниму с тебя вот это. Пусти меня к себе.

ВТОРАЯ. Боже, как я люблю тебя! Уйдем туда, за ширму, как они обычно туда уходят.

ВТОРОЙ. Дай мне пронести тебя туда, любимая моя!

Он уносит ее на руках. Под замирающие звуки танцевальной музыки, за ширмой, почти невидимые публике, они начинают предаваться любви. Невразумительное бормотание, повизгиванье, стоны, смех, мычание, толчки.

Через сцену между тем Петух и Попугай в торжественно замедленном движении, довольно нелепом при их неуклюжести, прокатывают на колесиках носилки с останками Мстислава Игоревича и Натальи Ардальоновны. Болтаются его рука и ее нога.

Вдалеке, один за другим, слышатся два всплеска. Останки преданы морю.

Из темного угла, где совершалась любовь, в просцениум выходят, держась за руки, юные Слава и Какаша. Не отрываясь, смотрят друг на друга. Опускаются на пол.

СЛАВА. Что-то невероятное произошло с нами. Интересно, как к этому отнесутся старики?

КАКАША. Какие старики?

СЛАВА. Тут были какие-то старики, но я не могу их точно припомнить.

ДОМ. Здесь больше нет никаких стариков.

КАКАША. Ты слышишь, Славка-родненька, здесь нет никаких стариков. Здесь только мы с тобой. Ты и я, больше никого.

СЛАВА. Да, только мы с тобой. Насовсем. Вот что с нами произошло. Мы с тобой соединились, родненька.

КАКАША. А ты помнишь, Славка, как мы с тобой встретились? Помоги мне. Где это было и когда?

СЛАВА. Это случилось в августе, год не помню. На Елагином острове в устье Невы. В гробном клубе «Спартак». Я там работал сторожем.

КАКАША. А мы туда с девчонками двинулись, потому что узнали, что ребята там нюхают клей и курят туркменскую анашу.

СЛАВА. Я услышал, что на мостках какие-то девчонки шалят, и пошел к вам. Вы принесли три бутылки «Солнцадара», но у меня и у самого был запас крепленой бузы.

КАКАША. Ты приближался с двумя веслами на плече и на фоне заката казался почти силуэтом. Я была просто поражена. Кто это? Как, ты не знаешь, удивилась Милка Штра-

ух — одноклассница, да ведь это же Славка Горелик, великолепный антисоветчик!

СЛАВА. А ты была вся залита закатным светом. Болтала ногами в воде. В тебе было столько озорства и тревоги! Я сразу понял, что ты — моя! Неотразимая зеленоглазая bestия!

КАКАША. А я боялась, как бы тебя Милка или Никитина не подцепили. Потом-то я им просто сказала: сваливайте, подруги, Славка — мой!

СЛАВА. Быстро стемнело.

КАКАША. И мы остались одни.

СЛАВА. И не могли уже оторваться друг от друга, вот как сейчас, почти восемьдесят лет спустя.

КАКАША. И трахались до утра на мостках. Ты меня просто измучил. Тридцать один совокуп — я считала! У меня весь живот ввалился.

СЛАВА. Таков тогда был мой принцип: трахаться так, чтобы у нее весь живот ввалился.

КАКАША. Нахал. Ты всегда был нахалом.

СЛАВА. А ты была мучительницей нахала. Еще школу не кончила, а была учительница-мучительница.

КАКАША. Это мне нравится — учительница-мучительница.

СЛАВА. А в перерывах мы пили бормотуху и смолили шмаль.

КАКАША. И пели разные песенки. Репертуар тогдашней подпольной молодежи. *(В руках у нее появляется гитара.)* Давай вспомним нашу любимую.

ОБА.

Ветер принес издалека
Прежней весны уголек.
Вторил там Сашеньке Блоку
Тысячелетний Блок.

Розы, цветы, эвкалипты
Вырастут здесь на снегу.
Встретим же Апокалипсис
Стаей гусят на лугу.

Ровно, темно и глубоко,
Милый наш брат Александр,

**Ветер принес издалека
Ящик крепленых «Массандр»...**

СЛАВА. Полно было звезд в ту ночь.

КАКАША. Я смотрела на них из-под тебя всю ночь и пыталась узнать созвездия.

СЛАВА. А я их видел под тобой, в качающейся воде. Узнал там Сатурн, а за ним качались Стожары.

КАКАША. Тогда еще не прибыл Овал. Воображаешь, в небе не было Овала, и мы еще не знали, к кому непосредственно обращаться.

СЛАВА. Все было бы иначе, если бы тогда уже прибыл Овал.

ОБА. Слава Овалу!

КАКАША. На следующий день, едва проспавшись, я прискакала в «Спартак», но тебя там уже не было, а ребята-гребцы мне сказали: твоего парня утром большевики арестовали.

СЛАВА. И Пенелопа пустилась в Одиссею.

КАКАША. А Одиссей ждал, как Пенелопа, только в тюрьме. А я, идиотка...

ОБА. Слава Господу нашему и демиургу Овалу! Спасибо за то, что мы снова встретились и не расстались!

Целуются, прижимаются друг к другу, замирают и погружаются в темноту.

Ночь. Спокойствие. Тихий гул африканского ветра. Медленно проколобасилн через сцену Петух и Попугай. В руках у них проплыли портреты дряхлых стариков, Мстислава Игоревича и Натальи Ардадьоновны. Прихрамывая, со стаканом своего виски прошествовал Дом, чем-то похожий в этом своем обличье на Максима Горького, Фридриха Ницше или еще какого-нибудь писателя прошлого.

Пьеса завершается ранним утром следующего дня. Солнце, поднявшееся из-за холма Аматус, уже озарило верхушки пальм. В просцениуме мы видим раскинувшихся в счастливом сне Славу и Какашу.

ДОМ. Слава, вставай! Наташенька, просыпайся! Доброе утро! Температура двадцать по Цельсию, семьдесят один по Фаренгейту. Турецкие войска отброшены к болгарской грани-

це. Жертв нет. Все ваши показатели настолько нормальны, что их нет нужды сообщать. Жить вам осталось...

СЛАВА. А вот этого не надо.

ДОМ. Много. Долго.

СЛАВА (*потягивается*). Надо будет заказать новый дом.

КАКАША (*еще сквозь сон*). Хорошая идея, родненька.

СЛАВА. Дом, ну ты сам пойми, зачем нам теперь все эти фьюзы и говорящие стены?

ДОМ. Не продолжайте. Я ухожу. Стены молчат.

В глубине сцены последний раз медленно проходят и исчезают фантомы «дворецкого», Петуха и Попугая. За ними, обескураженно чирикая, укатывается Фьюз.

ЗАНАВЕС

Сентябрь 2000

Фэрфакс



СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Вездеход	5
Гусь-Под-Зонтиком	8
Задрав штаны, бежать за комсомолом	14
Рассейся, мой бедный народ!	25

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Кстати о человечестве	33
Одинокый Стас Ваксина	37
Пинкертон	41
Девушка из «Четырех сезонов»	48
Сестры О	51

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Блюз 116-го маршрута. <i>Рассказ</i>	60
Под оранжевой лампой	82
Fax for M.F.	90

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Атеистический астенник	104
«Малые триумфы»	109
Звезда «Нарвских ворот»	117

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

Горе, гора, гореть. <i>Драма в двух актах</i>	135
Акт первый	136
Акт второй	178

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

Звонок Незабываемой	202
В углу на диване	212
Исторический экскурс	212
Еще немного психреализма	220
Небрежное вознаграждение	226
Грехопаренье	232

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

Кукушкины острова. <i>Малый роман</i>	236
На борту «Муромца»	236
Мир искусства	246
Новые горизонты	250
Эко чудо!	264

Чистая лирика	276
В зале «Чаир»	300
Операция «Налим»	311
Приятная компания на террасе	322
Бэби Кассандра. <i>Рассказ</i>	326
Хуррафф Хуразу!	340

ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ

Аврора Горелика. <i>Драма в двух актах с 11 монологами</i>	366
Акт первый	367
Акт второй	403

ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ

После спектакля	421
Мы нервные люди	423
Класс конфликтологии	426
Роман подходит к концу; народ разъезжается	439
Снова на «Делорене»	447
Бильярд в половине девятого	451
Концерт Джима Крупы	455
Старые клавишины	458

ЧАСТЬ ДЕСЯТАЯ

Весна в конце века. <i>Дневник сочинителя</i>	466
I	466
II	467
III	470
IV	473
V	476
VI	477
VII	482

ЧАСТЬ ОДИННАДЦАТАЯ

Пегас Пикассо	486
Зима 1913-го	490
Еще один набросок: 1931 год	498

ЧАСТЬ ДВЕНАДЦАТАЯ

«Эр-Гор»	503
Оракул ЦИРКСа	549
Гранатовое зернышко	515

ЧАСТЬ ТРИНАДЦАТАЯ

Телефонная книга	546
Чарли	547

Бенни	549
Брик	551
Карло	554
Берг	555
Обничали	557
Долг	560
Charlemagne	566
Маша	571
Онегин	579

ЧАСТЬ ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Ах, Артур Шопенгауэр! <i>Пьеса в двух актах</i>	584
Акт первый	584
Акт второй	611

Василий Аксенов
КЕСАРЕВО СВЕЧЕНИЕ
роман

Редакторы: *Михаил Гуревич, Наталья Гуве*
Художник *Александр Анно*
Корректоры: *Татьяна Калинина, Наталия Пуцина*
Издательский редактор *Александр Перевозов*

Подписано в печать с готовых диапозитивов 30.07.2001 г.
Формат 84×108/32. Гарнитура «Таймс»
Печать офсетная. Усл. печ. л. 20,0
Тираж 15 000 экз. Заказ 1261.

Издательство «Изографус»
Москва, ул. Петра Романова, д. 19, офис 13
Тел. 969-42-09
Отдел реализации: Москва, 3-й Павелецкий проезд, 9
Тел. 235-07-31, факс 235-02-37
e-mail: izograf@tsr.ru

ЗАО «Издательство «ЭКСМО-Пресс»
Изд. лиц. № 065377 от 22 августа 1997 г.
125190, Москва, Ленинградский проспект,
д. 80, корп. 16, подъезд 3

Интернет/Home page – www.eksmo.ru
Электронная почта (E-mail) – info@eksmo.ru

Книга – почтой
Книжный клуб «ЭКСМО»
101000, Москва, а/я 333. E-mail: bookclub@eksmo.ru

Оптовая торговля:
109472, Москва, ул. Академика Скрябина, д. 21, этаж 2
Тел./факс: (095) 378-84-74, 378-82-61, 745-89-16
E-mail: reception@eksmo-sale.ru

ISBN 5-04-008737-3



9 785040 087372 >

АООТ «Тверской полиграфический комбинат»
170024, г. Тверь, пр-т Ленина, 5.



ЧИТАЙТЕ КНИГИ ВАСИЛИЯ АКСЕНОВА

Апельсины из Марокко

«Коллеги», «Звездный билет», «Апельсины из Марокко», написанные Василием Аксеновым в шестидесятые (прошлого уже века!) годы, сделали его знаменитым. Время действия всех трех повестей – те же шестидесятые – многим сегодняшним читателям может показаться царством абсурда. К примеру, сюжет одной из них лихо закручен вокруг незаурядного для советской действительности события: лютой зимой в дальневосточный городок пришел груз экзотических апельсинов и стал центром для всей таежной и морской округи. Между тем, герои всех трех повестей – веселые, непоседливые, славные молодые люди со всеми достоинствами и недостатками нынешних – ищут в море, в тайге, в сельской больнице, кто где, приложение своим силам, свободу, свежий воздух. То, чего так часто не хватает нам и сегодня.

Затоваренная бочкотара

В давние времена, шестидесятые – семидесятые, люди до дыр зачитывали журнальные тетрадки с его новыми повестями и рассказами. Особенно популярна была «Затоваренная бочкотара» – фразы из нее становились крылатыми. Пусть и нынешний читатель откроет для себя эту мудрую и озорную повесть, откроет «Поиски жанра», «Пора, мой друг, пора», «Рандеву», «Свияжск». Ведь по сути дела Россия сегодня все та же...

Скажи изюм

Один из самых известных романов Василия Аксенова — озорная, с блеском написанная хроника вымышленного фотоальбома «Скажи изюм». Несколько известных советских фотографов задумали немыслимое для советской действительности — собрать свои работы в одном альбоме и издать его в обход цензуры. Бдительные стражи партийной идеологии и «органы» (в романе — «железы») начинают преследовать «идеологических диверсантов». За увлекательно придуманной историей неподцензурного фотоальбома «Скажи изюм» угадывается вполне реальная история знаменитого литературного альманаха «Метрополь», авторы которого замахнулись на один из краеугольных камней режима — цензуру и заплатились за это, а за мастерами объектива, за героями книги — метропольцы, известные писатели и поэты, в том числе и сам автор романа.

Остров Крым

Знаменитый роман «Остров Крым» Василия Аксенова принес автору мировую известность. В основе фабулы невероятное допущение: как могла повернуться история, если бы Крым не был захвачен большевиками, а остался свободным и независимым. В романе много приключений, гротескных житейских ситуаций. Несмотря на фантастический сюжет, книга во многом оказалась пророческой.

В поисках грустного бэби

Книга об Америке – какой увидел ее и ее обитателей свежим взглядом русский писатель. Увлекательное путешествие по Америке, встречи с яркими людьми, много юмора. И в то же время – о России, какой она была в семидесятые – восьмидесятые годы, когда автор был вынужден уехать из своей страны. Этой же эпохе советской действительности посвящен и второй его роман – «Бумажный пейзаж», фантазмагоричный как сама эпоха.

Ожог

Роман Василия Аксенова «Ожог», донельзя напряженное действие которого разворачивается в Москве, Ленинграде, Крыму шестидесятых – семидесятых годов и «столице Колымского края» Магадане сороковых – пятидесятых, обжигает мрачной фантазмагорией советских реалий.

Книга впервые вышла в России в авторской редакции, без купюр.

Московская сага

«Поколение зимы», «Война и тюрьма», «Тюрьма и мир» – эти три романа составляют трилогию Василия Аксенова «Московская сага». Их действие охватывает едва ли не самые страшные в нашей истории годы: с начала двадцатых до начала пятидесятых – борьба с троцкизмом, коллективизация, лагеря, война с фашизмом, послевоенные репрессии.

Вместе со страной семья Градовых, три поколения российских интеллигентов, проходит все круги этого ада сталинской эпохи.

Новый сладостный стиль

Новый, впервые изданный роман Василия Аксенова. Главный герой книги театральный режиссер, актер и бард Александр Корбах, в котором угадываются черты Андрея Тарковского, Владимира Высоцкого и самого автора, в начале восьмидесятых годов изгнан из Советского Союза и вынужден скитаться по Америке, где на его долю выпадают обычные для эмигранта испытания – отсутствие языка, безденежье, поиски работы. Эмигрантская жизнь сталкивает его со многими людьми, возносит к успеху и бросает в бездну неудач, мотает по всему свету. Это книга о России и Америке, о переплетении человеческих судеб, о памяти поколений, о поисках самого себя, о происхождении человека – не от обезьяны, а от Бога. И еще это – книга о любви.









Под этим переплетом — странная книга, не похожая на все прошлые произведения ее знаменитого автора и в то же время вне всякого сомнения их продолжающая, берущая истоки, скажем, в той же "Затоваренной бочкотаре". Смешение реалистической прозы и фантастической драматургии. Смешение российской и американской реальностей с изощренной нереальностью Кукушкиных островов. Впрочем, на этом вымышленном автором архипелаге происходят подчас вполне реальные события, что было, вспомним, и в другом отсутствующем на географической карте месте — аксеновском острове Крым.

Главные герои книги — окруженные кесаревым свечением эпохи Слава Горелик и его подруга Наташа. Главная линия сюжета — их поиски друг друга, их любовь, что называется, до гробовой доски. И еще один главный герой: немолодой и мудрый, утомленный жизнью, но не потерявший к ней мальчишеского интереса, создатель вполне узнаваемых и сказочных персонажей, реальных и немыслимых ситуаций, неистощимый выдумщик Стас Ваксину.

Угадайте с трех раз — как его зовут на самом деле.



ИЗОГРАФУС

ЭКСМО-ПРЕСС